
ЕВГЕНИЙ
САЛИАС
СОЧИНЕНИЯ

ЕВГЕНИЙ
САЛИАС

СОЧИНЕНИЯ



ЕВГЕНИЙ САЛИАС



СОЧИНЕНИЯ В ДВУХ ТОМАХ



ЕВГЕНИЙ САЛИАС



СОЧИНЕНИЯ
ТОМ ПЕРВЫЙ

Историческая проза



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1992

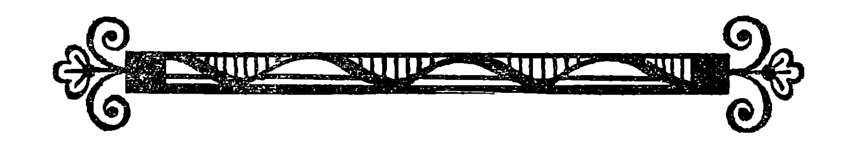
ББК 84Р1
С16

Вступительная статья, составление и комментарии
Ю. БЕЛЯЕВА

Художник
Г. КЛОДТ

С $\frac{4702010101\text{-}181}{028(01)\text{-}92}$ без объявл.

ISBN 5-280-02672-7 (Т.1)
ISBN 5-280-02673-5



ЛЮБИМЕЦ ЧИТАЮЩЕЙ РОССИИ

Думается, что среди нынешних читателей, включая и книголюбов, мало кто знает имя русского писателя Евгения Андреевича Салиаса. Хотя те, кто постарше, должны помнить аккуратные, симпатичные томики собрания сочинений графа Е. А. Салиаса с буквами «ять» и «ер», и таких томиков было немало — 33.

Но не только количеством написанного прославился Евгений Салиас. Стать самым любимым у русского читателя историческим романистом было крайне трудно, но таким титулом Евгений Андреевич мог гордиться в большей степени, чем полученным от рождения графским титулом. А Салиас был еще и живой историей русской словесности, ибо в начале XX столетия он оказался, как писал в книге «Литературный олимп» критик А. Измайлов, «последним литератором, на котором покоилось благословение Герцена и Огарева» [1]. Действительно, внимание этих выдающихся революционных демократов привлекла первая повесть Салиаса «Ксаня чудная», опубликованная в 1863 году в журнале «Библиотека для чтения», который тогда возглавлял А. Ф. Писемский.

В письме к матери Евгения Салиаса, известной писательнице того времени Евгении Тур, Огарев писал, что и ее и Россию можно поздравить с новым талантом. Однако несколько психологических повестей на современную тему, несмотря на их успех, стали для Евгения Салиаса лишь подступом к его основному литературному призванию — труду исторического романиста.

В этом качестве он и полюбился читающей России того времени, в этом качестве он интересен и современному читателю, и в эпоху восстановления истинной истории отечества становится ясно, что представить русскую словесность без Салиаса — это все равно, что представить французскую литературу без Александра Дюма-отца.

После того, как Салиас избрал стезю исторического романиста, его читательская популярность стала увеличиваться в обратной пропорции к падению его престижа среди тенденциозной «демократической»

---

[1] Измайлов А. А. Литературный олимп. Лев Толстой, Чехов, Андреев, Куприн, Горький, Сологуб, Ясинский, Брюсов, Салиас, Соловьев. М., 1911, с. 417.

критики, в силу своего господствующего положения сумевшей подготовить «кровавый рассвет» над Россией XX века. Отнеся Салиаса к литературе «московского направления», которая якобы «вся целиком составляет мертвый нарост самого гангренозного свойства», все эти псевдолиберальные зоилы поступили с ним так же, как в свое время с великим Лесковым и даже хуже — сделали фигурой умолчания. Духовный мир писателя и его художественный талант никого не интересовали. Да и зачем нужно было уделять сколько-либо внимания одной писательской репутации, когда у этих, теперь уж ясно что незадачливых, адептов Виссариона Белинского приговор был готов всей «московской» патриотической школе: «Кто только вступит на почву московских тенденций, у того, будь он поэт до мозга костей, тотчас же появляется побуждение изрекать неизреченные глаголы, и он начинает целые страницы и томы наполнять мистическими резонерствами или везде начнет отыскивать врагов отечества» [1].

Евгений Андреевич Салиас несомненно переживал огульное зачисление его в «квазипатриоты» или «реакционеры», особенно если учесть тот факт, что из-за участия в студенческих антиправительственных волнениях ему пришлось прервать и не закончить свою учебу в Московском университете. Однако у него хватило силы воли и принципиальности неуклонно продолжать линию беспристрастного исторического бытописателя, которая была заложена им в его самом фундаментальном и наиболее оцененном критиками произведении — исторической эпопеи «Пугачевцы».

Вот мнение, высказанное через 15 лет после выхода ее в свет: «Роман «Пугачевцы», по общему признанию, есть лучшее произведение графа Салиаса, в котором с наибольшей силой выразились различные стороны его таланта... Дальнейшие произведения графа Салиаса уже только подводились под ранее созданное определение, основанное на этом романе» [2]. А вот что писал сразу же после публикации «Пугачевцев» солидный журнал «Русский вестник»: «Роман графа Салиаса «Пугачевцы» чрезвычайно понравился публике. Успех этого романа стал совершенно вразрез всему тому, что так долго и так настойчиво проводила петербургская журналистика. Ни одному из требований, заявляемых этой журналистикой, роман графа Салиаса не удовлетворил; напротив, требования, решительно отвергнутые критикою шестидесятых годов, явились в нем удовлетворенными в высокой степени. Журналистике, если она не хотела попасть вновь в комическое положение, в какое однажды поставил ее успех «Войны и мира», оставалось забежать вперед, приписать себе честь первой оценки нового таланта» [3].

---

[1] Введенский А. И. Граф Е. А. Салиас.— Исторический вестник, 1890, № 8, с. 381.

[2] Там же, с. 383.

[3] Русский вестник, 1874, № 4, с. 878.

Из рецензии «Русского вестника» становится ясно, почему Салиас оказался столь чуждым лагерю «демократов-шестидесятников»: потому, что у этого молодого исторического романиста «есть искусство, есть художественность, есть идеалы и нет именно гражданских мотивов в петербургском смысле».

В дальнейшем творчестве Евгений Салиас усилил авантюрность в сюжетостроении и, отказавшись от леволиберальных настроений своей мятежной студенческой молодости, стал эволюционировать в сторону консерватизма и монархизма. Поэтому охлаждение к нему тенденциозной литературной критики стало неизбежным, хотя уже и «Пугачевцы» были объявлены слабым подражанием толстовской «Войны и мира», что не могло не сказаться на творческой репутации Салиаса.

Одни рецензенты видели достоинство в том, что автор «Пугачевцев», как и граф Толстой, «предпочитает в великих исторических движениях видеть не столько произвол сильных индивидуальностей, сколько действие скрытых, внутренних двигателей» [1].

Другие в толстовском подходе Салиаса к изображению и постижению глубинной сути крупных массовых движений видели лишь отсутствие авторской самостоятельности. Как писал исследователь творчества Салиаса А. Введенский, «критика поставила в упрек графу Салиасу, между прочим, то, что он является не только последователем, но и рабским подражателем графу Льву Толстому» [2]. Подтверждением этого может служить мнение законодателя литературной моды той эпохи А. Скабичевского. В статье, посвященной «Пугачевцам» Салиаса и «Богатырям» Чаева, критик, ничтоже сумняшеся, выносит свой безапелляционный приговор: «Салиас и Чаев сумели вполне отрешиться от своих собственных физиономий. Их самих вы тщетно будете искать в романах: вы найдете в них вездесущее присутствие одной только личности — графа Л. Н. Толстого, у которого романисты взяли целиком все, что только можно было взять,— характеры, сцены, мотивы, философию, словом, ободрали бедного автора «Войны и мира», что называется, до ниточки...» [3]

С такой точкой зрения решительно полемизирует А. Бороздин: «Если зависимость от графа Толстого признавать недостатком, то, во-первых, этот недостаток вполне объясняется обычными отношениями талантов к гениям, а во-вторых, разделяется графом Салиасом со всеми его современниками в области исторического романа» [4].

Но читающая публика была далека от подобных коллизий литературного мира. Она видела в писателе не автора психологических

---

[1] Русский вестник, с. 879.
[2] Исторический вестник, 1890, № 8, с. 387.
[3] Скабичевский А. Соч., т. 1. СПб., 1903, с. 768—769.
[4] Исторический вестник, 1899, т. LXXV, с. 614.

повестей, удостоенных похвалы Герцена и Огарева, и даже не автора монументальной, четырехтомной эпопеи «Пугачевцы», а вот именно настоящего «русского Дюма», который в остросюжетных романах и повестях — «Петербургское действо», «На Москве», «Найденыш», «Кудесник», «Крутоярская царевна», «Володимирские мономахи», «Миллион» («Ширь и мах»), «Принцесса Володимирская», «Философ» — донес до нее отечественную историю в ее ярчайших красках и авантюрных хитросплетениях.

В конце XIX века по статистическим данным земских библиотек самым читаемым писателем в России оказался Евгений Андреевич Салиас, опередивший по читательской популярности не только замечательных исторических романистов Вс. Соловьева, Г. Данилевского, Д. Мордовцева, но и самих мировых «королей» развлекательного жанра Дюма и Жюля Верна.

Посмотрим же, как писатель достиг такого феноменального успеха.

* * *

Евгений Салиас, казалось, по своему рождению был призван к поприщу исторического писателя. Сын французского графа, чей род восходил к XIII веку, и русской писательницы, сестры знаменитого драматурга Сухово-Кобылина, он с детских лет вращался в особой атмосфере исторических реалий и литературных интересов.

Родился будущий романист в Москве. Детство его прошло в огромном доме, расположенном в самом центре, на углу Тверской и Брюсова переулка. Дом, который тогда снимал его дед В. А. Сухово-Кобылин, подольский предводитель дворянства и герой Отечественной войны 1812 года, принадлежал известному графу Гудовичу. В обстановке этого величественного барского дома и закладывались истоки внутреннего мироощущения, приведшего впоследствии Евгения Салиаса на стезю исторического писателя. Сам дед, степенный, гордый, седовласый полковник-конноартиллерист в отставке, лишившийся глаза в боях с Наполеоном, являл собой живую историю. И знаменательно, что Георгиевский крест был вручен Василию Александровичу великим князем Константином Павловичем, а прусский орден «За достоинство» был прикреплен на грудь смелого гвардейца прославленным фельдмаршалом, героем Ватерлоо Блюхером.

Сохранился в памяти и колоритный облик его бабушки Марии Ивановны, властной помещицы и своевольной женщины, командовавшей всем семейством. Вот выразительное свидетельство о ней домашнего учителя в доме Сухово-Кобылиных: «Нередко после расправы с горничными и лакеями, когда пощечины щедро расточались ею направо и налево, она закуривала сигару и усаживалась на диване с французским переводом философии Шеллинга в руках. Более стран-

ного сочетания мнимой образованности и самых диких крепостнических привычек не случалось мне встречать на моем веку»[1].

Огромная гостиная, по величине почти равная будущей квартире матери Салиаса, производила на ребенка сильное впечатление не только размерами, но и импозантным величием висевших на ее стенах фамильных портретов. Не эти ли детские ощущения потом воплотятся на страницах будущих книг? Как, например, в сцене из повести «Философ»: «Князь, довольный и улыбающийся, перешел в свою спальню, затем пошел обходом по всему старинному дому, принадлежавшему еще его деду. Пройдя несколько больших горниц, он вошел в одну из них, называемую диванной. Здесь, по стенам, в два ряда висели семейные портреты. Оглянув ряды потускневших лиц — молодых и старых, князей и княгинь Телепневых, хозяин-чудодей вдруг легко рассмеялся...»

Уже взрослым Салиас продолжил эту семейную традицию, обвесив свой кабинет изображениями предков: «...Большой стол был весь уставлен семейными фотографиями в рамках. Прекрасные фамильные портреты масляными красками висели на стенах. Здесь были два портрета отца писателя, его деда, бабки и прадеда»[2].

От семейного портрета Салиас приобрел вкус и к историческому портрету. В его домашнем собрании оказались весьма редкие и ценные вещи — единственные портреты российских императоров Петра III и Павла I, императриц Анны Ивановны и Елизаветы Петровны, Екатерины II в военном мундире. Жить в таком окружении было естественно для видного исторического романиста, посвятившего всю свою жизнь выбранному поприщу. Из детских впечатлений Салиасу запомнились и последние месяцы его предгимназической жизни. Готовясь к поступлению в 3-ю реальную гимназию, маленький Евгений предпочитал скучной «обязательной» программе свой свободный выбор — чтение гоголевского «Вия» и подаренных другом матери, знаменитым историком Грановским, «Жизнеописаний Плутарха». Круг чтения оказался знаменательным: он как бы предопределил будущую творческую стезю писателя — разработку исторического сюжета с любовно-авантюрным уклоном. А гоголевская панночка, превращаясь в ведьму, несколько ночей подряд тревожила сон юного читателя...

Большое влияние на интеллектуальное становление Салиаса оказал круг знакомых сначала его матери, а потом и его собственных. На склоне лет Евгений Андреевич вспоминал ту славную когорту действующих лиц российской культуры, прошедших через его жизнь. Это — Огарев и Сергей Аксаков, Тургенев и Островский, Аполлон Григорьев и Лесков, Грановский и артист Щепкин... В Италии семнадцатилетнему Салиасу посчастливилось несколько раз увидеться с са-

---

[1] Глава из воспоминаний Е. М. Феоктистова.— Атеней. Историко-литературный временник. Л., 1926, с. 108.
[2] Исторический вестник, 1909, № 2, с. 652.

мим Александром Ивановым, завершившим в эту пору в Риме свою великую картину «Явление Христа народу».

«В воображении,— писал в мемуарах Салиас,— проходит целая вереница личностей, с громкими именами, с выдающимся значением на страницах летописи российской за вторую половину этого столетия».

Следует заметить, что писатель мог добавить в эту летопись и имена своих близких родных — Евгении Тур и Александра Сухово-Кобылина (Салиасу везло на исторических знакомых и родственников. Даже его родная сестра Мария внесла свой «вклад», выйдя замуж за героя освободительной войны на Балканах, генерал-фельдмаршала Иосифа Гурко).

Мать Салиаса, Елизавета Васильевна, была особой романтичной и импульсивной. Пережив в юности неудачный роман с известным критиком, профессором Московского университета Николаем Ивановичем Надеждиным, браку с которым воспрепятствовали ее родители, она, путешествуя по Испании, познакомилась с французским графом Андрэ Салиасом де Турнемиром. Вскоре был заключен брак, не оказавшийся счастливым. Проведя несколько лет в России, граф вынужден был покинуть ее не по своей воле: он был выслан за участие в дуэли. На этом брак практически распался, и граф Салиас уже не принимал почти никакого участия в воспитании своих детей, так что Евгений редко вспоминал о нем.

Елизавета Васильевна, оказавшись «соломенной» вдовой, стала вести вполне эмансипированную жизнь. Ее дом превратился в постоянный литературный салон. Вот свидетельство об этих вечерах А. И. Тургенева, того самого, которому еще юный Пушкин читал свою «Вольность»: «Вчера, как и каждый вечер, засиделся и заужинался на вечеринке. Графиня Салиас-Турнемир (Сухово-Кобылина) собрала весь блестящий мир; я любезничал с незнакомыми почти до двух утра» [1].

Вскоре взялась за перо и сама Елизавета Васильевна. Первая же ее написанная по-русски повесть «Ошибка», напечатанная в «Современнике» в 1849 году, имела большой успех (до этого Елизавета Васильевна писала урывками и только по-французски). Особенно радовались дебюту ее литературные друзья. Салиас вспоминал: «Всеобщий идол Т. Н. Грановский, никогда ничего никому не посвящавший, вдруг посвятил моей матери сочинение «Песни Эдды о Нифлунгах», а знаменитая поэтесса, графиня Ростопчина, написала ей «анонимное» хвалебное послание, ходившее по рукам».

Через два года вышел в свет роман «Племянница», в котором Е. В. Салиас проявила себя уже вполне профессиональным литератором.

---

[1] Остафьевский архив князей Вяземских, т. IV. СПб., 1899, с. 202.

Высокую оценку Евгении Тур (под таким псевдонимом стала писать Елизавета Васильевна) дал сам И. С. Тургенев: «Блестящие надежды, возбужденные госпожою Тур, оправдались настолько, что уже перестали быть надеждами и сделались достоянием нашей литературы: дарование госпожи Тур, слава Богу, не нуждается в поощрении и может с честью выдержать самую строгую оценку».

Расширению кругозора юного Салиаса, несомненно, способствовала и учеба в Московском университете. Атмосфера предреволюционного брожения захватила и Евгения. Он принял участие в студенческих волнениях. В числе трех студентов он был делегирован со студенческой петицией в Петербург к императору Александру II. И хотя в конечном итоге Салиаса как аристократа «простили», ему все же пришлось распрощаться с университетом, не закончив даже третьего курса.

Однако радикальные настроения молодости прошли вместе с ней. Этому «освобождению» от чар нигилизма содействовало пребывание в течение почти семи лет за границей — во Франции и в Испании. Там Салиас понял, что европейский просвещенный либерализм, как ширма, скрывает множество социальных и духовных изъянов общества. Понял он и то, что остается исконным русским человеком, которого постоянно тянет на родину.

Многолетнее путешествие дало материал для художественно-этнографических очерков Евгения Андреевича и освободило его от многих иллюзий.

Уезжал он романтически настроенным бунтарем, возвращался зрелым человеком, исполненным и творческих планов, и желания послужить на благо родной страны. Вернувшись в 1869 году в Россию, Салиас собирался поступить на военную службу, но, как подданный Франции по гражданству отца, он обязан был получить разрешение императора Наполеона III. Тот согласился лишь при условии, что Салиасу не будет дозволено участвовать в военных действиях против Франции и ее союзников. Кто же мог принять его в русскую армию на таких условиях?

Салиасу пришлось выступить в другом амплуа: он работал защитником по уголовным делам в Тульском окружном суде, состоял чиновником по особым поручениям при тамбовском губернаторе. Затем работал помощником секретаря статистического кабинета и редактором «Тамбовских ведомостей».

Да, в прошлом веке и французские графы могли получить удовлетворение от жизни даже в губернских городах центральной России. Но в декабре 1876 года в жизни Салиаса начинается новый период: Евгений Андреевич был принят наконец-то по высочайшему повелению в русское подданство и зачислен в министерство внутренних дел. С экзотикой его рождения теперь было покончено. К этому времени он

уже стал известным русским писателем, автором нашумевшей исторической эпопеи «Пугачевцы».

Но первые шаги в большую литературу Салиас сделал, как уже говорилось выше, как мастер психологического повествования на современном материале. Его литературный первенец «Ксаня чудная» был так назван по цензурным соображениям,— потому что цензору не понравилось предложенное автором название — «Искра Божья». Затем последовали новые повести «Тьма», «Еврейка», «Манжажа», одобренные Александром Герценом: «Тьма» — чудесная вещь, и если в ней есть недостатки, то это — недостатки молодости». Эту оценку разделяли многие современники. Так, видный либеральный публицист Н. И. Утин в письме к Огареву писал, «что касается «Тьмы» Сальяса, то это, действительно, в высшей степени художественное произведение» [1].

И тем не менее обещающий прозаик резко меняет направленность своего творчества и обращается к родной истории. Успех «Пугачевцев» был, как мы уже знаем, еще более основательным. Вот еще одно свидетельство писателя той эпохи Головина: «В то время исторические романы были в большом ходу, и четыре тома «Пугачевцев» проглатывались всеми» [2].

Планы Салиаса были грандиозны. Предполагалось, что четырехтомная эпопея «Пугачевцы» станет лишь первой частью еще более монументальной тетралогии. Вторая часть должна была называться «Вольнодумцы». В ней фигурировали бы Новиков и Радищев, а также герои и жертвы Великой французской революции.

Третью часть под названием «Супостат» Салиас собирался посвятить истории 1812 года и наполеоновского нашествия. Содержание последней части раскрывает ее название — «Декабристы». (Замысел Салиаса, как видим, превосходил в своем величии даже планы Толстого, из которых родилась «Война и мир».) Но, к глубокому сожалению, этот творческий замысел Салиаса, действительно один из самых грандиозных в отечественной словесности, оказался нереализованным. Отвлекала работа над другими произведениями. Мешала и социальная занятость. Ведь Евгений Андреевич до конца дней своих состоял на государственной службе, хотя, правда, в последние годы жизни эта служба превратилась в номинальную.

В 1874 году Салиасу предложили возглавить ведущую газету «Санкт-Петербургские ведомости». Это произошло по инициативе известного публициста и издателя М. Н. Каткова, чья группировка, как полагал другой видный издатель — А. С. Суворин, «выписала графа Сальяса из-за границы, поручая ему редакцию как талантливому беллетристу, не причастному никаким литературным партиям» [3].

[1] Литературное наследство, т. 62, ч. II. М., 1955, с. 646.
[2] Головин К. Мои воспоминания, т. 1. СПб., 1908, с. 326.
[3] Суворин А. Очерки и картинки, кн. 1. СПб., 1875, с. 3.

Работа в столь влиятельной газете, имевшей около 11 тысяч подписчиков, была для молодого писателя достаточно серьезным испытанием, хотя внешне предложение Каткова выглядело как признание таланта Салиаса, но еще больше как аванс его потенциалу издателя. Евгения Андреевича порадовал не только высокий социальный статус нового поста, выгодными оказались и экономические условия. Он должен был получать 6000 рублей годового жалованья плюс 10 % от чистой прибыли, к тому же ему выделили квартиру с бесплатным отоплением и мебелью [1].

Однако вскоре Салиас убедился, как тяжела работа главного редактора такого влиятельного издания. И хотя он не раз в этот период вспоминал услышанное в детстве от знаменитой гадалки, девицы Ленорман, предсказание того, что он станет «редактором большой газеты и первым министром», все же будни петербургского газетчика оказались не столь радужными. Старые сотрудники газеты ушли, а новых набрать Салиасу, новичку в газетном деле, было трудно.

«Если так пойдет,— пробовал было отшутиться Салиас в беседе с Сувориным,— то я выпущу первые номера белыми листами, а потом отделаюсь шуткой.

— Не советую так шутить. Публика не любит платить за оберточную бумагу» [2].

Видимо, более опытный Суворин был прав. Салиасу в роли редактора пришлось туго. Были и у него, конечно, успехи. Так, вести обзор журналов было поручено Всеволоду Соловьеву, замечательному историческому романисту, сыну знаменитого историка С. М. Соловьева. Новый курс газеты поддерживал князь Мещерский в своем журнале «Гражданин».

Но в конечном итоге независимая позиция Салиаса, его стремление не угождать ни левым «демократам», ни правым «консерваторам» привели к тому, что Евгению Андреевичу пришлось оставить газету.

Однако для Салиаса как исторического романиста фиаско газетчика могло сыграть лишь положительную роль. И действительно, конец 70-х годов и все последующее десятилетие оказались очень плодотворными для писателя. В этот период его исторические повести и романы появляются на страницах самых популярных журналов России — «Огонька», «Нивы», «Русского вестника», «Исторического вестника», «Русской мысли». И одно произведение было занимательнее другого. Трудно перечислить все написанное Салиасом. Назовем лишь самые показательные произведения: «Граф Татин Балтийский» (1879), «Петербургское действо» и «Мор на Москве» (1880), «Принцесса Володи-

---

[1] Такой обеспеченный быт выглядит контрастом, например, по отношению к петербургскому периоду жизни Загоскина, которому в одну из зим пришлось из-за недостатка средств отапливать квартиру стульями.

[2] Суворин А. Указ. соч., с. 4.

мирская» (1881), «Миллион» и «Атаман Устя» (1885), «Кудесник», «В старой Москве» и «Свадебный бунт» (1886), «Бригадирская внучка» (1888), «Барыни-крестьянки» и «Фрейлина Марии Лещинской» (1889).

Почти всецело посвятить себя литературе Салиасу позволяла достаточно необременительная служба, сначала в министерстве внутренних дел, затем в должности управляющего конторой московских театров. И уж совсем синекурой стало для Евгения Андреевича назначение его в последние годы жизни заведующим московским отделением архива министерства императорского двора.

Такой «оседлый» образ жизни писателя давал ему возможность заняться изучением русской старины. Особенно досконально знал Салиас историю и быт XVIII столетия. Недаром его лучшие романы и повести посвящены именно этому периоду.

«Если верить в перевоплощение,— утверждал Салиас,— то не могло бы быть сомнения, что я когда-то жил именно в XVIII веке. Этот век — мой любимый. В нем я — как дома. Если оставить в стороне мистику, то этому можно подыскать и совсем научное основание... Видите ли, ведь я застал еще крепостную Русь, а у этой крепостной Руси было прямое преемство от Руси екатерининской. Преемственно расставлялась в квартирах мебель, преемственно складывался обычай. Мои деды и бабки могли помнить еще настоящих людей екатерининской поры. Понятно, я все это видел, и клавесины при мне стояли так, как сто лет назад, и картины висели на старых гвоздях. Этого уже не видят люди, сегодняшнего дня. Теперь уж и картины развешены иначе, и екатерининский гвоздь сохранился, может быть, только в Таврическом дворце...»[1]

Сильное впечатление на современников производил роман «Петербургское действо», рассказывающий об авантюрах и перипетиях переворота 1762 года, когда вместо Петра III на российский престол была возведена его супруга, некогда захудалая немецкая принцесса София-Фредерика-Августа, которой предстояло войти в историю в качестве великой императрицы Екатерины II. В этом романе, который, на наш взгляд, является лучшим в русской литературе на эту тему, Салиас показал себя во всем блеске как мастер историко-авантюрного повествования, при этом соединяя фактографическую точность с большой психологической достоверностью и точным историософским анализом изображаемых персонажей и событий. Как отмечал «Исторический вестник», «роман ставит в ту жизнь, как если бы вы были современниками переворота, и вы сразу ориентируетесь во всех обстоятельствах и получаете уроки не только в понимании прошедшего, а и настоящего»[2].

Но наиболее зрелым произведением этого периода явился большой двухтомный роман Салиаса «Мор на Москве», позднее получивший

---

[1] Исторический вестник, 1909, № 2, с. 643.
[2] Там же, 1890, № 8, с. 397.

название «На Москве». После «Пугачевцев» именно этой монументальной фреске из жизни Москвы 70-х годов XVIII столетия было посвящено наибольшее число критических откликов. Причем отклики эти были более доброжелательными, чем обычно.

Критиков, вероятно, привлек и интерес Салиаса к раскрытию массовой психологии народных низов в экстремальной ситуации и достаточно острый критический пафос романа. Журнал «Наблюдатель» так отзывался о трактовке исторических событий писателем: «Особенно непривлекательными типами являются у него некоторые лица тогдашнего духовенства и чиновничества, как Амвросий и маститый главнокомандующий в Москве Салтыков» [1].

Действительно, рассказ об эпидемии чумы в Москве в 1771 году, ставшей возможной лишь благодаря некомпетентности и удивительному невежеству власть предержащих и приведшей к окончившемуся кровопролитием народному возмущению, не просто впечатлял, но и заставлял задуматься над природой власти в абсолютистско-крепостническом государстве.

И когда честный врач Афанасий Шафонский, рискуя навлечь на себя гнев сиятельного графа, говорит ему правду о начале мора в Москве, то как будто бы бьется лбом о стену: «Салтыков выслушал доклад, вытаращил глаза, понюхал табаку из табакерки и ничего не сказал. Но Шафонский заметил, что как ни дряхл сановник, а все-таки понял, о чем докладывает директор госпиталя.

И вдруг он увидел в глазах и на лице генерал-губернатора такое выражение, что сам смутился. Если б он сделал на балу генерал-губернатора какой-нибудь скандал, что-нибудь в высшей степени неприличное, то Салтыков посмотрел бы на него именно так».

Еще большего сарказма писатель достигает в сцене, когда врач-немец Риндер, карьерист и невежда, «успокаивает» уже начинавшего постепенно приходить в волнение генерал-губернатора:

«Но вы не извольте тревожиться, даже от настоящей моровой язвы только простой народ мрет. А к примеру: дворяне и люди благовоспитанные не болеют и не умирают.

— А-а! — протянул Салтыков, видимо удовлетворенный,— это хорошо.

И, подумав немного, покосившись как-то на шляпу Риндера, которую тот держал в руках, Салтыков прибавил глубокомысленно:

— Это даже очень хорошо!»

Но автор винит не только одряхлевших сановников, правящих страной за прошлые заслуги или родовитость, не только чванливых иноземцев, любящих соблюдение российских законов лишь другими, но и сам народ, действительно «темный» в своей основе:

«Быстро обошел слух Москву, что госпиталь на Введенских горах

---

[1] Наблюдатель, 1885, № 6, с. 48.

оцеплен по случаю объявившейся там моровой язвы. Не нашлось ни единого человека во всей столице, который поверил бы этому. Говорили, что Шафонский спятил, ума лишился или что он выдумал у себя чуму на смех Риндеру, чтобы его только обозлить».

Создается впечатление, что автор солидарен с внутренним монологом доктора Шафонского, зло бичующего общество, не достигшее цивилизованного статуса, и обращающегося с печальной иронией к распространявшейся по Москве чуме:

«За тебя всё и все!.. За тебя норовы и обычаи! За тебя начальство! За тебя невежество и робость людская! За тебя и сам фельдмаршал, и вельможи-правители, и глупый народ. За тебя и его грязь, и его кабаки, и его вера слепая и дикая не в науку, а в судьбу... Да, все за тебя! Добрый уголок на земле ты себе выбрала теперь и пришла. Мы народ хлебосольный, гостеприимный, простодушный. Даже и чуму примем в распростертые объятия!..

Шафонский был прав.

Даже и чуме в Россию — скатертью дорога! Милости просим! Пожалуй, не обидь! Ведь на все воля Божья! Ведь от своей судьбы не уйдешь! Ведь чему быть — тому не миновать!..»

Следует заметить, что критически-обличительный пафос повествования являлся следствием любви автора к своему отечеству и его желания не поступиться историческим беспристрастием.

Интересно обратить внимание читателя и на то обстоятельство, что Салиаса, постоянно и, на наш взгляд, абсолютно незаслуженно обвиняемого в тенденциозности, на сей раз критика освободила от этого «греха»: «К достоинству рассказа относится его полнейшая объективность. Никакой тенденциозности не заметно в описании событий, ни к одному из своих героев автор не высказывает явного пристрастия,— а это качество далеко не всегда встречается у наших романистов, слишком часто вдающихся в узкую перционность и деловое морализирование» [1].

В свое время и видный критик-мыслитель народнического толка Н. К. Михайловский, в целом отрицательно относившийся к творчеству Салиаса, признавал, что его романы «найдут себе ценителей и поклонников именно за отсутствие в себе всякой тенденциозности» [2].

С тогдашней критикой можно согласиться и в анализе сюжетной полифонии, и многоходовости в повествовании, в том числе и по поводу «множества лишних ходов»[3]. А вот что писал рецензент «Исторического вестника»: «Как и во всех крупных произведениях автора, интрига и в этом романе чрезвычайно сложная, так что читатель не без

---

[1] Наблюдатель, 1885, № 6, с. 48.

[2] Михайловский Н. К. Полн. собр. соч., изд. 2-е, т. X. СПб., 1913, с. 815.

[3] Наблюдатель, 1885, № 6, с. 48.

напряжения следит за многочисленными ее узлами»[1]. Хотя рядом делается оговорка, что «роман его читается до конца с неослабевающим интересом».

Действительно, даже в столь «перенаселенном» пространстве романа писатель проявляет умение придать интриге динамичность и остроту. Различные сюжетные линии, пронизывающие описание столичного общества и по вертикали и по горизонтали и вовлекающие в действие все социальные слои, в конечном итоге пересекаются самым неожиданным образом, достигая психологической кульминации. Вельможи, помещики, купцы, дворовые крепостные — все оказываются втянутыми в единый исторический поток, ведущий к общему взрыву народных страстей и грозящий гибелью многим. Салиас, обычно тяготеющий к некоторой сентиментальности, к счастливым концам, на этот раз сталкивает читателя с жестокой жизненной и исторической реальностью.

Дворянская дочь Ульяна, записанная в крепостные, ее молочный брат Ивашка, романтический мечтатель не от мира сего, а также отставной капитан, добродей Воробушкин, молодая жена купца Барабина Павла — все они вместе служат пунктирным обозначением столкновения личных судеб с неуправляемым потоком общего бытия, могущего выразиться через различные государственные формы, но в любом случае остаться независимым от индивидуальной воли.

И хотя Салиас в отличие, например, от Мордовцева, заявлявшего, что «исторический роман не может служить задачам современности»[2], не декларировал своего понимания миссии исторического писателя, его роман «На Москве» свидетельствует и о его попытках придать повествованию историческое звучание, и о его желании актуализировать воссоздаваемый исторический материал. Все это было сделано на фоне реальной, разнообразной жизни московского общества той эпохи с выведением на авансцену ярких, живых фигур. Недаром в современной Салиасу критике посчитали, что роман «по художественному развитию действия и характеров многих лиц заметно выделяется из массы изданных за последние годы исторических романов»[3].

Из включенных в этот двухтомник произведений следует также выделить роман «Ширь и мах», напечатанный первоначально под названием «Миллион». Этот роман не только увлекателен по своей интриге, но и наиболее характерно представляет творческую манеру и художественное кредо писателя. Главный герой романа, светлейший князь Потемкин дает писателю возможность показать блеск и тени «золотого» екатерининского века во всей пугающей красе.

---

[1] Исторический вестник, 1885, т. XIX, с. 437.

[2] Мордовцев Д. Л. К слову об историческом романе и его критике.— Исторический вестник, 1881, № 11, с. 551.

[3] Исторический вестник, 1885, т. XIX, с. 437.

Государственный гений и вельможа-самодур в одном лице, Потемкин отражал своей противоречивой натурой парадоксальность и амбивалентность самой эпохи, самого имперского правления Екатерины Великой. Решаются вопросы государственной важности, против Потемкина плетут интриги иностранные резиденты и сам Зубов, новый фаворит императрицы, а князь Григорий предается различным увеселениям и забавам и, когда по собственному же тщеславию попадает впросак, начинает тут же сочинять ответную «интригу»: «Зубов и его ухаживатели торжествовали. В первый раз герой Тавриды давал случай посмеяться над собой. Многих он своей хитростью делал шутами, а теперь сам попал в довольно забавный просак... Он сердился и бесился, как школьник, который, напроказив, сознается внутренно в своей вине, но не может примириться с заслуженным наказанием».

Вот уж действительно от «великого до смешного один шаг».

И что интересно, тема чудачества, противоречивости личности получила широкое распространение в исторической прозе Салиаса, видевшего, вероятно, в таком подходе к действительности удобную возможность отразить иррациональность и амбивалентность человеческого бытия. Излюбленными персонажами Салиаса становятся старые вельможи екатерининского времени, со своими причудами и характером. Это и старый князь из «Машкерада», и герой романа «В старой Москве» князь-чудак Лубянский, презиравший Петербург и ни разу не выезжавший никуда за пределы Москвы и своей подмосковной вотчины, и такой же оригинал, князь Телепнев из «Философа», напротив, десятилетиями не приезжавший в Москву из своего поместья.

Подчеркивая жизненный комизм таких героев, их социальную обреченность, писатель в то же самое время довольно добродушно подсмеивается над ними. И этот сентиментальный свет авторской доброты и оживляет самих персонажей, и действует безошибочно на чувства читателей. Поэтому, рецензируя роман «На старой Москве», в котором любовь гвардейского сержанта к внучке князя разворачивается на фоне празднеств по случаю коронации Екатерины II, журнал «Новь» отмечал, что «живее всех в романе вышла типичная фигура самодура князя, в сущности добрейшего, сердечного человека, хлебосола и важного барина» [1].

Мотивы переодевания, подмены, подлога, характерные для «Философа», «Миллиона», «Пандурочки», «Машкерада», «Сенатского секретаря», подчеркивают некоторую общую маскарадность и буффонадность эпохи, ее переходный характер. В поэтике Салиаса, часто строящего интригу повествования на историческом анекдоте, на курьезе, на случайном происшествии («Пандурочка», «Мадонна», «Сенатский секретарь» и т. п.), можно увидеть черты, роднящие его с будущими акмеистами или мирискусниками. Творчество Салиаса в этом

---

[1] Новь, 1886, № 5, с. 104.

аспекте оказалось своеобразным связующим звеном между ранней классической исторической прозой Бестужева-Марлинского и Загоскина и историческим модерном Мережковского, Кузмина и Садовского. Как здесь не вспомнить выраженное в стихах кузминское кредо: «Слез не заметит на моем лице // Читатель плакса. // Судьбой не точка ставится в конце, // А только клякса».

Некоторые критики, предубежденные против Салиаса из-за его здорового консерватизма, упрекали его в поверхностном подходе к изображению исторического процесса, в излишней развлекательности и скорописи. Об этом писал и его современник К. Головин: «Не торопись он всегда, имей он время продумать и пропустить через критическое сито каждое свое произведение, из него бы вышел очень крупный писатель» [1].

Раздавались упреки и в мелкотемье. В романе «Мадонна» «записной волокита екатерининских времен», старый князь Азарин женится на юной красавице Маше Собакиной, которая наивна до такой степени, что свои будущие супружеские обязанности видит лишь в искусстве разливания чая для своего престарелого мужа. К счастью для нее, князь, со своей стороны, из-за возраста оказывается уже неспособным к физической любви, уподобляясь тем самым «собаке на сене» из испанского плутовского романа. В этом и заключается основная коллизия романа, с ее нравственными, психологическими и социальными аспектами. Критика же вынесла свой приговор: «Граф Салиас сохраняет серьезный и даже торжественный вид, точно он созерцает серьезную драму, а не обыкновеннейшую собачью комедию» [2].

Сам Салиас остро переживал тенденциозное отношение к себе социальной или эстетской критики, которой какой-нибудь крохотный рассказ Л. Андреева с омерзительной сценой насилия над женщиной давал духовной пищи куда больше, чем добротный, сюжетно разработанный роман Салиаса или его коллег по жанру.

Вот типичный пример. В «Истории русской литературы XIX столетия» видного литературоведа Н. А. Энгельгардта Салиасу было отведено всего лишь три строчки, да и то в числе «плодовитых поставщиков исторических романов» вместе с Вс. Соловьевым и Мордовцевым [3], и, хотя перед этим его поименовали среди «главнейших беллетристов», это служило все же малым утешением для человека, ставившего перед собой высокие литературные цели.

Поэтому Евгений Андреевич в минуты душевного уныния соглашался со своими критиками и отзывался о своем творчестве довольно пессимистично:

---

[1] Головин К. Указ. соч., с. 327.
[2] Отечественные записки, 1879, № 11, с. 51.
[3] Энгельгардт Н. А. История русской литературы XIX столетия, т. 2. СПб., 1903, с. 525.

«Я зарыл в землю свой талант, который у меня был, был, был. Я сам знаю, что был. Я не был так счастливо поставлен, как некоторые наши писатели, имевшие возможность писать «для души». Писательством я зарабатывал хлеб. Мне нужно было писать много. Мне некогда было думать, ждать, перечитывать, переделывать. Зато и вышло в результате, что теперь меня почти не тянет перечитывать ничего из написанного, кроме, пожалуй, «Петербургского действа» или «Новой Сандрильоны»... Вообще я могу сказать, что лучшая моя песня не спета»[1].

Иногда писатель начинал сомневаться и в собственном призвании, полагая, что его многолетняя творческая деятельность по своей сути была случайным явлением: «Писательство было навязано влиянием окружающей среды и обстоятельствами. Если бы литературный труд не был заработком, то полагаю, что я был бы теперь автором лишь двух-трех рассказов»[2].

С этим, конечно, трудно согласиться. И признание читающей России в конце XIX века, и нынешнее возвращение Салиаса к русскому читателю свидетельствуют об обратном: о том, что он был писателем по призванию и созданное им обеспечивает ему по праву место в пантеоне российской словесности. Это понимали и отдельные дальновидные критики того времени, позволявшие себе выступать с объективным анализом текущего литературного процесса.

Так, например, по мнению А. Бороздина, «романы графа Салиаса, увлекая массу читателей своим изложением всяких приключений, незаметно внесли в обращение нашей образованной публики обильное количество исторического материала, которому иначе долго пришлось бы оставаться в различных ученых изданиях и исследованиях, недоступных для простых смертных: нельзя, наконец, отрицать и в известной мере облагораживающего влияния этих романов, из которых иные отличаются выдающимися художественными достоинствами»[3].

Творчество Салиаса было значительно не только в силу своего познавательного и просветительного характера. Оно вносило свою лепту в общее развитие отечественной литературы и через свою художественность, через создание полнокровных литературных образов.

Мы имеем интересное свидетельство влияния Салиаса на такого гения мировой литературы, как Достоевский. В его записях в период работы над романом «Подросток» находим упоминание и героя романа «Пугачевцы» князя Данилы, и писателя Авсеенко, разбиравшего этот образ в своей рецензии: «Хищный тип (разбор кн. Данилы Авсеенко). Почему дурак князь имеет право на мое внимание?»[4] И, отталкиваясь

---

[1] Исторический вестник, 1909, № 2, с. 635.

[2] Васильки. Литературно-художественный сборник. СПб., 1901, с. 423.

[3] Бороздин А. К. Указ. соч., с. 616.

[4] Долинин А. С. В творческой лаборатории Достоевского. М., 1947, с. 14.

от образа Данилы, показавшегося писателю слишком слабым для настоящего «хищного типа», Достоевский стал формировать характер своего центрального героя в романе «Подросток».

Так что, возможно, влияние Салиаса на литературный процесс было достаточно ощутимо, но из-за отсутствия исследований по этой проблематике приходится только догадываться, что постоянное появление прозы Салиаса на страницах ведущих литературных журналов России формировало не только читательские вкусы.

В 90-е годы Салиас работает также весьма плодотворно, хотя и с меньшей творческой интенсивностью. В это время появляются такие исторические романы и повести, как «Пан Круль» и «Заира» (1890), «Ведунья» (1891) и «Via facti» (1894), «Володимирские мономахи» (1899). В тематическом плане творчество Салиаса также не претерпевает особых изменений. Писатель по-прежнему разрабатывает излюбленные сюжеты из исторического быта XVIII века и начала XIX века. Обостренный патриотизм Евгения Андреевича проявлялся и в его нежелании браться за темы мировой истории, хотя по уровню его эрудиции, по богатству зарубежных впечатлений такая задача была ему вполне посильна. Тем более такие вещи, как «Джеттатура», из истории Венецианской республики XVI столетия, и «Пан Круль», из польской истории времен распада Речи Посполитой, были написаны достаточно живо и этнографически достоверно.

Однако наиболее уверенно чувствует себя Салиас на привычном материале родной истории, которую он воспринимает преимущественно под сентиментальным углом зрения. Такова, например, история крепостной актрисы Афроси, рассказанная в романе «Заира», имевшем шумный успех, в мелодраматичном ключе.

И все же, чувствуя определенную неудовлетворенность своим творчеством, Салиас пытается время от времени экспериментировать и с формой, обращаясь к жанру исторического рассказа («Пандурочка», «Финт», «Генерал Махов»), и с содержанием. У него выходят в свет такие неожиданные произведения, как «Новая Сандрильона» (1892), роман из современных французских нравов, или «Вчуже. Сказка для детей пожилого возраста» (1896), или философско-психологическая притча «Сумма трех слагаемых».

Следует подчеркнуть одну особенность в творчестве Салиаса. За какой бы жанр он ни брался, он не мог писать скучно. Даже его опыт биографического исследования «Поэт-наместник» (1885), посвященного тамбовскому периоду в жизни Державина, читается с легкостью и интересом. Этот отрезок жизненного пути Гаврилы Романовича был выбран не случайно, а в силу драматизма обстоятельств, в которых Державин, талантливый политик и опытный царедворец, оказался в Тамбове. Губернаторство великого поэта обернулось для него постоянными интригами и в конечном итоге большими служебными неприятностями. Как писала критика, положительно оценивая этот биогра-

фический труд, «граф Салиас талантливо изобразил эту трагикомедию крючкотворства и ябедничества, в которой поэт-наместник играл не менее некрасивую роль, как и его враги» [1].

Сам Салиас, будучи человеком весьма деликатным по своему характеру, испытывал часто неуверенность и сомнения по поводу того или иного своего шага. Некоторая его противоречивость объясняется вторжением в его идеологию зрелого писателя, основанную на здоровом консерватизме и уважении традиционных ценностей, реминисценций его бурной студенческой юности.

Этим фактором, пожалуй, была обусловлена и неожиданная попытка Салиаса в 1881 году вновь выступить в качестве редактора. На этот раз он попытался стать редактором-издателем журнала «Полярная звезда». Название явно намекает на юношеские симпатии Салиаса, однако после выпуска ряда номеров писатель окончательно отказался от несвойственной ему роли журнального издателя.

Об этом, кстати, предупреждала своего сына и значительно поправевшая к той поре Евгения Тур. Вот строки из ее письма: «Не забудь, ради Бога, что ты родился не в избе, не у пономаря, не у чиновника, а от старых родов. Не лезь в журнальную грязь» [2].

Неудачная акция с журналом была последней попыткой активизации жизненной позиции Салиаса. Он постепенно все более замыкается в себе. Последние восемнадцать лет своей жизни он живет почти безвыездно в Москве, в тихом ее уголке — в «Левшине у Покрова». Эти особенности своего быта Евгений Андреевич отчетливо осознавал: «Благодаря двум основным чертам или недостаткам моего характера — домоседству и нелюдимости,— я живу как настоящий отшельник».

Такой образ жизни приводил Салиаса к тому, что его педантичность и отрешенность приобретали характер некоторого старческого чудачества.

Так, на протяжении сорока с лишним лет, он всегда по приезде в Петербург останавливался только в одной гостинице — «Гранд-Отеле».

Вот еще один штрих, характерный для стареющего Салиаса: «Я — естественный вегетарианец, не в силу каких-либо теорий или принципов, а просто так. Мяса не только не ем, но иногда не могу и смотреть, как его едят. Иногда совсем забываю про обед... Приезжает дочь, видит, я совсем голодный. Конечно, пришла в ужас и распорядилась, а мне самому сделать это было просто лень»[3].

Более закостенелыми становились и идейные взгляды Салиаса. Он с трудом принимал все новое, включая и новую литературу: «Я думаю,

---

[1] Исторический вестник, 1885, № 11, с. 453.
[2] Литературное наследство, т. 39-40. М., 1941, с. 260.
[3] Исторический вестник, 1909, № 2, с. 633.

что это все пройдет, схлынет как вода. Все это не идет дальше Толстого. Вся вообще литература не пошла дальше «Карениной». Все, что пошло потом,— перепевы. Нужно новое, а нового нет. И нет нового большого писателя [1]

Салиаса заставляло уходить в мир русской старины, в духовное отшельничество изменение нравственного состояния общества, все более исповедовавшего прагматизм и социальный цинизм. Обуржуазивание общественного сознания вызвало противодействие в форме радикальных теорий, также не приемлемых старым писателем. Отсюда и возникло его скептическое отношение к социальному прогрессу и к новой тенденциозной литературе: «Некоторые принципы молодой литературы антипатичны. Меня вообще огорчает современное падение идеализма не только в литературе, а и вообще в жизни, и мне кажется, что вот людям вашего поколения выпадет благородная и трудная роль пронести идеалы добра, которым служили мы, старые писатели, через службу нынешних дней и передать их новым поколениям... Может быть, поэтому я живу отчужденно и от современной жизни и никуда не показываюсь»[2].

Любимым писателем для Евгения Андреевича оставался Тургенев, с его мягкостью, лиричностью письма, с тонким стилистическим мастерством. Но к молодым писателям, которые иногда обращались к Салиасу за помощью, он относился с участием и, если мог, помогал.

В 900-е годы писатель создает уже меньше, хотя он еще полон творческих планов и надежд. Но тем не менее сказывались возраст, прогрессирующие болезни и социальный эскапизм, нежелание расставаться с социальными иллюзиями прошлых лет.

Удручающее впечатление на престарелого писателя произвели революционные события 1905 года, которые он, живя близ Арбата, мог наблюдать достаточно много. Людская жестокость и бессмысленное кровопролитие ужаснули его. Духовный скепсис еще более разрушал творческие планы Салиаса, поэтому многое из задуманного им в этот период так и не воплотилось.

В беседе с критиком А. А. Измайловым Салиас так объяснил упадок его творческих сил: «У меня много планов, и мне хочется работать. Но за все это время я не написал ни одной строки. Последние годы общественной жизни могли мало способствовать творческим настроениям. Прежде всего, никому не было и дела до того, пишутся исторические романы или нет. А затем и вообще что приходилось переживать!»[3]

Среди неосуществленных замыслов Салиаса особенно интересны два. Он мечтал написать роман из современной ему жизни, откровен-

---

[1] Исторический вестник, с. 634.
[2] Там же, с. 654.
[3] Там же.

ный и беспощадный: «Он будет нецензурен сплошь, от первой до последней строки. Здесь я хочу запечатлеть все, что вижу сейчас кругом себя. Иногда я склоняюсь к мысли написать его и оставить детям. Пускай напечатают хоть через двадцать лет. Но меня останавливает мысль — будет ли это тогда интересно и нужно?»

Другой замысел, который Салиас вынашивал в течение более чем тридцати лет, был связан с написанием большого фантастического романа, действие которого происходило бы примерно в XXV веке. Право на издание этого романа у писателя было даже оговорено в издательском договоре, но, к сожалению, произведение о психологической эволюции человека на фоне триумфального развития науки и техники все же не было создано.

Однако собрание сочинений Евгения Салиаса в 33-х томах, причем не полное собрание, определило его место в читательском сознании современной ему России, а то, что накануне революции была предпринята попытка нового издания этого собрания (вышло 20 томов), свидетельствует о всеобщем признании таланта писателя и заинтересованности общества в его творческом мире.

Конечно, репутация Салиаса как большого писателя пострадала из-за его приверженности любимому жанру, ибо, как справедливо заметил известный библиограф Н. Рубакин, «исторический роман сплошь и рядом являлся синонимом патриотического романа, к тому же патриотического в самом превратном и узком смысле этого слова» [1]. Это, конечно, сказывалось на отношении либеральной и прозападнической критики, фактически определявшей со времен Белинского иерархическую ценность в литературе. Но в том, что отечественный исторический роман стал «наиболее читаемым отделом «изящной словесности» [2], заключена огромная заслуга Салиаса, не только романиста, пользовавшегося наибольшим читательским благоволением, но и писателя, даже по признанию критики стоявшего на первом месте «среди этого поразительного обилия исторических романов» [3].

А заключить разговор о выдающемся историческом писателе Евгении Андреевиче Салиасе можно было бы словами журнала «Исторический вестник», утверждавшего, что из произведений Салиаса «многие сделали бы честь любой литературе» [4].

Долгожданное возвращение писателя к современному русскому читателю даст ему возможность самому проверить это утверждение и заодно через мир Салиаса совершить увлекательное путешествие по русской старине.

Юрий Беляев

---

[1] Рубакин Н. Исторические романы и преподавание истории.— Русская школа, 1901, № 1, с. 203.

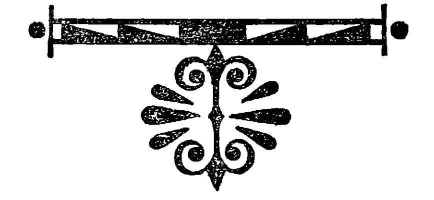
[2] Там же, с. 206.

[3] Головин К. Ф. Русский роман и русское общество, изд. 3-е. СПб., 1914, с. 386.

[4] Исторический вестник, 1890, № 8, с. 399.

КРУТОЯРСКАЯ ЦАРЕВНА

Историческая повесть







I

На высоком и крутом берегу небольшой, но быстрой речки раскинулась богатая помещичья усадьба, хорошо известная не только в ближайшем губернском городе Самаре, но и далеко за пределами губернии.

Огромные каменные палаты, стоящие венцом на высоком холму, были окружены десятком надворных строений, а впереди барских палат тянулись два обширных густых сада: нижний — уступами спускавшийся к реке, и верхний — примыкавший к селу, разбитый на правильные аллеи с оранжереями, грунтовыми сараями и питомниками.

В противоположной стороне от верхнего сада, среди молоденькой березовой рощи, высился красивый каменный храм. Большое село с тысячью душ обоего пола далеко раскинулось по равнине.

Вотчина эта, по имени Крутоярская, или, как привыкли звать ее, просто — Крутоярск, была известна на сотни верст кругом, во-первых, потому, что она была богатой и красивой усадьбой, во-вторых, потому, что личность, которой Крутоярск принадлежал, была в совершенно исключительном положении.

Вотчина принадлежала не какому-либо богатому и почтенному помещику, пожилому и семейному, а принадлежала юной помещице, которую давно прозвали «царевной».

Владетельнице богатой усадьбы и многих других имений в других губерниях было всего шестнадцать лет, и к тому же она была круглой сиротой. Немудрено, что молоденькая и хорошенькая сирота, богатейшая невеста, интересовала многие и многие помещичьи семьи как Самарской, так и соседних с ней губерний.

Во всякой помещичьей усадьбе, где был налицо сын, молодой малый, родители денно и нощно мечтали женить его на крутоярской царевне. Самарская молодежь и все неженатые от двадцати и до сорока лет включи-

тельно, даже самые не корыстолюбивые и не думавшие вовсе о деньгах и приданом, мечтали удостоиться руки владелицы Крутоярска.

Иначе и не могло быть... Молоденькая девушка была таковою, какие только описываются в сказках, потому что, помимо огромного состояния, она была очень красива собой, умна, кротка и чрезвычайно добра. Сиротство ее, казалось, прибавляло ей еще более прелести.

Прозвище царевны как нельзя более шло к ней. Действительное имя богатой сироты-невесты было Неонила Аркадьевна Кошевая. Предки ее были малороссы.

Прадед крутоярской помещицы поневоле покинул когда-то Украину и поселился в Приволжском крае. В те дни, когда знаменитый Мазепа изменил первому императору, Кошевой остался верен русскому царю, но, нажив своими действиями много врагов на родине, должен был покинуть Украину вместе с многочисленной родней.

За несколько десятков лет прошло три поколения Кошевых, но никого не осталось в живых из многочисленной семьи; теперь единственной представительницей малорусского казачьего рода была богатая сирота. Последний помещик Крутоярска, Аркадий Петрович Кошевой, погиб в одной из жестоких битв русских войск с фридриховскими. Молодая вдова не долго пережила страстно любимого мужа, и после нее на свете осталось двое сирот: мальчик и девочка, пяти и трех лет. Но еще через два года мальчик, хилый, почти немой, тихо и незаметно угас. Представительницей рода Кошевых оставалась одна девочка-малютка, которую звали уменьшительным именем, данным ей еще покойным отцом,— Нилочкой.

Будь близкие родственники у Нилочки люди, заинтересованные тем, чтобы захватить в свои руки большое состояние, то, быть может, благодаря времени и нравам, коварные люди сумели бы извести и отправить на тот свет малютку. Но таких родственников или наследников не было ни единого. Если бы крошка Нилочка вдруг умерла, то все состояние оказалось бы выморочным.

Наоборот, нашлись люди, которым было выгодно, чтобы малютка была жива и здорова. Люди эти были назначенные к ней опекуны.

Едва только умерли Кошевые — отец и мать, как к обеим детям был назначен опекун, дальний родственник покойной Кошевой. Это был человек пожилой,

добрый и беспечный, лейтенант в отставке Зверев. Он взял на себя управление всеми имениями и воспитание детей почти против воли. Опекунство это продолжалось, однако, очень недолго.

Тотчас после того как умер мальчик, который за все свое недолгое существование был еле живой, в Петербург посыпались на лейтенанта со всех сторон безыменные доносы в том, что он уморил одного из сирот и собирается уморить и девочку, чтобы, в качестве дальнего родственника покойной Кошевой, хлопотать о наследстве.

Все это было вымыслом и клеветой. Тем не менее вскоре был прислан из Петербурга гвардейский офицер — по высочайшему повелению расследовал все касающееся до сироты Кошевой и ее состояния.

Судьбой малютки, оказалось, заинтересовался в качестве соотчича сам гетман Кирилл Григорьевич Разумовский. Присланный офицер был его дальний свойственник. Последствием возбужденного дела было только удаление лейтенанта Зверева от опекунства.

Над малюткой была назначена опека прямо из Петербурга, и опекуны обязывались обо всем постоянно докладывать самому гетману. С этого дня существование маленькой Нилочки изменилось.

В Крутоярск явились два опекуна: артиллерийский полковник Мрацкий с женой и большой семьей, состоящей из шести человек детей и многих родственников, а за ним вслед преображенский прапорщик в отставке — Жданов. Последний, холостяк лет сорока, явился с одним мальчиком, которого выдавал он за приемыша, но который был, в сущности, его побочным сыном от крымской татарки.

Оба опекуна на первых порах разделили все вотчины опекаемой ими малютки на две части, ради управления. Каждый делал, что хотел, в своем уделе, и только раз в год оба вместе составляли один общий доклад обо всем на имя гетмана. Вскоре, однако, все управление незаметно перешло в руки одного Мрацкого, а Жданов не вмешивался ни во что. Вместе с тем большие палаты были разделены тогда же на три части. В левом крыле поселился со своей семьей и домочадцами Мрацкий. В правом крыле поместился Жданов, но вместе с ним и канцелярия опекунского управления, т. е. человек двадцать всяких наемных подьячих и писарей. В центральной части дома, где были большие парадные комна-

ты, две огромные залы, называемые: зимняя и летняя, несколько гостиных: желтая, анненская и итальянская,— жила в четырех небольших горницах крошка владелица. К ней тотчас был приставлен целый штат нянек и горничных, а впоследствии явились и гувернантки: француженка, немка и третья совершенно сомнительного происхождения, которой вменялось в обязанность обучать девочку танцам и малеванью.

Разумеется, крошка сирота в огромном доме, окруженная кучей пришлых, чужих людей, взиравших на нее если не вполне неприязненно, то холодно и безучастно, могла бы, конечно, сгинуть, известись. По ее бледному, худому личику и большим кротким глазам всякий бы увидал и догадался, что извести, напугать Нилочку было бы далеко не мудрено.

Конечно, оно бы так и случилось. По всей вероятности, девочка не достигла бы и десятилетнего возраста, окруженная не людьми, а штатом,— живой, холодной стеной, закрывавшей ей со всех сторон свет и весь мир божий. Но судьба поставила около ребенка верным стражем — няню.

Твердо и незыблемо, как какой-нибудь каменный исполин, а отчасти и каменный сфинкс, стояла около Нилочки эта няня.

II

С первых дней существования малютки бедная дворянка из захудалого рода, Марьяна Игнатьевна Щепина, была взята в старшие надзирательницы над многими няньками новорожденной. Через несколько месяцев все няньки были ею оттеснены и Марьяна Игнатьевна взяла на свое полное попечение девочку-малютку, поселилась с нею вместе в небольшой горнице и не отходила от нее ни на шаг ни днем, ни ночью.

Однако, помимо питомицы, у этой женщины была своя забота, свой ребенок-мальчик, одних лет с Нилочкой.

Так как Щепина поступила в низкую, для ее дворянского происхождения, должность, то согласилась на это только под условием, чтобы ее ребенок жил около нее. Покойные родители Нилочки охотно согласились на это, и маленькому Борису была даже отведена отдельная горница и дана отдельная нянька.

При жизни покойных Кошевых Марьяна Игнатьевна имела уже некоторое значение в доме, но едва только дети остались сиротами, Щепина получила еще большее значение. Она прославилась на всю Самарскую губернию своими невольными похождениями на берегах Невы. В эти роковые для нее дни Марьяна Игнатьевна показала свету белому, что она за человек.

Когда умер мальчик, до которого Щепина не касалась — так как он имел свою няню,— и когда вслед за тем явился следователь из столицы, Марьяна Игнатьевна разделила участь опекуна Зверева. Ее отставили, изгнали из Крутоярска, советуя благодарить бога, что она не отдана под суд.

Опекун Зверев, негодуя и грустя на клевету, спокойно удалился в свое небольшое имение. Марьяне Игнатьевне приходилось вместе с мальчиком своим точно так же удалиться в Самару.

Она это и сделала, но через несколько дней, оставив мальчика на попечение дальней родственницы, Марьяна Игнатьевна была уже в пути. Через полтора месяца она была уже в Петербурге.

Целую зиму обивала она пороги домов и палат и вельмож, и простых чиновников, подавая всюду одно и то же прошение. Щепина требовала, чтобы, в исполнение воли покойной матери ее питомицы, она была снова приставлена к малютке Кошевой. Время, в которое она попала в столицу, было самое неблагоприятное. При ней началось новое царствование, вступил на престол император Петр Феодорович. За это время Щепина прошла столько мытарств, что никогда, впоследствии, не хотела и поминать в разговорах все, что пережила и перечувствовала. Руководила ею горячая привязанность к малютке, а не корыстолюбие, иначе она бросила бы хлопоты.

Много раз грозились Щепиной сильные люди, что она будет выслана из столицы, а то и сослана в какуюнибудь трущобу, но Марьяна Игнатьевна не устрашалась и не унывала. Наконец, уже в конце великого поста, она была принята графом Алексеем Григорьевичем Разумовским и выслушана им. Затем с собственным лакеем любимца покойной императрицы она была отправлена им к брату — гетману. И в тот же час гетман принял Щепину. Несколько месяцев добивалась она и тщетно старалась проникнуть в палаты Кириллы Григорьевича, а теперь это оказалось возможным сразу.

Беседа Щепиной с графом-гетманом привела к полному успеху.

В мае месяце Марьяна Игнатьевна уже снова вернулась в Крутоярск, чтобы стать вновь главной нянькой маленькой Нилочки. Но на этот раз все обыватели Крутоярска, оба опекуна, весь штат, вся дворня, все до последнего человека, встретили Марьяну Игнатьевну так, как если бы она была сама владетельницей вотчины.

И немудрено. Марьяна Игнатьевна привезла с собой строжайшее предписание графа-гетмана, чтобы во всем, что будет касаться до ухода за девочкой, не вступаться никому.

Вместе с тем Щепиной препоручалось хозяйство в доме, заведование всем штатом маленькой Кошевой и приказывалось, точно так же, как и опекунам, посылать годичный рапорт на имя гетмана о здоровье и благополучии опекаемой малютки.

С этого дня далеко за пределами Самарской губернии Марьяна Игнатьевна Щепина стала лицом столь же известным, как и сама сирота Кошевая.

С тех пор прошло более десяти лет, а Марьяна Игнатьевна все еще пользовалась тем же значением и тем же почетом, как и в первый день своего прибытия из столицы.

Про нее все отзывались, кто смеючись, а кто и со злобой, что она «баба, железом шитая».

И вот благодаря этой женщине, «железом шитой», малютка Кошевая, как бы за надежным щитом, выросла, расцвела и стала красивой девицей-невестой. Щепина вполне заменила девочке родную мать, и даже более того. Живи на свете Кошевые — родители Нилочки,— она, быть может, была бы менее счастлива и была бы хуже воспитана.

Дворянка захудалого рода пошла в простые няньки ради куска хлеба и пристанища, а главным образом ради средств для воспитания единственного сына, которого обожала, но вскоре оказалось, что ее положение почти настоящей опекунши было ей по плечу.

Опекуну Мрацкому с первых же дней пришлось бороться с Щепиной и наконец уступить во многом, что касалось до ухода и воспитания богачки девочки. Мрацкий скоро догадался, что Марьяна Игнатьевна — женщина недюжинная, с умом и с волей.

— Нашла коса на камень! — говорили про опекуна

и про главную нянюшку все обитатели Крутоярска — и нахлебники, и крепостные.

Более десяти лет прожили Мрацкий и Щепина под одной кровлей и ни единого разу не повздорили и не поссорились, а между тем ненавидели друг друга всеми силами души и разума. За все это время Марьяна Игнатьевна «без шума» добивалась своей цели и достигла ее. Цель эта заключалась в том, чтобы Нилочка любила ее и слепо повиновалась ей, а чтобы ее собственный сын Борис был воспитан «по-дворянски» и вышел в люди. У Бориса Щепина были те же учительницы, что и у «царевны», а так как он был мальчик способный, то воспользовался ученьем вполне. Будучи четырнадцати лет, он уже озадачивал своими познаниями малограмотную среду.

Теперь Борис был уже в Петербурге, в гвардии, и его жизнь начиналась так, как если бы он был сыном богатых помещиков, а не простой нянюшки.

Марьяна Игнатьевна была вполне счастлива, глядя на карьеру сына, и мечты ее о счастии ее Бориньки шли дальше, выше... Но в чем они заключались, никто не знал, даже обожаемая ею Нилочка.

Между пестуньей и питомицей не было, конечно, тайн; они жили душа в душу, как бы родные мать и дочь. Но о том, что мечтается Щепиной относительно Бориса, она не могла искренно поведать Нилочке.

Богатая сирота «царевна» не могла бы и догадаться, о чем помышляет Марьяна Игнатьевна, настолько эти тайные помыслы няни были далеки от ее личных помыслов относительно того же Бориса.

А Нилочка вообще любила помечтать, и чем более подрастала, тем более воображение ее работало.

Теперь она все чаще и все упорнее мечтала о том, что сделает, когда выйдет из-под опеки. Об иных своих планах она тоже не говорила няне. Между прочим, Марьяна Игнатьевна не знала, что Нилочка собирается подарить Борису богатую вотчину в Казанской губернии.

Равно не знала няня, что ее питомица мечтает о том дне, когда она никому повиноваться не будет, и притом ждет его так же, как алчущий ждет утолить свою жажду. С мучительным нетерпением, с тоской...

Немудрено было няне не знать этого, так как вообще мудрено было знать Нилочку. Худенькая, тихая, белокурая девушка, с красивыми голубыми глазами, темными,

задумчивыми и глубокими, была своего рода загадкой. Ее никто таковою не считал, никто не старался разгадывать, полагая, что она вся «на ладони»; но зато никто ее и не знал, все на ее счет ошибались.

Марьяна Игнатьевна думала, что Нилочка «чудна» только на словах, а на деле — самое простое существо.

«На словах собирается век города брать,— думала Марьяна Игнатьевна,— а как дойдет дело до поступления, то струсит и послушается моего совета. Так завсегда было, так и впредь будет».

И в этом суждении было доказательство того, что и сама няня, ближайшая к Нилочке личность, не знала девушки.

Крутоярская царевна, всячески опекаемая чужими людьми и окруженная холодной толпой нахлебников, уподоблялась птичке в клетке.

Птичка, прыгая по двум жердочкам клетки, смотрит все вверх в синие небеса и чует, знает, чувствует, что может взмахнуть крылышками и унестись туда в один миг...

Но кто же ей — умеющей пока только прыгать по клетке — поверит?!

III

Усадебный дом в Крутоярске, его обстановка, обыденная жизнь всех его обитателей представляли собой странное явление. Едва ли бы можно было найти другой богатый усадебный дом, в котором жилось бы так же странно.

Прошло более десяти лет, что в доме явились два опекуна. Как в первые дни их появления, так и теперь, большие палаты вмещали в себя несколько враждебных между собой лагерей. Тут, казалось, никто не жил дружно.

Шестнадцатилетняя владелица занимала центральную часть дома, огромную по размерам, но где жилых комнат было всего четыре небольших. Остальные были залы и гостиные, вечно пустые, унылые и молчаливые.

Нилочка с своей воспитательницей Марьяной Игнатьевной, которую она обожала, и с несколькими женщинами из штата жила особой жизнью, замкнутой и тихой. У нее, конечно, была своя отдельная прислуга, отдельный стол, за который только в большие праздники

приглашались, в качестве гостей, опекуны и их домочадцы.

Правое крыло дома, где жили опекуны Петр Иванович Жданов с приемышем Никифором, было одним лагерем, враждебным остальному дому. Левое крыло дома, где помещался опекун Сергей Сергеевич Мрацкий с большой семьей и собственными своими нахлебниками, было другим враждебным всему остальному лагерем.

Верхний этаж над парадными апартаментами был разделен на десятки мелких комнат, где помещался штат владелицы и нахлебники обоего пола, бог весть зачем согнанные отовсюду. Весь этот люд, праздный, сытый, от дарового корма бесившийся с жиру, притворно обожал «царевну» и Марьяну Игнатьевну и раболепствовал пред обеими всячески. В действительности весь этот люд разделялся на два лагеря. Одни были приспешниками Жданова, другие — Мрацкого.

Замечательнее всего было то, что два опекуна жили довольно дружно, почти никогда не ссорились, так как Жданов постоянно уступал Мрацкому и в мелочах, и в серьезных вещах.

Что касается до их приверженцев среди нахлебников, дворни и даже крестьян, то эти партизаны не жили просто, а постоянно воевали между собой. Если бы не всеобщая боязнь двух лиц в доме, то, быть может, когда-нибудь в крутоярском доме дошло бы дело и до смертоубийства. Только два лица сдерживали всех нравственным влиянием: Марьяна Игнатьевна и опекун Мрацкий. Это были единственные два лица в доме, которые обуздывали разношерстную толпу обитателей Крутоярска.

Вместе с тем Мрацкий и Марьяна Игнатьевна были издавна, с первых дней общего сожительства, злейшими врагами. И опекун, и пестунья жили рядом более десяти лет, как стоят две враждебные армии одна против другой — стоят, зная, что придет час битвы, и трепетно, с боязнью ждут часа сразиться.

Теперь в крутоярском доме все жили с одной мыслью, скоро ли и за кого выйдет замуж крутоярская царевна. Все зависело от этого... Жизнь каждого в отдельности и будущность его была в прямой зависимости от замужества владелицы.

«Кто будет завтра супругом царевны, барином в Крутоярске?» — вот о чем думали все.

Все были уверены, что не пройдет году, как крутоярская юная помещица будет уже выдана замуж. Не сама

выберет себе мужа, а будет выдана почти насильственно. Но за кого? Кто возьмет верх, кто победит?

Праздная толпа нахлебников насчитывала теперь четырех искателей руки помещицы. Первый и главный из них был двадцатипятилетний сын Мрацкого — Илья. Его звание — претендента на руку богатой невесты, опекаемой его отцом,— не было тайной ни для кого.

Сергей Сергеевич Мрацкий прямо и открыто не говорил, но все, однако, знали, что он лучше даст себя прирезать или сжечь живым, нежели упустить такую невесту. Он думал и был глубоко убежден сам, что опекаемая им девушка должна выйти замуж за его сына из благодарности за все его, опекуна, благодеяния.

Он заявлял, что принял в опеку имение Кошевой в самом плачевном виде и за десять лет привел все дела в порядок. Это было верно только отчасти.

Действительно, Мрацкий усердно занимался делами, пока Жданов ничего не делал, но зато опекун, явившись в Крутоярск с большой семьей, не имел почти никакого состояния, а теперь уже владел сам тремя имениями в других губерниях, купленными за время опекунства.

В губернском городе Мрацкого иначе не называли в шутку, как крутоярский «упекун», который может со временем упечь и все состояние Кошевой. В действительности Мрацкий наживался осторожно и отчасти благоразумно. За время своего опекунства он мог бы присвоить себе вдвое более.

Главный претендент на руку владелицы крутоярской был капралом в отставке. Когда-то Мрацкий снарядил сына в Петербург в один из столичных полков, но затем, по прошествии трех лет, снова выписал его обратно. Ему хотелось, чтобы его Илья был постоянно в Крутоярске и приучил к себе Нилочку.

Молодой человек, к большому прискорбию отца, был крайне неподходящ для роли претендента. Это был здоровый, плотный, рыжеватый малый с пухлым лицом и простоватым, почти бессмысленным выражением в глазах. Он был то, что народ называет «лупоглазым».

Несмотря на молодые годы, он был какой-то медведь, ленивый, грузный, неповоротливый, не способный ни на что. Даже молодые девушки семейств нахлебников говорили про Илью Сергеевича Мрацкого, что он — ни мужик, ни баба.

Единственное качество молодого человека заключалось в том, что он был крайне добродушен и готов

услужить всякому. Глядя на сына, Мрацкий в иные минуты сам отчаивался в возможности женить его на Нилочке.

Будь у него другой сын-жених, он бы давно бросил эту мечту, но, на его горе, после Ильи были взрослые, тоже некрасивые дочери, а второму сыну было всего только пятнадцать лет. Надеяться на то, что Нилочка засидится в девушках и даст время второму сыну, Сергею, подрасти, было трудно.

Вторым претендентом на руку Нилочки считался родственник губернатора, князь Николай Николаевич Льгов, красивый и умный молодой человек, бывший офицер и состоявший теперь на службе в Самаре. У него не было никаких средств, но зато был титул. Князь Николай Николаевич был самым видным и завидным женихом для крутоярской помещицы, которой недоставало только титула, чтобы иметь все, что судьба может дать любимице.

Князь изредка бывал в Крутоярске в гостях, но визиты эти были очень странные. Молодого князя принимали поневоле, боясь губернского начальства. Никто в Крутоярске не желал его видеть. Для всех он был бельмом на глазу.

За последнее время князя стали принимать еще более холодно все до единого обитателя, от опекунов и пестуньи и до последнего нахлебника. Причиной этого было то, что многие заметили, как стала относиться к князю юная помещица. Молодой человек, по-видимому, нравился ей немного.

IV

Третий претендент на руку царевны был несколько сомнительный. Это был приемыш опекуна Жданова, Никифор Неплюев. Несмотря на свое побочное происхождение от простой караимки, у приемыша Жданова бумаги были в порядке и он числился недорослем из дворян.

Многим было хорошо известно в Крутоярске, что документы приемыша купленные, что никакого Неплюева-отца у него никогда не бывало,— но доказать ничего было нельзя.

Никифор Неплюев, двадцатитрехлетний малый, был красивый брюнет с оригинальным лицом, очень смуг-

лый, с большими черными глазами, с такими бровями, каких не было на всю Самарскую губернию.

Брови эти, как бы углем намазанные, шли от висков и почти срослись на переносице, но это не безобразило его. Резкие, но характерные черты лица, замечательно выразительные глаза, черные как смоль курчавые волосы — все делало его красивым.

Вдобавок он был чрезвычайно статен, очень ловок и, в противоположность Илье Мрацкому, мастер на все руки. Он лихо ездил верхом и любил объезжать самых бешеных коней из табунов, отлично стрелял, будучи страстным охотником, как и его отец, был главным сердцеедом и победителем женского персонала в Крутоярске и во всем уезде.

Он безусловно нравился всем женщинам: от помещиц и горничных до крестьянских молодух на селе. Никифор был не столько умен, сколько хитер, но при этом и дерзок, предприимчив и в особенности быстр во всем, что он делал. Он, казалось, успевал во всем только потому, что брал каждого человека врасплох. Даже с самим опекуном Мрацким — врагом его названого отца — он умел справиться.

Мрацкий ненавидел Никифора уже за одно то, что он был противоположностью его собственного сына, был около Ильи молодец молодцом. Тем не менее Никифор умел часто заставить Мрацкого что-нибудь сделать в свою пользу исключительно тем, что наступал неожиданно, дерзко и быстро.

Прозвища, которые были у Никифора, данные ему в Крутоярске, обрисовывали его. Его звали «Никишка-головорез». Потом одно время звали «Стенькой Разиным». Теперь звали «Сибирным», предрекая, что за некоторые дерзкие выходки в своих любовных похождениях он может угодить в Сибирь.

Все в Крутоярске опасались Никишки, так как он в карман за словом не лазил и, по выражению обитателей, «за ножом тоже в карман не полезет». Это мнение было не преувеличенным, так как, будучи еще пятнадцати лет, Никишка однажды в ссоре хватил ножом сына одного из нахлебников.

Все относились к Неплюеву осторожно, просто боялись его, но в доказательство того, что бывают на свете необъяснимые странности, была в Крутоярске одна личность, которая не боялась Никишки и которой он даже, казалось, нравился.

А личность эта была именно сама царевна. Кто бы что ни говорил про головореза и сибирного Неплюева, Нилочка горячо защищала его, находила его и умным, и красивым, и добрым. Последнее было совершенно неверным, даже неприложимым к Неплюеву. Достаточно было взглянуть ему повнимательнее в лицо, чтобы убедиться, что красивый караим по матери был малый злой и бессердечный. Многие случаи из его жизни доказывали это.

Как будто назло Мрацкому и к большой досаде Марьяны Игнатьевны, Нилочка благосклонно относилась к ненавидимому и презираемому ими Никишке. Она находила удовольствие разговаривать с ним, охотно выслушивала россказни дворни про разные его похождения и подвиги, хотя эти подвиги бывали иногда очень бесчеловечны.

Однажды, не справившись с дикой лошадью, которую Неплюев взялся объезжать, он настолько разбесился, что привязал коня к дереву и ременной татарской плетью «снял кожу» с животного, как говорили все нахлебники, т. е. истязал животное, а затем на месте застрелил из ружья.

Иногда, узнав про какой-либо подобный подвиг Неплюева, Нилочка приходила в ужас, порицала молодого человека, затем требовала у него объяснения его поступка. Головорез Никишка умел каждый раз представить все дело в таком виде на благоусмотрение крутоярской царевны, что она выговаривала ему, брала с него слово никогда более не злыдничать и, отпуская от себя, снова приветливо улыбалась ему.

Подобные случаи все более убеждали крутоярских обитателей, что у головореза есть какой-то приворот на женщин. Даже сама царевна и та, пожалуй, кончит тем, что влюбится в сибирного. Представить себе этого Никишку барином крутоярским и распорядителем судьбами всех его обитателей было, конечно, ужасным.

Насчет четвертого претендента на руку царевны мнения в Крутоярске разделились. Одни были вполне убеждены, что Нилочка не только рано или поздно, но даже и вскоре выйдет за него замуж непременно. Другие же считали дело совершенно невозможным.

Этот четвертый претендент, бывший теперь в Петербурге, в рядах Семеновского полка, вскоре ожидался в Крутоярске. Это был единственный сын самой Марьяны Игнатьевны, Борис Щепин.

Будь пестунья Нилочки не дворянского происхождения, то, конечно, ее сын не мог бы мечтать ни о том, чтобы быть в гвардии, ни еще менее о том, чтобы жениться на Кошевой. Марьяна Игнатьевна, пошедшая когда-то в простые няньки, кичилась своим дворянским происхождением и постоянно твердила обожаемому сыну Борису, что у него все есть, кроме состояния.

Понятно, что для Нилочки сын второй матери был почти родным. Вместе росли они, были дружны и любили друг друга как брат и сестра. И так прошло несколько лет.

Марьяна Игнатьевна всем и каждому заявляла, что надеется со временем хорошо женить сына на какой-нибудь самарской девице. Когда же ей говорили и намекали на возможность брака между ее сыном и Нилочкой, то Марьяна Игнатьевна приходила в негодование, говоря, что ее сын — Нилочке не пара.

Она богачка, ей, по прозвищу «царевна», следует выходить замуж тоже за какого-нибудь царевича, а не за бедного офицера, хотя и дворянского, хорошего рода.

Многие верили Марьяне Игнатьевне на слово, многие двусмысленно ухмылялись. В действительности можно было опасаться одной помехи для подобного брака. И помеха эта была в самой Нилочке. Она слишком просто была привязана к Борису Щепину. Он был для нее братом, человеком, с которым она прожила душа в душу все свое детство.

Если бы самой Нилочке назвали когда-нибудь Бориса женихом, то она бы рассмеялась. Это казалось чем-то несообразным.

За последние два года, что Борис был в Петербурге, Нилочка много думала о нем, интересовалась его судьбой, нетерпеливо ждала вестей о нем и постоянно тосковала о «Бориньке» с Марьяной Игнатьевной. Одним словом, для Нилочки Борис был совершенно родным братом.

Борис Андреевич был вообще любимцем всех прихлебателей, а равно и дворни в Крутоярске. Он был слишком добрый и сердечный малый, чтобы не быть любимым всеми. Он постоянно, еще ребенком, оказывал всякого рода услуги, иногда устраивал и важные дела для крутоярцев. Многое зависело от его матери, а Марьяна Игнатьевна никогда не могла ни в чем отказать своему Бориньке. Понятно, что всякий ради успеха своего дела упрашивал заступиться «мамушкиного барчука» и под-

сылал его к неприступной и нелюбимой в усадьбе Щепиной.

Когда в начале осени пришло в Крутоярск известие, что Борис Андреевич уже не рядовой, а получил чин капрала, почти все в усадьбе, кроме семьи Мрацких, обрадовались, и искренно, от души бросились поздравлять «железом шитую бабу».

V

В 1773 году, после жаркого лета, сразу наступила холодная и ненастная осень.

В угрюмый октябрьский день, несмотря на сильный ветер, низко и быстро летящие серые облака, грозящие ежеминутно частым мелким дождем, крутоярская владелица, в сопровождении мамушки Марьяны Игнатьевны, тихо и молча гуляла взад и вперед по главной липовой аллее верхнего сада.

Обе двигались то к дому, то от дома, будто нехотя или «по заказу», поневоле, без всякого желания гулять.

Нилочка глядела бесстрастно и скучающими глазами на пустынную аллею или по бокам на оголенную чащу дерев и кустов. Щепина озабоченно думала о чем-то, и лицо ее было сумрачно.

Всякий день, за исключением дней полного ненастья, Нилочка гуляла часа по два в этом верхнем саду и знала каждый камешек и каждую ветку наизусть. По этой аллее бегала она когда-то и пяти лет от роду с куклой на руке, и потом десяти и более с детскими мечтами.

Наконец тут же гуляет она почти 17-летней девушкой и думает... думает о совершенно ином.

А этот сад все тот же пустынный, безответный. Осенью и зимой сквозь голую чащу виднеется чрез его каменную ограду направо селенье, налево надворные постройки, а за ними высокая колокольня храма, за ним поля и леса... Все это от палат и храма и до последней березки — ее собственность и вместе с тем все это как чуждо. Надо всем этим не она повелевает, над всем будто нависла грозой власть почти страшного для нее человека, злого, лукавого и коварного.

Она у себя дома, под родным кровом, и в то же время она будто в гостях и даже хуже: на хлебах из милости у ненавистных ей благодетелей. Говорят, будет конец такому житью, но она почти перестала верить этому.

Когда она будет совершеннолетняя, опека уничтожится, все эти чужие люди выедут из Крутоярска поневоле, но ведь до тех пор еще ждать более четырех лет.

Мало ли что может еще случиться, что они, эти неприязненные ей люди, могут наделать?

Один из них страшен ей, но страшен равно всем. Сергей Сергеевич Мрацкий так поговаривает, что, кажется, никогда не покинет Крутоярска. Он сумеет так все подвести, что вековечно будет властвовать и над Крутоярском, и над сиротой.

И, думая об этом, Нилочка всякий раз кончала одной и той же мечтой.

Ах, если бы явился избавитель. Он! Тот желанный и неведомый, который не устрашился бы Мрацкого, полюбил бы ее и стал бы властным над всем, над всем и, пожалуй, над ней самой.

На этот раз, благодаря осени, серому дню, озабоченности Марьяны Игнатьевны, молодая девушка была еще тоскливее настроена, чем когда-либо. Ей казалось сегодня еще яснее, чем бывало прежде, что она — самое несчастное существо на свете. Сиротство и одиночество сказывалось еще ярче, ощутительнее... Бывало, она все свои думы или тревоги сердца поверяла своей второй матери, мамушке, теперь вот уже третий год она перестала это делать.

Марьяна ли Игнатьевна изменилась по отношению к ней? Или она переменилась, и ей самой стали приходить такие мысли, которые не следовало иметь? Ее дорогая «Маяня», как звала она мамушку, еще в дтстве картаво переделав ее имя, все чаще журила свою питомицу, когда девушка исповедовалась в своих мечтах и грезах. И кончилось тем, что теперь самое дорогое на сердце оставалось скрытым, тайным не только для всего Крутоярска, но и для этой «Маяни».

Услужливая из раболепства дворня, сенные девушки в особенности, часто передавали барышне кой-какие вести, касающиеся до Крутоярска. Сегодня утром Нилочка узнала, что будто на днях к ним собирается из Самары гость, человек, к которому девушка относилась как-то странно, непонятно ей самой. Чужой вполне человек, мало знакомый даже, был ей будто близок, будто гораздо ближе многих своих крутоярских.

И об этом думалось ей теперь. А сказать об этом Марьяне Игнатьевне можно, но не хочется...

Молчаливо погуляв более часу, Нилочка позвала Щепину домой.

— Может быть, и разгонный уж приехал,— заметила она.— Может, письмо есть.

Марьяна Игнатьевна вздохнула.

— Пора бы. Пора...— выговорила она глухо.— Всякий день — вот неделю томит он нас. И что могло задержать? Боринька мой не зряшный какой о семи пятницах в неделю.

— Вот я и думаю, Маяня... сегодня письмо есть. Чует мое сердце, что есть... увидишь.

— Ах, полно ты... только смущаешь меня,— нетерпеливо вымолвила Щепина.

Обе женщины двинулись к дому и скоро входили уже на большое крыльцо, поднялись во второй этаж и вступили в парадные комнаты, так как достигнуть им своих четырех сравнительно маленьких комнат нельзя было иначе, как чрез грязный ход для прислуги или чрез обе большие залы и три гостиные. Первая зала, белая под мрамор, с лепными позолоченными украшениями, была велика, в два света, всегда холодна зимой, пустынна круглый год.

В ней с рожденья на свет Нилочки никогда ничего не бывало, но в прежние времена при ее деде бывали пиры и балы.

Вторая зала была несколько менее, темнее, к ней примыкала большая крытая терраса, выходившая в сад. Здесь бывали обеды, более или менее парадные, четыре раза в году, в Светлое воскресенье, в Рождество и затем в день рождения и именин владелицы, приходившихся на январь и октябрь.

Затем следовали три гостиные, из которых анненская в два колера — пунцовый и желтый — была самой красивой. Но последняя итальянская с круглыми окнами, со светло-голубой позолоченной мебелью стиля Людовика XIV была любимой гостиной юной владелицы. Здесь она принимала за последние годы своих редких гостей, зато часто Мрацких и Жданова, которых не любила допускать в свои горницы. Нилочка называла три уютные комнатки «мои» в отличие от всех других в доме.

Да, все эти парадные и другие горницы действительно были для сироты под опекой — вполне как бы чужими.

Три ее комнаты делились на гостиную, где почти никогда не бывало гостей, на рабочую, где девушка сиживала весь день, и на спальню.

Около второй была горница Марьяны Игнатьевны, с тех пор, как ее питомица перестала спать вместе с мамушкой.

В рабочей комнате было самое простое убранство, но было двое пялец и большой стол, на котором девушка рисовала. Рисованье было ее любимым занятием, и она уже собиралась от карандаша и пастелей перейти к малеванию, т. е. к масляным краскам.

Теперь хотя и была в доме учительница малевания, взятая опекунами, но эта женщина, скрывавшая свое происхождение с какого-то юга, долго тоже скрывала свое незнание живописи. А Нилочка, чтобы не обижать женщины, все отлагала просить опекунов нанять другую учительницу малевания.

Едва только молодая девушка и мамушка вошли к себе, как старшая горничная, уже пожилая женщина, встретила их словами:

— Разгонный из города привез вам, барышня, ящик, а вам письмо почтовое.

Марьяна Игнатьевна оторопела. Кроме сына, никто ей не писал.

Чрез минуту письмо было уже в руках и прочтено... Марьяна Игнатьевна просияла и бросилась целовать Нилочку, стоявшую около нее в нетерпении.

— Едет! Едет! — воскликнула Щепина и стерла слезы на глазах...

— Когда? — выговорила Нилочка, зарумянившись от радости.

— Пишет: чрез неделю после письма ждать и писателя его.

Нилочка подсела к Марьяне Игнатьевне на диван, и они обе начали снова читать письмо Бориса Щепина. Окончив, они снова перечли его. И так раз до десяти... Это бывало всегда.

VI

В тот же ненастный угрюмый день, в сумерки, во двор крутоярских палат въехал верхом солдат и передал людям большой пакет,— это был посланный с письмом от самарского губернатора к опекуну Мрацкому. Солдат заявил, что ему указано дождаться ответа.

Сергей Сергеевич Мрацкий сидел у себя в рабочей горнице за письменным столом, когда ему подали письмо губернатора. Это был человек очень маленького роста и очень худой, следовательно, очень невзрачный и неказистый, именно то, что называет народ «заморышем».

Однако было в нем нечто, что не позволяло считать его заморышем. Это был взгляд маленьких серых глаз. В них было что-то особенное, невольно обращавшее на себя внимание каждого. В них было столько силы загадочной, недоброй, как бы каждому опасной, что всякий невольно относился к Мрацкому любезно и приветливо, а иногда и подобострастно, как бы ради одной самозащиты.

Сам Мрацкий не любил своих глаз.

— Треклятые! — говорил он сам себе, стоя иногда перед зеркалом.— Выдают поневоле! С этими гляделками не пройдешь за скромного и тихого человека. Очки, что ли, синие завести?

И Мрацкий серьезно думал об очках и собирался носить их, но никогда не собрался. Давнишнее желание Мрацкого было странное, редко встречаемое на свете. Ему всегда желалось, а в особенности с тех пор, что он был опекуном крутоярской царевны, слыть за человека самого простого, безучастного ко всему, смирного и, пожалуй, даже ограниченного.

Цель была простая. Ему хотелось быть волком в овечьей шкуре. Разумеется, этого никогда не удавалось. Мрацкого за всю его жизнь никто не любил и все боялись, даже и те, на судьбу которых он не мог ничем повлиять.

С юношества, с первого капральского чина и до отставки уже в чине полковника, Мрацкий был среди товарищей отрезанным ломтем. Если он оставался со всеми в приличных отношениях, то благодаря исключительно всеобщей боязни заводить с ним какую-либо ссору.

Репутация его в Петербурге была нехороша и, бог весть, каким образом втерся он в дом гетмана Разумовского и совершенно неведомо, почему и как был избран честным и прямодушным графом Кириллом Григорьевичем в опекуны малютки Кошевой.

Семья — жена и дети и более полудюжины родственников — относились к Сергею Сергеевичу на особый лад. Анна Павловна Мрацкая любила мужа потому только, что «муж есть глава жены, яко Христос — глава цер·

кви». Дети любили отца тоже на основании пятой заповеди. Родственники и домочадцы любили Сергея Сергеевича потому, что он был «наш кормилец и поилец».

Впрочем, Мрацкий ни к кому из близких несправедлив никогда не бывал. Он был только тяжел. Это был семейный камень, придавивший всех, от жены и детей до последнего дальнего родственника — глухонемого Пучкова.

Чрез несколько минут после появления верхового на дворе в горницу к Мрацкому вошла высокая и полная женщина. Рост и тучность в ней были таковы, что из нее легко бы можно было выкроить четырех Сергей Сергеевичей.

Муж и жена были противоположностями во всем, как физически, так и нравственно. Анна Павловна была добрейшее и тишайшее существо, потому что была ленивейшая и сонливейшая женщина на свете.

Существование ее проявилось и проявлялось только тем, что она родила двенадцать человек детей, из коих только шесть были в живых, и теперь ожидала седьмого или тринадцатого по счету.

Анна Павловна принесла сама письмо, так как в маленькую угловую горницу, в которой сидел теперь Мрацкий, почти никто не допускался. Только старик лакей Герасим имел право входить рано утром и обметать пыль со столов, где лежали кипами всякого рода бумаги.

Помимо опекунского управления у Мрацкого были и другие дела, о которых ходили в Крутоярске только смутные слухи. Знали наверное только одно, что Мрацкий один из второстепенных членов соляного откупа.

— Сергей Сергеевич! — выговорила женщина, входя в горницу своей особой походкой мелкими шажками и переваливаясь с боку на бок.

— Чего еще? — отозвался Мрацкий не оборачиваясь.

— Гонец из Самары от губернатора. Вот!..— И Анна Павловна протянула мужу большой пакет с восковой печатью.

Глаза Мрацкого блеснули сильнее. Он взял пакет, повертел его в руках, затем, не распечатывая, бросил перед собой на стол, вскинул маленькие серые глаза на жену и выговорил:

— Начинается!

Анна Павловна с трудом уместилась на маленьком стуле, стоявшем неподалеку, и, уподобляясь большому забору на подпорке, глупыми глазами смотрела на мужа. Противоположность во всем со своим мужем, она и взглядом отличалась от него тем, что была, по русскому выражению, «лупоглаза...». Те же глаза передала она и старшему сыну Илье.

— Да, сударыня,— ехидно выговорил Мрацкий,— начинается!

— Что же такое-с?

— А то, что всякому понятно, кроме тебя, дуры.

— Это, Сергей Сергеевич, конечно. А вы скажите...

— Начинается, сударыня моя, давно мною ожидаемая война, вроде вот той, что прозывают семилетней с немцами. Вот и у нас в Крутоярске начинается война и долго ли продолжится — неведомо. Может, четыре года, может, и больше, может, до совершеннолетия Нилочки и вступления во все ее права. А может, война возгорится и в несколько месяцев окончится, а кто победит — неизвестно. Надо надеяться, что Сергей Сергеевич Мрацкий! А потому, думаю, он победит, что от пушки и до перочинного ножа включительно всякое при нем оружие будет. Во всеоружии воевать будет, как сказывается!..

Все это Мрацкий проговорил, глядя в окно, где бушевало ненастье, мелкий дождь, ветер и холодная сырость.

— Да вы, Сергей Сергеевич, опять так все рассказали, что я, по моему малоумию, ничего не поняла. С кем же война-то? С туркой, что ли?

Мрацкий качнул головой.

— Что же, пожалуй, что и с туркой тоже будет, коли не с самим туркой, то с татарином... с Никишкой! Он ведь тоже полутурка. Да и неужто же ты, моя оглашенная,— мягче и почти нежно выговорил Мрацкий, глядя на жену,— неужто ты совсем не догадываешься, что это за письмо из Самары. Вот, не читая, тебе прочту. Слушай, вот что тут написано!

И Сергей Сергеевич, положив руку на пакет, начал говорить:

— Дорогой и достоуважаемый приятель и сосед Сергей Сергеевич! пишу вам со скорым, чтобы поведать важное дело, с коим я на сих днях буду иметь великое удовольствие побывать в Крутоярске. А приеду я к вам, чтобы совать нос туда, куда меня не спрашивают, приве-

зу с собой своего родственника — нищего князька, которого я, ни к черту не годный губернатор, хочу пристроить, женивши на опекаемой вами богачке. Вот ты это знай заранее, обдумай и придумай какие-либо средства меня заставить отъехать «несолоно хлебавши», потому что виды у тебя у самого на царевну другие — свои собственные. Денежки Нилочки и тебе тоже нравятся, как и мне. У меня князек — дальний родственник, а у тебя Илья — родной тебе сын. Понятное дело, что ты меня примешь, как козла в огород.

Мрацкий замолчал, а Анна Павловна, давно сидевшая с удивленным лицом, вымолвила:

— Неужто же это он все пишет? Ведь тут и благоприличия нет никакого. Зачем же он ругается?

Мрацкий, не отвечая, разорвал пакет, вынул письмо, прочел его и затем обернулся к жене.

— Ну, вот, оглашенная моя, как я сказал, так и есть. Приедет он на сих днях со своим князьком сватать его. Вот и прав я, говоря, что начинается война.

Наступило молчание, после которого Анна Павловна тем же своим добродушно-глупым голосом спросила:

— Как же нам быть-то, Сергей Сергеевич?

— А что?

— Да Илья-то...

— Ну, так что ж?

— Да как же, говорю, быть-то? Ведь за двух замуж не выйдешь! Коли она пойдет за этого князя, Илья-то наш при чем же останется?

— С носом останется, голубушка!

— А вы не допущайте, все в вашей воле.

— Вот я и буду не допущать. Оттого война и будет. Но мне бы хотелось, чтобы Нилочка действовала, сама отказала, а не то, что мне ее пугать да против нее идти. Это своим чередом после будет, когда навернется другой какой... А их теперь, женихов, посмотри, тьма будет! Так один за другим и посыпятся! Всяк знает, что ей скоро семнадцать лет.

Мрацкий помолчал, подумал и наконец выговорил:

— Ты, Анна Павловна, теперь чаще ходи к этому дьяволу Марьяшке и сиди с ней, и в любви изъясняйся. Говори ей, что не ныне завтра наш Илья отправится на вторичную службу в Петербург.

— Зачем же ему ехать?! — ахнула женщина.

— Ох, оглашенная, да никуда Илья не поедет, а ты ей-то сказывай это. Если она заговорит что-нибудь на-

счет наших видов на Нилочку, так ты говори, что это давно оставлено. Поняла?

— Поняла-с...

— Ну, а потом будь добра и приветлива с Никишкой и так ему обиняком сказывай, что коли у него денег мало, коли понадобятся когда, да отец не дает, то чтобы у тебя попросил. А ты тогда приди ко мне да возьми. Сколько бы Стенька Разин ни попросил, я ему всегда дам. Спешить надо, а то он все вертится, вертится, а все еще не свертелся! Надо ему помочь шею себе свернуть. Ну, постой, еще что? Да... Где Аксютка, буфетчикова внучка, красавица-то ваша крутоярская?

— Ее, Сергей Сергеевич, на огороды послали за что-то, картофель рыть, а кончит — на скотный двор пошлют.

— За что же это?

— А уж не знаю...

— Кто же это распорядился?

— Да вы же, Сергей Сергеевич.

— Полно врать! Я-то — я, да я этого не знал и не знаю... Кто-нибудь из холопов подвел. Прикажи тотчас ее в дом опять взять, да выряди ее и никакой работы ей не давай, слышишь? Будь ты на что-нибудь годна, полно спать-то! — вдруг возвысил голос Мрацкий.— Ведь нельзя век свой храпеть! Теперь времена, видишь, какие подошли... Встряхнись, будь хозяйкой! Поняла?

— Поняла-с...

— Поняла-с, поняла-с! А сама сидишь — спишь! Приодень Аксютку, чтобы была совсем франтиха, и балуй на все лады. А как только приедет сынок Марьяшкин, так сейчас отрядить Аксютку к нему в услужение по части белья, что ли, чтобы она так при нем и состояла. Ну, вот, это пока все. Первое расположение войск перед цитаделью. Только не напутай, помни! Первое — с Марьяшкой любезничай и уверяй ее, как бы хорошо было Нилочке выйти замуж за князя, а второе — Илье пора уезжать на службу... Третье — Никишке деньги обещай и приходи за ними ко мне. Четвертое — Аксютку к Борьке, когда приедет, приставь... Не спутаешь?

— Зачем, Сергей Сергеевич?

— А затем, что ты — дура! — вдруг воскликнул Мрацкий.— Ну, ступай! Пришли через полчаса за ответом губернатору. Ну, а завтра я с Ждановым и с Марьяшкой буду совет семейный держать насчет князька. Да,

думал я, а не ожидал, что так скоро будет начало военных действий. Думал, еще годик пройдет, ан вон оно сразу!.. И князек паршивый полез, и Борька из Питера не ныне завтра явится, да и Никишка, черт, вот уж месяц не буянит и трезвый ходит... Все напасти! Черт бы их всех драл! А тут еще двести возов соли пропало в пути! Ведь при этаких обстоятельствах голову-то бы надо иметь саженную, чтобы в ней все уместилось, а она у меня вон она... крошечная!

— Зато она у вас, Сергей Сергеевич, о семи пядей во лбу.

— Это ты откуда же выудила? Не сама же придумала?

— Все так сказывают, что вы — умнеющий человек.

— Да, около них, дураков, пожалуй, что и умен, а вот для самого себя кажусь иногда чистый дурак... Ну, уходи! — кончил Мрацкий, махнув на жену рукой.

VII

В тот же день во всем доме было всем уже известно, что губернатор с родственником князем собираются в Крутоярск со сватовством. Известие почти никого не удивило, так как князя Львова давно уже считали почти самым лучшим претендентом на руку царевны.

Но, однако, все чуяли, что дело просто не обойдется. Может быть, Нилочка сразу изъявит свое согласие, но ей, по несовершеннолетию, рассуждать не дадут, решат за нее ее судьбу. Покорится она — и все обойдется мирно и тихо, а не покорится — будет дым коромыслом в Крутоярске. Война, о которой говорил Мрацкий, чуялась всем.

В тот же вечер Мрацкий послал сказать своему товарищу по опекунскому управлению, а затем и главной нянюшке Марьяне Игнатьевне, что просит обоих пожаловать к нему утром для совещания.

Мрацкий всегда поступал так и сносился со всеми, как если бы жил не в одном и том же доме, а в другом городе. Иногда случалось ему даже писать Жданову из левого крыла дома в правый и просить письменного ответа.

Жданов заставлял писать ответ какого-нибудь писаря и только подписывался длинною подписью: «прапорщик лейб-гвардии Ее Императорского Величества

Петр Иванов, сын Жданов». Иногда подпись эта бывала длиннее коротенького ответа: «Беспременно буду» или: «Как пожелаете».

Посланный Мрацкого принес ответ, что Петр Иванович — на охоте за зайцами вместе с Никифором Петровичем, а Марьяна Игнатьевна обещалась быть.

— Когда же будут обратно с поля? — спросил Мрацкий.

— Ночью или на заре, сказывают, велели себя ждать.

— Хорошо, если приедет трезвый,— пробурчал Мрацкий,— а то отлагай дело, пока не проспится!

Петр Иванович Жданов, второй опекун, но не в действительности, а только ради формальности, был очень удобным товарищем по опекунству для Мрацкого.

Петр Иванович не вмешивался буквально ни во что уже много лет и только давал свою длинную подпись на самых важных бумагах. Он не пользовался никаким значением, не пользовался даже и видимым уважением обитателей Крутоярска.

С ним обращались все запанибрата, даже писаря опекунской канцелярии грубили ему, и иногда Жданов принужден был жаловаться на них Мрацкому.

Произошло это потому, что Жданов был чрезвычайно добродушный и беспечный человек. При этом у него было две страсти: охота и вино. Большую часть времени он был навеселе: никогда не пьян совершенно, но редко и в нормальном состоянии.

Будучи страстным охотником, он иногда отлучался из Крутоярска на неделю и более в дальние болота. При нем был целый штат охотников — всякого рода разношерстный народ. Тут были и нахлебники, и писаря канцелярии, и дворовые, и крестьяне, и настоящие пройдохи, являвшиеся в Крутоярск к барину Жданову с коротким объяснением:

— Я тоже охотник! Дозвольте быть при вас.

Однажды один из самозваных гостей даже обокрал Жданова: свел отличную собаку и стащил пару дорогих пистолетов. Насколько Мрацкий был занят разного рода делами, жил с постоянными планами и проектами, один другого хитрее, настолько Жданов был вечно свободен, праздный и веселый, но при этом постоянно витавший мыслями в поднебесье.

Жданов был, сам того не зная, поэт и музыкант в душе. Он страстно любил слушать и петь народные песни и бренчать на балалайке и немножко на гитаре.

Тайком от всех Жданов сочинял сам песни и певал их на привалах во время охоты своим соратникам, т. е. своей шайке прихлебателей-охотников.

Ни разу никому не пришло на ум, что песни, петые Ждановым,— его собственного сочинения.

Все удивлялись только, откуда Жданов достает их. Иным совершенно искренно казалось, что они эту песню уже слышали где-то, когда-то, готовы были поклясться, что они песню знали, да забыли.

И этим наивно подтверждалось то обстоятельство, что песни Жданова были чистые, неподдельные народные песни. И Жданов сам не знал, что, может быть, лет сто спустя после него, будет петься на Руси его песнь и про нее скажут, что ее «сложил русский народ».

Одно странное, непостижимое обстоятельство было загадкой. Все песни сочинения веселого и беспечного холостяка были грустны и тоскливы. Иногда в иной выражалась глубокая скорбь обо всем в мире. Одна песня, звавшаяся «Ох, неволя, неволюшка!», в которой повествовалось о жизни и приключениях крепостного парня, заеденнего помещиком и миром, часто вызывала слезы на глазах его товарищей по болотам и лесам.

Разумеется, сочинитель этой песни за всю свою жизнь пальцем не тронул ни одного из крепостных холопов. Он понимал отлично и оправдывал, как кругом него порют и бьют, и в солдаты сдают, и в Сибирь ссылают разных рабов, но сам ни разу в жизни не сделал никого несчастным.

И вот именно невидимая музыка в душе пожилого холостяка заставляла его так относиться к последнему писарю, к последнему дворовому, если он только был его товарищем по охоте, что все в Крутоярске относились к нему как к равному и, следовательно, часто грубили ему.

Жданов всю жизнь избегал женщин и смотрел на брак так же, как другой смотрит на поступление в монастырь. Жениться значило для него — заживо похоронить себя. Однако раз в жизни холостяк отдал сердечную дань.

Будучи по делам в маленьком городке почти на границе крымского ханства, он из жалости купил на базаре девчонку-караимку, болезненную и некрасивую, продававшуюся «на побегушки», т. е. как прислуга. Девчонке было всего 14 лет. Жданов купил ее с целью перепродать или подарить, но с тем, чтобы она попала

к добрым людям. Таких долго не находилось, и, не зная, куда девать свою покупку, он оставил ее на время у себя в доме в помощь своей стряпухе... А затем как бы забыл о ней...

Прошло года три, и Жданов, как-то однажды вернувшись с охоты, вдруг заметил, что караимка оправилась и стала очень недурна собой. В этот день на 17-летней девушке было новое красное платье и она бросилась ему в глаза поневоле.

Не будь красного платья, Жданов, может быть, еще долго не заметил бы преображения некрасивой девчонки в красивую девушку.

И он стал замечать ее чаще... т. е. обращать на нее внимание. Караимка оказалась скромной и очень не глупой, затем оказалась доброй, затем привязчивой, чувствительной ко всякой ласке.

Как-то вдруг однажды к вечеру Жданов, болтавший с девушкой о пустяках, заметил, что она «чудно» смотрит на него. Он испугался ее глаз... Он именно от таких женских взглядов всегда бегал еще смолоду. Жданов решил скорее продать караимку, чтобы сбыть с рук от «греха».

Но когда наступил час, условленный с соседом для продажи, случилось целое происшествие.

Караимка собралась топиться, предпочитая смерть разлуке с своим добрым и ласковым барином...

Разумеется, она осталась в доме и перестала быть на кухне.

Чрез два года у нее родился ребенок, названный по дню рождения Никифором, но еще чрез год после вторых родов и мать, и мертворожденная девочка были похоронены вместе.

После потери единственного любившего его существа Жданов снова по-старому избегал всех женщин на свете.

VIII

На следующий день уже после полудня Мрацкий ожидал в маленькой гостиной своего товарища-опекуна и главную мамушку. Он вышел из своей рабочей горницы, так как в ней никогда никого не принимал.

Расхаживая тихими шагами по гостиной, в ожидании приглашенных им на совещание, Мрацкий раздумывал, очевидно, о чем-то веселом или забавном, так как изред-

ка ухмылялся, то самодовольно, то презрительно. Наконец он подошел к окну, остановился и начал шептать вслух:

— Три мышеловки самые настоящие! На каждую мышку по одной! И в каждой мышеловочке по кусочку говядинки... Вся сила в том, хорошо ли наложены крючочки, хлопнут ли дверки, когда мои мышата глупые будут дергать говядину. Да, будет ли удача? Сомнение берет. Ну, да это хорошее дело. Как меня возьмет раздумье, сомнение, опасение за свой разум и за свою ловкость, так всегда удача пущая бывает. Относительно головореза Никишки бояться нечего. Он за сто рублей миллион продаст и после только разочтет, что потерял. Опасаться надо князька и Борьки. А уж для Никишки третья мышеловка так про всякий случай заготовлена. Господи помилуй, когда подумаешь, что все дело в этой тощей выдре Марьяне! Околей она за это время, была бы Нилочка одна на свете, приставил бы я к ней другую мамку, и были бы обе у меня в кармане. И был бы мой Илья крутоярским помещиком. За все эти одиннадцать или двенадцать лет не было ни одного случая Марьяну похерить! Вот, сказывают, теперь в Оренбурге бунтуют разная татарва и казаки, какой-то беглый каторжник выдает себя за покойного императора Петра Федоровича. На руку бывает это умным людям в их делах. Недаром пословица сказывает: «В мутной воде легче рыбу поймать». Да, кабы замутилось тут вокруг нас все, я бы в этой мути Нилочку как раз бы в невестки выудил себе.

Мечтания и шепот Мрацкого были прерваны скрипом отворяемой двери. Он обернулся. В горницу вошла Марьяна Игнатьевна.

Несмотря на жизнь под одной кровлей, Мрацкий и Щепина виделись изредка. Теперь уже дней десять не видели они друг друга. Дня три или четыре назад Мрацкий видел Марьяну Игнатьевну только из окна, когда она гуляла по дорожкам сада со своей питомицей.

— Здравствуйте! Как поживаете? — любезно выговорил Мрацкий.

— Ничего, слава богу! — отозвалась Щепина.

— Присядьте, Петр Иванович сейчас, вероятно, придет. Надо нам, Марьяна Игнатьевна, побеседовать о важном деле. Вы ведь тоже, так сказать, третий опекун.

Они сели к столу. Мрацкий вздохнул притворно и выговорил:

— Да, обуза немалая — чужого ребенка опекать!

Что ни сделаешь в его пользу, люди переиначут, добро злом сочтут, участие — корыстолюбием, строгость — притеснением. Да, тяжелое дело! А то еще и вором чужого имущества поставят. Вот как меня теперь! Опять стали говорить, что я — грабитель, разоряю Кошевую, а сам наживаюсь. Я чай, слышали, что с неделю назад в Самаре на бале предводителя про меня было сказано.

— Слышала, Сергей Сергеевич. Что вы покупаете новую вотчину в Рязани, что ли, в Пензе.

— Ну, да-с.

— Так ведь это же правда! — вымолвила сухо Марьяна Игнатьевна.

— Правда, матушка, я не скрываю, но извольте узнать — на какие деньги! Соль мне дает эти деньги, откуп дает, а не доходы крутоярские.

— Это, Сергей Сергеевич, никому не известно, какие деньги идут в ваш карман. Они не меченые. Кабы на каждом рубле стояла надпись «Нилочкин», тогда бы можно было разобраться. А то ведь рубль-то — все рубль. Что заработанный, что уворованный — он все один и тот же светляк целковый.

Мрацкий ничего не ответил. Подобные разговоры изредка, раза два в году, бывали между ним и Щепиной. Никогда эта женщина, наподобие других, не избегала прямых ответов, не скрывала своей мысли.

Она сама никогда не говорила людям, которых не любила, прямо и резко своего невыгодного для них мнения, но, когда ее вызывали на разговор вопросом, она отвечала прямо, что думала.

Мрацкий понял, что если он начнет оправдываться, то Щепина прямо скажет ему: «Уверена я, что все рубли — Нилочкины».

— Когда ждете к себе дорогого сынка, Бориса Андреевича? — произнес Мрацкий приветливо, чтобы переменить разговор.

— Вскорости жду.

— Не надолго?

— Уж не знаю, право... Желалось бы мне подольше его поглядеть, а там — как начальство.

— Полагаю я, что и Нилочка теперь с вами радуется — ждет не дождется Бориса Андреевича?

— Да, радуется...

— Ведь она его любит, обожает не меньше вас. Он ей, так сказать, брат родной.

И при этом Мрацкий ехидно глянул своими проница-

тельными и злыми глазами в строго-холодное лицо Щепиной.

— Да, конечно,— отозвалась Марьяна Игнатьевна.— Вместе росли, что брат с сестрой — как же не любить!

— Да, да... Именно братнина и сестрина любовь. Душа в душу ведь они жили, вместе игрывали, дрались, мирились, целовались... Борис Андреевич для Нилочки — самый близкий человек... Думаю, приглянись кто ей, первому вашему сынку поведает свою тайну... Прежде вас ему поведает, что сестра брату.

В словах Мрацкого, по-видимому, не было ничего, кроме приятного для главной мамушки, а между тем Щепина, несмотря на умение сдерживать себя, умение составлять выражение лица, какое ей хотелось, все-таки теперь не сдержалась,— брови ее сдвинулись, в глазах виднелся гнев. И это заставило Мрацкого подумать про себя: «Умная баба, а в этом дура! Думает, никому не ведомо! Чисто как тетерька, сунула голову в траву, а сама вся наружи и думает, что коли сама ничего не видит, так и ее не видно».

Мрацкий снова собрался заговорить что-то ехидное, судя по новому выражению, которое появилось на его лице, но в эту минуту дверь отворилась и вошел довольно высокий, плотный человек с сильной сединой в коротко остриженных волосах. Полное лицо было красновато, большие, добродушные, серые глаза смотрели сонно или были опухши. На нем было русское платье, кафтан, шальвары и высокие сапоги.

Это был Жданов, вернувшийся поздно с охоты, только что проснувшийся и поспешивший на приглашение товарища по опекунству. Он поздоровался с Мрацким и Щепиной, потом торопливо сел тоже к столу и, поглядев на них, начал улыбаться. Лицо его говорило:

«Ну, вот и я! Звали, беседуйте, я сейчас подмахну, если не рукой, так разумом. Что ни предложите, я сейчас готов с большим удовольствием».

И в эту минуту Жданов думал:

«Эх, остынет там все! Разогретое потом ешь!»

— С хорошим полем поздравить можно? — спросил Мрацкий.

— Да-с, да-с! — оживился Жданов.— Некуда девать! Две дюжины зайцев отправил в Самару, в подарок куму, две дюжины к вам, на кухню доставили, да еще две или три распределили по дому. Нынче к вечеру во вся-

ком-то крутоярском жителе в животе кусочек зайца будет!

— Нехорошо это, Петр Иванович! — усмехнулся Мрацкий.— Сказывают, заячье мясо есть не надо.

— Почему так?

— Сказывают, много его есть не надо. Трусливость в человеке от заячьего мяса распространяется. Сказывают, ешь человек всякий день зайца, то к концу года будет совсем ледащий... Трус, хуже малого ребенка.

— И, что вы! Полноте! — серьезно отозвался Жданов.— И сколько же я зайцев в год-то съем. Мое любимое блюдо! А ведь вот, кажется, не трус.

Мрацкий усмехнулся и подумал:

«Хорош пример выискал!»

IX

После паузы Мрацкий, переменив голос, несколько важно произнес, оглядывая гостей:

— Вот-с, просил я вас, Петр Иванович, и вас, Марьяна Игнатьевна, на совещание опекунское первейшей важности. Распространяться не буду, сами сейчас уразумеете, в чем дело. Позвольте вам прочесть письмо, полученное мною вчера от губернатора.

Мрацкий достал из бокового кармана бумагу и прочел ее вслух медленно и внятно. Затем он сложил листок, положил его в карман и вопросительно взглянул сначала на мамушку, а потом на опекуна.

И тот и другая молчали.

— Ну-с, что ж скажете?

— Да, что же-с... ничего-с! — весело отозвался Жданов.

Мрацкий перевел глаза на Щепину.

— И я тоже, Сергей Сергеевич, ничего сказать не могу... Послушаю прежде, что вы скажете.

— Извольте! Мое мнение будет такое-с, что князь Льгов жених завидный для всякой девицы, и, как бы Нилочка ни была богата, все-таки для нее это пара. Будет она княгиня Льгова, а ей при ее богатстве и при ее красоте только титулования не хватает. Князь — человек доброго нрава, тихий, любезный и неглупый, хорошим хозяином тоже будет. Чего же лучше желать?..

Говоря это, Мрацкий не спускал глаз с Щепиной, и, несмотря на старание той не выдать себя, он все-таки

заметил в лице ее полное изумление и внутренно улыбнулся.

— Стало быть, Сергей Сергеевич, если Нилочка скажет, что князь ей по сердцу, то и вы согласны будете? — спросила Щепина.

— Конечно-с, а вы разве не будете согласны?

— Что ж мне! Мне счастие моей Нилочки всего дороже. Коли ее счастие в замужестве с князем, так и господь благослови! Только мало я этого князя знаю... какой он такой, совсем не знаю... может, злой!..

— Что вы! — воскликнул Мрацкий.— Добрейшей души человек!

— Сказывали тоже — сильно зашибал он, кутил, безобразничал в столицах, а теперь в Самаре тихоней прикинулся.

— Вздор все! Пустое, Марьяна Игнатьевна. И какой же молодой человек живет монахом? Женится — остепенится!

Щепина ничего не ответила и с озабоченным лицом наклонилась над столом.

— Ну, а вы, Петр Иванович, как скажете? — обратился Мрацкий к товарищу.

— Я что же-с... Я ничего-с... Только, позвольте доложить, ведь если Нилочка выйдет замуж, то мы-то с вами сейчас, стало быть, отсюда вон? Нас сейчас, опекунов-то, побоку?

— Понятное дело, Петр Иванович! Да ведь не век же нам девицу опекать! Все равно — будет совершеннолетняя, мы должны подобру-поздорову убираться. Двумя, тремя годами раньше или позже,— не все ли равно.

Жданов ничего не ответил и протяжно вздохнул. Веселое и оживленное лицо его стало сразу печально.

— Не нравится вам это, Петр Иванович?

— Как же, помилуйте, нравится? — вдруг упавшим голосом выговорил добродушный холостяк.— Как же это будет нравиться? У вас, Сергей Сергеевич, состояние большущее! Вы вон все вотчины покупаете, а я-то ведь, извините, месяц тому назад даже дедовы золотые часы в Самару послал продавать. Выйду я из опекунов, что же мне делать? К иному богатому барину в доезжачие, что ли, наниматься?

— Кто же виноват, Петр Иванович? Сами вы состояние протрубили на охоте. Не вы одни! Сколько на Руси дворян в таком положении. Ездил в поле с собаками, трубил, трубил, да все и протрубил.

— Нечего было, Сергей Сергеевич, протрубливать, извините. Я сюда прибыл,— у меня, почитай, ничего не было, как и у вас. А вот теперь, извольте видеть, через каких-нибудь одиннадцать с лишком годочков, вы-то — богач, а я-то — нищий! Вы поездом целым, цугом, с обозом и с поклажей выедете отсюда прямо к себе в какую вотчину не хуже крутоярской. А я-то суму за плечи, лапти на ноги — и по миру. Будь у меня еще сын на службе, а то у меня приемыш, да и тот служит только утробе.

— Позвольте, Петр Иванович,— строго выговорил Мрацкий.— Из ваших слов выходит все та же клевета, ходящая в губернии, насчет моего грабительства. Позвольте, вы такой же опекун, как и я, все бумаги подписываете. Кто другой может на меня напраслину взводить, а вы — уж извините! Коли я воровал, так и вы воровали. Только я сберегал и сберег, а вы финтили и все профинтили. Коли вы себя почитаете вором,— ну, так я промолчу.

— Я, Сергей Сергеевич,— глухо выговорил Жданов, сильнее покраснев в лице,— чужой полушки никогда не присвоил и на том свете господу богу в этом смело ответ дам.

— Господь бог, Петр Иванович, в денежные расчеты людские входить не станет. Но все это не к делу. Я вас прошу выразить ваше мнение насчет сватовства князя и знать наперед, что вы ответите.

— Что же мне отвечать? Что я ни ответь, все равно мои слова ни значения, ни пользы иметь не будут. Вы желаете, чтобы Нилочка была княгиней Льговой? Кажется мне это очень сомнительным и необъяснимым; но это ваше дело. А вот Марьяна Игнатьевна и совсем молчит, ничего не сказывает.

— Мне нечего сказать,— вдруг выпрямляясь, вымолвила Щепина.— Я, признаюсь, тоже удивляюсь. Не думала я, что Сергей Сергеевич согласится Нилочку так рано замуж выдавать, да еще за первого посватавшегося за нее молодца. Подумаешь, князей-то больше и нет на свете! Не он — так другой через год-два навернется получше. Я в этом деле, скажу прямо, действовать не стану ни против князя, ни за него. И Нилочке тоже ничего советовать не буду,— как она хочет.

— Так-таки ни слова и не скажете? — спросил Мрацкий.

Щепина молчала.

— Нехорошо это, Марьяна Игнатьевна! Вы для Неонилы Кошевой все одно что родная мать. Вы отвечаете перед богом за ее счастие. Вы должны теперь этого князя разобрать по ниточкам и, в случае какая ниточка окажется вам сомнительной, сейчас нам скажите и питомице скажите. И если ниточка эта грозит будущему счастию вашей питомицы, то вы не должны соглашаться, должны упорствовать.

— Из всего этого выходит, Сергей Сергеевич, что вы желаете со своих плеч свалить дело на мои плечи, желаете, чтобы отказ произошел от меня или от Нилочки с моих слов и советов. А иначе и понять ничего невозможно!

— И так, и не так, Марьяна Игнатьевна! Я ничего особенного против князя Льгова не имею и готов дать свое согласие, бросить управление опекунское и уезжать из Крутоярска. Но если вы найдете князя женихом неподходящим, то я тоже настаивать не стану и соглашусь с вами. И мы будем ждать другого жениха.

— И всего бы лучше ждать! — жалостливо выговорил Жданов.— Право, лучше... Неужто уж другого-то и нету? Ведь вот и вы, Сергей Сергеевич, и вы, Марьяна Игнатьевна, знаете, что есть другие женихи... Знаете тоже, и про кого я сказываю...

— Это все, любезный товарищ, крутоярские пересуды бабьи. Уж если есть, так один жених, а не два!..

И Мрацкий вскинул ехидные глаза на Щепину.

— Уж если есть жених, так действительно один... настоящий,— выговорила Щепина,— но не самый подходящий, не самый вероятный, потому что Нилочка за него не пойдет... Она лучше в монастырь пойдет!

Мрацкий, умевший сдерживать себя, вдруг задвигался на месте, лицо его на мгновение исказилось от прилива гнева, и он выговорил, слегка поперхнувшись:

— Все девицы монастырями стращают, а их скрути, прихлопни да хоть за козла выдавай!

— Это, это не про Нилочку сказать! Таковое с ней приключиться не может,— глухо проговорила Щепина.— У Нилочки — я! А пока я жива, царапинки на ее пальчике никто не причинит, а не только что прихлопывать да крутить.

— Да и никто и не собирается, Марьяна Игнатьевна, успокойтесь! — рассмеялся Мрацкий ехидно.— Полагать надо так, что у Нилочки столько женихов, что в конце концов ни одного не останется! Перегрызутся

все вокруг нее, друг друга пожрут — и останется она одна-одинехонька.

Наступило молчание. Очевидно, все было сказано — и прямо, и намеками, и более не о чем было рассуждать.

Первый прервал молчание Жданов.

— Так как же-с, чем порешили?

— Да, собственно говоря, ничем. Будет губернатор с князем через три-четыре дня, будут свататься. Я буду свое согласие выражать. Вот Марьяна Игнатьевна свое несогласие по одной причине, а вы, Петр Иванович, свое несогласие — по другой причине. И причины эти, коим подобной у меня нету, совершенно законные: вам жаль опекунского места и деваться некуда, а у Марьяны Игнатьевны, может быть, другой какой жених на примете. Так ли, иначе ли, а вы двое будете против меня одного, ну, стало быть, князь и отъедет восвояси с арбузом в руках.

X

Вскоре яблоко раздора упало среди Крутоярска. Борьба началась. Через четыре дня после опекунского совещания во всей усадьбе было волнение и почти смятение среди всех ее обитателей. Обыденная жизнь Крутоярска, как и во всякой глуши провинции, шла настолько тихо, что малейшая новость или какое-либо маленькое приключение поднимали на ноги всех. А теперь в усадьбе было целое событие.

В доме, в комнатах, предназначаемых для приезжих гостей, остановились: отставной лейтенант корабельного флота Зверев и губернаторский родственник князь Льгов.

Появление Зверева было нечаянностью. Прежний опекун, когда-то отставленный благодаря клеветническому доносу, никогда не бывал с тех пор в Крутоярске. Теперь он явился в тот же дом, где когда-то был в продолжение двух лет главным лицом и полным хозяином.

Оказалось, что губернатор, интересовавшийся судьбой своего родственника, предпочел вместо себя послать своего хорошего приятеля — местного помещика.

Добродушный человек, уже старый, коварно удаленный когда-то от опекунства, и не думал мстить новым опекунам. Но теперь, когда молодой человек, князь Льгов, собрался предложить руку и сердце крутоярской

царевне, Зверев, зная хорошо, что за человек Мрацкий, с удовольствием взял на себя роль свата и покровителя молодого князя.

И Зверев, и князь явились в качестве простых гостей, заявив, что они заехали по дороге на один день. Так требовали приличия. Все знали цель прибытия их, но прямо высказывать это не считалось возможным.

Переодевшись с дороги, оба гостя отправились с посещением в левое крыло дома, к самому главному опекуну, и, просидев у него с четверть часа, беседовали обо всем на свете, кроме самой сути дела, по которому приехали.

Затем они посетили Жданова и у него просидели несколько больше, благодаря тому, что Жданов и Зверев были, пожалуй, одного поля ягоды: один во время оно, другой теперь — страстные охотники и оба — люди прямодушные и добрые.

Затем гости, спустя час, направились посетить помещицу крутоярскую.

Прием гостей был совершенно официальный. Нилочка, одетая в парадное платье, вышла в итальянскую гостиную с ее оригинальными окнами, с золотисто-голубой мебелью, и села под большой портрет во весь рост покойной императрицы Елизаветы. Вместе с Нилочкой в темном, тоже парадном платье вышла Марьяна Игнатьевна. За нею пять прежних наставниц, а ныне именовавшихся штатными барынями.

Нилочка села на большой диван почти по его средине. Марьяна Игнатьевна поместилась на кресле около дивана. За нею на простых стульях сели штатные барыни. Все были по левую руку от барышни-помещицы. Направо несколько больших кресел остались свободными. Женщины довольно долго молча сидели в ожидании опекунов и гостей. Наконец, после почти двадцати минут ожидания, всем им стало очевидно, что нечто должно было совершиться и задержать визит приезжих.

Нилочка переглянулась уже несколько раз с своей старшей мамушкой, как бы спрашивая ее, что значит замедление. Наконец раздался вдали, в большой зале, звук шагов, затем снова все стихло и снова наступило гробовое молчание.

— Что ж это, Маяня? — вымолвила Нилочка.

— Непонятно, да и неблагоприлично! — отозвалась сухо Марьяна Игнатьевна. И, обернувшись к одной из штатных барынь, она прибавила: — Лукерья Ивановна,

пойди, голубушка, скажи Сергею Сергеевичу — ждать нам или раздеваться?

Но едва только самая старая из всех штатных барынь двинулась с своего стула, как в зале раздался звук шагов нескольких человек, а через несколько мгновений в дверях из анненской гостиной в итальянскую показался Зверев и князь Льгов, а за ними — оба опекуна.

Марьяна Игнатьевна зорко и быстро окинула пытливым взглядом все четыре лица и подумала:

«Поспорили, должно, чуть не до драки!»

Действительно, все лица, за исключением лишь Жданова, были как-то странно оживлены. Зверев смотрел строго, но как добрый негодующий человек. Молодой князь имел несколько озадаченный вид. Мрацкий, вошедший с опущенными глазами, был бы любопытнее всех для всякого человека, увидавшего его в первый раз.

В иные минуты Мрацкий был именно любопытен тем, что лицо его не имело буквально никакого выражения. Оно ничего не говорило. Оно представлялось как бы под занавеской или под густым вуалем. И только одни крутоярские обитатели знали по опыту, что когда у Сергея Сергеевича лицо «деревянное» или «мертвецкое», то в эти-то минуты его и опасайся.

Гости раскланялись и сели по правую руку от хозяйки, а около них поместились и оба опекуна.

Зверев заговорил первый, что заехал в гости вместе со своим юным другом по дороге в Сызрань. Затем Зверев напомнил Нилочке, что давно, когда она была еще крошкой, он был ее опекуном.

— Я знаю, почти, могу сказать, помню,— отозвалась Нилочка.

— Ну, помнить-то вряд вы можете, вам было тогда очень немного... годка четыре. А вот Марьяна Игнатьевна, конечно, меня не забыла.

Щепина улыбнулась и, не глядя ни на кого, ответила:

— Еще бы не помнить! Мы с вами, Фома Фомич, дружно жили.

— Дружно, дружно,— быстро отозвался Зверев и прибавил: — Спасибо вам за то, что вы мое имя и отчество не забыли.

И Зверев заговорил с Щепиной, спрашивая про разных лиц из крепостных людей, которые в те времена были в Крутоярске. Оказалось, что многих из стариков уже не было на свете.

В ту же самую минуту князь заговорил с Нилочкой,

спросив, давно ли она последний раз ездила за грибами в лес. При первом же вопросе своем молодой князь таким проницательным и в то же время влюбленным взором посмотрел на Нилочку, что девушка закраснелась немного при первом же своем ответе.

Князь, высокий и стройный молодой человек, был не столько красив собой, сколько пригож. Большие, добрые, карие глаза, небольшой, как-то добродушно вздернутый нос, красивые губы с мягкой ласковой улыбкой и наконец приветливый вкрадчивый голос. Несмотря на свою гражданскую службу, князь носил мундир Измайловского полка, который, конечно, красил его.

И Нилочка, и князь оживленно разговорились о грибах, о том, что за лето было как-то особенно много мухоморов, о том, что опенки — грибы хорошие, но скоро прискучивают, оскомину набивают.

На основании этого разговора молодые люди пришли к убеждению, вполне несомненному и ясно выраженному с обеих сторон, что они сильно нравятся друг другу и, конечно, оба готовы венчаться хоть сейчас же.

Нилочка, видевшая князя уже не в первый раз, давно, в долгие скучные вечера, мечтала о князе, иногда видела его во сне. Это был единственный человек в настоящее время, за которого крутоярская царевна пошла бы замуж, как говорится, с руками и с ногами.

Князь, первый раз явившийся когда-то в Крутоярске, приехал познакомиться с богатой невестой, так как искал приданое, чтобы пристроиться. Но с первого же раза девушка настолько понравилась ему, что он был бы способен жениться на ней, если бы у ней было и самое маленькое состояние.

Побывав несколько раз после того в Крутоярске, он не каждый раз мог видеть Нилочку. Опекуны принимали его неприязненно, в особенности, конечно, Мрацкий. Однако за каждое свое посещение князь уезжал из Крутоярска под впечатлением, что он нравится Кошевой.

Теперь в один миг, благодаря беседе о мухоморах и опенках, он вдруг как-то особенно ясно увидал, что он не только нравится, а пожалуй, и любим девушкой.

Лицо князя Льгова сразу оживилось, стало еще приветливее и красивее. Он начал красно говорить о Петербурге, куда недавно ездил, и стал доказывать Нилочке, что ей бы следовало тоже побывать на берегах Невы и даже в качестве крупной русской помещицы-дворянки представиться монархине.

Князь вдруг обернулся к обоим опекунам и прибавил:

— Вот вам, господа опекатели и воспитатели, следовало бы свозить Неонилу Аркадьевну в обе столицы. Путешествие было бы и высокоприятное, и назидательное.

— На ум как-то не приходило! — выпалил наивно Жданов и при этом даже рот разинул, как бы сам себе удивляясь.

— Юной девице-сироте не полагается по свету мыкаться зря! — сухо выговорил Мрацкий.

— Ради любопытства и самопросвещения,— начал было князнь, но Мрацкий перебил его:

— Мы, опекуны, заведуем управлением всех вотчин, а что касается до воспитания Неонилы Аркадьевны, в этом ответственное лицо Марьяна Игнатьевна.

— Точно так-с! — отозвалась Щепина.— Я много раз последние годы предлагала побывку и в Москву, и в Петербург, но Сергей Сергеевич не нашел сего возможным, ссылаясь на большие расходы и недостаток казны в Крутоярске.

И тотчас же между Марьяной Игнатьевной и Мрацким завязался разговор, состоящий из коротеньких фраз, и каждая из них была шпилькой для другого.

— Выйдет Неонила Аркадьевна замуж и поедет куда ей заблагорассудится! — сказал наконец Мрацкий, чтобы кончить пререкания. И он прибавил, улыбаясь и обращаясь к Нилочке: — Так ли я сказываю?

— Совершенно так, Сергей Сергеевич! — ответила девушка, причем лицо ее из веселого и приветливого стало сразу холодно и неприязненно.

Зверев поднялся, за ним тотчас же князь, и оба стали раскланиваться.

— Вы сегодня у нас откушаете? — спросила девушка.

— Как же-с... если позволите... мы предполагали...— выговорил Зверев.

— Прошу сделать мне эту честь и прошу погостить в Крутоярске денька три-четыре.

После этих слов Нилочки наступило сразу гробовое молчание в гостиной. Все до единого человека, мужчины и женщины, были поражены этими словами. В первый раз опекаемая сирота выразила желание или свою волю, не спросясь ни у кого, не предупредив тоже никого.

От опекунов и мамушки до штатной барыни Лукерьи

Ивановны — все вытаращили глаза и устремили их на царевну.

А царевна сидела спокойно, с весело улыбающимся лицом, хотя с легким румянцем, заигравшим вдруг на щеках. И, глядя в лицо молодого князя, она как бы ждала прямого ответа.

— Если позволите... мы, конечно... Если на то ваше желание...— начал путать князь, почему-то тоже смутившийся, быть может, от мелькнувшей ярко надежды.

— Сделаете нам великое одолжение,— вымолвила Нилочка.— Мы тут живем так тихо, что рады гостям. А вы, Фома Фомич, и князь — тоже, хотя и незваные гости, а самые для нас дорогие... Позвольте мне просить вас пробыть в Крутоярске дня три-четыре и кушать ежедневно не у господ опекунов моих, а у меня.

Зверев и князь Львов поблагодарили, поклонились и двинулись из гостиной. Вслед за ними двинулись и опекуны. И Жданов на ходу нагнулся к маленькому Мрацкому и шепнул ему на ухо:

— Вот так блин!

Мрацкий ничего не ответил и бровью не двинул.

— А за блином-то сейчас чистый понедельник! — снова шепнул Жданов и начал смеяться.

XI

Когда гости вышли, Нилочка чинно поднялась с большого дивана, как бы с какого трона, и тихо двинулась, в сопровождении мамушки и штатных барынь, в свои горницы. Однако у дверей первой же ее горницы придворные дамы крутоярской царевны откланялись и отправились к себе.

Нилочка осталась у себя глаз на глаз с мамушкой и, веселая, все еще румяная, бросилась вдруг на шею к Щепиной и начала ее целовать.

Лицо Марьяны Игнатьевны, уже несколько мрачное еще в гостиной, стало теперь темнее ночи.

— Что ж ты, Маяня? Что ты такая?! — воскликнула девушка.

— Ничего, золото мое...

— Как ничего? Посмотри лицо-то свое!.. Ты будто гневаешься, что я вдруг так распорядилась по-хозяйски... стала приглашать гостей.

— Нету... Что ты?..

— Как — нету? Вижу... рассердилась... А за что же? Оба мои опекателя молчат, видно, что хотят выжить поскорей из дому и прежнего опекуна, и молодого князя. Да и ты молчишь... Нельзя же так... Невежество!..

— А знаешь ли ты, Нилочка, зачем они приехали? Я тебе об этом не сказывала...

— Точно, Маяня, не сказывала, но я знаю...

— Как?! Каким путем?! — воскликнула Щепина.— Кто посмел тебе мимо меня нашептывать?

Нилочка подпрыгнула раза два как ребенок, потом отбежала, села в свое кресло около угольного окна, выходившего в сад,— ее любимое местопребывание,— и вскрикнула смеясь:

— Садись, Маяня, садись вот сюда!..

Щепина с тревожным лицом быстро подошла, опустилась на стул и пытливо впилась глазами в лицо девушки. Она приняла ее на руки через несколько дней после ее рождения, знала почти семнадцать лет и теперь не находила... Ее Нилочка исчезла!.. Перед ней сидела какая-то другая девушка, которая и смотрит, и говорит совершенно иначе.

— Что с тобой? Христос с тобой! — выговорила Марьяна Игнатьевна, глядя на питомицу и совершенно пораженная превращением, совершившимся на ее глазах в несколько мгновений.

— Ничего со мной, Маяня... Рада я...

— Чему?

— А тому, что князь приехал, и тому, что свататься будет нынче или завтра... Фома Фомич за него говорить будет, а Сергей Сергеевич отказывать будет, а Петр Иванович охать и жалиться будет, но тоже петь в голос Сергею Сергеевичу. А ты опасаться будешь, что и человек-то князь, может, нехороший, и буян, и столичный головорез. Ну, и всякое такое...

— Ну, ну, ну?..— нетерпеливо и с тревогой в голосе выговорила Щепина.

— Ну, что ж... ничего!.. Всякий-то свое будет выводить...

— А ты-то, ты-то... сама что же?..

— Я-то?.. Я под опекой... Я ничего не могу!.. Как он мне ни приглянулся, как ни будь по душе,— что же я сделать могу?.. Да... одно я сделать могу...

Нилочка протянула руку, положила на пяльцы, стоявшие около ее кресла, точь-в-точь так, как императрица Елизавета на своем портрете держит руку над

скипетром, и выговорила, отделяя паузой слово от слова:

— Я... одно... могу... говорить... Нет... нет и нет!.. И... никогда... ни за кого... против воли... замуж не пойду... Годов князю немного, мне и того меньше. Хоть и четыре года подождем до моего совершеннолетия...

— Как ты смеешь так рассуждать? — вдруг вскрикнула Марьяна Игнатьевна, изменяясь в лице.

Нилочка вздрогнула. Взгляд ее сразу стал тревожным. Она откинулась на спинку кресла и широко раскрытыми, почти испуганными глазами смотрела, не сморгнув, в искаженное неведомым ей чувством лицо своей второй матери.

— С каких пор?.. Когда?.. Ничего не понимаю!..— выговорила Щепина, как бы сама себе.— Никишка-головорез тебя испортил, что ли? Когда ты так рассуждала? Опомнись!

Нилочка молчала мгновение, потом, не спуская глаз с мамушки, вымолвила взволнованно и недоумевая:

— Ничего и я не понимаю... Отчего ты так рассердилась? Что же я такое сказала? Разве прежде не ты во всем мое желание исполняла? Ты всегда спрашивала, как я хочу. А теперь вдруг...

— Да ведь это в пустяках было: ехать ли кататься, шить ли розовое или какое платье, приставить или отставить какую новую барыньку в штат... А теперь о чем ты языком болтаешь? Всю свою жизнь махом сама решаешь!..

— Да, всю жизнь! Так ведь это важнее грибов и катанья...

Марьяна Игнатьевна хотела что-то сказать, даже крикнуть, но слова замерли на губах ее. Она опустила глаза, потупилась и, очевидно, собиралась с мыслями. Она была положительно поражена всем происшедшим.

Нилочка стала смотреть в окно и тоже глубоко задумалась. И вдруг она заговорила вслух, как бы не помня себя и не зная, что высказывает громко свою тайную мысль:

— Потому что там что-то деется... Там загорелось... И в голове горит... Да, везде, везде!.. Я вся горю!.. Страшно всего, страшно всех... А вот он пришел, будто стал около, а я будто за него спряталась... И из-за него никто вы мне не страшны!.. Он мой приказчик и — что прикажет, то я и сделаю. Чудно это, диковинно... Ничего, ничего нету... никого нету... никого не боюсь!.. Да и чего

бояться?.. Ну, убьют!.. А быть живу, да без него, это... еще хуже смерти!..

— Как ты смеешь?! — хрипливо выговорила Щепина и разбудила девушку от какого-то очарованного бреда.

Нилочка снова вздрогнула, обернулась на свою мамку и испугалась... За шестнадцать с лишком лет она не видела у своей второй матери такого лица. Марьяна Игнатьевна была мертво бледна, губы ее дрожали. Она хотела что-то выговорить и не могла.

— Маяня! Маяня! — воскликнула девушка, вскочила и бросилась на шею к мамушке.

Но Марьяна Игнатьевна схватила обе худенькие ручки, ее обхватившие, и грубо стащила их со своих плеч. И Нилочка легко вскрикнула. Мамушка сделала ей больно.

И прежде чем девушка опомнилась, Марьяна Игнатьевна, быстро поднявшись с места, вышла из горницы. Она не владела собой, выдавала себя с головою благодаря тому, что забушевало в груди ее. Ей единственное было спасение — скрыться с глаз питомицы.

Нилочка не побежала за мамушкой, как бывало всегда с раннего ее детства. Когда ее Маяня сердилась за что, за какую проказу, шалость или каприз, Нилочка кидалась за ней, ловила ее за подол, хватала за руки и просила прощения, иногда со слезами, и отставала только тогда, когда добивалась примирения и ласки.

Теперь же ей и на ум не пришло бежать и схватиться за юбку мамушки. Ей будто кто-то сказал на ухо: «Оставь, ты не виновата!»

И Нилочке вдруг примерещилось, что будто у того, кто говорит, голос князя Льгова. Она тихо прошлась по комнате, потом приблизилась к окну, прислонилась лбом к холодному стеклу, и слезы показались у нее на глазах.

Почему она заплакала, девушка сама не знала... Ей хотелось плакать. Слезы эти были ей приятны, доставляли ей наслаждение. Но о мамушке в это мгновение она и не помышляла.

Усевшись снова через мгновение в свое кресло, Нилочка глубоко задумалась, понурилась и далеко умчалась горячими мыслями.

Скоро она была в каком-то удивительном месте, которое называлось столицею — Петербургом. Но она была не одна... Около нее, не покидая ее ни на миг, был князь Льгов...

И в этом удивительном городе, в золотом дворце, высокая, чуть не исполин, женщина в короне и порфире величественным голосом говорит Нилочке:

— Коли ты этого хочешь, дитя мое, то я приказываю тебя венчать. А Мрацкого и Жданова прикажу сослать в Сибирь!

XII

Между тем в эти же самые минуты в левом крыле крутоярских палат, в гостиной Мрацкого, шло почти такое же бурное объяснение между опекуном и гостем-сватом. Объяснение это было почти продолжением той неприятной беседы, которую они имели перед тем, как явиться с визитом к помещице. Собираясь идти в итальянскую гостиную, Зверев намекнул обоим опекунам о цели своего посещения вместе с князем Льговым. Мрацкий резко ответил, что Неонила Аркадьевна Кошевая пока еще не невеста, замуж не собирается, а если бы и собиралась, то ее не выдадут по малолетству.

Зверев в присутствии князя заявил, что Мрацкий не все послания к нему графа Разумовского помнит и что не мешало бы ему снова все предписания гетмана разыскать и прочесть.

Мрацкий сильно изменился в лице при этом замечании Зверева, но не ответил прямо, и несколько минут между ними шел резкий разговор о том, что опекаемая им помещица слишком молода, чтобы думать о замужестве.

На этом стычка прекратилась на время, отсрочилась.

Теперь же лейтенант в отставке, старый, добродушный, но вдруг оказавшийся упрямым и стойким, явился продолжать с Мрацким ту же самую беседу, но уже прямее. Он кратко и ясно объяснил опекуну, что приехал с князем Льговым, чтобы сватать его.

При этом Зверев счел долгом объяснить, что князь — завидный жених для всякой девицы, и, как бы Кошевая ни была богата, все-таки князь Льгов ей пара. И более пара, чем кто-либо другой в пределах Самарской губернии.

— Если и ходит молва о том,— заговорил Зверев холодно,— что есть у Неонилы Аркадьевны женихи, то должен вам заявить, Сергей Сергеевич, что эти женихи — срамота! Это шутовство одно!

Мрацкий, знавший отлично, что Зверев намекает

отчасти и на его собственного сына, не только вспылил, но даже остервенел. Всякий раз, что это случалось, Мрацкий, привыкший владеть собой, терялся. Его собственные силы, его умственное всеоружие покидало его.

Ему чудилось самому в эти минуты, что он становится даже глуп. И он давал себе время успокоиться, чтобы начать бороться и искусно парировать удары врага.

Так случилось и теперь. Остервенелый Мрацкий молчал несколько минут, но за эти минуты не мог успокоиться, так как Зверев просто, отчасти добродушно, но твердо объяснил Мрацкому, что никогда граф-гетман, интересующийся судьбой малороссиянки Кошевой, не допустит выдать ее замуж за неподходящего жениха, если бы даже она и сама того пожелала.

Молву, ходящую давно по Самарской губернии, что богачку Кошевую хотят почти насильно выдать замуж, действуя так из-за корыстолюбивых целей, он — Зверев — якобы считает праздной болтовней. Главный жених, измышленный для Кошевой,— «гороховое чучело».

Эти два слова были произнесены Зверевым отчетливо, с расстановкой, и при этом он глядел в глаза Мрацкому. Глаза говорили: «Гороховое чучело твой сын Илья!»

Мрацкий, успокоившийся было, снова остервенел и снова начал молчать и только тяжело пыхтел. Его оскорбляла главным образом смелость Зверева.

Отставленный, оклеветанный когда-то опекун мирно и тихо, не возражая, удалился в свое маленькое именьишко и считался и Мрацким, и многими другими за какую-то овцу, почти за дурака. И вдруг этот же Зверев явился в Крутоярск сватом князя Льгова и говорит прямо в глаза такие вещи, как если бы в упор стрелял из пушки.

Наконец Мрацкий, овладев собой, выговорил слегка все-таки дрожащим от гнева голосом:

— Очень вам мы благодарны за честь, но никогда Неонила Аркадьевна за князя не пойдет, а если бы она сама и пожелала, то я этого не допущу.

— Ну, вот-с, очень вам благодарны за сие последнее объяснение! — отозвался Зверев, улыбаясь.— Благодаря вашему выражению этому, мы можем объясниться короче и с полной ясностью. Тому назад с час я имел честь объяснить вам, что вы не все указания в письмах графа Кирилла Григорьевича помните... Если же вы

позабыли иные указания, то позвольте вам напомнить... Есть у вас письмо от графа, полученное года с два назад. Сказываю это на основании слов губернатора, коему все известно. В письме этом гетман пишет вам, что насильственно выдать Кошевую ни за кого он не дозволит, а если Неонила Аркадьевна соберется замуж сама за какого-либо дворянина, то вам, опекателям ее, ничего не предпринимать, не только препятствовать, а немедленно его сиятельству отписать. Запамятовали вы это письмо гетмана?

— Никогда такого не было! — отозвался Мрацкий глухо.— В Самаре его болтуны вилами на воде писали...

— Изволите ошибаться, Сергей Сергеевич... Такое письмо было! Впрочем, ваше запамятование не важно. Губернатор может тотчас отписать обо всем графу по поводу сватовства князя Льгова, и все дело разъяснится.

— Ну, так и извольте действовать, как вам угодно! — выговорил Мрацкий, поднимаясь с места.— А пока позвольте вас, в качестве неприятного гостя, просить вместе с князем сделать нам честь или удовольствие уезжать из Крутоярска до стола.

— И этого не могу, почтеннейший Сергей Сергеевич! Нас пригласила помещица крутоярская, хозяйка в доме. Если она не имеет прав распоряжаться своими вотчинами, то имеет право приглашать к своему столу, и это до ее опекунов не касается. Пригласила нас Неонила Аркадьевна с князем откушать у нее, и мы, хотя бы из одного благоприличия, обязаны.

— Но позвольте. Я вас...— выговорил Мрацкий, и хотя запнулся и не кончил, но было ясно, что он хотел сказать: «выгоню вон».

— Никогда! — отозвался добродушно Зверев, хотя лицо его изменилось.— Вы слишком умный и осторожный человек, чтобы заводить срамоту. Вы одумаетесь и поймете, как посмотрит на этакие ваши действия граф-гетман. Ну-с, вот и все! Честь имею снова просить вас пересмотреть все письма лица, власть имеющего и занятого сердечно судьбою Неонилы Аркадьевны.

— Повторяю вам, такого письма гетмана никогда не бывало и нет!

— А я повторяю вам, что такое есть. Честь имею кланяться.

Зверев спокойно вышел от озлобленного опекуна и, пройдя в верхний этаж, где были горницы для гостей, застал князя Льгова в волнении.

— Ну, что? — вскочил этот к нему навстречу.

— Объяснился и сказал все...

— Озлился небось? — спросил князь.

— Вестимо. Да нам-то что же... Мы уедем, но прежде все-таки свое дело обделаем. Сейчас за работу...

Зверев сел к столу и, очинив себе новое перо, стал писать большое письмо, скрипя по бумаге.

Князь сел в глубине горницы и задумался.

Он опасался еще вчера неудачи в своем предложении, не зная, как относится крутоярская царевна к нему лично. Сегодня в один миг он сердцем почуял, что сирота девушка очень благосклонна к нему. Стало быть, помеха только в опекунах, не желающих выпускать из рук: один — теплого местечка, а другой — и более того, всего состояния опекаемой, которую прочит за своего остолопа-сына.

За князя Льгова была его изящная внешность, его имя и титул, наконец его родственник — местный губернатор. Все удачи были на его стороне. Против него была дерзость Мрацкого и его предприимчивость, не разбирающая средств, а затем робкая природа запуганной сироты.

— Но робка ли она настолько, чтобы поддаться им? Запугана ли она ими совсем? — спрашивал себя князь.

И, вспоминая ее взгляд, когда она беседовала с ним, он невольно решал:

— Темна! Бог ее знает... А ведь все в ней. Скажи слово — и я могу похитить ее, обвенчаться в Самаре... А там не развенчают никакие опекуны.

XIII

В три часа, несколько позже обыкновенного, опекуны и гости появились снова в парадных апартаментах. В одной из двух больших зал был накрыт стол.

Разумеется, к обеду были приглашены и другие лица: две штатные барыни, двое нахлебников из дворян, Анна Павловна Мрацкая, ее сын Илья и две старшие дочери. Из всех главных обитателей Крутоярска отсутствовал только Никифор Неплюев, вдруг отлучившийся в Самару.

Обед прошел угрюмо. Беседа не клеилась. Все были возбуждены и враждебно настроены. Казалось, что за столом сидели не только два, а несколько враждебных лагерей.

И действительно, в желаниях и интересах присутствующих была полная разногласица. Если бы не молодой князь, весь обед разговаривавший поочередно со всеми и много рассказывавший о столицах, то обед мог пройти при полном молчании.

Не только Мрацкий, но и Щепина не давали даже себе труда скрывать свое неудовольствие и равно открыто неприязненно смотрели на двух незваных гостей.

После стола все перешли в соседнюю анненскую гостиную, прозванную так вследствие того, что в ней мебель и шпалеры были под цвет орденской ленты св. Анны. Приглашенные занялись поданными сластями, вареньем, смоквами и наливками.

Зверев подсел к Нилочке и стал тотчас же просить ее показать свои работы, рукоделия и затем, сказав, что он много слышал об ее способностях к рисованию, стал просить показать ему и князю все ее рисунки карандашом и пастелью.

Нилочка долго отказывалась, но на помощь к Звереву явился князь и стал настолько убедительно и настойчиво просить Нилочку показать рисунки, что девушка решилась и велела их принести. Их оказался целый большой портфель. Рисунков хороших было довольно мало, но гости, конечно, расхвалили все до небес.

Нилочка сначала не поняла, зачем, собственно, и Зверев и князь так настойчиво пристали со своей просьбой, но затем, когда Зверев снова стал складывать все рисунки в портфель на глазах у Нилочки, она сразу поняла все и вспыхнула.

Зверев украдкой ото всех присутствующих ловко вынул из бокового кармана сложенный лист бумаги и, многозначительно глядя ей в глаза, вложил его среди рисунков. Завязав и передавая все девушке, он тихо выговорил:

— Прочтите... Важно!..

Зверев сделал все настолько искусно, что никто ничего не заметил. Даже Марьяна Игнатьевна, не спускавшая глаз ни с князя, ни с прежнего опекуна, не заметила ни вложенной бумаги, ни роковых двух слов.

Просидев часа два, несмотря на то, что беседа тоже не клеилась, гости стали откланиваться. Зверев заявил от себя и от имени князя Льгова, что, несмотря на любезное приглашение хозяйки, они должны в тот же вечер выезжать из Крутоярска, так как дела, не терпящие отлагательств, ждут их в Сызрани. Нилочка насупилась

и не ответила ничего, но затем взглянула на князя. И взгляд ее сказал слишком многое не только молодому человеку, но и всем присутствующим. Этот быстрый взгляд девушки как будто говорил:

«Что ж? Все равно!.. Все-таки никакой перемены не будет. Мы нечто знаем, и все в наших руках».

После этого молчаливого, но красноречивого ответа и Мрацкий, и Марьяна Игнатьевна, одинаково пораженные, стали заметно смущены.

Через час после этого в трех разных горницах большого крутоярского дома происходило нечто особенное, чего никогда не бывало. Нилочка чуть не в первый раз в жизни заперлась у себя в спальне на ключ и, когда кто-то постучался в дверь, ответила кратко:

— Нельзя!

И даже не спросила, кто стучит.

Она сидела с письмом Зверева на четырех страницах. Бывший опекун подробно объяснил молодой девушке, что он приехал с молодым князем сватать его, что князь давно любит ее и просит ее руки. Ожидая отпора со стороны Мрацкого, он нисколько им не удивлен, но считает долгом объяснить молодой девушке то, что, конечно, ей совершенно неизвестно.

И Зверев повторил тут то же, что сказал самому Мрацкому,— доводил до сведения Нилочки, что она, на основании приказания графа Разумовского, может вполне располагать своей рукой и, в случае упорства опекунов или кого-либо другого, может прямо написать гетману нечто вроде жалобы. Доставить письмо в Петербург в собственные руки графа Кирилла Григорьевича брался, конечно, сам князь Льгов.

Молодая девушка была настолько поражена письмом Зверева, что долго не могла вполне прийти в себя. Ей казалось, что тяжелый гнет сразу свалился с ее плеч...

В те же самые минуты в кабинете Мрацкого, куда он никогда никого не допускал, кроме жены и старшего камердинера для уборки горниц, сидела не кто иная, как злейший враг его — Марьяна Игнатьевна.

Более десяти лет прожили они вместе в крутоярском доме и ненавидели друг друга и никогда не поверили бы, что придет день — и они сойдутся так, как теперь, и будут беседовать так, как беседуют теперь. Они глазам не верили, что сидят друг против друга и говорят такие вещи, что готовы не верить собственным ушам.

Общая опасность сразу, как по мановению жезла

волшебника, сблизила двух врагов. Когда они сидели за столом, то думали одну думу:

«Надо избавиться от князя, а там дальше видно будет...»

Марьяна Игнатьевна никогда не боялась замужества Нилочки за Илью Мрацкого, так как знала, что некрасивый и глупый Илья почти противен девушке; поэтому и не боялась всех ухищрений его отца. И вдруг теперь явился гораздо более опасный претендент. Но это бы еще ничего.

Главное, что поразило Щепину, было нечто вдруг проснувшееся в ее питомице. Марьяна Игнатьевна как умная женщина поняла сразу, в чем дело. Нилочка полюбила в первый раз в жизни, и вместе с любовью возникла в ней или проснулась где-то таившаяся воля.

Марьяна Игнатьевна, после краткой и бурной сцены со своей питомицей, почти потеряла голову. Она была в таком положении, как если бы Нилочка одевалась уже под венец и собиралась венчаться с князем Льговым.

Поискав мысленно исхода и спасения, Марьяна Игнатьевна ничего не нашла. Только одно было под рукой: идти, бежать к заклятому врагу Мрацкому, протянуть ему руку и начать борьбу вместе с ним против общего врага.

И, сидя за столом, Щепина решилась в тот же день безотлагательно объясниться с опекуном. Мрацкий, сидя за тем же столом, думал почти то же.

Он был глубоко уверен, что Марьяна Игнатьевна имеет громадное влияние на Нилочку.

Он не мог и предположить возможности того разговора, который был в этот день между мамушкой и питомицей, следовательно, спасение было в той власти, которую сумела захватить мамушка над своей питомицей.

«Надобно вместе отделаться от князя Льгова, а потом видно будет!» — думал и решил Мрацкий.

Когда Марьяна Игнатьевна послала сказать Мрацкому, что желает тотчас же быть у него, опекун несказанно обрадовался. Едва только женщина вошла к нему, как они уселись, и оба, кисло-сладко ухмыляясь, заговорили прямо, приступили к делу без обиняков.

Однако после нескольких же сказанных слов ясно стало, что помирившиеся враги ошиблись друг в друге. Марьяна Игнатьевна пришла просить помощи опекуна, а опекун находил только одно средство спасения в том влиянии, которое мамушка имеет над питомицей.

— Вы можете как опекун прямо воспротивиться и не дозволить ей и помышлять об этом князе,— заявила Марьяна Игнатьевна.

— Нет-с, не могу...

— Стало быть, не хотите?!

— Нет-с, очень хочу, но не могу! Никакого не имею права препятствовать, если за кого-либо соберется Нилочка замуж.

И когда Марьяна Игнатьевна заявила, что даже не понимает, что хочет сказать Мрацкий, то он раздражительно и озлобленно объяснил, что имеет прямое приказание графа-гетмана не препятствовать ни в чем молодой девушке при выборе супруга, а только доложить об этом тотчас же.

Марьяна Игнатьевна была поражена открытием. Она, конечно, и не подозревала никогда о таком распоряжении графа Разумовского.

— Следовательно, Марьяна Игнатьевна, вся сила в вас! Вы видите, что я ничего не могу сделать. Вы одна, пользуясь дочерней любовью и уважением Нилочки, можете все сделать. Вы можете, любя, остановить ее, не допустить подобного брака. Я же ничего не могу...

Марьяна Игнатьевна хотела сознаться в том, что в нынешний же роковой день она сделала невероятное открытие, но не решилась и промолчала.

— Поймите,— продолжал Мрацкий,— что если мы избавимся от этого князька, то у Нилочки останется два жениха и из них-то двух она и выберет кого-нибудь: мой сын и ваш сын. По всем вероятиям, она предпочтет вашего Бориса, так как мой Илья, на беду мою, остолоп.

Последнее слово Мрацкий выговорил с горечью и отчаянием. Ничего подобного никогда никто от него не слыхал. Марьяна Игнатьевна удивленно взглянула на него.

— Да, не удивляйтесь... В такую минуту подошло! Да, прямо бухнул... Остолоп! Дикобраз! Тюфяк! Уродись он в меня,— иное бы дело было. А где же ему с его рылом спорить с вашим Борисом? Стало быть, Марьяна Игнатьевна, нам судьба велит подружиться после долгого враждования, и я вам здесь же, сейчас же даю мое дворянское слово во всем вам помогать. Приедет вот ваш сынок, соберется за него замуж Нилочка,— я не только делом, но и словом препятствовать не стану, а сейчас же

отпишу графу Кириллу Григорьевичу о том, на кого пал выбор опекаемой мною девицы. Разумеется, Марьяна Игнатьевна, за это я попрошу с вас маленькое вознаграждение и теперь же его скажу. Вы дадите мне подписку и божбу, что после венчания, когда я удалюсь отсюда от всех опекунских дел, то мой Илья получит в подарок от вашей питомицы какую-нибудь вотчину. При ее состоянии одна вотчина — плевое дело. Идет ли у нас такой уговор?

Марьяна Игнатьевна, сильно волнуясь, собралась что-то сказать и не могла. Наконец она пересилила себя.

— Я, право, Сергей Сергеевич, никогда так не думала. Мой Боринька с детства был с Нилочкой... Он ей брат родной, а не жених.

— Знаем, знаем! Все это я часто вам сказывал и этим вам досаждал, шпильки подпускал этим родным братом! Знаю... Бросимте все это... Не до того теперь! Никакого тут родного брата нету, никаких родственных чувств таких, чтобы помешали браку, нету. Захотите вы, живо все повернется по вашему желанию. Знала она вашего Бориса мальчуганом, а ведь теперь приедет капрал, молодец, в мундире. Да и подучить вы его можете, да и наконец... эх, Марьяна Игнатьевна, будь я — вы, так у меня бы Нилочка через две недели была супругою Бориса Щепина.

И Мрацкий так странно глянул своими крошечными и лукаво злыми глазами в глаза Щепиной, что пожилая женщина вспыхнула и зарумянилась, как молодая девушка.

— Да-с! Да-с! Всякие средства есть для умных людей! Будь я мамушка Нилочки, да будь у меня сын такой, я бы их против воли женил. Так бы дело повел, что в этом бы все спасение было.

После этого объяснения наступила пауза. Обоим прежним врагам, которые теперь примирились, продолжая, конечно, ненавидеть друг друга, показалось, что они зашли слишком далеко, хватили через край, слишком высказались и дали каждый, в свою очередь, слишком опасное для себя оружие в руки другого.

Они расстались молча, ничего не обещая друг другу и как бы говоря своими угрюмыми лицами:

«Увидим — подумаем! Что будет — неведомо... Что-нибудь решим!»

XIV

В эти же минуты в правом крыле, в небольшой горнице, сидел и быстро, спеша, обедал только что приехавший из Самары приемыш опекуна Жданова.

Молодой человек, двадцати с чем-то лет, на вид, казалось, был гораздо старше. Ему можно было дать и все тридцать. Смуглое угрюмо-красивое лицо носило следы какой-то усталости. Казалось, что жизнь этого человека прошла в постоянных серьезных заботах, но выражение это было обманом.

Никифор Неплюев, напротив, провел свою жизнь в постоянных буянствах, кутежах и всяких диких затеях. Неплюев по фамилии, благодаря просто противозаконно купленным документам, был настоящий породистый крымский татарин.

Лицо отличалось резкими чертами, было крайне переменчиво, часто бывало чрезвычайно красивым и часто бывало крайне неказистым. Большие черные глаза с густыми черными бровями и длинными ресницами красили его, но несколько большой нос с горбом и как бы вечно поджатые губы портили лицо.

Когда Никифор весело болтал, рассказывал что-нибудь, вообще оживляясь, лицо казалось иногда добродушно-веселым. В минуты молчания и задумчивости оно становилось почти злое.

В действительности молодой человек был загадкой и себе, и другим. В душе он был не злой малый, а часто с увлечением доходил до крайне дурных поступков. Из него мог понемножку выйти то, что называется «лиходей».

Иногда и на словах, и на деле Никифор был добродушен, мягок и сердечен, но случалось это — и то, и другое — как-то зря. Он не раскаивался в совершенном злом деле и часто презрительно относился к совершенному им доброму делу.

Вдобавок у молодого малого было в душе больное место. Он тяготился и был подчас даже несчастлив тем, что он не русский дворянин, а татарин по матери, что всякий может этим упрекнуть его.

Никифор только что вернулся из Самары, куда его посылал названый отец — Жданов. Поручение, ему данное, касалось того же ожидавшегося сватовства князя.

Никифор должен был разузнать в Самаре все, что только было возможно о князе, его образе жизни, а затем

выискать такое лицо, хотя бы чиновника, подьячего, через которое Жданов мог бы войти в тайное соглашение с молодым князем ради личной выгоды.

Жданов хотел заручиться; ему пришло на ум, что он мог бы, помогая теперь жениху Кошевой, со временем сделаться другом князя Льгова и его жены и удержать за собой даровое существование в Крутоярске, разумеется, не в качестве опекуна, а в качестве простого нахлебника.

Никифор съездил в Самару, кое-что узнал и даже приискал подьячего, через которого его отец мог войти в переговоры с князем. Тотчас по возвращении Никифор сделал свой доклад Петру Ивановичу, а затем, усевшись обедать, послал мальчишку, прислуживавшего ему, попросить к себе в гости приятеля Илью Мрацкого.

Никифор и Илья вместе росли более десяти лет в крутоярском доме и называли друг друга приятелями, но в действительности никогда никакой приязни между ними не было и быть не могло.

Это были два молодых человека почти одних лет, но совершенно разного поля ягоды. Насколько Никифор был смышлен, если не умен, лукав и дерзок,— настолько Илья Мрацкий простоват, глупо прямодушен и робок.

Никифор жил и воспитывался на полной свободе, которую давал ему человек, любивший его. Илья, напротив, всю жизнь прожил под гнетом тяжелой руки отца. Многие дурные задатки в Никифоре развились благодаря поблажке отца. Многие хорошие стороны характера Ильи были заглушены вечной боязнью и вечным опасением наказания.

Если бы такие двое людей познакомились между собой в городе, то, вероятно, тотчас бы прекратили знакомство. Илья побоялся бы иметь такого приятеля, как Неплюев, а Никифор, со своей стороны, отнесся бы с презрением к такому лупоглазому тюфяку, каким был Мрацкий-сын.

Детство и юношество, проведенные в одном доме, сблизили их, но на особый лад. Никифор покровительственно относился к Илье, а Илья, боясь отца и не доверяя глупой матери, нес все свои задушевные мысли к приятелю Никифору и перед ним исповедовался в своих заурядных и мелких тайнах и мечтах.

Прождав теперь с полчаса Мрацкого, Никифор нетерпеливо поднялся, крикнул снова мальчугана Алешку и снова послал за Ильей.

— Скажи Илье Сергеевичу, чтобы он шел сию

минуту! Слышишь, чтобы сию минуту на рысях сюда был!

И Никифор нетерпеливо топнул ногой.

Через несколько минут в горнице действительно чуть не на рысях появился плотный и толстолицый Илья.

— Что ты?.. Что!..— почти пугливо произнес он.— Аль случилось что?!

— Какого черта случилось! А тебя, черта, не добьешься... Где ты застрял?

— С матушкой объяснение имел...

— О чем еще?

— Да вот, о князе... Ведь сватается!

— Знаю... Да вам-то двоим — тебе, дураку, и ей, дуре, о чем было толковать?.. Предоставьте Сергею Сергеевичу ведать все, а то, вишь ты, два болвана сошлись вместе, туда же — толкуют!

— Матушка мне, Никиша, сказывала все. Она мне наказывала, как мне себя теперь вести... насчет то есть Нилочки... Все это подробно мне разъясняла. Во-первых, говорит, я должен...

— Ах, скажи на милость! Он еще будет мне свою дичь выкладывать! Замолчи, чертова перечница! Стану я слушать, что тебе Анна Павловна наказывала!.. Ты лучше послушай, что я тебе скажу... Боишься ты очень своего тятеньки? Ну, отвечай же. Да встряхнись! — прибавил Никифор, подражая Мрацкому, так как часто слыхал, как тот при посторонних лицах говорил это слово жене.— Ну, очень боишься?..

— Вестимо, боюсь!

— Пойдешь ты говорить с батькой о важнеющем деле... так очертя голову, перекрестившись, была не была?.. Пойдешь, что ли?

— Не знаю...

— Ну, слушай... Как ты хочешь, хоть помирай от страху, а ступай ты к батьке своему и скажи ему так... Да ты не развешивай уши! Слушай! В одно глухое ухо впускай, а другое заткни пальцем, чтобы у тебя, что я скажу, в пустой голове хоть до завтрого бы пробыло. Ступай к батьке и скажи: Никифор, мол, говорит, напрасно вы им пренебрегаете... Взяли бы вы его к себе, на всякое он дело человек способный. Никифор говорит, что возьмется хлопотать и действовать... И так ли, сяк ли, а Неонила Аркадьевна выйдет добровольно замуж за дурака Илью Мрацкого. Запомнишь?

Илья глупо рассмеялся, широко раскрыв рот.

— Полно! Закрой глотку-то! Понял ли ты?

— Понял, Никиша. Что ж, этакое я не боюсь идти говорить...

— Ну, и слава тебе, господи!.. Что же ты скажешь, повтори!

— А пойду скажу: так и так, Никифор берется Нилочку за меня замуж выдать...

— Ну, что ж, пожалуй, хоть и так! Да чего ты, дурак, не скажешь, то твой отец сам поймет. Вот голова, не чета этой!..

И Никифор стал стучать Илью пальцем по лбу.

— Ты скажи, Никифор сказывает, такое надумал удивительное приключение, такую выискал веревочку, какою никакой черт никогда никого не перепутывал. Такая веревочка ахтительная, так я всех ею перепутаю по ногам, что ли, что все у меня кувыркаться начнут! А пока все будут кувыркаться, дело Илюшки Мрацкого наладится: кто подохнет, кто без вести пропадет, кто ума решится. А тем временем Илюшка Мрацкий с Неонилкой Кошевой обвенчается. А достопочтеннейший Сергей Сергеевич все состояние крутоярской царевны в руки заберет, потому, собственно, что, надо полагать, он своего Илью и женатого вместе с невесткой будет кнутом стегать до последнего своего издыхания и так, гляди, все дела устроит, что сам у собственного своего сына или у внучат единственным прямым наследником всего состояния окажется... Так понял ты, что я говорю?

— Понял, понял!.. Да как же это ты, Никиша, сделаешь?

— Вот дурак-то! Вообразил, что я ему сейчас все объяснять стану! Да если бы я и стал объяснять, так ты не поймешь ничего, оловянная голова!.. Ну, когда же ты к отцу пойдешь?

— Когда желаешь.

— Ну, завтра рано утром ступай. Сегодня, как я смекаю, у него и на душе, и в разуме все перетолчено... Уж очень, говорят, нонешний день крут вышел! Ну, вот завтра утром и ступай. Коли что заспишь, приходи рано утром, я тебе опять повторю, да прямо от себя свежеиспеченного и направлю к Сергею Сергеевичу. Да, впрочем, немудрено. Затверди одно: Никифор берется меня, дурака, на Нилочке женить, если вы только его к себе приблизите и с ним в совет и в уговор пойдете. Ну, вот теперь ступай! А я утомился от батькиных поручений в Самаре — спать лягу.

Илья с глупым недоумением на лице ушел от приятеля, а Никифор, дождавшись, пока шаги приятеля замолкли в соседних горницах, надел шапку, открыл окно, которое было аршина на четыре от земли, и огляделся в полумраке. Прямо под стенами левого флигеля начиналась чаща кустов сирени и акации.

Никифор прошел в соседнюю горницу, крикнул Алешку и приказал:

— Кто ни спросит,— батюшка или кто другой,— скажи, уморился, спать лег и ни за что себя будить не приказал. Разбудят — драться учну! И так до завтрашнего утра не смей ты тут шуметь, а всего лучше уходи куда!

— Слушаю-с! — пискливо ответил мальчуган, привыкший ежедневно получать здоровые колотушки от молодого барина.

Никифор вернулся в свою горницу и заперся на ключ, а затем снова отворил окно, перемахнул через подоконник и привычным ловким прыжком очутился на земле среди кустов сирени.

Здесь достал он длинный шест и им притворил рамы окна. Затем он припустился скорым шагом, а то и рысцой к селу. Миновав две, три избы, он приблизился к околице, перелез плетень и, пройдя двор, вошел в избу.

— Степан! — крикнул он громко.

Чей-то голос отозвался, и крестьянин низенького роста отворил дверь.

— Аксютка? — выговорил Никифор.

— Нету...

— Как нету?! — вскрикнул Никифор.

— Ее взяли.

— Куда?

— Обратно во двор.

— Что ты врешь?

— Ей-богу, взяли! И больше на огородах ставить не приказано... И мало что говорят! Диковина какая-то! Приходил мой мальчугашка, сказывает, прямо к Анне Павловне провели. Сказывали что-то такое удивительное, да я не понял... Платья, что ли, ей новые шить будут... ну, наряжать, стало быть...

— Что-о?! — протянул Никифор.

И он вдруг, совершенно бессознательно, ухватил крестьянина за ворот кафтана.

— Чур, барин! Я-то при чем же? Что вы! — ахнул крестьянин.

Никифор выпустил из руки ворот мужика и стоял перед ним несколько мгновений, молча и тяжело сопя.

— Чьи же это турусы? — выговорил он наконец.— Кто же это? Тот же Сережка Мрацкий! Больше никто! И вот уж хоть тресни, а ничего не разберешь! Ведь ее на скотный двор собирались поставить?

— Так точно! Так сказывали... А теперь вон наряжать хотят... Что ж, слава богу! Девка сердобольная, жалостливая... Слава богу!

— Тебе, черт, слава богу, а мне-то совсем не за что славословить.

Никифор повернулся и медленно пошел из избы, но вдруг остановился, обернулся и выговорил грозно:

— Да ты, может, врешь все?!

— Что вы! Господь с вами! Зачем мне врать! Да вы идите в палаты-то да и справьтесь.

— Это я и без тебя знаю...

Через четверть часа Никифор был в доме, на втором этаже центрального корпуса, где жили все штатные барыни и все нахлебники, и сидел в гостях у Лукерьи Ивановны.

То, что было нужно ему, он узнал сразу. Дворовая девка — первая красавица в Крутоярске, посланная в наказание на огороды с угрозой быть затем поставленной на скотный двор, была возвращена во двор, прощена, назначена в штат к самой барышне. И вдобавок Анна Павловна обласкала ее и приказала ей сшить два новых сарафана: красный и синий.

— Что ж это все значит? — два раза уже спросил Никифор у штатной барыни, старшей над всеми.

— Ничего, голубчик, понять нельзя! И все сказывают, что не это одно, а много чего будет диковинного. Сказывают, что такие деньки в Крутоярск пришли, что такое будет, такое... что у-у, господи!.. Никогда не бывало!.. Ну, просто тебе светопреставление.

XV

На другой день Жданов, вернувшись с охоты, послал за побочным сыном, чтобы снова переговорить о важном предприятии. Жданов окончательно решился перейти тайно на сторону князя. Сведения, собранные сыном, все были в пользу Льгова, да, кроме того, Никифор узнал, что губернатор собирается деятельно хлопотать ради дела своего родственника.

В Самаре даже ходил слух, что если опекуны будут очень противиться и принимать какие-либо противозаконные меры по отношению к опекаемой ими Кошевой, то губернатор сам поедет в Петербург, официально снесется с графом Разумовским и будет сватать князя Льгова.

— Я слышал,— объяснил Никифор,— что губернатор нисколько не сомневается в успехе, уверен, что одновременно и Мрацкий будет удален из Крутоярска, и свадьба Нилочки отпразднуется.

— А мы в дураках будем? Мне ты какого-то стрекулиста выискал.

— Сделал, что мог, батюшка. Дальше ничего не поделаешь.

— Пойми ты. Нам-то куда же?! Мы-то что же?! — воскликнул Жданов.— Главная сила в том, как мне загодя на сторону князя перемахнуть и в его благоприятелях оказаться. А ты какого-то подьячего выискал и, собственно, ничего не сделал и сам не узнал...

— Узнавал, батюшка,— возразил Никифор равнодушно,— и полагаю, что просто ни с какой стороны подойти нельзя. Если вы даже поедете к самому губернатору и будете предлагать всяческую ему помощь, то он вам ответит, что в нас не нуждается.— Никифор помолчал и прибавил, как бы нехотя: — Есть одно средство: мне с князем в дружбу войти. Да опять-таки не ради того, чтобы ему помогать в женитьбе... Ему на меня — наплевать тоже! А так, просто сдружиться. Это бы дело легкое, я сумею. Да другая тут помеха будет. Деньги нужны. А у нас их нету.

— На что деньги? — удивился Жданов.

— Как на что? Поехать в Самару, жить там, веселиться вместе с князем. В дружбу к нему влезть можно только со всякими затеями. Будь у нас деньги, я бы сказал — самому князю этому взаймы дать... Женится он на Нилочке — вдвое отдаст.

— Это все болтовня! — воскликнул Жданов.— Что вздор толковать! Какие же у меня деньги? Я хотел объявиться прямо его помощником. Ради того, стало быть, что якобы желаю его брака всем сердцем.

— Ну, а это ваше желание,— резко отозвался Никифор,— ему ни на что не нужно. Говорю, скажут вам все они, что и без вас обойдутся.

На этом беседа Жданова с приемышем окончилась. Петр Иванович задумался печально, и Никифор, с

легкой усмешкой поглядев на отца, собрался уходить.

— Куда же ты? — очнулся Жданов.

— Дело у меня. Что же сидеть-то...

И он пошел из горницы.

— Как же, Никифор, так, стало быть, все и бросать? — остановил его Жданов.

— Что же делать? — отозвался молодой человек.— Надумайте вот, как деньги достать. Я поеду в Самару, сдружусь с князем... Там видно будет. А больше ничего не придумаешь.

И Никифор, не дожидаясь ответа, вышел от отца и быстрыми шагами отправился через весь дом, миновал две пустые парадные залы и длинный коридор и, наконец, очутился в противоположном левом крыле дома. Здесь он прямо прошел в горницу Ильи Мрацкого.

Илья вскочил навстречу к приятелю и выговорил многозначительно:

— Я к тебе шел... был у отца... все сказал... Не знаю, как у меня храбрости хватило.

— Ну... ну?.. Что же?

— Батюшка приказал тебе к нему сегодня же зайти, когда хочешь.

— Что же он тебе говорил? — улыбнулся самодовольно, но лукаво Неплюев.

— Ничего. Я говорил, а он молчал. Да и я недолго говорил... Стал было пояснять, батюшка сказал: «Полно турусы разводить! Я — не ты, дурак, сразу понял все. Скажи Никифору — приходить ко мне. С ним я и перетолкую. А с тобой мне не о чем толковать...» Ну вот и ступай к нему.

— Так я сейчас пойду.

— Ступай!

Никифор двинулся к горницам Мрацкого. Лицо его стало тотчас же несколько сумрачнее и как бы боязливо. Он приостановился перед дверями первой горницы, постоял немного, будто соображая, как войдет и что скажет.

— Иуда! С ним не свой брат! — пробурчал он себе под нос.

Через минуту старик Герасим уже доложил Сергею Сергеевичу о Никифоре. Мрацкий вышел из своей рабочей комнаты в гостиную.

— Здравствуй! — встретил он Никифора.— Садись

и поясняй, что нужно. Мой Илья недорого возьмет все переврать. Что тебе нужно от меня?

Никифор сел против Мрацкого и, несколько смущаясь, что бывало с ним крайне редко, не знал, с чего начать.

— Вам Илья говорил. Стало быть, вам известно.

— Ничего мне не известно...— сухо отозвался Мрацкий,— был ли Илья, не был ли,— считай, что не был, и начинай сам сызнова: что тебе нужно? Да ты не увертывайся и не робей, говори прямо. Что красной девкой прикинулся! Тебе это и не к лицу. Махай все прямо, начистоту. Коли что покажется мне неподходящим, прямо так и откажу и никто ничего знать не будет.

— Вы не осерчайте, Сергей Сергеевич. Я из желания быть вам приятным...— начал Никифор.

— Знаю, знаю!.. Ты малый смышленый, с тобою дело иметь можно. Сказывай, говорю, прямо, не вертись, как бес перед заутреней. Сказывай коротко и толково.

Никифор, несколько путаясь и запинаясь, передал Мрацкому, что готов ему верой и правдой служить в важном деле.

— В каком деле? Говори начистоту или уходи!

— Желаете вы, Сергей Сергеевич, конечно, чтобы ваш Илья женился на Неониле Аркадьевне?

— Желаю! — коротко отозвался Мрацкий, не сморгнув.

И по лицу его Никифор не мог никак догадаться, что в эту минуту на уме хитреца.

— Вам известно, что у Неонилы Аркадьевны два жениха, как сказывают в Крутоярске: князь Льгов и Борис Андреевич. Она может предпочесть их Илье.

— Есть еще и третий, любезнейший,— прибавил Мрацкий.— Кто третий, я чаю, знаешь?

— Никак нет-с...

— Ты!

— Полноте шутить, Сергей Сергеевич.

— Зачем шутить? Во всем Крутоярске известно, что всех женихов четверо.

— Я об этом и помышлять не могу сметь. Я — безродный... Всем это ведомо.

— Ты из молодых, да ранний... Скороспелка! Тебе палец в рот не клади! Будешь ты мне здесь клясться и божиться и распинаться, что никогда не думал о том, чтобы тоже закидывать глаза на Нилочку,— и я тебе не поверю. Ну, сказывай дальше, что у тебя на уме?

— На уме у меня, Сергей Сергеевич, каким путем Неониле Аркадьевне выйти замуж за Илью вашего. Как избавиться от князя и Щепина.

— Ну, как же?

— Я вот за это возьмусь, ответствуя головой.

— Что?! — удивился Мрацкий.— Ты возьмешься?

— Точно так-с...

— Да что же ты сделаешь?

— Да уж это, извините, мое дело! Это вам не должно быть известно... чтобы вам быть в стороне в случае какой незадачи. Я берусь, и в самом скором времени из трех женихов останется у барышни Кошевой, именуемой царевной, один...

— Что же, ты убьешь, что ли, обоих?

— Если бы этакое и приключилось, Сергей Сергеевич, то не ваше это дело... Я на убийство, вестимо, не пойду...

— Наймешь, что ли, каких головорезов, похерить их. Так я на этакое дело не пойду. Я думал, ты умен, а ты — дурак! Убить иного человека бывает, правда... дело не глупое. А вот собираться убивать самое глупое дело...

Неплюев не понял, и на его вопросительный взгляд Мрацкий выговорил:

— Попадешься ты, попадусь и я — и все пойдет к черту? Срамота да еще и суд. Я думал, ты, Никифор, умнее.

— Никого я, Сергей Сергеевич, нанимать убивать не стану! Так все обойдется, что и я останусь в стороне, только глядеть буду. А верно вам сказываю — из двух женихов ни единого не останется... Останется один... Коли угодно вам, я ваш слуга; не угодно — не надо!

— Поясни, и я, пожалуй...— нерешительно выговорил Мрацкий и запнулся.

— Ничего, Сергей Сергеевич, пояснять я не стану! Вы — человек умнеющий, я тоже не дурак,— зачем лишние слова тратить? Я вам предложение делаю и отвечаю, что не обману, а как и что... увольте рассказывать.

Наступила пауза, после которой Мрацкий вымолвил тихо:

— Ладно! Ну, сказывай второе. Ведь ты не все сказал! Второго-то еще не говорил.

— Чего второго?

— Ломайся... Второе-то!.. Что тебе за это будет пообещано. Ведь не даром же ты стряпать будешь?

Небось ведь попросишь что-нибудь! И по всей вероятности. попросишь денег.

— Точно так-с... И не мало денег!

— Ну, ладно, когда все сделаешь, тогда и приходи.

— Нет, Сергей Сергеевич, в том-то вся и сила, что деньги нужны теперь.

— Ну, это, брат, опять скажу: я думал — ты умнее! Ты, стало быть, думаешь — можно посулами выманить у меня деньги зря, как у старой барыни какой.

— Нет, Сергей Сергеевич, первые же сто рублей, какие вы дадите, вы увидите, как я истрачу, и вторые — дадите еще охотнее. А третью, четвертую, пятую сотню — еще охотнее. И при этом увидите, что деньги не остаются у меня в кармане, а все идут на ваше дело.

— Что же ты, черт, на них делать будешь? — вскрикнул Мрацкий.

— Я на них, Сергей Сергеевич, буду первый приятель Бориса Щепина и первый приятель князя. И они оба будут моими первыми приятелями. И вместе мы втроем начнем чудеса в решете показывать всей Самарской губернии. От этих чудес дым коромыслом пойдет! Неонила Аркадьевна первая чувств лишится от омерзения. Марьяна Игнатьевна повесится на каком гвозде со зла. Сказать просто, на ваши деньги я заверчу и Бориса и князя и в такую трясину с ними увязну, что лишь бы самому уцелеть... Себя не пожалею! Коли себя жалеть, то и другому никогда ущерба не сделаешь... Надо махать вот как... Надо...

Никифор запнулся и замолчал. Мрацкий тоже долго раздумывал и не отвечал ни слова.

— Сколько же ты у меня денег переберешь? — выговорил он наконец.

— Не знаю, Сергей Сергеевич... Может, до тысячи рублей дойдет. Но ведь вы прежде-то дадите сто или двести и увидите сразу, стоит ли мне еще-то давать. Стало быть, потеряете-то вы немного. А я так полагаю: с первой же подачки вы увидите, что моя затея денег стоит. Сами посудите — похерить двух женихов у Неонилы Аркадьевны, чтобы один остался... Ведь это, воля ваша, подороже тысячи стоит!

Мрацкий усмехнулся какой-то странной улыбкой, встал и выговорил тихо:

— Обожди.

Он вышел в свою рабочую горницу, а Никифор,

поднявшись, тоже подошел к зеркалу и, взглянув на себя, самодовольно улыбнулся.

Не прошло двух минут, как Мрацкий вошел снова и передал Никифору небольшой мешочек из серой парусины, круто перевязанный веревочкой. На мешочке виднелась черная цифра: 100.

— Вот! — выговорил он.— Не оловянные! Начинай. Обманешь — черт с тобой.

Никифор взял тяжелый мешочек с серебряными рублями и спрятал их на груди в боковой карман кафтана. Через мгновение он уже быстрыми шагами двигался по дому с совершенно счастливым лицом.

«Если и ничего не выйдет,— думалось Мрацкому,— то все-таки деньги мои не пропащие! На них сам молодец свертится, и все-таки одним женихом меньше будет... Но надо полагать, что польза будет. Уж очень хитер и злюч этот головорез. Недаром от полтурки уродился».

XVI

Через два дня праздно-скучная жизнь в Крутоярске была прервана неожиданной новостью, почти целым событием для всех обитателей. Около десяти часов утра влетела во двор взмыленная тройка ямских лошадей, и из небольшого тарантаса вышел на главный подъезд никому не знакомый гость, в не виданном еще мундире.

Люди, находившиеся в передней, не могли сразу узнать прибывшего, но вскоре затем некоторые весело выскочили на двор вынимать вещи из экипажа, другие же стремглав пустились во все края дома вестниками радостного происшествия. Прибывший был всеми любимый Борис Андреевич. Трое из людей бросились наперегонки, смеясь и задерживая друг друга, чтобы известить прежде всего Марьяну Игнатьевну, так как Щепина давно обещала целковый тому, кто первый объявит ей о приезде ее Бориньки.

Люди, ворвавшиеся вместе в горницы главной мамушки, застали Марьяну Игнатьевну в сердечной и тихой беседе с барышней.

— Борис Андреевич! — вскрикнули они в один голос.

Марьяна Игнатьевна вскочила, слегка изменилась в лице и быстро двинулась, а затем уже почти побежала на главную парадную лестницу. Вслед за ней полетела и Нилочка.

Навстречу обеим по лестнице поднимался стройный молодой человек в красивом мундире. Марьяна Игнатьевна вскрикнула, всплеснула руками и со слезами стала обнимать бросившегося к ней сына.

Через несколько мгновений она отстранила его от себя, присмотрелась к нему и расплакалась еще сильнее. Если бы Щепина не была предупреждена, то она положительно не узнала бы родного сына, которого не видала немного более двух лет,— настолько изменился молодой человек.

Стоявшая за своей мамушкой Нилочка тоже удивленно смотрела на молодого капрала и не верила глазам: это ли тот Борнnька, с которым она провела все детство.

Наконец семеновский капрал, снова расцеловавшись с матерью, вскрикнул:

— Нилочка!

И он кинулся обнять и расцеловаться с подругой детства, но девушка, смущаясь и закрасневшись, как-то сухо поздоровалась с ним.

Через несколько минут Борис сидел, однако, в горницах, занимаемых Нилочкой, как если бы был в действительности ее родной брат. И мать, и подруга детства забрасывали его вопросами о столице, службе и о всех мелочах полковой жизни. Борис отвечал, рассказывал, рассуждал... И обе женщины, любившие его, все более удивлялись, насколько может перемениться человек за такой сравнительно все-таки короткий срок времени. Давно ли — казалось, только несколько недель назад, по милости однообразной жизни Крутоярска,— проводили они по дороге в Самару скромного и отчасти робкого юношу, который горько плакал, отправляясь в Петербург, представлявшийся ему хуже Сибири. Юноша, воспитанный под крылышком любящей матери, около не менее любящей его полусестры,— теперь был совсем молодчина капрал. Он вырос, вошел в тело, казался плечистее и мужественнее, а лицо слегка будто похудело: юношеская опухлость или кругловатость щек и скул исчезла, и оно стало более сухо и более осмысленно. Вместе с тем и голос, и ухватки Бориса были другие. Он выражался резче и громче. Изредка отвечая матери, он как бы отчасти лукаво усмехался. Он чувствовал, что и ему теперь заметна и забавна перемена, происшедшая в нем. Но он впервые увидел или заметил это только теперь здесь, в Крутоярске. В Петербурге это и на ум не приходило.

— Как ты переменилась, Нилочка,— вымолвил он, ласково глядя на девушку.

— А ты-то... ты! — отозвалась Нилочка.— Узнать нельзя.

— Ты похорошела... Совсем барышня, не девочка.

— И ты тоже... Тоже...

Но Нилочка не знала, как выразить свою мысль. Борис Щепин казался ей именно мужественным, более мужчиной, нежели когда поехал на службу.

— Ты, Боринька, совсем офицер, а не мальчуган,— сказала мать.

— Ну, до офицерского-то чина еще далеко,— ответил Борис.— Ну, что у вас, как... Что Мрацкие, Жданов, Никифор?..

И Щепин, в свою очередь, расспросил все обо всех обитателях Крутоярска, но получил от матери и Кошевой один и тот же ответ: «Все по-старому!»...

— Одна только новость у нас,— странно выговорила Марьяна Игнатьевна.— Князь один самарский за Нилочку сватается. Очень ему ее поместья и вотчины по душе пришлись.

Девушка слегка смутилась, но не покраснела, а лицо ее стало серьезнее, и она с упреком взглянула на мамушку.

— Что же, давай бог... Пора ей замуж,— воскликнул Борис.— Скорей опеку долой!

Но, присмотревшись к лицу матери, Борис прибавил:

— Неподходящ? Дурной разве человек?

— Напротив... Очень хороший...— вымолвила сухо Нилочка.

— Что же мы знаем о нем? На девичьи глаза хорош, потому что хват и речист,— раздражительно произнесла Щепина.— А больше мы ничего не знаем.

— Ну, что же? Узнайте... Я вам все разузнаю... Коли дурная слава о нем в Самаре — в один день узнается. А если человек хороший, то надо Нилочке за него. Княгиней будет. Как его фамилия?

— Князь Льгов,— вымолвила девушка.

— Льгов! — воскликнул Борис.

— А ты его знаешь? — удивилась Нилочка.

— Нет... Но... Нет...

И Борис замялся.

— Ты этого князя Льгова знаешь,— сухо произнесла Щепина.— Почему же ты заикаешься... Что-нибудь ху-

дое знаешь о нем, чего сказать не хочешь... или ты не можешь сказать при Нилочке? Так после мне скажешь...

— Князь Льгов, матушка, про коего я думаю, очень хороший человек. Такой добрый малый, каких на свете мало водится. Но тот ли это? Моего зовут Николаем, и он офицер Измайловского полка.

Щепина насупилась, а Нилочка улыбнулась и выговорила весело:

— Этот самый и есть. Этого зовут Николай Николаевич, и он этого полка, как ты говоришь.

— Отличный малый. Давай бог тебе за него замуж выйти,— воскликнул Борис.— Да он совсем-таки взаправду сватается или это одни ваши деревенские толки? У вас тут...

— Ах, полно, пожалуйста! — прервала Щепина.— Не успел приехать и уж меня сердишь. Ты, выходит, лицом только стал мужчина, а разумом-то все еще малолеток. По чему такому этот князь диво дивное? Скажи. Докажи. Что он дивного сделал в Питере? Ведь зря болтаешь...

— Его все хвалят, матушка, в Измайловском полку. Товарищи жалеют, что он ушел...

— Не с кем им, что ли, безобразничать теперь? Коновода нет?

Борис удивленно взглянул на мать.

— Да вы-то что худого об нем знаете? — спросил он наконец.

— Ничего, Боря. Ничего! — холодно ответила Нилочка.— Это наши крутоярские переплеты... Вот поживешь — увидишь, но ничего не узнаешь и не поймешь. Почему Маяня не хочет, чтобы я выходила за князя замуж,— она не говорит. А все только сказывает, что князь худой человек. Сказать же про него худого ничего не имеет. И выходят это — крутоярские переплеты... И чем все это кончится — я уж не знаю! — грустно добавила Нилочка.

Наступило молчанье.

Марьяна Игнатьевна сидела сумрачная и опустив глаза. Борис смотрел на мать с недоумением. Наконец Щепина поднялась и вымолвила, вздохнув:

— Ну, там видно будет... что и как... А пока, Боринька, пойдем в твои горницы... Уберешься с дороги, поди к Сергею Сергеевичу и к Петру Ивановичу.

— Да. Надо сейчас же... Обидятся... Я только переоденусь...

И молодой человек поднялся и пошел вслед за матерью, но у дверей он обернулся, поглядел на Нилочку и радостно улыбнулся. При этом он сделал едва заметный жест рукой, указывая на мать. Нилочка усмехнулась, и лицо ее, за минуту скучное, оживилось. Она увидела нечто давнишнее, знакомое, что вызвало в ней старые воспоминания детства. Бывало, когда Марьяна Игнатьевна сердилась на них, на нее и на Бориса, то они имели обыкновение друг дружке показывать так на нее украдкой, как бы говоря:

«Ничего! Пройдет!»

Этот жест за спиной Марьяны Игнатьевны был одною из их детских тайн, и теперь Борис нарочно напомнил своему другу и полусестре одну из этих невинных выходок детства.

Но когда Кошевая осталась одна, она снова задумалась глубоко.

Тогда все были шутки, думалось ей. А теперь подошло время тяжелое. Тогда были у нее враги, но было одно верное прибежище — Маяня. Заступница против всех. Теперь же эта мамушка и вторая мать против нее тоже. И она окончательно сиротой, одна-одинехонька. И люди совсем чужие становятся ближе близких. Чужой человек Зверев стал сразу близким и ратует за нее. А чужой человек князь Льгов стал чем-то... особливым для нее. За него она готова на все... на всякие подвиги. Откуда смелость берется, которой прежде не бывало? Что же с ней приключилось? Какая-то перемена в мыслях и в чувствах... Это — любовь!

И крутоярская царевна, еще недавно спрашивавшая тайком у горничных девушек, кто из них кого любит, за кого метит выйти замуж, добивавшаяся из разговоро́в с ними уразуметь, что это за чувство такое ими движет, заставляет их радоваться и горевать несказанно, теперь сама, сразу, неожиданно очутилась под властью такого же именно чувства.

Но в ней любовь проснулась по-своему... Чувство в самый краткий промежуток времени выросло, окрепло и овладело настолько всем ее существом, что все мысли были вытеснены из головы одной мыслью о князе Льгове.

Между тем, пока Нилочка сидела задумавшись у себя, а затем, достав письмо Зверева, которое она уже знала наизусть, начала снова перечитывать его, Щепина с сыном уже успели переговорить о князе.

Марьяна Игнатьевна, введя сына в его горницы, тотчас же строго спросила:

— Ты знаешь хорошо этого князя?

— Знаю, матушка,— ответил Борис, смущаясь.— Знаю мало, видел два раза... Но должен его любить и быть ему вовеки благодарным. Да и вы тоже... Он меня чуть не от смерти спас.

— Как от смерти? — воскликнула Щепина.

— Да, матушка, не хотелось мне это вам рассказывать. Думалось, не придется... Но если ныне дело пойдет на то, что вы против него стоите, то я вам все скажу... Но теперь увольте. Только что приехал. А это длинно рассказывать. Ну, завтра, что ли...

— Когда же? Когда же он тебя спас? Когда это было?

— Да только что я в Питер приехал; месяцев шесть еще не прошло.

— Да что же именно? Скажи хоть слово.

— Меня, матушка, могли убить... А князь Льгов заступился... Потерпите до завтра! — усмехнулся Борис.

Щепина опустила голову, и видно было, что она поражена признанием сына.

— Да ведь это, может, пустое и глупое приключение,— произнесла она.— И он вовсе не благодетель тебе какой. Услуга товарищеская в пустом деле. Пустяки.

— Нет. Не пустяки. И я у него в долгу. Мы в долгу. И вам против него грех идти — в чем бы то ни было, не только в таком важном деле, как сватовство. Коли он сватается, то, стало, любит Нилочку истинно. Он не такой, чтобы закидывать глаза завидущие на ее вотчины и деньги. А мне так даже и бог велел ему быть теперь в помощь. Надо отплатить добром за добро. Обратится он ко мне теперь, я за него горой стану против Мрацких и других.

— И против меня, матери родной? — вскрикнула Марьяна Игнатьевна.

— Что вы, матушка... Зачем... Да и вы за князя будете стараться.

— Я?.. Я, глупый! Я буду Нилочку прочить за Льгова?! Помогать ему, когда Нилочка должна быть женою другого, мною ей в мужья нареченного уже лет с десять?!

— А у вас, стало, есть свой жених для Нилочки?

— Вестимо, есть.

— Да коли она его не захочет, вашего-то...

— Захочет... Я заставлю...
— И ваш-то этот любит Нилочку?
— Любит.
— Да стоит ли он князя-то?
— Стоит. Нилочкин жених, мною нареченный ей,— ты.

Борис вскочил с места, стал пред матерью как вкопанный и, широко раскрыв глаза, глядел на нее с бессмысленным выражением в лице.

— Что вы, матушка? — выговорил он наконец тихо.

— Коли ты малоумок, то у матери за тебя разум был и теперь будет,— глухо проговорила Щепина.— Да, Нилочка должна быть твоей женой. Тебе должно быть в этом доме хозяином, крутоярским помещиком, а мне быть не мамкой Неонилы Кошевой, а свекровью.

— Этого никогда не будет, матушка.

— Что?!

— Не будет. И Нилочка не захочет меня в мужья. Да и я... тоже.

— Не захочешь ее в жены?

— Какая же она мне супруга? Она мне что сестра.

— Все это вранье крутоярское... Сестра?! Заладили дураки — сестра да сестра. Ну, и любитесь как брат с сестрой,— повенчаться это не помехой.

— Нет, я на это не пойду. Нилочка меня не захочет в мужья, а насильно венчаться я с ней не стану.

— Так ты мне тогда не сын! Я от тебя откажуся... Я... я тебя тогда... прокляну! Да! — глухо и меняясь в лице, произнесла Щепина.

XVII

Через два дня после приезда Бориса все население Крутоярска было немного взволновано невероятными вестями, которым, однако, почти никто вполне верить не хотел.

К Сергею Сергеевичу Мрацкому приехал из Самары гость. По его словам, в Оренбургской губернии была полная смута от всякого сброда яицких казаков, татар, всяких иногородцев к крестьян.

По счастью, в столице начальство не дремлет, и из Казани было уже известие, что там проехал присланный из Петербурга генерал Кар, чтобы принять начальство над войсками, собранными против мятежников. Надо

было ожидать со дня на день поимки злодея Пугачева и усмирения края.

— Ну, дорогой мой,— отозвался на эти вести Мрацкий,— у страха глаза велики, а языки длинные. Небось сотни две татар с одним беглым каторжником ограбили да прирезали двух-трех проезжих, а в Самаре из мухи слона сделали.

Гость напрасно клялся и даже подсмеивался над неведением и неверием крутоярцев. Все обитатели отнеслись к вестям так же, как и Мрацкий.

— Мало ли что народ болтает! Во всем пуде вестей и осьмухи правды не найдется.

Однако равнодушно и беззаботно отнеслись к вестям только во дворе и в палатах. Не то было на селе.

Чем менее любопытствовали обитатели крутоярских палат знать, что происходит под Оренбургом, тем более чутко и трепетно ждали вестей от разных «прохожих людей» обитатели крутоярского села и окружных деревень. Но новостей долго не было.

Наконец выпал снег и наступила сразу зима. По первопутку следовало ждать диковинных вестей...

Прошло три недели с приезда Бориса Щепина. В палатах и во дворе уже привыкли к этому событию, прервавшему праздно-скучную жизнь. Разумеется, молодой капрал не внес ничего нового в обыденную колею жизни. Единственная перемена, которая произошла одновременно с его приездом, были ледяные горы в саду и катанья с них дворни, благодаря сразу и дружно наступившей зиме.

Вначале многие крутоярцы надеялись, что всеми любимый Борис Андреевич, приехав из столицы, придаст некоторое оживление угрюмому существованию в больших палатах. Но вышло совершенно наоборот. Сам Борис, приехавший беззаботно-веселым, поддался влиянию общей скуки и, по прошествии нескольких дней, смотрел на все и на всех такими же скучающими глазами. Впрочем, на это была особенная причина.

Борис был поражен тем, что узнал от матери. Он никогда и не помышлял о том, что она давным-давно решила тайно от него. Он всегда, с детских лет, любил Нилочку, часто вспоминал о ней и в Петербурге, интересовался ее судьбой, но смотреть на нее иначе, как на сестру, он не мог. И теперь мысль — считаться женихом, думать о женитьбе на Нилочке — казалась ему чудовищной.

Положение его тотчас же по приезде стало странное, двусмысленное и тяжелое. Хотя за время пребывания в Петербурге он несколько освободился из-под влияния матери, которой прежде страшно боялся, тем не менее теперь незаметно для самого себя стал снова поддаваться этому влиянию.

Борису казалось, что если бы дело шло о пустяках, то он бы мог противиться матери в качестве взрослого и капрала, а не быть прежним маменькиным сынком; но в таком серьезном деле, как женитьба на Кошевой, у него не хватало храбрости противодействовать.

Марьяна Игнатьевна с первого дня заметила, конечно, что возмужавший сын стал несколько самостоятельнее, но женщина не сомневалась ни минуты, что снова овладеет его волей и разумом.

Отношения Щепина к крутоярской царевне с первых же дней стали не те, о каких он мечтал в Петербурге.

Они были неестественные, натянутые, неискренние.

Марьяна Игнатьевна строго запретила сыну не только говорить, но даже и намекать Нилочке на их тайный разговор и их намерения.

— Ты должен заставить Нилочку полюбить себя,— сказала она.— Пускай она сама додумается за тебя замуж идти. А если ей сейчас сказать, чего мы желаем, то она испугается и все пойдет прахом.

Все это казалось Марьяне Игнатьевне очень просто, а Борису казалось совершенно нелепым и немыслимым.

Молодая девушка, которой за последнее время не с кем было отводить душу,— конечно, с первых же дней избрала друга детства прибежищем, исповедовалась ему во всем, передавала ему подробно все свои сердечные тайны, волнения и надежды.

Борис уже знал, что Нилочка сильно влюблена в князя Льгова и готова идти на все. Ее робость, безволие — все исчезло под влиянием охватившего ее чувства. Борис выслушивал исповедь друга и принужден был обещать помощь, в чем только мог. Вместе с тем Марьяна Игнатьевна всякий день поучала сына, как заставить Нилочку полюбить себя и приучить ее к мысли — выходить замуж за него, Бориса.

И молодой человек неожиданно попал между полусестрой и матерью — двумя любимыми им женщинами — в самое нелепое положение.

Одновременно было еще нечто новое на душе молодого капрала. Когда-то здесь, в Крутоярске, часто, чуть не

ежедневно, видел он в доме маленькую девочку Аксютку, прислуживавшую горничным, и тысячи раз случалось ему играть с ней. Затем, перед отъездом в Петербург, видел он пятнадцатилетнюю Аксюту, которая много изменилась к лучшему, но Борис этого как бы не замечал — оно было ему совершенно безразлично.

И теперь, по приезде, он встретил в этом же доме красивую молодую девушку и едва узнал в ней прежнюю Аксюту. Оказалось, что девушка уже с год почитается в Крутоярске чуть не первой красавицей всей округи.

С первых же дней Борис стал видеть Аксюту всякий день, так как она была приставлена печись о его вещах и белье. Случилось это по приказанию Анны Павловны Мрацкой, а дальновидная Марьяна Игнатьевна ничего в этом не усмотрела, сочла совершенно простым делом и не предугадывала, что могло случиться и на что сильно рассчитывал сам Сергей Сергеевич Мрацкий.

Через неделю после прибытия в Крутоярск Борис при встрече с Аксютой уже ласково ей улыбался, заглядывался подолгу на красивую девушку и все чаще заговаривал с ней. Теперь его уже занимала мысль, о чем так горячо разговаривали на ледяных горах Аксюта и Никифор, а однажды, взятые им врасплох, смутились, так как Никифор держал девушку за руки. Эта мысль сильно занимала Бориса, и он наивно не сознавал, что эта мысль, отчасти тревожная, во всяком случае неотступная, есть не что иное, как ревность. Молодой капрал, незаметно для самого себя, влюблялся в Аксюту и сам этого не знал. Он ревновал ее ко многим, и больше всех к Никифору, и тоже этого не подозревал.

Вместе с тем Борис Щепин не знал и главного — не знал, что, благодаря своим новым, пока еще наивным отношениям с Аксютой, он уже нажил в Никифоре злейшего врага. И теперь «Никишка-головорез» мог служить Сергею Сергеевичу и его ехидной затее еще с большим рвением, чем прежде.

Когда-то Никифора наняли намутить, напутать, разных бед бедовых наделать. Но у этого Никифора не было ненависти ни к князю, ни к Борису. Теперь сын караимки ненавидел обоих молодых людей: Щепина — из-за ревности, из-за того, что Аксюта была тоже неравнодушна к молодому капралу, а князя — за то, что обманулся и ошибся в расчете. Обещая Мрацкому сдружиться с князем и пойти на всякие затеи в Самаре, чтобы осрамить этого князя в глазах Нилочки, он слишком

много брал на себя и увидел, что все это были мечты.

Князь Льгов обращался с ним холодно-любезно и не мог скрыть презрения, которое возбуждал в нем Никифор. Дружбы между ними возникнуть не могло, так как общего не было ничего. Льгов изредка относился к Неплюеву ласково, но эта ласковость была похожа на ту, с какою господа относятся иногда к дворовым людям.

Никифор, доносивший подробно обо всем Мрацкому, как о том, что узнавал, так и о собственных действиях, не скрыл от Сергея Сергеевича своей неудачи. Однако Мрацкий все чаще допускал к себе Никифора, подолгу говорил с ним и поучал его, но в этих беседах и совещаниях двух бесспорно самых злых людей в Крутоярске заключалось нечто особенное и замысловатое.

И это нечто было теперь во всем Крутоярске, будто нависло облаком и окутало всех, как туманом. Между всеми главными обитателями больших палат было удивительное и невероятное недоразумение. Про них и про всех можно было сказать, что их «черт веревочкой перевязал!».

Мрацкий, Никифор и Марьяна Игнатьевна интриговали лукаво, злобно, бездушно, но с полным самомнением, с твердым убеждением в успехе, даже с гордостью собственного превосходства пред всеми прочими.

Нилочка, Борис и князь Льгов, явившийся еще два раза в гости, относились к козням пассивно, как бы отбивались поневоле от сетей, которыми их опутывала невидимая рука. Между тем путаница в отношениях всех лиц была полная, так как все они — умышленно или невольно — обманывали друг друга.

Борис, невольно обманывая мать, тоже невольно обманывал и Нилочку, не говоря ей о затеях матери, которые казались ему нелепыми.

Мрацкий, обманывая Марьяну Игнатьевну, обманывал и Неплюева, хотя вместе с тем попался с ним впросак. Он поведал Никифору о своей твердой надежде, что Борис неминуемо влюбится в Аксюту, оскорбит этим девичье чувство Нилочки и сам себя вычеркнет из числа женихов. Для Никифора это сообщение Мрацкого было ударом ножа.

Вместе с тем князь Льгов, с первого дня более близкого знакомства с Нилочкой, стал удаляться от Неплюева, чуждаться его. Когда Никифор, ради отомщения

Мрацкому за Аксюту, собрался было искренно и честно помочь князю в его деле, то Львов обманулся в чувствах Неплюева и отнесся к нему с еще большею холодностью и подозрительностью.

Вместе с тем князь был убежден, что капрал Щепин, которого он немного знал по Петербургу, страстно влюблен в Кошевую и поэтому должен считаться его главным соперником.

Борису искренно хотелось бы всячески помочь князю — отблагодарить его за благодеяние в Петербурге, помочь в его деле женитьбы на Нилочке. А князь почти со злобой взирал на ненавистного капрала и готов был на все, чтобы избавиться от сего серьезного соперника.

Так как у каждого из главных обитателей Крутоярска были и вновь нашлись разные помощники, если не на деле, то, по крайней мере, на словах, то весь дом разделился на несколько лагерей, и всех обитателей опутала такая сеть, в которой они сами не могли бы разобраться. В Крутоярске завязался такой гордиев узел, который не только развязать было невозможно, но который, казалось, и разрубить было бы не под силу.

Прошла еще одна неделя, и огромная сеть, которая опутала всех обитателей Крутоярска, только слегка распуталась с одной стороны.

Борис, уже совершенно влюбленный в Аксюту, снова подстерег ее с Никифором. На этот раз не оставалось никакого сомнения, что Неплюев встретился с девушкой не случайно, что встреча их была назначенным заранее свиданием.

На свою беду, Борис только видел, как горячо и страстно объяснялись молодые люди между собой, но не слыхал почти ничего. Он слышал несколько слов, сказанных Никифором, и из них прямо заключил, что «головорез» любит Аксюту. Но ни одного слова из того, что тихо, но холодно отвечала Аксюта, Борис слышать не мог и поэтому не знал, что чувствует она. Он не знал, что Никифор упрекает свою прежнюю возлюбленную в измене, а она грустно, но твердо оправдывается.

Если бы Борис слышал хорошо весь разговор, то он бы, конечно, был вполне счастлив. Теперь же это свидание и беседа молодых людей возбудили в нем только одну томительную ревность.

XVIII

Молодой капрал, проходив целый день скучный и грустный, объявил, что поедет прогуляться в Самару и вместе с тем заедет в гости к князю Льгову, который, побывав в Крутоярске, усиленно звал его к себе.

Князь Льгов, в душе ненавидя соперника, пригласил его к себе в Самару, отчасти из вежливости, отчасти из любопытства. Ему хотелось ближе узнать того человека, которого Нилочка, очевидно, начинает предпочитать ему.

Марьяна Игнатьевна очень обрадовалась этому визиту сына.

— Он, кажется, речист на словах,— наказывала она Борису,— а на деле — малоумный. Попытай его, разузнай все, не копает ли он нам какую яму. Будь умницей. Заставь его все себе разболтать. Узнай главное, куда девался Зверев. Я слышала, его в Самаре нет, а оно очень удивительно.

И в длинной речи Марьяна Игнатьевна научила сына, как действовать в Самаре, как поддеть князя Льгова, чтобы успешнее бороться с ним в случае каких-либо подкопов.

Но вместе с тем перед самым отъездом Бориса Нилочка успела шепнуть другу совершенно иное. Девушка упросила Бориса разузнать, как относится князь Льгов к ней, много ли ее любит или мало, надеется ли вместе с Зверевым на успешную борьбу с Мрацким. Кроме того, Нилочка упросила Бориса пригласить князя в Крутоярск как можно скорей, якобы лично к себе в гости.

Мрацкий, прощаясь с Борисом, тоже, хотя намеками, посоветовал молодому человеку воспользоваться своим посещением князя Льгова. Мрацкий косвенно посоветовал Борису убедить князя бросить свою затею и понять, что единственный серьезный претендент на руку Нилочки он сам — Щепин и что если они явятся соперниками, то он, Мрацкий, пойдет на все в защиту планов Щепиных, матери и сына.

И несколько смущаясь, но и грустно всех слушал Борис и всем обещал все, что от него требовали. Но искренним был капрал только с Нилочкой. Он выехал в Самару, твердо решив сблизиться с Льговым, откровенно объясниться с ним и стать его действительным и верным помощником.

Приехав в город и остановившись в гостинице, Щепин тотчас же отправился с визитом к губернатору, потом к московскому генералу Мансурову, присланному с особыми полномочиями из столицы, а затем к Звереву и князю, которых не нашел дома. Об первом он узнал, что тот уже с неделю как уехал в Петербург по делу.

От губернатора и генерала Щепин узнал невероятные вести. Насколько все услышанное им показалось ему невероятным, настолько же двум властным лицам показалось невероятным неведение дворянина и капрала Щепина.

— Как вы живете? — сказал губернатор.— Ведь до вас, извините, как до глухого вести доходят.

— Нам, в вотчине, совершенно ничего не известно,— отзывался Щепин, отчасти равнодушно.

— Помилуйте! Весь край в волнении,— говорил генерал.— Того и гляди — у вас начнут крестьяне подыматься и бунтовать! Не удивляюсь, коли не ныне завтра весь ваш Крутоярск схватится за вилы и за дубье. А вы ничего не знаете. Пожар кругом, от дыма задохнешься, а вы вот слушаете меня да глаза раскрываете удивленные.

Но несмотря на то, что губернатор, а равно и генерал красноречиво описали молодому капралу ужасное положение всего края, Бориса мало взволновали их речи. Его гораздо более волновало предстоящее свидание с князем Льговым.

На другой день, когда он снова собирался к Льгову, к подъезду его гостиницы подъехала карета, а через несколько минут в комнату Бориса вошел Льгов.

— Узнав, что вы были вчера у меня, я поспешил отплатить вам тем же,— вымолвил он, входя.

Молодые люди заговорили о всяких пустяках, и оба чувствовали, что они настороже, что они странно относятся друг к другу. Князь относился к Щепину подозрительно, а Борис смущался и не знал, чему это приписать.

Вдруг оборвав разговор о волнениях в крае, Борис оворил решительным голосом:

— А я рад случаю, Николай Николаевич, чтобы снова вспомнить и снова поблагодарить вас за великую услугу в Петербурге.

— Полноте, что вы! Стоит ли это вспоминать! — отозвался князь.

— И очень стоит... И поверьте, я не забыл. Да и никогда не забуду... И поверьте, что если бы мне бог

послал когда возможность отплатить вам той же монетой, то я сделаю это, хотя бы даже с опасностью собственной жизни!..

Борис произнес это так восторженно, так искренно, с таким глубоким чувством в лице и в голосе, что князь изумленно и пытливо присмотрелся к нему.

— Да, князь, такие услуги не забываются честными людьми. Если вам понадобится человек верный, к вам сердечно относящийся, не забудьте меня!

Льгов поверил словам, лицу и голосу молодого капрала, но понурился и вздохнул.

— Трудно это, Борис Андреевич! Могли бы вы быть мне добрым помощником, даже благодетелем, но в таком деле, в каком никогда не пожелаете этого... В таком деле, в котором явитесь поневоле не благодетелем моим, а злейшим врагом.

— Я вас не понимаю! — произнес Борис.

— Прекратимте эту беседу. Говорить прямо, откровенно — нам нельзя... Нам двум это невозможно... Менее возможно, чем кому-либо...

— Поясните мне что-нибудь, князь! Я совсем ничего не понимаю...

— Я не могу вам ничего пояснить, да и не нужно оно.

— Нет, нужно, князь... очень нужно... У меня есть дело до вас... Просьба!.. У меня есть... не знаю, как сказать... Есть у меня до вас...— начал путать Борис и не знал, как выразиться.— Мне бы надо откровенно побеседовать с вами об одном деле... Передать поручение вам...

— От кого? — удивился князь.

— Из Крутоярска, от одной особы, которая вам хорошо известна... От Неонилы Аркадьевны.

— Поручение?! — воскликнул князь.— Какое же? Не бывать в Крутоярске?

— Нет, совсем напротив. Побывать вскорости и бывать почаще...

Изумленное лицо князя поразило Щепина. Молодые люди посмотрели друг другу в глаза, недоумевая. Они, очевидно, совершенно не понимали один другого.

— И это поручение привезли вы?.. Взялись привезти?..— спросил князь после паузы.

— Да.

— Вы согласились приехать ко мне и пригласить меня в Крутоярск от имени Неонилы Аркадьевны?

— Да! И с особым удовольствием.

— С удовольствием? — повторил князь.— Воля ва-

ша, вы меня извините, но позвольте вам не поверить!

И князь насмешливо, даже презрительно рассмеялся. Лицо его говорило:

«Ты желаешь считать меня за дурака, но собственно ты сам простоват».

— Что же тут удивительного, что я прошу вас побывать в Крутоярске? — сказал Борис.— Это доставит удовольствие Неониле Аркадьевне, которую я очень люблю.

Князь Льгов, понявший все по-своему, понявший, что простоватый малый собрался хитрить, но очень неумело, собрался его — князя рядить в дураки, но рядит самого себя,— настолько вдруг рассердился, что выговорил уже резко:

— Прекратимте, пожалуйста, этот разговор!

Поговорив снова о пустяках, молодые люди расстались совершенно странно. Борис ничего не понимал, старался разгадать князя и не мог, а князь, подозревавший молодого капрала в неудачном лукавстве, не мог, однако, не сознаться, что доброе и честное лицо Щепина, его голос, искренний и правдивый,— все противоречит его подозрениям.

— Все-таки,— сказал Борис, прощаясь,— вы мне позволите завтра побывать у вас?

— Очень рад! — сухо отозвался князь.

— Мне непременно нужно... Мне нельзя... Я обещал...— снова начал путать Борис.— Мне нельзя выехать из Самары, не взявши с вас слова приехать в Крутоярск. Мне не хочется так ворочаться... Я не хочу опечалить Нилочку. Ведь это все, князь, дело важное! — выговорил наконец Щепин с искренним чувством.

Льгов посмотрел в лицо капрала и невольно признался самому себе:

«Ничего не понимаю!»

И, помолчав мгновенье, он вымолвил:

— Милости прошу! Поговорим еще, может быть, наконец что-нибудь и поймем, а пока, воля ваша...— и князь рассмеялся,— пока я ничего не понимаю.

XIX

Борис целый день продумал о князе и их странных отношениях.

«Точно будто мы враги,— думалось ему.— А почему?»

Мысль о том, что Льгов ревнует его к Нилочке, считая его соперником, ни разу не пришла ему в голову. Помышлять жениться на Нилочке казалось ему настолько диким и нелепым, что одна лишь мать, ослепленная любовью к нему, могла додуматься, по его мнению, до такой невероятной затеи. Другому же никому и на ум не придет ничего подобного. Следовательно, и князь не может считать его соперником. Да к тому есть еще одна важная помеха, чтоб ему, Щепину, стать поперек дороги Льгову: благодеяние князя, оказанное ему в Петербурге. Из одной благодарности не мог бы он, Борис, мешать теперь своему благодетелю.

И честный Щепин чувствовал, что если б он даже был влюблен в Кошевую, то уступил бы князю девушку-невесту, чтобы отплатить добром за добро.

Князь ничего подобного, с своей стороны, и не мог предполагать, не зная, с каким прямодушным и добрым малым он имеет дело. Вдобавок Льгов и не считал своего петербургского деяния по отношению к Щепину за благодеяние и смотрел на все как на случайность и на простую услугу дворянина и офицера своему собрату. Это «событие» для Щепина и простое «приключенье» для Льгова произошло уже давно. Князь забыл и думать о том, что хорошо помнил и ценил сердечный Борис.

Случай этот был самый простой.

Вскоре по прибытии в столицу и поступлении в ряды Семеновского полка Щепин, явившийся прямо «из-под юбок маменьки» — по выражению Мрацкого, подпал, разумеется, под влияние первого же человека, пожелавшего его себе подчинить.

В полку в это время процветала азартная карточная игра так же, как и во всей гвардии и в обществе. Нового новобранца втянули в игру почти насильно, и он стал посещать сборища офицеров в каком-то притоне, где шла страшная игра и где проигрывались даже вотчины.

Один из офицеров полка, уже пожилой человек, капитан Бровский, сделал из Бориса своего адъютанта или наперсника. Щепин, сначала незаметно для самого себя, а затем из малодушия, стал слепым орудием Бровского и исполнял все, что капитан ему приказывал. был у товарища в услужении. Как повиновался он матери в Крутоярске, так теперь стал слушаться во всем Бровского, часто желая, но боясь противоречить.

Бровский был одним из записных и самых отчаянных игроков. Он был всегда банкометом и всегда играл

счастливо, обыгрывал всех. Щепин и не подозревал по наивности, что состоит в качестве наперсника у сомнительного игрока, подозреваемого в шулерстве.

Однажды давно подозреваемый Бровский попался. Целая компания офицеров устроила шулеру настоящую западню. Ему было доказано, что он играет мошеннически, и с ним распорядились попросту и под спудом, т. е. избили его до бесчувствия. Вместе с Бровским, конечно, попался и Щепин, но во время свалки выбежал в другую горницу и заперся на ключ. Он с отчаянием понял только теперь, у кого был адъютантом, но, конечно, знал, что, в сущности, не повинен и терпит в чужом пиру похмелье.

Расходившаяся толпа, исколотив Бровского, стала ломиться и в двери горницы, где спрятался Щепин, чтобы разделаться с ним тем же способом. Борис отворил окно и решил лучше броситься с третьего этажа на мостовую, нежели быть избитым в качестве шулера. И он знал тогда и помнил хорошо теперь, что решение его было твердо и непоколебимо. Он уже со слезами прочел «Отче наш» и сел на подоконник с намерением прыгать, когда двери уступят под ударами нападавших.

Все окончилось благополучно, благодаря вмешательству одного из самых разумных офицеров компании. Князь Льгов, собравшийся уезжать из игорного притона, когда началась свалка и драка, вышел на улицу и случайно увидел в окне бледную фигуру наперсника Бровского. Он увидел, как тот кружится, то поглядывает вниз, то прислушивается... Князь догадался, в чем дело... За час назад, во время игры, этот юный рядовой показался ему малым симпатичным и наивным прислужником шулера.

Князь вернулся тотчас назад и все уладил, усовестив компанию. Он один вошел в горницу Щепина, отворившего дверь, когда вся компания уже собиралась разъезжаться. Он объяснил Борису, что спас его от побоев с условием, чтобы он прекратил всякие отношения с Бровским.

Щепин охотно обещался, считая, что довольно уже наказан, так как был на волосок от смерти. Однако князь этим уверениям молодого человека, что он решился бы действительно на самоубийство, не поверил.

«В последнюю минуту не хватило бы духу прыгать»,— думал он.

Поэтому все это приключение для князя не имело теперь того же значения, что для Щепина. Один считал, что оказал маленькую услугу — спас от срамных побоев, а другой знал, насколько твердо решился прыгать от этих побоев, и следовательно, считал себя спасенным от неминуемой смерти.

Теперь Борис живо вспомнил все это дикое приключение и снова уверял князя, что обязан ему жизнью. Князь поверил, и отношения их сразу изменились, стали более искренними.

Щепин пробыл в Самаре три дня и настолько сошелся с Льговым, что, простившись с новым другом, выехал обратно в Крутоярск, готовый всячески, не жалея себя, служить Льгову в его деле.

По возвращении Борису пришлось взять на себя новую роль, которой он никогда не играл и которая на первых порах показалась ему крайне трудной. Он должен был лгать и обманывать всех, за исключением. Нилочки.

Только ей одной рассказал он всю правду и своим восторженным отношением к князю только разжег страсть Кошевой. Вместе с тем он поклялся Нилочке — так же, как клялся князю в Самаре,— положить за них душу, пожертвовать хоть своей жизнью, но добиться того, чтобы они принадлежали друг другу.

Новая роль лгуна и интригана по отношению к матери и к Мрацкому настолько была не по характеру и не по силам Щепина, что он, конечно, выдал бы себя сразу, если бы и мать, и опекун не были ослеплены собственным самомнением и той меркой, которой мерили Щепина.

Марьяна Игнатьевна ни единого мгновения не допускала мысли, что ее Боринька может идти против нее, может тайно противодействовать ее планам и вообще не повиноваться ей.

Мрацкий был убежден, что он слишком умен и хитер, чтобы быть обманутым этим Борькой. А главное — Мрацкий был убежден, что Щепин, не имеющий никакого состояния, точно так же такими же алчными глазами смотрит на состояние Кошевой, как и он сам со своим Ильей.

Борис должен был объясниться и с матерью, и с опекуном по поводу своего пребывания в Самаре и свиданий с князем и так как еще не привык лгать, то путался и противоречил себе.

Из его объяснений и Мрацкий, и Марьяна Игнать-

евна вывели одно заключение, что Борис, по их наущению, хитрил насколько мог. Он — верный слуга, но большего от него требовать нельзя.

Мрацкий долго ахал и качал головой, узнав от Бориса, что князь приедет в Крутоярск в гости, лично к нему.

«Вот дурак-то! — думалось Мрацкому.— И в этом не сумел ничего придумать, чтобы отделаться от такого гостя!»

Марьяна Игнатьевна немного рассердилась на сына:

— Пойми ты, Боринька, ведь он тебя одурачил, этот нахал. Ты должен был сказать, что не можешь принимать его в гостях в Крутоярске, так как ты сам здесь, правильно рассуждая, тоже в гостях у своей матери.

Борис смущался, лгал, елико умел, но внутренне смеялся, думая: «Как бы удивились вы, если бы знали, что сам я уговорил князя приехать, невзирая на ваше неудовольствие».

XX

Однако вскоре Борис должен был иметь два неожиданных искренних объяснения с двумя личностями, которых теперь начинал любить одинаково страстно, хотя и разно. Прежде всего ему пришлось покаяться откровенно пред Нилочкой и выдать тайну матери.

Девушка была сначала изумлена, узнав, что заветным желанием Марьяны Игнатьевны был брак ее с Борисом, но затем Нилочке показалось это совершенно естественным, показалось гораздо более простым делом, нежели самому Щепину.

— Знаешь что, Боринька,— сказала Нилочка, подумав,— ведь это было бы очень хорошо. Это очень умно и, конечно, могло бы случиться, приезжай ты только немножко пораньше,— прежде, чем я повидала князя.

— Что ты, бог с тобой! — отмахнулся Борис.— Да ничего более невозможного придумать нельзя! Это матушка из любви ко мне такое придумала... Какой же я тебе муж? Ты — богачка, красавица, а я что ж такое? Нищий дворянин, капрал. И все ж таки надо сказать по правде,— чей я сын? Я сын нянюшки, которая за жалованье в прислуги пошла...

— Как тебе не стыдно так рассуждать! — укоризненно отозвалась Нилочка.— Маяня для меня что мать родная была, и я ее люблю как мать. И только теперь...

Нилочка запнулась.

— Ты хочешь сказать, что теперь меньше любишь ее? — грустно вымолвил Борис.— И ты права... Зачем она, выходив тебя, идет против твоего законного желания? Ты полюбила хорошего человека, лучшего жениха во всей губернии, и он тебя любит. Зачем же матушка идет против этого ради меня? Она должна любить нас ровно, она не должна ни мной жертвовать ради твоего счастия, ни тобой — ради моего. Матушка нехорошо поступает, мешая твоему браку с Льговым, и ты имеешь право меньше любить ее.

— Если, бог даст, все устроится,— решила Нилочка,— выйду я за князя, Маяня утешится, мы заживем счастливо, и я опять буду любить ее по-старому. А все-таки скажу, Боря, приезжай ты раньше, когда еще никто моих мыслей не заполнил, как теперь князь, я бы с удовольствием пошла за тебя.

— Полно, полно! — рассмеялся Борис.— Ты ничего не понимаешь... Разве наша любовь такая, при которой венчаются? Мы ведь брат с сестрой, вместе росли. Разве ты меня любишь так же, как князя? Да и потом, по правде сказать, уж если ты мне все говоришь, то и я тебе все скажу. Приезжай я в Крутоярск раньше, случилось бы то же, что и теперь. А теперь захоти ты идти за меня замуж, я не соглашусь ни за что. Силком повезут в церковь — упираться стану.

— Что ты? — изумилась Нилочка.

— Да, верно. Почему ты не можешь идти за меня замуж, потому и я не могу на тебе жениться. Ты любишь другого человека, ну, а я...

И Борис вдруг смутился, вспыхнул как девушка и замолчал.

— Ты тоже любишь? Кого? Жениться хочешь? — с изумлением спросила Нилочка.

— Да, люблю, но жениться не могу по-многому. Во-первых, я не знаю, любит ли она меня; во-вторых, еще молод я слишком. Да и нельзя мне на ней жениться. Я — дворянин, а она не моего состояния. Матушка померла бы с горя, если бы таковое приключилось... Да, Нилочка, твое дело плохо, а мое еще того хуже! Тебе горестно, а мне и того горше! Твое дело как-нибудь да сладится,— я это чувствую, чую, а мое приключение совсем погибельное. Не знаю, что и делать,— хоть бежать поскорей из Крутоярска! Если б не мое желание помочь князю

и тебе, то я бы не остался у вас, как предполагал, а поскорей бы уехал в Петербург от беды.

— Да разве та, которую ты любишь, не в столице, а здесь? — удивилась Нилочка.

— Здесь...— смущенно и едва слышно выговорил Борис.

— Здесь?! В Крутоярске?

— Ну да... Здесь в Крутоярске.

— Вот...— выговорила Нилочка, разведя руками, и не знала что сказать.— Вот удивительно! Да кто ж это может быть?

Борис молчал, а девушка, подумав несколько мгновений, вымолвила, недоумевая:

— Год продумаешь — и ничего не придумаешь. Кто ж это в Крутоярске мог тебя заставить полюбить себя? Ты мне не скажешь?

— Уволь... Может быть, после скажу, а теперь не могу... Может, это пройдет — я и сам не знаю, как это приключилось. Удивительно! В Петербурге за все время службы я могу сказать, что ни на одну девушку глаз не поднял, не только что полюбить,— хотя и были такие, которые считались даже изрядными невестами, но мне полюбить и на ум не приходило. А тут вдруг сразу как-то поразительно все потрафилось. Будто все завертелось и меня завертело. И ничего я не разберу, ничего не понимаю, не знаю, что и делать... Знаю только, что жить без нее мне было бы невмоготу! Надо бы скорей бежать отсюда, а я не могу себе и вообразить, как буду жить, не видая ее. Да, Нилочка, беда бедовая!

— Да кто же это? В Крутоярске? Кто же это?..— с изумлением повторяла Нилочка.— Дворовая? Крестьянка? Соседка барышня, что ли, какая? Этаких ты и не видал ни одной.

— Уволь, говорю тебе... В другой раз скажу.

И после этого откровенного признания другу в своей нежданной страсти Борису показалось, что он еще более увлечен и еще более принадлежит той красавице девушке, с которой видается постоянно, но объясниться не в состоянии.

Аксюта первое время по строжайшему приказанию Анны Павловны Мрацкой постоянно бывала при горницах молодого барина и вместе с Никифором проклинала свою должность,— отчасти потому, что Неплюев ревновал ее, подозревал и мучил, отчасти и потому, что быть среди дворни внизу было свободнее и веселее.

Но теперь все переменилось. Красивый малый, скромный, ласковый, сердечный, понемногу, сам того не зная, вытеснил из сердца Аксюты ее первую привязанность — простую вспышку еще не любившего сердца.

Аксюта вскоре если не уразумела, то просто почуяла, что Никифор совершенно не такой малый, который бы мог ей нравиться. Он лишь смелым и дерзким ухаживанием заставлял ее думать о себе и воображать, что она любит его.

Никифор,— думалось ей теперь,— известен тем, что уже давно направо и налево влюблялся во всех без числа; человек он лукавый, бессердечный, вспыльчивый и мстительный, презрительный и враждебно относящийся ко всем. Наконец, этот же Никифор, если не на деле, то на словах, готовый даже на убийство, был далеко не такой человек, которого бы Аксюта могла любить.

Молодой барин Борис Андреевич, наоборот, был именно таков, какой всегда мерещился Аксюте.

Через неделю после того, как девушка была приставлена служить в горницах молодого барина, она уже рада была своей новой должности. Она уже старалась сама предупредить всякое малейшее желание Щепина, с удовольствием угождала ему и вместе с тем начала избегать Никифора.

В тот день, когда Аксюте показалось, что Борис чудно и непонятно смотрит на нее, как будто и в нем есть что-то к ней большее, чем простая ласковость,— девушка стала относиться к Никифору почти враждебно. Несколько грубых слов злобной ревности окончательно оттолкнули ее от него.

И Аксюта, начав по целым дням глубоко раздумывать об обоих молодых людях, рассуждала просто:

«Никифор Петрович балуется. Мало ли кого и где уверял он в своей любви, мало ли кого он обманул. Бывали у него зазнобы всего на один месяц, а то и меньше. Со мной дольше тянется, потому что я не поддалась, а то бы и меня давно бросил. А Борис Андреевич, как сказывают Марьяна Игнатьевна, по сю пору ни на одну девушку ни разу не поглядел. Если бы он полюбил кого теперь, так было бы в первый раз и надолго. Случись этакое с ним, он бы меня с собой увез в Петербург... Одно только чудно,— прибавляла Аксюта,— то он ласково так смотрит, что, кажется, сейчас подойдет да обнимет, а то вдруг насупится, точно разгневается, и день целый слова не скажет».

На другой день по возвращении Бориса из Самары влюбленные случайно и неожиданно объяснились.

Придя к себе от матери, Борис нашел Аксюту сидящею около открытого комода, куда она клала белье. Девушка сидела, печально задумавшись.

Он уже видел ее поутру мельком и, проходя мимо нее, грустно, но и пытливо глянул в лицо красивой девушки. Взгляд его красноречиво говорил:

«Когда же мы объяснимся и уразумеем, что между нами?»

Аксюта поняла этот взгляд, потупилась смущенно и все утро затем сама себе удивлялась. Почему смелый Никифор, преследуя ее когда-то, ни разу не смутил ее своими дерзкими выходками? Он ловил ее в доме, подстерегал в отдаленных горницах или в саду и обнимал, целовал... И девушка оставалась спокойной, не робела и не боялась этих встреч. Теперь же скромный и кроткий Борис смущал ее одним своим появлением, одним взглядом. Каждый раз, что они оставались наедине, сердце Аксюты шибко билось, будто ожидая какой беды... беды, желаемой всем сердцем.

«Что же мне-то делать? — говорила она сама себе.— Не пойму я вас, дорогой мой»,— мысленно обращалась она к Щепину.

Придя убрать горницу Бориса и уложить в комод принесенное ею белье, она под наплывом горьких дум забылась, села и глубоко задумалась, так что не слыхала, ни как он вошел, ни как очутился около нее.

Борис стал за ней и, смущаясь, не знал, что сделать, даже что сказать... Вывести ли ее из забытья или оставить так и любоваться ею хоть час, хоть день...

Он смотрел на милый профиль девушки, смуглое лицо с нежным румянцем, на ее гладко причесанную черную как смоль головку, на толстую косу, лежавшую на спине с вплетенной в нее красной тесьмой. Недавно сшитый сарафан, подаренный Аксюте барыней Анной Павловной, новый, ловко сидящий на ее полных плечах и груди, удивительно красил и без того красивую девушку.

Грустно-задумчивое выражение лица, какая-то беспомощность в позе, а в особенности полное забытье, в котором находилась Аксюта, как бы отрешившаяся от всего мира божьего,— подействовали на молодого Щепина странно и для него самого удивительно и непонятно... Он стоял не шелохнувшись, а сердце все сильнее стучало

в груди. И будто кто-то сначала тихо, робко, а затем решительно, а затем и грозно понукал его...

«Ну же! Что же ты! Сейчас же!» — повелительно шептал чей-то голос.

И Борис с ужасом сознавал, чего от него требуют... Ему приказывают нагнуться, страстно обнять Аксюту, прижать к себе и, ничего не говоря ей, одними жаркими поцелуями объяснить ей все...

И, почти не отдавая себе отчета, что он делает, Борис нагнулся и обнял Аксюту. Девушка вскрикнула и вскочила как разбуженная, но не рванулась, а, напротив, крепко обвила его шею руками и сама первая прильнула к нему с поцелуями. И не скоро заговорили оба... Да и не о чем было говорить. Сразу оба узнали и поняли все, в чем сомневались.

— Так ты тоже меня любишь? Не Никифора? — прошептал наконец Борис.

— Никогда это не было,— отозвалась Аксюта.— Думалось... но как увидела вас...

И она не кончила; глаза ее, устремленные на Бориса, досказали ему тайну ее сердца.

Вечером Аксюта снова тайком явилась к Борису.

— Ваша я... ваша...— сказала она.— Приказывайте! На все пойду... Сейчас помереть за вас готова...

XXI

Никифор, убедившись, что Аксюта изменила ему, любима Борисом Щепиным и влюблена в него, был вне себя. Он не страдал, а был озлоблен. Не глубокое искреннее чувство, обманувшееся в своих ожиданиях, заставляло его теперь терзаться,— в нем говорило одно оскорбленное самолюбие.

С тех пор что Никифор ухаживал, постоянно изменяя и переходя от одной привязанности к другой, ни разу не случалось ему потерпеть неудачу или быть покинутым. Он успевал всегда и всегда первый бросал предмет своей страсти, чтобы перейти к другому.

Теперь случилось совершенно обратное. Более полугода ухаживал он за красивой Аксютой. Его настойчивое преследование девушки привело лишь к тому, что она стала относиться к нему несколько ласковее и, заставив его думать, сама думала, что любит его. В действительности же чувства не было никакого.

Появление Бориса и его первое сердечное слово заставили Аксюту перестать считать Никифора своим возлюбленным и всем сердцем отдаться глупому, но прямодушному Борису Щепину.

Никифор не скрывал сам от себя, что он собирался позабавиться ею как игрушкой и бросить ее если не через несколько месяцев, то через год,— а Борис, конечно, полюбил искренно и сильно. А что из этого выйдет? Конечно, то же самое... В конце концов разойдутся. Он уедет в столицу, а она останется... Нет! Кончится хуже, потому что он вмешается!

Эта первая неудача в любви повлияла на Никифора еще сильнее, чем он мог ожидать. Он поклялся теперь себе самому уничтожить Щепина, стереть с лица земли. Конечно, жажда мести не останавливалась и перед мыслью об убийстве. Эта мысль ни на минуту не испугала Никифора, и вопрос, которым он задался, был о средствах совершения его.

«Надобно его убить! — думал Никифор.— Надобно, чтобы его другие убили, а я бы остался в стороне. Тогда и ответа нет. Да и Аксюта не будет иметь причины меня возненавидеть. Надобно, чтобы Сережа Мрацкий и Марьяна Щепина сами убили его... Приказали бы убить! Но как это сделать? А вот в этом все и дело. Докажи себе, что умен уродился, и придумай!»

И несколько дней подряд Никифор сидел безвыходно в своей горнице или лежал на кровати и переворачивал в голове все один и тот же вопрос, делал сотни планов,— от самых простых до самых хитрых,— но не решался ни на что.

Петр Иванович Жданов, ездивший постоянно на охоту за зайцами по первой пороше, простудился, засел дома и от тоски стал чаще навещать побочного сына ради того, чтобы поболтать. Часто Никифор запирался, прикидываясь спящим, но изредка поневоле должен был впускать отца.

Беседы обоих, конечно, шли всегда об одном и том же — о крутоярских делах, о Нилочке и о том, что если придется покидать место опекуна, то деваться некуда и жить нечем.

— И как это ты не сумел в дружбу с князем войти! — сотый раз сказал однажды Жданов, придя к сыну ввечеру.

Петр Иванович охрип, сидел с повязанным горлом, с припаркой из мыла и меду, ноги были в валенках, а на

икрах были горчичники. Вид у него был самый унылый, кислый.

— Как это ты — малый умный, а простого дела сделать не можешь? — продолжал ныть Жданов, слезливо глядя на сына.

— Ах, батюшка! — нетерпеливо отозвался Никифор.— Когда же вы перестанете? Только один у вас этот разговор и есть.

— Да, глупый, ты пойми, ведь от этого наша жизнь — моя и твоя — в зависимости! Выйдет замуж Кошевая за Илью или за кого другого, нас выкинут отсюда, как щенят выкидывают. А выйди она за князя Льгова при нашей помощи, мы навеки тут останемся. Он человек добрый, сердечный. Я ничего не могу. А ты будто не хочешь, не стараешься.

— Как же я буду стараться? — нетерпеливо воскликнул Никифор.— Ну, коли вы хитры, придумайте... Научите! Вы, знай, повторяете одно: да сдружись, да повенчай их! А вы вот скажите как...

— Да что же... Просто бы выкрали Неонилу Аркадьевну да и повенчали. Он бы выкрадывал, ты бы помогал, повенчал бы его в церкви — и конец! Что ж тогда Сергей Сергеевич поделает? Не развенчать же! Очень просто!..

— Просто! Просто! У вас все просто! — выговорил недовольным голосом Никифор.— Зубами луну достать тоже просто: потянуться да и цапнуть ее за хвост. Очень просто!

Но, говоря это, Никифор вдруг слегка изменился в лице. Мысль, блеснувшая в его голове, сразу заставила его сморщить брови, поджать губы и пытливо устремить красиво злые глаза на отца.

Петр Иванович, знавший сына хорошо, сразу увидел, что Никифор поражен тем советом, который он дал ему. И дал он как-то вдруг, зря... С языка сорвалось прежде, чем в голове рассудилось.

— Что же, Никиша, разве я вздор сказываю? — вдруг ухватился Жданов за свою собственную мысль и приободрился.— Ей-богу бы, так! Научи ты князя похищать Неонилу Аркадьевну и вызовись помогать. Будешь его главным помощником, он тебя озолотит... Чего проще!

— Пустое все! — выговорил Никифор, но при этом слегка задумался и на все, что говорил Жданов, на все его вопросы не отвечал ни слова.

Петр Иванович, заметив, что сын усиленно обдумывает что-то, замолчал и стал ждать.

Прошло около получаса, и наконец Жданов спросил:

— Что ж, Никиша, ладно я сказываю? Надумал что?

— Все пустое! — отозвался Никифор, но при этом усмехнулся, и веселое выражение промелькнуло на его лице.

— Вот и врешь! По лицу вижу, что хитришь. Стыдно тебе от родного отца таиться! Я ж тебе доброе дело посоветовал, сказал, что сделать, а ты лучше меня сумеешь придумать, как все произвести. И таиться от меня — не след тебе, потому что я тоже малость помогу.

— Подумаю! — отозвался Никифор.— Надо порассудить... Коли покажется мне дело это возможным, я от вас таиться не стану... Зачем? Вы не пойдете разбалтывать.

Несмотря на желания Жданова обсудить тотчас же, как исполнить предложенный им план, Никифор отказался рассуждать об этом наотрез и стал говорить о пустяках.

Когда Петр Иванович ушел от сына, чтобы переменить припарки и снять горчичники, которые здорово нарвали ему икры во время беседы, Никифор, оставшись один, быстро зашагал по своей маленькой комнатке.

— Ай да батька! — говорил он вслух.— Нет, каков батька-то! И вот бывает дурак-то умнее умных... Каково придумал? Не придумал, а меня придумать заставил! Да, самое лучшее дело. Пускай они будут выкрадывать Нилочку, а уж что не выкрадут, за это я отвечаю. Я все подготовлю, все устрою, а Сережка и Марьяшка все расстроят. А мое-то дело устроят все-таки. А я буду в стороне, только в придачу еще денег наживу от Мрацкого. Нет, каков мой-то родитель! Как бывает на свете: глупые люди по совершенной глупости умные вещи выдумывают!

И весь вечер и часть ночи Никифор обдумывал план, мысль о котором подал ему отец. Все яснее представлялось ему, как он будет действовать и что должно неминуемо произойти из хитрой затеи.

На другой день, около полудня, Никифор уже был на половине Мрацкого и велел доложить о себе. Старик лакей Герасим заявил, что барин плохо почивал ночь, только что поднялся и вряд ли допустит к себе молодого барина.

— Ладно, ты все-таки доложи. Скажи, у Никифора

Петровича дело есть самое спешное. Небось меня примет.

И Никифор не ошибся. Чрез минуту принятый Мрацким, он уже сидел против него и объяснял, что имеет крайне важное дело.

С той первой беседы между Мрацким и Никифором, когда ехидный опекун нанял головореза служить себе и дал ему мешочек с сотней целковых, много раз виделись и говорили они. И теперь отношения старого опекуна и молодого малого были совершенно иные, в их беседах слышалось равенство.

Никифор посмелел по отношению к Мрацкому, выражался прямее и резче, ничего не скрывая из своих убеждений. Опекун, найдя в молодом человеке настоящего «сибирного», не боящегося ни бога, ни черта, был не только доволен, что приобрел такого слугу, но даже начал находить удовольствие в беседах с ним.

В настоящих обстоятельствах Мрацкому именно нужен такой малый, через которого он мог бы добиться своей затаенной цели. Разумеется, Мрацкий думал и был убежден, что в этой затее Никифор сложит голову, а он сам сумеет остаться в стороне и пожать плоды подвигов «разбойного» малого.

Удивительнее всего было то, что опекун, узнав Никифора ближе, нисколько не презирал его, не боялся и не ужасался тем, что нашел в нем.

«Молодец малый! — думалось Мрацкому.— Вот кабы мой Илья такой был! Мы бы тогда не только женились на Кошевой, а и всякие бы дела творили. Разжились бы и в знатные люди вышли. Молодец малый! И подумаешь, что уродился от этакого остолопа, как Жданов. Впрочем, верно-то это известно одной караимке...»

XXII

— Ну, в чем же твое важное дело? Повествуй! — выговорил Мрацкий, когда Никифор сел перед ним.

— Новое дело и дело спешное! Только прошу вас, Сергей Сергеевич, сразу никакого мне ответа не давать, потому что ответ ваш будет неправильный. А вы подумайте денек, два, три, рассудите и обсудите все и тогда ответствуйте. Вам известно, что я, несмотря на все мои старания, не мог с князем сдружиться, не мог и с Щепиным. Оба они меня чуждаются, да и оба — такие кислые

твари, что где им кутить! Стало быть, дело наше проигранное... И вот я придумал, как вывернуться из обстоятельств. Буду вам прямо сказывать! Надобно нам устроить, чтобы князь Льгов Неонилу Аркадьевну выкрал, чтобы тайно с ней венчаться. А я за все дело берусь.

Мрацкий выпучил глаза и разинул рот, но затем, тотчас же догадавшись, вымолвил:

— Верно, ты хочешь сказать, что будет князь похи-
Нилочку, не похитит и не обвенчается?

Никифор рассмеялся.

— На это вам, умному человеку, и отвечать мне не подобает...

— Ну, то-то! Стало быть, что же ты хочешь? Князь явится похитителем, ты будешь ему помогать. А там что же? Кто же мешать будет?

— Вы же...

— Самолично и собственноручно?

И Мрацкий рассмеялся презрительно.

— Зачем, Сергей Сергеевич! Я же не дурак! Вы будете в этих горницах сидеть, но будете знать, в какие часы и где крадут Нилочку Аркадьевну. Другие люди мешать будут, которых я же достану, а вы только указ дадите им.

— Какой?

— Мешать...

— Да как мешать, дурак?

— Вестимо, бить воров и ловить.

— И только того?

— Нет-с... В самую эту свалку князя из ружья и положат на месте.

— Кто же?

Никифор рассмеялся.

— Неведомый человек, Сергей Сергеевич.

— Нет. Дело страшное! — выговорил Мрацкий, подумав.— С губернатором потом не развяжешься... Это ты глупо выдумал.

— Нет, Сергей Сергеевич, вовсе не глупо... Вы за себя боитесь. Так поймите: вы дадите приказ остановить до время Неонилу Аркадьевну, поймать похитителей и в случае сопротивления малость поучить их. И больше ничего. А на это у вас свидетели будут,— можно их, сколько хотите, набрать. При них можете приказание отдать. А откуда явится ружье и кто князька на месте положит, будет только для всеобщего удивления и

аханья. И кто он такой, и как затесался, и как все приключилось — будет вовсе непонятно никому. Если бы даже что потом и раскрылось, паче чаяния, то все-таки вы в стороне, а пропадет другой человек.

— Пропадет!..— проворчал Мрацкий.— Кабы он пропал тут же, сквозь землю провалился! А ведь его возьмут, пытать будут, судить. Он тут и скажет: «Это, мол, было уговорено у нас с Сергей Сергеевичем, а теперь я попался, а он отпирается».

— Какая же ему выгода-то выдавать вас?

— А черт тебя знает! Ты, малый,— и Варрава, и Иуда вместе.

— Так не хотите вы на это идти? — спросил Никифор решительным голосом.

И Мрацкому показалось, что если он ответит отрицательно, то у этого головореза как будто есть уже какой-то другой готовый план, совершенно противоположный и для Мрацкого, конечно, невыгодный.

— Если я не соглашусь на это дело, то ты все-таки похищение устроишь, только уже действительное. Так ли?

Никифор не ответил, а пожал плечами.

Мрацкий потупился и задумался. Он был поражен тем, что ему ни разу не пришло на ум, откуда грозила опасность его планам. Он не мог понять, каким образом ни разу не додумался до этого, до чего уже, может быть, додумался не только Никифор, но и сам князь.

— Какая путаница! — выговорил Мрацкий вслух.— Какая у нас в Крутоярске путаница! Какие чудеса в решете! Сам черт ничего не разберет! Все мы перепутались! Видел я все здесь насквозь, а теперь у меня в глазах рябить начало. Смеялся над Марьяной Игнатьевной, что она курам во щи угодит, а теперь начинаю думать, что как бы и меня не обошли и не нарядили в дураки. Слушай-ка, Никифор, отвечай ты по сущей по правде: князь собирается красть Нилочку? Ему это первому на ум пришло?

— Нет,— кратко отозвался Никифор.

— Ты лжешь!

— Нет, не лгу. Я это надумал — и надумал на два образца.

— Или в мою пользу, или в его пользу? Или князь будет украдывать, да не украдет,— или же сворует и обвенчается.

— Может быть! — отозвался Никифор.

— Не отвечай так! Глупый ответ!
— А как же мне умнсе ответить?
Наступило новое молчание.
Мрацкий задумался и в несколько мгновений сообразил все вполне. Он убедился в том, что ему надо решаться. Он был уверен, что дело о похищении Кошевой уже затеяно князем и при помощи Никифора может удасться. И тогда все пропало. Если же он даст денег Никифору,— и очевидно, в этом не дело,— то похититель будет убит собственным же своим помощником, а он, Мрацкий, в стороне.
— Ладно, я согласен! — выговорил он вдруг. И, как бы решившись на отчаянный шаг и взволновавшись, Мрацкий встал и начал медленно ходить по гостиной.
— Вы не смущайтесь, Сергей Сергеевич! Вы, стало быть, все-таки не совсем в меня веруете. Сто раз вам говорю — ничего худого не будет! Князька ухлопают на месте, а кто ухлопал и как, каким чудом совершилось это,— никогда никто не узнает. Люди ваши будут клясться и божиться, что сами не знают, как потрафилось!..
— Ладно, что ж делать! Другого выхода нет! Сколько же тебе денег дать? Небось заломишь?
— Зачем... Дайте сто рублей! Довольно будет.
— На что собственно?
— А ехать в Самару, вертеться около князя и подговаривать на похищение. Да и насчет свадебных приготовлений тоже. Взаймы ему дам. У него ведь тоже денег-то — грош.
— Ну, ладно! Зайди в сумерки, а я еще подумаю.
— Зачем в сумерки? Думайте хоть три дня, все равно, только решайтесь твердо! Помните: начнем мы ладить воровство крутоярской царевны, а вы побоитесь мешать. Что же из этого выйдет? Мы ее и украдем...
Никифор вышел бодрый и довольный прошел в свою горницу, но, посидев немного у себя, вдруг поднялся с решимостью в лице и отправился чрез парадные комнаты к Щепиной. Горничная девушка доложила о нем главной мамушке.
— Что ему нужно, двухголовому? — отозвалась Щепина.— Поди спроси, какое такое дело у него до меня?
— Никифор заявил, что у него есть неотложное дело.
Марьяна Игнатьевна впустила к себе молодого малого, которого не любила и презирала. Увидя неприязненное лицо Щепиной, Никифор стал сумрачнее и сде-

лал вид, что сам неприязненно относится к Щепиной и является как бы поневоле.

— Дело у меня есть до вас, Марьяна Игнатьевна,— холодно заговорил он, садясь.— Я не имею чести быть у вас в любимцах! За что вы меня невзлюбили — бог весть. Да это ваше дело и мне не любопытно. Я и без вашей дружбы проживу на свете. Пришел я к вам в кратких словах пояснить кое-что. Вы бы желали, чтобы Борис Андреевич сочетался браком с Неонилой Аркадьевной...

— Что ты врешь! Как ты смеешь этакое врать! — воскликнула Марьяна Игнатьевна.

— Виноват! Так и положим, что я вру. Но позвольте у вас спросить, будет ли вам приятно, если вдруг Неонилу Аркадьевну выкрадет кто-нибудь и женится на ней. А вы узнаете это тогда, когда вам останется только поздравлять новобрачных.

Щепина так же, как и Мрацкий, была поражена этими несколькими словами. И ей точно так же никогда, ни единого раза не приходила на ум возможность такого события в Крутоярске; а между тем она была даже удивлена простотой и удобоисполнимостью того, что ей вдруг объявили.

«Украдет и женится князь, а узнается все поздно, когда уже будут поздравлять»,— подумала она.

И Марьяна Игнатьевна была настолько поражена, что долго сидела, вытаращив глаза на Никифора: молодой же человек с покойным лицом молчал и ждал.

— Что ты врешь? — глухо выговорила Щепина.

Никифор пожал плечами.

— Какой же это разговор, Марьяна Игнатьевна? Я буду говорить, а вы будете отвечать: врешь да врешь! Ну, положим, что вру, и тогда поясните, зачем я вру. На что оно мне нужно? То-то вот... Я вас предупредить пришел, не из любви к вам — лгать не стану, а по совсем особым причинам, для меня выгодным. Вот и скажите мне. Когда станут выкрадывать Неонилу Аркадьевну, а она охотно пойдет на это, вас обманывая,— желаете вы быть в неведении того, что творится у вас под носом, или желаете знать, когда это будет?

Щепина молчала и как бы постепенно приходила в себя.

— Вам, конечно, приятнее будет все знать, чтобы помешать Неониле Аркадьевне всяческими средствами.

Ну, вот и есть человек, который вас вовремя предупредит, что, мол, держите ухо востро, начинается!

— Совсем, право, не знаю! Ничего не понимаю! — нерешительно выговорила женщина.

— Но вот в чем дело, Марьяна Игнатьевна,— продолжал Неплюев серьезным деловым голосом.— Это все присказка, а сказка-то впереди. Я приду, вас вперед уведомлю, когда будут выкрадывать нашу царевну, вперед скажу, как все будет подстроено, но вы должны с своей стороны, если своего счастия желаете, всячески Неониле Аркадьевне помогать, ничему не препятствовать, сборы ее облегчать и даже своего Бориса Андреевича приставить, чтобы он ей помог.

— Что ты, ошалел, что ли? Или балуешься? — воскликнула Щепина.

— Нет, Марьяна Игнатьевна! Выслушайте!

И Никифор толково рассказал Щепиной, что князь решился похитить Нилочку, которая на это согласна, а что она мешать похищению не должна, так как все кончится не венчанием, а смертоубийством. Князь Льгов при этом похищении будет убит и самого главного жениха у Неонилы Аркадьевны судьба отнимет. Останутся Илья Мрацкий и ее сын — Борис.

Щепина сидела, как бы оглушенная всем, что сказал Никифор, и, наконец понемножку придя в себя, заговорила:

— На мой толк, все это не так. Ты больно о себе большого мнения, всех за дураков почитаешь и меня в дуры произвел! Помогай я Нилочке бежать для того, чтобы она с князем обвенчалась! Уж больно ты простоват, Никифор, коли думаешь, что я такая дура.

— Совершенно верно, Марьяна Игнатьевна, оно бы так и могло быть. Вы — единственный человек, который может все дело испортить, просто двери запереть и не выпустить Неонилу Аркадьевну. А нужно, чтобы вы были в согласии, чтобы вы помогли и ничему не препятствовали. Но так как вы полагаете, что я вас обманываю якобы какой наемник князя, то я на это вам и отвечаю: приставьте к Неониле Аркадьевне помощника, Бориса Андреевича. Что же, по-вашему, он допустит венчание? Можете ему строжайший приказ дать, что если я вас обманываю, чтобы он не допускал обмана. Я вам повторяю, что как только Неонила Аркадьевна с князем встретится, так сейчас же тот на месте и останется, а она с Борисом Андреевичем вернется в дом.

Ну-с, вот и все! Подумайте и ответ мне дайте. Ответ ваш я желаю простой: предупреждать мне вас, когда будет назначен час и день для этого воровства, или не предупреждать? Подумайте хорошенько! Мы и без вас можем обойтись, но лучше, если вы нам поможете.

— Да кто «мы»? Ведь это ты для Ильи Мрацкого все вымыслил?

— Марьяна Игнатьевна, то не мое дело! Мое дело — князя похерить, а затем останутся Илья да ваш Борис, а там уже ваше дело будет. Захотите вы меня в помощники сызнова взять, тогда и я свое слово скажу. Не захотите — вожжайтесь сами с Сергеем Сергеевичем, кто кого обделает. Вот и все, Марьяна Игнатьевна. А через денька два я приду к вам за ответом, полагаться ли на вас или нет,— будете вы мешать Неониле Аркадьевне в срочный час или помогать.

Никифор поднялся и хотел уходить, но женщина остановила его:

— Стой... Мне нечего думать... Я лучше по-твоему буду поступать, а то вы с Сергеем Сергеевичем меня еще хуже проведете. Я мешать не буду Нилочке, но Бориньку к ней приставлю и прикажу якобы помогать докуда можно... До храма... Но не дальше... Венчаться он не даст.

— Больше ничего от вас мне и не нужно...— ответил Никифор улыбаясь.

XXIII

«Как по маслу! — думал Неплюев, вернувшись к себе.— А князь и Нилочка даже еще и не знают ничего».

Разумеется, Никифор тотчас же прежде всего решил переговорить скорее с самой крутоярской царевной. Это было очень просто и в то же время очень трудно. Никифор часто бывал у молодой девушки в гостях. Она любила говорить с ним, так как молодой малый забавлял ее всякого рода рассказами и часто смешил. Но эти разговоры происходили всегда в присутствии Марьяны Игнатьевны. Повидаться и переговорить с Нилочкой наедине — было мудрено.

Отправившись к царевне, Никифор должен был просидеть около часу, болтая про все, что только приходило ему в голову, и, наконец воспользовавшись мгновеньем, когда Марьяна Игнатьевна отошла в другой угол горницы, он тихо произнес:

— Неонила Аркадьевна! надо нам побеседовать... Важное дело... о князе... Освободитесь от нее завтра да пришлите за мной.

Тому назад несколько месяцев Нилочка была бы крайне удивлена подобным предложением,— оно показалось бы ей странной, неприличной выходкой со стороны Неплюева. Но теперь времена переменились. С тех пор что она полюбила князя, она окружена если не врагами, то неприязненно настроенными людьми. Чтобы победить, надо действовать самой.

Девушка ничего не успела ответить и только кивнула головой, но на другой день около полудня горничная явилась просить Неплюева к барышне.

Явившись, Никифор нашел девушку одну. Марьяна Игнатьевна отправилась к сыну в горницу, вызванная им под каким-то пустым предлогом. Разумеется, Борис, по уговору с Нилочкой, освободил ее от матери.

Никифор прямо и резко спросил у девушки, желает ли она выходить замуж за князя Льгова, и если окончательно решила это, то что она намерена делать.

Нилочка отвечала тоже прямо и искренно, что с ее стороны это дело решенное, но что она пока не знает, как все обойдется.

— Вам, конечно, известно, Неонила Аркадьевна, что весь Крутоярск против этого, от опекунов ваших и Марьяны Игнатьевны до последнего дворового, который, ради боязни Мрацких, не станет вам помогать. Возьмите меня к себе в помощники — и все дело обойдется счастливо. А я расскажу вам то, что вам неизвестно, что замышляется против вас.

И Никифор нарисовал целую картину насильственного брака девушки с Ильей Мрацким, который замышляет его отец. И он стал доказывать девушке, что ей единственное спасение — решиться бежать с князем и тайно обвенчаться.

Никифор был уверен, что девушка испугается такого плана, но, к его удивлению, Кошевая ответила просто:

— Я готова, когда угодно. Но пойдет ли на это князь? Согласится ли он?

— За него я вам отвечаю! — твердо солгал Никифор.— Ему нужно только ваше согласие, а сам он готов. Позвольте мне передать ему от вашего имени, что вы согласны,— и все будет кончено. Если князь сам не возьмется за все, то я берусь. Завтра я поеду в Самару, а послезавтра привезу уже вам ответ. А через неделю вы

будете уже княгиней Льговой. Только обещайте мне одно: в назначенный день не испугаться и не идти на попятный двор.

— Никогда! — вскрикнула Нилочка, и лицо ее оживилось.— Вы, стало быть, меня не знаете.

Никифор помолчал и с удивлением присмотрелся к девушке.

— Думал, что знаю, Неонила Аркадьевна, а вижу теперь, что ошибался. Тем лучше, если вы такая смелая.

Когда Никифор поднялся, стал прощаться, девушка выговорила взволнованным голосом:

— Если все это удастся, если князь пойдет на это и все кончится благополучно, то я буду у вас в долгу, Никифор Петрович! Потребуйте у меня тогда — что хотите! За то, чтобы быть женой князя, я готова отдать целую вотчину. В этом я вам божусь перед богом!

И девушка сама не знала, какое громадное значение получили эти слова в глазах Никифора. Он настолько хорошо знал Нилочку, что не мог ей не верить. А между тем такое обещание изменяло всю его затею сразу. Он смутился и задал себе вопрос: что же делать?

От Мрацкого он мог получить какую-нибудь тысячу рублей в награду, да и это было сомнительно. А Нилочка не была способна обмануть. Остается узнать только, захочет ли князь, сделавшись ее мужем, быть столь же щедрым. Вот что следовало только выяснить.

В тот же вечер Неплюев выехал в Самару, а на другой день был уже у князя с визитом и был им принят точно так же, как и прежде: вежливо, но холодно.

Разумеется, Никифор не тотчас и не прямо сплеча предложил ему свой план похищения Нилочки.

На его прозрачные намеки об этом князь отвечал гордо, а затем начал отшучиваться, явно показывая, что не желает в такого рода переговоры входить с таким человеком, как Неплюев.

— Зачем я буду затевать такое дело,— сказал наконец князь,— когда через месяц, а может быть и скорее, все может произойти гораздо проще. Господин Зверев в Петербурге и должен представиться графу Разумовскому и когда вернется сюда, то отправится в Крутоярск моим сватом с письмом от гетмана.

Никифор, конечно, был не только удивлен, но даже поражен известием, что Зверев хлопочет в Петербурге. Весь его план должен был сразу рухнуть. Но в одну

минуту он сообразил все и взялся за дело иначе, сам удивляясь своей дерзости.

— Очень верю, князь, что господин Зверев успеет в своих хлопотах. Но будет поздно. Если пошло на правду, то я должен вам признаться во всем. Меня послала к вам сама Неонила Аркадьевна сказать вам, что надо спешить. Она прямо приказала спросить у вас, готовы ли вы выкрасть ее из Крутоярска и тайно венчаться?

— Сама Неонила Аркадьевна?! — изумился князь.

— Да-с.

— Вас послала ко мне спросить об этом?

— Да-с, так точно. А причина этому очень простая: не пройдет недели, Неонила Аркадьевна может сделаться женой Ильи Мрацкого...

— Каким образом?! — вскрикнул князь.

— Этого я вам передать не могу... Как это совершится — не знаю. Сергей Сергеевич Мрацкий — самый хитрый и дерзкий человек, какие когда-либо на свете рождались. Неониле Аркадьевне хорошо известно, что Мрацкий затевает что-то для нее погибельное и что ей невозможно будет спастись от этого. Может быть, потом и опекуна, и его сына будут судить. Да что ж толку-то? Сама Неонила Аркадьевна говорит, что когда она уже станет женой Ильи, так что же ей судиться? Надо будет судьбе покориться. Поэтому она и просит вас спасти ее от Мрацких.

— Это совершенно иное дело! — взволнованно выговорил князь.— Но что ж они могут придумать, Мрацкие? Ведь нельзя же насильно венчать.

— Не могу вам на это отвечать ничего. Что это все они затевают — я знаю верно, но как они исполнят затею — не знаю. Мрацкий — такой изувер, что на все пойдет. Итак, князь, что же мне отвечать Неониле Аркадьевне?

— Понятно, что я на все готов. Но ведь я не могу видеться с ней. Кто же поможет нам?

— Я, князь. И берусь за все. Головой отвечаю, что все кончится благополучно, что мы надуем, перехитрим Мрацких. Но главное — спешить надо. Скажите мне только одно: когда вы будете мужем Неонилы Аркадьевны, согласитесь ли вы щедро наградить меня за мою услугу?

— Да, но как я могу наградить вас?

— Вы можете подарить мне одну из вотчин Неонилы Аркадьевны.

— Конечно, с ее согласия,— отозвался князь, но улыбнулся так странно, что Никифор почему-то подумал:

«Обманет!»

Никифору показалось, что его предложение было для князя даже забавным. Он в одно мгновение убедился, что этот человек, когда женится на Кошевой, не даст ему ни рубля.

И Никифор ошибся. Не от этого улыбнулся князь. Услыхав об этой уплате за услугу, князь заподозрил все. Ему пришло на ум, что Никифор хитрит и лжет, что Мрацкие ничего не затевают против Нилочки, а что безродный приемыш Жданова желает просто устроить похищение и самокрутку князя, чтобы поживиться за счет состояния Кошевой.

— Да точно ли вас послала ко мне Неонила Аркадьевна? — выговорил он холодно.

— Не знаю, почему вы не хотите мне верить? — обидчиво отозвался Никифор.

— Ну, положим. Но не ошибается ли Неонила Аркадьевна? Затевают ли что Мрацкие? Может быть, у них и на уме ничего нет?

Никифор подумал мгновение и ответил вопросом:

— Стало быть, вы не согласны ни на что? Вы меня заподозрили? Это неудивительно. Но надеюсь, князь, что вы поверите, если услышите от самих Мрацких, что они затевают?

— Да, тогда бы я поневоле...

— Согласны ли вы явиться в Крутоярск тайком к вечеру, пройти в сад, пролезть по сугробам и влезть по лестнице в окно вышиною всего аршина четыре? — выговорил Никифор, усмехаясь.

— Я вас не понимаю! — отозвался Льгов.

Никифор повторил то же самое и прибавил:

— Вы тайком проберетесь и будете спрятаны у меня в горницах. И у меня же Сергей Сергеевич будет беседовать о своих ухищрениях, и вы все услышите чрез дверь. Тогда вы поверите, что спешить надо. Согласны ли вы?

— Конечно! — воскликнул князь.

— Извольте в таком случае через два дня к вечеру приехать на село и прислать за мной. Все остальное — мое дело.

Князь согласился тотчас, поблагодарил Никифора и прибавил, смущаясь:

— Признаюсь, я ошибался... Я совершенно иначе

судил вас... Извините меня! теперь я вам верю. Если же вы помышляете не о счастии чужих вам людей, а о своих выгодах, то ведь это совсем понятно. Все мы так же действуем. Своя рубашка к телу ближе.

— Верно-с... А коему человеку чужие рубашки будут к телу ближе, тот непременно кончит в жизни тем, что очутится голый...— пошутил Неплюев.

Чрез час молодой человек был уже в пути и размышлял раздражительно: «Это ведь путано-перепутано... Легче бы в самую мудреную картежную игру играть... Ну, вдруг Зверев в Питере все обделает! Не лучше ли мне и впрямь их повенчать, договорившись о вознаграждении? А Борька?! Останется без отплаты. После его, что ли, убрать со своей дороги. Поздно будет! Ах, Аксюта! Все мои дела перепутала».

И наконец Неплюев решил бесповоротно:

— Прежде за себя постой! Не давай себя в обиду. А там после думай о разживе.

XXIV

Мрацкий, разумеется, тотчас же согласился на лицедейство в горнице Никифора, прийти и исповедаться в своей якобы затее насчет насильственного брака сына с Кошевой.

Когда Никифор подробно доложил обо всем, что узнал от князя, то главное препятствие для успеха в их затее сначала даже испугало опекуна. Путешествие Зверева в Петербург могло действительно иметь успех, и было совершенно понятно, что князь, ожидая благоприятного ответа из столицы, не найдет нужным действовать решительным образом, т. е. похищать Кошевую.

Мрацкий, разумеется, был того же мнения, что и Никифор. Для них оставался единственный исход — действовать безотлагательно и понудить князя, не дожидаясь ответа Зверева, решиться на похищение Нилочки. Но как заставить князя Льгова действовать?

Предложение Никифора было умно. Он скажется больным, а Сергей Сергеевич придет беседовать с ним в его горницу и будет говорить о том, что он через три дня, заранее все уже подстроив, насильно обвенчает Илью с Нилочкой. Князь Льгов, спрятанный в смежной горнице, все подслушает. И выбор у него будет один: или уступить возлюбленную Илье, или немедленно похищать ее.

Обдумав затею, Сергей Сергеевич не только согласился на комедию, но даже подивился уму Никифора.

Пришел, однако, день, условленный между Никифором и князем, а Льгов не явился. Прошло еще два дня,— а из Самары не было ни слуху ни духу.

Мрацкий уже начал беспокоиться. Ему все чудилось, что каждый час могут вместе появиться в Крутоярске Зверев и Льгов и привезти с собой строжайшее предписание графа Разумовского — выдавать Кошевую за князя.

Мрацкий от волнения понемногу дошел до полной уверенности, что многолетние грезы его должны обратиться в прах, и не только его Илья не женится на Кошевой, но не нынче завтра он со всей семьей будет изгнан из Крутоярска, освобожденный от опеки княгиней Льговой.

И Мрацкий чувствовал, что он готов на все. Если бы этот же самый «сибирный» Никифор предложил ему за известную сумму денег, хоть за две или три тысячи рублей, отправиться пришибить или прирезать князя в самой Самаре, то он тотчас бы готов был согласиться.

Однажды, когда Неплюев по собственному почину уже собирался вновь в Самару, к вечеру на дворе крутоярских палат появились сани тройкой, и из них вышел князь Льгов. Появление его, конечно, как и всегда, многих удивило и всех заставило перешептываться во всех концах громадных палат.

Приезд этот всех взволновал — от Нилочки, ее опекунов и ее главной мамушки и до последней штатной барыни, до последнего дворового. Один Мрацкий, увидя князя на подъезде дома, вздохнул свободнее.

— Один приехал, соколик! — вслух выговорил он и радостно хлопнул в ладоши.

Мрацкий сразу понял, что если бы был удовлетворительный ответ из Петербурга, то князь не приехал бы один, а явился бы вместе с Зверевым, чтобы официально свататься.

Явившийся князь велел доложить о себе Борису. Новые друзья встретились и горячо расцеловались. Князь прямо прошел в горницу к Щепину и объяснил, что приехал на сутки по делу, чтобы посоветоваться откровенно с другом.

И с первого же мгновения прибытия Льгова в крутоярских палатах началось нечто такое запутанное, за-

мысловатое, такая неразбериха, что не только, по народному выражению, всех черт веревочкой перевязал, но и сам черт если бы явился в дом, то запутался бы в той сети, которую несколько интриганов соткали, спутали и накинули на всех, зацепив и себя.

На другое утро два человека, уже побеседовавшие с князем: Щепин и Неплюев,— каждый в свой черед отправились тайно объясняться с остальными лицами, помогавшими путать себя в общую сеть.

Около полудня все до единого были озадачены, все сомневались, все подозревали друг друга, и всякий, в свой черед, боялся решиться на что-либо. Загадка была во всем и во всех.

Один Никифор знал ясно, что он делает, чего хочет и чем все путаное сочетание обстоятельств разрешится. Главные лица — опекун и мамушка, которыми теперь Никифор играл как куклами, были, однако, наименее смущены, наиболее полагаясь на себя, на свой разум и свое превосходство нравственное.

В доме, как накануне вечером, так и в этот день, с утра была речь только об одном — о бегстве крутоярской царевны, о похищении ее князем. Все главные обитатели дома знали это и все скрывали друг от друга. И все были согласны, все желали, чтобы подобное происшествие совершилось — и как можно скорей.

Свежий, посторонний человек, который бы появился теперь в Крутоярске и обладал бы не только проницательностью, но и провидением, неминуемо спросил бы:

— Кто же кого обманывает тут?

— Все всех, но вместе и себя самих.

В сущности, один головорез Никифор обманывал всех, потому что он один знал, чем кончится вся затея.

Марьяна Игнатьевна, встретившись с князем, обошлась с ним любезно и ласково, и Мрацкий был озадачен и удивлен.

Борис узнал от матери, что в случае чего-либо непредвиденного он должен всячески помогать князю Льгову, и он был поражен. Передав все откровенно Нилочке, как он делал это всегда, он привел девушку тоже в совершенное изумление.

Князь, найдя во всех приветливость, которой никогда прежде не встречал в Крутоярске, был настолько озадачен, что даже смутился и стал было подозрительно относиться к Неплюеву, но его обнадеживало и сбивало с толку участие в деле Бориса.

Даже Петр Иванович Жданов, даже глупый Илья Мрацкий и те, приглядываясь и прислушиваясь, таращили глаза, чуяли что-то диковинное в воздухе и ничего понять, конечно, не могли.

Льгов, по приезде, тотчас же переговорил откровенно с Борисом и правдиво объяснил свое неожиданное появление в Крутоярске. Он получил с нарочным письмо от Зверева содержания для него рокового.

Попытка Зверева — действовать прямо через графа Разумовского — окончилась полной неудачей. Гетман объяснил, что уже давно избрал для девицы Кошевой достойного ее жениха и следующим летом выпишет крутоярскую царевну в Петербург, чтобы обвенчать с избранником.

Вдобавок, на этот брак милостиво смотрела и сама государыня императрица. Имени этого избранника Зверев не узнал, но предполагал, что это один из придворных молодых людей, занимающий крайне высокое положение.

Получив это известие, князь не пал духом и решился неотложно действовать и самым смелым образом, хотя бы, как говорится, очертя голову. Он решился окончательно на то, что уже давно приходило ему на ум и что на днях предложил ему Неплюев, якобы от имени самой Кошевой.

Борис удивился немало тому, что Нилочка послала для переговоров в таком деле к князю не его, а Никифора, но, разумеется, вызвался тайно от матери помогать им обоим, не жалея себя.

В тот же день в маленькой горнице наверху сошлись вместе совещаться трое молодых людей: Щепин, князь Льгов и Неплюев. Дело казалось совершенно простым и ясным. Они трое собирались провести и обмануть опекуна Мрацкого и главную мамушку Нилочки, конечно, с согласия последней. А между тем и Мрацкий, и Марьяна Игнатьевна знали в эти минуты, что происходит тайное совещание молодых людей, и знали — о чем оно.

В то же время Борис и Льгов не знали, что сообщник их Никифор берется многое устроить — подпоить сторожей, мимо которых ввечеру придется Нилочке тайком бежать, равно берется разыскать священника, который бы согласился венчать князя, не имея документов невесты, — все это на деньги, полученные от самого обманываемого ими опекуна.

XXV

Условившись с Щепиным и с Неплюевым окончательно в своих действиях — в какой день и час и в каком месте ожидать с тройкой Нилочку,— князь Льгов собрался уезжать.

Когда лошади были уже поданы, а князь спускался по парадной лестнице на подъезд, главная штатная барыня Лукерья Ивановна явилась перед ним и с низким поклоном заявила, что барышня Неонила Аркадьевна покорнейше просит князя остаться кушать.

Не только князь, но и провожавшие его Щепин и Никифор удивились. Борис привык уже удивляться, но Никифору это новое для него положение показалось подозрительным. Ведь он ведет все, у него в руках вожжи от целого шестерика глупых, бойких, но неразумных коней или, вернее, нитки от нескольких глупых деревянных кукол, которых он заставляет ходить, двигаться и прыгать по собственному усмотрению.

Князь остался. Никифор тотчас же отправился к Мрацкому, чтобы узнать, кто пригласил князя или заставил Нилочку пригласить его остаться в Крутоярске. Откушав, князь, конечно, останется на вечер, останется и ночевать. Кто же смеет действовать помимо Никифора, не спросясь у него?

К немалому удивлению Никифора, Мрацкий был озадачен известием, а затем через несколько минут в присутствии того же Неплюева старик Герасим доложил барину, что Неонила Аркадьевна просит Сергея Сергеевича с супругой и с семейством откушать сегодня за ее столом в большой зале.

— Видишь сам, что не я ей приказ посылал,— выговорил Мрацкий угрюмо.— Меня самого приглашают. Это, стало быть, Марьяшка хитрит. А зачем — неведомо! Поди-ка лучше к ней, попытай ее.

Никифор отправился было в горницы Марьяны Игнатьевны, но встретил по дороге своего врага, с которым теперь лукавствовал.

Борис, не ожидая вопроса, вымолвил:

— Матушка сердита, страсть как сердита!

И при этом Борис кротко и весело рассмеялся.

— Все порешила сама Нилочка,— продолжал он.— Не сказавши никому, заказала парадный обед, приказала все приготовить в большой зале и послала Лукерью Ивановну приглашать князя, а потом пригласила и всех

к столу... Петра Ивановича и всех Мрацких. Совсем как бы именины ее, или рождение, или праздник какой.

— Ай да Неонила Аркадьевна! Молодец! Пора бы ей давно так действовать! — рассмеялся Никифор.— Нам зато можно надеяться, что у нее и впрямь хватит сердца выйти из дому в условный день и час.

В эту самую минуту около двух молодых людей, разговаривавших в коридоре близ большой лестницы, появилась Аксюта и тихо прошла, не поднимая на них глаз и даже слегка опустив голову.

Оба взглянули на нее. Ни тот, ни другой ни слова не сказали девушке, а затем оба глянули друг другу в глаза.

Щепин смущенно взглянул на Никифора, а этот настолько ненавистным взглядом смерил Бориса, что пронизал его насквозь. И тут только впервые стал догадываться наивный Щепин, что имеет в лице Неплюева страшного и даже, пожалуй, опасного врага.

Да, перед ним стоял его смертельный враг — и враг не с нынешнего дня, а давнишний! А между тем он не уберегается нисколько от него, не замечает его, не только не сторонится.

Никифор, уйдя к себе, улыбался отвратительной, злобной усмешкой, исказившей его молодое и все-таки более или менее пригожее лицо.

Борис отправился к Нилочке, но был задумчив, печален. Какое-то странное чувство сжало ему сердце, будто боязнь чего-то... Ему было, в сущности, все равно, любит ли его или ненавидит приемыш Жданова — побочный сын какой-то татарки или караимки. Но если он прочел в глазах этого безродного головореза такую дикую ненависть к себе, то не следует ли подумать об этом?

— Но что же он может? — выговорил наконец Борис вслух сам себе.— Конечно, ничего!

Борис нашел Нилочку совершенно не такою, какой оставил за несколько минут пред тем.

Девушка, объявившая ему, что сама решила парадный обед с гостем, была тогда очень весела... Ее забавляла мысль, что она бунтует, показывает вдруг свою собственную волю, не стесняясь тем, что скажет или сделает опекун.

Теперь же он нашел девушку в углу ее горницы у окна за пяльцами, но она не шила. Опустив на худенькие руки свою белокурую головку, Нилочка была точно

так же в таком же полном забытьи и отрешенная от всего мира, как когда-то недавно сидела Аксюта.

И Борис сделал почти то же. Он постоял немного над девушкой, потом нагнулся, взял ее голову в руки и поцеловал в лоб.

Нилочка вздрогнула, но, отняв руки от лица и увидя Бориса, грустно улыбнулась.

— Испугал ты меня! — прошептала она.

— О чем ты так задумалась и вдруг? Сейчас смеялась, когда я ушел, радовалась, что хозяйничать начала, как если бы и опеки над тобой не было, а теперь сидишь будто пришибленная. Случилось что?

— Ничего.

— Так что же ты приуныла?

— Мысли такие пришли, что сразу меня захватили,— тихо отозвалась Нилочка.— Я так задумалась, что все забыла, не знала где и сижу... Вот что, Боринька,— хотя и не след бы мне об этом говорить тебе, а все-таки надо. Присядь-ка...

Борис сел на диванчик недалеко от друга.

Девушка собралась с мыслями и заговорила:

— Слушай-ка, дело простое! Отвечай мне, что я тебя спрошу, а если не знаешь, что отвечать,— подумай, вместе перетолкуем. Слушай, Маяня говорила тебе, что уже давным-давно, много лет, желала, чтобы ты на мне женился, что с этими мыслями она так и жила? Она и не знала, что когда ты будешь большой и военный, то не захочешь сам жениться, не знала, что и я к твоему приезду уже всю душу отдам другому человеку? Ведь не знала она ничего этого?

Конечно, не знала! — отозвался Борис.— Что ж дальше?

— Скажи, как полагаешь, такой ли человек Маяня... твоя мать,— поправилась Нилочка,— чтобы вдруг, сразу, бросить все свои старые мысли и желания и согласиться на совсем другое? Может ли она желать теперь, чтобы я вышла за князя Льгова?

— Не знаю,— отозвался Борис и протянул свои сло́ва, как бы соображая, что отвечать вместо них.

— Нет, ты знаешь или, подумавши, узнаешь. Так подумай!

— Да, правда твоя, чудно это немножко! — вымолвил Борис.— Матушка не такова, чтобы ныне одного желать, завтра — другого...

— Стало быть, у ней по-прежнему те же мысли:

авось ты сдашься и я тоже — и обвенчаемся мы... Ну, хоть не сейчас, хоть через год.

— Да, думаю, что те же.

— Так как же, Боринька,— воскликнула Нилочка,— потакает она нам теперь?! Поясни-ка это! Сказала я ей, что задумала звать князя к столу, а там просить остаться ввечеру... Ведь пойми ты, мне хотелось повидать его, поговорить, хоть два-три слова украдкой сказать, хоть поглядеть на него и глазами ему сказать, что я и люблю его, и на все пойду. Я думала, Маяня... ну, твоя мать... страшно разгневается на все это, а она удивилась, поглядела на меня пристально, а потом стала улыбаться и говорить: «Что ж, хорошее дело! Веселей день проведем! Он речистый, что-нибудь расскажет, позабавит нас...» А затем, Боринька, через несколько минут поглядела я на нее, она сидит, глядит в окно, задумалась, и такое... Ты меня прости, она тебе мать! Такое у нее нехорошее, злое лицо, что у меня сердце екнуло. Что же все это?! Рассуди, Боринька. Ты мать любишь, но ведь и меня любишь. Рассуди по правде, подумай!.. Что же это все?

— Не знаю, Нилочка! Только одно и могу сказать, что она из любви к тебе бросила свои прежние мечтания, а самой все-таки горько. Другого я ничего придумать не могу.

— Ну, а мне, Боринька, сдается совсем не то... Не сердись и не смейся! Мне сдается, что тут все как-то во всем перепутано, ничего нельзя понять... Ну, посуди ты сам, хоть бы одно возьми — из-за чего Никифор бьется как рыба об лед, старается для меня и для князя? Я ему обещание сделала и сдержу его, но ведь это уже после было, когда уж он затеял все. А начало всего от него пошло! А он то и дело бегает к Сергею Сергеевичу, сидит у него иногда по целому часу... О чем они говорят? Я это недавно узнала. Рассуди ты все это и успокой меня, если можешь.

Борис собрался отвечать, но в эту минуту в горницу вошла Марьяна Игнатьевна.

Молодые люди смолкли, но вместе с тем впились глазами в фигуру вошедшей Щепиной.

Лицо ее было угрюмо, темнее ночи, голова опущена, руки скрещены на груди, и она вошла тихими мерными шагами, точно не живой человек, а какое привидение.

Одно это появление, внешний вид Щепиной прямо и отвечали Нилочке на все ее вопросы и сомнения...

Нет, эта женщина не бросила все свои заветные мечтания, не уступила... Она с ними сжилась! А она из тех, которые — когда задумают что, то добьются своего, не останавливаясь ни пред чем.

Молодые люди не знали, что Щепина была теперь мрачна потому, что додумалась до подозрения сына в обмане. Она собиралась приказать ему помогать Нилочке только в деле бегства из дома, но в случае обмана со стороны Неплюева не допускать полного похищения и венчаться... А можно ли теперь ей положиться на сына? А если он продаст ее князю Льгову... Родную мать, обожавшую его всю жизнь?! Да, на это похоже...

XXVI

Парадный обед прошел заурядно. Все были будто стеснены и поэтому молчаливы. Князь не решился остаться ночевать и в сумерки уехал.

С утра следующего дня Неплюев начал хлопотать и действительно деятельно занялся приготовлениями к похищению крутоярской царевны. Он один действовал будто за всех и все добровольно брал на себя. И князь, и Нилочка тотчас же незаметно для самих себя очутились в полной его зависимости.

Никифор два раза побывал в Самаре для совещания с князем, одновременно совещался и с Нилочкой. Вместе с тем он оттягивал и оттянул дело неизвестно почему. Два раза назначенный день для рокового события был им отложен. Никифор уверял, что не все готово, а между тем ни князь, ни молодая девушка не узнали от него истинной причины отсрочек.

Вместе с тем князь Льгов все-таки подозрительно относился к Никифору, сам не умея объяснить, почему действия Неплюева кажутся ему сомнительными. Причин сомневаться ему в искренности Никифора не было, однако, никаких. Ведь сам же он предложил князю свое участие, первый подал мысль о похищении. И тревожное чувство все-таки не покидало Льгова ни на минуту. Отстранить его, конечно, было поздно да и нелепо и, наконец, опасно.

Такое же сомнение, смущение и тревога были в сердце молодой девушки. Она не боялась того шага, на который решилась, она не сомневалась в себе. Она сомневалась в успехе задуманного дела, и, к ее же соб-

ственному удивлению, ей смутно казалось, что все было бы благополучно, если бы не главный его и добровольный устроитель.

Нилочка бессознательно, без всякой почти причины, подозревала Никифора так же, как и князь. У молодой девушки для этого подозрения было лишь одно основание: через одну из своих горничных она знала, что главный заговорщик и руководитель ежедневно бывает у Мрацкого и сидит у него подолгу.

Однажды ввечеру Нилочка решилась прямо спросить у Неплюева, по какому делу он так часто бывает у Мрацкого.

Молодой малый рассмеялся добродушно.

— Уж не думаете ли вы, Неонила Аркадьевна, что я хитрю, лукавствую. Я же вам на это ответил, что считаю Сергея Сергеевича ехиднее самого змия. Если может быть какая помеха в нашем деле, то, конечно, от него Поэтому я и подлащиваюсь к нему, чтобы он мне поведал откровенно как преданному лицу, есть ли у него какое подозрение. Если бы вы послушали, что я ему говорю о себе и о вас, так ахнули бы! Я ваш заклятый враг! За то и он со мной откровенничает. Поэтому я и знаю, что он теперь и не помышляет о том, что мы собираемся учинить.

Конечно, молодая девушка вполне поверила объяснению Неплюева и успокоилась. На ее вопрос, что думает Никифор об успехе их предприятия, он еще добродушнее рассмеялся.

— Понятное дело, что убежим и обвенчаемся. Ведь это так мудрено кажется, особливо вам, девице. А чего же проще? Вы выйдете в сад и в поле, а князь приедет вас ждать. А там доедем до храма, обойдете вокруг аналоя три раза — и всему конец. Ловить вас никто не собирается. Была бы одна помеха — Марьяна Игнатьевна, да и на ту какая-то слепота нашла...

— Слепота ли это? — возразила Нилочка тревожно.

— А что же другое-то?

— Меня смущает Маяня... Она будто все знает и помогает.

Никифор махнул только рукой на такое странное подозрение.

Через день после этого разговора Неплюев был вдруг позван к опекуну.

«Что такое случилось?» — думалось молодому малому, когда он шел к Мрацкому.

И, несколько озадаченный и смущенный, предстал он пред Мрацким.

Вероятно, во всем, что делал и говорил Никифор, или в злобно-умном лице его было что-нибудь особенное, так как вслед за князем и Кошевой сам Сергей Сергеевич, полный сомнения, стал опасаться, не проводит ли его за нос головорез Никишка.

— Что прикажете? — спросил Никифор, пытливо вглядываясь в лицо старика.

— А видишь ли,— улыбнулся ехидно Мрацкий,— мысли такие мне в голову пришли... Хотел у тебя спросить: боишься ты меня или нет? Побоишься во мне врага нажить или тебе наплевать на такого врага?

Уж, право, не знаю, Сергей Сергеевич, что и отвечать... Не понимаю, что вы говорите?

— А пришло мне на ум, Никифор, не собираешься ли ты впрямь обвенчать князя с Нилочкой и магарыч с них получить. Княгиня Льгова может больше тебе дать, чем я.

— Как же я это сделаю, Сергей Сергеевич? Каким способом?

— Очень просто, надуешь меня...

— А я у вас спрашиваю, как же я это сделаю? Вспомните уговор. Вам будет известно, в котором часу явится князь на тройке, и будет известно, когда наша царевна выбежит из дому. И ваши же люди с вашим Герасимом будут поджидать, чтобы их ловить. А Герасим за вас душу свою прозакладывает. Как же я могу надуть вас?

— Вот в том-то и дело. Нет ли тут какой загвоздки? Так я и хотел тебе вперед сказать: надуешь ты меня, я себя не пожалею, никаких денег не пожалею, а сотру тебя с лица земли. Так-таки ничего от тебя и не останется. В этом вот тебе бог!

И Мрацкий показал в угол горницы, где висела икона.

Никифор помотал головой и улыбнулся.

— Удивительные мысли! Все вам известно так же, как и мне, а вы — бог весть что придумываете.

— Вот то-то и есть, Никифор, что не все мне известно... Ты с людьми не будешь, ты не говоришь, где будешь и как будешь орудовать. Ты, может, проведешь их другой дорогой да и скажешь, что мои люди прозевали.

— Полноте, Сергей Сергеевич, ведь вы знаете, где

я буду и что я буду делать! Что же, по-вашему, мне среди ваших людей с ружьем встать да и палить по князю, чтобы пятьдесят человек свидетелей на этакое дело было? А выдадут меня, будут судить в Самаре, кто же виноват окажется? Какова мне выгода убивать князя? Понятное дело, доищутся до того, кто меня нанял.

Переговорив снова подробно с Мрацким, Никифор вполне успокоил его, уверив, что для него вернее получить от опекуна небольшую сумму денег, чем невесть какие обещания опекаемой и ее возлюбленного.

— Не сули журавля в небе, дай синицу в руки! — вот что, Сергей Сергеевич, всякий должен знать.

— Ну, а скажи,— кончил Мрацкий,— благополучно ли все это окончится... Вестимо для нас, для меня?

— Останется ли, хотите вы сказать, князь Льгов на месте? Полагаю, что останется... Может быть, убит и не будет, пуля — дура! А уж тяжко ранен наверное будет. И всякие свои ухищрения бросит. Всякому своя жизнь дорога! Коли и выздоровеет, предпочтет искать себе другую невесту-приданницу.

— Ну, все-таки лучше бы того...— выговорил Мрацкий и запнулся.

— Остаться ему на месте? — усмехнулся Никифор.

— Да, лучше бы...

— Вестимо, лучше! Да так, надо полагать, и будет!..

XXVII

Наконец наступил и назначенный день. Еще поутру явился в Крутоярск посланный из Самары и привез Никифору письмо от князя Льгова, в котором тот уведомлял, что непременно в шесть часов вечера в санях, на тройке будет ждать в поле за садом.

Никифор показал письмо Нилочке и невольно подивился, глядя на молодую девушку. Она была холодна как лед. Лицо ее было спокойно, только глаза блестели ярче: то потухали, то вновь загорались еще более сильным огнем.

«Чудно! — думалось Неплюеву.— Вырастилась здесь, как малиновка в клетке, а все-таки бой! И не на такое дело, кажись, пошла бы... На войну пошла бы. Поглядеть на нее,— просто годится в царицы-монархини наша крутоярская царевна».

От Нилочки Никифор прошел к Мрацкому и тоже показал ему письмо князя.

— Смотрите, Сергей Сергеевич,— прибавил он,— вы не промахнитесь! Боюсь, вам бы не сплоховать!

— Что мне плоховать? Мое дело не мудреное,— отозвался Мрацкий.— Мои люди в срочный час в засаде будут.

От Мрацкого Никифор прошел в горницы Бориса и точно так же предупредил его, что ввечеру должно совершиться давно задуманное.

Здесь, в горнице Щепина, Никифор совершенно изменился. Говоря с Борисом, он сразу стал сумрачен, ни разу не поднял глаз на молодого капрала.

Кратко и сухо объяснившись с ним, он глухо прибавил:

— Помните же, Борис Андреевич, ваше дело — вместе с Неонилой Аркадьевной выйти из дому и провести ее в конец сада и посадить в сани,— больше от вас ничего не требуют. Коли вы в последнюю минуту струсите и не пойдете, то это будет с вашей стороны подлый обман.

— С чего же вы взяли, что я струшу? И чего мне трусить? В церковь я не поеду, вперед говорю... Прежде хотел, а теперь... не могу. Почему, не скажу вам,— грустно проговорил Борис.— Мне одна забота, что я все-таки, выходит, решился обманывать родную мать... ну, да бог даст, она простит! Зато я угожу и Нилочке, которую люблю как брат, и князю, которого тоже люблю... Что ж может меня остановить?

— Вот этого-то я и опасаюсь! — выговорил Никифор, не поднимая глаз.— Малодушие простое вдруг помехой будет... Как придется идти к Неониле Аркадьевне, струсите и на попятный, и все дело будет проиграно. Не может же она одна бежать через весь сад в потемках?! Уж лучше прямо теперь откажитесь, я вместо вас ее проведу. Тогда вы возьмитесь за мое дело — глядеть здесь, чтобы погони не было, а если будет, чтобы погоне из дома помешать.

— Нет, уж как сказано! — решил Борис.— Я в шесть часов ровнехонько заставлю Нилочку собраться и идти. И доведу ее до князя. Но дальше я ни шагу. А я так боюсь, как бы вдруг у нее робость не явилась.

— Ну, а я думаю, извините, единственный человек, который нам все дело может испортить,— это Борис Андреевич, который по малодушию в урочный час, вместо того, чтобы помогать, будет вот тут в горнице

ахать, ахать да плакать, сам себя срамить. И ни шагу из своей горницы. От вас это станется!

— Вы не имеете никакого права говорить так,— обиделся наконец Борис.— Я даю честное слово, что свое дело сделаю. Да и, повторяю, бояться мне некого и нечего! В храме меня не будет, впредь говорю...

— Ну, ладно, давай бог! — произнес Никифор попрежнему сумрачно и, не взглянув Борису в лицо, вышел из его комнаты.

И день этот пуще, чем все прежние, казался бесконечным днем для главных обитателей крутоярского дома. Он тянулся как вечность. Каждый минующий час казался целым нескончаемым днем.

Нилочка сидела у себя безвыходно, была холодна, спокойна, молчалива и не отрывалась от работы на пяльцах. Но то, что она вышивала, было совершенно спутано. Насколько казалось спокойно ее лицо, настолько смутно было на душе ее. Она горела как в огне, а сердце замирало и ныло... Мгновениями молодой девушке казалось, что она вместе со своим возлюбленным погибнет, что в этот же день окончится ее существование и его вместе с ней.

Мысль ее не шла далее калитки от сада в поле. Ей ясно представлялось, как она достигнет до того места, где князь будет ждать ее. Но что будет далее, она никак не могла представить себе.

Борис был тоже смущен, избегал разговаривать с матерью и не решался даже посмотреть ей в лицо, но вместе с тем какая-то непонятная тоска грызла его. С той минуты, что Никифор показал ему письмо князя и он узнал, что в этот же вечер непременно состоится похищение,— странное, необъяснимое чувство напало на молодого человека.

Он долго просидел у себя около окна, глядя на покрытую снегом окрестность, и все представлялось ему унылым, печальным. Побывав на минуту внизу, в горницах Нилочки, он снова вернулся к себе и снова просидел часа два, не двигаясь и глядя в окно.

Объяснить себе свое нравственное состояние, какого никогда у него не бывало ни в Крутоярске, ни в Петербурге,— он не мог.

Марьяна Игнатьевна не знала ничего о письме князя, но все узнала, сообразила. Она прочитала на лицах Нилочки и своего сына, что нынешний день — якобы роковой для них.

«Глупые дети,— думала она.— И на ум не приходит им, что они — куклы на потеху умных людей!»

Сергей Сергеевич сидел у себя и был угрюмее сех. Он всегда верил в успех своего предприятия. Один жених уже влюблен в Аксюту, другого похерят. Однако он тревожно обдумывал последствия того, что теперь, ко нечно, в точности будет исполнено Никифором. Как потом отвертеться? Во-первых, он будет отчасти в руках Никифора, у них будет общая тайна — преступление. А затем вопрос: сойдет ли с рук такое дело? Всякий поймет, кому была выгода отделаться от жениха Кошевой, за которого она сама собиралась замуж и за которого в это же время хлопочет в Петербурге у гетмана-графа прежний опекун.

Мрацкий сидел у себя угрюмо, погруженный в свои тяжелые думы, и изредка шепотом повторял вслух одно и то же:

— Не зарвался ли я? Не возомнил ли о себе чересчур? Не попасться бы мне!

Но затем он вздохнул протяжно и прибавил мысленно:

«Волка бояться — в лес не ходить!»

XXVIII

Наступили сумерки на дворе, и понемногу стемнело совсем. Потемнел и дом. Кое-где в горницах зажгли огоньки...

Огромный барский дом, большой сад, надворные строения, храм за рощицей — все имело свой обыкновенный, давний и всегдашний вид.

Но не так казалось оно двум существам, которые в эти мгновения будто томились под кровлей крутоярских палат, переживая душевные муки.

Нилочка уже часа два не находила себе места. Она двигалась без цели из одной своей горницы в другую или выходила в смежные парадные комнаты, в обе большие залы, угрюмые и пустынные, и бродила по ним, заглядывая в окно. Она озиралась на все, на горницы и на окрестность, тревожно и вопросительно, будто силилась узнать или прочесть где-либо на чем-либо ответ на вопрос: «Что будет?»

В воображении девушки рисовались картины близкого будущего, то отрадные, то ужасные...

Иногда ей представлялось, как она завтра явится сюда с мужем, как она, будучи уже по закону княгиней Льговой, смело и гордо заговорит с Мрацким.

Иногда же непонятный страх овладевал ею, и такая гнетущая тоска врывалась в сердце, как если б она собиралась идти добровольно на смерть.

Когда на больших часах в анненской гостиной пробило пять и по всем пустым горницам дома прозвучало мерно пять медленно звенящих ударов, Нилочка встрепенулась и стала прислушиваться. И каждый удар отзывался у нее в сердце. С рожденья слышала она этот бой, и никогда звуки эти не казались ей такими, как теперь... Это были странные звуки, унылые и зловещие, будто погребальные...

Слезы навернулись на глаза девушки...

— Когда будет бить шесть — что будет? — шепнула она, мысленно обращаясь к этим часам.

В то же время и Борис сидел у себя унылый, хотя с ним была забежавшая к нему Аксюта. Она знала, конечно, через него о сборах для бегства барышни. Девушка тоже была без всякой причины печальна, не имея возможности объяснить себе самой, что именно и почему лежит у нее камень на сердце.

Влюбленные сидели в углу горницы, задумавшись, и давно уже молчали.

Когда начало смеркаться, Борис заволновался. Он отпустил Аксюту и не знал, что ему делать. Идти за Нилочкой было рано, а ждать у себя урочного времени он не мог от волненья.

— Да чего же наконец я боюсь? — спросил он себя.— Не Мрацкого же? Что же он может? Ну, увезли из-под носа опекаемую — и конец! И раз Нилочка обвенчана — ему надо отсюда выбраться с пожитками, а не командовать. А матушка простит. Да и чудна она! Будто знает все. Приказала мне во всем помогать Нилочке, что та попросит, но взяла слово с меня не уезжать из Крутоярска.

Несколько ободрившись, Борис спустился вниз и, проходя через большую залу, увидел в полумраке маленькую фигурку у окна.

— Боринька, ты? — послышался ему голос Нилочки, но настолько изменившийся, что он не сразу признал его.

— Я... К тебе шел...— отозвался он и, приблизившись, прибавил тихо: — Шестой час.

— Скоро половина,— глухо вымолвила Нилочка.

— Что же?

— Что? — тоже вопросом ответила и девушка.

— Ты не знаешь?

— Знаю... Вестимо...

И оба смолкли, стараясь разглядеть друг друга в темноте.

— Оробела? — спросил наконец Борис.

— Нет... А страшно...— прошептала Нилочка.— Не страшно бежать, венчаться... А страшно другое. А что — не знаю.

— И мне как-то. Мрацкого я, вестимо, не боюсь. Что ж он может со мной? Я не крепостной его. На него у меня есть кулак и шпага, смотря по обстоятельствам... А я боюсь... чего — сам не знаю.

— Вот... Да... Как же, Боринька? Решаться ли? Не отложить ли?

— Пожалуй...

Нилочка схватила Бориса за руку, сильно дернула и произнесла с укором:

— Стыдно! А еще капрал столичный! Оставайся. Я одна добегу до калитки.

— Что ты... Что?.. Ты же говоришь — боюсь.

— Я тебя пытала... Ничего я не боюсь. Да и нечего бояться. А что у меня на сердце жутко, так понятное дело... Ведь мне под венец — на всю жизнь! А вот чего ты трусишь — этого уж никому не понять. Оставайся...

И Нилочка быстро двинулась чрез залу, но Борис бросился за ней.

— Я тебя одну не пущу! — воскликнул он.— Я буду здесь ждать. Одевайся и выходи.

Девушка ушла к себе в горницы; Щепин быстро сбегал к себе, вернулся вниз в плаще и в шляпе и стал ждать Нилочку у двери на маленькую лестницу, которая вела к выходу в сад.

В это же самое время к саду крутоярской усадьбы подъехали сани тройкой и стали, укрытые кустами ельника, в поле.

Из них вышел князь Льгов, прошел калитку и стал медленно ходить вдоль забора сада.

За полчаса до появленья князя здесь же, в самой чаще кустов сирени и акации, среди глубоких сугробов тихо и безмолвно сидели, укрываясь, человек двадцать дворовых людей, присланных сюда барином-опекуном под начальством его любимца лакея Герасима.

Дворня знала лишь наполовину, зачем ее отрядили. Было приказано повиноваться во всем Герасиму в деле препятствования уехать из вотчины.

Но куда и зачем собирается их помещица и истинная владелица — никто не знал. Шагах в полутораста правее от спрятанной в засаде дворни, тоже в кустах, притаился один человек, пришедший сюда прежде всех. Это был Никифор.

Он стал, пригнувшись и совершенно укрытый отовсюду. Пред ним было ружье, уже положенное на здоровый сук и верно направленное, как бы с подставки, на дорожку, по которой взад и вперед медленно и задумчиво шагал прибывший князь.

Если Льгов не подозревал, что в полумраке в сотне шагов от него скрыто две засады, то и дворня, видящая его, не знала, что поблизости от нее спрятался человек, который также следит за князем лихорадочным взором.

Благодаря звездному небу Никифор мог хорошо видеть Льгова. Уже два раза принимался он, брался за ружье, прикладывался с прицела к тихо движущейся фигуре и слегка трогал пальцем собачку... Стоило двинуть пальцем сильнее, и остро отточенный кремень, свежий порох на полке и жеребье, т. е. продолговатая свинцовая пуля, которую он чрез силу вколотил в ствол ружья — сделали бы вмиг свое страшное дело.

Но Никифор, два раза нацелившись в князя, оба раза усмехнулся. Он только пробу делал: достаточно ли видна мушка на стволе и можно ли хорошо направить дуло прямо в грудь.

«Умный человек эту штуку выдумал»,— думал он глядя на ружье.

Вдруг Никифор слегка вздрогнул, и его сердце застучало сильнее.

«Вот!» — будто сказал кто-то ему на ухо.

— Да. Ну так что же? — прошептал он как бы в ответ — Что же? Что же? — повторил он.— Сейчас — и готово все будет...

В полумраке налево выделились две фигуры, мужская и женская, и поспешно приближались... Князь увидел их тоже и двинулся навстречу. Они сошлись вместе. Князь взял девушку за руки, как бы благодаря за решимость и сдержанное слово...

Борис стоял около них вплотную, но, перемолвившись, все трое двинулись к калитке, и Щепин отделился, идя последним...

В кустах зашумели... Послышался шелест и хряст, затем и голоса... Дворня из засады двинулась сразу...

— Лови, ребята! — крикнул Герасим.

Беглецы стали как вкопанные. Нилочка схватилась за князя, который обнял ее одной рукой. Щепин выступил вперед...

В то же мгновение гулко грянул выстрел. Борис ахнул, схватился за грудь и повалился на снег...

Дворня окружила беглецов, но все до единого человека, молча, озирались друг на друга с недоумением, будто спрашивая:

«Что это?.. Кто?!»

— Ребята? Кто же это? — раздался голос Герасима.

Чрез мгновенье все были заняты упавшим...

Нилочка была на коленях около него. Князь тоже нагнулся, как бы забыв о бегстве и о нежданно явившейся толпе.

— Боринька? Боринька? — плакала девушка.— Что же это такое! Господи!

— Я... это знал...— прошептал Борис...— Конец... Скажи...

Но он не кончил и тяжело вздохнул.

— Как смели это! — с рыданием вскрикнула Нилочка на толпу, и, поднявшись, она грозно замахнулась на всех.

— Это не мы, барышня! — отозвался Герасим.— Бог весть кто! Непонятно. Пожалуйте скорее домой. А барина мы донесем. Берите, ребята...

Щепина подняли на руки. И все двинулись к дому. Нилочка пошла тоже, не думая ни о чем... И только пройдя несколько шагов, она стала вдруг озираться, будто искала кого глазами. Она искала князя. Но его не было с ней.

XXIX

В саду недалеко от забора стало тихо и пусто...

Снежные сугробы были истоптаны. Сейчас здесь сновала, шумела, голосила целая толпа. Теперь все стихло, и не было ни души... Дворня с Щепиным на руках была уже около дома.

Князь Львов уже сел в свои сани, пораженный, смущенный, и скакал обратно в Самару. Один!.. Все рухнуло! И спасибо еще, что он жив. Князь догадался

и верил, что случайно избегнул смерти. Пуля предназначалась, очевидно, для него.

Спустя с четверть часа после выстрела и сумятицы среди кустов шевельнулся кто-то, тяжело вздохнул и двинулся из сугробов.

Это был Никифор.

Долго просидел он в своей засаде, но не от опасенья за себя. Он давно видел, что все кругом опустело.

Никифор сидел на снегу среди чащи под наплывом нежданного и непонятного, какого-то для него нового чувства. Он сам с собой шептался, спрашивал и отвечал.

Его собственный выстрел заставил его замереть на месте. Он был уверен, что убил Щепина. Ружье с подставки было намечено спокойно и верно прямо в грудь Бориса и дрогнуть не могло.

И этот выстрел теперь все еще звучал в ушах Никифора... Ему казалось, что он теперь снова живет иною жизнью. Снова, а не по-прежнему, не по-старому. Для него началась новая жизнь. До выстрела была одна жизнь, а теперь началась другая... Этот выстрел разделил все на две половины: все... желания, мечты, все чувства, все мысли. То было до выстрела, а это вот... после, теперь...

— Человека убил! — шептал Никифор.— Бориса Щепина. Да. Хотел отплатить за Аксюшу. И отплатил.

Но ведь тот, которого он ненавидел здесь в Крутоярске,— его вдруг не стало... Есть мертвое тело. И это он сделал, что есть теперь мертвое тело. Он думал отделаться от врага, а нажил преследователя... Да, Борис Щепин, которого унесли дворовые в дом,— здесь, около него стоит невидимкой.

И так всегда будет! Отныне и навсегда.

— Все пустое! — шептал Никифор и прибавил: — Ох, лучше бы... сызнова.

Наконец, как бы овладев собою вполне, Неплюев вышел из засады и засунул ружье среди чащи в высокий сугроб. Затем он подошел тихо к тому месту, где лежал Борис, поглядел, вздохнул и медленно двинулся к дому.

Между тем в крутоярских палатах было всеобщее смятение... Страшная весть быстро облетела всех обывателей, и они сбежались в большую залу. Бориса принесли без чувств в горницы барышни.

По дому пронесся один вопль... Только один! Но долго звучал он потом в ушах всех крутоярцев. Этот

протяжный стон вырвался из груди Марьяны Игнатьевны.

Скоро все уже знали все подробно и были в таком же недоумении, как и Герасим.

— Кто! Почему?.. Где же ружье? У кого нашлось?.. Что сказывает Сергей Сергеевич?..

Но вскоре новая весть ошеломила всех. Этого будто никто не предвидел. Кто-то объявил, что Борис Андреевич «кончился».

Действительно, принесенный и положенный на диван, Борис пролежал с четверть часа без движения, и только грудь его заметно вздымалась. Марьяна Игнатьевна стояла около дивана на коленях, смотрела в лицо сына широко раскрытыми глазами и с изумленным лицом. Женщина была, казалось, только изумлена — и до такой степени, что, очевидно, не понимала ничего происходящего перед ней.

Нилочка, тоже стоявшая поблизости от лежащего Бориса, не спускала глаз с своей Маяни. Она была страннее, чем ее сын. Нилочка уже предугадывала смутно, чего ждать... Это искаженное изумлением лицо мамушки говорило, что вопрос, написанный на нем, так и останется навсегда. Она никогда на него не ответит, а другим не поверит и даже не услышит, что они будут говорить ей.

Борис вдруг двинулся, широко раскрыл глаза и будто хотел сказать что-то... Но только грудь высоко вздулась и медленно опустилась. Нилочка поняла, зарыдала и отошла. Марьяна Игнатьевна ничего не заметила, стояла все так же на коленях и чрез несколько минут вымолвила тихо, но недовольным голосом:

— Боринька! Что же так-то лежать? Скажи что-нибудь! Где болит-то? А?..

И снова наступившее в горнице молчание настало надолго..

В то же время в половине Мрацких в коридоре столпились все люди, которые были посланы в засаду.

Сергей Сергеевич только что допросил всех лично, как приключилось невероятное событие.

Мрацкому не пришлось разыграть роль взволнованного и негодующего, как он приготовлялся с утра... Он действительно был вне себя.

Опросив всех и получив все тот же ответ — «не ведомо» и «бог его знает»,— Мрацкий ушел к себе и ме-

тался из угла в угол, бился как разъяренный зверь в клетке.

— И не идет! Не идет! — изредка повторял он, злобно и нетерпеливо поглядывая на дверь.

Наконец Герасим, тоже взволнованный происшествием, в котором оказался против воли как бы виноватым, вошел, понурившись, и доложил:

— Никифор Петрович.

— Давай, давай! — почти закричал Мрацкий.

Никифор, сильно бледный, вошел и улыбнулся... Но это была не улыбка, или же Мрацкий отроду таких улыбок не видал, и она его приковала к месту, лишила языка. Он молча глядел на Неплюева.

— Ошибочка вышла,— проговорил глухо Никифор.

Мрацкий как бы пришел в себя и едва прошептал, задохнувшись от гнева:

— Ошибочка?!

— Да-с... Что же? Оба офицеры. . Точку в точку платье и шляпы... Одного росту. Да и ночь на дворе... Что же... Мне и самому оно...

Никифор вздохнул. Мрацкий смерил малого с головы до пят и почувствовал, что его злоба начинает отливать от сердца.

Неплюев был на себя непохож, очевидно, от рокового недоразумения, в котором был виноват отчасти. Ведь не от раскаяния же в смертоубийстве треплет его будто в лихорадке. Не из таких этот. Сибирный.

– Как же вышло-то, скажи!! Что же теперь делать... всему конец. Второй раз князь не сунется...

Неплюев молчал, но Мрацкий, приглядевшись к нему, вдруг будто прочел что-то на его бледном лице.

— Ты Каин, да и Иуда вместе! — глухо прошептал он.— Пошел вон, сатана!

Ввечеру настала в доме унылая тишина. Все будто попрятались по углам.

Сергей Сергеевич обошел весь дом и всем пригрозился, что убийца будет найден, так как он даст знать в Самару о происшествии, и в Крутоярск пришлют приказных судей.

Вместе с тем Мрацкий распорядился немедленно относительно опекаемой им «безобразницы» и ее мамушки. Марьяна Игнатьевна с рокового мгновения, очевидно, потеряла рассудок, она даже сердилась и смеялась, разговаривая с телом покойного...

Щепину отвели наверх, заперли в отдельную горни-

цу а к дверям приставили дворового часовым и назначили двух горничных дежурить по очереди около сумасшедшей.

Нилочка в своих горницах, по распоряжению опекуна, очутилась точно так же взаперти и под стражей шести сменявшихся по очереди лакеев.

XXX

Между тем весь край волновался из-за самозванца Пугачева. Наступил конец ноября, и смута усилилась... В Крутоярске жизнь замерла. И прежде бывало всегда скучно и уныло в больших палатах; теперь же все, казалось, омертвело. Иногда большой дом, наполненный обитателями, мог показаться заброшенным и совершенно пустым.

Смерть внезапная и загадочно насильственная всеми любимого Бориса, безумие Марьяны Игнатьевны, находящейся как бы под стражей, и наконец положение самой крутоярской царевны, как бы тоже заключенной и отрешенной от всех, навели и уныние, и робость на всех обитателей дома.

Мрацкий, которого и прежде все боялись, теперь навел на всех такой страх, что даже грезился во сне иным штатным барыням. Главная из них, Лукерья Ивановна, подняла однажды ночью всех на ноги такими страшными воплями, как если бы ее резали. Вскочив с постели, она выбежала из своей горницы и пустилась бежать по дому, оглашая его дикими криками. Когда ее поймали, снова уложили, то она не могла объяснить, что с ней случилось, побоялась даже рассказать свой сон. А пригрезилось ей, что ее пришел перепиливать пилой сам Сергей Сергеевич.

Всего удивительнее было то обстоятельство, что боль в животе у Лукерьи Ивановны от пилы, которой Мрацкий пилил ее во сне, чувствовалась до утра.

Хотя другие штатные барыни и убеждали Лукерью Ивановну, что вся беда произошла от вновь заваренного кваса, которого все не в меру отведали, но во всяком случае молодой квас, под влиянием страшных крутоярских событий, преобразился ночью в старого опекуна Мрацкого с большущей пилой.

Главный деятель крутоярский, всеми по чутью почитаемый настоящим убийцей, был мрачен, сидел у себя

в горнице или отлучался на сутки и более неизвестно куда.

Однажды Никифор пропал на целую неделю и, вернувшись, не захотел никому объяснить, где был. Даже Мрацкому ответил крепко:

— По своим делам!

Отношения Мрацкого и Никифора были несколько иные. Никифор относился к опекуну с ненавистью, но тщательно скрывал это. Причиною была судьба Аксюты. Тотчас же после похорон Бориса Щепина Анна Павловна, конечно, по приказанию мужа, приказала отнять у Аксюты вновь сшитые и подаренные ей сарафаны, и девушку отправили на скотный двор в помощь бабам, ходившим за коровами.

Разумеется, Никифор тотчас же бросился к Мрацкому объясниться. Умный и хитрый малый поступил наивно и попался в сети Сергея Сергеевича. Он искренно, горячо, даже сердечно, что совершенно не шло к нему, объяснил Мрацкому, что давно любит Аксюту и просит пощадить ее ради его.

Это было со стороны Неплюева слишком простодушным поступком.

— Так вот отчего ошибочка произошла? — ответил Мрацкий.— Так на мои денежки ты от своего неприятеля избавился, а не меня от моего избавил!

Никифор стал доказывать, что между его страстью к Аксюте и ошибкой, происшедшей при похищении Нилочки, нет ничего общего, но Мрацкий рассмеялся ехидно.

— Будь по-твоему! Готов поверить... И в силу того, что ты меня все-таки от лишнего женишка избавил, я на тебя гневаться не буду. Заключим мы с тобой новое условие... Избавь меня от другого женишка, сиятельного, и тогда приходи просить об Аксюте. Что пожелаешь, то и будет; а пока князь здравствует в Самаре — Аксюта твоя будет на скотном дворе. А коли затянется все это, то через месяц либо два так твоей Аксюте еще горше будет. Коли ты доподлинно любишь ее, то из-за нее прямо с ножом полезешь на князя и прирежешь его при всем честном народе.

И с этой минуты Мрацкий совершенно захватил в руки Никифора своей властью над судьбой дворовой девушки, ибо молодой малый, несмотря на явную ненависть к нему Аксюты, был по-прежнему влюблен в нее.

Между тем весь край был в полном смущении, и смута в умах все усиливалась, неурядицы, разбои и грабежи учащались. То и дело приходили вести о нападении скопищ на усадьбы.

В Крутоярске давно появился один старик помещик, а затем одна барыня с двумя дочерьми, спросившие убежища, так как их усадьбы были разгромлены и сожжены.

Разумеется, и здесь, главным образом на селе, тоже волновались и толковали всякую несообразицу крепостные крестьяне. Казалось, если бы не тяжелая, железная рука опекуна, то и крутоярские мужики готовы бы были отказаться от исполнения своих обязанностей.

Сергей Сергеевич давно уже отобрал в дворне и среди крестьян около дюжины шустрых молодцов, положил им большое жалованье и сделал из них расторопных сыщиков.

И всякий день являлись к опекуну всякого рода докладчики. Некоторые докладывали о том, что толкуют или собираются учинить на селе и в окрестных приписанных к Крутоярску деревнях.

Другие соглядатаи Мрацкого посылались им и много далее: в Самару, в соседние уездные города. Всем выдавалось жалованье по времени огромное, т. е. по пяти рублей ассигнациями. Кроме того, все были щедро оделяемы всякой провизией, и семьи сыщиков попали на совершенно новое положение, жили в довольстве и приобрели известное значение в усадьбе.

Благодаря этой вновь учрежденной команде разведчиков Мрацкий был теперь подробно извещен обо всем, что творится во всем крае верст на двести кругом. Он знал положительно больше о делах оренбургских и был вернее уведомлен, нежели сам самарский губернатор. Во всяком случае, он знал о самой Самаре и о делах администрации губернской больше, чем знало само начальство.

Мрацкий знал, что в земских судах и в разных присутственных местах, а равно и среди небольшого войска есть приверженцы вновь явленного императора Петра Федоровича, а этого и не подозревали самарские власти.

Мрацкий знал также, что в городе Ставрополе большое скопище калмыков, подкрепленное крестьянами, собирается взять приступом город Самару и в самое время, когда войска будут выведены из нее по оренбургской дороге навстречу к идущему самозванцу.

Разумеется, одновременно, благодаря только двум сыщикам, которых Мрацкий оставил на селе и которые не были, конечно, известны за таковых крутоярским крестьянам, Мрацкий знал наперечет всех главных коноводов и смутителей из местных крестьян.

Некоторых он уже выслал под конвоем в самарский острог, других, которых считал опаснее, держал взаперти в подвалах палат, не рассчитывая, конечно, на бдительность самарских властей.

Твердая рука опекуна чувствовалась и на селе, и в подвластных деревнях. Кругом в крае творились всякие бесчинства, иногда и злодеяния. В поместьях Кошевой не случилось за все время ни одного насилия и ни одного проступка, не только преступления.

Не видимый никому Сергей Сергеевич, маленький, худенький старичок, сидящий безвыходно в своих горницах, казался повсюду в окрестности для всех пугалом,— но не простым, а пугалом-исполином, который одним движением перста может похерить и в гроб заколотить сотню человек.

Между тем сам Мрацкий, за последнее время в особенности, казался озабоченным. Он ничем не занимался, ни разу не развернул ни одной бумаги или книги по опекунскому управлению и целые часы сидел задумавшись. Изредка он вздыхал.

— И не с кем-то посоветоваться! — восклицал он.— Хоть бы один человек был! А пропустить такие времена — стыд и срам! Пускай другие простофили зевают, а тебе, Сергей Сергеевич, грех прозевать этакие времена. Да что грех... и стыд великий! Всю жизнь раскаиваться будешь!

И каждый раз мысль о том, чтобы вызвать к себе Никифора и иметь с ним такое объяснение, которое будет в сто крат важнее всех прежних, подолгу, неотступно застревала в мозгу Мрацкого, но каждый раз он все свои размышления кончал все теми же словами:

— Нельзя! В таком деле сообщника нельзя иметь. Один будь!

XXXI

Наконец однажды, выслушав доклад трех приезжих сыщиков, из которых один — сын Герасима, явился из дальних мест, из города Бугульмы, Мрацкий узнал много нового.

Весь тот край был, по его словам, в полном восстании. Бунт разгорался как большой пожар, захватывая все кругом и распространяясь с неудержимой силой. Во всех губернских городах, даже в главном городе края, в Казани, были смятения, неурядицы и общая паника среди дворян. В Казани ожидали вновь назначенного из Петербурга главнокомандующего всех войск, собираемых против самозванца, генерала Бибикова. Но все, от властей до последнего мещанина, были глубоко убеждены, что судьба этого нового питерского генерала будет все та же, что и судьба генерала Кара, постыдно бежавшего от самозванца. «Разобьет государь Петр Федорович царицыны войска в пух и прах,— говорила молва народная.— И станет еще сильнее, еще грознее. И какие полчища ни приведи на него — ничего с ним не поделаешь, потому что дело его — правое».

От этого же сыщика узнал Мрацкий, что во многих богатых усадьбах полчища бунтовщиков с самим самозванцем или с его наперсниками принимались помещиками с хлебом-солью, при колокольном звоне, с хоругвями и с образами.

Не выдержал Сергей Сергеевич и решился на страшный, роковой и многозначащий шаг. Утром следующего дня, когда Анна Павловна своей утиной походкой явилась к мужу, Сергей Сергеевич показался ей не то чересчур веселым, не то чересчур пришибленным.

Женщина вытаращила глаза: не тот был Сергей Сергеевич, каким бывал всегда... Что-то чудное приключилось с ним!

— Ну, Анна Павловна,— заявил Мрацкий,— помнишь, говорил я тебе, начинается война, когда князек самарский вздумал свататься за Нилочку. Ну, а теперь, сударыня, начинается нечто важнеющее... Видишь ты вот эту голову? — показал Мрацкий пальцем себе на лоб.— Говори, видишь?

— Вижу, Сергей Сергеевич,— глупо отозвалась женщина.— Как же мне не видеть? Ваша это голова.

— То-то моя!.. Ну, вот видишь ли ты, как, по-твоему, она: на шее на моей сидит?

Анна Павловна склонила голову на сторону, пригляделась к мужу и вздохнула. Изредка муж задавал ей задачи, и она кое-как старалась всегда распутаться и хоть раз или два на десять ухитрялась сообразить без его помощи, в чем дело; но такую задачу, как теперь задал Сергей Сергеевич, конечно, не ей было разрешить.

— Не пойму я ничего, Сергей Сергеевич! — отозвалась она.

— Еще бы! Тебе да понять! А ты вот что скажи, голова моя на шее у меня, на плечах или нет?

— Кажись, что так...— отозвалась Мрацкая.

— Нету, сударыня, голова моя отныне не на шее сидит, а на волоске висит... Понимаешь! Вот тебе волосок, а на волоске голова висит... И вот именно моя теперь и повисла на волоске... Повесил я ее сам этаким способом. Не ныне завтра такое вы все узнаете в Крутоярске, что все без чувствия пошлепаетесь и будете так трое суток лежать. Ахнет вся округа, в Самаре ахнут, в Питере ахнут, что за человек такой Сергей Сергеевич Мрацкий.

И при этом маленький человечек поднял кулак над головой, будто грозясь и всем соседним губерниям, и даже самой столице.

И Анна Павловна, как ни была глупа, а увидела ясно, что муж радостно взволнован.

Около полудня, несколько успокоившись, Мрацкий послал за Неплюевым.

Лакей, ходивший звать молодого человека, явился с ответом, что Никифор Петрович придет через час. И Мрацкий узнал, что тот был в отсутствии в продолжении четырех дней и только сейчас вернулся в Крутоярск.

— Где же он был? Неизвестно?

— Никак нет-с,— отозвался лакей.— Только не в Самаре... Не оттуда приехали. А уж грязны, грязны — страсть. Сказывают сами, четверо суток не умывались и трое суток якобы ничего не кушали. Так сами сказывают, смеючись.

Лакей, докладывающий об этом, не нашел в этом ничего особенного, кроме смешного. Мрацкий взглянул на подобную отлучку Неплюева по-своему.

«Только удивительно одно,— подумал он,— чего дурак болтает, а не таит этакое про себя. Такой малый, как ты, Никишка, в такие времена, как нынешние, не будет сложа руки сидеть! Что я чую, то и ты чуешь! Как мне эта мутная вода на руку — рыбку в ней половить,— какая желается или какая попадется,— так и ты, сибирный, в этой же мутной воде чаешь выловить себе что-нибудь, что пригодится на всю жизнь. Ну, вот, что ж делать, и надо нам вместе. Одна голова — хорошо, а две — еще лучше! Ты же у меня, благодаря Создателя, теперь на цепочке на крепкой, и цепочка эта — девка

Аксютка! Теперь ты у меня в полном послушании. Ошибочек, какая была тот раз, не будет!»

И Мрацкий стал нетерпеливо дожидаться появления Неплюева. Прошло довольно много времени, и наконец старик Герасим, явившийся с докладом о положении двух заключенных: Марьяны Игнатьевны и Неонилы Аркадьевны, что делал ежедневно,— доложил и о том, что Никифор Петрович просит его допустить.

— Зови, зови! — нетерпеливо выговорил Мрацкий.

Молодой человек вышел в горницу и удивил опекуна своим лицом. Или он устал с дороги, или ему нездоровилось, но Никифор казался сильно похудевшим. Глаза его, умные, всегда отчасти загадочные, блестели сильнее обыкновенного, но были еще замысловатее.

За ними, под черными лохмами кудрявых волос, ясно чудились Мрацкому такие сокровенные, диковинные мысли, которых Никифор, конечно, не выложит на ладонь, но от которых не нынче завтра не поздоровится многим.

— Ну, Никифор, давненько мы с тобой ине видались! — встретил его опекун.

— Дня четыре! — отозвался молодой малый, угрюмо и охрипшим голосом.

— Что — застудился, что ли? — спросил Мрацкий.

— Немножко есть. Дольше трех суток под крышей не бывал. Все под чистым небом...

— Что же так?

— Нужно было, Сергей Сергеевич! — умышленно загадкой отозвался Никифор.

— По своим делам? — усмехнулся старик.

— Точно так, Сергей Сергеевич! По своим делам. И за все время не спал почти да и не ел ничего.

— Вот как! И все по своим делам? — еще ехиднее усмехнулся Мрацкий.

— Да, Сергей Сергеевич, по своим делам! — усмехнулся тоже и Никифор, но с такой откровенной неприязнью к опекуну, как будто считал уже лишним притворяться и лукавить.

— Уж не выкрал ли ты Аксюту со скотного двора? — вдруг спросил Мрацкий.

— Нет, зачем! Ни на что она мне не нужна! Я и мысли о ней бросил.

— Почему так?

— Насильно мил не будешь! Она меня клянет, сказывает, что если бы вы приказали ей не только идти

ко мне в любовницы, а венчаться со мной в храме, то она на себя руки наложит. Что ж мне с этакою тварью вожжаться, время терять? А время дорого. А уж нынешние времена, Сергей Сергеевич, не то что дороги, а золотые времена!

Мрацкий почти вздрогнул от последних слов, как если бы Никифор подслушал что-либо из самых его сокровенных мыслей или выведал ловко какую его тайну. Мрацкого поразило, что молодой парень оценил дни, переживаемые ими, точно так же, как и он.

И Мрацкий отпустил от себя молодого человека, поболтав о всяких пустяках и не сказав ни слова о главном. «Да, умен, мерзавец! — подумал он по уходе Неплюева.— Голова! Иуда и Каин! Ох, обида! Был бы у меня таков мой Илья, чего бы мы не натворили! Целое царство бы завоевали, а теперь и с одной крутоярской царевной совладеть не можем».

Заявление Неплюева настолько поразило Мрацкого, что он даже не решился заговорить с ним о своем важном деле. Старик действовал как шахматный игрок. Увидя новый неожиданный ход соперника, он решил снова серьезно обдумать свой ход, уже приготовленный было совсем.

XXXII

Разумеется, колебание Мрацкого продолжалось недолго, и в тот же вечер он послал опять за Неплюевым.

— Надумались? — загадочно произнес Никифор, садясь пред ним.

— Ну, слушай! — твердо и решительно заговорил старик.— Авось хватит у тебя ума-разума рассудить мудрейшее дело, которого проще нету. Сам ты говоришь, что золотые времена пришли для таких, как ты да я... Хочешь ты, мы вместе от этих времен себе великие выгоды добудем? Я все свои дела устрою, как мне желательно, а ты разбогатеешь, станешь важным помещиком... Желаешь ли?

— Помещиком богатым здесь не стать, Сергей Сергеевич, а раздобыть много денег, чтобы потом из этих пределов бежать и на далекой стороне стать важным помещиком,— вестимо можно.

— Можно, но не легко, все-таки же...

— Вестимо.

— Ну, а хочешь, я помогу тебе, и станет оно легким делом!

— Отчего же...

— Тысяч пятьдесят чистыми деньгами хочешь ты получить?

— Что ж спрашивать, Сергей Сергеевич...

— Ну, так вот ты их чистоганом получишь. И не я тебе их дам, пойми! Нет, ты сам их возьмешь, собственными руками. А уж взявши их, пойми, ты мне поможешь в моем деле. Понял ли?

— Понял, а все ж таки лучше скажите сызнова и потолковее.

— Видишь ли. Так надо обстоятельства подвести, чтобы ты пришел в Крутоярск, сам бы отправился в нашу кладовую и забрал бы там все опекунские деньги, какие есть наличными. А их больше пятидесяти тысяч. И вот ты их возьмешь, положишь в карман, затем меня отблагодаришь помощью... Обвенчаешь Илью с Нилочкой в храме божьем, будучи посаженым у крутоярской царевны.

Все показалось просто Никифору, но последнее обстоятельство — желание Мрацкого, чтобы он, безродный, был посаженым Кошевой, показалось ему загадочным.

— Слушай-ка, Никифор. Кто такой поднял весь край, всю сумятицу произвел и на столицу страх напустил? Кто он такой?

— Сказывают — донской казак, Пугачев, Емельян Иванович.

— Кто сказывает?

— Да все, Сергей Сергеевич.

— Врут все, Никифор! Клятвопреступники все, бунтовщики истинные! Нет никакого Емельяна Пугачева. Все выдумки немецкие, столичные! Явлен России и всему миру истинный царь Петр Федорович, чудом спасенный от смерти.

— Что вы, Сергей Сергеевич?! — вытаращил глаза Никифор.

— То-то, что вы! Пускай дураки врут и турусы на колесах расписывают. А умным людям, как я да ты, не по́добает истинного царя обманным образом самозванцем звать! — проговорил Мрацкий твердо, но при этом улыбка его и взгляд маленьких глаз сразу все объяснили Никифору.

И молодой человек вдруг усмехнулся, даже отчасти добродушно.

— Что ж дальше, Сергей Сергеевич?

— Будем так сказывать: велик государь Петр Федорович! И мы за него!

— Ну, а дальше-то что?

— А дальше очень просто. Соберется скопище великое. Нету великого — хоть бы каких три-четыре сотни калмык, татар и крестьян православных. И будет оно под командою царского воеводы состоять. Соберет войско и благоустроит, давши в руки топоры и дубины, наперсник царский, звать его Неплюевым. И по указу его императорского величества шаркнет в Крутоярск. Опекун, Сергей Сергеевич, со всеми сожителями встретит посланника царского с хлебом-солью, и пойдут празднества. Потребует воевода царский что ни на есть. И все ему на подносе поднесут. Спросит воевода: «Есть у вас деньги?» Скажут: «Есть, к вашему удовольствию». Отворят кладовую, и набьет себе воевода Никифор полны карманы. А там объявит он царскую волю: указал Петр Федорович скорехонько повенчать Илью Сергеевича Мрацкого на Неониле Аркадьевне Кошевой. Сейчас попа и весь причт за хвост и в храм. В два часа времени все будет покончено, будет над всем помещица Неонила Аркадьевна Мрацкая. А мы воеводу после венца и свадебного угощения с поклонами проводим из Крутоярска. Хороша ли моя сказка?

— Хороша, Сергей Сергеевич, только всякой сказке конец полагается, а в вашей его нету.

— Какой конец?

— А что после-то будет?

— Да ничего.

— С Мрацким, с его сыном, с его невесткой, Сергей Сергеевич, понятное дело, ничего не будет. Обвенчаются и заживут себе молодые не мирно и не тихо... Ну, да это их дело! А воевода что? — спросил Никифор, усмехаясь язвительно.

Наступило молчание.

Мрацкий понял сразу вопрос, но не знал, как отвечать.

— Воевода? — заговорил он.— Что же? Кабы у него карманы пусты были! Воевода уделит десяточек тысчонок на чиновную братию, да и на волокиту, да на всяких судейских крючков — и выйдет сух из воды.

— Полагать надо,— нет, Сергей Сергеевич. Воеводе

с этими деньгами придется удирать на край света, менять свое отечество и прозвище и на всю жизнь поселиться невесть в каких краях, чуть не в Немеции.

Э... полно врать! — рассердился вдруг Мрацкий.— Во всех тех делах, что происходят и произойдут, в этой-то сумятице да неразберихе — какой черт какого лешего разыщет. Как ты полагаешь, если сотня разбойников нападет на проезжих да перебьет всех, узнается ли — кто кого как убил? И сами-то они не знают промеж себя, кто что натворил.

Наступило снова молчание и продолжалось долго. Никифор тяжело дышал, взор его блуждал кругом него, то останавливался на деревянном лице Мрацкого, сидевшего с опущенными глазами, то бродил по стенам и углам горницы. Но, очевидно, Никифор ничего не видел перед собой, поглощенный одною мыслью, которая заставила шибко биться его сердце и через силу переводить дыхание.

— Сергей Сергеевич,— выговорил он наконец совершенно глухим голосом.— А если в кладовых нету этих денег или теперь есть, да тогда не окажется?

— Желаешь, дам тебе книги, по которым сам все усмотришь,— горячо ответил Мрацкий.— За последнее время оброком и всякими другими делами собралось в кладовую пятьдесят три тысячи с сотнями и десятками. И будут они лежать сохранно впредь до благополучного прибытия царского воеводы и посланника. Да сам ты, олух, рассуди, что же мне эти пятьдесят тысяч, когда все состояние Кошевой будет состоянием Неонилы Мрац кой!

И снова наступило молчание.

— Ну, Сергей Сергеевич...— проговорил было Никифор, но смолк и как бы не решался продолжать. Затем молодой малый быстро поднялся, почти вскочил с места и выговорил едва слышно: — Идет!

— Ну, вот умница! — отозвался Мрацкий таким умышленно равнодушным тоном, как если бы дело шло о пустяках.

— Не даром, стало быть, я бегал! — проговорил Никифор как бы сам себе.

— Даром ты ничего не делаешь,— пошутил Мрацкий.

— Что вы затеяли, то уже готово...

— Как так?

— Да у меня в тридцати верстах отсюда уже есть

команда человек в двести, которая по моему указу хоть на город Самару пойдет. Но не думал я с нею на Крутоярск идти! Видит бог! Думал я с нею три-четыре усадьбы разгромить и тоже поискать в них, нет ли если не кладовых, то хоть сундуков каких... Ну, а вы много умнее меня надумали, попроще. Как сами сказываете, все в два часа времени обойдется. Ладно, будь по-вашему! Чрез неделю встречайте царского воеводу Неплюева, но помните одно, Сергей Сергеевич. Вот вам бог! — И Никифор перекрестился.— Коли не найду я ваших пятидесяти тысяч в кладовой, то разгромлю всю усадьбу. И даже того хуже...

Мрацкий усмехнулся и ничего не ответил.

— Смешного мало, Сергей Сергеевич!

— Знаю. Но этого не будет. Деньги лежат и пролежат до тебя в сохранности.

— Ладно. Так и будет! Только одного я и опасаюсь, чтобы меня крестьяне крутоярские не встретили тоже с вилами и топорами. Ну, а если нас числом меньше будет, так зато много мы отчаяннее. Либо одолей, либо в острог иди.

— Об этом, Никифор, не тужи и не думай,— усмехаясь произнес Мрацкий.— Завтра поутру, когда проснешься, позовут тебя в большую залу так же, как и всех прочих, и ты ахнешь от того, что услышишь.

— Что же такое услышу я?..

— Потерпи до завтра. Говорю, ахнешь.

Действительно, наутро все крутоярцы были поражены несказанно всем, что произошло в доме.

По приказу опекуна все собрались в большой зале. Царевна вышла, окруженная своим штатом, с Лукерьей Ивановной во главе.

Вся семья Мрацких и Жданов с Неплюевым явились тоже.

Впереди толпы стояла дворня, а за ней крестьяне человек с полсотни из самых умных и дельных.

Опекун Сергей Сергеевич сказал речь, в которой объяснил, что в Оренбургском краю явлен истинный государь российский Петр III Федорович, который идет на столицы воссесть на престол. Все толки, что это якобы самозванец,— изменничество. И если будет сам царь или кто-либо из его воевод шествовать чрез Крутоярск, то все они обязаны встречу учинить как истинные верноподданные, с иконами и хоругвями и с хлебом-солью, при колокольном звоне.

Все отнеслись к объявлению Мрацкого одинаково радостно.

— И слава богу, что царь! А то сказывали — разбойник, душегуб.

Одна Нилочка поняла всё... Новый замысел злого опекуна поразил ее. Чего хочет он? Чью погибель затеял опять? Быть может, на этот раз — ее собственную?!

XXXIII

Наступил декабрь месяц. Бунт в крае был в полном разгаре. Вести, привозимые сыщиками крутоярского опекуна, были все диковиннее. Бунтовали давно не одни татары и всякие инородцы.

Мрацкий был доволен вестями.

«Все пуще мутится вода,— думал он.— И чем мутнее она будет, тем легче мне дело справить».

Однако Мрацкого смущало то обстоятельство, что от исчезнувшего Никифора не было ни слуху ни духу. Он уехал из Крутоярска на другой же день после торжественного объявления Мрацкого насчет явленного государя и с тех пор ни разу не известил о себе опекуна, где находится и что делает.

Дни шли за днями, не принося ничего нового, и Сергей Сергеевич начинал уже смущаться. Наконец однажды утром явился один из сыщиков и доложил Мрацкому, что в ста верстах от Крутоярска появилось большое войско, отряженное государем Петром Федоровичем под начальством графа Чернышева.

На следующий день другой разведчик привез ту же весть. Войско, под начальством графа Чернышева, двигалось и было уже верстах в семидесяти. Слух ходил, что оно отряжено царем для взятия города Самары.

Войско это состоит главным образом из ставропольских калмыков, вооруженных чем попало, но с ним много крестьян и несколько рядовых солдат, имеющих ружья.

Мрацкий был несколько смущен. Крутоярск лежал как раз на пути этого войска. Если Сергей Сергеевич был готов принять с хлебом-солью царского воеводу и своего сообщника Неплюева, то вовсе не был готов встретить так же графа Чернышева, очевидно, такого же истинного, каким был и сам государь Петр Федорович.

От этого графа-самозванца он мог ждать совершенно иного. Если шайка нападет на усадьбу, то что же может произойти? А между тем опекун не только не подготовил из многочисленной дворни и крестьян какую-либо команду для отпора разбойников, но, наоборот, подготовил весь Крутоярск — и село, и усадьбу — к радостной встрече любого самозваного грабителя и бунтовщика, лишь бы он назвался царским воеводой. Взяться тотчас за дело, набрать команду человек в триста и вооружить ее чем попало, чтобы дать отпор сборщикам Пугачева и его наперсников,— было бы, конечно, возможно, если бы не торжественное объяснение опекуна, сделанное им когда-то в зале. Мрацкий, быть может, первый раз в жизни окончательно растерялся и не знал, что делать. Каким образом можно было объяснить всем в Крутоярске — от главных нахлебников и дворовых до последнего крестьянина на селе,— что он только в том случае согласен признать государем вора-самозванца, если к нему явится воеводой Никифор Неплюев, а войско или шайку под командой графа Чернышева он, Мрацкий, должен теперь почесть бунтовщиками? Кто же это рассуждение поймет?! Однако на следующий день Сергей Сергеевич сразу успокоился и даже возликовал.

Новый разведчик, явившийся к нему с докладом, объяснил, что войско в полтысячи человек идет прямо на Крутоярск. Начальствует им действительно граф Чернышев, человек молодой еще, черноволосый, небольшого роста и очень строгий. По дороге он разгромил уже две небольшие усадьбы и сжег. Сказывают, из двух помещиков одного повесил, а другого застрелил. Барынь и барышень не убивает, а за собой уводит и при себе велит состоять. Но главная диковина для докладчика,— а не для Мрацкого,— состояла в том, что при этом графе Чернышеве состоит в помощниках крутоярский молодой барин Никифор Петрович.

Мрацкий чуть не бросился обнимать сыщика за эти известия.

Через час все в крутоярском доме ожило. Всем было оповещено от имени опекуна, что к ним идет царский воевода граф Чернышев и что надо готовиться торжественно встретить его. Всем равно тотчас же было известно, что при графе Чернышеве адъютантом состоит Неплюев.

На следующий день утром Мрацкий узнал, что к вечеру войско будет уже в Крутоярске, а воевода

намерен переночевать, чтобы утром двинуться на Самару.

Действительно, в сумерки появились на селе отдельные кучки разного сброда, затем въехал длинный обоз. Как лошади и сани, так и всякого рода добро, которым был нагружен обоз,— все было имущество, награбленное накануне по усадьбам.

Спустя час уже целое скопище заняло и переполнило все село. На каждую крестьянскую избу пришлось по нескольку постояльцев, но всему скопищу, конечно, места не хватило, и гурьбы калмыков и всяких инородцев остались на улице на всю ночь и грелись вокруг разложенных больших костров. Село приняло сразу зловещий вид.

Перед полночью, когда Мрацкий тщетно ждавший Неплюева, уже собирался ложиться спать, к нему явился Герасим с докладом. На селе, по его словам, расположилось самое дикое, воровское скопище. Крестьян и солдат мало, больше все татары, калмыки и невесть какие шайтаны. Графа же Чернышева он видел сам, своими глазами.

— Как быть следует, воевода из себя пригожий и важный. Говорят все, что зело лют,— докладывал Герасим.— Вешает, головы рубит, кнутами засекает до смерти так обстоятельно и распорядительно, что его и свои усердно очень почитают. В одной усадьбе молодого помещика он собственноручно казнил, выпалив ему в уход из пистоли.

Неплюева Герасим тоже видел и даже говорил с ним.

— Никифор Петрович,— объяснил лакей,— состоит при графе в адъютантах, все его указы исполняет в точности и очень при нем тих и смирен, разговаривает перегнувшись. Совсем я нашего Никифора Петровича не признал! Так ласков, что удивительно! Уж когда наш головорез графа боится, так что ж с других требовать?!

Однако главного Герасим не разузнал. Мрацкий хотел увериться, чего ждал наутро, что прикажет воевода. Герасим спрашивал Никифора от имени Сергей Сергеевича, какие будут распоряжения, но Никифор ответил, что ничего не знает.

— Наутро видно будет! — сказал он.

Сергей Сергеевич, нисколько не успокоенный такими известиями и даже еще более тревожась, решился, однако, ложиться спать.

В это самое время кто-то такой быстро прошел через двор, вошел в дом, поднялся по лестнице в левое крыло, где помещалась вся семья главного опекуна, и встретился в коридоре с Герасимом.

— Никифор Петрович! — ахнул старик лакей.

— Я, любезнейший! Он самый! Доложи Сергею Сергеевичу.

Герасим, всегда презиравший и ненавидевший «Никишку сибирного» и всегда называвший его даже при Мрацком просто головорезом, теперь относился к нему с особенным уважением. Герасим, веривший в доподлинность воеводы графа Чернышева, решил, что, чего доброго, не ныне завтра и «Никишка» этот попадет в царские воеводы.

XXXIV

Мрацкий, конечно, тотчас же почти выбежал в гостиную, где его ожидал адъютант царского воеводы. Старик приблизился к молодому человеку, вопросительно глядя ему в лицо, как бы ожидая, что тот объявит; но Никифор только улыбался и точно так же вопросительно глядел в лицо Мрацкого. Наступила пауза, которая смутила опекуна. Пред ним стоял уже не тот Никифор, что был недавно для совещаний. На целые две головы вырос этот «сибирный» и был настолько важен, как если бы сам исполнял роль графа и воеводы.

— Ну, что ж, Никифор? — выговорил наконец Мрацкий тревожно, почти боязливо.

— Ничего, Сергей Сергеевич.

— Что скажешь? Что ж нам делать, как завтра быть? Выходить на него с образами, с хлебом-солью или ждать в доме?

— Никакого приказа от его сиятельства еще нету! — вымолвил Никифор, самодовольно ухмыляясь.

— Никифор, ты чудишь! Не грех ли тебе! Давай говорить толком.

— Вестимо, Сергей Сергеевич, мы толком и поговорим, только прежде соизвольте вспомнить, что промеж нас условлено. Что? Уже и забыли? Возьмите-ка вот ключ от кладовой, сходите туда, вернемся и побеседуем.

— Ох, голубчик! — вскрикнул Мрацкий.— Да это сейчас. Изволь! В этом ли дело?

Мрацкий засуетился. Ему не хотелось при Никифоре

доставать ключ, который был в потайном ящике стола, но затем он сообразил, что обстоятельства настолько исключительны, что стоит ли того о пустяках и думать.

Через несколько минут старик уже растворил стол, выдвинул ящик, прижал какой-то гвоздик — и под отскочившей дощечкой оказались ключи. Он взял в руки один из самых больших и, улыбаясь, довольный, почти радостный, обернулся к Никифору.

— Пожалуй!.. Пятьдесят две тысячи с сотнями, почти пятьдесят три!..

И оба вышли в горницы, прошли по коридору, спустились по лестнице и, будучи уже в подвальном этаже, подошли к толстой двери, обитой железом. Замок нещадно заскрипел, и тяжелая дверь медленно поддалась вперед при их усилиях.

— Дверь умница,— весело заметил Мрацкий.— Туго идет при отворе. А назад сама бежит, только пальцем ее ткни хоть малость.

Действительно, снова толкнутая Мрацким дверь легко защелкнулась на тяжелую железную щеколду. Мрацкий зажег огня. Никифор оглянулся. Они были в небольшой на сводах горнице, аршин пять в квадрате. По стенам стояло несколько ящиков и два сундука, кованные железом.

— Тут все дребедень разная,— объяснил Мрацкий,— серебряные сервизы да какая-то иностранная посуда,— сказывают, якобы дорогая,— а нам, братец мой, вот что всего дороже!..

Мрацкий отворил ближайший сундук. Он был полон пачек ассигнаций.

— Ну, забирай! Припас ли что с собой?

Никифор усмехнулся, полез за пазуху и вынул что-то сложенное. Это оказался большой мешок из толстого полотна.

— Запасливый! — усмехнулся Мрацкий.

— Я-то? Конечно!

И оба они начали наполнять мешок ассигнациями, золотыми монетами и несколькими мешочками с серебром.

Через несколько минут дверь кладовой снова заскрипела, затем легко захлопнулась, и две фигуры среди темноты направились обратно в горницы опекуна. Поставив свой довольно большой мешок на пол у стенки, Никифор сел и вымолвил:

— Ну-с, вот теперь и рассуждать будем! Только скорей. Время не терпит, да и объяснять мне вам много не нужно. Графу все известно. Завтра поутру ждите приказаний явиться к нему, чтобы объясниться, и возьмите с собой Илью Сергеевича. Вы доложите ему о вашем желании сочетать браком сына с помещицей Кошевой. Доложите, что и она на сей брак согласна, а только так малость колеблется. После этого, как я полагаю, граф явится к вам со своими адъютантами к столу. Переговорите обо всем, и на следующий день будет назначено и венчание парадное Ильи Сергеевича с Неонилой Аркадьевной. Вот и все. Хорошо бы было, конечно, кабы вы из кладовой еще бы десятков пять тысяч выдали и графу. Вы думаете, я вам так и поверил, что в других-то сундуках одна посуда, хотя бы и серебряная?

— Вот тебе господь-бог! Ничего там больше нету! — воскликнул Мрацкий.

Никифор рассмеялся.

— Полноте, Сергей Сергеевич, ведь я знаю хорошо от батюшки, какие капиталы каждый год приходят в крутоярское опекунское управление со всех вотчин и поместий Неонилы Аркадьевны! Сколько этих тысяч должно накопиться в кладовой! Если я согласился взять вот этот мешочек,— ткнул Никифор пальцем к стене,— так это по моей уж совестливости. Не жалейте, будет с вас и того, что все состояние Кошевых достанется вам. Поднесите тысяч пятьдесят графу, а то как бы не вышло какой беды... Подумайте, ну, вдруг ему придет охота штурмом взять крутоярские палаты?! Что тогда будет?

— Как же это можно,— раздражительно отозвался Мрацкий.— Я его в качестве царского воеводы встречаю с хлебом-солью, а он будет насильствовать?

— Да черт ему в вашем хлебе и в вашей соли, когда он может попользоваться всем, чем сам захочет! Верно вам говорю! Сознавайтесь! Ведь опять в кладовую не пойдем... Ведь есть у вас там еще десятки, а то и сотни тысяч? По-моему, за двенадцать лет опекунского управления доходу-то должно было накопиться тысяч пятьсот, а не пятьдесят две.

Мрацкий замахал руками и рассмеялся.

— Жалею я, что не раскрыл все сундуки при тебе! Сам бы увидел, что там ничего больше нету.

— Ну, как знаете! Это ваше дело.

Через несколько минут среди полной тьмы ночи кто-то быстро шагал через двор крутоярских палат и повернул в рощицу. На спине его был мешок.

Достигнув небольшого домика-сторожки, Неплюев вошел в нее, поставил свой мешок на пол и начал хлопотать и возиться. В каких-нибудь четверть часа он разобрал пол, под которым оказалось пустое пространство, опустил туда мешок и снова заделал все.

Никифор давным-давно загодя, вскоре после своего условия с Мрацким, ночью устроил и хитро приготовил местечко для своего будущего клада. Две ночи тогда проработал он тут,— зато теперь в несколько минут все было сделано.

XXXV

Рано утром поднявшийся Мрацкий недолго ждал. С села явился какой-то молодой малый, по виду дворовый лакей. Он был прислан просить от имени графа Чернышева опекуна господина Мрацкого и его старшего сына пожаловаться для объяснения в избу крутоярского бурмистра — самую просторную и чистую, где остановился царский воевода.

Сергей Сергеевич, довольный, с радостным лицом, стал собираться, приказав и сыну надеть свое новое платье. Через полчаса оба Мрацких в легоньких саночках уже выехали со двора на село и остановились у избы бурмистра. Вокруг нее стояла целая толпа крутоярских крестьян, баб и ребятишек.

Мрацкий, оглянув толпу, смутился. Все лица были неприязненные, насмешливые, злобные, и никто, ни единый человек не ломал шапки. Все глядели на Мрацкого и его сына не как на господ, являющихся в гости к воеводе, а как-то иначе.

Мрацкий хотел прикрикнуть на толпу и заставить всех снять шапки, но сдержался.

— Чудно это! — выговорил он, слегка смущаясь.

Через минуту оба Мрацкие были уже в избе. В углу на лавке сидел среднего роста черноволосый человек лет за тридцать, с усами и бородкой. С виду это был настоящий казак, каких много видал Мрацкий.

У стены стояло четверо молодцов, одинаково одетых в кафтаны и шальвары с высокими сапогами. В числе их был и Никифор. На другой стороне, на лавке, сидел крутоярский батюшка, около него дьякон, и оба они были, видимо, перепуганы.

Мрацкий в сопровождении сына вошел, быстро огля нул всех, поклонился и произнес:

— Имею честь явиться к вашему сиятельству и выразить вам мои чувства сердечные к его величеству государю, коего вы...

— Ладно, ты не болтай! — оборвал его сразу граф Чернышев.— Ты послушай, что я тебе скажу. Моя речь будет не долга. Сколько ты лет опекунствовал и сколько ты за это время себе награбил, обворовывая сироту?

Мрацкий, смутившись и побледнев слегка, хотел отвечать, но самозванец вскрикнул:

— Молчи! Мало того что ты ограбил сироту, а еще выдумал воровским образом совсем и имущество в руки забрать, надумал вот этого дикобраза,— показал он пальцем на Илью,— женить на сироте. Кроме того, за все время опекунства только кровопийствовал, православных крестьян — подданных великого государя Петра Феодоровича — всячески изводил, засекал, в Сибирь ссылал! Начать тебе теперь сказывать все, что ты, собака, за свою жизнь понатворил,— до вечера не кончим. А мне спешить надо... Ну-тко вы, ведите их!

Трое из адъютантов графа Чернышева двинулись к Мрацкому. Один Никифор стоял у стены, опустив глаза в землю.

Мрацкий, совершенно бледный, почти зеленый, и растерявшийся Илья, ничего не понимавший, оба почти бессознательно двинулись вон из избы.

Через несколько мгновений на улице произошла дикая расправа. Оба Мрацкие — и отец, и сын,— еле живые от перепугу, очутились в руках крестьян.

Через несколько мгновений оба уже висели, вздерну тые на воротах избы...

Между тем граф Чернышев, объяснив батюшке и дьякону, чтобы наутро все было готово к парадному венчанию в церкви помещицы крутоярской, отпустил обоих.

— Помни, батька,— прибавил он,— чтобы все было законно! Документы мы тебе вручим и жениховы, и не-

вестины. И все так сделай, состряпай и запиши, чтобы брак был законнее всех, какие когда-либо ты в жизни совершал.

Священник и дьякон вышли из избы на крыльцо и, оглянувшись на ворота, ахнули. Никакого шуму или крику не было на улице, пока они объяснялись с царским воеводой. А между тем здесь, на перекладине ворот, уже повисли два мертвых тела двух человек, которые сию минуту живые стояли перед ними.

Едва только самозванец и Никифор остались одни, как последний отошел от стены, сел на скамью к столу и произнес:

— Ну, Егорка, молодец ты! Не ожидал! И откуда у тебя, подлеца, важность берется? Поглядишь — и в самом деле ты какой граф Чернышев! И я бы так не сумел! Один вид чего стоит! Как ты стал Сережке выговаривать! Теперь одно только: ради Создателя в доме не осрамись. Пуще всего помни: будем за столом, не пей ты ничего. Помни, что я говорю! В случае, если ты мне все дело изгадишь, догадается Кошевая, кто ты таков есть, я тебя тут же собственными руками придушу!

— Уж это вы, Никифор Петрович, напрасно! — отозвался ряженый граф.— Сказал я вам — несколько деньков продержусь и никакого сраму не будет. А там, как все уладится, вы уж меня из этих графов увольте.

— Понятное дело. Как сказано. Завтра к вечеру после венца получишь обещанное — и ступай на все четыре стороны.

XXXVI

Около полудня Никифор явился в дом, к нему навстречу выбежало много дворни, все штатные барыни. На всех лица не было, все, казалось, ожидали себе того же, что постигло Мрацких. Никифор в нескольких словах успокоил всех.

— Никому ничего не будет, никакой беды, только вот что: ступайте скажите Анне Павловне и ее детенышам, чтобы они сейчас же собирались и чтобы к вечеру их в доме не было. Если кто из семьи Мрацких окажется завтра поутру в доме, того повесят точно так же на первой осине

Затем Никифор велел доложить о себе Нилочке. Когда молодой человек вошел в горницу Нилочки, то едва узнал крутоярскую царевну. Молодая девушка была сильно бледна, казалась похудевшей, но лицо ее было холодно, спокойно, взгляд упорен и тверд настолько, что Никифор почти не узнал этих давно знакомых ему голубых глаз.

Сразу догадался молодой малый, что эта девочка-сирота, под впечатлением всего происходящего в доме за последнее время, постарела лет на десять, стала женщиной, и женщиной решительной, с такой волей, выработанной отчаянием, какой не может проявиться вдруг в девочке в обыкновенные мирные времена.

— Неонила Аркадьевна! — заговорил Никифор.— Я к вам по самому важному делу, какие только в жизни человеческой бывают. Извольте решить свою судьбу. Я являюсь к вам от воеводы государя императора, графа Чернышева. От вашего ему ответа будет все зависеть, даже — скажу прямо — ваша собственная жизнь... в зависимости от ваших же слов и решений. Либо все будет благополучно, либо и вы погибнете почти так же, как и Мрацкие.

Говоря это, Никифор пристально смотрел в лицо Нилочки и, к своему удивлению, не заметил ничего. Бровью не двинула шестнадцатилетняя сирота.

— В чем же дело? — выговорила девушка глухим шепотом.

— Дело простое! Позвольте начать издалека...

И Никифор подробно, с чувством, которое казалось не поддельным, а искренним, тихим и сравнительно ласковым голосом стал объяснять Нилочке, что он давно, с пятнадцатилетнего возраста, любит ее.

Он никогда, конечно, не смел мечтать о том, чтобы быть претендентом на ее руку, подобно, как покойный Щепин, или князь и даже как Илья Мрацкий. Но теперь обстоятельства настолько изменились, что он, Неплюев, решился заговорить о том, что таил в себе много лет.

— Я осмеливаюсь теперь объясниться с вами,— сказал Никифор,— и просить вас ответствовать, согласны ли вы выйти за меня замуж?

Нилочка слегка изменилась в лице, чуть-чуть потупилась и молчала.

— Я знаю, что вас останавливает, Неонила Аркадьевна. Вы любили князя Льгова, собирались за него замуж, и теперь вы надеетесь, что все это устроится еще легче. Но я должен вам сказать... прошу вас приготовиться услыхать горькую для вас весть: вы за князя Льгова теперь замуж выйти не можете...

— Почему?! — воскликнула Нилочка, подняв голову и устремив на Неплюева испуганный взгляд.

— Теперь это стало невозможно, Неонила Аркадьевна... Даже господь бог, не только люди не могут этого дела поправить. Вы слышали, что в Самаре был большой бунт, князь командовал всякими охотниками, из коих составил дружину. Была у него битва с нашими, государевыми войсками. И от его дружины не осталось, почитай, ни одного человека. Кто убит, кто повешен, а кто убежал, потому что в начале битвы командир был... Вы, одним словом, теперь свободны.

Нилочка мертвенно побледнела, потом взяла себя руками за голову и глухо выговорила:

— Не верю я этому!

— Верно, Неонила Аркадьевна. Князя нету! В этой самой битве он был окружен... сбит с коня...

Никифор не мог продолжать, ибо в эту минуту прямо сидевшая перед ним Нилочка тихо опрокинулась на спинку дивана, а затем соскользнула на бок.

Она лишилась чувств.

Никифор вскочил, стал звать горничных, но в комнатах не было ни души. Он выбежал в коридор и, наконец случайно встретив штатную барыню Лукерью Ивановну, послал ее к барышне, а сам стал ходить из угла в угол по большой зале.

Прошло с полчаса, и та же Лукерья Ивановна вышла и позвала его.

— Неонила Аркадьевна ничего, слава богу, в себя пришла, просит вас пожаловать.

Едва только Никифор очутился перед бледной как снег Нилочкой, она вымолвила слабым голосом:

— Когда это случилось с князем?.. Сколько дней тому... Когда он был... ну, погиб когда?

— Да уже дня три-четыре... Уж и похоронили, должно быть...— отозвался Никифор твердо.

Но едва только девушка выслушала ответ, как опустила глаза, так как глаза эти ярко блеснули и могли выдать ее.

— Что ж, нечего делать,— выговорила после паузы Нилочка.— Такова моя судьба! Было у меня четыре жениха, и из них остался в живых только один... Такова, стало быть, судьба! Когда вы хотите венчаться, Никифор Петрович? — прибавила она ласково, поднимая глаза и улыбаясь.

И Никифор не сразу ответил. Он был поражен переменой, совершившейся сразу в этом красивом лице. Глаза сияли, легкий румянец набежал уже на бледные щеки, улыбка была не деланная, а искренняя. Нилочка казалась довольной и счастливой.

«Что ж это? — невольно подумал он.— Чудно. Вот бабья-то любовь!»

— Вы мне всегда нравились,— заговорила Нилочка.— Если бы не князь, то я бы, конечно, предпочла вас и Бориньке, и Илье Сергеевичу. А теперь и так все к тому же свелось... Когда же мы будем венчаться?

— Если вы согласны меня осчастливить, то завтра же! — воскликнул Неплюев.

— Я совершенно согласна. Да и пора, давно пора! Нужен мне покровитель! Времена такие наступают страшные. А ведь я здесь одна. Никого не осталось, все на том свете! А Марьяна Игнатьевна заживо мертвая.

— Так позвольте сегодня же просить вас пригласить к столу графа Чернышева, одного из его адъютантов и меня.

— Конечно! Я сейчас распоряжусь...

Никифор не вышел, а выбежал из крутоярского дома. Он чувствовал себя самым счастливым смертным.

«Ничего не понимаю,— думалось ему.— Как просто! Неужели этак любят? Узнала о смерти князя и в полчаса успокоилась... Ничего не понимаю! Вон она, девичья любовь! Недаром я ни во что ставил ее!»

И, повернув из парадных горниц в правое крыло, к себе, Никифор не вошел, а ворвался в горницу, где жил Жданов.

Петр Иванович, давно снова хворавший, страдавший от болей в ногах, сидел в углу горницы и при виде Никифора вскрикнул:

— Слава Создателю! Я сижу здесь брошен, некому стакана воды подать! Поутру я только узнал о тебе и все ждал. Жив ли?

— Как видите.

— Ну, садись, рассказывай.

— Да что ж рассказывать?

— Про все... Про Мрацких, про царя, про воеводу этого... Говори!

Никифор сел и, смеясь, произнес:

— Это все пустое. А вот что, батюшка, любопытно, что мы остались в Крутоярске на всю жизнь! Завтра и Крутоярск, и все будет принадлежать Неониле Аркадьевне Неплюевой. А свекор ее будет важно разгуливать по всем горницам! Как ни верти, а все-таки свекор! И все это ему за то, что не бросил мальчишку побочного, а приютил и воспитал!

И Никифор положил руку на плечо Жданова. Лицо его было ласково и стало красиво. Счастие и восторг преобразили его.

XXXVII

Между тем, пока пораженный вестями Жданов пытал и расспрашивал сына, за что казнили Мрацкого с сыном, какие вести о подвигах государя Петра III, Нилочка сидела, запершись в своей комнате, и писала письмо.

Написав его, она быстро оделась и вышла в сад. Какая-то штатная барыня попалась ей навстречу.

— Что вы? Куда вы, барышня? Избави Бог! По всему саду татарва бродит... Убить могут! Разве это можно?

И женщина схватила Нилочку за руку.

— Не ваше дело! Ступайте к себе! — повелительно выговорила Кошевая и, оттолкнув женщину, вышла из дому.

Пройдя по дорожке, расчищенной от снега, она повернула к надворным строениям, миновала их и через внутренний двор пошла далее. Выйдя в рощицу, она пробежала ее и наконец очутилась близ храма, около маленького домика, где жил дьячок.

— Барышня! — воскликнул вышедший к ней навстречу маленького роста человечек, с рыжей бородкой и рыжими, длинными волосами, лежавшими на плечах.

— Я, Михайлыч! Сослужи мне службу, и веки вечные не забуду. Знаешь, что тут творится?

— Знаю, барышня, знаю... Страсти господни! Вам бы уехать. В Самару, что ль...

— Не могу, Михайлыч. Уж собиралась. За мной присмотр от разбойников... Поймают... Слушай меня. Я посижу тут, а ты сбегай на скотный двор, разыщи Аксюту и приведи сюда.

— Слушаю, барышня, слушаю!

— Только скорей, Михайлыч, скорей!

— В одну минуту!

И девушка осталась в маленьком домике, где пищали двое детей, а дьячок вышел и бегом пустился через рощицу.

Не более как минут через двадцать Нилочка увидела в окно ворочающегося дьячка, а вместе с ним и девушку, в которой трудно было бы признать Аксюту. Она была в нагольном тулупе, в огромных грязных сапогах и в каком-то драном сером платке, накинутом на голову.

Когда она появилась пред Нилочкой, девушка едва узнала ее,— настолько Аксюта похудела, изменилась в лице и подурнела.

— Слушай, Аксюта,— взмолилась Нилочка,— хочешь ли ты меня спасти от петли, почитай, от смерти. Кроме тебя, некого мне просить...

— Для вас, голубушка, на все пойду! — выговорила Аксюта.

И снова удивилась Нилочка. Голос девушки был другой: разбитый, хриплый.

— Возьми вот это письмо и вот деньги! Раздобудь себе подводу и ступай в Самару, да только так, чтобы тебя никто не видал, а то задержат — и все пропадет.

И Нилочка объяснила Аксюте, что она должна тайком выбраться из Крутоярска, доехать до Самары, разыскать князя Льгова и передать ему записку.

— Больше ничего, Аксюта. Но этим делом ты меня от смерти спасешь. Пойми ты это!

— Будьте спокойны, барышня! Сейчас же, прямо отсюда. Никакой лошади не надо! Прямо вот в поле пешком до деревушки Карповки. А там найду лошадку и к вечеру буду в Самаре. А где стоит князь, я знаю, мне Борис Андреевич часто рассказывал...

И при этих словах слезы градом полились по лицу Аксюты... Через минуту она оправилась, отерла лицо,

спрятала письмо Нилочки за пазуху и выговорила твердо:

— Будьте спокойны, барышня, к вечеру буду у князя!

К трем часам Нилочка, довольная, слегка бледная, но все-таки улыбающаяся, пожалуй, радостная, сидела в анненской гостиной с штатными барынями, одетая в светлое шелковое платье.

Она ждала гостей: царского воеводу графа Чернышева и его двух адъютантов, из которых один был уже ее как бы нареченным женихом.

Нилочка задумалась, перебирая в голове все пережитое за последнее время.

«Много ли прошло времени — всего каких-нибудь месяца три,— а сколько воды утекло!»

Царский воевода граф Чернышев и его адъютант явились и были представлены крутоярской царевне ее женихом.

И пред столом, и во время обеда гости удивили и всех штатных барынь, и Петра Ивановича своим поведением. Одна Нилочка не была удивлена, хотя чувствовала себя стесненной с гостями.

И граф, и его адъютант вели себя не только скромно и порядливо, не только вежливо, но даже чересчур похолопски смирно. Оба вдобавок будто повиновались Неплюеву, а в обращении с Кошевой робели, конфузились и запинались в беседе...

И только раз граф Чернышев обмолвился. Говоря об Самаре, он заметил:

— Город губернский. Улицы какие! Кабаки — и те в кажинных домах. А мой любимый все-таки на той стороне Волги. Там, как ни налижися — будочникам в лапы не попадешь.

Все удивились было, но находчивый Никифор объяснил, что граф сказывает это про мужиков. Сам же в Самаре не бывал никогда, да в своем графском состоянии и не может будочников бояться или в кабаки ходить.

XXXVIII

К вечеру Неплюев выпроводил обоих гостей и остался с Нилочкой вдвоем у нее в горницах.

Девушка была любезна с ним, казалась довольной и спокойной, и только изредка какая-то тень набегала на

ее худенькое лицо, будто утомленное всем пережитым за последнее время.

Никифор, оставшись с девушкой наедине, снова начал говорить ей о своей давнишней к ней страсти, которую должен был таить ото всех.

— Напрасно,— сказала наконец Нилочка.— Все-таки следовало мне тогда закинуть словечко. Почем знать, что бы было, кабы я давно это знала... А скажите мне, Никифор Петрович,— вдруг, будто решаясь, выговорила девушка,— зачем мы спешим с венчаньем? Нельзя ли обождать день-два?.. Приготовить все получше...

Никифор взволновался сразу.

— Зачем же откладывать?!

— Да вот приготовиться. У меня и платья подвенечного нет.

— Стоит ли из-за этого ждать, Неонила Аркадьевна?!

— А мне бы очень... очень хотелось.

— Нет, уж извините... Я не могу... Да и графу надо выступать дальше, походом.

— А вы хотите, чтобы он был у нас на свадьбе? Разве без него нельзя обвенчаться?

— Простите, Неонила Аркадьевна, а я так полагаю, что вы хитрить хотите. Я же отлично понимаю, что, как граф отсюда с войском выступит, вы откажетесь венчаться со мной. Ведь я не дурак! Я знаю, вы меня не любите теперь, я могу только надеяться, что потом полюбите, по пословице — стерпится, слюбится.

— Какой же вы подозрительный. Ну, так я вам скажу, что вы ошибаетесь совсем. Если б я не захотела за вас идти замуж, то не испугалась бы никаких угроз. А только вот что я еще скажу...

Нилочка подумала и снова заговорила:

— Видели вы Марьяну Игнатьевну с тех пор, что она заперта?

— Нет-с, не видал с того самого вечера, что приключилось это диковинное и неразгаданное несчастье с ее сыном.

— У меня до вас просьба, Никифор Петрович. Самая простая.

— Что прикажете?

— Повидайте мою бедную Маяню.

— Зачем? — спросил Никифор странным голосом, и лицо его потемнело.

— Мне хочется, чтобы вы с ней побеседовали о чем-нибудь и хорошенько ее разглядели... Вы умный человек и можете увидеть и решить,— как по-вашему: придет ли она когда в себя или на веки вечные лишена разума? Вот что мне хочется знать.

— Извольте, Неонила Аркадьевна,— глухо отозвался Никифор.— Хотя мне и не очень по душе видеть безумную женщину. Но для вас... Извольте. Когда прикажете...

— Да хоть сейчас... Я вас провожу к ней.

— Не поздно ли? Ночь ведь...

— Для бедной Маяни нет ни ночи, ни дня. Она всегда лежит на постели.

— Вы бываете у нее?

— Нет, никогда. Тяжело видеть мне ее. Я не могу. Другие все бывают.

— Говорит она?

— Говорит... Но все такое... Не совсем понятное... Редко понятно, а то надо догадаться. Чаще всего спрашивает, что Боринька и когда приедет из столицы на побывку...

Никифор не ответил, и наступило молчание.

— Так как же? — выговорила наконец Нилочка.

— Что-с?

— Пойдем мы к Маяне?

— Пойдемте. Извольте. Только я долго сидеть у нее не буду. Тяжело, как вы сами сказываете.

— Зачем долго? Вы сразу увидите все... И можете мне сказать: есть ли надежда на ее выздоровление. Минут десять довольно. А я вас подожду у дверей ее горницы.

XXXIX

Нилочка встала и двинулась. Неплюев, несколько угрюмый, последовал за девушкой. Пройдя гостиные и обе залы, они поднялись в следующий этаж и скоро были у двери горницы, где уже давно жила безвыходно сумасшедшая.

Дверь оказалась запертой снаружи.

Нилочка позвала горничную из соседней комнаты.

— Ты, Саша, теперь дежурная? — спросила она.

— Точно так-с.

— С каких пор?

— С утра. Я днем дежурю, а Маланья по ночам. Так завсегда-с.

— Когда ты входила к Марьяне Игнатьевне?

— Раз десять была и в сумерки была,— солгала Саша.

— Что она?.. Как сегодня?..

— Ничего-с... Все так же-с...

— Тиха?.. Молчит?..

— Да-с. Как завсегда... Будто все спят. Покушают и опять лягут и глаза закроют. И лежат... Редко когда Бориса Андреевича кличут. Иногда, бывает, вас тоже поминают... А то вот их... Больше никого...

— Меня? — чуть не вскрикнул Никифор.

— Да-с, вас,— ответила Саша.

Никифор вдруг стал еще угрюмее и наконец вымолвил, обращаясь к Нилочке:

— Право, не знаю, Неонила Аркадьевна, зачем вам желательно... Пожалуй, она признает меня... А ведь она не любила меня. Будет ей, пожалуй, неприятно увидеть.

— Где же ей вас узнать, Никифор Петрович,— заметила горничная.— Она никого как есть не признает.

— Ну, извольте...— вздохнув, сказал Неплюев.

Горничная отомкнула замок. Никифор вошел в комнату, а Нилочка осталась за дверью, судорожным движением замкнула замок и припала головой к дверям, трепетно прислушиваясь.

Лицо девушки сразу побледнело, грудь высоко вздымалась, и сердце стучало молотом.

«Господи! На что я иду, на какое дело!» — думалось ей.

В горнице безумной была полная тишина.

«А если ничего не будет?..» – мысленно ужаснулась девушка, прислушиваясь и трепетно ожидая.

В дверь сильно толкнули.

— Пустите!..— раздался громкий голос Никифора.

И он стал кулаком стучать в дверь.

— Пустите! Неонила Аркадьевна! — крикнул Никифор.— Не глупите! Даром не сойдет. Я понял... Вижу... Что ж? Я ее зарежу — вот и все... Отворите... Отворите...

— Барышня, слышите...— испугалась горничная.

Нилочка дрожала всем телом, но глаза ее сияли страшным блеском. И ужас, и радость вместе дико оживили ее красивый взгляд...

В горнице поднялся шум... Завязалась, очевидно, борьба... Никифор крикнул еще раз: «Отворите!» — но сдавленным от усилий голосом... Он отбился...

Вместе с тем у самой двери стал ясно слышаться и другой голос, страшный, хрипливый, шипящий, бормотавший бессвязные слова.

Горничная в испуге бросилась бежать от дверей, а Нилочка ничего уже не слышала от ужаса, который проник в нее. Ее надежда сбывалась. Он не уйдет от нее!. Он силен, но она, от безумья и жажды мести, еще сильнее.

Девушка знала, что делала и в чем была ее последняя надежда на спасенье от брака с безродным негодяем, ненавистным ей.

Она знала, что у Марьяны Игнатьевны давно уже одна утеха: иметь большой ножик под подушкой... Когда-то ей не давали его, несмотря на слезные просьбы, но затем, по приказанию Мрацкого, дали, и женщина успокоилась... Она забавлялась ножиком по целым дням, гладила его, целовала и называла по имени Мрацкого и Неплюева.

Нилочка вынула ключ из замка, спрятала себе за пазуху и, боясь лишиться чувств от леденящего ее ужаса, отошла от дверей горницы, но тотчас же она опустилась на пол без сил и почти без сознания...

Об дверь бились... В горнице происходила яростная дикая борьба... Наконец раздался сильный, отчаянный вопль... То был голос Никифора.

XL

Шестнадцатилетняя сирота, крутоярская царевна, спасла себя от позорного насильственного брака.

Женщина, безумная во всем, что было обыденной жизнью, была разумна в одном — в ясном сознании жажды мести. Вмиг узнала она врага... Одолеть ее было бы не под силу и троим, не только одному... И враг жизнью уплатил матери за жизнь безвинно погубленного им сына ее.

Граф Чернышев, при известии о страшной и удивительной погибели своего адъютанта, не только не напал

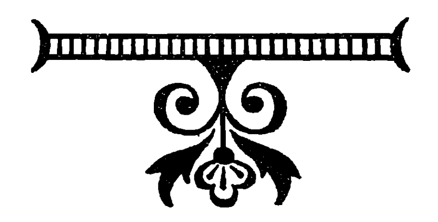
на крутоярские палаты, но уехал тотчас на подводе... бежал. Скопище его было объято необъяснимым страхом и тотчас поднялось тоже и очистило село...

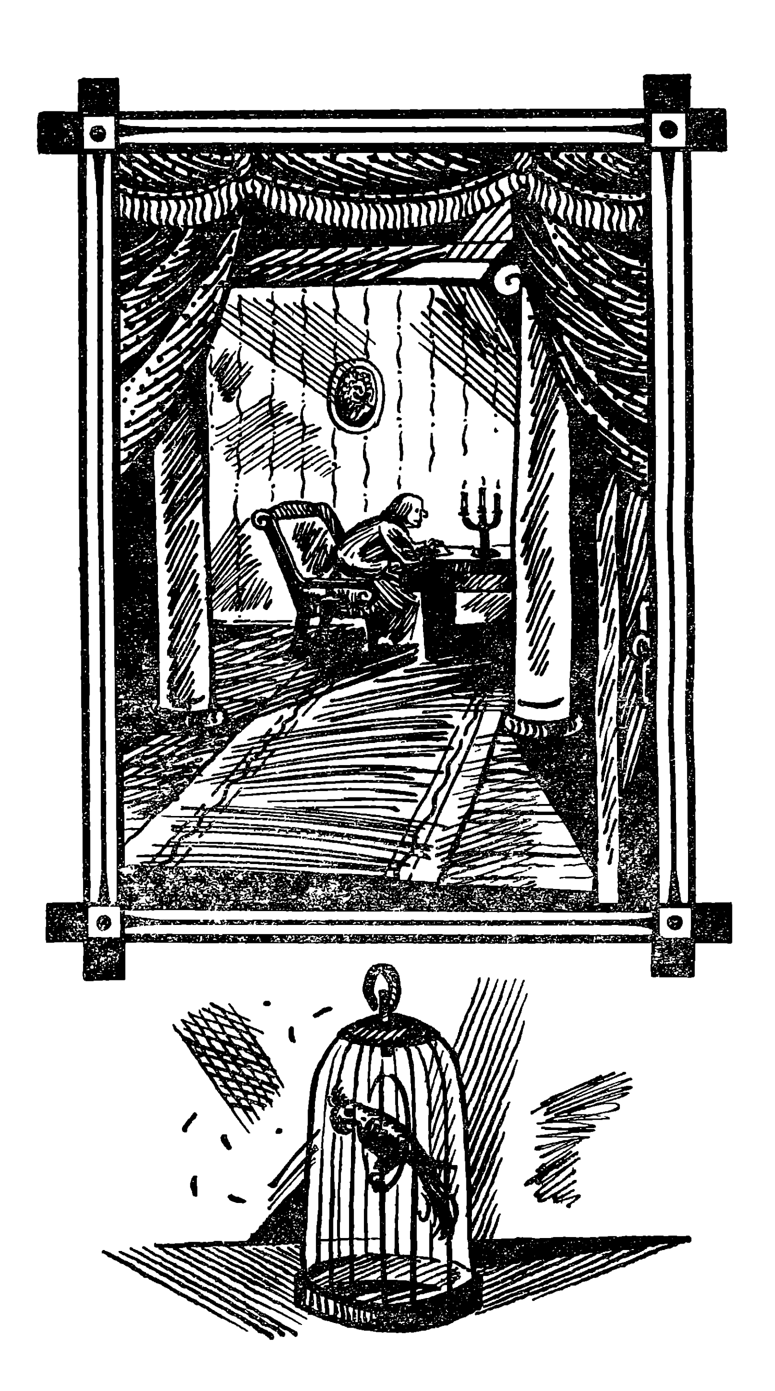
Однако чрез час по исчезновении толпы бунтовщиков все разъяснилось. Из Самары шла дружина охотников из дворян и мещан с сотней солдат под командой князя Льгова.

Священник недаром все заготовил в храме для венчанья... Ему пришлось пред сумерками действительно венчать крутоярскую царевну.

ФИЛОЗОФ

Историческая повесть







На всякого мудреца довольно простоты

I

Первопрестольная Москва сразу оживилась, зашумела, задвигалась... За одну неделю столицу узнать было нельзя. И власти, и дворянство, и купечество, и простой народ — все взволновались и толковали только об одном событии — ожидаемом приезде из Питера царствующей императрицы Екатерины Алексеевны. Некоторые важные сановники уже приехали вперед, других ожидали. Приехавшие уже делали визиты по городу, начиная с двух первых вельмож Москвы,— с генерал-губернатора графа Салтыкова и с великого боярина, жившего на покое, графа Алексея Григорьевича Разумовского.

Власти московские завертелись и завертели других обывателей. Надобно было привести город в порядок, а так как его не было и в помине, то хлопот и забот было немало. Все, что считалось возможным, законным и совершенно правильным в продолжение многих лет, вдруг теперь оказывалось совершенно незаконным и совершенно неправильным.

Вскоре все вельможные дома Москвы были уже полны приезжими из вотчины гостями и родственниками. Всюду было шумно.

За одной из застав, по дороге к Бутыркам, вокруг больших палат, к которым примыкал густой сад, сновало около сотни всяких рабочих. Дом, подновленный и свежевымазанный, желтый, канареечного цвета, смотрел весело. Зато внутри было тихо, мертво. Дом был пуст, и только один управитель, маленький и седенький старичок Финоген Павлович, расхаживал по всем горницам и в сотый раз осматривал всякий предмет и всякий уголок, озабоченный тем, все ли как следует и все ли на месте.

В дом ожидался барин, не бывавший в нем около десяти лет. Управитель за две недели сумел из старого, заброшенного и запущенного дома, с таковым же садом, сделать барскую резиденцию на славу. Правда, что

трехсот рублей, присланных на расход барином, не хватило, но зато и загородной резиденции узнать было нельзя.

Финоген Павлович смущался все-таки сильно: угодит ли он, останется ли на своем управительском месте или улетит невесть куда. С барином-князем трудно было знать свою судьбу.

На всю Москву был только один такой человек, как князь Аникита Ильич Телепнев. Князь был чудодей и непонятного нрава боярин. Никто еще никогда не сумел вполне угодить ему или похвастать его привязанностью. Наоборот, с князем все зачастую попадали впросак.

«Господу Богу угодить много легче, чем Аниките Телепневу»,— говорила про него Москва.

Но если князь, шестидесятилетний человек, был еще чудодей, то не из тех, что веселят и потешают родных и знакомых, а из тех чудодеев, которые тяжелы и нравом, и рукой. Князь жил почти безвыездно в своей вотчине на Старо-Калужской дороге. Этот же московский дом на Бутырках не годился бы и во флигеля к тому дому, который стоял в вотчине. Там одних дворовых полагалось ровно полтысячи, не больше и не меньше. Когда кто умирал, то князь сейчас добавлял полтысячу из запаса. Громадные конюшни и громадные оранжереи окружали дом. Князь, никуда не выезжавший, даже на прогулки по своим владениям, все-таки держал шесть шестериков, десять троек и один парадный цуг коней серебристо-чалых. Цуг этот был известен, и уже пять лет его торговали у князя и покупали для отсылки ко двору в Петербург. Но конюшенные чиновники с таковым предложением только засылали людей стороной, но лично никто из них не смел с эдакою дерзостью сунуться к князю.

Нелюдим и домосед, называвший себя, по-новому, заморским словом «мизантроп», решился тоже приехать из вотчины в московский дом, хоть и загородный. Одни говорили, что князь Телепнев сам собрался, желая представиться монархине, другие уверяли, что нелюдиму, засевшему на «Калужке», приказали приехать и быть налицо.

Около полудня, на Бутырках, штукатуры и маляры, каменщики и плотники покончили работу, собрали инструмент и целой кучей сошлись на большом дворе. Финоген Павлович вышел тоже на двор

и стал убедительно усовещивать народ долго не прохлаждаться.

— Поел, выспался — и иди,— говорил он,— время не такое, через два дня следовает быть всему в исправности.

— Уж будьте покойны,— отзывались голоса со всех сторон,— уж это мы беспременно, мы только маленько отдохнем.

Но уверения рабочих всякий день были одни и те же, и всякий день большая часть запаздывала, ела и спала вдвое больше, чем Финогену Павловичу желалось.

В ту минуту, когда рабочие двинулись по двору, свои крепостные в людскую, где уже дымились горшки с обедом, а вольные за ворота, в соседние трактиры и кабаки,— в растворенные настежь ворота примчалась верховая лошадь с военным седлом, но без седока. При виде кучи народа лошадь шарахнулась в сторону, проскакала по двору и влетела со двора в сад.

— Батюшки мои,— завопил, всплеснув руками, Финоген Павлович,— только что в клумбы высадили цветы. Все перетопчет. Голубчики, помогите!

И управитель быстро и энергично распорядился. Рабочие повернули назад, пробежали в сад и живой изгородью стали перед домом, где, помимо цветника и клумб, были выставлены рядами лимонные, померанцевые, лавровые и другие деревья. Финоген Павлович принял на себя роль главнокомандующего, разделил рабочих на правильные отряды и повел атаку по главным липовым аллеям. Заскакавшая лошадь вскоре была прижата к углу большого сада, но, когда пришлось приблизиться к ней, чтобы схватить ее за повод, охотников не оказывалось; при малейшем приближении к лошади она особенно искусно поворачивалась к подходящему и так била задом, что только подковы сверкали и посвистывали по воздуху.

— Вот так конь,— решили, шутя, рабочие,— руками не поймаешь, а только зубами возьмешь. Сама то есть она тебе ноги в зубы подаст.

Облава чужого коня долго не приходила к концу, хотя озабоченный Финоген Павлович убедительно и красноречиво доказывал рабочим и двум конюхам, что лошадь поймать самое пустое дело, только сноровка нужна. Но вдруг около толпы нежданно явился откуда-то, как с неба свалился, высокий молодой офицер.

II

— Ваше благородие, конь-то ваш, должно? — догадался сразу Финоген Павлович.

— Мой, мой. Извините за беспокойство. Вырвался из рук и ускакал. Не попади к вам — пришлось бы пешком в Москву идти.

Офицер, богатырь с виду, быстро направился к лошади. Рабочие ждали снова той же штуки со стороны коня; некоторым даже желалось, ради потехи, чтобы лошадь свистнула барина-офицера. Но ожидания были напрасны: лошадь повернулась было задом, но офицер крикнул:

— Гей, Полкан, не признал, что ли!

И должно быть, Полкан тотчас заметил свою ошибку, ибо повернулся мордой к хозяину и даже наклонил голову, как бы извиняясь за учиненную дерзость.

— Вишь как! — невольно воскликнуло несколько человек,— что значит хозяин-то.

— Да, с хозяином разговор, братец ты мой, короткий!.. А все же таки обедать пора...— решили в толпе.

Вся кучка рабочих повалила со двора, весело галдя о забавном приключении.

Офицер, ведя коня под уздцы, направился тоже вон из сада, но по дороге обратился к старику:

— Извините за беспокойство. А я все-таки рад, что лошадь к вам заскакала, а то я ее в Москве трое суток проискал бы; а то бы и совсем угнали. Извините.

— Помилуйте, что же-с! Слава Богу! Вам в пользу и нам не во вред. Сначала-то я испугался, что цветник весь перетопчет, а я барина жду кажинный час: нехорошо бы было. А барин у нас спуску не дает. Мы только что, извольте видеть, все заново привели. Барин тут годов десять не бывал, а вот теперь, по случаю царского посещения, дом бутырский посетить пожелал.

Разговаривая, офицер и управитель уже прошли широкую липовую аллею и были перед цветником и перед красивым домом со стеклянными галереями по бокам.

— Вот одних стекол на тринадцать рублей вставил,— похвастал управитель.

— Да, красиво,— выговорил офицер, оглядываясь,— дом просто с иголочки. Будто вчера только закончили постройкой. Красиво.

— Да-с, наш барин князь из первых вельмож, бога-

тей его разве один граф Разумовский, а то нету! — гордо выговорил Финоген Павлович.

— А чье это? Кто ваш барин?

— Князь Телепнев.

— Что? — вскрикнул офицер так, как если б его Финоген Павлович ударил поленом по голове.

Старик даже вздрогнул от восклицания офицера, и поневоле наступило молчание, так как управитель назвал барина снова и не знал, что сказать еще, а офицер ничего не спрашивал.

— Князь Телепнев, сказываете вы, Аникита Ильич,— выговорил наконец он как-то странно.

— А что-с, изволите их знать? — спросил управитель.

— Да, то есть нет. Слыхал, лично не знал. Да ведь он в Москве не живет.

— Как можно-с! Князь у нас особый вельможа, Москвы не любит и ничего не любит; он проживает в вотчине по старой Калужке, никуда не ездит и к себе, почитай, никого не пускает. Такая уж, стало быть, у него повадка, таков уродился. А барышня-княжна прежде тоже все при них жила, махонькая когда была, а теперь князь стал княжну отпускать. Девице не усидеть веки вечные среди деревенщины. Княжна вот теперь бывает и подолгу гостит у своего братца и у тетушки...

— У генеральши Егузинской?

— Тоже изволите знать?

— Как же, знаю.— угрюмо выговорил офицер и как бы подавил в себе вздох.

— Так вот оно как,— прибавил он задумчиво.— Чудно. Нашла же моя лошадь куда заскакать. Я и не знал, что у князя на Бутырках эдакий дом. Я тут часто проезжал верхом, но никогда не полагал, что это князя Телепнева. Чудно это. Удивительно совсем.

— Да-с, по-народному — примета,— улыбнулся Финоген Павлыч.

— Что, примета? Какая? — оживился богатырь офицер.

— Уж не могу вам сказать, а только коли чья-нибудь лошадь сама заскачет в чужой двор, то, стало быть, примечание есть. И верно примечание, доложу я вам. Самое верное...

— Да какое? — весело улыбаясь, переспросил офицер.

— А уж этого я вам доложить не сумею, а только что

верное. Это уж я сам сколько раз на веку своем примечал.

Офицер поглядел в лицо седенького старичка и улыбнулся добродушно.

— Как вас звать? — выговорил он.

— Финоген-с. Я управитель княжеский. Сколько годов здесь живу и не упомню.

— А по батюшке?

— По батюшке-то? Что ж вам? Господам это знать не полагается.

— Нет, вы уж скажите.

— Финоген Павлович, коли приказываете.

— Ну, очень рад, Финоген Павлыч, что с вами познакомился,— дружелюбно и ласково выговорил офицер.

Старичок от голоса, которым были сказаны эти слова, просиял. Видно было, что он очень чувствителен к такого рода обращению.

— Простите, а и мне позвольте полюбопытствовать — кто вы изволите быть?

— Я, как видите, офицер, но не московский, а петербургский. Теперь временно проживаю в Москве, а зовусь я — Алексей, по батюшке — Григорьевич, а по фамилии — Галкин. Фамилия, как видите, не мудреная и не громкая...

— Что же-с, ничего это-с. Галка все ж таки, ведь птица-с.

Управитель сказал это таким голосом и столько утешения наивно старался вложить в свои слова, что молодой человек невольно громко рассмеялся.

— Ну-с, прощайте. Если буду как проезжать мимо. заверну лично к вам в гости. Иной раз молока попрошу напиться, коли у вас есть.

— Сделайте одолжение-с, осчастливьте.

— Только я, Финоген Павлыч, теперь вряд ли заеду. А вот когда царица проедет через Москву, тогда заеду. А уж если вы говорите, что мой конь, к вам заскакавший, хорошая примета, то, пожалуй, я здесь и в гостях у вашего князя окажусь.

Но последние слова богатырь произнес со странным оттенком в голосе, почти грустно. Выведя лошадь из сада во двор, он ловко вскочил на нее, пришпорил и галопом съехал со двора.

— А ведь красавец,— выговорил Финоген Павлыч, глядя в пустые, настежь раскрытые ворота,— росту

какого, да и в плечах-то сущий богатырь! Да и лицом такой чистый, да и ласковый. Нешто с нами, дворовыми холопами, эдак господа разговаривают! Должно, у него своих-то рабов нету в заводе, оттого он и ласков. Это уж завсегда так на свете бывает.

И Финоген Павлыч побрел в дом, чтобы снова во сто первый раз обойти все горницы и обнюхать всякий уголок.

«Авось минует меня...— думалось ему.— Приедет и уедет барин без встряски...»

III

Недалеко от речки Неглинной, близ Воздвиженского монастыря, в новом, недавно лишь отстроечном барском доме, был большой съезд: хозяин был именинник. Гости вереницей подъезжали к главному парадному крыльцу; двор был заставлен экипажами.

Хозяин дома был князь Егор Аникитович Телепнев, сын того, который ожидался в бутырском доме. Молодой князь был не более года как женат, и женитьба его воочию доказала всей столице, что князь Аникита действительно чудодей. Он женил единственного сына так, что наделал соблазну на весь город. Только очень недавно перестали толковать, судить и пересуживать брак одного из первых женихов Москвы. Особенно долго шумели и рядили те родители, у которых дочери невесты засиделись в девках. И князя Аникиту, и его сына матушки, метившие на богатого жениха, раздирали на части.

Действительно, случай был необыкновенный и почти диковинный. Князь Телепнев женил сына на замоскворецкой купчихе.

— За всю свою жизнь такового не запомню, такого не видал и слыхом не слыхал,— говорил один из старейших дворян московских.— Видали мы, что дворяне женятся на своих собственных дворовых девушках или на каких заморских — итальянках и шведках, бывало это завсегда из-за чародейства какого, из-за приворота, стало быть, из-за любви. А любовь слепа! Влюбится человек и женится на козе, и та ему коза кажет краше раскрасавицы. А чтобы эдак, с лавочниками венчались русские князья,— не слыхано и не видано.

И Москва дворянская соглашалась с говорившим. Если бы еще молодой князь влюбился в красавицу

купчиху и женился бы на ней самокруткой, с побегом из родительского дома, ну, куда ни шло. Но диковинно было то обстоятельство, что молодой князь всего раза два или три видел эту девицу из купеческого звания. Собой она была очень неказиста, и не сам молодой человек затеял женитьбу, а князь-отец все настроил и уладил. Отважно рассудил и решил он, что чем купец не человек и чем купчиха не невеста для сына. И всех подивил...

— Все глупость и фанаберия дворянская! — сказал он.

Но суть дела была совершенно в ином обстоятельстве, и князь столицу не надул. Дело в том, что у девицы-купчихи был миллион приданого. Отец ее, будучи поставщиком на армию во время последней войны, благодаря покровительству именитого вельможи, приобрел громадный капитал. Князь сам наметил невесту и уговорил сына жениться. Помимо состояния, молодой князь с молодою княгиней могли воспользоваться личным покровительством этого всемогущего покровителя.

— Что ж такое, что она купецкая дочь,— говорил князь сыну,— я — «философ». И тебе советую в жизни твоей смотреть на все так же, как и я смотрю.

— Губа не дура,— говорили в Москве про князя Аникиту Ильича.— Точнее сказать, философия у него не дура.

Теперь молодой князь был очень счастлив, очень доволен своею женитьбой. Денег была такая куча, что он не знал, что с ними поделать. Затей у него особенных не было никаких, нрава он был смирного, ленивого, что называется, тюфяк. Не зная, куда девать капиталы молодой жены, князь Егор чуть не каждый месяц покупал в Москве дом и отделывал его заново. От нечего делать его забавляло и занимало присутствовать на строительстве.

Когда князь женился, то многие в Москве стали толковать, что к молодым ездить не надо.

— Надо проучить, чтобы такого никогда не бывало, надо на нем пример показать московскому дворянству,— говорили знакомые князья.

Но те, которые наиболее ратовали против обоих князей Телепневых, первые же и поехали. Теперь, вследствие постоянных обедов и балов и всякого веселья в новом доме князя Егора Телепнева, вся Москва липла к нему, как мухи к меду.

Давно уже все поджидали и день именин князя

и очень удивились, когда узнали, что должны ограничиться простым поздравлением. Ни обеда, как бывало часто, кувертов на триста, не будет, ни вечера с музыкой и танцами. Была какая-то причина, по которой князь Егор не хотел праздновать. Толковали в городе, что в семье Телепневых приключилось что-то новое, что-то неспроста, что-то затевается или затевалось, да не выгорело.

В доме князя жила его двоюродная тетка-вдова, генеральша Пелагея Ивановна Егузинская и, кроме того, временно гостила родная сестра, княжна Юлия. Эта Юлочка, как звала ее почти вся Москва, пользовалась всеобщею любовью и всеобщим ухаживанием. Она была хорошенькая, как говорится, смазливенькая девочка, маленького роста, кругленькая, веселая и большая хохотунья. Юлочке случалось хохотать до слез без всякой причины. Скажет ей кто-нибудь: «Здравствуйте, княжна, как поживаете?» Юлочка поблагодарит и начнет хохотать без конца.

Главная причина, по которой все были любезны с княжной, заключалась в том, что эта была почти первая невеста в Москве. И прежде считалась она богатейшею приданницей, но с тех пор, что молодой князь женился на миллионщице, в Москве стало известно, что князь все свое состояние делит пополам, и княжна, вместо своей четырнадцатой части, получит ровно половину всего и вдобавок главную богатейшую вотчину отца на старой Калужке.

Юлочке было уже семнадцать лет, и за последний год князь часто отпускал дочь погостить к брату и невестке. Таким образом, последнюю зиму и весну княжна провела в Москве и выезжала с теткой. У брата для нее давались часто балы, и княжна веселилась до упаду.

И вот теперь, в доме на Воздвиженке, накануне именин молодого хозяина, случился казус, который смутил и князя Егора, и его тетку, генеральшу Егузинскую. Молодая княгиня не была смущена только потому, что на нее ничто на свете не действовало. Она относилась ко всему в Божьем мире так спокойно и равнодушно, как если бы была не живой человек, а истукан. Молодая княжна не только не смутилась, не перестала хохотать, но прыгала и летала по всему дому и была совершенно счастлива.

— Юлочка, не юли,— говорила тетка.

— Сестрица, не егози,— говорил ей брат.

И затем родственники прибавляли:

— Неизвестно что еще будет, как посмотрит на все князь-родитель.

Происшествие, занимавшее всех в доме, по случаю которого даже отменен был парадный большой обед и по случаю которого нетерпеливо ждали теперь приезда из деревни князя-отца, было и простое и мудреное вместе. Накануне явилась в дом известная в Москве старая девица, княжна Бахреева, и переговорила серьезно о важном деле со вдовой-генеральшей, а равно и с молодым князем. Она явилась как бы свахой, и, прежде чем порядливо и законно явиться со сватовством к ожидаемому из деревни князю Аниките, Бахреева предпочла переговорить с родственниками и как бы сделать рекогносцировку

— От вашего родителя-философа,— говорила она,— всего ждать можно: с ним никогда не знаешь, за что он приголубит и за что обругает.

Княжна Бахреева явилась сватать временно жившего у нее племянника, которого она очень любила.

IV

Этот приехавший погостить родственник был петербургский офицер Алексей Галкин. Провеселившись в Москве в продолжение зимы, офицер съездил в Петербург, взял вторичный отпуск и снова явился к концу Великого поста и снова танцевал на всех балах.

Молодой человек так хитро и искусно вел свои дела, что никто не заметил, что он влюблен в княжну Юлию, а она равно очень неравнодушна к нему. Если бы обоюдная склонность молодых людей была в Москве замечена, то, конечно, все не преминули бы обвинить петербургского офицера в том, что он явился найти в Москве богатую приданницу. Но это суждение было бы несправедливо: молодой Галкин действительно серьезно полюбил княжну, когда еще и не знал о том, что за девушкой огромное приданое. Только за последнее время и молодой князь, и тетка Егузинская стали замечать коечто и подсмеиваться над Юлочкой, по отношению к офицеру. Княжна отвечала тем же смехом и сама положительно не знала, чем может окончиться ее роман с офицером.

И вдруг в доме молодого князя появилась княжна Бахреева в качестве свахи.

На семейном совещании с генеральшей и с князем Егором Бахреева заявила, что ее любимец Алеша не имеет почти никакого состояния, но фамилию носит дворянскую. А малый он золотой, смертельно обожает княжну и предлагает ей руку и сердце.

Генеральша заявила, что, по ее мнению, братец-князь в качестве «философа» не обратит внимания ни на бедность будущего зятя, ни на прозвище, напоминающее «некую» птицу. Недаром же он дозволил сыну своему жениться на девице «иного» звания.

Молодой князь недоверчиво отнесся ко всему, слегка поматывал головой и объяснил Бахреевой совершенно иное:

— Я бы рад, ваш племянник мне очень нравится, человек благовоспитанный, да и хват на все руки: всех наших барышень прельстил. Немудрено, что и сестра к нему стала неравнодушна. Но за батюшку-родителя ответствовать не могу. Вам известно, чем он у нас почитается в Москве. Как посмотрит он на сей брак, сказать совершенно вперед ничего нельзя.

От этого совещания пока было только одно последствие. Молодой князь отменил парадный обед, который хотел сделать. Пригласить к обеду молодого человека, уже, так сказать, сделавшего предложение, было неудобно, так как он не получил, собственно, никакого ответа; не пригласить его совсем было бы ему оскорбительно, было бы непременно замечено всеми знакомыми, и сейчас бы догадались, в чем дело: посватался и получил отказ. А эдакого толкования не хотелось самой княжне.

И вот в день именин молодого князя гости приезжали и, посидев, отъезжали «не солоно хлебавши». Были такие, которые в этот день не заказали обеда у себя на дому, другие отказались ехать в гости. И многие остались в дураках.

Пообедав в кругу близких людей, в том числе с двумя родственниками купцами в длиннополых кафтанах, с бородами, хозяин и гости вышли в небольшой сад перед домом и разбрелись в разные стороны. Генеральша Егузинская и княжна Юлочка остались вдвоем на скамейке под большой липой. Княжна, напрыгавшись накануне, теперь ходила сумрачная и печальная, и тетушке показалось, что племянница за несколько часов уже успела похудеть.

Озабоченная этим, Егузинская подозвала к себе племянницу и уселась с нею побеседовать.

— Ты не кручинься, Юлочка, не с чего, еще неведомо что будет. Братец — такой диковинный человек, что, может быть, обрадуется твоей свадьбе.

— Вот именно, тетушка, этого-то я и боюсь, что на батюшку никто еще никогда не угодил. С ним, правду сказывают, не знаешь, с какой стороны подойти и какой час выбрать. Может, он рад-радехонек будет, а может быть, так разгневается, что со всеми ссору заведет. А меня увезет с собою в вотчину, да и не будет в Москву пускать. И буду я жить с ним как в монастыре.

— Ничего не могу сказать,— развела руками Егузинская.— Никто ничего не может сказать. Когда он твоего братца женил, он против всей Москвы пошел. А теперь, что же, особенного ничего нету. Алексей Григорьевич малый красивый, добрый, скромный, дворянин, офицер, чего же больше-то?

— Да вот Галкин-то он,— печально произнесла Юлочка.

— Так что ж что Галкин?

— Да мне-то, матушка, ничего, я привыкла, а вот другим-то... Я примечала, как где вечером на балу скажут кому: Галкин,— так иной и усмехнется.

— Эко глупости какие. Такие ли, племянница, прозвища на свете! Мне сказывал мой дедушка, а твой прадед, что когда он был в Хохландии, то о таких прозвищах случалось слышать, что дрожь проберет, а то в пот ударит. Сказывал, был там один полковник с прозвищем Андрей Иваныч «Не марай-ворота», а еще другой был «Убей-собаку», а это что ж — Галкин. Вот у нас в Москве стариннейший дворянин, сама ты его знаешь — господин Собакин.

— Боюсь я, тетушка,— отозвалась княжна,— сдается мне, что батюшка-родитель только разгневается, и ничего не будет. И уж как же я тогда, тетушка, плакать учну, ну просто беда, вот увидите. Вставши с утра и покушав, сяду и начну плакать. И так по целым дням до самого до вечера. Уж так буду плакать, что у меня все лицо распухнет: слепнуть начну, совсем с ног свалюсь, в кровать лягу и умру.

— Что ты, дурашная! Бог с тобой.

— Непременно, тетушка, непременно. Я уж это знаю как,— мне говорили; а уж плакать так буду, что всех перепугаю, и батюшка испугается, уж я знаю как. А то

сказывают, можно глаза перцем натереть — страх что будет.

— Ах ты простота, простота,— рассмеялась генеральша.

К беседовавшим подошел молодой князь и сел тоже на скамейку. Речь зашла, конечно, все о том же, о предложении Галкина.

— По моему рассуждению,— начал молодой князь,— тут добра ждать мудрено, и сейчас я вам, тетушка, и тебе, сестрица, расскажу, почему родитель на все это происшествие посмотрит строго и гневно.

Он поднял левую руку и правою собрался откладывать палец за пальцем, как бы разъясняя дело по пунктам.

Князь Егор отложил один палец и прибавил:

— Первое дело, прозвище жениховo... А второе дело — бедность женихова. А третье...

Князь собирался отложить третий палец, когда к скамейке подошел старик дворецкий и, став руки по швам, доложил:

— Ваше сиятельство! Гонец от Калужских ворот примчал. Князь Аникита Ильич вступили в Москву.

В один миг все сидевшие на скамейке вскочили и засуетились. Тотчас было приказано закладывать экипажи, чтобы всем ехать к князю-философу.

V

В тот час, когда в московских церквах благовестили к вечерне, через столицу проехал вереницей целый поезд: тарантас, карета и несколько бричек. Шествие открывали полдюжины верховых конюхов в одинакой одежде с галунами, на великолепных лошадях; за ними в щегольском тарантасе, на тройке удивительно подобранных саврасых лошадей, ехал очень важный с виду человек, обритый по-дворянски, но в каком-то странном, как бы выдуманном кафтане, не то старинном боярском, не то в венгерке. На голове у него был картуз с широким галуном, по которому был выткан шелком герб. Около этого важного проезжего — по званию камердинера — рядом с ним, на сиденье стояла большая, блестевшая на солнце серебряная клетка с большим зеленым попугаем. Проезжий придерживал клетку рукой и, по-видимому, обращал большое внимание на своего пернатого соседа.

На переднем месте было прилажено в тарантасе нечто вроде низенького столика, а на нем стояла большая шкатулка в кожаном чехле. Она была прикреплена к своему месту ремнями. В этой шкатулке всегда путешествовали большие суммы денег. В ногах проезжего лежал какой-то длинный ящик, чуть-чуть длиннее тарантаса; в нем был десяток чубуков с трубками. Тут же в ногах стояли два ящика, один с табаком, другой, меньшего размера, был наполнен винными ягодами.

За этим тарантасом ехал большой рыдван ярко-желтый, испещренный позолотой. По кузову, по рессорам, даже по колесам, всюду, где только возможно было приладить металлические украшения, все сияло заново вычищенное. На больших козлах был голубой бархатный чехол с длинной бахромой и толстыми кистями по углам. На чехле ярко сверкал полуаршинный и выпуклый золотой герб с княжеской короной и львами по бокам.

Карета, хотя городская, а не дорожная, очевидно шла издалека, так как была сплошь запылена. Все прохожие останавливались и заглядывались на проезжих, но удивление возбудил не рыдван, а шестерик серебристо-чалых коней. Подобрать шестёрку такого колера было, конечно, результатом нескольких лет забот и поисков. Вдобавок, на конях редкой масти была не черная, а желтая сбруя с бляхами, пряжками, колечками и всякими украшениями из чистого серебра. Серебристые кони с серебристой сбруей производили действительно диковинное впечатление. Вдобавок, лошади, вымуштрованные хорошим кучёром, шли какой-то особенной рысью, настолько ровной, правильной и согласной, что вся шестерка казалась каким-то одним насекомым, вроде сороконожки. Этот ровный бег был почти гармоничен. Вряд бы какой кавалерийский взвод мог пройти на парад так, как двигался этот шестерик.

На запятках рыдвана стояли рядом трое служителей, два скорохода и гайдук посередке. Громадная лохматая шапка гайдука была тоже с золотым гербом.

В этом рыдване сидел полный, краснолицый, обритый человек. В его лице прежде всего поражали чрезвычайно маленькие, серые глаза и особенно толстые губы большого рта. На нем был русский кафтан из темно-лилового бархата, перетянутый простым ремнем, а на голове такая же лиловая шапочка.

Постоянное бессменное выражение его лица было недовольство. Казалось, что у этого человека сейчас

случилось что-нибудь крайне неприятное и он обдумывает, как бы выйти из затруднения и повернуть дело в свою пользу. Проезжий был князь Аникита Ильич Телепнев.

Князь был известен Москве своим большим состоянием, своим угрюмым нравом и своим Бог весть когда и за что данным прозвищем: «Философ».

Сидя в карете и проезжая всю столицу вдоль, от Калужских ворот до Бутырской заставы, князь Аникита Ильич умышленно опустил глаза и упорно смотрел на кончики своих мягких сафьянных сапожков, почти ни разу не подняв глаз, чтобы взглянуть на Москву. За рыдваном ехал фургон с поклажей, а за ним на тройках двигалось около десяти бричек, где сидели люди. Поезд замыкался дюжиной всадников в таких же кафтанах и шапках, как и передовые.

Прохожие, оглядывая поезд, редко опрашивали других, кто может быть проезжий. Князя в лицо мало кто знал, так как он почти безвыездно сидел в своей вотчине на Калужке, но зато по коням можно было догадаться: вся Москва знала, что лучшие кони у князя Телепнева, а серебряная шестерка была известна не только в столице, но и в соседних уездах.

Миновав московские улицы, поезд выехал вновь за заставу, на Бутырки.

Когда конные влетели во двор дома, а за ними подкатил рыдван, Финоген Павлыч выбежал на крыльцо, запыхавшись, и дрожащими руками стал помогать князю выйти из экипажа. Одновременно все, что было в доме, в саду и во дворе рабочих, как по мановению жезла волшебника, провалилось сквозь землю. Кто и не кончил работы, все-таки, собрав инструмент, пустился бежать как бы от преследования. В одну минуту все попрятались, кто куда попал.

Князь лениво и неохотно, как бы хворый или привезенный силком, двинулся из кареты и, поддерживаемый лакеями, вошел на крыльцо и в дом.

Финоген Павлыч, свернувшись в какой-то клубочек, приложился к барину, поцеловав его в локоть и в полу кафтана. Князь глянул искоса на управителя дома, которого давно не видал, заставляя сидеть в бутырском доме так же безвыездно, как сидел сам на Калужке. Окинув его сухим взглядом, князь вымолвил едва слышно:

— Постарел, Финоген?

— Да-с, точно так-с, ваше сиятельство,— поспешил согласиться управитель, улыбаясь счастливою улыбкой, как если бы барин сказал ему нечто самое лестное.

— Ну, а я как? — так же отрывисто и негромко произнес князь, приостанавливаясь в передней.

— Ничего-с, совсем ничего-с. Удивительно-с! — отвечал Финоген Павлыч, не зная, что сказать.

— Помолодел?

— Точно так-с; ей-Богу-с.

— Врешь, да божишься. Ты стал гриб червивый, а я и вовсе в мухомора обратился.

И князь прошел в дом, прямо в свой кабинет, сел у отворенного окна и начал глядеть на цветник и столетние развесистые липы трех аллей, расходившихся в разные стороны от дома. И вдруг выражение лица князя Аникиты сменилось другим... Оно перестало быть просто угрюмым, а стало сурово-грустным. Давно не бывал он в этом доме, и теперь эти горницы, этот цветник и эти аллеи напомнили ему несколько знаменательных дней из его прошлой жизни, несколько давно прожитых, но памятных мгновений.

Да, «это» было здесь, давно тому назад. Иногда кажется, что этому уже чуть не пятьдесят или сто лет, а то вдруг кажется, что это было на прошлой неделе. Горько было тогда, а как бы рад он был вернуть это горькое и опять его пережить с тою же болью в сердце.

Князь стал пристально, не сморгнув, смотреть на среднюю аллею, где виднелись два ряда ярко-зеленых, свежевыкрашенных садовых скамеек. Двумя вереницами тянулись они по аллее, сливаясь вдали.

Князь глянул на вторую скамейку. Она была такая же, как и все, но он не обращал внимания на все другие, а упорно глядел на одну эту вторую скамейку. И наконец он тихо пробурчал себе под нос:

— Доска, глупое дерево! Тоже гниет, но дольше! Люди скорее. Вот ты, глупая доска, все еще тут, на своем месте, а ее давно нету. И меня не будет на свете, а ты, доска, все будешь на своем месте.

И князь вдруг странно улыбнулся язвительною улыбкой и проговорил громче:

— Ну, да все ж таки когда-нибудь и до тебя дело дойдет — один прах останется.

Он поднял вдруг руку и как бы погрозился пальцем этой скамейке.

— Захоти я — в одно мгновение ока и праху не будет! — шепнул он и отошел от окна.

В кабинет явились люди, главный камердинер бережно внес своего спутника, попугая в клетке, затем шел гайдук и нес шкатулку с деньгами, а вслед шли два скорохода с тремя ящиками, где были трубки, табак и винные ягоды. Если бы прибавить теперь в эту горницу известное количество хлеба и воды, то весь мир Божий мог бы провалиться и погибнуть, а князь Аникита Телепнев имел бы около себя все необходимое для жизни и все им любимое. Правда, там бы провалились женатый сын, девица-дочь, богатые вотчины. Зато здесь бы остались — попка с именем Сократ, который для князя в тысячу раз умнее всякого человека, остались бы винные ягоды и табак, приятнее и слаще которых нет ничего на свете. Пожалуй, тут был один лишний предмет, который бы князь с удовольствием выбросил в окошко,— деньги. От денег он во всю свою жизнь, по его выражению, «никакого черта не получил». Единственное, что было в прошлой жизни князя светлого и дорогого, было как на смех недостижимо при помощи денег. Быть может, однако, потому это «нечто» и стало ему более дорогим, даже священным.

VI

В ту минуту, когда князь уселся на кресло и закурил трубку, к нему вошел, по обычаю, за первыми приказами Финоген Павлыч. Повод появления управителя был настолько ясен, что старик молча стал у порога в покорном ожидании.

Молчание длилось несколько мгновений.

Князь опустил глаза в землю, выпустил несколько клубов дыму и наконец вымолвил однозвучно:

— Гонца к князю Егору.

— Слушаю-с,— отозвался управитель.

— Митьке-форейтору ситцу на трое штанов и три рубахи. А спросить за что — мое дело.

— Слушаюсь,— снова отозвался Финоген Павлыч, но не удивился, так как в числе всадников уже шел говор о том, что Митька, по приезде, будет награжден. Его лихой, застоявшийся конь бил задом и передом, с пеной на боках, в продолжение почти двух верст, но Митька сидел все время как прикрученный к седлу и отвечал коню правильными ударами здоровой нагайки.

Наступила, после второго приказания, пауза. Финоген Павлыч не двигался. Он, как истый холоп, всю жизнь посвятивший служению, если не видел, то чувствовал, что барин еще что-нибудь прикажет, и не простое.

Между тем князь Аникита смотрел в окно, у которого сидел и пред которым уходила вдаль средняя аллея, гладкая, широкая, темная, с золотыми пятнами от солнечных лучей, скользнувших на нее сквозь густую листву верхушек лип. И вдруг барин-князь ухмыльнулся так добродушно, что Финоген Павлыч, хотя видавший его редко, но знавший все-таки близко, удивился и обомлел.

«Уж не мне ли что подарит сейчас»,— невольно шевельнулось в старике лакее.

— Подойди сюда,— выговорил князь,— ближе.

«Ну, так и есть, подарит,— подумал Финоген Павлыч,— десять лет все исправно содержу тут и ни единого выговора не получал».

— Гляди вон в аллею. Видишь — скамейки.

Финоген Павлыч затревожился.

— Дурак, есть скамейки в аллее?

— Есть-с.

— Видишь их все?

— Вижу-с,— удивляясь, выговорил управитель.

— Видишь направо скамейки?

— Точно так-с.

— Первую видишь?

— Вижу-с.

— Вторую видишь?

— Вижу-с,— уже начал робеть Финоген Павлыч.

— Ну вот, возьми двух человек с топорами и выруби мне сейчас же эту скамейку. Смотри не промахнись. Вторую, направо! Не то я — хоть ты и стар — тебя на почине по приезде высеку. Сруби скамью, принеси вот сюда под окошко и людей с топорами зови сюда же. Понял?

— Точно так-с.

— Ну, сгинь.

Последнее слово было любимым у князя. Он никогда не говорил: уходи, ступай или пошел.

Чрез минуту верховой был послан гонцом к князю Егору Аникитовичу объявить о приезде князя-родителя. Приезжая ключница уже отправилась в кладовую дома, где, несмотря на отсутствие владельца, было многое множество всякого добра. Здесь ключница отмеривала

ситец, чтобы выдать указанное ездовому Митьке. Финоген Павлыч, с трудом разыскав в числе попрятавшихся рабочих двух плотников, уже шел в сад. Князь, завидя в окна фигуры людей, бросил трубку, встал, оперся на подоконник и глядел.

Топоры застучали, вырубая скамейку из земли. Князь улыбался и наконец проворчал:

— Что, голубушка, пережила? Вот эдак бы всех вас...

Последние слова относились, однако, не к скамейкам сада.

Вырубив садовую скамейку, плотники расшибли ее на три части, два столба и доску.

— Неси сюда,— крикнул князь в окно.

Финоген Павлыч и рабочие рысью двинулись к самому окошку.

— Клади тут, руби все мелко-намелко, чтоб одна щепа была.

И снова застучали топоры и долго стучали.

Князь отошел от окна, снова закурил трубку и прислушивался. Наконец стук прекратился. Он снова подошел к окну. Пред рабочими, утиравшими пот с лица, была только большая груда щепы, а над нею стоял, понурившись и разиня рот, Финоген Павлыч и мысленно рассуждал:

«Уж, стало быть, чем-нибудь да провинились. Наш барин все ж таки зря ничего не делает. Провинились. Только удивительно: когда же это было? Ведь он сколько лет не бывал здесь».

Но голос князя разбудил управителя.

— Финоген, лови!

И князь выбросил управителю коробочку спичек.

— Поджигай.

Управитель поспешно исполнил приказание барина. Сухое дерево, вдобавок выкрашенное свежею масляною краской, тотчас запылало. Куча щепы стала гореть с каким-то особенным проворством и даже остервенением.

Князь снова отошел от окна, снова прошелся несколько раз по горнице, изредка приближаясь поглядеть на огонь.

Чрез полчаса оставались одни угли от костра, а затем вскоре уже был один пепел и большое черное пятно среди желтой дорожки.

— Ребята,— приказал князь,— бери лопаты, перемешай мне все с песком и разбросай по всему цветнику,

да так, смотри, чтобы нигде черного следа не было. Если я увижу где на дорожке уголек — смотри что будет! Чтобы все сгинуло! А пятно черное, вестимо, сейчас засыпать свежим песочком!

Князь, довольный и улыбающийся, перешел в свою спальню, затем пошел обходом по всему старинному дому, принадлежавшему еще его деду. Пройдя несколько больших горниц, он вошел в одну из них, называемую диванной. Здесь, по стенам, в два ряда висели семейные портреты.

Оглянув ряды потускневших лиц — молодых и старых, князей и княгинь Телепневых, хозяин-чудодей вдруг легко рассмеялся. Один из портретов висел задом наперед, лицом к стене и подрамком наружу.

— Ага, дедушка! — выговорил князь.— Все еще упершись носом в стену торчишь. Ну, прости. Я ведь тогда не знал, что столько лет сюда не загляну. Думал тебя на полгодика только наказать. Что делать? Видно, такова твоя судьба.

Князь крикнул людей, приказал снять портрет и повесить как следует.

Когда портрет был перевернут и висел на стене так же, как и все прочие, на лице князя выразилось удивление.

— Скажи на милость! — произнес он вслух,— что вышло-то!

Картина оказалась много свежее и светлее, чем все остальные. Другие предки князя затушевались и выглядывали как бы из какого-то тумана, а дедушка, провисевший несколько лет лицом к стене, смотрел из ясного фона, радостно улыбаясь. Глаза как живые глядели на князя, а губы смеялись, как будто дедушка говорил: «Что, брат Аникита, кто кого надул!»

— Ну что ж! — выговорил князь вслух,— пущай так. Стало быть — судьба!

И чудодей тотчас же приказал послать к себе Финогена.

Управитель явился.

— Бывает во дню солнце на этой стене? — спросил князь.

Финоген Павлыч, как часто случалось с ним, не понял вопроса.

— А ведь ты совсем глупеть стал. Тебя придется послать в обученье в степную вотчину на скотный двор.

Затем князь переспросил Финогена Павловича тол-

ковее, вразумительнее и узнал, что в весеннее время солнце сильно греет стену, где висят портреты.

— Чуть не во весь день солнышко тут на стенке стоит, ваше сиятельство,— объяснил управитель дома.

— Ну вот, твое солнышко, дураковина, мне всех дедушек и бабушек и сожрало!..— сумрачно ответил князь.— Гляди, нешто у них прежде такие лица были... Все теперь смотрят будто спросонок... Вон, дедушка Петр Алексеевич, один глядит отважно, потому что десять лет в стену смотрел, а не на твое солнышко... Ну, сгинь, чертова перечница!

Финоген Павлыч выкатился шариком, смущенный и оробевший. Он хорошо понял угрозу насчет скотного двора в степной деревне... Но одно слово князя было для него загадкой. Он никак не мог уразуметь угрожающий смысл выражения: «твое солнышко».

Князь Аникита Ильич, оставшись один, снова стал смотреть на светлый и лучше других сохранившийся портрет деда Петра Алексеевича.

— За что, бишь, я тебя тогда носом в стену приладил? — стал вспоминать он.

Не тотчас, но вспомнил князь. Однажды, когда «философ» гостил у себя в бутырском доме, ему было особенно грустно. По целым дням бродил он без цели по дому и придирался к людям со словами: «Чему радуешься?»

Зайдя в диванную и увидя дедушку, улыбавшегося ему со стены, князь и к нему обратился с этим же сердитым замечанием. Живые люди после слов барина тотчас старались начать смотреть печально... А дедушка не унялся и продолжал улыбаться на князя, даже как будто начал пуще рот разевать.

— Ладно! — выговорил князь.— Я тебя устрою. Тебе сладко жилось на свете... А меня заело. Сытый голодного не разумеет. Тебе и после смерти на живописи весело да смешно. Ну и смейся в стену, а не на меня.

И Аникита Ильич приказал тотчас же повесить портрет задом наперед, а затем, уехав, забыл снять опалу со смешливого деда.

VII

Князю Аниките Телепневу было за шестьдесят лет с небольшим. Детство свое князь провел с отцом и матерью в родовом поместье около Тулы. Князь был

единственным сыном и с первых дней своего существования стал идолом, которому поклонялись все, начиная с родных и кончая последним крестьянином в селе. «Князек» был не только первым лицом, но был именно всеобщим кумиром.

Отец его, князь Илья, был человек ограниченный, но чрезвычайно гордый и напыщенный. Он считал свой род одним из самых древних и знатных, но, к его великому горю, ни один из его предков ничем не отличался. Сам он точно так же в люди не вышел. Попав в число приверженцев царевны Софии, он вдруг, к величайшему своему изумлению, увидал, что те лица, которым он поклонялся, от которых всего ожидал, пошли в ссылку или кончали жизнь на плахе. Он немедленно покинул Москву с семьей и остался до конца дней в Тульской вотчине. Здесь после пятнадцатилетнего брака у него родился сын, которого по дню рождения назвали Аникитой.

В однообра́зной, скучной, ничем не наполненной жизни князя Ильи рождение наследника было, конечно, равнозначаще громадному событию. Он стал доволен своею судьбой и счастлив.

Жена его еще счастливее. Жизнь вся была теперь наполнена одним ухаживанием за единственным сыном.

Конечно, князь Аникита, будучи еще в люльке, уже был записан в один из петербургских полков.

Когда из малютки сделался отрок и наконец юноша, то этот юный всеобщий любимец, избалованный до последней степени, вышел юноша-старичок, совершенно недовольный окружающим, брюзга, раздражительный и даже сварливый, несмотря на свои восемнадцать лет.

На основании уверений и убеждений отца, матери, мамки и дворни князек уже года с два как ждал чего-то чрезвычайного, сверхъестественного, что должно произойти с ним. Он ждал, что не нынче завтра, но уж непременно послезавтра, явится к нему и ковер-самолет, и шапка-невидимка, и царевна-красота, и все, что следует за ними. Он ждал, что явится курьер из Петербурга от императрицы Анны Ивановны и позовет его командовать всеми войсками или заправлять всеми государскими делами в качестве кабинет-министра. Юный князь не мог не верить в это, так как уже давно все окружающие толковали об этом, так сказать, предупреждали его о готовящейся судьбе.

Словом, князь Аникита родился и жил до юношеского возраста в совершенно заколдованном кругу. Много

было молодых и старых людей, которые завидовали ему, но сам он тяготился своим положением и настолько был недоволен своею судьбой, что это отражалось даже на его здоровье. У него была болезненная раздражительность.

И «князек» после этой жизни в вотчине, где поутру все от мала до велика являлись почтительно поздороваться с ним и приложиться к его ручке, должен был отправиться в Петербург и поступить рядовым в Измайловский полк. Молодой человек поехал один, вперед, с дядькой, а вслед за ним должны были прибыть отец с матерью, чтобы поселиться в столице ради сына. Но для старика подобное переселение было, однако, довольно мудрено. Надо было прежде всего отыскать в Петербурге большой дом, купить его, отделать и устроить. Разве мог князь Телепнев, как какой-нибудь простой дворянин, нанять квартиру для себя, семьи и дворни.

Молодой человек прибыл в столицу, поступил в полк и устроился временно на большой квартире с дядькой и с дюжиной дворовых лакеев.

Чрез шесть месяцев пришло известие, что его отец внезапно скончался, а мать настолько поражена горем, что почти лишилась языка. Во всяком случае, вдова уже не могла и думать ехать на жительство в Петербург «на свою седьмую часть».

Молодой князь, наследник большого состояния, принял известие по-своему. Уже теперь, в девятнадцать лет, сказывалось в нем черствое, каменное сердце. Когда вслед за горестным известием явился к нему в Петербург управитель всех имений для получения личных приказаний, то князь заявил, что он будет сам управлять из Петербурга. И первые же его распоряжения изменили все, перевернули вверх дном все порядки отцовские. Матери своей, которая, судя по письмам, была серьезно больна, молодой князь отписал, чтоб она избрала себе другую вотчину для жительства. Причиной этого распоряжения молодой князь выставил то обстоятельство, что в доме, где нет хозяина, бывает всякий беспорядок, всякое упущение и всякое баловство. Опасаясь, чтобы тульская усадьба, в которой много родовых драгоценных вещей, по «бабьей» неосторожности не сгорела, он, во избежание этого предполагаемого пожара, всепочтительнейше предложил матери тотчас переехать в другую вотчину в Калужском наместничестве, где был заброшенный пустой дом.

Вместе с тем князь Аникита, начав получать уже

большие суммы денег, скоро был замечен в столице, и в гвардии, и при дворе.

Будучи от природы хитер и дальновиден, князь в несколько месяцев понял ту науку, от которой многое в жизни зависит. Наука эта заключается в точном знании и определении «где раки зимуют». А в эти дни раки зимовали, более чем когда-либо, во дворце всемогущего герцога Бирона и вообще на стороне немцев.

И сын гордого Рюриковича прежде всего стал прислужником всякого рода чужеземцев и проходимцев, которыми был полон Петербург.

Вскоре он был уже большим приятелем, своим человеком, в одной немецкой семье, где часто бывал сам герцог. Через несколько месяцев временщик полюбил молодого богача-гвардейца и стал ему протежировать.

Князь тонко и умно, со всех сторон обдумав свое положение, решился предложить руку и сердце молоденькой немочке, которую постоянно ласкал и дарил сам герцог, в шутку именуя дочкой. Рядовому было жениться неловко. Но герцог уладил все... Однажды князь Аникита был неожиданно произведен в сержанты, минуя капральский чин и обходя многих товарищей. Никто не удивился. Огромное состояние, княжеский титул, красивая, сравнительно, наружность и покровительство герцога могли доставить Телепневу прямо прапорщичий чин.

Семья, в которой бывал князь и в которой наконец был объявлен женихом, были очень недавно прибывшие из Курляндии немцы. Кто они были — трудно было сказать. Вероятно, простое бюргерское семейство, явившееся в Россию, чтобы под крылышком герцога сделаться знатным российским родом и сразу получить все — и почести, и знатность, и большие вотчины.

Произведенный вновь сержант тотчас же повенчался и, купив дом на Невской перспективе, зажил на славу. В доме этом часто бывали пиры, на которых присутствовал сам всемогущий герцог. Но на этих пирах русского слова никогда не слыхал никто. Один лишь немецкий Петербург, и важный и серенький, бывал и угощался у князя Телепнева.

Все это было в конце лета.

Через два или три месяца после свадьбы всемогущий покровитель сержанта Телепнева, исколоченный прикладами преображенцев, уже увозился в карете из своего дворца под арест. А важная и гордая герцогиня, еще так

недавно изображавшая чуть не императрицу на бале князя Телепнева, в одной ночной сорочке попала в сугроб, куда толкнул ее в шею один солдат.

Словом, за это краткое время успела умереть Анна Ивановна, успела сделаться правительницей Анна Леопольдовна и успел сам герцог из регента российского попасть в ссыльные арестанты. Князь Аникита понял, какого маху дал, но он не знал, что это только цветочки, а ягодки будут впереди.

Едва только Бирон слетел с своей высоты, как князь Телепнев уже был в близких отношениях с молодым Минихом, сыном фельдмаршала и адъютантом малютки императора Ивана.

И вскоре новый удар — Миних тоже арестован и тоже сослан.

Князь Аникита, как и многие другие, окончательно потерялся. Кругом уже начинался какой-то глухой ропот, кто-то грозился. Немцы всех сословий и состояний как бы сомкнули ряды и притихли, чего-то опасаясь. Князь с женой и многочисленною родней тоже присмирел, тоже опасался чего-то. Но ему не приходило на ум на этот раз, где раки собираются зимовать, где нарождается будущая сила и власть.

Родня князя с презрением смеялась, всячески издевалась, когда упоминался Смольный двор или имя жившей в нем цесаревны Елизаветы.

И вдруг, однажды, на заре в дом князя ворвалась ватага пьяных солдат. Все, что было можно изломать, было изломано, что можно было украсть, было украдено. Многие в доме были избиты, а князь с женой уцелел только потому, что заперся в маленьком чулане, куда вела дверь из-под темной лестницы.

— Что же это! Господи, помилуй! — ужасался он.— Гвардейские солдаты гвардейского же сержанта грабят!

Когда князь Аникита вышел из своего чулана, то узнал такую диковину, от которой ум за разум зайти мог.

Долго не верил он тому, что ему говорили. Да и многое множество лиц в Петербурге и даже повыше поставленных, чем князь Телепнев, тоже не верили ни ушам, ни глазам своим. Правительница с супругом и молодым императором были арестованы. На престоле Российском была императрица «дщерь Петрова» — та самая, молодая, красивая и веселая хохотунья, которая проживала на Смольном дворе и над которою так издевалась немецкая родня князя.

Времена эти, которые пережил теперь Телепнев в Петербурге, были действительно диковинными. Какие-то исторические чудеса в решете!

Не прошло трех месяцев, как измайловский сержант, с немкой-женой, с кучей немцев-родственников, принужден был покинуть Петербург не по собственной воле. Его вежливо попросили, в качестве бывшего любимца герцога Бирона, продать дом и отправляться в какую-либо вотчину. В противном случае ему грозили отписать в казну дом, а затем и его более близкие к столице имения.

И князь Аникита Ильич вдруг снова очутился в Тульском наместничестве, с молодою женой, которую собственно не любил. Характер князя сразу стал много хуже и мудренее.

Многочисленная немецкая родня понемногу стала покидать вотчину. Хотя и тепло, и сытно жилось ей у родственника-князя, но сам он становился чересчур тяжеловат. Через год князь был уже вдвоем с женой и серьезно подумывал о том, нельзя ли как-нибудь избавиться от жены-немки, с которою он с трудом объяснялся, так как говорил по-немецки плохо, а жена, со времени замужества, выучила только пять русских слов.

На его счастье, княгиня родила дочь, а через несколько дней и мать, и ребенок были на том свете.

Прожив еще года два в одиночестве, князь начал скучать, вымолил себе дозволение перебраться в Москву и заново отделал дом на Бутырской дороге. Здесь князь Аникита снова начал стараться выйти в люди. Оказывалось, что в князе только и есть, только и живо чувство честолюбия. Он не мог примириться с тем, что так глупо начал свою жизненную карьеру. Теперь, со смертью немки-жены, все, им напутанное, как бы распуталось. Можно было начать жить сначала.

VIII

В Москве молодой вдовец и богач был принят в распростертые объятия. Для москвичей он был прежде всего хлебосолом-хозяином, у которого можно было всегда попировать, а кроме того, он был и женихом...

Но судьба, очевидно, хотела преследовать князя и посмеяться над ним всячески на все лады. Однажды, на каком-то гулянье, в толпе горожан князь повстречал

девушку в простом ситцевом платье, с красным шелковым платком на голове. Девушка поразила князя. Разумеется, для него нетрудно было немедленно справиться, чтоб узнать, кто такая эта незнакомка.

Девушка замечательной красоты, не русского типа и происхождения, была разыскана через два дня. Она оказалась цыганкой из бедной и даже несколько подозрительной семьи. В маленькой лачуге, около Козьего Болота, проживала семья цыгана, который занимался разными темными делами. Жена его вела хозяйство, а его старуха мать, страшная на вид, была гадалка и, как говорили, колдунья. Три сына постоянно бывали в разъездах, тоже по каким-то особым делам. Дочь, известная в околотке своею красотой, оставалась дома и сидела у окошечка от зари до зари, ничего не делая.

Узнав все, князь послал за отцом. Объяснение было короткое: князь желал взять цыганку в свои наложницы, обещая, конечно, золотые горы и все, что угодно: прежде всего — дом и содержание всей семье.

Цыган заявил его сиятельству, что душой бы рад, да мудрено по отношению к своим, к цыганам. Осудят. Но это бы еще ничего, а главное, у дочери, по имени Маюрка, есть жених.

Слушая цыгана, князь только удивлялся. Он думал, что через час цыганка будет привезена к нему в дом, а отец болтал всякое несообразное.

Цыган обещался через два дня побывать снова с ответом, и аккуратно явился. Кратко доложил он князю, что дочь ничего и слышать не хочет, и видеть не желает князя, а желает выйти замуж за своего жениха.

С этого дня у князя явилась новая забота — сломить волю красавицы, которая его пленила.

Возня с семьей цыган продолжалась долго. Денег к отцу перешло много. Семья уже давно жила в просторном красивом доме. Маюрка приезжала к князю в гости, оставалась с ним наедине, пела свои песни, гуляла с ним по саду бутырского дома, но при закате солнца всегда отправлялась домой.

Однажды князь не совладал с своею страстью и задержал девушку насильно, решаясь идти на все... Маюрка была им задержана почти до полуночи. Князь объяснил ей, что надо кончить. И к величайшему своему изумлению, он должен был уступить. Маюрка вынула складной нож из кармана и так просто, так естественно обещала ему зарезаться у него в кабинете при малейшем

насилии, что князь, как и всякий бы на его месте, поверил и отступил.

После этой бурной сцены Маюрка была у князя снова дня чрез три. Точно так же пошли они, как всегда, гулять по саду и затем уселись вместе на скамейке. На второй скамейке в средней аллее! И здесь в первый раз Маюрка долго и страстно целовала князя и много плакала. На его расспросы, в чем дело, отчего она так ласкова, но вместе с тем так грустна,— Маюрка ничего не отвечала.

— Объясни хоть что-нибудь. Скажи хоть словечко,— умолял князь, тоже чуть не со слезами на глазах.

— Ничего я не скажу! — отзывалась красавица, мотая головой.

Затем она простилась с князем на этой же скамейке. Страстно обняв, она нежно и много целовала его. Тревожное предчувствие невольно закралось в душу князя.

— Ты будто прощаешься совсем! — вымолвил он.

— Что вы! Что вы! Как можно! — возразила она.— Завтра же в эту же пору опять буду.

Но этого «завтра» уже не было!

Прождав Маюрку напрасно целый день, князь, мучимый предчувствием беды, даже не мог лечь спать. Он всю ночь пробродил по дому... Загадочное поведение цыганки, которая прежде никогда не бывала с ним так ласкова, не выходило у него из головы.

Под утро он почти решился на такой поступок, которым, конечно, смутил бы всю Москву.

Князь Телепнев после внутренней борьбы с самим собой решил жениться на Маюрке и, уехав с ней в вотчину, никогда более не заглядывать в столицу.

— Что мне в этих чертях. Не в них счастье жизни! — говорил он про знакомых москвичей.

Рано утром князь выехал из дому и поехал к Тверским воротам, где при выезде из города поселился цыган с семьей в новом просторном доме, купленном на деньги князя... Дом оказался пуст...

Князь потерялся, чуть не упал в обморок. Он сидел в карете, не имея даже силы что-либо приказать своим лакеям... Люди догадались сами и бросились расспрашивать соседей.

Вести, принесенные ими барину, были ударом, который отозвался на всю жизнь князя.

Оказалось, что семья цыган накануне покинула Москву, уехав куда-то далеко. Кто говорил, в Пол-

таву, а кто уверял, что за границу, в королевство Польское.

Дом был продан мещанину, содержателю соседнего постоялого двора.

Князь вернулся домой близкий к умопомешательству. Он заперся и бормотал наедине:

— Вот она, любовь! Да! Какая любовь! Да вот... Она... Да... Первая и последняя... А я не знал. Еще вчера не знал. Думал, прихоть... Искать? Где? В России, в Малороссии или в Польше! Половину всего отдам на поиски, но чую, что не найду. Так должно было все приключиться. Нет мне счастия и удачи. Проклят я при рождении...

Чрез двое суток явилась в бутырский дом какая-то старая цыганка и все объяснила...

Она явилась по поручению исчезнувшей красавицы, чтобы поведать князю, что Маюрка его любила и век будет любить, что жениха у нее не было и нет. Все это налгал ее отец, который ни за что не хотел, чтобы дочь стала наложницей князя, и даже грозился убить ее в случае неповиновения. Куда уехала вся семья — цыганка не знала. Может, за сто верст, а может, и за тысячу... Она знала только одно, что сама видела: как Маюрка плакала, рекой разливаясь, и взяла страшную клятву со старухи, что она пойдет и скажет князю всю правду.

— Уж лучше бы мне не видать всего этого! — воскликнул князь.— Ах глупые люди! Если б они знали, с какими мыслями собрался я к ним...

Князь заперся в своем бутырском доме и полгода прожил в нем, не пуская к себе никого. Наконец буря улеглась в его сердце, и он решил, что надо вернуться к прежним мечтам, к честолюбивым замыслам.

— Сделаться сановником! Выслужиться!

И князь Телепнев стал хлопотать, чтобы получить гражданский чин и должность товарища наместника. Снова начал он водить хлеб-соль со всею чиновною Москвой и ухаживать за властными людьми. Так прошел в хлопотах целый год и не принес ничего. Князь Телепнев узнал, что, пока здравствует императрица Елизавета Петровна, ему нечего и пробовать.

— Вы в Питере на архинемецком счету! — заявили князю.

Несчастье в любви и полная неудача в честолюбивых мечтаниях еще более ожесточили сердце князя. Он был,

по его убеждению, несправедливо обойден судьбой и глубоко оскорблен людьми. Виноват без вины! У него было все, чему люди завидуют, за исключением того, чего сам он хотел. Он отдал бы все состояние и свое древнее имя или за Маюрку-жену, или за высокое положение по службе. Ни то, ни другое не далось...

И князь Аникита Телепнев возненавидел общество, в котором не мог занять то место, которое бы желал.

— Не хочу я жить в Москве простым князем и дворянином. Этого добра здесь и без меня много! — решил он.

Уехав из столицы на время в ближайшую свою вотчину по Калужской дороге, князь так и застрял в ней, лишь изредка бывая в Москве на короткое время. Первые пятнадцать лет князь прожил один... Но затем, однажды, приехал в Москву с намерением взять в жены «встречную девицу».

Князь нанял квартиру в четыре комнаты, на Варварке, и поселился в ней с двумя людьми, прозываясь дворянином Никитиным... Он стал ходить пешком к службам по разным храмам, а равно и по гуляньям, высматривая себе «будущую княгиню». При этом князь решил, что возьмет в жены ту девицу из дворянок, которая, при встрече с ним в храме или на гулянье, первая заговорит с ним о чем бы то ни было...

Более месяца прошло, а ничего подобного не случилось. Да и мудрено было, чтобы подобная затея осуществилась. С какой стати заговорит вдруг с незнакомым девушка-дворянка.

Наконец однажды желанное случилось. Князь выходил из прихода после всенощной, и в толпе, на паперти услыхал голос за своею спиной:

— Хорошо это нешто — с добрыми людьми не здороваться!

Разумеется, он не обратил внимания на слова шедшей за ним, хотя девичий голосок понравился ему своим ласковым звуком.

Тогда рука легла ему на плечо, и тот же голосок проговорил:

— Вишь как в себя ушли — и не слышите.

Князь обернулся. За ним была хорошенькая, черноволосая девушка, со вздернутым носиком и веселыми черными глазками.

— Ах, извините...— вымолвила девушка, страшно оторопев и прижимаясь к шедшей около нее старухе, нечто вроде няньки.

— Вы ошиблись...— выговорил князь, робея от случая и глядя во все глаза на незнакомку.

«Неужели это — моя жена!» — стукнуло у него на сердце.

— Виновата! — проговорила девушка и отвернулась.

Князь пропустил ее вперед, но пошел сзади и проводил до дому...

Через день он знал, кого судьба посылает ему в жены.

Девушка оказалась круглою сиротой, дворянкой, дочерью капитана, убитого на войне, и жившею из милости у дальней родственницы.

Князь представился и стал бывать в доме бедной дворянки все-таки под именем Никитина и стал ухаживать за Верочкой Безсоновой.

Чрез месяц девушка-сирота стала княгиней Телепневой и уже была с мужем в вотчине на Калужке.

Новая княгиня оказалась самым тихим существом, какое когда-либо рождалось на свете. Князь не мог быть несчастлив с такою женой, несмотря даже на свой нрав.

За первые семь лет супружества княгиня подарила мужу трех детей. Старший ребенок, сын, умер; вскоре второй, Егор, стал баловнем отца, пока не родилась дочь Юлия.

Через два года после рождения на свет девочки княгиня внезапно скончалась, и князь Аникита снова овдовел.

Дети жили с отцом-нелюдимом в вотчине на Калужке безвыездно и увидели Москву в первый раз, когда князю-сыну минуло уже 18 лет.

Наконец, два года назад, князь явился в столицу снова, чтобы только женить сына на страшной богачке купчихе, и снова уехал к себе.

Теперь, ради приезда государыни в Москву, он снова решился показаться, да кстати попробовать выдать дочь замуж.

— За какого нового генерала, а то и графа... Их ныне ведь напекли, что блинов об Масленицу!..— рассуждал философ, обиженный судьбой.

IX

Не прошло часу с приезда князя Аникиты Ильича, как уже к бутырскому дому двигались из города три экипажа четвериками цугом.

В первой карете был молодой князь Егор с женой, во второй — княжна с маленькою, сморщенною фигуркой, по имени Зоя Карловна, постоянно сопровождавшею ее повсюду в качестве гувернантки.

В третьем большом рыдване елизаветинских времен ехала двоюродная сестра, вдова Егузинская.

Разумеется, все родственники могли отлично поместиться в одной карете вместо трех, но не посмели сделать этого, отчасти боясь князя Аникиты Ильича, а отчасти и ради соблюдения парада.

Но главная причина была — опасение получить тотчас же выговор от князя, который считал, что ездить в чужом экипаже — то же самое, что носить чужое платье. Когда двоюродная сестра приехала к нему однажды в Калужскую вотчину вместе с племянником, то старик встретил ее словами:

— Что, сестрица, порасстроилась кармашком? В приживалки попала и в чужих каретах ездить начала.

Что касается до княжны, то философ, отпуская дочь в Москву, строго наказывал ей: при выездах всегда быть в собственном экипаже и в сопровождении Зои Карловны.

Въехав во двор и выйдя на крыльцо, родственники точно так же постарались соблюсти этикет. Прежде всех двинулись во внутренние горницы молодой князь с женой. За ними, обождав минуту, пошла княжна, оставив свою спутницу в столовой. Егузинская задержалась в прихожей, делая вид, что оправляется. Остановившись пред зеркалом, она стала перекалывать на себе дорогую турецкую шаль, полученную еще в приданое и надеваемую только в особо важных случаях.

Люди, бывшие в прихожей, все по очереди подходили здороваться с господами к ручке.

Когда Егузинская переколола шаль, в переднюю вышел камердинер Фаддей — спутник попугая — и точно так же подошел к ручке.

— Ну, что? Как у вас живется? — спросила Егузинская.

— Ничего, ваше превосходительство. Все то же. Схиму, почитай, приняли. Иноками живем.

— Веселитесь от зари до зари? — вымолвила Егузинская, улыбаясь.

— Да уж, матушка! Такое у нас веселье, какое разве на кладбищах бывает. Круглый-то год муха пролетит — слышно.

— Ну, а как князь здоровьем?

— Вот изволите увидеть. Кажется, ничего.

— Ну, а кровь горит?

— С личика как будто еще потемнее стали. Пред самым выездом привозили на Калужку столичного дохтура. Очень он князя просил, да и я просил, кровь пустить. Но только зря разгневали мы его. «Давай,— сказали ему князь,— вместе! Ты себе пусти пол-лоханки, и я дамся. А эдак-то, братец ты мой, незаконно! Вы-то, говорят ему, коновалы, всех ковыряете да цедите, а сами-то небось свою кровь бережете!» Так ни на чем и покончили.

— Да на голову не жалуется? — спросила Егузинская.

— Жаловаться не жалуется, а ин бывает... Я сам вижу: встанет с утра, малость потемнее; а коли что уронит на пол, кличет. Сам нагнуться боится.

— Нехорошо это, Фаддей.

— Чего же тут хорошего. Вы бы тоже, матушка...

Фаддей хотел что-то добавить, но в эту минуту выглянул из дверей и рысью подбежал к генеральше Финоген Павлыч. Егузинская сейчас же заметила по лицу бутырского управителя, что с ним приключилось что-то горестное. Она видела старика дней за пять пред этим, и он был совершенно доволен и счастлив, ожидая князя.

— Что с тобою, Финоген? — удивилась Егузинская.

— Матушка! Ваше превосходительство. Заступитесь! За всю мою службу, на старости лет, посулено мне на скотный двор идти! Буду скотине служить. Как князь уедет восвояси, так и меня отправят. А чем прогневил, и сам не знаю.

— Да что было-то? — спросила Егузинская.

Финоген Павлыч рассказал все, что уже успело приключиться в доме с приезда князя.

— Двух часов нету, что прибыл,— пробурчала вдова,— а уже начудил! За что же он скамейку-то изрубить да сжечь приказал?

— Кто ж его знает, матушка! А главная сила, что солнышко проглядывает в диванную! В этом я провинился. А что ж я поделаю! Ведь десять лет, матушка! Человек старится! Так как же патрету не портиться? Заступитесь!

— Трудно, Финоген, сам знаешь. Сказать — скажу, так и быть. Братец меня выбранит, да это не беда! Но

толку не будет. Отличися чем — простит. Ты знаешь его повадку. Отличись.

— Трудно, матушка! Как же я отличусь? Я бы вот хоть с крыши рад спрыгнуть во дворе. На все нужен тоже случай. А как тут теперь отличишься?

Егузинская вспомнила, что в разговорах задержалась не в меру в прихожей, и быстрыми шагами двинулась к кабинету князя.

Между тем сын с женой, а затем дочь, по очереди явившиеся в кабинет, подошли к отцу, поцеловались с ним, поцеловали руку и уселись на больших креслах. Князь сделал несколько кратких вопросов о здоровье, о том, когда именно ждут в город царицу, затем заметил, что если не рад видеть поганую Москву, то рад поглядеть на бутырский дом.

— Все-таки молодые годы здесь я прожил! Войдешь сюда, на сердце будто тише станет.

— Вам бы, батюшка, завсегда и жить бы здесь, чем на Калужке,— заметил сын.

— Пустое болтаешь! — сурово отозвался князь.— Ты все по-старому! Двигаешь языком, не соображая, о чем он у тебя на ветер выщелкивает.

Князь хотел обратиться с вопросом к дочери, но в эту минуту вошла Егузинская.

Князь, встречавший сына, невестку и дочь сидя в кресле, медленно, якобы с трудом, поднялся при виде сестры и сделал два шага вперед. Егузинская поспешила подойти. Они расцеловались трижды.

Князь снова сел. Егузинская собиралась опуститься на ближайшее небольшое кресло, но князь тотчас обернулся к сыну и выговорил:

— Егорушка! Она, я чай, тебе тетка. Можешь побеспокоиться!

Молодой князь вскочил с места, озираясь и не зная, что, собственно, приказывает отец.

— Подай вон большое-то кресло.

Егор и жена его, а за ними и княжна бросились к огромному креслу, стоявшему поодаль, и потащили его.

Пронзительно завизжали несмазанные колеса кресла, десять лет стоявшего спокойно на своем месте. Князь поморщился. Когда все уселись, он обратился шутливо ко вдове-сестре:

— Ну, Пелагея Сиротинишна! Ваше превосходительство! Что поделываешь в первопрестольной Москве?

Живется-то вам тут, поди, содомно и соромно. Замуж не собираешься вторично? Женихов не ловишь?

— Собралась бы,— отвечала Егузинская тем же тоном, видя, что князь хочет шутить,— собралась бы, братец, за какого, за молодого, так лет двадцати.

— Вот как! Так что ж?

— Да не берут молодые-то, а старого сама не хочу! — отшучивалась вдова.

— А ты лови... Соли иному франту на хвост посыпь. К колдунье поди, приворота попроси.

— Был у меня, братец, один жених недавно, да годами своими не подошел,— рассмеялась Егузинская.— Под девяносто ему. Поп венчать не захотел.

Князь тоже засмеялся, но таким сухим, дребезжащим голосом, который был настоящим подражанием визгу колесиков только что подвинутого кресла. Видно было, что и князь лет десять не смеялся; что и ему теперь понадобилась бы своего рода смазка.

— Ну, а ты что, Юла? — обратился князь к дочери,— рада-радехонька, что вынырнула с Калужки! Поди, тут, в Москве, ног под собою и головы на плечах не чаешь! Прыгала много?

— Нет, батюшка.

— Как нет?

— Всего не больше разиков двух в неделю бывали балы.

— А тебе бы всякий день по два?

— Что ж! Это бы хорошо,— отозвалась Юлочка и начала хохотать.

В ту же самую минуту раздался другой хохот, удивительно схожий. На этот раз смеялся попугай.

Все обернулись на него.

— Ах! Сократушка! — вскричала княжна,— с тобой-то поздороваться я и забыла!

Юлочка вскочила, побежала к клетке и просунула палец. Попугай тотчас же подставил свою голову, и княжна начала бережно гладить его.

— Не тревожь его, Юлочка: он с дороги — поди, тоже уморился. Он с Фаддеем в тарантасе приехал. Пыль да ветер и птице не в удовольствие. Хотел было с собою в карету поставить, да свиньи-люди осмеют. Сядь-ка вот расскажи мне. Жениха не высмотрела себе в Москве?

При этих словах князя сидевшая пред ним дочь и все остальные как-то встрепенулись, переглянулись, но молчали.

Князь странно кашлянул и затем промычал:

— Должно, я промаху не дал! Видать, что у вас что-то есть. Ну-ка сказывай, дочка, кого высмотрела?

Юлочка взволновалась, вспыхнула и обернулась к тетке, как бы прося помощи.

— Ну, ты сказывай тогда, коли ее стыд берет,— обернулся князь к двоюродной сестре.

Егузинская точно так же заволновалась, задвигала руками, два раза разевала рот, чтобы сказать что-то, но смолчала.

— Вона как! — произнес князь.— Дело непростое! Ну, а ты, сын, тоже поперхнешься?

Молодой князь улыбнулся и, храбро двинув рукой, собрался отвечать, но, взглянув на тетку, остался с разинутым ртом.

— Тоже застряло в глотке,— пробурчал князь Аникита Ильич, не обращаясь ни к кому.

X

Наступило неловкое молчание, которое длилось несколько минут.

— Стало быть, вы, чада и домочадцы,— заговорил наконец князь,— изволили тут в первопрестольной начудить, наболванить? Такое у вас тут накувыркалось, что и сказать нельзя? Ловко! Хорош и я гусь, что к вам дочь на побывку отпустил! Юлочка! ты уж не повенчалась ли?

— Как, батюшка?

— Да так! Уж не повенчалась ли с кем?

— Да с кем же-с?

— Не знаю. Тебе знать! С разносчиком, с учителем, с Иваном Непомнящим.

— Что вы, батюшка!

— Да я-то ничего! А вот вы-то все и очень чего! Ты сестру еще не повенчал ни с кем? — язвительно и насмешливо обратился князь к сыну.

— Помилуйте, батюшка,— отозвался князь Егор.

— Отчего же вы все задохлись, когда я стал спрашивать, не выискала ли Юлочка жениха?

— А потому,— вдруг храбро заговорила Егузинская,— потому что вы, братец, верно отгадали. Есть у Юлочки жених, сватается. Сватает его Бахреева. Достойнейшая женщина,— сами ее знаете.

— Как не знать! Бахреева! Достойнейшая! Родную мать на тот свет спровадила, чтобы наследовать. У соседа, мелкопоместного дворянина, полтысячи десятин лесу оттягала судом. Да еще одно хорошенькое дельце за нею есть: какое — я при дочери-девице и сказать не могу. Вы, сестрица, я чай, помните. Как же можно! Достойнейшая!

Наступило молчание.

— Так, стало,— заговорил снова князь,— вот эта самая достойнейшая дама и сватает? Кого ж бы это?

— Своего родственника, племянника,— уже не смело, а слегка раздражительно заговорила Егузинская.

«Была не была! Что ж с ним поделаешь! — думала она про себя.— Хватить сразу! — хуже не будет».

— Коли племянника, а не сына родного,— отозвался князь,— так оно лучше. С соседнего дерева яблоко. Кабы родной сын ее был, так уж прямо бы вперед можно знать, что мерзавец. Ну, а этот-то кто такой? Фельдмаршал?

— Офицер петербургский.

— Очень лестно,— отозвался князь, улыбаясь.— С позументами и при шпорах. На красной подкладке пустые карманы? Лестно! На голове золотой кивер, а во щах вместо крупы — шпареные тараканы! Как же по фамилии?

— Фамилия его...— начала Егузинская и приостановилась, чувствуя, как будто ее заставляют, с фитилем в руке, подойти к громадной пушке и выпалить из нее. Егузинская даже руку подняла, как если бы в самом деле у нее был фитиль.

— Ну-с, что же? — выговорил ожидающий князь.— Такая фамилия мудреная, что десятерым надо вместе враз сказать? Одному-то не под силу.

— Галкин,— выговорила Егузинская.

— Что ж! Прозвище хорошее. Это мои нынешние единственные собеседники. Я у себя, на Калужке, помимо галок, никого не вижу. Зато их — тьма-тьмущая! Поутру как прилетит туча да сядет по деревьям около дома — такая музыка, что хоть танцевать ступай. Одной больше, одной меньше будет на Калужке — это все равно... Ну-тка, Юлия Аникитовна Галкина, когда же мне на свадьбу собираться?

Но хохотунья княжна слишком хорошо знала отца и по голосу его поняла многое. Она вспыхнула, потупилась, но затем лицо ее тотчас же стало бледнеть.

— Славно устроила! — вымолвил князь.— Всего от

вас ждал. А все же удивили! Вы бы, сестрица, сами-то за галку вышли, чем племянника ее сватать.

Князь замолчал. Родственники сидели кругом него, потупившись. Никто не хотел начинать разговора. Мертвая тишина наступила в кабинете и, вероятно, продолжалась бы долго, если бы вдруг не появился новый дворецкий и управитель, заменивший уже Финогена Павлыча.

— Генерал-губернатор пожаловал,— доложил он.

Князь быстро поднялся. Все повскакали с мест. На лице старика промелькнуло довольство. Но тотчас же он умышленно насупился и двинулся ровною походкой из кабинета в парадные горницы. Все последовали за ним.

В прихожей уже шумела челядь, и когда князь приблизился к дверям ее, то к нему шел навстречу дряхлый, едва передвигавший ногами старик, московский генерал-губернатор Салтыков.

— Приветствую редкого московского гостя,— дряблым голосом, пришептывая, выговорил Салтыков.— Шутка ли! Сдается, сто годов не видались.

— Зато, ваше сиятельство, и вы пожаловали. Два часа тому въехал я в усадьбу, а правитель судеб московских — уж вот он — приветствует меня. И за эту честь земно кланяюсь я ему. А живи-ка тут князь Телепнев завсегда, так, поди, всемогущий правитель всего бы разика два за десять лет заехал.

— Все такой же! Все такой же,— прошамкал Салтыков.— Что на уме, то и на языке. Нелюдим и пила! Все пилишь! А? Все пилишь людей. И своих, и чужих...

Но князь, не отвечая, подал руку дряхлому старику и повел его в гостиную.

Князь Салтыков, посидев немного у князя, двинулся обратно в Москву, а вскоре после него собрались и дети с теткой. Князь хотел удержать дочь, но княжна заметила, что ей нужно самой собрать все вещи в дом, а к вечеру она явится уже совсем.

— Ну что ж,— отозвался князь,— один лишний раз — не беда. Повидайся последний разок с галкой и простись.

Девушка вздрогнула всем телом от меткого удара. Она действительно ехала обратно в Москву не ради того, чтобы собрать свои пожитки, а чтоб успеть съездить ко всенощной и там повидаться с возлюбленным.

Княжна потупилась и стояла недвижно.

— Поезжай! — снова выговорил князь.— Говорю те-

бе: один лишний раз — не беда. Повидай галку. Скажи ей, что она нам совсем не нужна. У нас, скажи, на Калужке — страсть их сколько! Хоть десять десятков в минуту наловить можно.

Старик вернулся в свой кабинет, опустился на кресло и глубоко задумался. Известие, привезенное сестрой и детьми, или, вернее, тайна, которую он выпытал у них, серьезно смутила князя.

«За что девочку зря реветь заставлять? — думалось ему.— Дурафья сестрица! Да и сын-то разиня. Девочка все-таки деревня, хоть и княжна. Первые красные фалды за сердце схватили. Они проморгали. А теперь реветь будет. И нашли же кого! Галку выискали, питерского скакуна. В каждом кармане блоха на аркане. Жених! Для Телепневой княжны?!»

Между тем князь Егор с женой, княжна и Егузинская снова расселись по своим экипажам и выехали со двора. Но, отъехав с полверсты от усадьбы, Егузинская остановила свою карету и следовавший за ней экипаж племянницы и пересадила девушку к себе.

Едва только княжна была с теткой вместе, как Егузинская проговорила:

— Ты не сердись. Я уже смекнула. Нынче ли, после ли, все одно! Родитель твой ни за что согласья на брак этот не даст. Или у него свое что есть на уме, или просто выждать хочет.

Княжна ничего не ответила и начала плакать.

— Да ты не плачь! Такое ли в жизни бывает. В жизни бывает такое, что люди топятся, режутся. А любовь что? Тьфу! Это то же, что хворость: нынче ломит, а завтра прошло. А там, гляди, выйдешь за другого какого и рада будешь, что не за Галкина! И то сказать, фамилия для брака — мудреная. Юлия Аникитовна Галкина. Мудрено.

— Нет, тетушка! Я в монастырь пойду.

— Ну, так! Ишь ведь вы! Точно по заученному! «В монастырь!» А повези тебя отец — не то что постригать, а хоть в послушницы, так ты топиться побежишь. А повези он тебя топить, ты бы в монастырь убежала!

До самой Москвы тетка с племянницей говорила все о том же — о неудачном сватовстве. Уже въезжая в Москву, княжна робко проговорила:

— Тетушка! Голубушка! Вы только одно мне сделайте — поедемте ко всенощной к Воскресению Славущему.

Егузинская подумала немного и отозвалась:

— Что ж! Поедем. Поглядите еще разик друг на дружку — беды не будет. Да, кстати, что его томить? Я ему в церкви, обиняком, скажу все, что из сватовства Бахреевой вышло. Только помни, Юлочка, не задумай ты самокруткой венчаться! Твой родитель тебя по миру пустит: с ним шутить нельзя. А что я тебе могу оставить по смерти — на это шибко не заживешь. Ты не вздумай, племянница, крутить.

— Что вы, тетушка. Где мне!.. И рада бы, да не сумею...

— То-то... Молодежь шустра, да глупа! Обвенчаться недолго, а жизнь прожить — не поле перейти. А еще говорится: покрутишь — карман натрутишь.

— Как, тоись, натрутишь?

— Карман или мошну надорвешь... Худой карман будет. Обвенчается коли кто самокруткой, то уж от родителей ни приданого, ни наследия не жди, а бедствуй без гроша денег. Я-то, вестимо, тебе свое оставлю во всяком случае. А родитель не простит и лишит и благословения, и иждивения. А небось ведь скажи по совести, толкал тебя Галкин на самокрутку...

— Нет, тетушка, как перед Богом, таких разговоров у нас не было. Он очень тихий, жалостливый. Где ему крутить. Я за эту тихость его и люблю.

И княжна, сморщив вдруг свое хорошенькое лицо, заплакала.

— Полно! Полно! — заговорила Егузинская.— Обожди разливаться. Еще, может, дело твое не стоит слез. Все на свете, волей Божьей, к лучшему потрафляется. И пакость-то всякая, и та якобы, сказывают, к лучшему.

XI

Прапорщик Измайловского полка Алексей Галкин был тем, что в народе зовут: бобыль. Он потерял отца и мать, урожденную Бахрееву, когда ему было только семь лет от роду. Если бы не старый друг отца, судья верхнего земского суда Рязанского наместничества, Повалишин, то молодой дворянин погиб бы с холоду и с голоду. Повалишин взял ребенка к себе на воспитание.

Не имея своих детей, старый холостяк судья обожал вообще детей, и маленький Алеша, круглый сирота, очутился вдруг как у Христа за пазухой. Жили они в Рязани.

Через три года явился к судье посланец от старой девицы Бахреевой, жившей в оренбургских степях в какой-то крепости. Он стал от ее имени требовать отдачи ей племянника на воспитание по праву ближайшего родства.

Повалишин не отдал ребенка внезапно отыскавшейся тетушке, объяснив, что якобы взял его к себе по завещанию покойного друга, его отца.

И мальчик остался у судьи.

Состояния после родных не осталось у ребенка никакого, за исключением кой-какой мебели, коровы и пары лошадей. Все это имущество было продано для уплаты долгов в лавочки и ради расходов по погребению. Двое крепостных холопов, купленных когда-то проездом в Москве, глядели как волки в лес. Через неделю после смерти безземельного и небогатого барина они бросили барчука и бежали.

У судьи Повалишина был свой маленький домик на главной улице, но именья никакого тоже не было.

Когда приемышу минуло шестнадцать лет, Повалишин кое-как снарядил его на скопленные годами деньги и отправил на службу в Питер, обещая присылать изредка, что можно будет, на прожиток.

Через три года, когда Галкин получил чин капрала, холостяк скончался, завещая приемышу свой домик. Капрал заглазно продал имущество и на вырученные деньги купил лошадь и обмундировался щеголем, а на остальное просуществовал еще три года. Он был в полку самым нуждающимся, дворянином-бедняком. Тем не менее все товарищи любили Алексея Галкина, а богатые из них часто дарили его.

В эту пору появилась из Оренбурга в Москву его тетка, девица Бахреева, и снова начала наводить справки о судье и племяннике. Она снова послала гонца в Рязань и, узнав, что добрый человек на том свете, а племянник уже давно капрал гвардии, обрадовалась вдвойне. Лишившийся покровителя племянник должен был с большою охотой, по ее мнению, согласиться на все. Старая девица тотчас написала длинное послание, предлагая, чтобы племянник бросил Петербург и, перейдя гражданским чином в Москву, поселился с нею вместе.

На любезное предложение тетки Галкин отвечал ласковыми письмами, но не согласился на потерю воинского звания. По его мнению, дворянин невоенный был

дворянином наполовину. Галкин обещал, однако, приехать погостить, когда получит чин сержанта.

Четыре года прожила Бахреева в Москве, поджидая племянника, и с каждым годом все нетерпеливее. Старой девице, тоже одинокой, без единой родни на белом свете, до страсти хотелось повидать сына сестры, с которою она жила душа в душу лет двадцать пять назад.

Наконец в Москву явился племянник, не только сержант, но прапорщик. Начальство отличило его за ревностную службу...

Алексей Галкин поразил тетку несказанно... Никак не ожидала она увидеть такого племянника. «Ни в сказке сказать, ни пером описать». Вот каков показался измайловец для старой девицы.

Богатырь с виду, высокий и плечистый, а лицом, как девица, белый и румяный. При этом добрый, ласковый, умный, веселый, мастер играть на цимбалах, мастер пасьянс раскладывать. Наконец, к довершению дарований, племянник был такой ловкий танцор, каким в Москве был прежде только один венгерский граф, но и тот уже давно сидел в яме за долги и шулерство.

Старая девица сразу без ума полюбила племянника. Она говорила, что никогда не думала даже, чтобы могли существовать на свете такие молодцы, как ее Алеша.

— Ну, просто Телемак! Да ведь две капли воды — Телемак.

Галкин прожил у тетки полгода, хотя приехал только на месяц. Москва ему полюбилась.

Разумеется, маленькие доходы девицы стали делиться пополам. Если бы Бахреева могла, то отдала бы последний грош племяннику. Впрочем, она почти это и сделала, когда пришлось подновить амуницию Телемака.

С первых же дней появления племянника девица Бахреева, разумеется, стала мечтать женить его на богатой невесте.

Галкин перезнакомился со всею Москвой и стал любимцем всех. Многие отцы семейств, дворяне с достатком, взирали на измайловца как на желанного жениха для дочерей, несмотря на его бедность. Изредка в доме Бахреевой появлялись пожилые женщины, от которых «за версту сватьем пахнет».

Но Галкин на все увещанья тетки жениться сначала только отшучивался, а затем повинился и признался...

Он был уже три месяца влюблен, позарез, в княжну Телепневу.

— Когда? Как? Где?..— закидала его вопросами перепуганная тетка, как если б он сознался в краже или в убийстве.

Дело было в том, что претендовать на руку дочери Философа было крупною дерзостью или бессмыслием.

— Разума ты решился! — воскликнула Бахреева.— Старый Аникита прынца для дочери искать будет! Королевича Бову! Да она и сама на тебя не взглянет. Ей тоже прынц нужен.

Но, к величайшему своему изумлению, Бахреева узнала от племянника, что княжна Телепнева его тоже любит... Он для нее краше всякого Бовы Королевича! Они объяснились во время гулянья на Воробьевых горах и поклялись друг другу умереть, если их разлучат. Так-таки — взять да и умереть.

Бахреева развела руками и стала всякий день разводить руками раз по десяти, приговаривая:

— Мое почтение. Просто мое почтение!

Однако кончилось тем, что тетка обратилась сама в сваху и побывала у князя Егора и у генеральши Егузинской. И дело как будто пошло на лад. Родне княжны тоже нравился бахреевский Телемак. Тетка-генеральша взялась переговорить с двоюродным братцем-философом, хотя собиралась это сделать не с маху, а с некоторою «опаской». И вся полудюжина заинтересованных лиц стала нетерпеливо ждать прибытия князя Аникиты Ильича. И дождалась! .

Впрочем, дождались именно того, чего и следовало ожидать. Философ «дал острастку» всем. Домочадцы покинули бутырский дом, почти радуясь, что еще дешево отделались.

И в этот же день неудачного сватовства, ввечеру, перед папертью Воскресенья Славущего остановилась карета, из которой вышла генеральша Егузинская с племянницей. Они вошли в церковь, полную народом, и тотчас увидели впереди толпы богатыря, головой выше всех. При виде вошедших дам, ставших невдалеке от него, он низко поклонился им.

Это был, конечно, Галкин. Только раз переглянулся он с предметом своей страсти, только раз глянул на генеральшу-тетку — и тотчас лицо его потемнело. Он понурился и тяжело вздохнул. Или предчувствие худого шевельнулось в нем, или прямо по этим лицам он понял,

что все надежды потеряны. Он уже знал, разумеется, что в этот день старик князь приехал, что дочь и генеральша уже побывали там.

«Неужели так-таки конец всему?» — подумал он.

И всю долго длившуюся всенощную офицер стоял истуканом, ни разу не перекрестившись, изредка взглядывая на княжну, стоявшую в нескольких шагах от него. Два раза, когда глаза их встретились, слезы показались на бледном лице княжны. Этого было совершенно достаточно для того, чтобы молодой человек окончательно убедился в роковом последствии его сватовства.

Когда всенощная кончилась и народ двинулся из церкви, Егузинская приблизилась к Галкину. Он быстро подошел к ручке.

— Алексей Григорьевич! — прямо заговорила генеральша.— Ваша почтенная тетушка сделала нам недавно честь, побывав у нас по известному обстоятельству. Сегодня я виделась с моим братцем-князем. Я не хочу больше оставлять вас в сомнении. И хотя я поступаю противно обычаям, но прямо сказываю вам, что коли вы собирались отъезжать в Питер, то и поезжайте с Богом. Желаем мы вам с племянницей доброго пути и всего хорошего. Дай Бог вам счастья и всякой удачи.

Молодой человек снова поцеловал протянутую руку, быстро обернулся на княжну и впился в нее глазами на мгновение. Княжна залилась слезами и поспешила за выходившею теткой.

Офицер двинулся в противоположную сторону, к алтарю и, подойдя к причетнику, выговорил глухим голосом:

— Попросите батюшку молебен Божией Матери.

Причетник удивленно взглянул на офицера.

— Как же, помилуйте-с. Ночью-то?

— Разве нельзя?

— Неловко-с... Божией Матери? Конечно, оно бы... Это точно-с... Пожалуйте лучше завтра. Ночью неловко-с. А коли прикажете, я батюшке доложу.

— Нет, не надо,— махнул рукой офицер и быстро пошел из церкви.

XII

Вернувшись домой, то есть к своей тетке Бахреевой, у которой он жил, Галкин тотчас с горечью передал ей о результате их сватовства. Простая и сердечная жен-

щина была сильно взволнована этим известием. Она почему-то надеялась, что женитьба племянника сладится, а этот блестящий брак должен был повлиять и на ее собственное положение в Москве.

Бахреева жила уже на остатки своего, когда-то порядочного, состояния. Если бы родной племянник женился на такой богатой приданнице, то, конечно, он стал бы и ей помогать. Стоило только взглянуть на Галкина, чтобы убедиться, насколько он совестливый, добрый и славный малый. Для Бахреевой не было сомнения, что племянник, сделавшись вдруг московским богачом, всегда бы оставался признателен своей тетушке-свахе.

При известии об отказе едва лишь прибывшего князя Бахреева рассердилась и начала бранить Егузинскую, молодого князя и отчасти княжну.

— Как же можно было,— рассуждала она,— эдак бухнуть! Аникита Ильич приехал сегодня в сумерки, а теперь только что отошла всенощная. Когда же они успели ему объявить про твое сватовство. Как же можно в эдаком важном деле да эдак поступить! Что же они — совсем полоумные! Ну, вот отказ и вышел! Если б это знать, я бы, обождав, сама к нему поехала.

И постепенно Бахреева пришла к заключению, что ей непременно нужно поехать самой к князю и лично сделать ему предложение от имени племянника.

— Ничего не будет, тетушка,— заявил Галкин.

— Ничего так ничего, а хуже не будет,— решила старая девица.— Нет, голубчик, взялась я за гуж, так уж буду тянуть, пока он не треснет либо я надорвусь. Вот как надо на свете. Завтра же после полудня разоденусь в пух и прах, достану мое гродетуровое платье, большую шаль, что мне твой отец из Молдавии привез, и поеду Откажет мне Телепнев, уж истинный телепень, ну, делать нечего. А я с ним буду говорить не так, как они! Я ему все распишу. Ты вон затрудняешься своею фамилией, а, по-моему, она ничем не хуже фамилии Телепнева. Уж лучше быть, по-моему, галкой, чем быть телепнем. Так это ему и скажу в глаза.

Офицер противоречил тетушке, уверяя, что поездка не будет иметь никакого успеха, но, конечно, не настаивал, рассуждая одинаково, что «хуже не будет».

— Одного я опасаюсь,— говорила Бахреева.— Прозывают его философом. А я не знаю, что это значит. Ты не знаешь, племянник, тоже. Хоть бы завтра спросить кого, прежде чем к нему отправляться.

— Философ, по-моему, бирюк! — решил офицер.

До поздней ночи пробеседовали, волнуясь и мечтая, старая девица и племянник.

Наутро проснувшись и вспомнив все, что было накануне, молодой человек долго думал о своем положении. И к собственному удивлению, он почувствовал вдруг, что сердце его больно замирает, сжимается, а по его лицу текут слезы.

«Как баба разревелся»,— подумал он.

И Галкин долго на все лады размышлял. Конечно, княжна Телепнева не выходила у него из головы. Он спрашивал себя: действительно ли он любит ее, скоро ли и легко ли забудет? И молодой человек отвечал себе, что, по всей вероятности, он долго останется под властью своего чувства, которое было первым в его жизни. Что нравилось ему в веселой хохотушке-княжне, он сказать не мог. Зато он хорошо помнил и знал, что княжна сильно понравилась ему, когда он еще и понятия не имел о том, что она — первая невеста в Москве по своему приданому.

И только теперь вполне ясно и сильно почувствовал Галкин удар, вчера им полученный. Отказ князя, хотя и поразил его вчера, ударил в сердце, но все-таки не представлялся ему таким роковым, как сегодня.

— Нет,— решил вдруг офицер.— Что уж тут! Либо это, либо ничего. Поеду в Питер и что-нибудь над собою совершу. Не будь у меня кое-каких дел и долгов в полку, сейчас же бы порешил с собою.

Не надеясь нисколько на успех визита тетки к князю, Галкин стал думать о своем немедленном отъезде в Петербург. Более всего озабочивало офицера, куда девать лошадь верховую, купленную им в Москве. Он решился тотчас же съехать к одному офицеру, с которым подружился за свое пребывание. Найдя приятеля дома, Галкин условился с ним взять и бережно содержать лошадь впредь до его возвращения.

— А если не вернусь,— сказал он,— или узнаете, что со мною что приключилось, то возьмите коня себе от меня на память. Но обещайте мне, вместо уплаты, обращаться с ним любовно. Скотина хорошая! Незнакомых задом хлещет. Но вы поскорее спознакомьтесь поближе,— грустно пошутил он.— Скотина понятливая, живо поймет, что вы новый хозяин. А до тех пор к хвосту — ни Боже мой! Убьет как из пушки.

Вернувшись домой, Галкин узнал, что тетка Бахреева с час назад выехала в бутырскую усадьбу. Сердце екнуло в офицере. А вдруг... Да, вдруг князь гнев на милость положит.

«Да, вот пока я здесь стою, они там объясняются, разговаривают,— подумал Галкин.— Князь мудрит и злоязычничает над доброю тетушкой, ломается да бахвалится; говорит небось, что я на его деньги глаза закидываю. Не знает того, что будь его Юлочка совсем низкая, то я бы ее все одно сейчас бы за себя взял».

И молодой человек начал ходить по всему дому, из горницы в горницу, в ожидании тетки.

Несмотря на то, что он всячески уверял себя, что второе сватовство Бахреевой не приведет ни к чему, тем не менее он все-таки надеялся и волновался. Каждый раз, что раздавался гром экипажа на улице, он кидался к окошку. Наконец ожидания настолько растревожили его, что он почти не находил себе места.

— Уж поскорей бы приехала с отказом,— вслух говорил он,— легче будет знать, что вторично все пошло прахом, чем эдак выжидать.

Еще раз заслышав лошадиный топот и стук экипажа на мостовой, Галкин взглянул быстро в окно и, слегка ахнув, украдкой перекрестился.

К подъезду подкатил запыленный экипаж Бахреевой.

Галкин бросился через все комнаты вниз по лестнице, выскочил на подъезд и принял тетушку на руки почти из дверец экипажа. Он взглянул ей в лицо и потупился. Спрашивать было нечего. Все пропало... Даже хуже...

Бахреева, ни слова не говоря, но особенно быстро, как бы в крайнем спехе, поднялась по лестнице и почти вбежала к себе в гостиную. Племянник немедленно, боязливой походкой явился вслед за нею и стал, изумляясь, пред креслом, где уселась старая девица.

У Бахреевой глаза прыгали и все лицо будто передергивало.

— Что ж не спросишь ничего? — выговорила она не своим голосом.

— Что ж спрашивать, тетушка! Спрашивать нечего. А простите за то, что я вас подвожу второй раз. Ответ я вижу, как по писаному, на лице вашем.

— Да ты знаешь ли, что было-то? Как было все? Ведь его бы следовало теперь, будь у меня какой важный

покровитель, исколотить. Ведь он накуражился, насмеялся надо мною! Ты знаешь ли, что он измыслил? Что учинил?!

— Издевался, тетушка. Надо было это заранее...

— Слушай. Приехала я и велела о себе доложить: что-де, мол, Бахреева. Лакей вернулся и спрашивает от имени князя, что-де мне нужно. Я отвечаю: доложи, приехала госпожа Бахреева, дочь полковника, по делу. Ворочается он опять и сказывает от князя: дел, мол, промеж-де нас с вами быть никаких-де не может. Я обозлилась. Посылаю опять. Скажи, что невежливо так-де поступать с дамой: приехала с делом и желаю князя видеть, чтобы переговорить, как следует.

Бахреева передохнула и продолжала:

— Ну, сижу, жду. Пришел опять человек и говорит: пожалуйте. Вошла я в столовую, встречает меня господин — важный такой, голову задрал, кланяется издали, не то что к ручке не подходит, как подобает, к даме, а даже и не протягивает. Вам, говорит, по делу объясниться нужно? Да-с, говорю, по очень важному делу. Пожалуйте, говорит. Пошел вперед, а я за ним. Тоже невежество! Пришли мы в гостиную, просит он меня садиться, а сам стоит. Я говорю: что ж вы изволите стоять? Отвечает: не извольте, сударыня, беспокоиться. Присядьте и объясните дело. Ну, вот, я все и начала объяснять. Говорю, что, мол, я, в качестве свахи твоей, хотя и родственница, говорила уже прежде с молодым князем и с генеральшей Егузинской, а теперь пожелала-де лично объяснить все дело. Долго я это все чувствительно и толково описывала. Все, как говорится, грибочки в одну корзиночку убрала. Он все стоял истуканом и слушал, но с таким ласковым лицом...

— Ласковым? — перебил наконец Галкин.

— Да. Да ты слушай! Мерзость-то какая! Когда я все благоприлично, по-семейному рассказала: и о твоей любви, и о том, что ты — человек совсем небогатый, но не жадный, и о том, что я твою мать любила и тебя за сына родного почитаю, ну и все такое... Тогда он на это вдруг мне и сказывает: так-с, говорит, я все и доложу князю самому! Я, голубчик, ошалела, потом разгорелась, а потом опять совсем опешила. Да вы-то кто же? — говорю. Стало, вы не князь? Нет-с, говорит, помилуйте-с, я — княжеский главный камердинер Фаддей.

— Что? — вскрикнул Галкин.

— Да! То! То! Вот что! — снова обозлилась Бахреева.— То самое, что я сказала, а ты слышал, да понял.

— Да что же это,— взбесился Галкин.— Ведь это неслыханный афронт!

— А вот как там знаешь суди, племянничек. Выслал просто он мне своего холопа. А что ж! На лбу-то разве написано, что он не князь? Холоп-то такой, что почище иного князя из татар. Одну голову держит так, как если б у него все российские регалии на груди были. Кабы я князя когда видела. А то ведь его, старого черта, сколько уж лет никто в Москве не видал.

— Так что ж вы ему сказали, тетушка?

— Что! Я встала и говорю: «Как ты смеешь, хам эдакий, со мною лицедействовать! Тебя бы за это на конюшне следовало отодрать». А он сказывает: «Помилуйте, сударыня, меня барин-князь послал объясниться. Коли-де виноват в чем, ну и выпорют, но все-таки князь, а не вы».— «Зачем же, хам, ломался»,— говорю я. «Я-де никак, говорит, не ломался».— «Чего ты из себя-де князя корчил?» — «Я, говорит, не ко́рчил, а если-де вы меня за холопа не приняли, тем для меня наипаче-де лестно». Ну, вот, племянник, тут и рассуди!

— Стало быть, вы князя и не видели?

Бахреева махнула рукой, отвернулась и начала сердито сморкаться.

— Следовало бы его проучить,— выговорил Галкин как бы себе самому и, волнуясь, зашагал по горнице.— Мне, молодому офицеру, старика — дворянина и князя учить не приходится, а хорошо, кабы его проучил кто из старших.

Чрез несколько минут молодой человек подошел к тетке, опустился на колени пред ней и, взяв ее обе руки, несколько раз поцеловал их.

— Не гневайтесь, тетушка! Простите, что из-за меня себя в обиду подвели. Не надо было к этому лешему ездить.

Бахреева от ласки племянника и его голоса сразу смягчилась сердцем и начала плакать.

И в тот же вечер, часов около семи, молодой человек уже прощался с теткой. Оба плакали. Затем Галкин сел в тележку, запряженную парой почтовых лошадей, умостился на чемодане, в котором было все его имущество, и тележка двинулась рысцой по Москве.

XIII

Бахреева, проводив своего злополучного Телемака, тотчас выехала и в один вечер побывала в четырех домах, где было много гостей... Поездка была, стало быть, удачная и цель достигнута вполне.

Дело в том, что старая девица решила несколько дней подряд «трезвонить» по Москве о неслыханно дерзкой выходке князя-философа.

Выслать вместо самого себя своего холопа для объяснения с дворянкой, да еще по поводу сватовства, показалось действительно всем знакомым Бахреевой великим афронтом для всего дворянства.

— Что же Философ думает? Выше он всех московских дворян?

— Завтра он позовет обедать, а на его хозяйском месте будет сидеть и всех угощать его Фаддей.

— Хорошо, кабы гордеца проучил кто-нибудь. Ошалел он, сидьмя сидя, как филин, на своей Калужке. Зазнался не в меру, водясь только со своими крепостными и не видя никого себе равного...

Так заговорила Москва. Таков был отголосок «трезвона» девицы Бахреевой.

Между тем ее племянник, около полуночи, был уже верст за сорок от столицы и, чувствуя себя нехорошо, решил далее не ехать, а переночевать. В первой же большой деревне Галкин стал опрашивать, где можно найти ночлег. Два мужика, один за другим, отвечали одно и то же:

— Вестимо, у Карпа. Где же больше.

Третий попавшийся под руку парень вызвался проводить проезжего и объяснил:

— Уж так давно завелось. Все запоздавшие у Карпа стоят, чтобы в Москву днем въехать. А то, бывает, приключится что на пути: ось пополам, лошадь раскуется, так всегда у Карпа все чинятся и справляются.

«Ну и слава Создателю, что нашлось местечко отдохнуть,— подумал Галкин.— Так неможется, будто хворость какая подкралась».

Дом оказался небольшою избой, но нечто, что увидал еще издали Галкин, обнадежило его. В окнах сиял свет. «Если крестьянин жжет сальную свечу, а не лучину, стало быть, и живет изрядно».

Действительно, горницы, в которые вошел офицер, оказались совершенно опрятными. Рослый и умный

мужик так принял офицера и так заговорил с ним, что видно было по всему, насколько часто приходилось хозяину видаться со всякого рода проезжими.

— Пожалуйте,— заговорил он.— У меня завсегда господа останавливаются. Я живу не по-свински. У меня, за десять лет, ни единого таракана не бывало, потому, собственно, что я их не люблю очень. Да и проезжие не жалуют. Мало вам одной горницы, берите две, а плата за ночь неразорительная — сколько Бог на душу положит.

Если бы Галкин был в другом настроении духа, то, конечно, вступил бы в беседу с умным стариком. Но ему было не до того. Он велел внести свой чемодан в горницу, сел на лавку к столу и попросил дать чего-нибудь поесть.

Чрез несколько минут молодая батрачка поставила пред Галкиным творогу, кринку молока и горшок каши. Офицер не чувствовал себя голодным, но ему хотелось занять себя чем-нибудь, чтоб оторваться от нескончаемых тягостных мыслей.

Не прошло получаса, как послышалось вдали, на деревне, что-то удивительное и необычайное. Галкин прислушался и понял, что это просто бубенцы и колокольчики. Но он все-таки недоумевал: звон и звяканье были слишком громки и сильны. Казалось, что звучат сотни бубенцов, десятки колокольчиков. Стало быть, целый поезд!..

И действительно, чрез несколько мгновений Галкин убедился, что он не ошибся. Среди слободы слышался топот лошадей, стук экипажей и громкое, оглушительное позвякиванье и бренчанье. В деревню въехала целая вереница экипажей, чуть не десяток.

Галкин взглянул в окно и, среди темноты ночи, разглядел целый ряд экипажных фонарей. Впереди всего поезда скакал верхом всадник с факелом в руке, который, очевидно, только что потух — не горел, а лишь курился и дымил.

«Сановный проезжий,— подумал Галкин.— Да что же мудреного в теперешнее время, когда в Москву обещалась быть царица».

И офицер только теперь вспомнил, что на дороге, по которой он пустился теперь в путь, он может встретить бесконечное количество важных вельмож и сановников. Даже легко может он встретить и самоё императрицу, которую со дня на день ожидают в столицу.

«Плохое я выбрал время ехать,— подумал он.— Лошадей нигде не будет, да и как раз на какую беду

нарвешься. Окажешься виноватым тем, что подвернулся под руку какому-нибудь царьку».

Все экипажи проехали мимо, но вдруг стали, и их было так много, что последний из них остановился почти против избы, занимаемой Галкиным.

И Бог весть почему, проезжий сановник с его пышностью странно подействовал на Галкина. В другое время он отнесся бы к этому совершенно просто, теперь же все раздражало его.

«Да, вот эдакий леший,— рассуждал Галкин мысленно,— будь он только холостой,— а старый ли, молодой ли, все равно,— посватался бы за Юлочку, так князь бы кувырком кататься начал от радости. Все на свете от иждивения и алтын зависит. Будь я богат, так каким бы вельможным и именитым всякому представлялся! И моя фамилия никому бы смешною не показалась. Вот этот, какой старый черт холостой, завтра повидай княжну, послезавтра сделай Философу предложение — и на третий день и венчайся с ней. Хочет она, не хочет — отец-дуболом заставит выходить за постылого».

И вдруг на сердце Галкина поднялась какая-то беспричинная буря, какая-то ненависть ко всему миру. И к этой Москве, из которой он только что выехал, и к этому Петербургу, в который он едет. Ему казалось, что всех этих людей, которые движутся из одной столицы в другую, в бесконечных экипажах, с золотом в шкатулках — всех бы он их... Но молодой человек не докончил своей гнусной мысли, махнул рукой и выговорил горько:

— Эх, полно! Что на ветер лаять! Кабы не мороз — овес до неба дорос! А еще лучше сказать тебе, Алексей Григорьевич,— усмехнулся он,— «бодливой корове Бог рог не дает».

Галкин принялся было за свою кашу, но в эту минуту шум нескольких голосов раздался у самой избы. Галкин прислушался, и вдруг, как если бы кто шепнул ему что на ухо, он выговорил вслух:

— А ведь выгонит, беспременно выгонит! Дом-то эдакий один на деревне. Зачем им сюда идти? Гнать идут!

И офицер вдруг страшно обозлился.

В ту же самую минуту отворилась дверь, и Карп, в сопровождении какого-то путника в кафтане с позументами, вошел в горницу. Хозяин был уже не тот степенный и вежливый мужик. Он перешагнул через

порог с таким видом, как будто сейчас пробежал десять верст, не переведя духу.

— Ваше благородие,— заговорил он, запыхавшись.— Поскорее! Собирайтесь! Обе горницы нужны!

Галкин не двинулся с места, уперся глазами в обоих вошедших и выговорил глухо:

— Одна горница есть, а двух нету.

— Как же тоись? — выговорил человек по виду скороход или камердинер.

— Да так. Видишь, эта занята мною. А вон другая свободна.

— Что вы! Помилуйте! шутить изволите! — с оттенком недоумения выговорил этот.— Ведь мы не простые какие... Как можно! Мой барин-граф двадцать горниц занял бы, кабы были. Пожалуйте поскорее.

— То-то «кабы были»! — отозвался Галкин, ухмыляясь озлобленно.— А вы скажите барину-графу, что одна есть. Хочет — пусть берет, не хочет — не надо.

— Да что вы, Христос с вами! — выступил незнакомец вперед.

— Помилуйте, ваше благородие! — заговорил и Карп. — Вы совсем не поняли... Кто, собственно, едет? Ведь едет это сам...

— Нечего мне с вами растабарывать,— крикнул Галкин не слушая.— Убирайтесь к черту! Говорят вам толком, что нет двух комнат. Мною занята эта. А хочет ваш вельможа, так пусть занимает другую.

— Ну, уж это вы напрасно...— выговорил хозяин.— Если эдак? Я вас и просто силком на улицу вынесу. На руках вынесу...

— Посмотрим,— уж совершенно остервенившись, выговорил офицер.

Он быстро встал с своего места и вытащил из кожаного мешка, который лежал на лавке, пару небольших пистолетов.

«Что ты делаешь? С ума сходишь? — говорил он сам себе, удивляясь собственным поступкам. Но вместе с тем будто какой-то другой человек в нем самом был взбешен до беспамятства и будто подсказывал: — Все одно! Коли топиться собираешься с горя, так что уж тут опасаться. Делай что хочешь, хоть перестреляй всех проезжих. А затем себе пулю в лоб пусти!»

И, положив пистолеты пред собой на стол, Галкин снова сел и насильно проглотил две ложки каши.

И хозяин, и незнакомец постояли несколько мгновений пред ним, молча и недоумевая.

— Да вы поймите, ваше благородие,— заговорил человек с позументами.— Знаете ли вы, собственно, кому горницы сии нужны? Моему барину, его сиятельству...

— Я с тобою, холопом,— перебил его Галкин,— больше разговаривать желания совсем не имею. Пошел отсюда вон! И ты, хозяин... Уходите оба. Одна горница свободная есть, и пусть ее занимает проезжий. А этой я не уступлю! Кажется, совсем понятно! А затем, коли кто мне еще слово лишнее скажет, в того я выпущу катушку свинцовую.

Галкин взял один пистолет в руки, отщелкнул кремень и, хладнокровно поправив пальцем порох на полке, как бы прицелился в стоящих.

Хозяин попятился первый и вышел за дверь, а вслед за ним двинулся и лакей. Но с порога он выговорил дерзко и грозя пальцем:

— Сейчас доложу графу, и мы вас тут, хоть вы и офицер, обучим светскости на всю вашу жизнь!

Какой-то дьявол-искуситель будто толкнул Галкина в руку. Бог весть почему — он после никогда не мог понять — палец его надавил шалнер: раздался гулкий выстрел, и пуля пробила дверь, которую уже притворял камердинер.

Все, что было в сенях, в соседней горнице и на крыльце бросилось бежать, вопя и крича. Галкин сидел за столом. Пред ним вся комната была полна дыму. Он опустил голову и проговорил:

— Что ж ты, одичал, что ли? разума лишился? Что же это? Ведь убить мог. Да и теперь, что будет еще? Ведь офицер, а не посадский какой. По мундиру узнать и найти можно. Что ж творишь-то ты? Господи помилуй! Должно, я в самом деле от всего моего горя разум потерял.

И, бросив разряженный пистолет на стол, Галкин облокотился на стол, закрыл лицо руками и сидел недвижно в каком-то полусне, без сознания окружающего.

— Речка,— повторял он.— Речка! Зачем речка? Далеко речка? Да и гадко, ух, как гадко! То ли дело вот эдак! Взял, приставил к виску! По-военному и в одно мгновение...

XIV

Простреленная дверь была выстрелом растворена настежь. Из дома все убежали. Полная тишина воцарилась тут.

Вдали шумели и кричали голоса. Там, на выезде из деревни, в первой карете сидел проезжий сановник, и тот же лакей докладывал барину невероятное приключение.

— Чуть было не убил, ваше сиятельство. Пуля около головы шаркнула в дверь.

Проезжий высунулся в окно кареты и призадумался.

— Да не безумный? — отозвался он наконец на доклад лакея.

— Никак нет-с. Непохоже. Рассуждает порядливо.

— Не пьян ли?

— Помилуйте! Никакого вина с ним нету. Кашу сидит да без масла уписывает,— усмехнулся лакей.

— Сказал ты, кто мы?

— Кажись, сказывал. А подлинно не могу доложить. Помнится, собирались мы с хозяином сказать, да он не давал слова молвить. Знай рвет и мечет. Как рот разинешь, так и крикнет на тебя.

— Чудно! Первый раз со мною эдакое. Отвори дверку.

— Что вы? Куда вы! — фамильярно выговорил лакей.

— Ну, ну, отворяй! Пойду погляжу.

— Что вы! Помилуйте. Как возможно! Убьет ведь. Здесь дело дорожное и ночное. Убьет да и убежит. Вон и лес недалече.

— А вы-то, олухи, на что же? — выговорил, смеясь, проезжий, вылезая из кареты.— Как же это так? Это совсем срам будет. Меня человек убьет вот зря, а вы его упустите. Хороши гуси!

Целая толпа щегольски одетых людей, обступив проезжего, стала просить не ходить в избу Карпа.

Трудно было разобрать, что это за народ. Одни из них казались дворянами по их одежде, но разговаривали с проезжим с тою же холопскою покорною вежливостью; другие были дворовые люди разных наименований: камердинеры, гайдуки, скороходы, казачки. В числе прочих был тут один диковинный человек, который тоже визгливо упрашивал барина не ходить в избу и притом выражался убийственным российским языком. Несмотря на темноту ночи, видно было, что он много чернее всех

остальных. Это был арап. Под его распахнутым плащом виднелся край ярко-красного кафтана, а на ногах такие же красные сапоги.

Галдение свиты, обступившей кругом, все усиливалось.

— Да ну! Молчать! Оглушили! — вдруг вскрикнул сановник и двинулся вперед. Все расступились перед ним.

Проезжий этот не только головой, но почти и плечами выше всех, настоящий богатырь с виду, был одет в бархатный темный кафтан, с ременным поясом, с обыкновенною дорожною шапкой на голове. Он спокойно двинулся к дому Карпа, но, оглянувшись и увидя за собой целую вереницу своих, крикнул:

— Куда вы-то полезли! Убить может, коли в кучу-то шаркнет,— выговорил он совершенно серьезно.— Ванька, и ты, хозяин, вы одни за мной идите.

И хозяин, и Ванька, по которому уже палил офицер, снова начали было упрашивать барина не ходить, но тот резким восклицанием и крепким бранным словом заставил замолчать обоих.

Поднявшись на крыльцо Карповой избы, он смело шагнул в сени и отсюда глянул в горницу.

За столом сидел, опершись локтями на стол и закрыв лицо руками, такой же богатырь, как и он сам, в поношенном офицерском мундире.

Проезжий тотчас же признал мундир Измайловского полка, и это заметно поразило его. Идя сюда, он предполагал, что имеет дело не с гвардейским офицером.

Он хотел было тотчас же войти в горницу, но, заметив на столе пред сидевшим большой пистолет, приостановился и колебался.

«Долго ли взять да выпалить! — подумал он.— Да в такую тушу, как я, и промахнуться мудрено»,— прибавил он шепотом, как бы себе самому.

И, став на пороге горницы, он крикнул добродушно:

— Эй! господин офицер! Войти можно?

Галкин пришел в себя, отнял руки от лица и опустил их на стол.

В этом движении сказалось что-то особенно беспомощное. Проезжий богатырь понял верно это движение, а равно сразу заметил бледное лицо офицера.

— Войти можно? — повторил он.

— Можно,— глухо отозвался Галкин, не глядя.

— У него их два,— шепнул сзади Карп.

— Палить в меня не будешь? — спросил богатырь, уже с участием приглядываясь к незнакомцу.

— Нет,— как-то безучастно и бессмысленно снова отозвался этот.

— Ну и хорошее дело. А то ведь не ровен час и убить можно! — смешливо произнес проезжий, входя в горницу, но все-таки не спуская глаз с рук офицера. Он сел на лавку к столу и сразу ловко опустил руку на пистолет.

— А все лучше я припрячу его! — выговорил он.

— Припрятывайте. А я этот возьму,— выговорил Галкин, доставая другой пистолет, который был у него на коленях.

Но вдруг он прибавил:

— Нет! Что же? Будет!.. Берите и этот...

И он подал ему пистолет.

— Зачем? — отозвался, смеясь, проезжий.— Куда мне разряженный? Я лучше этот приберегу.

— Берите этот. У вас разряженный. Нате. Оба берите. Впрочем, я очухался совсем. Хотите занять обе горницы и меня на улицу выкинуть, занимайте. Довольно. Я и так начудил, осрамился. Я ведь не проходимец какой. Видите, что на мне? Не чуйка!

Галкин поднялся, взял свой мешок и, обращаясь к вошедшему в горницу хозяину, произнес, подавляя вздох:

— Тащи мой чемодан вон да вели лошадей закладывать и меня догонять. А я вперед пешком пойду.

Голос Галкина, его лицо, его блуждающие глаза — все удивило проезжего. Он сразу понял, что с этим офицером недавно случилось что-нибудь особенное. Он, очевидно, не пьян, в своем уме, и только человек душевно расстроенный.

— Нет, стой! — выговорил он.— Я тебя, или вас, господин офицер, не выпущу. Вместе ночуем здесь и побеседуем. Шутка ли! Я должен тут целый час один ужинать. Не с холопами же мне беседовать. В них мне ничего любопытного нет... А вот вы оставайтесь. Я вас угощу. У меня всякое есть с собой. И вино хорошее. Поужинаем, выпьем. А там заляжем спать. Выспимся, завтра вместе в Москву поедем.

— Спасибо вам,— несколько спокойнее выговорил Галкин.— Я не в Москву. Я из Москвы, в полк.

— Ну, разъедемся в разные стороны. А все-таки малость сегодня покалякаем.

— Нет, увольте,— выговорил Галкин вежливее.

По мере того, что приезжий разговаривал с ним, он заметил, что имеет дело действительно с кем-то из крупных вельмож Петербурга. Ему казалось даже, что он видел где-то этого богатыря и что с его лицом, его фигурой связывается какое-то странное, особенное воспоминание. Если бы ему сказали, что этот человек крайне высокопоставленное лицо, пожалуй даже приближенное к монархине, то Галкин согласился бы тотчас же. Какое-то внутреннее чувство подсказывало офицеру, что самое лучшее поскорее убраться от сановника, особенно после того, что он здесь начудил.

— Нет, избавьте, увольте,— заговорил он несколько конфузливо.

Проезжий встал с места, приблизился к Галкину, положил ему руки на плечи и вымолвил:

— Ну, голубчик, не знаю, как вас звать. Ну, дорогой мой, соколик... Сделай милость. Ну, пожалуй, ну оставайся! Куда же вам идти? Ночевать негде, ехать в эдакую темь, тащиться будете да в яме заночуете... Да что тут толковать, не пущу я вас. Пожалуйте мешок.

Проезжий взял из рук Галкина мешок, бросил его на лавку и потащил его снова на прежнее место за стол.

Фигура и голос этого человека вдруг так подействовали на офицера, что он смягчился, сконфузился и не знал, что отвечать.

— Как прикажете,— вымолвил он наконец виновато.

— Приказывать не смею, а прошу. Гей, вы! — крикнул проезжий.— Тащи живо ужинать. Мы сейчас тут с вами плотно поедим и выпьем. А затем ты мне, господин стрелок, пояснишь, за что изволишь так палить по проезжим.

Богатырь сбросил с себя шапку, расстегнул ремень и, распахнув кафтан, уселся за стол, куда уже насильно засадил своего нового знакомого, совершенно такого же богатыря.

XV

Чрез несколько минут после отданного приказания горница в Карповом доме преобразилась как бы в сказке. Вереница слуг прошла перед глазами сидящих, и каждый что-нибудь принес. Пред Галкиным, который, смущаясь и раскаиваясь, сидел около проезжего сановника,

уже был накрытый скатертью стол, а на нем фарфор, хрусталь, серебро, разные холодные яства и разнородные бутылки вина. Когда все было уставлено, едва помещаясь на столе, сияя и блестя, лакей внес большой канделябр о пяти розовых свечах. Камердинер, по которому стрелял Галкин, остался один в горнице и, став у порога с салфеткой, выговорил шутливым голосом:

— Ле супе леверси!

— Чучело гороховое! — рассмеялся проезжий, весело принимаясь прежде всего за швейцарский сыр.

— Что ж. Опять не так? — отозвался лакей фамильярно.— Ну, так скажем... Ле супе лесерви. А по-моему, «леверси» лучше. Не так, что ли? скажите.

— Скажите. Это, братец, всякий учитель, коему деньги платят — откажется,— отозвался барин.— Так тебя до светопреставления и обучать все одному слову. Убирайся! Мы теперь такую беседу поведем, при которой тебе быть не подобает.

Лакей тотчас вышел тихо, затворив за собою простреленную дверь, и невольно тряхнул головой, поглядев на дыру.

— Ну-с, господин встречный-поперечный,— заговорил сановник.— Чокнемся! За ваше здравие и путешествие. Кушайте еще и ответствуйте... Как вас звать? По порядку. Имя ваше крестное, так сказать...

— Алексей,— отозвался офицер.

— Что? Вот как! Славно! Ну, а по батюшке?

— Григорьевич...

— Что-о? Что вы? Балуетесь, что ли? — удивился проезжий, откидываясь на лавке и прислоняясь к стене.

— Нет-с. Да что ж вам тут кажется чудесного? Алексей Григорьевич — самое простое наименование.

— Простое-то простое. Да не здесь, при мне, на Московской дороге, в этой избе... Да еще после нашего стрельбища. Чуда нет, а диво есть.

— Виноват, не понимаю...

— А фамилия?

— Галкин.

— Галкин! Час от часу не легче... Тоже птица. Скажи на милость! Вот так финт! Галкин?

— Да-с. Фамилия несколько смешная для других. Но я привык.

— Ничего нет смешного. Мало ли эдаких, так сказать, птичьих фамилий: Воронов, Сорокин, Воробьев, Грачев, хоть бы и Орлов.

— Да-с. Все эти прозвища, конечно, все одно. Только не Орлов. А уж особливо теперь.

— Почему же это... теперь?

— Потому, что в наши времена проявились графы такие... Орловы.

— Точно, но ведь они тоже по птице орлу прозываются, как и вы по птице — галке.

— Орел и галка! — рассмеялся Галкин.— Сходствия мало.

— Немного. Но обе — птицы.

— Сказывается, видать, птицу по полету. Уж я бы никак не мог стать графом Галкиным. Смеяться бы стали еще пуще.

— Нет. Перестали бы совсем, дорогой мой,— улыбаясь добродушно, сказал незнакомец.— Вот и с Орловыми было то же. Говорили все, что очень смешно выходит: дворянин Орлов, да вдруг граф... А теперь все привыкли. Да и они-то сами привыкли, что графы... Сдается, будто и родились таковыми, и никакой перемены не было.

— Нет-с. Сами-то Орловы много изменились, как все сказывают,— заметил Галкин.— Были товарищами в гвардии, каких мало. Золотые парни. А ныне сама гордость. Увидят Орловы радугу на небе — сторонятся или нагибаются, опасаются, шапкой бы не зацепить.

Незнакомец разразился громким и веселым хохотом.

— Это вы так сами надумали? Или слышали? — воскликнул он.

— Слыхал. Да, эта притча к ним подходящая. Они страсть как горделивы и самомнительны стали.

— Нахалы! Зазнались!.. Вот что! А вы с ними знаетесь?

— Нет-с. Даже и не видал никогда.

— И не любопытствовали поглядеть?

— Да зачем же? Что же мне в них любопытного?

— А вот тогда знали бы верно и лично — правду ль про них зависть болтает.

— Так, просто повидать случая не было. А пойди я к ним в Петербург... знакомиться, мол, пришел с вами... Так ведь выгонят.

— Беспременно выгонят! — опять рассмеялся незнакомец.— А хотите, я вас познакомлю с Алексеем Григорьевичем?

— С Орловым?

— Ну, да.

— Очень вам благодарен. На что же он мне?

— Как на что? Пригодится может во всяком деле, по службе, к примеру.

— Нет... Прежде, пожалуй, я бы и рад был,— грустно вымолвил Галкин.— А теперь моя жизнь так обернулась, что я, может быть, до Питера не доеду и пулю себе в голову всажу.

— Вишь стрелок какой... Ну, сказывайте мне теперь... Отчего вы такой горячий и своенравный да гордый? К примеру сказать... Сейчас тут вот пришел лакей проезжего боярина не из последних — просить горницы уступить. А вы по нем из пистолета. Могли убить, и могло вам за это быть нехорошо. Ну-с, как же таким горячкой на свете жить? Вы завсегда такой?

— Нет-с. Никогда я ничего подобного и во сне не видал, не только не делал... А это все приключилось от московских моих бедствий.

— Каких таких бедствий? В карты проигрались? В Москве, говорят, что ни дом, то азартник живет... Какая же беда? Говорите. Вы мне полюбились, и я вам помогу, чем могу. А могу немало... Так сказать, все могу... Говорите по душе...

— Увольте. Неохота. Это дело не такое, чтобы... чужому человеку, встречному, на дороге сказывать. Хотя я вижу, вы человек богатый, а по видимости, и знатный, но в моем деле вы помочь не можете. Никто не может. Один Господь тут властен.

— И царица помочь бы не могла?

— Ну, это другое дело... Захоти царица, так, пожалуй бы, сейчас повершила все в мою пользу...

— Стало быть, не один же Господь властен в этой вашей беде, а и человеки властны... Царица ведь тоже человек. Ну, вот вы мне поведайте ваше горе. Может быть, я вам помогу.

— Нет-с. Вы не можете. Да и притом, извините меня, но я все-таки еще не имею чести знать, с кем я беседую и чей хлеб ем.

— Как меня, тоисъ, звать?

— Да-с. Вы не изволили мне себя назвать.

— Зовут меня так же, как и вас. Имя то же и отчество то же. А фамилия тоже по птице, только не по галке. Вот вы и догадайтесь...

— Вас звать Алексей Григорьевич?

— Да-с. А фамилия по птице.

— Воронов или Сорокин?

— Нет. И не Воробьев, и не... Ну, да что вас пытать — Орлов мне имя.

Галкин вытаращил глаза, потом двинулся и конфузливо встал из-за стола.

XVI

Галкин растерялся совершенно и молча с минуту оглядывал незнакомца с головы до ног.

— Ну, баста... А то сглазишь еще, любезнейший... встречный-поперечный,— рассмеялся Орлов добродушно.

— Извините меня, ваше сиятельство,— выговорил Галкин и взялся за мешок.— Я, право, был так расстроен. И не догадался даже спросить... Извините...

— Куда же вы... Нет, голубчик, садись и сиди. Это судьба! Начертано было в книге небес. Вот что! И пальба ваша — судьба! Я, как турки, верю в звезду человека. Вас судьба на меня натолкнула затем, чтобы я в ваше дело впутался... Ну, сказывай теперь графу Орлову, какое такое стряслось горе. Может быть, оно и поправимое. Коли тяжба из-за ябеды — правый суд найдем.

— Нет-с. Какая ябеда. Это дело сердечное...

— Тем лучше. Проще. Садись, стрелок, и рассказывай всю подноготную.

Офицер снова сел за стол. И, вглядевшись внимательнее в лицо Орлова, вспомнил, что он действительно встречал его не раз в Петербурге, но не знал и не любопытствовал узнать, кто этот богатырь.

Галкин был теперь более всего поражен тем веселым добродушием, которое было характерною особенностью лица Орлова, и той простотой, которая была в его манере говорить и держаться.

Совсем не такими воображал он себе знаменитых любимцев царицы.

После двух-трех бутылок выпитого вина и на повторенные усиленные просьбы Орлова поведать свое горе — офицер решился и рассказал подробно все... Свое пребывание в Москве, любовь, сватовство и гордый отказ князя Телепнева. Офицер рассказал даже невероятный «афронт» князя, выславшего к его тетке своего камердинера.

Орлов слушал все внимательно и только изредка качал головой. Когда Галкин кончил, он вымолвил:

— Слыхал я про этого Телепнева... В прошлом году слыхал... На него есть узда, но взнуздать-то... мне не в силу. Только одна царица это может. Ну, а я, голубчик, государыню беспокоить просьбой о твоем счастье не могу и не стану... Надо нам будет самим как-нибудь... Съезжу я к нему сам. Буду ломать. Может, и уломаю. Почто его Философом-то зовут?

— Уж не знаю, ваше сиятельство. За его удивительный образ действий, что ли. Или за нелюдимство.

— Нелюдим — мизантроп, говорится. А философ — это, стало быть, человек, не обращающий должного внимания на все, что другим людям важно. Инако я объяснить не могу сего прозвища.

— Должно быть, оно именно так и есть,— заметил Галкин.

— Но выходит, друг любезный, противоречие. Выходит на мой рассудок, что князь Аникита — просто комедиант, глаза отводит добрым людям, прикидывается.

— В чем же, собственно? — удивился Галкин.

Орлов подумал, потом налил два стакана верхом, себе и офицеру, из вновь откупоренной уже второй бутылки кипрского вина.

— Ну-тка! Сразу и враз! — весело произнес он.— Хлопнем за успех того, что мне в голову вдруг полезло. Диковинное! Выпьем, чтобы не опростоволоситься.

Оба выпили вино залпом.

— Эдак я, пожалуй, ваше сиятельство,— заметил Галкин, показывая на бутылки,— пожалуй, нальюсь и из благоприличий выйду.

— И палить опять захочешь, по мне или по моим людям,— рассмеялся Орлов.

— Бог с вами! И поминать не надо. Такое на меня с горя затмение пришло.

— Ты как в вине — умнее или глупее?

— Ей-Богу, не знаю...

— Ну, слушай теперь меня... Коли не поймешь — завтра я еще поясню тебе натощак. Слушай. Коли твой Аникита Телепнев воистину самородный, а не самодельный философ, то он не должен был отказывать тебе в руке своей дочери. Ведь он тебя в глаза не видал, говоришь ты, никогда!

— Ни единого разу.

— Какой-сякой ты молодец — не знает...

— Нет-с...

— Большой ли, махонький, умный ли, глупый, добрый ли, злющий — ничего он не знает.

— Ничего-с.

— Понравиться ты ему лично не мог. И опостылеть тоже не мог. Ни медом, ни горькою редькой стать ему не мог. Так ведь?

— Вестимо. Коли никогда не видались... Да он черт и свинья! Вот что он! — вскрикнул офицер, пьянея, и стукнул кулаком по столу.

— Этого не делай, братец,— усмехнулся Орлов.— Стол, поди, худ, подломится, и все на полу будет, а я без десерта и без вина. Слушай.

— Простите... Я это... Я пьян...

— Слушай в оба. Аникита Телепнев знает про тебя только две вещи. Первое, что у тебя нет ни алтына за душой, а второе, что ты прозываешься по птице галке. Так?

— Да-с... Должно быть... Кружится у меня...

— Ну, вот, стало быть, ему как истинному философу след был иметь свой собственный суд и рассудить противно тому, как все люди судят. Для московских родителей, у коих дочь невеста,— ты бедный жених с глупою фамилией. Поэтому для Аникиты ты жених отличный, коего лучше не найти.

— Как же так?.. Я пьян! Ни черта... Я ничего, ваше сиятельство, не понимаю...— пробормотал офицер.

— А ты помалкивай да слушай, тезка! — вскрикнул Орлов.— Для философа деньги — трын-трава, сор презренный и дурацкий предмет. А прозвище человека — един лишь звук. Пойми! Звук, а не обстоятельство... Стало быть, кому другому, а Аниките, князю Телепневу, философу, бедняга Галкин, коего любит его дочь и кой сам врезался в нее, есть совсем подходящий жених, против коего у него ничего быть не может, по той причине, что он его никогда не видал и судить не может, а будет он по-философски рассуждать, то его рассудок долженствует ему... якобы философу... Стой!.. Уехало!.. Мой тоже рассудок, что долженствует... то по дороге растерял... Да и ты, вижу, ничего, ни бельмеса не смекаешь... Оба мы подгуляли!

— Н-нет... Я все...— глупо отозвался Галкин, хлопая глазами.— Я все... Только ни черта не могу понимать...

— Ну, стало быть, обоим спать пора,— рассмеялся Орлов.— Ты пьянее вина, а я сравнялся с ним. Спать!

А завтра я тебе расскажу, как я тебя женю на Телепневой княжне.

Галкин вытаращил глаза. Несмотря на то что голова его кружилась — слова Орлова поразили его.

— Вы что это?.. Как вы жените?.. Вы это, ваше сиятельство... с вина. И я с вина...

— Ладно. Завтра приедешь в Москву — ты сразу поймешь, как увидишь мои подходы к Аниките-философу.

— Я ведь в полк...

— В Москву, а не в полк! В полк после, с молодой женой... Эй! Ванька! Эй! Родные мои! Не погубите. Раздевайте барина! — закричал Орлов на всю избу.

Люди тотчас же явились гурьбой, одни втащили несколько охапок сена, белье постельное, подушки... Другие принялись быстро убирать все со стола.

— Господину стрелку рядом со мной постилай. Мы с ним тезки и приятели,— смеялся Орлов, раздеваясь.

XVII

На следующий день, около полудня, поезд графа Алексея Григорьевича въезжал в Москву чрез Тверской вал и, миновав заставу, повернул на Никитскую.

Здесь, невдалеке от маленькой приходской церкви Вознесенья, близ урочища, именуемого Всполье, весь поезд завернул в ворота и въехал в обширный двор.

Еще не так давно здесь стоял небольшой деревянный дом дворянина Григория Ивановича Орлова, исконного москвича. С той поры прошло лет пятнадцать и много воды утекло... Дворянин Орлов был на том свете, а его сыновья были уже графами Орловыми, и старший из них, граф Иван Григорьевич, никогда не служивший и не выезжавший из Москвы в Питер, жил на том же месте, где он и братья его жили еще детьми... Но теперь о маленьком деревянном домике и помину не было.

На Никитской, в глубине двора, с большим садом кругом, высились каменные боярские палаты с флигелями и службами. И здесь останавливались всегда братья Орловы, когда гостили в Москве.

Сам же граф Иван Григорьевич сделался чуть не первым сановником в Москве, силой, человеком властным, разумеется чрез своих братьев. И хотя он и не имел крупного чина, тем не менее начальствующие лица часто приезжали к нему с поклоном, постоянно прося

при случае «засвидетельствовать их всенижайшее почтение братцу графу Григорию Григорьевичу».

Едва только Москва, чиновная и дворянская, узнала, что граф Алексей Орлов прибыл, как начался нескончаемый ежедневный съезд и разъезд в палатах на Никитской.

Сам Алексей Григорьевич тоже сделал несколько визитов. Всех москвичей, которых он видел, граф озадачил сообщением, что хотя он и приехал в первопрестольную по случаю ожидаемого в ней пребывания монархини, но главным образом явился с благою целью, давно уже содержимою на душе,— жениться на девице-москвичке.

— Кто же эта счастливица? — спрашивали все, озадаченные, что еще ничего не слыхали о невесте и о предполагаемом браке графа.

— Сам еще не знаю!— отвечал и изумлял всех Орлов.— Поищу, посмотрю... Времени-то у меня мало. Да авось, Бог даст, успею.

Братья Орловы были давно известны своими затеями, «финтами и коленами» и, казалось, ничем уже никого удивить бы не могли. Поэтому подобная диковинная новость хотя и озадачила всех, но показалась совершенно «орловскою».

— В два дня разыщет невесту, а на третий и обвенчается,— говорили москвичи.— На то он и Орлов.

Разумеется, приезд графа Алексея Григорьевича с намерением жениться — стал происшествием, ибо совсем смутил много московских семей, где были налицо девицы-невесты. На всякого отца семейства напала таинственная тоска днем и бессонница ночью.

— Шутка ли? Наша Машенька или Дашенька. Да вдруг! Ведь и денег-то у него... И сила правительская... Чрез дочку и я могу... Ах ты, Господи!..

Однако сами московские Машенька и Дашенька хотя и взволновались тоже, но на особый лад. Они сразу только испугались и оставались день-деньской в испуганном состоянии. Некоторым из них, поглупее, новый диковинный жених представлялся даже в виде какого-то страшилища, за которого скрутят родители — не говоря худого слова.

Дошел слух о приезде графа Орлова и о цели этого приезда и до князя-философа... И он заволновался.

«В доме ведь тоже дочь невеста. И чем Юлочка хуже других девиц московских? Собой не дурна, полная,

румяная, веселая... По имени и нрав — сущая юла! К тому же старинного дворянского рода. Князья Телепневы почище этих, новоиспеченных, графов. И самой Москвы-то еще не было, а Телепневы, поди, уже были».

— Да... Обстоятельство изрядное! — говорил сам себе вслух Философ.— Стань вдруг Юлочка графиней Орловой — все потерянное когда-то, благодаря дружеству и водительству с Бироном,— все можно вернуть сразу. Да на что оно теперь нужно, в старости? Ну, все-таки... Чины да регалии вестимо не нужны... А власть — иное дело...

Видеть вокруг себя москвичей, ползающих на животах, ради протекции при зяте... Это всякого и в восемьдесят и в девяносто лет прельстит. Так сказать, защекочет человека где-то вот, под ложечкой, что ли?..

И хотя князь-философ тайно сердился на самого себя за эти мысли, а думать об этом «изрядном обстоятельстве» не переставал.

Давно ли он, живя в своей вотчине на Калужке, обращался мысленно к своему прошедшему и видел, что вся его жизнь — незадачливая,— пропала ни за грош... Раз сбился на проселок со столбовой дороги, и возврата нет. Сызнова жить не начнешь, утерянного не вернешь — умирай сереньким князем.

«А вот теперь, нечаянно-негаданно... Какая оказия! Вернуть все через Юлочку?!»

Таким образом приезд в Москву графа Орлова наделал более шума, чем когда-либо. Всегда все Орловы, заглянув в первопрестольную на побывку к старшему брату, заставляли немало говорить о себе праздных московских дворян. Но на этот раз и в Благородном собрании, и в частных домах, на обедах и на вечерах было особенно много пересудов и даже споров о том, кто на днях станет в городе силой, человеком власть имущим чрез своего негаданного зятя.

Сам Алексей Григорьевич времени не терял. У него были серьезные дела в городе, конфиденциальные поручения царицы, разнообразные поручения брата-фаворита, важные и любимые занятия по коневодству... Но вместе с делами явными и тайными он не забывал и дело о выборе себе подруги жизни. Бросив по приезде несколько слов вскользь о своем якобы намерении жениться, он замолчал и более не говорил о невестах и браке. Но зато, приглашенный всякий день на обеды и вечера, постоянно удалялся от мужской компании и каждый раз

вмешивался в кружок девиц, в их танцы или игры, участвовал и в «веревочке», и в «жмурках», и в «фантах» и даже однажды попал в круг, изображая мышку. Вряд ли Москва когда видела дотоле или увидит вновь такую мышку, исполинского роста, с Александровскою кавалерией на груди, с шутками и прибаутками — чисто русского ума. Многие из участвующих в этой «кошке и мышке» долго помнили потом — до преклонных лет вспоминали,— как играл с ними, заставляя всех своим добродушно-острым словом смеяться до слез, «один из стаи славных».

Действительно, екатерининские «орлы» были русские люди, каких почти не бывало ни до нее, ни после нее. В их природе, в их разуме и сердце был какой-то особенный размах... Будто ширь и простор их отечества отражались в них, воплощались в них... Эти люди были способны и на спокойное хладнокровие северного жителя, и на огневой порыв, страстность или увлечение уроженца юга. Отсюда являлась их способность изумительная и редкая — мешать дело с бездельем, вести государственное предприятие и смехотворную скоморошью затею рука об руку. И одно не мешало другому, не противоречило. Что бы диковинное ни сотворили они — современникам казалось, что так и быть должно.

Выстроить новый город в полгода! Завоевать, с маху, целый край, целую страну и поднести царице в ее именины в виде кренделя! Купить и спалить несколько кораблей в иностранном порте, ради иллюминации!.. Побороться с медведем!.. Выпить чуть не ведро сивухи без передышки... А то взять вражью твердыню без единого выстрела, пообещав солдатам на выбор либо сидеть голодом неделю, либо пообедать тотчас в неприятельской крепости.

«На все руки»,— говорится по-русски, и говорится верно.

Но ведь надо их «все» иметь от природы. А это тоже особый дар Божий. И посылается он, право, наипаче русскому человеку.

XVIII

Галкин, будучи снова в Москве, собственным глазам не верил, что его судьба так чудно повернулась. Неожиданная и странная встреча с такою личностью, как граф Алексей Орлов, не могла пройти бесследно.

Брат всемогущего фаворита императрицы стал для него фортуной. Отношения, возникшие между вельможей и бедным офицером, были таковы, что часто Галкину не верилось, действительность ли все происшедшее. Ему казалось, что он бредит, казалось, что вдруг он проснется и узнает, что все это был сон, а в действительности — он уже давно в Петербурге и в полку.

Граф относился к нему ласково и дружелюбно и, несмотря на свои дела и хлопоты, был видимо озабочен судьбой своего нового протеже. Тотчас по приезде, через многих своих прихлебателей и прислужников, даже через своих людей, Орлов собрал всякого рода сведения о философе и его семье, об его характере, привычках и причудах. Раза два повидавши мельком Галкина, граф сказал:

— Не унывай, дело ладится!

Эти слова доказывали, что Орлов что-то такое предпринимает.

Между тем появление Галкина в Москве крайне озадачило многих его знакомых, в особенности тех лиц, с которыми он наиболее сблизился. В том числе более всех была озадачена его возлюбленная, княжна Телепнева.

Однажды, увидев вдруг Галкина на улице, княжна была несказанно поражена, конечно, обрадовалась, но затем тотчас же ей пришлось расплакаться и проплакать целый день. Генеральша Егузинская, тоже видевшая офицера, недоумевала. А добродушная Бахреева, встретившая невзначай среди Москвы своего якобы уехавшего племянника, была поражена как громом.

Все это случилось по одной простой причине. Вернувшись в Москву, Галкин, во-первых, не остановился у своей тетушки. По приезде он пробыл один день в доме графа Ивана Григорьевича, а затем, к вечеру, переехал в маленькую квартиру неподалеку от Никитской. Во-вторых, выезжая из дому, офицер видимо избегал встреч со знакомыми, а нежданно наскочив на кого-нибудь, старался укрыться, отворачивался от всякого или просто не кланялся.

При первой встрече с Егузинской и с княжной Галкин, завидев их еще издали, бросился бежать от них, не только не подошел. В другой раз, повстречав свою возлюбленную, гулявшую с теткой на Тверской, и нечаянно сойдясь с ними лицом к лицу, офицер отвернулся и сделал вид, что не видит их.

Разумеется, через два-три дня все, видевшие офице-

ра, которого считали в Петербурге, крайне были озадачены его поведением. Бахреева в себя не могла прийти, какая причина заставила племянника вернуться, не остановиться у нее снова и даже скрываться от нее. Все это казалось, конечно, более чем сомнительным. А между тем причина была простая.

Граф Алексей Григорьевич строжайше запретил офицеру бывать где-либо и даже потребовал, чтоб он ни с кем не видался и не разговаривал.

— Будь в Москве так, как бы тебя не было, а иначе ты мне все дело испортишь и, стало быть, и свою собственную судьбу и свое счастие похоронишь,— сказал он.

Так прошло около недели.

За эту неделю в доме князя Телепнева уже два раза шла речь сначала с двоюродной сестрой, а затем с сыном о приезде графа Орлова в Москву и о странном слухе, который ходил по городу насчет его намерений.

Князь-философ, размышлявший, как и все отцы семейств, о том, что может случиться с каким-нибудь москвичом не нынче завтра, отнесся к делу совершенно иначе, когда зашла о нем речь.

— Позвольте узнать, братец,— сказала Егузинская, приехавшая однажды утром в бутырский дом,— слышали ли вы, зачем граф Алексей Григорьевич в Москву пожаловал?

— Не на то у меня уши, сестрица, чтоб ими всякие вздоры московские слушать! И ничего мне нет любопытного, зачем тот или другой новоиспеченный питерский вельможа приедет в Москву! — резко отозвался Философ.

Егузинская передала удивительную новость в подробностях. Подробности, конечно, были присочинены москвичами. Егузинская рассказала, что граф знакомится только с теми семействами, где есть дочери, приезжает, сидит молча по два, по три часа и якобы прямо, безо всяких околичностей, выглядывает себе невесту. Две молодые девушки якобы уже заинтересовали его более прочих.

Выслушав рассказ, князь насупился и проговорил сухо:

— Что же удивительного?.. И глупого ничего нет... Он все-таки русский барин и москвич. Ему и следует жениться на москвичке! У них в Питере девицы по воспитанию наполовину немки.

— Вот бы ему...— заговорила Егузинская и поперхнулась.— Вот бы ему...— начала она сызнова, боязливо глядя в лицо князя, и снова не договорила.

— Что такое? — сурово отозвался князь.

— Да вот бы к вам приехать познакомиться... И у вас есть дочь...

Философ окрысился сразу.

— Кроме пустобрешества ничего от вас никогда не дождешься. С каких безумных глаз поедет он со мной знакомиться? Он с тридцати лет уже генерал и вельможа. Воображает, поди, о себе невесть что. А я, что же? Я — старинного рода дворянин, и больше ничего! А что касается до моей дочери, то уж извините. Предоставляю другим московским дворянам глаза закидывать на такого жениха. Моей дочери он — не пара!

— Что вы, братец,— невольно воскликнула Егузинская,— как же, тоись, не пара?!

— Нет, матушка, не пара! И не Юлочка ему не пара, а он ей не пара! Я лучше ее отдам за прохвоста какого, чем за эдакого молодца, как Алексей Григорьевич Орлов. Влюбись он в нее завтра позарез, так я ее в деревню спроважу тотчас. Это еще хуже того Курицына... или как там... Рябчикова, что ли, которого вы приискали.

— Простите, братец, не пойму я вас. Как же не желать, чтобы дочь вышла за человека всемогущего в империи, богатого, красивого, да притом еще добрейшей души.

— Брехи! Брехи, сударыня. Все брехи! И богат он, и властен, это правда. Но у князя Аникиты Телепнева никогда не будет зятя, который бы смотрел так на него, как он сам смотрит на какую мелкоту. Не потерплю я, чтобы мой зять был выше меня и смотрел бы на меня как на какого прохвоста. Тому, кто женится на Юлочке, должно быть это в честь! Он должен гордиться тем, что на княжне Телепневой женат. А граф Орлов почтет, что сам делает великую честь, роднясь со мною. Не таков я уродился! И сами вы это твердо знаете. Мне нужно, чтобы зять мой стоял гораздо ниже меня.

Егузинская сидела, вытаращив глаза. Она до сих пор не имела еще повода не верить братцу-философу, а между тем теперь явное противоречие сказывалось в его мнениях за последние дни. И вдруг Егузинская, сообразив вполне, насколько князь противоречит себе, почувствовала, что братец-философ просто-напросто при-

творяется и лжет. Она вдруг почему-то посмелела и, глядя братцу в лицо, насмешливо улыбнулась.

«Была не была,— думала она,— не могу я ему спустить. Скажу. Ведь не побьет же он меня!»

— Позвольте узнать, братец,— кротко, но ехидно заговорила она,— какого же вы зятя желали бы? Я уже совершенно не понимаю. Недавно вы разгневались, что бедный офицер, хорошего дворянского рода хотел свататься за Юлочку. Говорить изволили, что он не годен, потому что много ниже вас по своему состоянию. А теперь сказывать изволите, не желали бы самого графа Орлова в зятья, за то что он много выше вас!

— Да-с! Так! Равного мне надо! Не хочу я — ни выше, ни ниже! — нашелся Философ.

— Простите, вы изволили сейчас сказать, что желаете зятя ниже себя по положению.

— Ну, пожалуй, и ниже, а не выше,— рассердился князь и тотчас же прибавил:— Так ли, сяк ли, сестрица, а ваш граф Орлов ко мне знакомиться не поедет! И я к нему, конечно, не поеду порог обивать. А если он ко мне и сунется, то я его,— продолжал князь, возвышая голос,— не прикажу пускать. По крайней мере, будет он знать и может рассказать там, у себя в Питере, что есть московские дворяне, которые не падки на паточный мед.

— Как паточный мед? Чем паточный? Что вы?— взволновалась Егузинская.— В чем тут подвох?

— Так-с! Отлично понимаете, что я говорю. Я признаю дворян исконных, древних, а не таких, что со вчерашнего дня в честь попали.

— Господь с вами, братец! Да Орловы — стариннейшие дворяне, не хуже нас с вами. Только графами они стали недавно. Так и все, братец, на свете когда-нибудь совсем простыми были. Ведь вот известно же, что при Ное или Аврааме совсем дворян не было.

— Ах, скажите пожалуйста! — вдруг понизил голос князь и заговорил умышленно-пискливо, якобы подражая голосу Егузинской.— Уж вы в философию пустились! С каких это пор? Скоро вы о государственных делах рассуждать начнете! Авраам, видите ли, вдруг вспомнился... Эх, матушка! Занимались бы гродетуровыми платьями, да чепцами, да салопами! Чулки бы вязали! Дело-то было бы по рылу! Да и я-то хорош!

Никогда с бабами не разговаривал, а вот целый час с вами воду толку.

На этом беседа, конечно, прекратилась, но через день в той же комнате снова возобновилась о том же между князем и его сыном.

Князь Егор тоже заговорил об Орлове, но с первых же слов заинтересовал отца. Князь Егор робко доложил любопытную, даже поразительную весть.

Граф Орлов, по его словам, на вечере у кого-то из начальствующих в Москве лиц много расспрашивал о князе-философе и выразил желание с ним познакомиться и побеседовать на свободе «об разных материях».

— Так-таки, батюшка, он и сказал. «Очень бы я желал князя где повстречать и с ним познакомиться».

— Ну? — сурово произнес Философ, и по голосу его, по одному этому звуку можно было бы догадаться, что он взволновался.

— Ну-с, ему отвечали, что вы не изволите нигде бывать, что вас повстречать мудрено.

— Ну? — тем же тоном повторил князь и засопел.

— Он тогда якобы выразил желание. Наверное я, батюшка, не могу знать, а так сказывали,— заранее оправдывался князь Егор.— А сказывали, что якобы выразил желание, если нигде вас не повстречает,— прямо ехать к вам, в Бутырки.

Наступило гробовое молчание, потому что вдруг князь-философ как-то съежился. Лицо его потемнело и стало сурово, а сын, опасаясь гнева, боялся даже дышать. Но вместе с тем молодой князь недоумевал. Хотя Егузинская рассказала ему, как отнесся отец к возможности познакомиться с графом Орловым, но тем не менее князь Егор не понимал причины такого отношения к делу. Ведь все то, что великая честь для всякого дворянина-москвича, не может же быть бесчестием для его отца.

Конечно, все знали в Москве, что Философ чудак и прихотник, но ведь и чудачествам мера есть. Впрочем, главное, что смущало и сбивало с толку молодого князя — как это бывало издавна и всегда,— его совершенная неспособность уразуметь, за что отца зовут философом и в чем, собственно, заключается наука философия.

Помолчав довольно долго, князь Аникита снова заговорил мягче и полюбопытствовал узнать, кто передавал сыну о намерении Орлова.

— Многие, батюшка! Человека три-четыре, которые слышали оное на вечере, так что я, собственно, сам верю, что все это — не выдумка. Полагательно, что не ныне завтра граф может явиться к вам. Я и счел сыновним долгом упредить вас... Если же, батюшка, паче чаяния, спросит у меня кто об этом, что приказать изволите ответствовать?

— Что ж у тебя спросят?

— Не могу знать, батюшка. Могут что-нибудь насчет графа и вас спросить. Что ж я отвечу?

— Ничего.

— Как же, тоись?

— Да что ты, оголтел, что ли? Русские слова перестал понимать? Тебе будут говорить, а ты ничего не отвечай или говори: «Не знаю». Или сказывай: «Не мое дело». Да и что могут у тебя спросить?

— Вас, батюшка, опасаются многие. Может быть, тому же графу Орлову доложат что-нибудь особое. Он и не захочет приехать.

— И хорошее дело! — выговорил странно князь.— Что ты полагаешь, подарил ты меня, что ли, твоею новостью? Не поедет ко мне — наплевать, а приедет — увижу, что и как. Какой еще на меня в те поры, сынок, стих найдет? Вот что!.. Хороший стих — приму, не хороший — так турну, что дверей не найдет!.. В трубу полезет!

Князь Егор поверил угрозе отца и испугался заранее.

«Уж лучше графу и в самом деле сюда не ездить,— подумал он.— Пожалуй, еще беда выйдет. Под суд оба попадем... На батюшку стих найдет неблагоприятный, а я-то как кур во щи угожу безо всякой провинности, а только по сыновней прикосновенности...»

Отпустив сына, князь-философ поднялся с кресла и начал бродить по комнате, видимо волнуясь. Наконец, ему вдруг стало тесно и душно. Он вышел и двинулся по всему дому, что делал редко. Но и во всем доме на этот раз было как-то особенно душно... Князь оделся плотнее, ради сырой погоды, и вышел в сад — в первый раз по приезде.

Граф Алексей Григорьевич не выходил у него из головы.

«Я-то лицом в грязь не ударю...— думалось ему в сотый раз.— А вот дочь... В девицу не влезешь, за нее не заговоришь. Моги вот я влезть в ее кожу на несколько дней, так уж не упустил бы эдакого жениха».

XIX

Наконец, однажды пред полуднем, в доме на Бутырках приключился некоторый переполох среди дворни. У подъезда появился верхом офицер, заявил себя посланцем от графа Орлова и приказал доложить о себе князю.

Хозяин тотчас же холодно и важно принял офицера, маленького и тщедушного гренадера, но не посадил, а выслушал его речь, стоя в зале у окна.

Офицерик даже несколько смутился этим приемом князя, ибо сам был из хорошей дворянской семьи. Однако он вежливо и скромно объяснил следующее свое поручение:

Граф Алексей Григорьевич прислал его к князю заявить о своем крайнем желании познакомиться и для этого нарочито приехал в Бутырки. Ввиду все-таки дальнего расстояния, граф желал бы приехать на целый день, откушать у князя, а затем и вечер остаться. При этом он желал бы видеть собственно одного князя и с ним провести день в беседе по душе, а поэтому просил бы никого гостей не звать.

За столом, конечно, пускай будут родственники князя, дабы и с ними мог познакомиться граф. Но днем желательно было бы остаться наедине ради приятного и полезного собеседования... К вечеру же если князь-хозяин того пожелает, то пускай созовет гостей хоть всю Москву, хоть целый бал сделает. Вечером граф очень будет рад и побегать, и поплясать.

Все это офицер передал князю очень почтительно, тонко и ловко, в лестном виде для Философа. В итоге вышло то, что князь любезно попросил офицера присесть, отдохнуть и даже пригласил закусить и выпить. Молодой человек отказался, спеша в город с ответом.

Философ дал ответ, что все будет исполнено буквально по желанию графа. С полудня он будет ожидать дорогого посетителя один, а к столу позовет сына, дочь и сестру. Вечером же будет в Бутырках настоящий бал и вся Москва. Князь попросил только три дня сроку для приготовлений и назначил для приема следующее воскресенье.

Офицер стал откланиваться и вдруг замялся несколько, как бы имея сказать еще нечто, но не решаясь...

— Изволите видеть, князь...— заговорил он.— Я должен прибавить одно слово, уже лично от себя, так

сказать... Не взыщите и не гневайтесь... Я ради графа и ради вас... Ради добрых отношений, каковые могут завязаться между вами. Позвольте говорить откровенно...

— Сделайте милость! — удивился князь.

— Вы бы не пожелали, конечно, сделать какую-либо неприятность графу. Пожелали бы исполнить не хитрую и не мудреную для исполнения причуду графа?

— Конечно. Блюда какие особые...

— Нет-с... Совсем иное... Изволите видеть: граф не любит шибко, когда его именуют в беседе сиятельством и графом. Ему надо просто сказывать: Алексей Григорьевич... Если кто его назовет когда иначе, он сейчас добрый дух и веселие теряет. Вестимо, дело идет о тех людях, которых он считает себе ровней... Поэтому если вы не желаете омрачать вашей беседы с графом, то постарайтесь ни разу не назвать его по титулу.

— Это совсем немудрено,— отозвался князь.— И я сердечно благодарю вас за предупреждение. От души благодарен! — с чувством прибавил князь, провожая офицера через залу до дверей прихожей.

Оставшись один, Философ просиял.

Половина того, о чем мечтал он за последние дни,— сбылась. Оставалась другая половина — мудренейшая, конечно. Из того, что граф пожелал с ним познакомиться, еще могло ничего ровно не выйти. Провести один день вместе — ничего не значит. Может быть, это будет первый, но и последний день. Они могут оба крайне не понравиться друг другу. Поважничай граф хоть немного, покичись своим положением, и князь спуску не даст.

«Придворный не выше столбового»,— было его любимою поговоркой.

Прежде всего, князь озаботился вызвать к себе тотчас же из Москвы сестрицу-генеральшу и, не скрывая своего веселого расположения духа, ласково встретил ее.

— Ну, сестрица, выручай. В кои-то веки пришлось и мне вот в ножки тебе поклониться.

— Что угодно? — ответила Егузинская, притворно изображая удивление, так как она уже знала чрез людей, кто в бутырском доме был в это утро.

Князь рассказал о появлении посланца графа, и Егузинская ахнула, снова притворяясь. Но когда князь передал, при каких условиях желает быть у него Орлов,— Егузинская ахнула уже непритворно, ибо была действительно удивлена.

— Целый день пробудет? — воскликнула она.— С полдня до полуночи?

— Да-с, такое его желание. Со мной беседовать...

— О важной материи, конечно... Стало быть, он уже видел где Юлочку? — сорвалось у Егузинской.

— Э-эх, сестрица. Сейчас и брех. Что же он, по-вашему, свататься, что ли, будет за девицу, которой не знает. Говорят вам, что он беседовать хочет. Со мной, а не с Юлочкой. Ее ему видеть нелюбопытно.

И князь, передав подробно, при какой обстановке желает быть граф, отчасти опечалил сестрицу, так как дамы должны были присутствовать только за столом.

Просьба князя к сестре была серьезная.

Философ, давно уже порвавший связь с обществом, теперь, по приезде в Москву, тоже не сделал никому визитов. А между тем надо для графа устроить вечер, надо позвать, как говорится, всю Москву.

Все на это есть... И дом обширный, не роскошно, но хорошо отделанный, с большою бальною залой, и серебра столового, всяких чаш и блюд, хранится немало в кладовых. Есть чем блеснуть всячески богатому дворянину, прожившему свой век «по одежке», сберегшему все отцово и нажившему еще свое.

А главного-то и нет. Гостей неоткуда взять. И добро бы проходимец какой пир задать собрался и ощутил недочет в знакомых. А то старинный дворянин и князь попал теперь впросак из-за своего нелюдимства и долголетнего сиденья на Калужке.

— Выручай, сестрица. Езди, проси всех. Егора тоже пошлю прощенья просить у всех и звать. А сам, вестимо, поеду к самым важным. Ко всем не успеешь.

— Не смущайтесь, братец. Все в Москве вас знают, на вас не гневаются, сказывают, что у вас нрав такой человеконенавистный! — смело отвечала Егузинская, чувствуя, что вступает в роль покровительницы и спасительницы Философа.— Будьте спокойны, будут у вас все на бале. Всяк захочет поглядеть, как вы будете чествовать графа. Не забудьте только потешные огни. Нынче без этого нельзя.

— От заставы до дому — тыщу бочек смоляных расставим. Довольно? — весело воскликнул князь.— Коли будет ветрено на городе, то всех обывателей задушим. Вся Москва задохнется от чада и копоти.

Братец с сестрицей весело расстались. Егузинская полетела в Москву с приглашениями, а князь начал отдавать приказания.

Бутырский дом вдруг ожил. Он даже не только ожил, а будто встрепенулся, вздохнул свободнее и задвигался. Все в нем сразу забегало и засуетилось. Гонцы верхом и пешком стали летать в город и обратно. Мастеровые, лавочники, подрядчики и всевозможный народ стал появляться на двор и в доме. Даже какой-то хромой солдат-артиллерист, служивый еще анненских времен, явился по своему делу и усиленно просил видеть князя. Солдат предложил сделать из пороха огненного петуха, который будет прыгать по земле и даже «кукарекать» прокричит. Разумеется, и петух был заказан. И самый большой — в сажень. Для прыганья его было назначено место в саду, в большой средней аллее, прямо пред окнами гостиной.

Чрез день вся Москва уже знала и говорила, что князь-философ отправил свою философию к черту и собрался веселиться и веселить.

— Видно, супротив Орловых ничто не устоит. Старый филин с Калужки и тот стрижом завертелся и соловьем запел.

И москвичи тоже повеселели. Коли будет бал у Телепнева-князя, то уж ахтительный.

Было, однако, одно существо в бутырском доме, которое не только не радовалось и не суетилось, а, напротив, горевало.

Княжна Юлия ходила слегка бледная, иногда украдкой утирала слезы. Утешать ее было некому, ибо все кругом сбились с ног. Отец ничего не замечал, а тетке было некогда.

Егузинская не раз приезжала из города и уезжала тотчас же. Повидавшись и переговоривши с князем, она спешила в Москву ради общих хлопот. Что касается князя Егора — он совсем смотался, помогая отцу сделать пир на весь мир.

А княжне Юлии было о чем грустить и плакать. Во-первых, возлюбленный ее снова в Москве, но ей не кланяется и никаких вестей о себе не подаст.

Во-вторых, нечто страшное висит над головой девицы, роковое, ужасное, сердце щемящее...

Ну, вдруг, на грех и на горе, да приглянется она графу Орлову!

«Что тогда делать?!» — плакала мысленно Юлочка. Она, любящая своего Алешу Галкина, да иди за Орлова. Что ей графство — ей, княжне, что его состояние ей — богатой невесте?

XX

В воскресенье князь-философ встал рано: ему не спалось. Едва он оделся, как пошел бродить по дому, где всюду шли всякие приготовления к балу. Но князь Аникита ничего не видел и будто не сознавал, где он, что делает и что происходит кругом него. Он был весь поглощен одною мыслью — ожиданием появления именитого гостя.

— Чем все это кончится? Ничем! Или чем-нибудь? Или всем!

Ничем — значило: одной беседой. Чем-нибудь — значило: сватовством и свадьбой Юлочки. Всем — значило много... «Все» — это было осуществление всех его честолюбивых мечтаний и замыслов еще времен... бироновских.

Почет, власть, сила!

И Философ совсем растерялся от волнения, ходил как угорелый, глядел как шалый. На доклады и вопросы людей он странно хлопал глазами и будто рычал. Изредка он шептал, а раза два произнес громко и тревожно:

— Ах ты, Господи! Вот...

Наконец, около полудня, роковая минута наступила. На дворе застучал экипаж. Щегольская карета, каких дотоле еще не видала Москва, остановилась у подъезда.

Князь, застигнутый в зале близ прихожей, не пошел своею обычною походкой, а бросился бежать рысью... Но не на встречу, а в самую последнюю горницу дома.

«Пущай холопы ищут для доклада!.. А он подожди!» — мелькнуло в его голове.

Чрез минуты три вся стая лакеев, ринувшаяся по дому искать барина, разумеется, все-таки нашла его там, где он почти запрятался.

— Его сиятельство, граф! Его сиятельство, граф! — доложил лакей и еще раза три повторил то же самое на все лады, очевидно от волнения и перепуга.

— Слышу! Чего заладил! Сорока! — каким-то странным голосом отвечал князь и тихою походкой двинулся к зале, из которой только что прибежал...

Но в следующей же горнице, диванной, навстречу ему кинулся Финоген Павлыч и, запыхавшись, доложил:

— Граф Алексей Григорьевич с господином Галкиным.

— Что?! — воскликнул князь. И, окаменев на месте, как истукан, он вытаращил глаза на старика.

Финоген Павлыч повторил то же самое, слегка смутясь от голоса и лица князя.

— Галкин. Офицер Галкин с ним? Почему?

— Не могу знать-с,— ответил старик.— Я их признал верно. А почему они с графом, не знаю-с.

Но князь уже овладел собою, насупился и выговорил глухо:

— Вестимо, дурак, не знаешь. Не тебя и спрашивают!..

И князь снова спросил то же самое, но уже мысленно и как бы себя самого...

— Почему? Зачем Галкин? Что это значит? Это нахальство. Он не может не знать, что я эту галку в дом пускать не желал. Это насильство.

— При графе в адъютантах состоят, должно,— робко вымолвил Финоген Павлыч...

— Умница, Финоген,— быстро выговорил князь.— Так! Так! Мне на ум не пришло. Умница!

И князь уже скорее двинулся к прихожей, ибо времени прошло довольно много. Хозяин уже становился невежлив по отношению к гостю за такое промедление.

«Сестрица не говорила, что он его адъютант,— думал, однако, князь, подвигаясь быстрее.— Так с собою прихватил? Без умысла! или с умыслом? По службе он с ним? или по знакомству? Если же прихватил мне в противность, то я... Да, я вам обоим покажу, как со мной насильствовать. Я вам сейчас покажу. Особливо тебе, галка... Увидишь».

Князь вошел в залу и прибавил еще шагу, любезно и даже несколько заискивающе улыбаясь. Пред ним были два офицера, два богатыря в совершенно одинаких мундирах, оба красивые, молодые.

Едва только князь появился в зале, как один из них двинулся вперед, приветливо улыбаясь, протянул руку и выговорил звучным голосом:

— Давно, князь, желал я иметь честь познакомиться с вами, много наслышавшись об вас.

Князь чуть было не произнес: «Ваше сиятельство,

я счастлив», но, вспомнив наказ офицерика-посланца, проговорил почтительно:

— Я счастлив, Алексей Григорьевич, что принимаю вас у себя. Для меня великая честь посещение ваше. Простите, что, в качестве нелюдима и бирюка, каков я есть, первый не явился засвидетельствовать вам все мое давнишнее к вам, особливое и сердечное...

Но в это мгновение второй богатырь вдруг придвинулся к князю и перебил его еще накануне заготовленную речь.

— Позвольте мне, князь, представиться,— почтительно заговорил он.— Я желал давно...

Князь сразу окрысился, косо глянул на говорящего и сухо произнес:

— Будьте гостем, если приехали.

И затем, не подав руки офицеру, хозяин обернулся к первому богатырю и прибавил мягким голосом:

— Пожалуйте ко мне в кабинет.

Но, увидя, что оба богатыря двинулись вместе, он взбесился совсем.

— Вы, господин офицер, можете здесь на свободе... отдохнуть от служебного долга. Или прогуляйтесь по саду...— холодно произнес он.

— Если позволите. Я уж лучше здесь. Посижу здесь,— смущаясь, отозвался этот.

— Как вам будет угодно! — сухо резнул князь и подумал: «Что, брат? Отшибли крылышки».

Хозяин и первый богатырь двинулись к кабинету, а второй остался в зале.

— Вы меня извините, Алексей Григорьевич. Вы желали сами побыть наедине... У меня к тому же есть свои причины относиться нелюбезно к вашему адъютанту.

— Я вас не понимаю, князь.

— Это мои домашние делишки.

— Я не понимаю, про какого адъютанта... Впрочем, вы хозяин и вольны поступать как вам вздумается. К тому же вы известный всей Москве философ.

— Да-с. И горжусь этим прозвищем.

Князь провел гостя к себе, усадил и, сияя, уселся против него. Его мгновенный гнев прошел. Он будто забыл или не сознавал, что если Галкин нахально очутился в его доме, то благодаря именно графу, а не по собственному побуждению.

Глядя в лицо своего гостя, князь должен был сразу

сознаться, что все слухи и толки об Алексее Орлове, об его красоте и его даре нравиться всякому с первого же мгновенья — совершенно справедливы.

«Молодец! Истинно молодец!» — думал князь, глядя на него.

Присмотревшись пристальнее, князь прибавил мысленно:

«Как же сказывали все, что у Орловых в лице тоже что-то орлиное... Ничего у него орлиного нет. Чуть не курнос. А все же славное лицо».

Князь стал тотчас расспрашивать именитого гостя о том, скоро ли надо ожидать государыню в Москву и какие будут празднества.

— Право, не знаю,— отозвался этот.— Сказывают, что скоро будет царица. А уж праздников, вестимо, куча будет.

— Уж конечно, самое дивное торжество для монархини у вашего братца будет? — сказал князь.

— Не понимаю вас, князь. Что вы желаете этим сказать,— быстро проговорил гость и поспешно добавил:— Полагательно, что скорее вы могли бы устроить самый дивный праздник для государыни.

— Я бы рад-радехонек, Алексей Григорьевич,— воскликнул князь.— Но я у царицы на особом счету. На худом!

— Как на худом?

— Да. За всю жизнь мою отзывается мне невольная ошибка, содеянная в молодости. Четвертый десяток лет отзывается. За все царствование покойной Елизаветы Петровны худо было, да и теперь во дни Екатерины — все по-прежнему...

— Поясните, князь. Я не понимаю, про что вы сказываете? — удивился и повел плечами богатырь.

XXI

Князь Телепнев оживился сразу и заговорил горячо... Сколько раз в жизни мечтал он когда-нибудь иметь случай рассказать кому-либо из сильных людей — всю незадачу своей жизни и обиду на служебном поприще из-за роковой встречи с Бироном.

И вот этот случай наконец теперь представился.

Князь стал подробно и с увлечением рассказывать, как приехал когда-то юношей в Петербург, как влюбился он в молодую девушку, которой покровительствовал

кровопийца-герцог, и как женился на ней. А из-за этого вся жизнь пошла прахом. И до сих пор отзывается.

В своем повествовании князь Аникита покривил душой. Он, конечно, не сказал, что своею женитьбою на немке желал выйти в люди, а попал впросак. Напротив, из его слов выходило, что он, в силу любви к молодой девушке, пожертвовал карьерой. Он якобы хорошо предвидел будущее падение Бирона и немецкой партии и затем воцарение «дщери Петровой», но любовь все превозмогла... И как ожидал он, так и потерял все... И вся жизнь повернулась иначе...

Гость слушал с большим вниманием рассказ князя и соболезновал.

Князь, окончив свое подробное повествование, ожидал услыхать что-либо себе в утешение, хотя бы намек, что не все пропало безвозвратно, что его положение поправимо, что если бы царица узнала все, то, быть может...

Но гость ничего не промолвил в утешение хозяина, а вдобавок рассердил его. Пришлось даже скрыть в себе ту досаду, которая сказалась вдруг в князе от замечания гостя.

Собеседник заметил, что такому философу и нелюдиму, как князь, и не нужно было бы все то, что он внезапно потерял от дружества с Бироном.

«Хорошо тебе рассуждать! — мысленно воскликнул князь и озлобился.— Влез бы ты в мою душу да поглядел, охотой ли я пошел в нелюдимы».

И он тотчас прибавил вслух:

— Так-то так, Алексей Григорьевич. Да ишь, бывает, философия приходит к человеку незваная... Вот, к примеру сказать,— не все иноки в монастырях от мира спасаются, иных загнала в пустынножительство обида на людей...

— Бывает,— со странным вздохом отозвался богатырь.— Одна неудача, другая, третья... И пойдешь в келью Богу молиться...

Наступило молчание. Князь был совершенно недоволен итогом своей беседы с именитым гостем. Он будто ждал чего-то от своей искренней исповеди и разочаровался.

Он снова повел беседу о Петербурге и о дворе, но гость на все вопросы хозяина о царице и о придворной жизни отвечал уклончиво, иногда отзывался полным неведением.

— Мне это все, князь, мало любопытно,— отвечал он.— В качестве петербургского жителя все эдакое видишь и знаешь, но собственно желания все это ведать нету во мне...

Истощив предметы беседы, князь заговорил умышленно о лошадях. Собеседник оживился и спросил — правда ли, что у князя есть шестерик коней, каких нет ни у кого в империи?

— Серебряный? Есть,— улыбнулся князь самодовольно.— Если не сочтете, Алексей Григорьевич, для себя беспокойством, то могу сейчас же вам его представить.

— Сделайте милость! — быстро поднялся с места богатырь.— Сейчас готов идти на конный двор.

— Так пожалуйте.

Через минуту хозяин и гость были уже снова в зале. Князь, сделав несколько шагов, остановился, и плохо скрытая досада появилась на его лице. Он снова увидел на стуле, около окна, плечистую фигуру офицера, о котором совсем было и думать перестал.

Но, конечно, не одно присутствие этого незваного посетителя рассердило князя, а уже совершенно иное и неожиданное обстоятельство. С этою «непрошеною галкой», как мысленно выразился князь, сидел его сын Егор, появившийся в доме раньше условленного времени.

Но и того мало!.. И то цветочки! А ягодки в том, что «дурень Егорка», сидя около офицера, бесцеремонно развалившегося, собственно не сидел, а как-то подобострастно торчал на кончике своего стула. Он, по-видимому, не только любезничал «с галкой», а унижался, «черт знает с какого дьявола»!

Едва только незваный гость увидел вышедших из кабинета, как тотчас же поднялся с места и принял вежливый и скромный вид. Пропуская мимо себя философа-князя, «галка» даже глаза опустила, встретив неприязненно-холодный взгляд хозяина.

«Нахал эдакий»,— подумалось князю. И затем, обернувшись к своему спутнику, он вымолвил, показывая на сына:

— Алексей Григорьевич, позвольте иметь честь представить вам сына моего...

— Мы, князь, уже знакомы...— проговорил гость.— Мы не раз встречались, хотя не упомню где...

Он поздоровался с князем Егором и быстро двинулся далее...

Князь удивился вдвойне, ибо, оглядев внимательно сына, заметил в нем что-то особенное. Спросить было нельзя — надо было следовать за гостем.

«Какой бес в тебя влез!» — подумал Телепнев.

Князь Егор показался отцу смущенным, будто оробевшим, даже имел вид совершенно потерянного человека.

Когда князь, сопровождая гостя, уже выходил на крыльцо, за спиной его раздался сдавленный и робкий шепот сына, догнавшего их.

— Батюшка... Простите.

— Чего ты,— обернулся князь, отставая от гостя.

— Я... Простите... Я за вас опасаюсь... Человек сильный.

— Что ты? Белены объелся?..— сильным шепотом отозвался Философ, сразу вспылив и грозным взглядом меряя сына с головы до пят.— Рехнулся, что ль? Тебе, дураку, самый лядащий питерский франт в страх и в диковинку.

— Стерпит, батюшка, а потом... отплатит!

— Дурафья-кутафья! — усмехнулся князь сердито и презрительно.

И Философ мотнул головой, как бы сожалея, каков дурак-сын у него уродился.

И князь догнал гостя, уже спускавшегося с крыльца на двор и поджидавшего хозяина.

Князь Егор, еще более смущенный, вернулся быстро в залу к своему собеседнику, а Философ поспешил извиниться пред своим гостем за то, что сын задержал его.

Через минуту весь княжий конный двор засуетился. Конюхи и кучера бегали и кидались как угорелые. Наконец началась выводка лошадей, которыми князь мог действительно похвастаться. После всех «на закуску», как доложил хозяин, был выведен известный на всю Москву шестерик серебристых коней.

Гость пришел в восторг от шестерика. Князь сиял довольством.

— Я бы почел за великую честь и за счастье,— вдруг вымолвил Философ, как бы вопросительно и с волнением в голосе,— если бы был удостоен дозволения поднести этих моих серебряных — государыне монархине.

— Полагаю, что такое право имеет всякий подданный,— уклончиво отозвался гость и тотчас же пере-

вел разговор на трудность подбирать коней, когда масть редкая и диковинная.

«А-а, вот что! — подумал сердито князь.— Понятно! Знакомиться хочешь, а чтобы я в тебе руку имел — не хочешь. Все вы — таковы!..»

XXII

Философ-хозяин и его дорогой гость перешли в сад и уселись на лавочке в средней аллее. Беседа их была особая, важная, даже, казалось, огромного значения для обоих, если бы кто стал судить по их лицам и глазам. И каким образом возникла подобная беседа? С чего пошла? Бог весть! Судьба!

Богатырь-офицер говорил, что не прочь бы жениться, так как холостая одинокая жизнь ему надоела, да, на беду, он полюбил девушку-москвичку, родные которой не желают принять его в свою семью.

Князь говорил, что удивляется, как могли найтись таковые люди, так как, по его уверению, он редко встречал более душевного человека, к которому поневоле «сердце ложится». Сдается, что такой именно человек должен всем понравиться так же быстро, как вдруг «пришелся по душе» ему, Телепневу.

— Вашими устами да мед бы пить, князь,— грустно и тревожно отозвался богатырь на горячую речь хозяина.— Но позвольте усумниться.

— Как усумниться! В чем?!

— Так сказывать изволите... Ради любезного гостеприимства и общежительских правил... Я не могу сметь думать, что в такой короткий срок я мог вам настолько понравиться.

Князь еще горячее начал доказывать гостю, что он, философ, людей знает и видит сразу насквозь. На что иному год нужно, ему, князю, часу довольно.

— Ваша прекрасная душа, Алексей Григорьевич, вся на ладони,— с чувством заговорил он.— Я нравом и речью прям! В жизни своей никогда не кривил душой... Кто бы ни был мой знакомый, большой ли, малый ли человек,— мне все едино. Недаром меня Философом прозвали.

— Положение мое особое, исключительное, князь...— заметил гость.— Иной желает дочь совсем иначе замуж выдать. Ведь вот и вы... Сознайтесь... Если бы... У вас вот дочь...

И гость запнулся, очевидно, не решаясь говорить.

— Что, собственно...— упавшим голосом выговорил князь и даже как-то повернулся.

— К примеру... если б я вдруг...— робко продолжал тот, и звук его голоса не шел к его богатырской фигуре...— Если бы я полюбил княжну и посватался... Вы бы, может быть, тоже не пожелали меня в зятья.

— Бог с вами, Алексей Григорьевич,— рассмеялся князь и чуть не испугался собственного смеха. Настолько этот смех был странен: хриплый, визгливый, неестественный.

«Точно скрип какой! Или режут кого по горлу!»

И в это мгновение все трепетало в Философе. Все «нутро» дрожало. И не от слов гостя, а от его многозначаще взволнованного голоса.

— Так вот, ради шутки... к примеру... князь,— быстро заговорил богатырь рвущимся голосом,— повстречал я княжну Юлию Аникитовну и влюбился в нее позарез. И вот, представьте, что я прямо сватаюсь, прошу ее руки... Представьте и ответствуйте. Ради шутки...

— Отвечу... Счастлив...— испуганно произнес князь.

Наступило мгновенное молчание.

— Я философ! — оправившись, снова заговорил князь.— И поэтому многие жизненные обстоятельства сужу по-своему. Мне все равно, высокое или низкое положение имеет человек, если он душой высок. Точно так же скажу и по отношению к таким важным делам, как брак детей моих. Вам известно, что сын мой Егор женился так, что вся Москва ахнула: Телепнев, князь, да вдруг женился на купчихе! Сказывают, якобы я прельстился, что у невесты миллион. Да ведь это не я женился, а мой сын — миллион-то его, а не мой стал. Также скажу про дочь: кого она полюбит, за того и пойдет, неволить не стану, и, как бы женихово положение изрядно ни было, мне нет до него никакого дела. Возьмем, к примеру, что вы стали много выше меня по вашему положению в обществе и при дворе.

— К примеру, князь,— отозвался богатырь,— но на деле этого нет.

— Ну, как же, однако. Я простой московский обыватель из российских дворян. Я ни до каких почестей не достиг. А вы уже в ваши молодые годы...

— Мало ли что кажет,— быстро прервал гость.— Наружный вид обманчив. Положение мое, князь, право, много хуже вашего. Но бросим, пожалуйста, эту мате-

рию побоку... Будем говорить о том, что если бы я признался вам в моем неравнодушии к княжне, а с ее стороны не было бы противности, то вы бы, князь, согласились па наш брак?

— Вестимо дело! — проговорил Философ и чувствовал, что снова все «нутро» дрожит в нем. Он готов был ощупать себя, чтобы вполне увериться: спит он, бредит или действительно сидит на лавке, в саду, а перед ним граф Орлов почти что сватается за его дочь. Гость между тем что-то говорил скромно, мягко, стараясь быть как бы уж чересчур вежливым. Но князь от волнения не слыхал ни слова.

Наконец он расслышал и понял, что гость выразил желание увидеть княжну. Князь будто очнулся, вскочил с места и предложил тотчас же идти в дом.

Когда они вошли в залу, она оказалась пустою: ни сына, ни «галки» не было. Вероятно, они тоже отправились прогуляться по саду до обеда. Князь провел гостя снова в свой кабинет и послал человека просить пожаловать к себе княжну.

Через несколько минут в горницу явилась Юлочка, встревоженная и слегка бледная. Но, войдя и увидя богатыря-гостя, она закраснелась. Он поклонился издали. Она сделала «реверанс». Затем, взглянув на отца, она еще больше вспыхнула, и глаза ее запрыгали. Ей вдруг почудилось что-то чрезвычайное... Отец был радостен, доволен, счастлив... Богатырь смущенно заговорил с нею, глядя ей в глаза, а Юлочка прочла и в его глазах, что положительно совершается нечто крайне важное. Но не худое, а скорее хорошее, дивное...

— Хитрить стала, лисичка! — погрозился князь пальцем на дочь, когда все трое уселись.— Ни словом мне не обмолвилась ни разу, что уже познакомилась с Алексеем Григорьевичем.

Княжна удивилась, широко раскрыла глаза и хотела отвечать отцу, но офицер не дал ей сказать ни слова и выговорил:

— Встречались сколько раз с княжной. Княжна любит танцевать. Я также иногда пускаюсь. Вот мы вместе и поплясали раза два-три, а то, может быть, и больше.

И затем гость перевел разговор на увеселения московские и петербургские, и беседа пошла о посторонних предметах. Князь, наблюдавший за дочерью и за гостем, совершенно смутился от радостного чувства,

которое всколыхнулось в нем. Не было ни малейшего сомнения, что гость влюблен в его дочь! Это видно было по его лицу, его глазам, его манере разговаривать с нею. Поразительным было для князя только одно: когда Юлочка успела влюбиться в красавца богатыря? А давно ли она собиралась за «галку»?

Общая беседа длилась около часу, но ничего особенного не было сказано. Результатом этой веселой и простой беседы было, однако, полное убеждение князя, что дело кончено. Пока дочь разговаривала с гостем, он изредка задумывался и каждый раз приходил все к тому же убеждению.

«Да, все кончено! Даже наверняка! Сегодня же вечером что-нибудь да окажется. Да, «за этим» он на целый день и просился в гости? Было у него заранее намерение. Ну, вдруг, ввечеру, на бале и объявим помолвку!»

И все нутро князя-философа уже не колыхалось, как прежде, а загоралось и огнем горело.

XXIII

Наступил час обеда. Князь с гостем и дочерью вышел в залу, где их уже ожидали сестра, сын с женой и незваный гость. При взгляде на сестру-генеральшу князь удивился и потом взбесился. Сестра тоже сама не своя, точно пораженная чем-то.

«Неужели же дурафья вообразила,— подумал князь,— что я ее «галку» приму да целоваться с ней начну! Такая же дура, как и сын».

Князь поспешил представить своему гостю сестру и молодую княгиню. Но гость отозвался снова очень быстро, что он уже имеет честь быть знакомым с обеими и тотчас же перевел разговор на другое.

Пока все стояли, обмениваясь незначащими словами, «галка» стояла несколько поодаль и вообще держала себя скромно.

Егузинская, ответив каким-то приветствием, тотчас же приблизилась к князю и шепнула ему на ухо:

— Братец! Помилосердуйте, что вы творите? Всему на свете предел есть! Уж это не философия! Это умалишение!

Князь выпучил глаза на сестру, слегка изменился в лице и прошептал:

— Не будь тут гостей, вцепился бы я тебе в загривок, сестрица, да выкинул бы твое превосходительство в окошко. Ну, вот пока получи...

Слов этих никто не слыхал, но все заметили гневное лицо хозяина и его сверкающие глаза. Егузинская отчасти оробела, но тем не менее дернула плечами. Движение ее и лицо сказали:

«Что ж! сумасшествуй! Мое дело сторона. Я — не философка. Не кусаюсь...»

Все сели за стол. Князь пригласил своего собеседника, которого уже очевидно полюбил душой, сесть по правую от себя сторону, а по левую позвал сесть сестрицу. Егузинская, видимо не решаясь, переминалась на одном месте и глазами показывала братцу на скромно стоящего в ожидании офицера.

— Сестрица, садись тут! — выговорил князь таким голосом, который равнялся военной команде.

— А вас, сударь мой,— прибавил он офицеру,— прошу около сестрицы. А ты, Юлочка, сюда,— показал князь направо на стул около своего нового друга.— Вы же, сынок и невестка, на нынешний день последними будете. Утешайтесь, что последние будут первыми,— пошутил князь.

Когда все были за столом, наступило неловкое молчание. Все переглядывались. За столом положительно происходило что-то особенное... или всем понятное, но умалчиваемое, или всем равно непонятное. Дорогой гость князя был доволен и счастлив, но как будто вместе с тем немножко встревожен. Другой богатырь офицер был только тих и скромен. Он, казалось, весь съежился, будто прося извинения. Он будто понимал, что явился незваным и поступил дерзко. Но ведь он же не виноват. Его привезли!.. И, видя холодность хозяина, он всею своею фигурой просил прощения.

Генеральша сидела окрысившись, вне себя, холодно и важно поглядывая на братца, но зато, обращаясь к своему соседу, всячески старалась придать лицу другое выражение, до крайности вежливое и предупредительное.

Юлочка была на седьмом небе, и едва только села, как начала болтать со своим соседом, сидевшим на почетном месте около ее отца.

Князь Егор был не только как в воду опущенный, но глядел на всех широко растаращив глаза и как-то особенно нелепо хлопал веками. Он моргал обоими глазами

так, как если б оба засорил пылью. Когда случалось ему встретить взгляд отца, Егор моментально опускал глаза и виновато смотрел на салфетку, которая лежала у него на коленях.

«Как вам угодно. Я тут ни при чем. Воля ваша»,— говорило его лицо.

Молодая княгиня относилась ко всему происходящему кругом нее точно так же, как и большая серебряная ваза, стоявшая среди стола с пятью бутылками вина. Княгиня была сама не живое существо, а предмет.

Разговор общий не завязывался. Юлочка весело болтала с соседом о московских вечерах, генеральша особенно почтительно задавала своему соседу разные вопросы, стараясь завести разговор. На некоторые он отвечал подробно и охотно, на другие, очевидно, не хотел отвечать и, сказав слова два, быстро менял предмет разговора. Когда Егузинская спросила у него о заморских землях, потом о Турции, то гость положительно замял разговор.

Наконец, после второго блюда, генеральша обратилась к братцу-хозяину и выговорила:

— Братец! Алексей Григорьевич, как я слышала, очень любит мадеру. Вы бы предложили угостить... У вас есть такая, какой по всей Москве не найдется.

— Точно ли? — обрадовался князь, обращаясь к гостю, сидящему направо около дочери.— Вы предпочитаете мадеру всем винам? У меня дивная!

— Извините, братец, я говорю про Алексея Григорьевича,— сухо заметила Егузинская.

— Ну! — удивился Философ.

Наступила пауза, и за столом как будто произошло какое-то легкое волнение. Даже оба гостя офицера взволновались, будто ожидая, что сейчас среди них упадет и разорвется бомба.

— Кажется, происходит недоразумение,— выговорил скромно сосед Егузинской.— Мы оба, князь, называемся одинаково. И я, и он, мой приятель,— могу выразиться, мой друг — оба мы Алексеи и оба Григорьевичи. Генеральша говорила обо мне, а вы подумали на моего тезку — вот и все.

— А-а-а! — протянул хозяин.— Вы оба!.. Да... Оба?!

И философ-хозяин остался разиня рот. Наступила снова пауза. Но затем оба гостя офицера, каждый со своей стороны, постарались завести разговор со своими дамами. И Юлочка и генеральша с удовольствием по-

могли своим собеседникам прекратить неловкое молчание. Но, однако, изредка, все они, и князь Егор, и даже княгиня-«предмет», взглядывали пытливо на хозяина.

Философ сидел неподвижно, слегка разиня рот, не глядя ни на кого и будто прислушиваясь. И казалось, что он прислушивается не к тому, что говорят вокруг него, а прислушивается к тому, что происходит в нем, или, наконец, к тому, что он сам про себя думает. Лицо его слегка переменилось, стало темнеть. Наконец, окинув весь стол каким-то странным, будто вопрошающим, взглядом, князь взялся рукой за голову и тихо вымолвил:

— Простите! извините! Мне что-то... Как-то... голова что-то... Простите. Я сейчас.

Князь быстро поднялся. Юлочка, перепугавшись, вскочила тоже, но князь остановил ее жестом и выговорил глухо:

— Сиди! Все сидите... Я сейчас. Немножко в голову ударило. Я сейчас...

И князь быстрою и твердою походкой вышел вон из столовой. Пройдя две горницы, он хотел двигаться далее, но остановился в самых дверях и пошел назад. Дойдя снова до дверей, ведущих в столовую, он будто вспомнил что-то, остановился и опять пошел назад. Потом он взял вправо, вышел к балконной двери, сел на первое попавшееся кресло и стал глядеть на стену ошалелыми глазами.

— Не может быть! — шептал он почти бессознательно, сам не понимая, что говорит.— Не может быть! Нет, так!.. Да как же это так? Что же это такое?.. Граф Орлов!.. Да не может быть! Фу! Господи помилуй! — выговорил наконец князь вслух и взял себя за голову обеими руками.

И он стал тяжело, с трудом отдуваться, как человек, который плывет и начинает терять силы. Князю даже так и представилось, что он плывет через реку и тонет. Как тонет?! Да он уже потонул! Да неужто нельзя вынырнуть? Вынырнуть можно... Положительно можно вынырнуть. И до берега можно доплыть. И назад можно вернуться. Да только одно — людей стыдно.

— Стыдно! Стыдно! Стыдно!

И вдруг князь заметил, что он повторяет это слово вслух, да еще громким и отчаянным голосом.

В столовой между тем шел тихий разговор. Все были смущены. Два офицера постоянно переглядывались, но

смотрели разно. Один был крайне смущен и встревожен, другой весело улыбался. Вскоре по уходе князя из столовой генеральша обратилась к своему соседу и вымолвила:

— Простите братца, Алексей Григорьевич. Вы знаете, недаром его прозвище философ. Но, признаюсь вам, я совершенно не могла ожидать, что братец может... Извините, как бы мне выразиться... Поведение братца совершенно неблагоприлично.

— Почему? Помилуйте! — удивился гость.

— Поведение его по отношению к вам совсем неблагоприлично. Нельзя эдакие поступки объяснять философией.

— Я вас не понимаю. Какие поступки? Полноте.

И офицер тотчас же прибавил:

— А что, у князя бывают боли какие головные? Вообще хворает он?

Егузинская объяснила, что брат очень полнокровен, что у него бывают приливы крови к голове и, вероятно, таковой случился сейчас; что положение его вообще серьезно. Надо бы больше обращать внимания на свое здоровье.

Понемногу разговор оживился, но, однако, все изредка поглядывали на дверь, за которою скрылся хозяин.

Наконец дверь эта отворилась, лицо вернувшегося князя все еще было несколько иное, изменившееся, более красное, но, по-видимому, он был совершенно спокоен и очень хорошо себя чувствовал.

Заняв свое место, князь сразу удивил всех своею болтливостью и игривым расположением духа. Он заболтал и долго болтал без умолку, обращаясь направо и налево ко всем без разбору и почти не давая никому вставить ни одного слова. Говорил князь о себе... Говорил, что за всю его жизнь считали его чудаком, а что никакого чудачества, собственно, в нем не было и нету. Живет он просто, «по-Божьему». И вот за эту простоту в своих жизненных обычаях, за простоту чисто сердечную, прирожденную его пожаловали в чудодеи, чуть не в комедианты, прозвали философом...

— Ну что же! Вестимо, я не открещиваюсь,— заговорил наконец князь, обращаясь уже к соседу своей сестрицы.— Я — действительно философ. Вот мы здесь все свои люди. Вы, Алексей Григорьевич, изволили пожаловать ко мне с вашим товарищем, другом или адъютантом,— собственно, я не знаю... Ну, с господином

Галкиным... Он вам не чужой человек. Я же здесь в семье. Стало быть, говорить можно все без обиняков. Все можно прямо сказывать, как оно на уме. Я, конечно, понимал, что вас очень удивило одно обстоятельство. Удивились вы, что я принял вас не так, как следовало принять именитого графа Орлова. Я стал с первой минуты обходиться на свой образец. Я радушно принял господина Галкина, которого имел причины не желать принимать у себя, а вас попросил... обождать... Давайте теперь говорить по совести. Теперь конец. Я больше хитрить не хочу. Скажу, я ожидал вас с особым удовольствием, так как мне великая честь, что вы соизволили ко мне пожаловать. Но когда я увидал, что вы прихватили с собой человека, которого я не желал у себя видеть, а именно Алексея Григорьевича Галкина, то я, признаюсь, обиделся. Ну, и действовал на свой образец. Теперь все, так сказать, повернулось кверху дном. За время моей беседы с Алексеем Григорьевичем я так был прельщен его душой, его умом, всем его обхождением, что теперь, прямо скажу, он для меня якобы близкий старинный приятель. Что делать! Человек предполагает, а Бог располагает. Привезли вы мне врага, а оказался он моим другом. Стало быть, и сердце мое на вас прошло. И вот теперь, Алексей Григорьевич, или позвольте здесь раз назвать вас по титулу — теперь ваше сиятельство, простите меня за мое холодное с вами обращение. Не ищите в этом ничего дерзостного. Простите философу и простите хозяину, который вдруг осерчал. Теперь сказываю: конец. Кто старое помянет, тому глаз вон. Я рад-радехонек обоим Алексеям Григорьевичам и обоих готов любить. А вас и много любить и много чтить, как великого российского гражданина и сына отечества, славного многими подвигами.

Князь кончил, и наступило молчание. Все были взволнованы. Даже Орлов сидел слегка смущенный, очевидно, хотел заговорить и не знал, что сказать. Наконец он пересилил себя и вымолвил:

— Простите вы меня, князь. Я не знал; я взял с собой Алексея Григорьевича, то есть Галкина, как адъютанта, при мне состоящего. Но, кроме того, признаюсь вам, что хоть я и мог слышать, что вы недолюбливаете его заглазно, но не придавал веры этому. Я не понимаю, как моего Алешу не любить! Недаром же мы друзья. Скажи-ка ты, Алешка! — прибавил граф через

стол,— есть ли на свете такие приятели, как мы, братец, с тобой?

Галкин ответил какое-то слово, но никто его не расслышал, настолько он был смущен.

— Знаете ли, князь,— продолжал Орлов,— что мы с Алешей в таких бывали иногда переделках, в такие решета с такими чудесами попадали, в которых истинная дружба сразу скажется. Говорят, надо пуд соли вместе съесть, чтобы друг дружку узнать. А я скажу, надо попасть в иное бедовое положение, в какие нам не раз с Алешей приходилось попадать. Вот в эдакие-то минуты я и узнал его душу, и хоть и много у меня друзей-приятелей в Петербурге, а таких кровных друзей, родных по душе, как Алеша Галкин — вот этот самый,— таких у меня других нет. И сколько я его люблю, столько он меня любит. Так вот, князь, эдакого приятеля, я признаюсь, и решился к вам с собой прихватить. Хотел, чтобы философ Телепнев с ним познакомился и перестал относиться к нему вражески, никогда в глаза не видавши. А что вы мне преподали некоторого рода урок за мой не совсем деликатный поступок, то вы правильно поступили. Ну, а теперь скажу тоже: «Кто старое вспомянет, тому глаз вон».

И граф, извинившись перед соседкой, протянул через нее руку хозяину. Князь быстро приподнялся, и оба крепко пожали друг другу руки.

XXIV

После обеда все перешли в диванную, и беседа оживилась. Граф Орлов рассказывал анекдоты, острил и смешил всех до слез. Все точно сразу ожили, все были довольны. Беда миновала, путаница распуталась, и все кончилось благополучно. Все были не только веселы, но, казалось, все были счастливы. Только один хозяин, говоривший громче всех, смеявшийся больше всех, изредка вдруг смолкал, и легкая тень появлялась на его лице или же он, едва заметно для других, подавлял в себе глубокий вздох.

В диванную подали десерт и множество всяких наливок. Граф оживился, перепробовав все наливки, и становился все веселее.

— Вот что, хозяин! — вдруг громко выговорил он, шлепнув себя рукой по ноге.— Давайте-ка мы с вами,

князь, о деле рассуждать. Ведь тут все свои люди. Ваша семья, да я с другом. Вы сказывали, что мой Алеша вам по душе пришелся, что вы его полюбили в несколько часов так, как если бы знали несколько лет. Так ли это? Правда ли это?

— Вестимо,— отозвался князь,— я же сказал. А от своих слов я не отрекаюсь.

— И правы вы. Малый золотой. И при нем говорю это и без него скажу. Недаром мы с ним первые друзья! Давайте же, родной мой, разные российские обычаи, самые коренные — побоку махнем! Хотите?

— Не понимаю, граф,— отозвался Философ, но слегка дрогнувшим голосом, так как тотчас же сообразил, про что говорит Орлов.

— Позволите ли вы? Да, впрочем, должны позволить... Вы философ. Вы должны любить и должны желать все эдакие обычаи, светские условия, выдумки людские почаще побоку... Ведь вы философ. Ну, вот скажите: если нравится вам Алеша так же, как и мне? Да если вдруг окажется такое диковинное обстоятельство, что мой Алеша любит княжну, а княжна тоже его любит, да и давно влюблены они друг в дружку — что вы на это скажете, князь?

Все присутствующие обмерли от слов Орлова и боязливо уставились на князя, ожидая его ответа.

— Что ж я...— зашептал он.— Я, право, граф... Я слышал, знал это... Сестра говорила. Но я господина Галкина не знал и ничего ответить не мог.

— Понятное дело! Но теперь-то вы его знаете и даже полюбили... Ну и давайте, князь, вот так-то, тут при всех: раз, два, три и готово!

Орлов хлопнул три раза в ладоши.

— Я сват. Раз! Сватаю моего друга. Два! Предлагаю вам его руку и его сердце для вашей княжны. Три! Согласны вы? Я и посаженым буду.

Наступило молчание, и продолжалось одно мгновение. Но это мгновение показалось вечностью всем, трепетно ожидавшим первого слова князя.

— Что ж я,— выговорил Философ, разведя руками.— Я ничего... Я, право... Как хотите...

— Да мы-то все хотим! — рассмеялся Орлов громко, и, поднявшись, он обнял сидящего князя.

— Золотой вы мой! Бриллиантовый! Мы все хотим. Вы-то вот захотите.

— Я что ж... Я...

— Ну, давайте расцелуемся, да и согласимся.

— Ей-Богу... Я, право... Я, граф... Я, то есть Алексей Григорьевич,— бормотал князь.

— Я сватаю друга. Я посаженый. Закатим бал, какого в Москве не бывало. Царица на бале будет и в первой паре с князем Телепневым пройдет в полонезе. Ну, философ, голубчик, родной, живо говори, согласен?

— Да я, граф!..

— Говори «согласен»!

— Ну, согласен.

Едва только князь успел выговорить это слово, как Орлов обхватил его, приподнял богатырскими руками с кресла и расцеловал несколько раз в обе щеки.

— Ну, образ несите родителю! — обернулся он.— Благословлять сейчас. Ну, княжна, целуйте родителя! И ты, Алексей, целуй! Благодарите!

Юлочка бросилась на шею к отцу и стала горячо целовать его. Но Философ только раз чмокнул дочь в щеку как бы бессознательно. Потом точно так же поцеловался он три раза с Галкиным и, совершенно смущенный и растерянный, чувствовал, что все перед ним идет кругом. Какой-то круговорот и неведомо: хороший ли, худой ли. Ведомо одно: если все это и хорошо, но много хуже того, что еще несколько часов тому назад представлялось ему.

Егузинская, сияющая и счастливая, принесла из спальни князя семейный образ. Князь благословил дочь и жениха. Начались целованья и всеобщая радость.

Наконец Орлов заметил, что пред балом надо всем отдохнуть — и хозяину и им — двум гостям.

Князь как будто даже обрадовался предложению. Проводив Орлова до маленькой гостиной на краю дома, где уже успели поставить кровать, князь прошел к себе в горницы и тотчас же вызвал к себе сестру.

Когда Егузинская вошла к нему, он встретил ее, ухмыляясь насмешливо.

— Что, сестрица! Давно мы с вами друг дружку знаем. А вот вы меня не знали... Думали, что я с великими вельможами, как какой-нибудь подьячий или прохвост, лицом в грязь ударю или меня лихорадка трясти начнет. А вот на деле-то не то. Вот я все-таки проучил вашего Орлова! Он мне нравится — душа человек, прелестный, а все-таки я его проучил: не вези ко мне без

моего спросу хоть бы даже своих приятелей. Ну, а на его счастье, да и на ваше, потрафилось все совсем особо... Что ж делать, ваша правда, славный малый эта «галка». Ну и Бог с нею, пускай он женится на Юлочке. Все произошло, слава Богу... Но урок-то все-таки я Орлову дал! Каков я был философ, таков и остался, таковым и останусь! Ну, вот все, сестрица. Теперь идите да тоже отдохните. Часа через два съезжаться начнут, надо нам быть на ногах.

Егузинская выслушала все, не проронив ни слова. Она пристально смотрела в лицо братца и, казалось, думала: «Кто тебя разберет! Ничего как есть не поймешь. Зачем тебе было учить? Ну, спасибо, на доброго человека налетел».

Егузинская прошла в горницы к племяннице, где был и князь с женой. Юлочка безумствовала: прыгала, кружилась, кидалась ко всем на шею и всех целовала.

— Чудодей — твой батюшка-родитель,— сказала Егузинская молодому князю.

— Нет, тетушка,— отозвался Егор,— я только сегодня понял всем сердцем, какой батюшка человек. Ему хоть с королями разными и с императорами водиться. Как это у него все выходит. Меня, тетушка, раз двадцать в жар и в озноб швыряло за весь-то день. А вон оно, что вышло-то! По правде-то сказать, тетушка, ничего даже не разберешь.

— То-то, голубчик мой, и мне так-то сдается, что ничего не разберешь. Ну, да слава Господу, кончилось-то не бедой.

XXV

Часа через три весь бутырский дом был переполнен сплошною блестящею толпой. Действительно, вся Москва явилась в великолепный освещенный дом князя. Вокруг усадьбы в сторону Москвы стояло столпом целое зарево: тысяча бочек смоляных пылала. Князь будто предвидел и предсказал: весь чад и дым тянуло ветром на Москву.

Действительно, в эту ночь Москва могла задохнуться от пирования князя-философа, и если не очумела от копоти и смрада горящей смолы, то ей пришлось очуметь наутро от того, что рассказывали про поведение князя с графом Орловым.

В восемь часов, при всех гостях, в большой зале, князь Телепнев, взволнованный и возбужденный, взял за руку дочь и объявил, что она помолвлена и невеста Алексея Григорьевича Галкина.

Начались поздравления. Затем, когда суетня стихла, по данному знаку оркестр грянул полонез, и бесконечная вереница пар двинулась тихо по зале. В первой паре шел граф Орлов с генеральшей Егузинской, а за ними князь с дочерью.

Сделав круг, князь подозвал стоявшего у стены жениха и выговорил:

— Ну, получай из рук в руки и веди дальше,— и по зале, да и по жизненному пути.

И князь, поставив на свое место богатыря-офицера, положил ему в руку руку дочери, а сам отошел в сторону. И пред его глазами в ярко освещенной зале стал скользить большущий змей. Это была вереница пар. Но вдруг князю показалось, что это не гости, а что это — действительно большущий змей, который извивается по зале и вот сейчас обхватит его, задушит, ужалит...

— Офицерша Галкина! — повторял он про себя.— По собственной и несказанной глупости! Бывали дураки на свете, но таких дураков, как ты, Аникита,— стоял свет и будет стоять, а не было! Ах, дурак, дурак! Нет, вот дурак-то! И никого не обманешь. Как ни ломайся, а наутро всей Москве будет все понятно. И я знаю, как вся Москва тоже знает, что никогда Галкин его другом не был. Будь правда — было бы и прежде известно. Все было подлажено меня обморочить. И пустили мороку! И одурачили на всю жизнь. Теперь одно тебе... На Калужку беги! Запирайся и никогда уже больше людям не показывайся.

Но пока князь думал, раздумывал и все бушевало в нем, в его опущенную голову стучало все сильнее. Наконец зал из яркого розоватого стал темно-красным. Змей большущий тоже стал пунцовый и вместе с тем — зацепил он, что ли, князя,— но вдруг его шибко ударило чем-то по голове.

В полусознательном состоянии князь все-таки понял, что он уже лежит на паркете, что ему нехорошо, что вокруг него много народу. И все нагибаются, хватают его за голову, за руки. А ближе всех лицо сына и дочери, а за ними лицо графа Орлова.

XXVI

Князь-философ опасно заболел. С ним случилось именно то, что в семье смутно ожидали за последние годы. При его темпераменте и сидячей жизни он именно должен был опасаться удара.

Большинство москвичей дворян умирало так. Избыток здоровья, горячий темперамент и спокойная, беззаботная жизнь, при излишестве в пище, питье и сне, приводили всегда к одинаковому концу.

Если бы теперь в жизни князя не случилось никакого чрезвычайного происшествия, то он, быть может, все-таки раньше или позже подвергся бы удару. Чрезвычайный случай со сватовством только ускорил появление того, что всегда грозило.

Князь лежал в постели в полусознательном состоянии: у него отнялась правая рука, отчасти нога и слегка перекосило лицо. Однако доктора надеялись. Главный московский доктор-немец, с прозвищем Штадтфизикус, навещал больного всякий день и смело утверждал, что, при натуре князя, он может еще оправиться.

Князь Егор с женой и Егузинская переехали в бутырский дом и были неотлучно при больном. Вся Москва только и говорила, что о случае с князем-философом. Мнения разделились. Одни утверждали — и, конечно, меньшинство,— что проделка графа Орлова со старым князем — поступок совсем негодный, оскорбительный для всего дворянства, что эдак шутить нельзя. Если может кто так шутить, так разве только «господа» Орловы, которым все трын-трава и море по колено. В особенности негодовали отцы семейств.

Большинство, однако, было совершенно противоположного мнения. Оно утверждало, что никто тут не виноват или сам князь виноват. Философ опростоволосился и, вдобавок, болезнью своею выдал сам себя. Все отлично поняли, что удар, приключившийся с князем, был прямым последствием оскорбленного самолюбия и обиды от той ловушки, в которую князь попал.

Не изображай он из себя философа, знайся с людьми, действуй проще — никогда бы ничего подобного не приключилось. Бывай он в гостях, увидел бы он графа Орлова где-нибудь на вечере, и обман, или «финт», стал бы невозможен.

Действительно, выходило так, что князь был сам кругом виноват. Его не обманывали — он сам себя обма-

нул. Правда, его немножко подвели, но не какою-либо особенною адскою хитростью. Все случилось чрезвычайно просто. Если же вышло особенно удачно, то по не зависящим от Орлова и Галкина обстоятельствам.

Конечно, распустив слух о намерении жениться, граф похитрил немножко, но все-таки в самой проделке с князем прямого обмана не было. Затея могла и должна была не удаться, а случайно удалась вполне. И удалась как-то особенно просто и скоро. Разумеется, ожидать следовало, что князь-философ настолько самолюбив, что все скроет в себе и виду не покажет, что разыграл не философа, а простофилю. Но природа взяла свое, и приключился удар от нравственного потрясения.

— Все нутро перевернулось. Кондрашка и хватил! — объяснили москвичи.

Вся семья князя: сын, дочь и сестрица, хотя и были смущены, но, конечно, не могли считать себя виновными. Они не участвовали в проделке Орлова. Даже сам Галкин и тот считал себя виновным наполовину. Быть может, лишь одному Орлову было всего неприятнее все приключившееся. Он ожидал нажить в князе временного врага и затем умилостивить его, но никак не ожидал, что вдруг запахнет смертью.

С первого же дня болезни князя Орлов всякий день присылал кого-либо из своих адъютантов или секретарей узнать об его положении. К общему удовольствию, чрез несколько дней больному было уже немного лучше. Доктора надеялись более, чем когда-либо, на выздоровление. Наконец, чрез дней десять, князь уже мог слегка двигать рукой и ногой. Семья вздохнула свободнее.

Но теперь представлялось вопросом, как поступит князь оправившись.

Княжна Юлия и Галкин боялись, что свадьба расстроится. Князь, вероятно, хотел все скрыть ото всех и поэтому согласился на свадьбу. А теперь, когда все огласилось, когда всякому в Москве известно, что он стал жертвой обмана, что он настолько оскорблен, что даже заболел, легко может случиться, что он пойдет на попятный двор.

В конце второй недели болезни князь начал быстро оправляться. Штадтфизикус перестал уже ездить в Бутырки и снова говорил везде, что русские натуры составляют исключение, а в Москве попадаются среди дворянства такие люди, которые созданы на какой-то

особый лад, умеют умирать и воскресать. И будучи сам немцем, Штадтфизикус переделывал русскую пословицу и говорил: «Что немцу на умирание, то русскому на проживание».

В тот день, когда князь сошел с постели, уже изрядно двигаясь, и при помощи людей и костыля доковылял до кресла, чтобы посидеть, в бутырский дом приехал посланец Орлова. Он имел поручение спросить, угодно ли князю Телепневу принять графа Орлова, и если угодно, то какое он назначит время.

Князь велел отвечать, что готов принять графа когда угодно.

Что было в душе Философа, когда он первый раз очнулся в своей кровати, и что было теперь, никто не знал. Князь Аникита не обмолвился ни единым словом. Он знал отлично, что Москва поняла смысл или причину его болезни, и невольно сознавал, что разыграл совершенно глупую роль. У него хватило силы воли все скрыть. Разум послушался, но тело не послушалось. Нравственный удар самолюбию был настолько силен, что повлек за собою другой, физический. Продолжать теперь притворяться, уверять всех, что он рад и счастлив, что болезнь приключилась независимо от обстоятельств, было еще глупее, ибо никого не надуешь!

— Что же делать? — спрашивал себя князь.— Отмстить и не соглашаться на брак или просто примириться, признаться, что подвели, поддели, и отнестись к этому добродушно? Ведь беды или несчастия никакого не будет... Напротив, будет счастье для дочери...

Раздумывая о том, как отнестись к происшествию, выздоравливающий князь не пришел ни к какому решению. Иногда приходили минуты озлобления и раздражительности, а затем сменялись минутами спокойствия и примирения... или же, вернее, жизненной усталости и равнодушия ко всему на свете. Семья окончательно не знала и не могла предугадать, чем все разрешится. Она, разумеется, ожидала с нетерпением, когда князь совсем поправится. Орлов обещался им всем быть у князя при первой возможности и просить у него прощения. А пока о женихе никто князю не должен был говорить ни даже поминать.

И вот появился посланец от графа, а затем, однажды вечером, на двор бутырского дома въехала хорошо известная в городе карета. Когда князю доложили о прибы-

тии именитого гостя, он заволновался и выговорил глухо:

— Проси. Скажи, сожалею, сам встретить не могу...

Затем князь выслал родных из комнаты, остался один и стал ожидать.

Чрез несколько мгновений, в блестящем мундире и регалиях, бодрою походкой, с добродушно улыбающимся лицом и ясным взглядом, вошел к князю в спальню тот же богатырь, которого он так недавно продержал несколько часов на стуле около передней. Граф поздоровался с хозяином, расцеловался, уселся около него и, положив руку ему на колено, стал с участием расспрашивать, как он себя чувствует.

XXVII

Чрезвычайная, влияющая на всякого простота в обращении, непринужденное добродушие и в лице, и в голосе, вся манера держаться и говорить — тотчас неотразимо подействовали на князя. Он сразу стих, примирился... Вдруг показалось ему ясно, что насколько все естественно в этом человеке, настолько в нем, князе, якобы философе, все фальшиво. Этот живет, чувствует и мыслит просто: что он есть, то он и есть! А он, князь, что-то такое выдуманное, деланное, взаймы взятое. Что он такое всю жизнь из себя корчил и представлял?.. Он комедиантствовал! Играл со всеми и доигрался до ловушки.

Положим, что в жизни этого молодого богатыря и красавца была только одна удача. Ему бабушка ворожила. А в жизни князя с первого шага, с приезда на службу, была только неудача за неудачей. Он был обижен судьбой, которая не дала ему ровно ничего изо всего, что ему желалось.

— Ну, давай, князь, говорить по душе. Все на ладонь! Слышь-ка? — заговорил наконец Орлов, придвигаясь еще ближе к креслу больного и кротко глядя ему в лицо.— Я хоть и виноват, но все ж таки не совсем. Я ведь не мошенничал. А коли смошенничал, то самую малую толику. Я только скромничал да якобы в конфуз обретался. Знаю, что теперь вы меня возненавидели, на меня обиделись и так даже глубоко оскорбились, что захворали... Все это я разумею. И очень мне больно все и стыдно... В моем положении не след было никакие

колена отмачивать. Да уж очень жаль мне было доброго молодца. Но все ж таки, друг, ведь особой напасти мы не затевали тут никакой. Ежели немножко в Москве на твой счет злые языки развязалися, так плюнь на них. Будь вот теперь настоящим философом!

Князь хотел что-то ответить, но не знал, что сказать.

— Скажите мне: очень вы на меня озлобились, по правде? — произнес Орлов.— По сущей по правде!

— По сущей по правде, граф, был я тогда сильно обижен. А теперь, после того, что пожаловал ко мне и свистнул меня Кондратий Иваныч, как-то иначе сдается все... Ведь Кондрашка — не свой брат! Ведь я чуть не помер! Вот оно теперь все эдакое... людское или житейское представляется в другом виде... в грошовом, что ль...

— Ну, вот, родной мой! — воскликнул Орлов.— Вот истинно! Эдак-то вот философы и рассуждают.

И при этом Орлов положил снова руку на колено хозяина и прибавил:

— Вот теперь вы — истинный философ. Да! Эта людская суета кажет важным, когда человек глупостями занят. А в случае большого горя, большой болезни сейчас все это обернется нам пустяками и очам нашего разума кажет лишь маревом. Итак, князь, дружище, прежде всего мы решим первое дело. Вы на меня не злобитесь? Я тебе, князь, не стал враг на всю жизнь, сказывай по совести.

Князь взглянул в лицо Орлова, невольно улыбнулся и произнес мягче, чем когда-либо в своей жизни:

— Нету... Какой враг! Где же!.. На вас поглядеть, нешто можно на вас злобствовать? Недаром вас любят все...

— Стало быть, простили вы меня?

— Что об этом, граф... Бросим...

— Ну, и слава Богу! Первый вопрос решен. Мы, стало, с вами на всю жизнь други-приятели. Каждый раз, что я приеду в Москву, то сейчас же к первому к вам. Я у вас виноватый и прощенный и, стало быть, я у вас в долгу. Теперь второе дело. Подлинно ли вам Галкин так отвратен? И чем? Опять-таки говори, князь, по правде, по совести, без утайки.

Князь слегка двинул плечами и вымолвил:

— Нет, что же... Он малый не глупый... дворянин... Дочь в него врезалась. Вот по имени-то фамильному...

— Что же? — перебил Орлов.— Не понимаю...

— Что? Галка... Сами знаете.

— Господь с вами! — воскликнул Орлов.— Вот где философья-то нужна! Такие ли прозвища на свете есть! И как не стыдно не только философу, а даже простому разумному человеку на эдакое обстоятельство внимание обращать. Чем же телепень лучше? Ну, положим, птица орел лучше птицы галки...— рассмеялся граф.— А уж телепень, право, не лучше галки.

И смех Орлова был настолько заразителен, что и князь начал смеяться.

— Ну, теперь решим третье дело. Веришь ли ты, князь, что я отношусь к Галкину сердечно, что вся наша затея — не просто для меня времяпрепровождение? Веришь ли ты, князь, что я Галкина не оставлю и судьбой его займусь, как если б он был моим родственником?

— Не знаю,— отозвался князь.— Полагаю.

— Нет, не полагайте, а будьте уверены. Он мне по сердцу пришелся еще под Москвой. Ведь вы не знаете, как мы с ним повстречались, как он по моим холопам из пистолета палил. Это я все когда-нибудь вам расскажу... Так вот теперь, стало быть, я должен прибавить еще то, чего вы не знаете. Ваш будущий зять, офицер Галкин, если Бог даст мне и ему жизни и здоровья, годков через десять, а то и раньше, будет почище иных прочих, которых вы делали в женихи княжне. За это я вам отвечаю моим орловским словом. Проживите вы еще на свете десяток лет, и сами мне скажете, что довольны судьбой зятя и своей дочери. Все житейское в руках царицы нашей, а я у нее не последний человек. Ну, князь, так как же? Как порешишь?

— Да что же решать? Все решено.

— И перемены не будет?

— Нет, как можно...

— Все можно, князь. Поди, во время болезни не раз вам про нас думалось: вот дай срок, выздоровлю, я вам себя покажу!

И Орлов снова рассмеялся.

— Что? Разве не думалось так? Не собирались вы, лежа в постели, начать по выздоровлении калачики загибать — и мне, и Галкину, и даже дочери родной?

Смех Орлова настолько действовал заразительно на князя, что он не только развеселился, но даже чувствовал себя как-то лучше и бодрее. И вдруг князю-философу пришла мысль не только тотчас же согласиться на все и успокоить всех, но даже сделать что-нибудь большее

— Не знаете ли, граф, где теперь Галкин? — вдруг спросил он.— Я бы желал за ним дослать!

— Дослать за ним недалеко. Я его привез с собою, и он сидит в зале с вашим сыном.

— Ну, вот и прекрасное дело! Я встать не могу... Уж вы потревожьтесь — позовите всех сюда, а в том числе и нареченного.

Чрез минуту появились в горнице все: дочь, сын, Егузинская, а за ними и богатырь нумер второй, но в том же простом гвардейском мундире. Все были взволнованы, но с радостными лицами.

— Юла, иди сюда,— ласково произнес князь, улыбаясь.— Ну, и ты тоже, самозванец, поди! — обернулся он к Галкину.

Когда молодые люди приблизились к его креслу, князь поглядел на них: снова улыбнулся и, обратясь к графу, выговорил:

— А ведь и впрямь он ничего! А к его прозвищу я привыкну. Ведь привык же я к своему. Ну, дети, вторично даю я вам мое согласие на брак, но уже безо всякого остервенения. А уж как я тогда был остервенившись! А уж пуще всего вот на его сиятельство. Помнится, разнес бы я не то что свой дом, а и всю Москву бы испепелил. Ну, когда же ваша свадьба? Приданое у нас давно заготовлено, стало быть, все дело за попом, а меня до церкви довезут. Вы вокруг аналоя походите, а я посижу да погляжу.

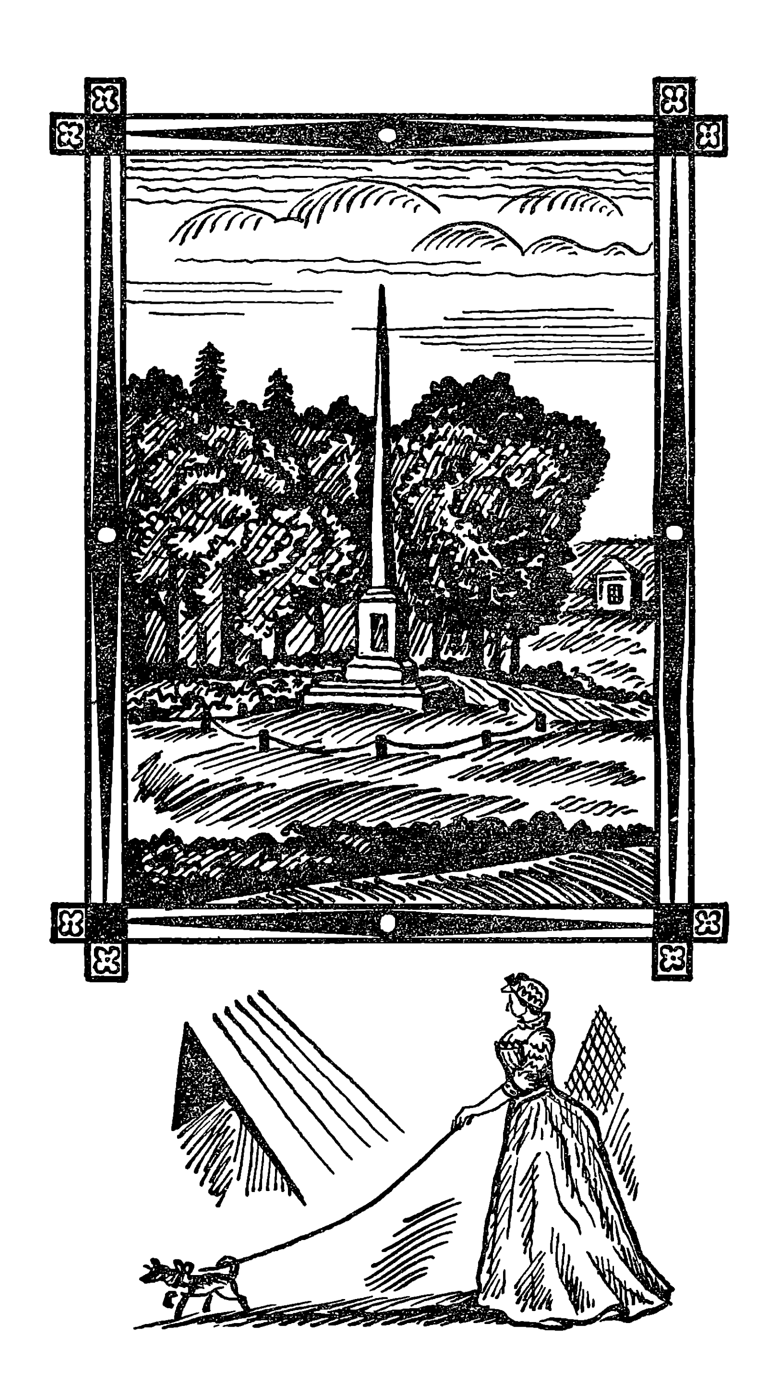
Чрез полчаса со двора князя Телепнева выехала карета Орлова, увозя шутника-вельможу, но привезенный им офицер остался в доме, и все его поздравляли. Весь дом бутырский заходил ходуном.

Не только семья, но и люди, заглянувшие в горницу барина-князя, удивлялись перемене, которая с ним случилась. Князь смотрел не только не сурово, но смотрел так, как никогда не бывало прежде. Он глядел «по-орловски» — заразительно добродушно. А то, что ему теперь думалось,— были думы истинного, а не поддельного философа.

СЕНАТСКИЙ СЕКРЕТАРЬ

Исторический рассказ





I

В августе месяце 1791 года, около полудня, по маленькому переулку Петербургской стороны двигалась рысцой тележка парой лошадей, усталых и взмыленных. Мужичонко, приткнувшийся на облучке, не только не погонял лошадей, но почти дремал.

В тележке сидела очень молоденькая девушка, совершенно запыленная, но с оживленным лицом. Она с видимым нетерпением поглядывала на возницу и лошадей.

— Подгони, Игнат! — выговорила она жалобно.

Слова эти пришлось ей произнести во время пути по крайней мере с полсотню раз. Мужичонко на этот раз очухался, встряхнулся, дернул вожжой, но прибавил:

— Да уж что ж подгонять?! Приехали...

— То-то приехали! Шутка ли? От Царского Села больше четырех часов ехать.

Тележка завернула в другой переулок, повернула опять и остановилась у маленького домика, ярко выкрашенного зеленою краской.

Молодая девушка при виде домика уже заволновалась и по-видимому готова была выпрыгнуть на ходу. Едва только тележка остановилась, как из домика за ворота выбежал молодой человек, а за ним поспешно, но переваливаясь с боку на бок, вышла пожилая и полная женщина.

— Что? что? — заговорил молодой человек, помогая девушке вылезти из тележки.

— Все слава Богу! Все хорошо! — отозвалась она.— И царицу видела.

— Как?!

— Видела, видела царицу... Близехонько...

Молодая девушка бросилась на шею пожилой женщине, матери, расцеловалась с ней и затем вошла в дом.

— Ну, Настенька, уж и запылилась же ты! Гляди-ка,

вся спина белая... А волосы-то! Смотри-ка, седая или будто в парике напудренном...

— Устала небось? — прибавил молодой человек, влюбленными глазами оглядывая девушку.

— Нет, не устала... Дайте умыться, переодеться, и все расскажу. Все слава Богу! Дядюшка согласился. А царицу видела! Видела...

— Царицу-то как же видела, скажи? — спросила, изумляясь, мать.

— Видела, видела...

— Заладила одно: видела... Да скажи, как, где!..

— Дайте срок, переоденусь, все подробно расскажу. Видела, вот как вас вижу. Поклонилась. И она мне поклонилась, усмехнулась. Ей-Богу!

Переменив платье, девушка вернулась и рассказала подробно все свое далекое путешествие.

Настенька ездила в Царское Село к дяде родному, священнику, чтобы сообщить ему важную семейную новость и просить если не его собственно согласия, то подтверждения решения матери. Дело было важное...

Анна Павловна Парашина уже давно была вдовой и мирно проживала с единственной дочерью Настей на пенсию после покойного мужа, бывшего когда-то актуариусом в берг-коллегии. Мать и дочь не бедствовали, кое-как сводя концы с концами, и даже нанимали квартиру в четыре горницы. Но за это лето случилось у них самое крупное, какое когда-либо бывает в жизни, событие. За Настенькой стал ухаживать сенатский секретарь Иван Петрович Поздняк. Это был для Настеньки блестящий жених, так как Поздняк был, кроме того, частным секретарем такого лица, которое быстро шло в гору,— Дмитрия Прокофьевича Трощинского.

После семилетнего вдовства и тоскливой серенькой жизни вдруг обе — и вдова, и семнадцатилетняя Настенька — стали чуть не самыми счастливыми женщинами на весь Петербург.

Поздняк сделал уже предложение, которое было принято с восторгом, и затем испросил разрешения на брак у своего единственного родственника — богатого человека, отставного капитана лейб-компанца, у которого были два дома в Петербурге.

Настенька поехала в Царское Село к родному дяде, священнику, чтобы тоже получить его согласие. Теперь оставалось только просить разрешения начальства.

Когда Настенька рассказала подробно, как дядя был

рад ее видеть, как водил ее по всему Царскому Селу, показывал дворец и парк, она перешла к главному происшествию. Рано утром, соскучившись сидеть дома, отправилась она около семи часов по тем же дорожкам парка, где прошла накануне с дядей.

В одном месте, около обелиска, она села отдохнуть на скамейке и тотчас же увидела вдали даму, которая тоже прогуливалась. За ней бежала маленькая собачка. Настя, конечно, и не воображала, кто это так рано гуляет. Но какой-то работник, копавшийся в клумбе около скамеечки, крикнул ей осторожно: «Барышня, не сиди так-то... Встань! Это царица».

— Так у меня ноги и подкосились,— прибавила Настя.— Как только собралась я вставать, так ноги и онемели... Перепугалась насмерть. Думала, что ж это будет! Однако не успела еще царица подойти, я справилась с собой, поднялась, и уж по правде сказать, хоть ноги у меня и тряслись, а все-таки я присела так вот... А как приподнялась, так всю царицу разглядела до ниточки, и сто лет проживу — помнить буду.

— В каком же она платье? — спросила мать.

— Не в платье, маменька, а в салопе или в эдаком длинном капоте поверх платья, сером шелковом с позументом. А на голове шляпа с перьями... В руке тросточка... Дяденька говорит, что царица уж сколько лет завсегда так гуляет, все в одном этом одеянии. А за ней собачка всегда. Такая чудная! Вертлявая, тонконогая и все как-то поджимается, будто ей все холодно... Уж как я рада, что повидала царицу. Я все думала, она эдакая большущая да гневная, совсем на человеков не похожая... А она такая же барыня по виду. Только лицо светлое, не простое. Видать, что царица.

Анна Павловна была рада, что дочери удалось видеть государыню.

— Это к счастью,— решила она.— Да оно так и выходит. Спроси-ка, Настенька, у Ивана Петровича, какую он весточку сейчас принес.

— Да, Настя! — весело вымолвил Поздняк.— Я сейчас от своего дядюшки. Он обещал мне от трех до пятисот рублей в год давать. А со временем, говорит, если твоя будущая жена мне придется по душе, то, помирая, откажу вам и вашим деткам изрядный капиталец.

— Слава Богу! — перекрестилась Настя набожно.

До вечера пробеседовали пожилая женщина и жених с невестой. Радость искренняя, полная не сходила с их

лиц. Это были теперь самые счастливые люди всей столицы.

Поздняк при наступлении вечера собрался домой, так как у него было много работы. Все служившие при Трощинском не имели много свободного времени.

Молодой человек простился с невестой и с будущей тещей и направился в свою маленькую квартирку на Галерной. До полуночи просидел он у себя за перепиской всяких бумаг, затем лег спать и часа два не мог заснуть,— мечтал о том, как счастливо и удачно поворачивается его жизнь.

Не далее как пять лет тому назад потеряв мать, он остался в Петербурге один-одинехонек, бобылем. Родни близкой никого у него не было. Но тотчас же он был призрен дальним родственником, который занялся его судьбой и, имея в столице друзей, записал его в Сенат.

Прилежанием и аккуратностью Поздняк заставил себя вскоре заметить в числе прочих писарей. К тому же почерк его был настолько красив, что отличал его в глазах ближайшего начальства.

Трощинский был правителем канцелярии графа Безбородко, и бумаги, писанные Поздняком, обратили на себя внимание графа. Он однажды спросил, как зовут того писаря, бумаги которого попадаются у него в числе прочих. Поздняк был графу представлен. После этого раза два или три сам Дмитрий Прокофьевич Трощинский выбирал Поздняка, чтобы переписать несколько важных бумаг для доклада императрице.

В беседах с ним Трощинский заметил дельного, скромного и прилежного молодого малого. Когда два года назад один из сенатских секретарей вдруг умер, то, ко всеобщему удивлению, двадцатитрехлетний Поздняк получил первый чин и заступил его место. Затем спустя полгода он стал частным секретарем Трощинского.

Теперь служебное положение Поздняка стало еще выше благодаря случаю: граф Безбородко уехал в Молдавию заключать мир с турками, а Трощинский стал лично докладывать дела государыне и пошел в гору... Удачи по службе начальника должны были отразиться и на его домашнем секретаре, который считался любимцем начальника.

Прошлою весной молодой сенатский секретарь встретил в Летнем саду двух женщин: пожилую и молоденькую. Сразу влюбился он, и, узнав, что молодая девушка — дочь небогатой вдовы, чиновник познакомился

с нею при выходе из церкви, при содействии просвирни. Поздняк не думал никогда о том, чтобы искать жену с приданым, и поэтому он начал часто бывать у Парашиных, усиленно ухаживать за девушкой и наконец сделал предложение.

Настя принесла счастье, так как теперь родственник, которого он звал дядей, совершенно неожиданно обещал крупную ежегодную помощь.

Все ладилось и устраивалось как нельзя лучше. Его жалованье, пенсия Парашиной и помощь дяди составляли ежегодный доход почти в тысячу рублей, на которые по времени можно было жить в довольстве.

II

На другой день в девять часов Поздняк был уже в своем вицмундире в Сенате и сидел около маленького столика, на котором лежала куча дел в обложках. Отдельно от прочих он положил несколько красиво переписанных накануне бумаг. Вокруг него в большой горнице двигались и сидели чиновники целою толпой. Некоторые торчали за столами, ничего не делая, другие скрипели перьями.

Всем, кто подходил к Поздняку, он отвечал рассеянно, хотя лицо его было не задумчивое и не озабоченное, а, напротив, чрезвычайно веселое. Он был настолько поглощен грезами о своем предстоящем счастии и благополучии, что ему не хотелось болтать с сослуживцами о всяких пустяках.

Наконец около полудня солдат с Георгиевским крестом вошел в горницу, прошел ее до половины и выкрикнул:

— Иван Петрович, вас!

Это было почти ежедневное объявление Поздняку, что Трощинский требует его к себе.

Поздняк собрал бумаги, посмотрелся в зеркало и остался совершенно доволен собой. Лицо его, сиявшее счастьем, делало всю его фигуру еще более благообразною и даже приятною каждому. Он был в таком нравственном состоянии, что оно должно было, казалось, действовать на посторонних. На него, по русскому выражению, «весело было смотреть».

Пройдя несколько горниц, Поздняк осторожно отворил дверь, вошел и, приостановившись на пороге, низко поклонился. За большим столом, покрытым зеленым

сукном, сидел важный сановник в напудренном парике, но в простом ежедневном мундире.

Это и был Дмитрий Прокофьевич Трощинский, один из дельцов времени Великой Екатерины, не отличавшийся никакими особенными талантами, но сделавший затем при императоре Павле блестящую карьеру благодаря аккуратности и усидчивости в труде, неблагодарном, незаметном, но необходимом в государственной машине.

Трощинскому было около сорока лет. Он был не очень красив собой и смолоду. Крупный, мясистый, слегка вздернутый нос, толстые губы делали его некрасивым, но большие, светлые, умные глаза придавали лицу много жизни.

Пересмотрев поданные Поздняком бумаги, Трощинский молча кивнул головой, отпуская секретаря. Поздняк замялся на одном месте, но затем решился и выговорил:

— Ваше превосходительство! Дозвольте обратиться с нижайшею просьбой...

— Что такое?

— Дозвольте вступить в законный брак...

— Здравствуйте!..— воскликнул Трощинский, и, подняв свои большие глаза на молодого человека, он просопел и молчал.— Озадачил, братец ты мой! — выговорил он наконец.— Не ожидал я от тебя эдакого пассажа...

Поздняк струхнул и даже слегка покраснел.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать пять.

— Э-эх, братец! Обождал бы малость самую.

— Если прикажете...— прошептал Поздняк.

— Самую бы малость обождал. Как этак вдруг жениться... Ну, пять лет бы обождал...

Поздняк, пораженный, разинул рот и замер на месте. Он думал: месяц, два...

Трощинский снова поглядел на секретаря и, заметив страшную перемену на его лице, прибавил:

— Да ты не пугайся! Я же запретить не могу. Только жалко... Уж какой же ты будешь секретарь, коли женишься?..

— Помилуйте, ваше превосходительство, я...

— Знаю, знаю... Ты-то вот не знаешь. Жена, семья, дюжина детей, возня, хлопоты, заботы... Один в жару, у другого — желудочек, у третьего — под ложечкой, у четвертого неведомо что... Крестины да всякие такие

именины и всякая такая канитель... Настоящий чиновник тот, кто бобыль! Я тебя за то и взял... За твое одиночество. Ну, что ж делать! Мне что же... Тебе же хуже. Будешь неаккуратен — другого возьму.

— Я докажу вашему превосходительству,— вдруг храбро заговорил Поздняк,— изволите увидеть, я буду еще пуще радеть.

— Увидим... Когда же свадьба?

— Когда позволите.

— Да уж коли не хочешь малость обождать, так женись скорей, потому что, будучи мужем, все-таки станешь лучше служить, чем теперь. Теперь, поди, у тебя в голове базар, ярмарка, мозги-то небось кверху ногами. Нет, уж поскорей женись.

— Как прикажете...

— Сделай милость! Сегодня суббота, ну, в следующую субботу... не позже.

— Виноват, ваше превосходительство, в субботу венчаться... нельзя-с...

— Ну, там как можно!.. Два раза в году следовало бы позволить венчаться, этак-то сколько бы свадеб не состоялось. Иной бы собрался жениться, да успел бы двадцать раз одуматься, если бы венчали только первого января да первого июля. Ну, так заходи ко мне на квартиру послезавтра, свадебный подарочек получишь... единовременное пособие в размере годового жалованья.

— Ваше превосходительство! — воскликнул Поздняк и тотчас же двинулся с намерением поцеловать начальника в плечо.

— Не люблю этого! — сурово выговорил Трощинский.— Помни, коли разные именины да крестины тебя не изгадят, будешь по-прежнему служить, получишь прибавку жалованья на одну треть.

— Постараюсь всячески заслужить! — говорил Поздняк чуть не со слезами на глазах.

Молодой человек вышел из кабинета начальника, положительно не чувствуя под собою ног. По дороге в отделение, где он обыкновенно сидел, он натолкнулся на трех чиновников и чуть не сшиб с ног того же солдата с крестом.

Разумеется, двум или трем сослуживцам Поздняк тотчас же рассказал все с ним приключившееся, а затем, когда кончилось присутствие, он полетел на Петербургскую сторону объявить Парашиным о приказе начальства — жениться как можно скорей.

Настенька, разумеется, обрадовалась. Анна Павловна поохала, но уступила убеждениям жениха и просьбам дочери. Было решено, что через четыре дня молодые люди будут обвенчаны в приходском храме.

III

С этого же вечера на Поздняке оправдалось мнение Трощинского. Он не ходил, а летал. Все у него прыгало пред глазами: от сослуживцев в Сенате до последних предметов на улице.

Мысли в голове сменяли одна другую, одна диковиннее другой. Разумеется, главная мысль была Настенька и будущее счастливое супружество, будущая семья; мысли о службе были затеснены.

С первых же дней Поздняк, однако, сам заметил, что у него не все в голове обстоит благополучно, не все в порядке.

На второй день он чуть не вышел из квартиры в туфлях, которые подарила ему невеста. Затем через день, будучи в Сенате, он переписал красиво бумагу, дописал до конца третью страницу и, прежде чем перевертывать ее, по обыкновению, собрался засыпать песком. Но вместо песочницы он ухватил чернильницу и, опрокинув ее, шлепнул чернила на стол и, разумеется, не только залил все, но даже спрыснул и свой мундир. При этом Поздняк так закричал, что все кругом сидевшие чиновники повскакали с мест как шальные.

Конечно, смеху было немало, но сам Поздняк был поражен, как если бы случилось что-нибудь невероятное. Опрокинуть чернильницу вместо песочницы, конечно, случалось часто всюду, да и в Сенате бывало не менее разов двух, трех в год.

— С кем такое не бывало! — заметил тотчас же один из чиновников.

Но Поздняк был серьезен и задумчив, даже перепуган. Он никогда не допускал мысли, чтобы с ним могло случиться подобное. Это доказало ему ясно, что он находится не в естественном состоянии.

«Вот что значит умный-то человек... Провидец! — подумал он про Трощинского.— Предсказал ведь просто!»

Поздняк при помощи солдата вытер стол, обмыл водой чернильные пятна на своем мундире и затем сел снова переписывать бумагу. Переписывая, он мысленно

давал себе честное слово, клятву, быть осторожнее, меньше думать о невесте и свадьбе.

К вечеру, разумеется, все было забыто, кроме Настеньки, и молодой человек снова метался и почти прыгал.

На третий день, когда он по обыкновению явился с докладом, Трощинский принял от него нужные бумаги, проглядел их и усмехнулся.

— Ишь ведь погляди-ка! — выговорил он, показывая пальцем на некоторые строчки.— Смотри-ка. Вот, вишь, у тебя какие крючочки пошли... Вон гляди! Я твой почерк хорошо знаю... Прежде вот этих крючочков не бывало... Ишь ты какая завитушка! А вот это чистый выборгский крендель! А вот тут целая козявка вышла с усами... Это что означает, по-твоему?

— Виноват-с...— отозвался Поздняк.— Я перепишу...

— Нет, ты не виноват! А бес в тебе сидит жениховский... Вот женишься ты, пройдет месяца два, три — и все эти крендели и букашки исчезнут. Теперь, выходит, рука-то балует. Не у спокойного человека действует. Сделай милость, женись ты поскорей!

— Беспременно в пятницу, ваше превосходительство.

— Ну, и хорошее дело! А покуда на вот тебе. Дела все спешные, а особливо одно...

Трощинский взял со стола несколько бумаг и, передавая их секретарю, выбрал одну из них и положил сверху.

— Вот гляди... Это указ Сенату, уже подписанный государыней. Перепиши мне его в двух видах. Да смотри — как-нибудь не выпачкай.

— Слушаю-с. Будьте покойны.

— Один перепиши как можно красивее, только без крючков, пожалуйста. А другой перепиши, как знаешь,— он, собственно, мне лично. Да смотри, говорю, указ не испачкай.

— Как можно, помилуйте!

— К завтрему все будет готово?

— Точно так-с! Сегодня же вечером перепишу-с.

— Ну, ладно! коли не успеешь — не беда...

Поздняк взял бережно указ и, придя в свое отделение со всеми полученными бумагами, переглядел их снова. Главная бумага для переписки была Высочайший указ Сенату с подписью красивыми крупными буквами: «Екатерина».

«Вот на этом самом месте рука самой царицы лежала,— подумал он.— А как пишет-то!»

Полюбовавшись на подпись монархини, Поздняк взял указ, положил отдельно в чистый лист бумаги и хотел на обложке написать: «Указ Ея Императорского Величества», но остановился. «Чего я буду себе-то самому писать? — подумал он.— И так знаю, что он в этой бумаге».

Зайдя домой и оставив все полученные бумаги у себя в столе, Поздняк, разумеется, тотчас же побежал на Петербургскую сторону.

Здесь в квартире были хлопоты. Настенька бегала и прыгала точно так же, как и ее жених. Будь у нее какое дело или обязательство, то, конечно, и она бы напутала. И она бы тоже опрокинула чернильницу на какое-нибудь платье из приданого.

Посидев часа два и закусив, Поздняк отправился на другой конец Петербурга, ко Владимирской, где жил его родственник. Высокий и плотный человек, в военном кафтане покроя елисаветинских времен, ласково встретил и облобызал племянника.

Разумеется, разговор зашел о том же — о свадьбе. Молодой человек объявил день и час венчания, прося пожаловать. Дядя обещал и снова повторил почти в тех же выражениях свое обещание помогать племяннику, который отличался по службе.

— Покуда буду жив, Ваня, будешь получать от меня рублей четыреста, а то и больше. Сам знаешь, прямых наследников у меня нету, а тебя люблю за то, что ты меня надул. Был ты совсем заморыш лупоглазый. Тебя, я полагал, не жалко будет на первом суку в лесу повесить, когда придешь в возраст. А вышло-то вон что!.. Делец, сенатский чиновник, секретарь вельможи, бумаги важные пишешь. Вон что на свете-то бывает! Вот и я в деревенских крепостных мальчуганах находился, затрещины от господ получал. а там в солдаты за провинность попал. Думалось ли в дворяне и капитаны выйти? Все так на свете! А был у меня в Преображенском полку товарищ. Голова!.. Думали все, из него фельдмаршал выйдет, а он в винокуры попал, да прогорел и с горя сам пить начал Так вот благо ты умница, мне и след тебе помогать. Лучше пойдешь по службе, и я больше денег буду давать. А коли будет на тебя начальство взирать не хорошо, не угодишь ему, тогда и на меня не рассчитывай

Поздняк, посидев довольно долго у лейб-кампанца, наконец собрался домой, чтобы с вечера покончить все, что нужно было сделать. С Владимирской в Галерную молодой малый пролетел шибко. Снова он чувствовал себя в каком-то лихорадочном настроении.

Все ему хотелось сделать скорее, ловчее, быстрее, да и работа, какая бы ни была, казалась ему легче.

Вернувшись к себе, он достал все черновые бумаги, какие получил от Трощинского, и несколько удивился. Он думал, что работы будет часа на три, а оказалось, что придется просидеть часов до двух ночи.

Думая все об указе, который надо было переписать в двух экземплярах, он совершенно забыл, что помимо этой работы было еще много бумаг для переписи. Это его озадачило.

— Ведь это опять вроде чернильницы...— выговорил он,— ничего подобного никогда со мной не бывало. Всегда знал, какая предстоит вечерняя работа. А тут вдруг проглядел... Да и что проглядел-то! Забыл, что целых восемь бумаг есть помимо указа... Все пустое! — решил Поздняк весело,— перепишу все в три часа или в четыре времени.

И ему показалось, что всякая работа, а в особенности его собственная, зависит от душевного настроения. Ему казалось, что сегодня он может в четыре часа написать втрое больше, нежели бывало прежде в восемь и девять часов времени.

— Вся сила в том,— заговорил он снова,— что внутри что-то горит, отчего и руки действуют скорей и ловчее. Лишь бы вот только крючков да завитушек не давать руке делать. А еще того хуже, в какую бумагу не вписать бы имя Настеньки.

Молодой человек тотчас же уселся за работу и, конечно, прежде всего бережно положил пред собой Высочайший указ и начал его переписывать.

Первый экземпляр он постарался переписать как можно отчетливее и красивее, причем старался не делать тех крючочков, про которые говорил начальник.

Через полчаса красивая копия была готова, и он отложил ее на правую сторону стола. Затем быстро поспела вторая копия, которую он написал менее тщательно, а вслед за ней еще быстрее поспела и третья. И все три отложил он направо. Затем, взяв указ в обложке, он положил его налево.

— Зачем же я три копии снял? — вдруг сообразил

он.— Совсем, стало быть, ум за разум заходит. Ну, что ж делать. Не беда!

Поздняк переглядел все черняки, которые надо было переписать, и решил, что работы еще не более как часа на три. Действительно, не прошло и часу, как три бумаги были уже переписаны, но Поздняк спешил, сам не зная зачем и почему.

Переписанные черняки он клал налево сверх указа, а чистые копии клал направо на копии с указа. Подобное правильное разделение на столе вновь переписанных бумаг и черняков, которые остались у него для уничтожения, Поздняк всегда аккуратно делал на один и тот же лад.

На этот раз работа затянулась, и чем дальше, тем медленнее работал молодой малый, потому что, набегавшись и проволновавшись целый день, он чувствовал, что его клонит сон. Кроме того, поневоле работа прерывалась мыслями о невесте и предстоящем браке.

Наконец, около часу ночи он дописал последнюю бумагу, обсыпал песком и положил направо, а черняк бросил налево.

— Все! — выговорил он.— Слава Богу! Все готовы! И даже переписал без крючочков.

IV

Дописав последнюю бумагу, Поздняк встал, потянулся, прошелся несколько раз по своей горнице и, сев на кровать, стал раздеваться, чтобы лечь спать.

Уже собираясь ложиться под одеяло, он вдруг поглядел на свой стол и покачал головой. Никогда за все время службы ничего подобного не бывало...

— Это все мое жениховo состояние творит! — выговорил он.

Действительно, никогда не оставлял он письменного стола в таком виде. Всегда вновь написанные бумаги он порядливо укладывал в картонную папку, а черняки всегда, разорвав пополам, бросал в ящик, стоящий у окошка.

— Не годно, Иван Петрович! — выговорил он сам себе.— Хоть и пустое дело, а все-таки делай так, как всегда делал.

Он встал с кровати, нацепил вышитые Настенькой туфли и подошел к столу. Собрав все написанное в кучу, он положил в картон, а тесемочки его завязал с трех сторон аккуратными бантиками. Положив папку среди

стола, он прибрал перья и даже чернильницу подвинул, чтобы она стояла прямее.

Затем, захватив разом ненужные черняки, он ловким, привычным движением дернул за два края, разрывая сразу листков по десяти.

Толстые бумаги будто злобно шипели и скрипели, разрываемые пополам. Поздняк швырнул куски в ящик, снова перешел на кровать, лег и, с наслаждением потянувшись, собрался сладко заснуть.

Он двинулся уже тушить свечу, как вдруг вскрикнул и вскочил как ужаленный. Он взял свечку и бросился к столу. Рука его настолько дрожала, что шандал едва не выпал на пол.

— Помилуй Бог!..— шептал он бессмысленно.

Поставив свечу на стол, он стал развязывать картон, но руки плохо повиновались. Кое-как развязав, он раскрыл папку, переглядел бумаги и онемел...

Простояв истуканом несколько мгновений, он бросился к ящику, вытащил все разорванные листы, переглядел их и без сил опустился на пол, схватив себя за голову.

Предположение было верно. Императорский указ был разорван пополам вместе с черняками.

Часа два недвижно просидел молодой человек на полу около ящика, схватив голову руками. По временам он тихо стонал, как от боли. Мысли его совершенно помутились. Он даже не сознавал, где он находится, где сидит. Иногда ему казалось, что уж он не жив, что он убит.

Середи ночи он перебрался наконец на кровать, лег, но заснуть не мог и проворочался до утра в болезненном бреду.

Часов в восемь он был снова на ногах, но это был уже совершенно другой человек: бледный, осунувшийся, с полубезумными глазами, какой-то пришибленный. Он почти не сознавал того, что делал. Одна только мысль была в голове: «Императорский указ изорвал!» Ему, стало быть, предстоит попасть под суд и, конечно, быть исключенным из службы.

И вдруг Поздняку пришло на ум, что есть в Петербурге большая, глубокая река — Нева. Затем пришло ему на ум еще одно важное обстоятельство, очень благоприятное. Он, Поздняк, плавать не умеет. Как ни учился, никогда не обучился. Стало быть, дело выходит самое простое, легко исполнимое. Взять лодку, выехать на середину Невы и выскочить из нее.

Положительно все обойдется как следует, потому что он никоим образом на воде не удержится, непременно потонет. Тогда все и отлично. Рвал ли указ, не рвал ли — все равно! А жить-то? Ведь уж жить-то нельзя будет. Об этом он как будто и позабыл... Ведь коли он утонет, так жизнь-то кончится. Да, действительно! Да что же делать?..

Поздняк взял разорванный пополам указ и снова поглядел на него. Подпись императрицы большими буквами была тоже разорвана пополам. На одной половине стояло: Ека, а на другой: терина.

Поглядев на монаршую подпись на двух разных клочках бумаги, Поздняк почувствовал, что ноги у него затряслись, и он опустился на первый попавшийся стул.

V

Через час, положив в карман разорванную бумагу, Поздняк собрался на Петербургскую сторону, но, чувствуя, что идти не может, взял извозчика. Он отправился проститься...

Не прошло получаса, как в квартире невесты, где всегда бывало теперь веселье и смех, две женщины, пожилая и молоденькая, горько плакали, а сам Поздняк сидел согнувшись, бледный, едва живой.

Глухим голосом передал молодой человек невесте и Анне Павловне, что он будет отдан под суд и будет исключен из службы. Следовательно, все потеряно! Жалованья не будет, а дядя, конечно, исключенному из службы не даст ничего. Анне Павловне приходилось приобрести жениха для дочери бобыля и нищего. Он сам этого не желает...

— Что же вы хотите делать?! — воскликнула Парашина.

Поздняк поглядел на нее, потом посмотрел на невесту и ничего не ответил. Однако Настенька по его взгляду поняла все и залилась еще пуще слезами.

— Иван Петрович, обещайте мне обождать сутки. Бог милостив, что-нибудь придумаем...— вымолвила наконец Настенька.

— Мне через час надо нести бумаги Дмитрию Прокофьевичу. Как же я буду ожидать?..

— Не идите... Скажитесь больным... Лягте в постель...— сказала Парашина.

Поздняк помотал головой и ничего не ответил.

Просидев около часу, он вышел из квартиры, не прощаясь ни с Парашей, ни с Настенькой. Видно было, что он не сознает ничего и не знает, куда собирается и что хочет делать.

Едва только Поздняк вышел, как молодая девушка, тайком, не спросясь матери, накинула на голову платок и выбежала вслед за женихом. Она догнала его на углу переулка и, заливаясь слезами, выговорила:

— Ступайте к Спасу... Знаете? Спас Нерукотворенный. Здесь. Близко... Помолитесь Господу...

— Хорошо!..— выговорил молодой человек, едва понимая, что говорит и на что соглашается.

— Господь милостив! — восторженно произнесла Настенька.— Я верю крепко, что никакой беды не будет. Слышите? Никакой! Только помолитесь всем сердцем.

Девушка вдруг обхватила руками жениха, поцеловала его, потом перекрестила и бросилась бежать домой.

Поздняк двинулся медленно по улице и, почти ничего не соображая и не видя пред собой, дошел до Невы. Он остановился на берегу и стал глядеть на гладкую зеркальную поверхность воды.

«Очень мудрено собираться,— подумал он.— Страшно! Да, собираться страшно... А когда будешь на глубине, оно уже само собой все потрафится. Да то и конец всему... Что тогда Дмитрий Прокофьевич? Да и царица сама — с того света — ничего...»

Поздняк вздохнул, опустил голову и стоял как истукан. Прохожие оглядывали его с любопытством. Вся его фигура, висящие безжизненно вдоль туловища руки, бледное, будто вытянутое лицо, бессмысленно открытые глаза — говорили ясно о том, что с этим человеком совершилось что-то роковое.

«Неужели же нельзя простить ненароком содеянное преступление?..— снова стал думать Поздняк.— Изорви я царский указ в пьяном виде или по дикой злобе,— понятно, мне в Сибири место. А эдак, по оплошности, по рассеянности... Неужели простить нельзя? Ей-Богу, можно. Но Дмитрий Прокофьевич не простит. Ни за что...»

Поздняк стал вспоминать те случаи, которые были между его сослуживцами за последнее время. Каждый раз, что бывали провинившиеся. Трощинский относился беспощадно строго. Он слыл за справедливого и доброго начальника. а скольких людей погубил своею строгостью. Старик подьячий. потерявший несколько бумаг

с полгода назад, был тотчас же исключен со службы. Бумаги нашлись через неделю у извозчика в санях, а старик не был все-таки принят обратно на службу. Он запил с горя и спился...

— Нет, от Дмитрия Прокофьевича не жди помилования! — вслух воскликнул Поздняк.— А царица сама простила бы... Да, простила бы. Верно... Да, да...

И Поздняк начал ходить взад и вперед по берегу и повторять на разные лады:

— Да... Да... Да... Да...

Вместе с тем он стал думать о невесте, вспомнил ее последние слова, ее уверенность, что все обойдется счастливо.

— Легко сказать... А как быть?.. Помолишься — ничего не будет! Молись не молись — ничего!..

Поздняк тяжело вздохнул, глянул еще раз искоса на гладкую, ясную Неву и отошел от берега.

— Это не уйдет. Утопиться всегда успеешь...

Молодой человек двинулся тихо по берегу и вдруг, подняв опущенную голову, увидел на синеве неба ярко сиявший крест. Он даже вздрогнул. Синий купол храма сливался с синевой небес, и золотой, сверкающий, будто пылающий крест казался в пространстве. Мало этого... В этом сиянии креста была какая-то особенность, таинственно подействовавшая на несчастного сенатского секретаря. Тысячи раз в жизни видел он сияющие кресты на храмах и не находил в них ничего особенного. А теперь этот крест грозно сверкнул на него, ослепил его... Он, казалось, будто шевелится, то, казалось, улетает в вышину...

— Как ты смеешь, грешный человек! Глупый человек! Говорить, что ничего не будет от молитвы! — будто произнес кто-то тихо над ухом Поздняка.

Молодой человек оглянулся... Он был один. Никто не мог этого сказать ему.

Крест этот на храме будто говорил это своим чудным сверканием.

Поздняк вдруг пошел скорее, прямо к храму, и все прибавлял шагу. Через минуту он почти бежал, будто боясь опоздать.

— Неправда... Неправда...— повторял он шепотом и даже не понимал сам, откуда взялось это слово и что оно значит. А этим словом он отвечал сам себе на свое внутреннее смущенье, на свои сомнения, на свою безнадежность.— Неправда... Помолюся — царица простит.

А как до нее дойти — Господь на душу положит. Да, Господь укажет...

С этим шепотом на губах Поздняк вошел в церковь Троицы, где шла вечерня. Он стал в уголке, опустился на колени и, не крестясь, закрыл лицо руками.

— Я же не виноват. Видит Бог, не виноват. Да. Он видит. И она тоже увидит. Она... царица... Она милостиво поклонилась Настеньке. Улыбнулась ласково... И мне она так же может поклониться... И я ей все скажу... Скажу: простите! И она простит...

Слезы были на глазах Поздняка, когда он поднялся на ноги... Ему подумалось, что он не молился, а так только рассуждал сам с собой. А вместе с тем сладкое, спокойное чувство сказывалось ясно на сердце, даже будто разлилось какою-то теплотой по всему телу. Тревоги и смущения не было больше в нем. Отчаяния от безвыходности положения не было и тени.

Все казалось теперь просто. Совсем просто.

— Поехать в Царское Село, стать на дорожке, около обелиска, где всякое утро проходит царица. И ей все сказать. Ей самой... И она простит... И Дмитрию Прокофьевичу прикажет простить его.

И Поздняк вдруг ахнул от удивления. Кто же это его надоумил ехать в Царское и стать на дорожке? Никто... Рассказ Настеньки. Не побывай она там и не повидай царицу, то и ему теперь не пришло бы на ум сделать это...

— Чудно! Милость Божья! — зашептал Поздняк.— И как просто... А ранее на ум не приходило... Побежал было топиться... А надо в Царское... И царица простит!

Молодой человек вышел из церкви улыбающийся, почти радостный, и, повернув к Петербургской стороне, бодро зашагал по улице...

Через четверть часа он снова был уже в домике Парашиных и входил на крыльцо.

— Иван Петрович!..— вскрикнула Настенька.— Ах, слава тебе Господи! Ах, как я намучилась! Думала, что вы уже... Ах, Господи помилуй!.. Идите, идите... Слушайте... Я надумалась... Нет, идите...

Настенька, взволнованная, румяная, с заплаканными глазами, ухватила Поздняка за руки и потянула за собою в дом.

— В Царское вам надо сейчас ехать. К дяде... Все ему сказать... А то прямо к той скамеечке, где я сидела...

— Я за этим к вам пришел,— отозвался Поздняк,

грустно улыбаясь.— Нам обоим одно и то же на ум пришло.

— Я молилась... И мне будто кто шепнул...— воскликнула девушка с сияющими глазами.

— Я тоже, Настенька...

— И царица всех простит! Вот ей-Богу... Я знаю... знаю... Всем сердцем...

— И я тоже, Настенька.

И жених с невестой, довольные, спокойные, почти счастливые, перетолковали подробно о тайном предприятии.

VI

Около полуночи телега выехала по дороге в Царское Село и двигалась рысцой и шагом. Часа в четыре утра Поздняк был уже в Царском, около домика священника.

Женщина, служившая у батюшки в кухарках, узнав, что приезжий — жених Настеньки, о котором было немало разговоров за последнее время, вызвалась тотчас же разбудить батюшку.

Поздняк, по-прежнему смущенный, но несколько менее, чем накануне, в коротких словах объяснил, в чем дело. Священник вздохнул, подумал и наконец выговорил:

— Вы и моя Настенька — умники! Дело не простое — бедовое, но все ж таки, прежде чем бежать топиться, следует счастье испробовать. Матушка царица всему миру известна. Она и агнец кротости, и змий мудрости. Да, сударь мой, как решили, так и поступайте. Недаром все это пришло вам на ум среди молитвы. Обождем час, и я вас сведу и поставлю на то самое место, где всякое утро проходит царица. Только молите Бога, чтобы вот эта тучка всю вашу судьбу не переменила...— показал священник на небо.— Если пойдет дождик, не выйдет царица на прогулку.

— Тогда я прямо отсюда в Неву...— глухо проговорил Поздняк.

Ровно через час, в одной из аллей Царскосельского парка, около обелиска, сидел на скамейке молодой человек в сенатском мундире, бледный, взволнованный, и мутными глазами поглядывал все в одну сторону.

В парке была полная пустота и тишина. Не было ни души. Наконец, вдалеке, среди чащи зелени, показались на дорожке две дамы и тихо двигались по направлению к тому месту, где был Поздняк.

Он встрепенулся, перекрестился, потом вытер затуманившиеся глаза.

Дамы подходили все ближе. Поздняк отошел несколько от лавки и стал на колени. Он снял шапку, бросил ее на землю около себя, взглянул еще раз на двух дам, которые были уже шагах в пятидесяти от него, и невольно от внутренней тревоги скрестил руки и опустил голову.

Чем ближе слышалось шуршанье платьев, тем более мутилось в голове молодого человека. Он едва дышал.

— Что вы? — раздался над ним мягкий голос.

Он поднял голову и увидел перед собой императрицу, которую, как и всякий петербургский чиновник, видал часто, но всегда издали и всегда в другом одеянии, нежели теперь.

Но, однако, он тотчас же признал царицу, несмотря на то что на ней был простой серый капот и простой белый чепец, подвязанный бантом под подбородком. Он хотел отвечать, но язык его не шевелился.

— Кто вы? — выговорила императрица.

— Несчастный, ваше императорское величество! — проговорил наконец Поздняк.

— Что с вами?

И Поздняк, вспомнив слова невесты: «пуще всего не оробейте», вдруг почувствовал в себе храбрость отчаяния. Вкратце, в нескольких словах, передал он свое преступление.

— Совершенно разорвали? — спросила императрица.

Поздняк сунул руку в боковой карман и вынул два куска указа.

Государыня посмотрела и произнесла что-то по-французски, обращаясь к своей спутнице. Затем она довольно долго думала.

— Да... Трудно, очень...— произнесла она наконец.— Скажите, Дмитрий Прокофьевич не знает, конечно...

— Никак нет, ваше величество. Ничего не знает.

— Скажите, кто писал этот указ... сенатский писарь?..

— Я сам писал, Ваше Величество.

— Вы?.. О, тогда другое дело... Это на ваше счастье. Вы, стало быть, можете точно скопировать его?

— Могу, ваше величество... Точнехонько...

— Верю. Но можете ли вы сдержать слово, можете

ли не рассказывать всю жизнь никому какую-либо тайну? Если я помогу вам, обещаетесь ли вы никогда ни слова не проронить... дать мне слово и держать его крепко?

— Клянусь, ваше императорское величество. По гроб жизни умолчу. Помилосердуйте!

— Успокойтесь! Слушайте... Ступайте же домой, перепишите этот указ точь-в-точь так же, до единой буквы, а завтра будьте здесь с новым указом. Но возьмите с собой,— прибавила Екатерина, улыбаясь,— чернильницу и перо.

И государыня двинулась далее.

Поздняк остался на коленях и глядел ей вслед. И только когда императрица уже скрылась в чаще, он пришел в себя, схватил себя за голову и не знал, проснулся ли он, во сне ли он все видел или все это действительность.

Прошли сутки. Точно так же в семь часов утра, на том же месте, около обелиска, прохаживался взад и вперед тот же сенатский секретарь, но он был почти в том же счастливом состоянии, в каком находился несколько дней назад. Он считал себя уже спасенным.

Наконец с той же стороны появилась спова также государыня в сопровождении дамы.

Поздняк взял со скамейки белый исписанный лист, пузырек с чернилами и, достав из кармана гусиное очиненное перо, снова опустился на колени. Но этот раз он смотрел на приближающуюся государыню со смутным восторгом на сердце.

Императрица приблизилась, кивнула головой и улыбнулась.

— Здравствуйте! — произнесла она, принимая из рук Поздняка чисто и красиво переписанный лист.

Точь-в-точь такой же указ до малейших мелочей скопировал чиновник.

Государыня взяла у него перо и обмакнула в пузырек с чернилами, который он держал.

— Встаньте! — выговорила она.

Императрица отошла к скамейке, хотела нагнуться, потом собралась было опуститься на одно колено, чтобы положить бумагу на скамейку и подписать ее, но остановилась в нерешительности.

Она подумал мгновенье, потом улыбнулась и вспомнила.

— Подите сюда. Нагнитесь...

Поздняк подошел, склонился с замираньем сердца и опустил голову.

В первый раз с тех пор, что мир стоит, принимал позу осужденного на казнь — оправдываемый! К тому же самим монархом!..

Императрица положила лист на плечо чиновника и не спеша подписала.

— Вот...— тихо произнесла она.

Поздняк выпрямился, принял бумагу, но тотчас опустился снова на колени.

— Ваше величество... Был бы счастлив умереть по вашему приказанию...— дрогнувшим голосом вымолвил он.

— Нет, не надо... Вам ведь предстоит жениться... Но помните одно... Никогда никто не должен знать наш заговор против Дмитрия Прокофьевича. Я надеюсь, что ваше слово крепко.

— Помру, никому не скажу, ваше величество.

— Ну, ступайте с Богом и служите отечеству и монарху так же, как до сих пор служили... до беды с указом...

Государыня, улыбаясь, кивнула головой и двинулась. Поздняк остался на коленях, как был, и глядел вслед удаляющейся царице. Наконец чаща зелени скрыла ее из виду.

Поздняк перекрестился, вскочил на ноги и, бережно завернув бумагу в сверток, пустился бегом по парку.

VII

К одиннадцати часам того же дня сенатский секретарь был уже около своего стола и сидел глубоко задумавшись; но затем он встал, встряхнулся, как делает мокрая птица, и повеселел.

«Не беда...— подумал он.— После той беды, что миновала, все эдакие беды смех один...» Поздняк вспомнил, что за время своих треволнений он ничего не дал знать по месту службы, не сказался больным и ничего не объяснил. Просто пропадал без вести. «Хорош!»

Явившись в Сенат, он прежде всего спросил у солдата, дежурившего всегда у дверей Трощинского, спрашивал ли об нем начальник. Солдат объяснил, что вчера Дмитрий Прокофьевич приказывал позвать Поздняка, а затем тотчас же вернул и сказал: «Не надо». Стало быть, ему и не известно ничего.

Около двенадцати часов солдат явился и выговорил с полгорницы:

— Иван Петрович — вас!

Поздняк украдкой перекрестился, собрал бумаги, положил поверх всех указ и двинулся...

Когда он вошел в горницу Трощинского, то сердце замерло в нем. Начальник глянул на него угрюмо из-за своего стола и проговорил строго:

— Помни вперед... заруби себе на носу, что когда я даю особливое какое дело, то не жди, чтоб я сам тебя вызывал. Я могу за делами позабыть. Ровно в двенадцать часов сам о себе докладывай... Ну, что там?..

— Указ приказывали переписать в двух видах и еще другие бумаги...— прошептал Поздняк, подавая указ и копии.

Руки его задрожали... Трощинский удивленно взглянул на него и сказал мягче:

— Беды особой нет. И вины особой нет! Вот впредь того не делай и не получишь замечания.

Трощинский принял бумаги и стал проглядывать копии с указа.

— Хорошо... Красиво ты пишешь. Просто рисуешь. Ну, а указа не измарал?

— Никак нет-с...— едва слышно вымолвил Поздняк.

Трощинский осмотрел обе страницы императорского указа и указал на край листа, где была маленькая чернильная крапинка с булавочную головку.

— Гляди... Капнул...

Поздняк молчал. Он сам не заметил этой черной точки... А кто ее сделал? — сама государыня.

— Что делать? Все это от твоего жениховского положения...— усмехнулся Трощинский.— Ну, бери. Тут все пустые бумаги. Можешь взять отпуск на неделю ради свадьбы. Гуляй. Отгуляешься — явись на службу и служи по-прежнему... Ну, ступай...

Поздняк не помня себя вышел из кабинета начальства. Он не шел. Его будто какая-то невидимая сила подняла и понесла по Сенату...

Гроза совсем, совсем миновала! Поздняк вернулся к своему столу и, не имея возможности сдержать в себе радость и счастье, стал болтать с двумя секретарями.

Не прошло десяти минут, как в горницу вбежал тот же солдат и, запыхавшись не столько от бежанья, сколько от перепуга, закричал Поздняку не своим голосом:

— Вас! Вас! Скорее...

Поздняк переменился в лице и задохнулся. Он двинулся за солдатом и сам себя спросил раза три:

— Чего я струсил?

Войдя в кабинет начальника, Поздняк сразу лишился со страху способности мыслить и соображать.

Трощинский ходил взад и вперед по горнице быстрыми шагами...

А этого никогда не бывало с ним.

Лицо его было искажено волнением и гневом.

Такого выражения лица Поздняк никогда не видал у него.

Молча начальник приблизился...

— Это невероятно. Это неслыханно! Этого на Руси спокон веку, со времен варягов не бывало...— заговорил Трощинский глухим голосом и нагибаясь к секретарю, как бы ради того, что поверяет ему страшную тайну.

— За это повесить мало... Голову отрубить мало! Четвертовать...

Трощинский задохнулся и затем уже громко выкрикнул:

— Отвечай!..

— Не... не могу знать-с...— прошептал Поздняк...

— Отвечай! Говори... Признавайся! Я знаю... Я под присягу пойду... Я не ошибаюсь... Говори! С лица земли сотру!.. Будешь ты говорить?!

— Что прикажете...— поперхнулся Поздняк.

— Указ подложный! Указ не тот! Указ другой! Ты не был два дня на службе. Где пропадал? Где указ? Потерял! И сам подпись монархини... Сам... Подложно... Ах ты!.. Ах!..

Трощинский задохся от собственного крика и взял себя за голову...

— И это у меня! У меня! Мой домашний секретарь! Что скажет граф, когда вернется из Молдавии? Каково я людей себе выбираю... Зарезал!

Трощинский кликнул солдата и велел послать к себе экзекутора.

Поздняк стоял у самой стены, готовый прислониться к ней, так как ноги под ним подкашивались. Голова холодела, и пред ним двигались в горнице целых трое Дмитриев Прокофьевичей...

— Царица простила, а он погубит!..— шептал будто кто-то ему на ухо.

И сквозь какой-то туман, сквозь какой-то шум, даже

грохот, Поздняк глядел на Трощинского и появившегося экзекутора и слышал:

— Пометку свою карандашом я потом стер хлебом, но остался значок. А теперь, глядите на свет — ничего нет. Это раз! Здесь в последней строке была козявка с усами... Черт! Не козявка, а крючочек у буквы «рцы». Его нет. Это два! А чернила? У государыни аглицкие чернила, черные, густые... У нас простые, серые, бледные... Глядите! Вот еще два нынешние указа... Глядите подпись государыни. И глядите эту... Какие это чернила? Наши, сенатские! Это три!.. Да-с. Вот что у нас произошло! Опозорил негодяй весь Сенат. Я ему голову сниму... Прикажите написать доклад... Как я с ним к государыне пойду, и сам не знаю... Дожил до сраму!.. Мой секретарь личный.

И затем через несколько мгновений Поздняк услыхал снова голос Трощинского:

— Прикажите его арестовать. Пока здесь при Адмиралтействе на гауптвахте... А завтра и в крепость.

Поздняка кто-то взял за локоть, он двинулся и пошел...

Всюду, где он проходил, все чиновники толпились кругом него и испуганно заглядывали ему в лицо.

— Молодец Поздняк!..— выкрикнул кто-то.— С учреждения Сената таких мерзавцев не бывало у нас! Нас всех осрамил! Мошенники за подложные подписи на векселях в Сибирь идут. Что же с эдаким гусем сделать, который под руку царицы подписался?

— Неправда! Неправда!..— вскрикнул Поздняк, и слезы досады и обиды выступили у него на глазах.

Слова Поздняка подействовали на многих. Слишком много чувства правды сказалось в звуке его голоса.

Но в ту же минуту вбежал какой-то молоденький чиновник чуть ли не вприпрыжку и крикнул весело:

— Нашел! Нашел! На квартире разыскал! Разорван указ-то... Настоящий-то! Разорван надвое!..

Поздняк ахнул и пошатнулся как от удара. Между тем молоденький чиновник радостно и весело объяснял собравшимся в кучу чиновникам, что, отправившись на квартиру Поздняка по приказанию Трощинского с обыском, он нашел подлинный царский указ в двух клочках и доставил их.

— Дмитрий Прокофьевич обещал меня наградить за успешный обыск...— закончил он, почти приплясывая от радости.

VIII

В сумерки на гауптвахту пред Адмиралтейством был приведен сенатский чиновник и посажен под арест. Поздняк был несколько спокойнее. Он немного пришел в себя и обдумал свое положение. Он считал себя виноватым — пред царицей. Поэтому она, быть может, не захочет его спасти от строгого начальника. Он никому не сказал об ее милости к нему, но он имел неразумие сохранить изорванный указ. А эти два клочка выдали его теперь головой и обнаружат все дело, как оно было...

«Потрафилось все так, как если бы я проболтался, рассказал все всем...— думал Поздняк.— Я выдал тайну! А царица велела держать ее крепко».

Что будет с ним, Поздняк никак не мог себе представить. Ему казалось, что государыня непременно разгневается за то, что все дело огласилось, и не захочет вновь спасти его от суда и наказания.

Ввечеру около гауптвахты появилась мододая женщина и долго бродила по площади и около здания. Наконец, решившись, она приблизилась и обратилась к солдатам с просьбой сказать об ней караульному офицеру. Офицер вышел. Женщина, плача, стала просить его допустить ее видеться с арестованным чиновником.

Это была Настенька Парашина, знавшая уже о судьбе, постигшей жениха. Побывав на квартире Поздняка и в Сенате, девушка узнала страшную, невероятную весть, что ее Иван Петрович совершил государственное преступление, подписавшись на подложном указе под руку самой монархини.

Караульный офицер не имел никакого предписания не допускать никого к арестованному и поэтому, поколебавшись, согласился.

— Вы его невеста? Верно ли это? — переспросил он молодую девушку.

Настенька побожилась, крестясь и плача.

— Ну что ж... Идите.

Офицер провел девушку в маленькую горницу около караульной, где сидел арестованный. Поздняк ахнул при виде невесты и готов был заплакать от радости.

— Что же все это значит, Иван Петрович? Что вы наделали?..— заговорила Настя, когда офицер вышел и они остались наедине.

— Ничего я, Настенька, не делал. Так уж все случилось. Недогадлив я...

— Зачем вы не поехали в Царское? Как вы решились на эдакое страшное дело! Царица бы простила вас. А теперь что же?.. Теперь, говорят все, вы в Сибирь пойдете...

Поздняк молчал, уныло понурившись...

— Как могли вы, Иван Петрович, такое страшное дело надумать?

— Какое?

— Подписаться под руку царицы...

— Помилуй Бог! Не стыдно ли тебе меня в эдаком подозревать. А говоришь еще, что любишь! — воскликнул Поздняк. — Не бывал я никогда мошенником!

— Так объясните... Что все это?.. Были вы в Царском Селе?

— Был.

— Видели царицу?

— Видел, Настенька... И все вышло слава Богу. Царица простила... А потом я...

Поздняк махнул рукой.

— Написал подложный указ... Зачем?

— Ох, нет, нет... Но что и как вышло, какая вышла беда — этого я не скажу никому. И тебе не скажу...

— Виноваты же вы в чем-нибудь, коли арестованы?

— Ни в чем, Настенька. Я виноват, что не изорвал в клочки или не сжег первый указ. Собирался десять раз — духу не хватило! Нечаянно, иное дело! А как пришлось рвать в клочки — руки не действовали, отказывались. Как погляжу на подпись, так руки и опустятся! Да, признаюсь, на память хотел сохранить...

— За что же вы арестованы? — приставала Настя.

— За напраслину, клевету. Обвинен, что якобы подписался на указе.

— Так кто же подписался, если не вы?

— Не скажу, Настенька, не могу.

— И мне не скажете?

— Никому. Слово дал. Зарок. Клятву. Пускай будет, что Богу и царице угодно. Знай только, дорогая моя Настенька, что твой Иван Поздняк — честный человек.

— Верю и я в это... Но ничего, ничего не понимаю. У вас в Сенате солдаты мне говорили и два чиновника тоже объясняли, что вы подлог сделали.. А вы говорите — нет... Я вам верю... Но что теперь будет. Вас судить будут и засудят

— Не знаю.

— В Сибирь сошлют?

— Не знаю... Не верится. Но из службы исключат. И я буду нищий... И тебе не жених. Дядя также от меня откажется.

Несмотря на новые усиленные моленья Насти рассказать ей всю правду, молодой человек не прибавил ни слова разъяснения.

Офицер вскоре снова явился и попросил девушку уходить. Он все-таки боялся идти в ответ за то, что допустил ее видеться с арестованным. Настя простилась, горько плача, и вышла.

Между тем в тот же вечер придворная дама, сопровождавшая государыню на прогулке, уже знала все происшедшее с сенатским секретарем и тотчас же приняла свои меры. За два дня перед тем она, по приказанию государыни, разузнала все про Поздняка, узнала, что он женится, и все передала. Теперь она поспешила тоже донести немедленно до сведения государыни про общее смущение в Сенате и аресте секретаря.

На другой день в Царскосельском дворце в числе других сановников дожидался очереди с докладом и Дмитрий Прокофьевич Трощинский.

Он был угрюм, расстроен, почти ни с кем не разговаривал и только на вопрос одного из присутствовавших, полицмейстера Рылеева, ответил озлобленно:

— Да... Стряслась беда... Срамная... Вам по вашей должности известно, вероятно, все...

— Известно, Дмитрий Прокофьевич... Такого, признаюсь, никогда, кажется, на Руси не бывало. Какая дерзость! Весь Питер толкует о преступлении. Но изволите видеть... Цель непонятна. Преступление совершается с целью. Какая тут цель была?

— Изорвал указ нечаянно и заменил своим. И сошло бы, если бы не мое сугубое внимание...— объяснил Трощинский.

Через полчаса докладчик по невероятному преступлению стоял перед императрицей, сидевшей за столом, и, волнуясь, злобясь и стыдясь вместе, объяснил ей, как приключилось «срамное деяние» в Сенате.

Государыня молча выслушала весь доклад, потом взяла «подложный» указ, внимательно осмотрела его, потом взяла два куска другого указа и тоже стала разглядывать...

— Изволите видеть...— указывал Трощинский.— Вот чернила вашего величества. А на этом указе и чернила наши, сенатские, сероватые. Я буду умолять ваше

императорское величество...— добавил Трощинский,— о примерном и беспощадном наказании преступника. Если бы это было в моей власти, я бы его казнил за кощунство...

— Кощунством именуются совсем иные преступные действия, Дмитрий Прокофьевич...— холодно заговорила государыня.— Не надо преувеличивать! Императорская подпись святого ничего не заключает в себе... Русский монарх и без того так твердо и так высоко стоит, что не нуждается в маленьких подпорках... А льстивое преувеличение монарших прерогатив и царского значения, на мой женский рассудок, кажет именно вроде подпорки, шеста, поставленного у гранитной скалы, будто ради ее пущей твердости. Даже забавно... Вот что я вам скажу, мой любезный... Этот якобы поддельный указ — настоящий, что б вы про чернила ни говорили. Это моя подпись.

— Ваше величество, но этот разорванный доказывает...— начал было Трощинский.

— Доказывает, что секретарь ваш шалил, сидя дома. Это нехорошо делать с царскими указами, но это не преступление. Он написал два указа, один вы подали мне для подписи, а другой оставался у него... Вероятно, он счел его не красиво написанным. А затем ради шалости он сам его моим именем подписал. И даже очень искусно. А потом, конечно, разорвал. Просто шалость. И за это надо ему сделать выговор...

— Но помилосердуйте, государыня... По чернилам подписи и по всей бумаге я знаю, что этого указа я не подавал вам к подписанию. Вот настоящий... А этот подложный... И эта подпись...

— Это моя подпись, Дмитрий Прокофьевич.

— Ваше величество, вы, по несказанной доброте, желаете спасти негодяя, не стоящего ваших милостей. Вы признаете из жалости подложную подпись своею...

— Нет, это я писала. Я не могу отказаться от своей подписи. Это было бы нечестно.

— Господи помилуй!..— выговорил Трощинский, потерявшись, и прибавил, разводя руками: — Как же повелите поступить?

— Очень просто...

Екатерина разорвала два клочка указа на мелкие куски и бросила их в корзину у стола.

— До шалости чиновника у себя на квартире нам нет дела...— выговорила государыня, улыбаясь.— Не надо

было его обыскивать. Если мы пороемся у иного в бумагах, то, может быть, найдем листы, подписанные именами Александра Македонского, короля Магнуса и всех королей Людовиков французских...

— Простите, ваше величество! — воскликнул Трощинский,— но я прошу вас еще раз поглядеть внимательнее, ваша ли это подпись... Таких чернил у вас, государыня...

— Дмитрий Прокофьевич, дело не в чернилах! — холодно вымолвила Екатерина.— Считать эту подпись подложною, не узнавать ее — есть... пожалуй даже... государственное преступление.

Трощинский несколько оробел от голоса государыни, поспешил молча склониться и, получив бумаги, вышел.

IX

Однако сановник из мелких чиновников, педант и упрямица, не сдался.

Трощинский был глубоко убежден в том, что государыня или по доброте, ради спасения чиновника, или ради иных высших соображений признала явно подложную подпись за свою, не желая допущения мысли о возможности такого дерзкого преступления. Но тогда за что же он, Трощинский, пострадал, прослывя за опрометчивого государственного мужа, не признавшего монаршей подписи и поднявшего шум «из-за сновидения».

— Весь срам на меня пал!..— озлобляясь, говорил Трощинский.— Негодяй остался безнаказанным, а я осмеянным!

Через два дня, явившись снова с делами в Царское Село, Трощинский, окончив доклад государыне, выговорил взволнованно:

— Ваше императорское величество, дозвольте мне за мою верную службу просить вас о милости несказанной.

— Что такое, Дмитрий Прокофьевич? — ласково отозвалась Екатерина.

— Просьба, ваше величество.

— О чем?.. Я готова всякое возможное для вас сделать...

— Но это такая просьба, с какими еще никто не дерзал обращаться к вашему величеству.

— Вы меня удивляете... Зачем же... Почему же вы с такою просьбой надумались ко мне обращаться?..

— Необходимость, нужда... безысходность положения... Исполнить таковую мою просьбу, ваше величество, можете, однако, совершенно спокойно... Дело самое простое... для вас ничего не стоящее.

— Тогда я ее исполню с удовольствием, не понимаю вашего предисловия...— улыбнулась государыня.— Говорите!

— У меня есть заранее приготовленный указ. Дайте мне ваше царское слово подписать его, каков бы он ни был. Дело самое пустое...

Трощинский достал из портфеля написанный лист и, держа его в руках, прибавил с чувством:

— Доверься мне, царица-матушка, и подпиши его не читая...

Императрица после мгновенного колебания протянула руку и вымолвила:

— Извольте... Подпишу! Но прочту все-таки...

Трощинский положил на стол бумагу. Екатерина просмотрела ее... Лицо ее тотчас стало сурово, но она резким движением взяла перо и подписала.

Указ повелевал заключение в крепости сенатского чиновника Поздняка за преступление по службе, но без объяснения, в чем именно оно состоит.

Трощинский просиял и стал горячо благодарить. Государыня ни слова не вымолвила и отпустила его, кивнув головой.

Вслед за Трощинским тотчас вошел личный секретарь государыни Храповицкий.

— Задержи-ка мне, Александр Васильевич, Трощинского в приемной разговорами...— быстро вымолвила она.

Храповицкий поспешил исполнить поручение, а через четверть часа Екатерина поднялась и явилась в соседней горнице, где было много чиновников, дожидавших приема. Императрица ответила на поклоны и прямо направилась к Трощинскому, которому что-то рассказывал, конечно умышленно, Храповицкий.

— Дмитрий Прокофьевич, я к вам с просьбой... Сейчас мне на ум пришло...

— Что повелеть изволите, ваше императорское величество? — ответил этот, склоняясь.

— Просьба всенижайшая, сердечная. Обещайте мне, дайте слово исполнить, в чем бы дело ни заключалось...

— На смерть пойду, государыня, если указать изво-

лите,— восторженно произнес Трощинский, польщенный такою милостивою беседой при посторонних лицах.

— Нет, дело простое, ничего для вас не стоящее. Достаньте-ка тот указ, который сейчас подписала я по вашему желанию.

Трощинский быстро достал бумагу из портфеля, который лежал на окне, и подал ее.

— Ну, вот... Этот самый... Дайте слово исполнить мою просьбу без гнева и без ропота?..

— Все, что изволите...— заговорил Трощинский другим голосом, предчувствуя, в чем дело...

— Разорвите этот указ.

Трощинский склонился молча и, немного меняясь в лице, разорвал лист пополам.

— Благодарю вас! — выговорила Екатерина.— Это доброе дело сделано вами. Ведь вся ошибка была в чернилах. Чернила очернили чистого человека в ваших глазах.

Трощинский вернулся в Петербург вне себя и, несмотря на позднее время, проехал в Сенат, где все его подчиненные по обыкновению были еще налицо, не смея разойтись до возвращения его из Царского Села.

— Доставить сюда сейчас Поздняка! — приказал он экзекутору.

Через полчаса сенатский секретарь, взволнованный, предстал на глаза его.

— Я докладывал ее величеству о твоем неслыханном преступлении! — строго сказал Трощинский.— Государыня желает знать, как все это произошло. Поэтому сознавайся и расскажи мне, когда, зачем и почему решился ты на подлог.

Поздняк пристально присмотрелся к лицу сановника и, вздохнув, вымолвил:

— Я ничего, ваше превосходительство, сказать не могу. Ни единого слова не могу прибавить.

— Сознайся, и наказание тебе будет легче... Ну, простое исключение из службы. Не сознаешься, на поселение в Сибирь пойдешь, а в крепости сгниешь. Даже хуже, много хуже будет.

— Как Богу и царице угодно.

— Так ты ничего не скажешь?! — крикнул Трощинский.

— Не могу. Помилосердуйте...

Наступило молчание.

— Ладно. Ладно...— заговорил Трощинский без кон

ца.— Ладно, негодяй... Ладно... Так применим к тебе высшую меру.

И, кликнув солдат, сановник приказал:

— Отвести его в крепость и сдать от моего имени дежурному по караулу. Скажи, что долго у них не насидит. Его указано завтра судить по-военному и расстрелять... Ну, ступай...

Побледневший как смерть, Поздняк двинулся через силу; но, когда он был в дверях, Трощинский остановил его.

— Слушай. Ну, ради моих милостей к тебе... Ведь я же тебя из ничтожества взял и... Ну, из благодарности ко мне. Признайся, как дело было... Расскажи все, и пойдешь вот, сядешь сейчас за свой стол... Все забудем. Как если б все это нам обоим одним злым сновидением было... Ну, голубчик Иван Петрович, сознайся.

— Ваше превосходительство! — воскликнул тронутый до глубины сердца Поздняк.— Не могу я... Бывают такие дела на свете... что ум за разум заходит. Всей бы душой желал сознаться вам во всем, за все ваши благодеяния... И не могу. Хоть голову рубите — ни слова не скажу...

Трощинский изменился в лице от гнева, молча махнул рукой и отвернулся. Поздняк вышел и двинулся за солдатом, схватив себя за голову руками.

Через несколько минут экзекутор, тотчас же вызванный начальником, приказал Поздняку идти домой.

— Как?! — выговорил этот, не веря ушам.

— Идите домой! Дмитрий Прокофьевич приказал. Завтра узнаете резолюцию о себе.

— Ничего не понимаю...— произнес Поздняк, дрожа от радости.— Он приказал сейчас в крепость... Я ничего не понимаю.

— Ну, сударь мой...— озлобленно крикнул экзекутор.— Вы-то еще в этом деле можете кой-что понимать! А вот Дмитрий Прокофьевич и мы все — так действительно никакого дьявола понять не можем!

Поздняк, не помня себя от радости, побежал на свою квартиру... После крепости, Сибири, каторги, военного суда и расстреляния, которые промелькали в его голове, ударяя по сердцу, он был почти счастлив при мысли, что цел и невредим и на свободе. Он догадывался невольно, что Трощинский его просто пугал... Доклад царице имел, очевидно, иные последствия. Однако, вернувшись к себе, Поздняк, несмотря на страстное желание повидаться

с Парашиными, не решился отлучиться из дому и просидел сутки безвыходно в ожидании своей участи.

Наутро он получил бумагу из Сената — формальную отставку.

— Нищий! Лишен всего...— вымолвил Поздняк.— Лишен даже девушки, которую люблю...

Но едва только молодой человек выговорил эти слова, как в дверях его квартиры показалась Настенька, счастливая, сияющая радостью и румянцем на щеках.

Она бросилась на шею жениха.

— Ничего не будет! Все слава Богу! — воскликнула она.

— Я отставлен... Настенька. А нищий тебе не пара. А мне жизнь без тебя — та же Сибирь.

— Ничего не будет... Иван Петрович. Слушайте. Слушайте!.. «Моя милая, успокойтесь, не плачьте. Ваш жених получит другую должность и женится на вас». Кто это мне сказал, Иван Петрович? Кто это так сказал?..— восторженно воскликнула девушка, представив кого-то другого перед изумленным Поздняком.

— Дмитрий Прокофьевич?..— спросил он.

— Царица! — вскрикнула Настя.

— Царица?

— Да. Да... Я была в Царском...

И Настя рассказала жениху, как она решилась на тот же поступок, что и он. Она была в Царскосельском парке, на той же дорожке и у той же скамеечки, что и первый раз. Она рассказала все царице про арест его из-за напраслины. И царица сказала ей, чтобы она успокоилась, что никакой беды не будет. И Настя повторила снова те же слова государыни.

Поздняк перекрестился несколько раз и горячо расцеловал девушку.

Затем он стал снова переспрашивать ее о малейших подробностях ее свидания с государыней.

— Очень удивилась она...— объяснила между прочим Настя,— когда я ей сказала, что не вы подписались под ее руку. Что виновен другой человек. И его надо судить. А не вас!

— Как? Что ты?..

— Да. Очень удивилась. Спросила меня, знаю ли я все дело... как это было... от вас. Я ответила, что вы ничего мне не захотели сказать. Тогда царица еще больше удивилась и сказала так: «Даже вам ничего не сказал?» Я говорю: ни слова не хотел сказать, но я-то

знаю, говорю, и верно знаю, что не Иван Петрович, а другой какой негодный человек подлог этот сделал...

— Ах, Настенька, Настенька!..— весело воскликнул Поздняк.— Что же государыня на это сказала?

— Рассмеялась и сказала: «Молодец, держит свое слово!» А потом сказала мне, что все обойдется слава Богу, что вы должность другую получите и мы обвенчаемся...

Поздняк снова расцеловал невесту, а затем вдруг выговорил:

— Настенька! Пойдем Богу молиться. Вместе.

— Идемте. Сначала за царицу помолимся, а потом за себя! — радостно согласилась девушка.

X

Прошла неделя, другая, третья... Прошел месяц.

Исключенный из службы сенатский секретарь ничего не дождался. Все, что сказала ему его невеста, на что они надеялись, все оказалось мечтой.

Поздняк, не имея жалованья, нанял себе угол в Выборгской и не имел даже на что купить хлеба. Он с трудом доставал для переписки бумаги, ибо такой работы было в столице мало. На службу его никто не брал. Многие лица, узнав от него, какая его постигла судьба, не хотели давать никакой должности и как бы сторонились от него.

Уныние напало на молодого человека, а затем и отчаяние... Последнею каплей, переполнившей горькую чашу испытаний, было свидание его с родственником-богачом. Когда Поздняк обратился к нему за помощью и рассказал свою беду, не объясняя все-таки, как было все дело, родственник выгнал его вон и не велел более переступать порог своего дома.

И в тот же день, будто злая судьба захотела этого, Анна Павловна Парашина запретила дочери видаться с «господином» Поздняком, говоря, что нашла ей другую хорошую и выгодную партию...

Спустя месяц после исключения секретаря из службы к нему явился на его новую квартирку-угол неизвестный человек, хорошо одетый, по виду важный, и заявил, что является по делу. В коротких словах объяснил он Поздняку, что предлагает ему выгодное частное место, где он будет получать пятьсот рублей жалованья, а впоследствии и более...

Поздняк обрадовался и тотчас согласился. Но незнакомец поставил условием получения этого места, чтобы он рассказал подробно и искренно, что за темная история была у него в Сенате. Был ли им подделан указ с подписью императрицы. Человеку, способному на подлог, он места дать не может. Поздняк отказался наотрез объяснить что-либо по этому делу. Незнакомец предложил снова выгодное место и единовременное пособие в триста рублей еще до получения этого места.

Поздняк не догадался по наивности и чистосердечности, что неизвестный человек просто подослан купить его тайну. Быть может, даже самим Трощинским.

Его только удивила настойчивость и щедрость незнакомца.

— Как было все дело об указе, я никому никогда не скажу! — ответил Поздняк.

— Подумайте, вы умираете с голоду... А тут средства большие...

— Ну, и помру... и с голоду, и с горя, а все-таки ничего рассказывать не стану.

На этом беседа их и кончилась.

Через три дня после посещения неизвестного господина Поздняк получил повестку, приглашавшую его явиться к обер-полицмейстеру Рылееву. Молодой человек смутился.

— Неужели не конец всем бедам и мытарствам?! — воскликнул он.

Наутро унылый и смущенный отправился он по вызову и был тотчас же позван в кабинет обер-полицмейстера.

— Вы господин Поздняк? — спросил его Рылеев.

— Точно так-с.

— Какую желаете вы получить должность, по какому ведомству?

— Всякому месту буду рад. Я погибаю...— отозвался Поздняк.— Я исключенный из службы и нищий... Меня никто не возьмет на службу, если сильный человек не вымолвит за меня словечко.

— Вы ошибаетесь, господин Поздняк. Во-первых, я приму вас на службу с удовольствием, если вы того пожелаете... Во-вторых, вы — Владимирский кавалер! В-третьих, вы — не нищий, потому что у вас сто душ, пожалованных вам государыней... Вот указ... А вот крест..

Поздняк стоял ошеломленный...

— К этому я имею добавить вам, что государыня

императрица жалует все это вам за то, что вы умеете, несмотря ни на какие терзания, держать ваше слово крепко и не выдавать чужих тайн. Какое это слово и какая это тайна — я не знаю, но государыне, очевидно, все это известно... Извольте получить...

И Рылеев взял со стола и передал Поздняку футляр с крестом Св. Владимира 4-й степени, затем указ о пожаловании ста душ из государственных крестьян в Белоруссии.

— А завтра,— продолжал Рылеев,— прошу быть здесь в качестве помощника правителя моей канцелярии. Мне такие люди, как вы, нужны. Да и всякому начальнику нужны. Я же принимаю вас к себе на службу по приказанию, не смею выражаться — по совету государыни императрицы.

— Что мне делать, научите?! — воскликнул наконец Поздняк, выйдя из своего столбняка.— Как мне заслужить все эти милости царицы?

— То, что сделает иногда своему подданному наш монарх Екатерина Великая,— выговорил с чувством Рылеев,— иному бывает не в силах заслужить за всю свою жизнь...

Через три года видный столичный чиновник, богатый, уже давно женатый на любимой девушке и семейный, Иван Петрович Поздняк, встретил на улице тихо проезжающую мимо императрицу и, очутившись в трех шагах от саней, опустился на колени в снег...

— Просите о чем? — спросила государыня, остановив экипаж.

— Нет, ваше величество, я благодарю за все, что имею незаслуженно...

— Кто вы?

Поздняк назвался и напомнил государыне дело об указе. Екатерина узнала бывшего сенатского секретаря и улыбнулась ласково.

— Служите верой и правдой отечеству и монарху,— вымолвила она,— выходите в люди. И если когда станете государственным деятелем, то... держите данное слово так же крепко. И притом еще...

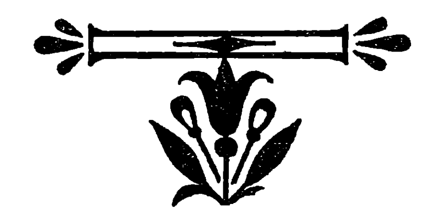
Государыня усмехнулась весело и прибавила:

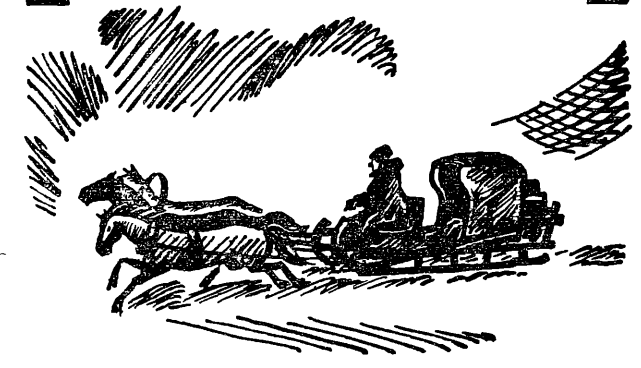
— ...Узнавайте монаршии подписи не по чернилам, а по почерку.

— Нет, ваше величество, будут узнавать их не одни глаза мои! — воскликнул Поздняк.— Благодарное сердце будет узнавать их!

ПАНДУРОЧКА

Исторический рассказ







I

Верстах в тридцати от города Кирсанова, в глухом месте, с трех сторон окруженном дремучим лесом, стояла усадьба Кузьминка. Барский дом и надворные строения помещика средней руки отличались тем, что были совсем новые, как бы с иголочки.

Кузьминка не была старинным родовым имением. Два года тому назад на этом же месте был лишь поселок в четыре двора и полная лесная глушь, где зимою бродили волки стаями.

Капитан пандурского полка в отставке, Кузьма Васильевич Карсанов, купил у товарища по полку пятьдесят душ крестьян и стал строиться, но не там, где была деревня, а в шести верстах от нее, на клочке земли, принадлежавшем к тому же имению и где был выселок в одиннадцать душ.

Здесь пандурский капитан быстро выстроил дом и службы, разумеется, умышленно выбрав глухое место. Обстоятельства его жизни сложились так, что он искал полного уединения.

Пандур, сделавший три кампании, отличавшийся во всех встречах с неприятелем, а дрался он и с немцем, и с туркой, и со шведом, был два раза ранен и уже пятидесяти шести лет вышел в отставку. Разумеется, Кузьма Васильевич — бравый офицер, воин по призванию и склонностям характера, остался бы служить царице до последнего издыхания, если бы в его жизни не приключилось нечто чрезвычайное.

Всю свою жизнь капитан учил солдат военному артикулу, почти всю жизнь воевал, начав военное поприще еще во дни императрицы Елизаветы, и ни разу за всю свою жизнь не позволил себе увлечься чем-либо посторонним военному делу. Что касается до женщин, то они для капитана совсем не существовали. Когда ему говорили про прекрасный пол, он отвечал, брюзжа:

— По-моему, его бы звать «подлый пол»!

И капитан горячо доказывал, что все гадости на свете происходят от женщины.

— Кабы не баба — на земле бы рай был, как на то указывает Священное писание.

— Что вы! Что вы! Откуда вы это взяли? — изумлялись собеседники.

— Посудите,— объяснял Карсанов совершенно серьезно.— Первая же уродившаяся на свете женщина — наша праматерь Ева, как только ступила первый шаг в раю, так сейчас же с чертом связалась. Сказывается в Священном писании, что якобы это был змий. Это так... иносказательное повествование. Это был ее приятель, с которым она мужа обманывала. За это ее Господь и выгнал вместе с супругом из рая, иначе сказать, рай исчез, и они просто очутились на земле.

Когда капитану доказывали, что в те поры, помимо Адама, не было ни единого другого человека на свете, то капитан объяснял:

— Я же вам и не говорю, что это был человек, а черт в виде молодого человека. И вот от него-то Каин и родился, от него-то и пошло в мире зло. Второй сын был от Адама. И вот хорошие люди — потомки Авеля, дурные люди — потомки Каина. И в этих двух потомствах добро и зло и борются между собой.

Целая история, даже целая теория имелась у Карсанова на этот счет. Впрочем, не он сам ее придумал, а передавал со слов своего друга, одного архимандрита.

— Нет на свете ни единой женщины честной, нет ни единой супруги верной. Все в праматерь свою! — добавлял капитан.

Когда Карсанову было уже за сорок лет, он был извещен, что его товарищ и друг, убитый на войне, назначил его по завещанию своим душеприказчиком да вдобавок опекуном дочери-крошки лет двух.

Делать было нечего. Пандур занялся делами и девочкой-сиротой. Разумеется, он оставался в полку и заглазно управлял ее маленьким именьицем в Воронежской губернии, а ее самое тоже заглазно передал на воспитание и попечение своей дальней родственнице. И только спустя десять лет, посланный по делам службы в Воронеж, он заехал поглядеть на свою питомицу.

Двенадцатилетняя девочка удивила капитана. Она была и красива, и умна, и бойка удивительно, только чересчур мала. Ей казалось лет семь или восемь, так что

если еще и подрастет немножко, то все-таки будет карлицей.

Однако, прожив месяц у родственницы, старик пандур привязался к сироте. Вернувшись в полк, он чаще писал старухе, чаще справлялся о питомице, а через два года опять поехал в Воронеж уже исключительно за тем, чтобы поглядеть, подросла ли маленькая Аннушка. Оказалось, что девочка подросла, стала еще красивее и умнее и еще бойчее. Но ростом... чуть не бирюлька!

В этот приезд Карсанов пробыл месяца два и окончательно привязался к Аннушке, не отходил от нее ни на шаг, но, однако, странное, не отеческое чувство овладело им.

За несколько дней до того, как приходилось снова возвращаться в полк, семидесятилетняя старушка-родственница объяснила Кузьме Васильевичу, что ему придется озаботиться судьбой питомицы больше, чем когда-либо: придется ее взять к себе.

— Зачем, матушка сестрица?

Капитан всегда величал так родственницу.

Старушка объяснила:

— Я умирать собираюсь, и скоро. Стало быть, лучше бы вам ее с собой теперь же взять.

На решительный отказ Карсанова старушка настаивала, говоря, что с кем же девочка останется, когда она помрет. Капитан объяснил старушке, что она может еще прожить смело лет десять—пятнадцать. Старушка обиделась:

— Что же ты меня за лгунью, что ли, почитаешь? Говорю я вам, через неделю Богу душу отдам. Я, слава Богу, никогда во вралихах не была.

Капитан перестал спорить, но все-таки продолжал собираться в дорогу. Видя это, старушка настояла, чтобы родственник обождал до следующего вторника.

— Да зачем, матушка сестрица?

— А затем, батюшка братец, что под вторник или в самый во вторник на заре я помру. Ты меня похоронишь, а Аннушку с собой увезешь поневоле.

«Ну, старуха,— думал капитан,— упряма!»

Нечего делать, пришлось остаться Карсанову до вторника, надеясь, что старуха его не заставит ждать опять своей предполагаемой смерти до следующего вторника и что можно будет выехать. Однако Карсанов ошибся.

Пришел вторник. Старушка была в добром духе и после полудня, сидя и вышивая в пяльцах, кротко пересмеивалась с сидевшей около нее девочкой. Обе они были заняты важным делом: работали наперегонки. Аннушка наматывала клубок шерсти, а старушка доканчивала какой-то листок по канве. Ради шутки они условились, что кто кого перегонит, выиграет крымское яблочко. Бойкая и шустрая Аннушка спешила из всех своих сил размотать шерсть, чтобы обогнать бабушку и получить румяное яблочко, соблазном лежавшее на столе.

— Готово! — воскликнула она наконец, вскочив с места и держа клубок над головой.

— Умница! — произнесла твердо старушка.— Но вот... Вот и у меня...— тише сказала она, выпрямляясь от пялец и прислоняясь к спинке своего кресла.

Аннушка поглядела... И действительно, зеленый листик был тоже окончен.

— А все-таки же я первая! — вскрикнула она.

Бабушка ничего не ответила. Аннушка испугалась: «Неужели бабушка надует, заспорит!»

— Ведь я? Я? — опять спросила девочка, но бабушка продолжала сидеть молча и глядеть на нее какими-то чудными глазами. Потом она склонила голову набок, да как-то удивительно. Голова все повисала и повисала и так совсем повисла, что ухом почти легла на плечо.

Старушка доказала в последний раз, что никогда в сралихах не была.

После похорон волей-неволей капитан, смущаясь, все-таки взял питомицу и с ней вместе выехал в полк.

II

Поселившись вдвоем в маленьком городке, где стоял пандурский полк, Кузьма Васильевич и крошечная Аннушка зажили весело и обожали друг друга. Капитан в питомице души не чаял, она же любила его не меньше своих кукол и звала «Кузинькой», причем целовала его всякий день столько же, сколько и свою любимицу, фарфоровую Машу во французском платье, которую ей выписал капитан из Москвы, уплатив целых десять рублей. Недаром Маша на корабле в Питер приехала и оттуда в Москву попала.

Не прошло, однако, и году, как Карсанов получил свой «абшид», но по собственному желанию. Он выехал с питомицей в дальний путь, через месяц был в городе Кирсанове и уже покупал маленькое именьице. Капитан решил, что ему, Карсанову, надо жить в Кирсанове или поблизости. Но здесь произошло главное событие его жизни: он женился на своей питомице, которой еще не хватало двух месяцев до полных пятнадцати лет.

Когда Кузьма Васильевич разъяснил Аннушке, каким способом она может его осчастливить, и сделал ей предложение, то она бросила куклы и прыгала чуть не до потолка. Выйти замуж, да еще вдобавок за «Кузиньку», ей представлялось таким веселым, таким прелестным, что занятнее, конечно, ничего не выдумаешь.

— А долго это будет продолжаться? — спросила она.

— Что такое?

— А вот, наша свадьба?

— Самая свадьба около часу.

— А потом я долго буду вашей супругой?

— Всю жизнь.

— И меня барыней будут звать, Анной Семеновной?

— Понятное дело.

— И тоже на всю жизнь?

— Тоже.

— На всю жизнь! — воскликнула Аннушка и стала прыгать еще пуще.

Справив скромно свою свадьбу в городе Кирсанове, капитан занялся устройством своего будущего местожительства. Стройка пошла быстро, и осенью он уже переехал в новую усадьбу, при которой только еще не было служб.

И вот теперь минуло уже почти два года с тех пор, что капитан женился на пятнадцатилетней девушке, которой тогда на вид можно было дать и двенадцать. Теперь Аннушка стала немножко повыше и немножко круглее, но все-таки по своей миниатюрности с трудом могла в глазах всякого почесться замужней женщиной. Диковинно она была мала.

Однако за эти два года много воды утекло. Анна Семеновна начала скучать среди леса дремучего, изредка плакать и убиваться, собираясь бежать то в монастырь, то на край света, а чаще всего в прорубь речки за садом. Капитан волновался, тревожился, боялся этих угроз, так как притворства в Аннушке не было. И несмотря на то, что он был страшно ревнив, он решился

несколько раз выехать с женой из своего гнезда в Тамбов, а два раза в Москву и, наконец, однажды обещал жене вскоре собраться к святым угодникам в Киев помолиться о даровании им потомства.

Эти путешествия перевоспитали маленькую капитаншу, принесли ей пользу, а капитану один вред, ибо после каждого путешествия Аннушка еще более скучала в усадьбе среди леса. Понятно, что она кое-что сообразила, сначала неясно, потом яснее, и стала досадовать на себя. Вспоминая, как прыгала она при известии, что выйдет замуж за Кузьму Васильевича и станет барыней, она понемногу пришла к раскаянию, пеняла на него и на себя, а вскоре начала втихомолку плакать горько и неутешно. Теперь она уже отлично поняла все, понимала, что не только не следовало ей никогда выходить за Кузьму Васильевича, но и ему, старику, не следовало и даже грех было на ней жениться, будучи на сорок лет старше ее.

Состоявшаяся среди лета поездка в Киев подлила масла в огонь. Не до молитвы было Аннушке. И наконец, к довершению всех зол, особый случай, по дороге из Киева обратно домой, окончательно пересоздал капитаншу, если не совсем с ума свел. Да и было отчего...

Верстах в семидесяти от Киева они должны были остановиться поневоле на станции среди степи. Тут было много народа, съезжих с двух концов дворян. Все застряли. Лошадей почтовых никому не давали, так как ожидался проезд главнокомандующего русской армией по пути в пределы турецкие. Ехал сам светлейший князь Григорий Александрович Потемкин!

Капитанша несказанно рада была увидеть знаменитого вельможу, про которого муж много и часто рассказывал ей. Сам Карсанов был тоже очень доволен нежданным случаем представиться и даже представить жену, благодаря исключительной обстановке и особым, все упрощавшим обстоятельствам. В маленькой деревушке среди степи какой же может быть этикет?

И действительно, при появлении на станции именитого и славного любимца государыни, заслуженный пандур не только представился с женой, но был обласкан вельможей и приглашен в числе прочих проезжих дворян к столу, то есть к завтраку, который был, конечно, сервирован так, как если бы все находились в Петербурге, а не среди степи. Не только дивная посуда и серебро явились, как по манию волшебника, не только угощение

было по-царски роскошно, но даже всякие редкие заморские вина полились рекой. Недаром за экипажем вельможи двигалась целая вереница фургонов с прислугой и провиантом. Но этого мало. Светлейший почему-то посадил около себя именно капитаншу, и угощал ее предпочтительнее, и любезничал с ней сугубо.

Старый пандур, как ревнивец от природы, сидя несколько в отдалении, приглядывался и краснел от удовольствия, но и от боязни, что жена будет очарована. Он, конечно, не знал, да и никто на его месте не мог бы предположить, что вельможа, падкий на прекрасный пол, остановился здесь лишних два-три часа исключительно затем, чтобы полюбезничать с женщиной-крошкой. А крошка эта именно сразу ему сильно приглянулась своей редкой миниатюрностью, и он ее прозвал уже тотчас «пандурочкой».

Впрочем, в данном случае ревновать было нельзя — и неудобно, и бессмысленно. Благосклонность вельможи не могла быть истолкована в дурную сторону, так как через час-два вельможа двинется далее, по пути... чуть не на край света, во всяком случае на край России, к границе Турции.

Приближенные князя знали и понимали больше пандурского капитана и крошечной капитанши. Они знали, что завтрак на этой станции не предполагался и что его вдруг по нежданному приказу кое-как с трудом состряпали. Но близкие люди, и свита, и прислуга, давно привыкли к своему обожаемому князю и ко всем его «чудесам». Сегодня он из-за прихоти всех и все кверху ногами перевернет, а завтра сам удивится и спросит:

«Что такое приключилось? Кто таковое приказал? Я же?! Да что вы на меня все поклепы взводите! Идолы!»

И приближенные сообразили, конечно, тотчас, что красивая и крошечная не то женщина, не то куколка, оказавшаяся семнадцатилетней капитаншей, женой пандурского офицера с шестым десятком лет на плечах, заинтересовала среди тоски и однообразия дальнего пути их всевластного и прихотливого повелителя.

— Вот так пандурочка! — воскликнул он.— Никогда еще такой крохотули не видал. Тринадцать лет дать нельзя. Подавать завтракать. Поспеем. Турка от нас не уйдет!

И около станционного дома на лугу вдруг состоялось пирование. Всех дворян позвали к столу, но «стола» не было, ибо такого большого, на тридцать человек, никогда

в этих краях и не бывало. На траве были разостланы ковры, и все уселись кругом, как кто мог удобнее и вежливее.

— Не бойсь, государи мои! — восклицал весело хозяин, радушный и приветливый.— Не стесняйте себя... Турки завсегда так кушают... Ноги под себя, а не набок. Вот так...

Приглашенная Анна Семеновна Карсанова, сидевшая на ковре около могучей фигуры князя, казалась совсем такой куколкой, которую он мог бы легко спрятать у себя за пазухой. Долго ли продолжался завтрак и что говорил ей вельможа, как и о чем он шутил, капитанша не помнила, потому что была как в чаду.

Она очнулась вполне только тогда, когда все, как наваждение какое-то мимолетное,— вдруг исчезло из глаз ее, а сама она сидела в тарантасе около мужа... А кругом была пустота, голая степь.

Где же этот красавец великан, его чудные глаза и чудный голос, проникающие в сердце, волнующие его какой-то еще не изведанной сладостью. Неужели это больше никогда не повторится? Да и было ли оно?

Встреча с именитым вельможей, который обладал даром очаровывать всех женщин без исключения, разумеется, сделала то, что пандурочка, вернувшись в свою глушь — в Кузьминку, среди дремучего леса, окончательно стала чахнуть. Она стала жить воспоминаниями о своем путешествии в Киев и завтраке с вельможей. «Он и Кузьма Васильевич?!» — думала и восклицала она наедине.

Разумеется, теперь она знала уже верно, что ее собственное существование — каторга. Остается ей лишь одно: скорее руки на себя наложить.

И это случилось бы, если бы не появилась старая Макарьевна, толстая и здоровенная женщина, вольноотпускная, побывавшая в Москве в нянях, и такая умная, перед которой Кузьма Васильевич сам пасовал. Видавшая всякие виды, знавшая, как люди живут на свете, Макарьевна рассуждала не хуже любой важной дворянки-помещицы.

Себе на шею и как на грех нанял ее теперь капитан в Тамбове, чтобы супруге было с кем душу отвести в беседах. И Аннушка немного ожила.

За одно только слово сразу полюбила она старуху. Макарьевна сказала ей как-то вскоре по приезде, что Кузьма Васильевич Аннушке не в супруги годился бы,

а в дедушки. За этакое золотое слово капитанша, конечно, через полчаса уже висела у нее на шее и целовала ее морщинистые щеки.

Вскоре она стала обожать старуху, и обе с первых же дней не расставались ни на минуту.

Однако Макарьевна сумела так себя поставить в доме, что если барыня Анна Семеновна ее обожала, то и барин Кузьма Васильевич тоже ее полюбил. Впрочем, Макарьевна старалась всегда поглядеть, хорошо ли и плотно ли приперта дверь их комнаты, где она с молодой барыней беседовала шепотом и толковала обо всем том, что творится на свете, и о том, как добрым людям на белом свете жить следует.

Эти беседы шестидесятилетней старухи с молодой женщиной кончились тем, что обе печаловались, как мудрена ее, Аннушкина, жизнь. Но поделать ничего нельзя. Руки на себя наложить — глупо и рано. Надо другого какого выхода ждать. Жизнь всю так прожить нельзя. Все равно от тоски зачахнешь и на тот свет уйдешь. Надо терпеть и ждать. Может, что и навернется. Мало ль что на свете приключается. В сказке не рассказать, что наяву, глядь, потрафилось... Таково просто, а миру на аханье.

Однако Анна Семеновна все-таки постоянно, раза по два в неделю, чтобы душу отвести, грозилась мужу утопиться в той проруби на реке, где для хозяйства воду берут.

III

Не в русских пределах, хотя в единоверной Руси-стране, ярко белеется и будто блестит маленький городок без садов, без растительности кругом, утонувший среди голой степи, раскаленной солнцем, кажется одиноким, затерянным, как корабль среди моря. Но если пустынно все кругом, то в самом городке многолюдство, движение. Вид городка совершенно необычайный, каким он не может быть всегда, а может быть только временно, вследствие чрезвычайных обстоятельств.

Действительно, обстоятельства эти незаурядные — война.

В городке главный штаб победоносной армии. А какой и чей штаб? Главнокомандующего князя Потемкина.

В небольшом, но все-таки самом большом доме городка теснится, движется и суетится настоящий мура-

вейник, но не серый, а яркий, сияющий, всех цветов радуги, и блестит в лучах солнца, пылающего над окрестностью и всей южной страной.

Десятки и даже вся сотня разнообразнейших мундиров придает этой суетне особый отпечаток чего-то высокого, едва достижимого для всех обывателей. Еще серее, убожее кажутся эти обыватели, в числе которых нет русских. Тут и турки, и молдаване, и евреи.

В уютной комнате этого дома лежит на диване в одном легком халате из шелковистой ткани большой и грузный человек с босыми ногами, с обнаженной грудью и с голыми руками, потому что рукава по плечи засучены.

Уже дня четыре валяется он так...

Жара и духота измучили его. Но главное не в этом. На него напала обычная периодическая хворость. Имени ей нет, и назвать ее нельзя, объяснить тоже нельзя, можно только рассказать. Хворость в том, что нигде не болит, тело здорово, но дух томится, изнывает. Если болит что, так разве сердце, да и не болит, а болеет о себе, о других, обо всем мире.

«Не стоит жить на свете! Все суета. Марево! Умереть страшно, а то ни за что бы жить не стал. Люди глупы и злы; друзья — одни предатели; враги неумолимы и беспощадны. Одна надежда на нее, да и она — человек. И она — самодержица над миллионами, сама подвластна невидимке — клевете. Не стоит жить и, пожалуй, лучше умереть! Стоит прожить еще самую малость, чтобы успеть уничтожить полумесяц, выгнать турок из Европы, снова назвать Константинополь Царьградом и, отворив его русским войскам, положить основание новому византийскому царству с новым царем Константином, ее внуком, теперь младенцем. Только из-за этого и стоит еще немного прожить, а то бы сейчас умер с охотой».

Так рассуждает, хворая, тоскуя и мучась духом, всемогущий вельможа, Григорий Александрович Потемкин. От этой хворости нет лекарств. Надо обождать, чтобы немощь сама прошла.

Между тем, пока валяется он на диване, все стало кругом, нет ответа ни на какой важный вопрос. Из дома не выходит и не уезжает ни один курьер, тогда как этих курьеров во многих местах ожидают с нетерпением. Даже иная осажденная крепость неприятельская еще держится, еще не взята штурмом, потому что Григорий Александрович думает о том, что не стоит жить.

В соседних комнатах, в маленькой зале, на лестнице и вокруг крыльца на улице, вся эта залившая домик толпа, пестрая, разноцветная, золотая и серебряная, кишит муравейником, рассуждает вполголоса, или шепчется, или только переглядывается. И у всех на языке, у всех даже на лице только один вопрос:

— Ну, что?

И у всех только один ответ:

— Все то же...

— Не прошло еще?

— Нет, не прошло.

— Что сказывают?

— Сказывают, еще денек-два протянется, не больше.

Четвертые сутки тоже прошли так же, но на пятый день около полудня Григорий Александрович глядел еще суровее, но менее грыз ногти, реже вздыхал тяжело, а главное — приказал подать чулки и туфли. Стало быть, он не будет больше лежать, а будет сновать по своей комнате. Это начало выздоровления. Будет еще один «встряс», быстрый и бурный, как всегда, но зато уже как последнее проявление хворости. Этот припадок, или «встряс», как выражаются приближенные, всегда внезапен, всегда разный, но равно странный или даже диковинный, иногда совершенно непонятный для окружающих. Для глупцов этот финал безыменной хворости — самодурство прихотника, но для умников загадка, задача.

Наступил шестой день.

— Приказал подать одеваться!

— Одевается! Одевается!

— Прошло. Прошло. Слава Богу!

Слова эти облетели домик, достигли крыльца и побежали по улицам городка. И все ожило. Все просияли.

Одевшись, князь сел в любимое кресло, приехавшее вслед за ним из Петербурга. Он задумался, но лицо было ясное.

И через полчаса закипела работа, начались доклады, приемы, приказы, подписи и распоряжения государственной важности. Уже в сумерки, сбыв дело с рук, князь вдруг ухмыльнулся и приказал:

— Позвать Девлетку!

Офицера князя Девлета-Ильдишева не оказалось в зале. Посланный разыскал офицера на дому, где он обливался в сарае ключевой водой. Молодой человек, лет двадцати пяти, с удивительным искусством в пять минут

оделся в полную форму — привычка великое дело — и чуть не бегом пустился к дому главнокомандующего.

Не прошло, конечно, полчаса после требования вельможи, как камердинер уже докладывал ему:

— Князь Девлет-Ильдишев.

Между тем молодой князь в зале, окруженный кучкой офицеров и двумя генералами, любезно кланялся и здоровался. Его все знали, все любили, потому что, добрый малый сам по себе, он, вдобавок, с некоторых пор начинал как будто делать быструю и блестящую карьеру. Все замечали, что главнокомандующий все более его к себе приближает и молодой князь становится будто любимцем.

Впрочем, этому офицеру как бы пристало быть фаворитом высокопоставленного лица или даже временщика. Если, указав на него, объяснить, что он фаворит всемогущего вельможи, то никто бы не удивился, и это благодаря только наружности молодого человека.

Князь Девлет-Ильдишев был настоящий типический красавец христианско-мусульманских пределов, то есть кавказец по происхождению. Будучи сыном и братом двух знаменитых красавиц города Тифлиса, он не уступал им обеим ни в чем, скорее делал им честь. Оригинальный, строго правильный профиль, чистый, матовый цвет лица, гладко выбритого, чудные черные глаза с синими белками, красивое сложение и стройность, наконец, что-то приветливо-доброе и правдивое во взгляде и улыбке — все делало из князя Девлета настоящего красавца.

Через минуту офицер стоял уже навытяжку у дверей комнаты, где сидел в креслах главнокомандующий. Потемкин смотрел на офицера молча и весело улыбался. Ему нравился этот молодой, красивый и изящный кавказец, вдобавок ловкий и сметливый, отлично исполняющий всякого рода поручения.

Видя довольное и веселое лицо князя, офицер выговорил, тоже улыбаясь:

— Что прикажете, Григорий Александрович?

Это обращение, часто поражавшее окружающих и свидетельствовавшее о близости отношений главнокомандующего к офицеру, было, однако, результатом простой случайности и простой прихоти.

Однажды, случайно, князь приказал офицеру никак не титуловать его, так как это замедляет всякий разго-

вор, да, наконец, и надоедает слуху. Он приказал ему говорить просто «Григорий Александрович», без всяких титулований и даже избегать повторять слишком часто и имя с отчеством.

IV

Князь, помолчав и подумав, заговорил:

— Скажи, Девлетка, я знаю, ты — красавец. Знаю, что прыток. Знаю, что дураком не бывал, но скажи, бывал ты когда в дураках?

Офицер ежился, ибо отвечать «не могу знать» было запрещено.

— По сю пору, сдается, еще не бывал. Но все же если в одних делах я не дурак, то в других делах, может, окажусь совсем дураком.

— Хочу я тебя послать с поручением важным. И не близко: к черту на кулички. То бишь вру. От черта на куличиках, где мы теперь, в христианские места, в Тамбовскую или Воронежскую губернию. Дорогу найдешь? — улыбнулся Потемкин.

— Найду-с!

— А дело справишь мое?

— Какое дело? Постараюсь справить всякое. А что Бог даст.

— Надо мне, видишь ли, привезти сюда российскую луну. Обождавши там, в Тамбове или в Воронеже, пока народится новый месяц и станет подниматься с земли на небо, в эту самую пору подпрыгнуть, ухватить его, запрятать в карман и привезти. Хочу я поглядеть, похож ли российский полумесяц на здешний — турецкий. Можешь?

Офицер, уже́ привыкший к вельможе, усмехнулся и вымолвил:

— Попробую!

— Случалось тебе когда месяц с неба хватать и в карман класть?

— Нет-с, еще не приходилось. Да это что? Попробую. Только за удачу не отвечаю. Впредь прошу не гневаться, если обмахнусь.

Потемкин рассмеялся и вымолвил, помолчав:

— Вот что, голубчик Девлетушка, если послать тебя луну ловить, то ты хотя ее и не поймаешь, то за это тебе ничего не будет. Никто не рассердится на тебя, не побьет, не убьет и даже не тронет. Я даже не трону. А вот

приходится мне тебя послать за иным делом: словить и украсть некое махонькое красное солнышко. А за это тебя могут пришпилить, уходить те, что стерегут это солнышко. Не побоишься?

— Никогда ничего не боялся! — быстро, смело и как-то горделиво ответил офицер.

— Ну, так слушай, Девлетка! Расписывать не стану, скажу кратко. Стало, всякое слово лови и зарубай на носу. Был я проездом из Питера среди степей Малороссии, приехал на станцию, где из-за меня видимо-невидимо в дороге народу сидело. Кто из-за нехватки лошадей, потому что всех забрали под меня, а кто из-за любопытства поглядеть на Гришку Потемкина. Ну, вот я на этой станции лошадей тотчас не переменил, а остался на целых три часа кушать и беседовать. Всех дворян пригласил к себе и угощал среди поля около станционного дома. Да. Вот сказал, что расписывать не буду, а сам принялся, как баба, к делу примешивать пустяковину. Слушай. Промеж дворян был пандурский капитан в отставке, с женой. Пойми, глупый! Он у нее в отставке, а не она у него. И любопытны показались они мне! Ему под шестьдесят, а она, ей-ей, писаная красавица. Думал я — дочь, а то и внучка, а она — законная жена. А ей хоть и семнадцать лет, а уже года два замужем. Вот из-за нее я и угощал дворян, а угощая их, больше все с пандурочкой беседовал. И за это время узнал я, что она смотрит на капитана и на свое супружество, как волк, прикормленный на деревне, в лес смотрит. Понял я из наших бесед с нею, что не только ко мне согласится она убежать, а хоть к кому ни на есть. Так ей сладко. Хотел я тогда же, позапоздав на станции, приказать ее выкрасть. Да тут прискакал курьер из Петербурга и привез от государыни такое письмо, что было не до пандурских супружниц. А затем из головы выскочило. И вот прошлую ночь, во сне ли, наяву ли,— наваждение. Пришла она в мою опочивальню, плачет да говорит: «Нехорошо, Григорий Александрович. Обещались меня из-под неволи моей высвободить, а сами занимаетесь пустяками разными и о важном деле не помните. А важное дело — это, самое важное на Руси, то, что я мучусь с моим капитаном...» Точно колдовство или прямо наваждение. Ну вот, понял ты, зачем я тебя позвал?

— Понял, Григорий Александрович! Съездить и выкрасть.

— Вишь, какой прыткий... Этого мало!

— Приказывайте, что еще?

— А еще то будет: себя и ее уберечь, доехать и доставить. Пандур-то этот по виду из таких, что запросто жены никому не уступит. Попадешься, он тебя пристрелит, не боясь ни меня, ни Сибири. А ее потом изведет. И тебя-то мне жаль, да и ее-то жаль. Стало быть, не сказывай «съездить да выкрасть», а съездить, поорудовать с опаской. и если Бог поможет, то благополучно вернуться, доставить живу и невредиму. Сначала поищи в Воронежском наместничестве, потому что я таково туманно помню, что она про Воронеж говорила больше, а про Тамбов меньше. Ну, вот...

— Слушаю-с,— отозвался Девлет. И вместе с тем он, видимо, хотел сделать вопрос и, быть может, не один, но смущался и как-то топтался на месте. Он не знал, что сделать, выходить или решиться спросить.

Потемкин понял выражение лица офицера.

— Ну, сказывай. Чего?

— Обе оные губернии обширны, Григорий Александрович. Если б вот вы вспомнили...

— А!.. Тебе бы хотелось, чтобы всякая губерния была с наперсток. Небось хочешь у меня спросить, в каком месте, близ какого города и в какой усадьбе или вотчине проживает моя пандурка? Так ли?

— Точно так! — несколько робко отозвался князь Девлет.

— Вишь какой догадливый! Кабы я это знал, так давно бы с этого начал. Порыщи. Все-таки наместничество — не Африка. В месяц, в два, а по-моему и недельки в три, можешь разыскать. Такой другой пары во всех наместничествах быть не может. Он капитан, и пандур, и старый, а она крохотуля, писаная красавица и ему во внучки годится. Коли не найдешь, дурак будешь. Коли не привезешь, так прапором на всю жизнь и останешься, в люди не выйдешь. А привезешь — проси, чего хочешь, с одним исключением — не мое место, не мою должность главнокомандующего. Ну, с Богом, в путь. Буду ждать через месяца два и награду заготовлю...

Когда офицер появился снова в комнатах, переполненных свитой, его тотчас окружили. Когда же он заявил, что выезжает курьером по важному делу и секретному, все оживились еще пуще. Стало быть, деятельность совсем пришла, снова начнутся важнейшие поручения и приказания и снова вслед за офицером поскачут курьеры в разные стороны.

Разумеется, молодой человек ни слова никому не сказал о характере своего поручения и даже не сказал, куда едет, объяснив только, что в свои пределы, российские, и поблизости Москвы.

Князь Девлет-Ильдишев зашел в канцелярию, спросил правителя и наперсника вельможи — Попова. Уехать, не посоветовавшись с этим человеком, было неосмотрительно. Василий Степанович Попов, фаворит князя, был умный, тонкий и хитрый, но самолюбивый человек. Он был во многих случаях важнее самого князя Григория Александровича, в особенности для маленьких людей. Его любимая поговорка была: «До Бога далеко... Молись больше святым угодникам да приговаривай: моли Бога о нас. Угодников много, а Бог-то один. Где ж Ему с ними...» А главное, не терпел он тайн и секретов князя с другими, желал все знать, что затевается и творится около вельможи.

А князь расскажет почти всегда сам все Попову, так лучше раньше забежать и рассказать, какое дано поручение...

— Помню, помню эту карлицу! — заявил Попов на объяснение Девлета.— Смазливенькая. Да и диковинно мала. Так мала, что уж совсем бы не для нашего Григория Александровича. И смех, и грех! Ей-Богу.

И он начал смеяться.

— Этим ведь и понравилась, поди, что совсем неподходяща. А найти, дорогой мой, будет немудрено. Старый пандур с женой-карлицей! Всякий укажет. Другой такой пары,— прав князь,— во всей России не найдется. Только берегись, дорогой, этого пандура. Не укусит, а съест.

— Бог милостив,— отозвался Девлет.

— На этакие дела не след бы и быть ему милостивым.

— Да ведь я не для себя. Свыше приказ. По службе! — извинился Девлет.

— Да. Тоже служба! — двусмысленно улыбнулся Попов.

V

Пандурский капитан наконец убедился и сам, что напрасно съездил на богомолье в Киев. Он просил киево-печерских угодников о двух вещах: послать ему наследника и снять тоску и грусть с души его маленькой

супруги. Прошло уже более четырех месяцев с их возвращения, а Аннушка не «зачала». Зато она начала тосковать, по-видимому, еще более прежнего. Макарьевна всячески старалась ее развлекать, обещала капитану с неделю на неделю, что барыня повеселеет, но Кузьме Васильевичу казалось, что старуха ошибается, да и не так за дело берется.

Подслушав однажды тайком и случайно два разговора Макарьевны с женой, пандур даже рассердился и стал ей выговаривать:

— Что же это вы, сударыня, глупости какие вчера и с недельку назад моей супруге выкладывали! Первое дело, все описуете молодцов разных, каких видали, да как они пляшут, да как чужих жен ворожат, а то и крадут... А вчера-то что вы такое измыслили. Что вы, мужчина разве, чтобы знать в точности обязанности супруга. Всяк в этом по своему характеру, здоровью и телосложению поступает. И опять надо сказать — мне шестой десяток. Требовать от меня расторопности, как от двадцатипятилетнего мужа, нельзя. Да и разговоры эти не только не скромные, но и вредительные для нашего супружеского согласия. Вы еще, пожалуй, внушите Аннушке, что и в бесплодии ее — я причиной... Вы замужем не были, то всего досюда касательного знать и понимать не можете. Брак — таинство, и не состоявший сам в браке постигнуть, стало быть, всего, в нем сокровенного, не может и обучать супругов тот не в состоянии. Я полагаю, что я муж изрядный, и большего от меня требовать нельзя... Да и Аннушка не требовала и не требует... А вы вот науськиваете и сочиняете... Прямо сочиняете... Слышал я, что вы про какого-то московского кирасира расписывали, у коего якобы одиннадцать человек детей от жены и семеро от двух полюбовниц. Враки это! А если бы такое и было, то не след Аннушке это знать. Всяк на свете должен довольствоваться тем, что имеет, и на чужой каравай рта не разевать.

Макарьевна на эту отповедь капитана ничего не ответила, а решила мысленно еще осторожнее беседовать с юной барыней.

Выпал снег. Наступила зима и первопуток. Жизнь в усадьбе, конечно, все-таки шла своим чередом и была, по словам Макарьевны, «хуже монастырской». Уж если ей, старухе, было от скуки «тошнехонько», так чего уже требовать от жены семнадцати лет, жены старика. Одно только удовольствие и было: гадать на

картах, так как в них выходило что-то диковинно хорошее для Аннушки, да не на сердце и не в головах, а на пороге.

И однажды, в октябре, вечером, часов около восьми, в ясную и тихую погоду на дворе усадьбы кирсановского помещика Карсанова произошло нечто особенное, приключился редкий случай. Во двор въехала кибитка тройкой. Это случалось не более раза в месяц. Помещики соседние не любили заезжать к угрюмому, суровому ревнивцу, а двое из тамбовских молодых помещиков так были приняты пандуром, что дали себе слово никогда больше к нему ноги не ставить.

Разумеется, появление кибитки взволновало всех от мала до велика: от самого помещика до ребятишек дворни. Из кибитки вылез старик с седой бородой и, войдя на крыльцо, объяснил дворецкому, что просит доложить господину капитану о его беде и причине заезда.

Он купец липецкий с сыном, по фамилии Пастухов. С ними приключилось в дороге лихое дело. Вывалили их, наткнувшись на пенек, и упали они оба. Ему, старику, ничего не приключилось, а сын зашиб грудь и ногу, да так, что двинуться не может, а до города Тамбова ехать далеко.

Купец Пастухов просил, одним словом, барина-помещика из милости и ради человеколюбия позволить у него переночевать до следующего утра.

Через минуту капитан принял седого, благообразного купчину и, конечно, согласился тотчас. Из кибитки люди вынесли молодого малого с черной бородкой, красивого и глазастого. Даже очень красивого! Это первое, что не укрылось от внимания ревнивца-пандура. Зато этот красавец был совсем как пришибленный, и его пришлось внести и в столовую.

Через полчаса самая дальняя из комнат была уже устроена, а в ней появились две кровати и все, что было нужно для нежданных гостей. Молодой человек тотчас же лег в постель, все пуще жалуясь на левую ногу, а его отец уселся ужинать с супругами. И за один час времени удивительно полюбился купец липецкий и пандуру, и молодой барыне, потому что он оказался таким купцом, какие на редкость: все-то он видел, все-то он знал, обо всем мог рассуждать толково и занимательно.

«Живописец!» — думалось Карсанову.

После ужина и купец, и капитан настолько подружи-

лись и сошлись, что, когда нежданный гость объяснил, что наутро двинется с ушибленным раным-рано, стало быть, след им проститься с вечера,— капитан заявил, что спешить некуда. Он предложил, напротив, послать в Кирсанов за тамошним знахарем, который пользуется большой славой во всем околотке, а к тому же и костоправ. Приедет он посмотреть ушибленного и первую помощь подаст, а там через день можно купцу везти сына и в Тамбов.

Аннушка изумилась любезности мужа, но сама ни словом не обмолвилась как хозяйка.

Старик Пастухов долго не соглашался, боясь беспокоить гостеприимных хозяев, но, наконец, согласился. Решено было, что он сам наутро съездит в Кирсанов за знахарем-костоправом и привезет его, а затем после первой помощи ввечеру или через сутки выедет с сыном в Тамбов.

Как было сказано, так и сделано. Молодой купец остался в усадьбе, а отец поутру поехал в Кирсанов. А пока старик должен был быть в отсутствии, к больному посадили Макарьевну. Долго ездил Пастухов, вернулся только к ночи, да вдобавок один. Знахарь был где-то в отсутствии, и обещали прислать его только через сутки.

А другой настоящий доктор, который не хотел ехать, имея опасно больного в Кирсанове, но которому он рассказал, в каком виде находится его сын, Бог весть чего наговорил. Напугал он купца — страсть и приказал прежде всего никак отнюдь не тревожить больного, не таскать с места на место, ибо главное дело спокойнее лежать.

Капитан был озадачен, не зная, что делать: оставлять или спроваживать гостей. Однако вдруг сразу обстоятельства совсем переменились. Макарьевна заявила барину на ушко, что молодого купца грех отпускать, что он в таком виде, что должен помереть. У него прямо антонов огонь, коли не «узрешиха».

— Что такое? — ахнул капитан.— Узрешиха?

— Так полагаю, Кузьма Васильевич.

— Антонов огонь не только слухал я, а и видел два раза в Турецкую кампанию. А вот узрешиху никогда. Что это такое?..

— Уж не могу, Кузьма Васильевич, сказать.

— Как не можете! Сами говорите, да не знаете — что. Зря болтаете.

— Воля ваша,— заявила Макарьевна, ухмыляясь.— А я по совести и Бога ради, Бога боясь, не прогнала бы умирающего человека на улицу. Грех великий... Вспомните притчу евангельскую о болеющем.

— Какую?

Макарьевна тоже затруднилась объяснить, про какую она притчу напомнила, но прибавила:

— Поглядите сами больного, на его ногу взгляните разок, и вас, знаю я, жалость возьмет, потому что у вас сердце золотое... Анна Семеновна даже говорит, что у вас сердце бриллиантовое. Вот теперь, говорит барыня, я бы обоих заезжих сейчас со двора сбыла, а мой Кузьма Васильевич, поглядите, возиться с ними будет по добросердию своему: их бы в три шеи, а он ласкать начнет.

Капитан, с которым супруга за последнее время была чересчур холодна в обращении, любил, когда Макарьевна передавала ему что-нибудь лестное, сказанное женой заглазно.

Капитан в хорошем расположении духа отправился в горницу жены посоветоваться, как быть.

Аннушка удивилась. Никогда муж не просил еще ни в чем ее совета.

— Как тут быть? Рассудим. Я как ты.

— Я не знаю, Кузьма Васильевич. Вы гостей не любите. А тут еще, как говорит Макарьевна, предсмертный гость.

— Это ничего, дорогая моя. Это Господь из милости к нам послал такого гостя! — вдруг заявил капитан, будто решаясь высказать нечто, что хотел было удержать про себя как тайну.

— Из милости? Господь? — удивилась капитанша.

— Да, примета есть такая. Если в доме чужой покойник, нежданный и незнаемый, то он якобы за хозяев помирает. Он как бы в зачет идет. И сами-то они, свои, стало быть, дольше проживут. Стало быть, я или ты дольше проживем.

Капитанша не ответила, будто «себе на уме». Понравилось ли ей услышанное или нет, было неизвестно. Но она мысленно сказала себе: «Если правда, что сказывала по секрету Макарьевна, якобы больной гость совсем загадка живая, то, конечно, надо его задержать. Любопытно, что из этого выйдет».

Макарьевна, вызванная тоже на совет, твердила одно:

— Грех. Грех. Вспомните притчу евангельскую.

«Да. Примета верная и хорошая. Чужой покойник в доме — благодать!» — думал капитан.

Иные люди, да в ином месте, да в иное время, без сомнения, при таких обстоятельствах, далеко незаурядных, постарались бы как можно скорей сбыть с рук подобных гостей, но капитан, супруга его и Макарьевна решили вместе совершенно обратно.

— Пускай у нас помрет, Бог с ним. Дело Богу угодное. Отпоем и похороним! — сказали они: капитан искренно, а капитанша и Макарьевна «себе на уме».

Сходил сам пандур поглядеть на молодого купчика и подивился. Молодец чудно очень дышал, будто собака, пробежавшая несколько верст. Не хватало только, чтобы он язык высунул и вывесил. Вид раненого был совсем жалкий, и, конечно, ему неделю, а может, и всего дня четыре остается жить. Может, Макарьевна и впрямь права, утверждая, что это узрешиха. Если капитан такого слова никогда не слыхал, то все-таки опасное положение больного было несомненно.

«Может быть, у него все ребра переломаны,— подумал капитан.— Оттого и грудь болит, и вздохнуть не может».

Когда было решено, что Пастухов с сыном останутся в усадьбе, то старику просто сказали: «пока не оправится немножко молодец...» Сыну ничего не сказали. А сами хозяева с приживалкой повторяли:

— Пока не помрет.

И все были довольны, но менее всех старик Пастухов. Он, конечно, благодарил, но имел вид растерянный от неудачи. Понятно, много любил он единственного сына, но дела его были настолько важны, денежные и торговые, что он на третий же день не усидел и, объяснившись с капитаном, собрался уезжать, препоручив сына добрым людям. А добрые люди, капитан и Макарьевна, горячо обещались купцу не отходить ни на шаг и всячески беречь больного и ухаживать за ним.

— И всего-то еще на каких-нибудь три-четыре дня ухода,— говорила Макарьевна.— Приедет старик через пять дней или шесть и попадет уж как раз к похоронам.

Старик Пастухов простился с сыном и уехал, а больной остался умирать в доме пандура. Макарьевна почти не отходила от него и сидела в кресле около его постели целыми днями, а ночью укладывалась спать на полу, подостлав матрац.

Капитан часто среди дня приходил посидеть с больным; но беседовать много было нельзя. Молодой купчик был слишком слаб и еле ворочал языком и все дышал, как борзая после погони за зайцем.

— Вот век живи, век учись! — думал и часто говорил жене капитан.— Узрешиха?! И не слыхивал.

Жена, однако, на это ни разу не отозвалась ни единым словом, а про себя думала:

«Дура Макарьевна. Нешто можно этак шутить. Скажи-ка вот кому это слово раза три, да повразумительнее, как раз и догадается человек».

VI

День за день прошла целая неделя. Старик Пастухов не возвращался, никакого доктора не присылал. Капитан начал даже тревожиться, не случилось ли чего с Пастуховым. Может быть, разбойники убили на дороге. Он передал свои опасения жене и Макарьевне.

Женщины отнеслись к этому безучастно.

— Нам-то что же?— сказала Макарьевна.— Мы и без старика свое дело сделали отлично.

— Какое дело?— спросил пандур.

Аннушка будто оторопела, а Макарьевна, улыбаясь, объяснила:

— Еще спрашиваете — какое? Выходили молодца его... Он скоро совсем поправится и может уезжать... Ну хоть через неделю.

Действительно, у гостя вряд ли были переломаны ребра, потому что он давно уже дышал как следует, и только слабость удерживала его в постели.

Конечно, капитану захотелось, ввиду выздоровления больного, поскорее сбыть его с рук. Ревнивцу было неприятно иметь в доме даже хворого молодца и красавца. Жена видела купчика только раз, когда его перенесли из кабинета в постель, но теперь... Теперь «глупые мысли» одолевали капитана. Он за все это время, по давнишнему обычаю, всякий день выезжал из дому на час и два и по хозяйству, и ради дозора в лесной даче, где участились за зиму порубки.

«Неужто за мое отсутствие жена решится навестить больного в его комнате?» — спрашивал себя ревнивец, но тотчас же отвечал себе, что это подозрение совершенно нелепо с его стороны.

Однако изредка Кузьма Васильевич на всякие лады заговаривал и беседовал с женой о больном, надеясь, что она по молодости и женской непонятливости проболтается и себя выдаст в чем-нибудь.

Но ни разу ничего подобного не случилось.

Однажды капитан прямо спросил вдруг у жены:

— А ведь, поди, любопытен тебе красавец молодец, что лежит у нас в доме?

Аннушка удивленно поглядела на мужа.

— Да и Макарьевна небось масла в огонь подливает. День-деньской о нем тебе живописует.

— Тут ли он, нет ли, мне совсем любопытствия нет!— сурово отозвалась капитанша.

— Ну... А все-таки красавец!— задорно вымолвил он.

— Не приметила.

— Как не приметила? Зачем душой кривишь!

— Удивительно!— воскликнула вдруг Анна Семеновна, как бы говоря сама с собою, а не с мужем.— Стало быть, встренув всякого мужика, всякого холопа, должна дворянка разглядывать — красавец он или урод.

Капитан просиял, настолько эти слова были ответом на его помышления.

— Да, правда твоя. Купецкий сын...

— Лавочник! А отец его вольноотпущенный одной рязанской помещицы,— объявила капитанша.

— Он сам это сказывал? Макарьевне?

— Да... А вы спрашиваете еще, красавец ли?

И Аннушка, будто совсем разобиженная, надула свои маленькие и хорошенькие алые губки. Капитан полез целоваться, как бы прося прощения, но жена только позволила себя поцеловать, сама же дать поцелуй наотрез отказалась.

После этого объяснения прошло дня два, и капитан по-прежнему спокойно отлучался из дому, зная, что обычное, но глупое и непонятное женское любопытство в жене не существует и она не пойдет сидеть у постели «лавочника» ради того, чтобы с ним болтать. На третий день капитан проснулся ранее обыкновенного и тотчас, не будя жену, встал, оделся и вышел в столовую... Он был сумрачен. И немудрено было ему подняться не в духе. Он видел сон или, вернее, видел всякую чертовщину.

Ему приснилось, что больной купчик ходит по его дому, но не в длиннополом кафтане, а в генеральском

мундире и, обняв, даже облапив его маленькую Аннушку, целует ее и говорит ей, указывая на него, капитана: «Наплевать нам на него! Он ведь собака на сене!»

Пуще всего волновало и злило Кузьму Васильевича это выражение. Как могло таковое присниться.

«Не в бровь, а прямо в глаз! А кто же этот неуч и дурак? Никто. Сновидение дурацкое. Стало быть, сам же он этакое на себя взвел, пока спал. Чудны сны бывают».

После полудня капитан, ввиду хорошей погоды, яркого солнечного дня, с легкой оттепелью, развеселился, забыл о своем «дурацком» сновидении и предложил жене ехать кататься.

Аннушка заявила, что у нее голова что-то болит и будто знобит, что она предпочитает даже прилечь на постель...

Кузьма Васильевич даже встревожился, но затем, после уверений Аннушки и Макарьевны, что ничего худого нет, успокоился.

Яркое солнышко и чудный день все-таки тянули его из дому. Поглядев, как жена прилегла на постель и тотчас задремала, капитан вышел из спальни, а через полчаса уже выехал в своих маленьких саночках...

Среди снегу и леса, под золотыми лучами солнца, вдруг капитану представился золотой с белыми нашивками мундир генерала... генерала-лавочника, да еще говорящего с дерзкой усмешкой: «Собака на сене!»

И начало Кузьму Васильевича снова томить, как поутру, а затем начало что-то мутить и тянуть домой. Проехал он еще с полверсты и не выдержал... повернул лошадь и припустил обратно в усадьбу.

Чем ближе подъезжал пандур к дому, тем более проникало в него особое чувство, какого он никогда еще не испытывал. Пожалуй, раза два в жизни испытал он его, но ведь при совершенно особых и иных обстоятельствах... Первый раз это было в первом сражении, когда еще он был девятнадцатилетним сержантом. Второй раз это было много позднее, при штурме Измаила под картечью, когда он увидел, что из полсотни ближайших офицеров и солдат он один двигается, мыслит, остальные валяются и страшно стонут или совсем молча лежат. Тогда Карсанов знал, какое в нем чувство бушует: страх, трусость.

А теперь почему же в нем то же чувство, тоже боится он до смерти. Кого? Чего?

— Предчувствие, что ли? — бормотал капитан. — Глупости! Нет. Стало быть...

И он не мог сказать, назвать, выяснить себе то, что смутно, как в тумане, представлялось ему... Едучи кататься, он все думал о жене, потом о больном, потом о старой Макарьевне и, вспоминая, вдумываясь, рассуждая, соображая, взвешивая, он будто собрал в кучу сразу многое и многое... Не десятки, а пожалуй, сотни всяких мелочей и пустяков. Слова, взгляды, недомолвки, улыбки... И еще что-то непонятное и неуловимое, что призраком завелось и живет в его доме...

— И не сегодня, не со вчерашнего дня, а давно! — бурчал он трусливо. — Ты видел и чувствовал все, Кузьма Васильевич, но будто не хотел уразуметь и себе самому толково доложить, себя самого о беде упредить.

Завидя свою усадьбу, старый пандур погнал лошадь и отчаянно восклицал вслух:

— Да что же это? Да как же это? Как же раньше-то... раньше... Почему сейчас прояснилось? Все чуемое наружу полезло и в глаза бросилось...

VII

Оставив лошадь за воротами двора и приказав попавшемуся под руку дворовому мальчугану держать ее до его возвращения, капитан направился к заднему крыльцу...

Когда он вошел в людскую, то переполошил всю дворню своим нежданным появлением и ради отвода глаз стал выговаривать за нечистоплотность в комнате, а затем прошел далее....

Но капитан не знал, что горничная жены уже видела его в окно и уже слетала предупредить: «Барин!»

Когда Кузьма Васильевич очутился в доме и прошел быстро в комнату больного, то нашел его одетым и сидящим в кресле. А поутру он был в постели. Капитан изумился, а купчик улыбался, глядя на него, да еще как-то странно, будто подсмеивался.

— Что же это вы? — спросил капитан.

— Что-с...

— Да вот... Были в постели, когда я выехал, а тут вдруг оделись и сели.

— Да-с. Слава Богу, могу-с.

— Можете?.. А-а?.

— Мне много лучше. Как-то даже сразу полегчало сегодня,— улыбаясь, сказал молодец.

— Стало быть, теперь сидеть будете?— угрюмо спросил Кузьма Васильевич.

— Да-с, надоело лежать...

Пандур помолчал и, наконец, сурово вымолвил, сдвигая брови:

— Сидеть и в кибитке можно.

— Если прикажете, я соберусь... Я и так уже давно злоупотребляю вашим гостеприимством. Что делать, все задерживала узрешиха.

Особенно ли как произнес гость это слово, но капитан, мысленно повторив его, вспомнил другое слово, наименование: «узрешительница».

«Есть такая святая,— подумал он и тотчас же рассердился сам на себя.— Тьфу! Во всяких пустяках стал выискивать разные кивания на себя и жену».

Капитан прошел к жене и нашел ее по-прежнему на кровати; она дремала, но открыла глаза при его появлении. Он объяснил, что вернулся вдруг домой, беспокоясь тем, что она хворает.

— Я здоровехонька,— отозвалась Аннушка.

— Да? Ну, вот и наш купчик здоровехонек! Стало, пора ему и со двора долой.

Аннушка не ответила, смотрела равнодушно и рассеянно.

Но капитан стал объяснять жене все-таки, что так как молодца они выходили и он может уже двигаться, то нечего его удерживать.

— Ведь я призрел у себя умирающего!— горячился капитан.— А если умиравший теперь вовсе не собирается умирать, то почему же его у себя удерживать и за ним ухаживать. Усадьба дворянская — не больница и не перевязочный пункт. Бог с ним совсем. Доедет теперь до Тамбова отлично и один. Так ли?

Но жена, ни единым словом не отозвавшись на все речи мужа, молчала и теперь.

— Что же ты молчишь?— воскликнул капитан.

— Что же я буду говорить,— ответила она.— Стоит того из-за всякого лавочника себя утруждать.

«Лавочник да лавочник! — сердито подумал про себя пандур.— Не опасно якобы и не сумнительно. А чем черт не шутит. Лучше спровадить...»

И он прибавил:

— Так я его спроважу... И сейчас... Ну его...

Аннушка не ответила.

И воин, побывавший во многих битвах со шведами, немцами и турками, распорядился по-военному.

Через два часа кибитка стояла у подъезда, а купецкий сын, нисколько не смущенный, благодарил чувствительно хозяина за гостеприимство и просил не поминать его лихом.

— Все это по воле Божией... Узрешиха! — говорил он, ехидно ухмыляясь и вместе с тем, как показалось капитану, будто облизываясь, точно кот, мышей наевшийся по горло.

— Против узрешихи не пойдешь, господин капитан! — было опять его последнее слово уже из кибитки.

«Типун тебе на язык!» — думал капитан, провожая глазами выезжавшую со двора кибитку. Не нравилось ему это диковинное слово.

Была барыня-капитанша весела и довольна, пока хворал в доме молодой гость, а Макарьевна о нем ей расписывала — и ждал пандур, что теперь жена, снова оставшись без забавы среди тишины и глуши леса, опять затоскует. Однако он ошибся.

Аннушка после отъезда гостя была еще веселее, прыгала, напевала и на все была согласна, кроме одного — целоваться с мужем.

Но через двое суток ввечеру в усадьбе произошло невероятное и поразительное событие, даже два события.

В полуверсте от усадьбы, среди полумрака леса, появилась и ждала тройка. В больших санях сидел тот же молодой купчик, но уже обритый, без бороды и усов, и хотя был он в простом полушубке и в бараньей шапке, но удивительно походил теперь на красавца князя Девлет-Ильдишева, любимца светлейшего вельможи. Вскоре в этом же месте появились две женские фигуры, одна очень маленькая и быстрая в движениях, а другая полная и грузная, едва ползущая по снегу.

— Слава Богу! — воскликнул поджидавший.

Женщины сели в сани. Молодец уселся на облучке около ямщика и... все исчезло!

И так исчезло, как только в сказках бывает!

Через час после исчезновения тройки лихих коней в усадьбе началось вдруг сильное движение, беготня, оханье и сущий Вавилон. Барыни не было нигде... Капитанша пропала, как иголка. Оно, при ее маленьком

росте, было бы, пожалуй, и немудрено, но здоровенная Макарьевна тоже пропала.

Старик пандур волновался, ничего не понимая, не зная, как объяснить шутку жены или прихоть... Хорошо ли в поздний час ночи отлучиться погулять на деревне! А здесь, в лесу, оно было и опасно... Вокруг и близко видали волков зачастую...

Обождав, обшарив все мышиные норки в доме, во дворе и в саду и вокруг усадьбы, капитан стал терять рассудок и вдруг побежал к речке, на прорубь, где брали воду для хозяйства.

«Ведь она все грозилась прорубью этой?!»

Пандур не соображал, что найти кого-либо, ухнувшего в прорубь, можно только весной, да и то не на самом месте, а ниже по течению. Он тоже забыл, что если его Аннушка и утопилась, то зачем же пригласила с собой под лед и Макарьевну.

Однако сама «правда» потихоньку стала приближаться к разуму старого ревнивца и стала выступать все ближе и яснее.

«Может ли это быть?! Купецкого сына на капитана?! Кукушку на ястреба?!»

«Да и был ли он болен?»

«А хворость смертельная, что именуется узрешихой... Уз решихой, уз решительницей. Их уз! Брачных уз!»

Пандур, дрожа всем телом, вернулся в дом, прошел в спальню вероломной супруги и опустился грузно в кресло.

«Это самое, где сидела часто старая бестия!»

«Да! Это все она, старая. Все она...»

Все в спальне, будто подшучивая над барином-помещиком, начало вдруг подпрыгивать, плясать и вертеться. Все пошло ходуном. Кровать, стол, шкаф, стулья...

Старик закричал...

Прибежавшие на крик буфетчик и горничная увидели старого барина на полу и посинелого лицом. Горничная в перепуге бросилась звать людей, а буфетчик присел около барина на полу. Барин бормотал что-то и страшно глядел, а там задергал правой рукой без толку, но наконец толку добился... Рука дернулась сильнее, к самой груди, и он перекрестился.

Буфетчик перекрестился тоже и заплакал.

VIII

Был уже конец ноября.

В новом городе Екатеринославле, на постоялом дворе, уже месяц целый пребывала парочка проезжих: молодой красавец-офицер из армии князя Потемкина, а с ним его сестра, провожающая его чуть не до самой границы Турции, но едущая собственно к родственникам.

Это обстоятельство нисколько не удивляло хозяина двора и других лиц. Удивительно же было только то, что приехала парочка и остановилась отдохнуть от дальнего пути, а живет почему-то уже две недели. А главное, все едут они, все собираются чуть не ежедневно, вещи укладываются и опять раскладываются. Будто малоумные или им не хочется ехать, а надо...

И так прошел, шутка сказать, почти целый месяц.

Действительно, князь Девлет-Ильдишев и похищенная им Анна Семеновна Карсанова приехали сюда и остановились, намереваясь пробыть двое суток. Но здесь в тот же вечер беседа их между собой, хотя и была последствием многих бесед в долгом пути, приняла совершенно неожиданный оборот. Как это случилось вдруг, они и сами не знали.

Во время всего пути иносказательно, всякими намеками радовали они друг друга и печалили. Все было ясно и в то же время не совсем ясно. А тут вдруг в Екатеринославле совсем невзначай, или уж время пришло,— объяснились они напрямик. И оказалось, конечно, что они, не зная, знали все и только боялись ошибиться. Оказалось, что в пути они полюбили друг друга, неведомо кто кого больше.

И вот, оставшись еще на лишние сутки, потом еще на трое суток, потом на неделю, они живут уже почти целый месяц. Временами они на седьмом небе, а временами задумчивы и грустны так, как если бы были самые несчастные люди на свете.

— Хоть в гроб ложись!— восклицает часто князь Девлет.

— Да я лучше на себя руки наложу!— опять повторяет Аннушка так же, как и своему мужу.

Только теперь причина совсем другая.

Пустились они в путь, чтобы ехать прямо в армию Аннушка с радостью согласилась бежать от мужа к кому и куда бы то ни было. Прихоть вельможи, заставившая

Девлета разыграть целую комедию, отпустить усы и бороду, нанять ловкого старика в Тамбове для роли купца и отца — все это сначала испугало Аннушку.

Когда князь Девлет появился в усадьбе, то осторожно сошелся прежде всего со своей сиделкой. Но дружба и полное согласие между переодетым офицером и Макарьевной установилась тотчас же, так как Девлет подарил ей за хлопоты двести рублей вперед и обещал еще триста в случае удачи. Деньги, о которых старуха и мечтать не могла, получая пять рублей жалованья от капитана, и, кроме того, мысль, что она будет стараться для именитого вельможи, с одной стороны, а с другой — для любимой и несчастной барыни,— заставили Макарьевну ревностно, ретиво и ловко взяться за дело.

Самое мудреное было не сокрытие тайны от старого ревнивца: несчастный вид ушибленного, фиолетовая нога и его удивительное дыхание затмили собою все, что могло бы при иных обстоятельствах броситься ему в глаза благодаря его подозрительности и известной доле хитрости. Впрочем, ревнивцы, в особенности старые, видят зорко за версту и ничего не видят под носом.

Самым мудреным оказалось успокоить, уговорить и убедить самое капитаншу, испуганную дерзостью предприятия, дальним путешествием к пределам Турции и в особенности одной мыслью — вдруг очутиться «предметом» святлейшего князя Таврического... В грезах это было дивом, счастьем... А наяву, в действительности, оно было трепетно, страшно даже, пожалуй, страшнее нырка в прорубь.

Однако когда при первой же отлучке мужа из дома Аннушка познакомилась с красавцем офицером, то дело представилось ей почему-то проще... Почти всякий день стала видаться она с Девлетом, но искусно и осмотрительно, так что муж ни единого разу не накрыл их. И со всяким новым свиданьем согласие и желание бежать с ним все крепло, а затем стало представляться даже простым делом.

После бегства и уже в пути Аннушка сделала в себе самой нежданное открытие. Она поняла то, что сначала только смутно сознавала, будто сама себя обманывая. Она поняла, что положительно влюблена — и с первого дня знакомства — в самого князя Девлета.

«А он? — спрашивала она мысленно и рассуждала: — Он и не догадывается... Он исполняет поручение своего начальника добросовестно и усердно, поэтому ему и на

ум не приходит, что он сам может понравиться... Но после?.. Когда-нибудь? Может быть, он тогда иначе взглянет на нее... Макарьевна говорила: «Дело не в князе, вельможе. Дело в том, что это единственный способ стать свободной и счастливой в новом замужестве».

— Блажной вельможа отплатит вам тем, что освободит от старика супруга,— говорила ей старуха.

Правда, он всемогущ, а при таком положении дела, каково ее, расторгнуть брак даже легко. Карсанов женился на ней полуребенке, и хотя подобные браки бывают сплошь и рядом, но все-таки всегда брачующийся просит разрешения митрополита, а иногда и Синода. Капитан же ничего подобного не сделал. Следовательно, развод с ним, да еще при покровительстве Потемкина, самое простое дело. А так как прихотливый вельможа долго ее при себе не удержит, даст денег и отпустит, то она и выйдет замуж за кого пожелает.

В Тамбове пришлось ей поневоле расставаться с Макарьевной, так как старуха решила ехать опять в Москву, чтобы спрятаться от капитана. И ради себя самой, и ради сокрытия следов Девлета с Аннушкой. При прощании старуха сказала: «Смотри ты, в сопровождателя своего не втюрься!» И эти слова подлили масла в огонь. С каждым днем в пути она все менее и менее думала о вельможе, и когда думала, то только пугалась и ужасалась, а вместе с тем все «удивительнее» относилась к спутнику.

И вот, когда они прибыли в Екатеринославль, то она уже вполне ясно поняла, что просто была позарез влюблена в красавца князя Девлета. Но, на беду, она узнала здесь, что он точно так же без памяти влюбился в «крохотулю» и «пандурочку» вельможи и готов второй раз похитить ее. После искреннего обоюдного признания и первого пыла на седьмом небе молодые люди очнулись и стали рассуждать о том, как быть.

Положение было ужасное и безвыходное. Князь Девлет, конечно, не мог теперь везти прихотливому вельможе в полное распоряжение ту, которая стала ему дороже всего на свете.

Не везти ее к Потемкину, вернуться обратно в родные пределы, в Москву или Петербург — можно было бы прожить спокойно с полгода, ну, хоть год... А затем, конечно, будет Бог весть что... Погибель между двух врагов — и старого пандура, и всемогущего вельможи. Князь не простит такого поступка офицера и везде

достанет. Руки его долгие... Не только из Москвы — из заморского края достанут они человека и перекинут прямо в Камчатку.

.И вот влюбленная чета, безвыходно сидя в комнатах большого постоялого двора, ежедневно раздумывала и рассуждала, как быть, что сделать, чтобы достигнуть счастия.

— Я лучше сто раз утоплюсь, чем идти в «забавницы» старого вельможи,— рассуждала Аннушка в отчаянии.— Хорошо было менять Кузьму Васильевича на светлейшего... А тебя променять?.. Да на царя-салтана какого, и то не променяю. Надумай, как спастись нам. Надумай!

Но Девлет ничего надумать не мог.

Бежать вместе куда-либо и выйти в отставку заглазно, по прошению, невозможно. Светлейший догадается... Тогда он пропал... Поехать одному в армию и доложить, что не нашел он пандурочки? Тогда будет он в опале, а князь, ненавидящий всякие незадачи, еще пуще разгорится и пошлет в воронежское и тамбовское наместничество другого, даже двух-трех других посланцев... И что же они найдут и какой ответ привезут князю... Усадьбу пандура нашли, но уже бежала пандурочка с молодым купцом... С каким? Где он? Разыскать! А в Тамбове три лица знают, что был приезжий князь Девлет, который противно дворянскому обычаю ходил в недавно отпущенных усах и бороде. Эти три лица даже ему были полезны в розыске... Они же его и продадут, узнав, что Девлет их самих и князя обманул.

Ну, а если не пошлет светлейший князь разыскивать вновь пандурочку?.. Навряд! Но ведь сам старый пандур, энергический и упрямый, будет действовать, будет искать жену, поедет в Петербург жаловаться самой царице. Сто раз в минуты ревности говорил он это жене. И дело дойдет до слуха князя позднее. А разве может Девлет хлопотать о разводе Аннушки с мужем, когда похитил ее дважды — и у мужа, и у вельможи...

— Одно остается,— плакала Аннушка,— утопиться обоим.

Но Девлет находил, что это решенье дела — бабье. Надо достигнуть счастия, а какое же счастие на дне реки.

Наконец однажды князь Девлет вдруг взволновался страшно... Голова его давно трещала от думанья и иска-

ния выхода из мудреного положения, и, наконец, в ней стало все как-то перепутано и темно...

А вдруг теперь сразу стало светло!

Он придумал, как избавиться от прихоти вельможи, как спасти дорогую Аннушку и в то же время, разведя ее с мужем при помощи всемогущего князя, назвать своей женой... Да, он дивно придумал!... Если же выдумка и не удастся тотчас, то по крайней мере дело затянется на четыре или пять месяцев... А там что Бог даст!.. Прихоти светлейшего быстротечны...

Девлет передал и объяснил Аннушке свою выдумку...

Она ахнула, потом одобрила выдумку.

— Опасно! Страшно шутить с Потемкиным. Но что же делать! Другого спасения нет!

Так решила влюбленная чета.

IX

Тот же иноземный край, откуда летом выехал посланцем красавец князь Девлет за пандурочкой... Но белый снеговой покров, который окутал теперь всю Русь, здесь несколько раз ложился на землю и окутывал ее, но все напрасно... Золотое солнце так весело сверкает с неба и так поглядывает, будто смеючись, что за ночь все увернувший белый саван к полудню начинал будто плакать в три ручья... И каждый раз снег, желавший сделать из осени зиму, делал из осени весну.

Город этот побольше, но того же характера, с тем же смешанным населением... Дом, где помещался главнокомандующий, больших размеров, роскошнее убран, а зал, где всякое утро собиралась масса военных, свита, приезжие из действующей армии и приезжие из России,— большой, светлый с белыми колоннами под мрамор и в два света.

Однажды в толпе явившихся и ожидавших приема очутился и красавец офицер. О Девлете уже доложили светлейшему давно, как о вернувшемся из России курьере, но он, ожидавший быть принятым тотчас же,— ждал уже второй час.

Прошло и три часа... Прием кончался, а его, Девлета, князь не спросил. Вероятно, просто забыл... Наконец прием кончился. Офицер снова напомнил о себе чиновнику из канцелярии, заменявшему адъютанта, и тот,

объяснив, что уже докладывал князю о вернувшемся гонце, решился снова доложить.

— Пожалуйте!— вышел он из кабинета.

«Помяни Господи царя Давида и всю кротость его!» — мысленно проговорил Девлет и в каком-то чаду страха и волнения переступил порог и очутился в большой комнате.

Светлейший сидел за большим письменным столом за кипой бумаг...

Девлет стал у дверей... Князь долго читал одну бумагу и наконец, бросив ее, вскрикнул:

— Иуды... Везде Иуды!.. Около Христа один за дюжину был Искариот, а около нее в Питере — дюжина в дюжине.

Затем князь, окинув комнату глазами, заметил какого-то офицера.

— Тебе что?— резко вымолвил он, не глядя.

— Вернулся сегодня, ваша светлость, и тотчас же имею честь явиться.

Князь между тем рассеянно искал что-то глазами на столе.

— Вернулся? Откуда?

— Из российских пределов.

— Ну, хорошо. Что же?..

— Исполнив ваше поручение, я...

— Какое поручение?— спросил князь, найдя и просматривая листок с колоннами цифр.

— Вы изволили меня посылать...

— Тебя?.. Вас?.. Да ты...

Светлейший бросил листок на стол и присмотрелся внимательнее.

— Ай, батюшки светы! Девлет!— воскликнул князь.— Не узнал. Даже, по правде, чуть не забыл, что ты и на свете есть, то бишь — еси! Ну, здравствуй, Девлетка! Что скажешь?.. Я тебя, говоришь, посылал в Россию?.. Когда? Давно, знать...

— Летом еще... Но поручение мое было таково затруднительно, что я...

— Какое поручение?

Девлет удивился в свой черед.

— Вы изволили приказать разыскать в Воронежском и в Тамбовском наместничествах некую особу молодую, которую изволили встретить в степях Малороссии, путем...

— Что? Что-о? Ну, ну...

— Вот я ныне эту пандурочку самую...

— Что за околесная... Какая, черт, пандурочка? Что такое? Собачонка, что ли?

— Никак нет-с...

— А! Помню... Вспомнил... Караковая! Киргизка, что мне подарил Нарышкин. Ну? Привел? Дошла благополучно?..

Девлет стоял, совсем разинув рот, но страшно волновался и почти трясся, как в лихорадке. Враг человеческий будто науськивал его отвечать князю:

«Точно так-с. Караковая. Привести не удалось. Околела в Кишиневе!»

Но вместо этого он выговорил через силу:

— Никак нет-с. Пандурочка — жена капитана пандурского полка Карсанова, кою вы приказали мне разыскать и доставить...

— Жена капитана? Доставить... Пандурочка?— заговорил Потемкин, растягивая слова и как будто с трудом соображая и припоминая вместе...

— В пути, на станции, в Малороссии...— начал было Девлет, но князь вскрикнул...

— Вспомнил! Вспомнил... Крохотуля!

— Так точно-с.

— Верно, верно. Помню. Как не помнить! Хорошо даже помню. Глазки такие... Ну... мышиные. Да и вся с мышонка. Помню... Прелесть... Ну, что же? Я приказывал, говоришь, доставить ее сюда ко мне?

— Так точно-с.

— Вот этого хорошо не помню. Да все равно...

— Вот-с я, по вашему приказанию...

— Ну? Доставил?

— Доставил... Дело было мудреное, ваша светлость... Но, благодаря Бога, все удалось.

— Рассказывай. Что и как!..

Князь оживился и улыбался.

Девлет-Ильдишев передал подробно все свои приключения и хлопоты с самого начала поисков в Воронеже и до похищения пандурочки при помощи переодеванья и всяких хитростей.

— Молодец! Ей-Богу, молодец!— воскликнул князь, добродушно смеясь.— Только на театре такое бывает... В балетах... А ведь я, Девлетка, не поверишь, забыл совсем... С той поры, что тебя послал, ни единого-то разу не вспомнил... Раз как-то вспомнил: где мой Девлетка? Куда провалился?.. Хотел у Попова спросить, да

тоже забыл. А выходит, вон что... Ну, что же эта пандурочка — такая же шармантная?.. Рад буду... Ей-Богу, рад буду...

Девлет разинул рот что-то сказать, но поперхнулся, а затем, справившись, выговорил слегка дрожащим голосом:

— Опасаюсь я только, что вашей светлости будет неприятно узнать, что...

— Что такое?

— Капитанша Карсанова по-прежнему из себя пригожа, хотя малость и изменилась в лице от некоторой причины.

— Подурнела?

— Так точно-с. Малость.

— Отчего?

— От женских причин... Так сказать, от супружеских причин...

— Что? Говори! Ни черта не понимаю.

— Она находится в таком положении.

— В каком? Больна? Печальна?

— В тяжелом положении.

— Да из-за каких причин?

— Супружеских... Ваша светл...

— Супружеских?..

Наступило молчание. Князь удивленно глядел на офицера, ничего не понимая, а Девлет в крайнем волнении все будто собирался что-то сказать еще и не имел духу вымолвить.

— Да хочешь ты или нет говорить толком! — воскликнул наконец князь уже сердито.

— Капитанша Карсанова в настоящее время находится уже на пятом месяце. Вот посему... вашей светлости я и полагаю это обстоятельство...

— Батюшки-светы! — закричал вдруг Потемкин на весь дом и, вскочив с места, быстро подошел к Девлету. Молча постояв несколько мгновений пред офицером, он вдруг разразился громким, раскатистым смехом...

— Ой! Ой!.. Батюшки мои... Да что же... Ой!

Он двинулся, упал на турецкий диван и, продолжая хохотать, выговаривал через силу...

— Ой! Уморил... Ой, батюшки... Да как же... Да как же ты... Так зачем же!.. Ой, Господи... Ой!.. Умру...

Девлет стоял, несколько оживившись, бодрее и веселее смотрел.

Наконец князь перестал охать и хохотать, отдышался, утер слезы на глазах и после нового конечного

и краткого припадка смеха произнес утомленным голосом:

— Как же ты ее привез? Дурень. Ведь ты похитил у пандура наследника. Чужих жен воровать можно. А чужих детей воровать закон воспрещает. А?

Девлет молчал и едва заметно улыбался.

— Она, может, еще, пожалуй, с двойней. Я тебе указывал пандурочку привезти, а ты мне с ней еще парочку пандурчат прихватил... Ой, батюшки!..

И неудержимый смех начал снова душить князя.

— Ой, вот одолжил-то... Батюшки... Зови Попова... Надо ему рассказать... Этакое всем... Надо всем рассказать. Стоял свет и будет стоять, а этакого не бывало... Ай да похититель... Чужую жену с потомством увез... Для заселения Молдавии... Колонию привез! С партией переселенцев приехал... Зови. Зови... Попова зови... Ой, батюшки...

Девлет вышел, а князь снова раскатисто захохотал и лег на диван в изнеможении.

— Ой, умру!..— слышал офицер чрез затворенную им дверь.

X

Когда Девлет-Ильдишев привел Попова к князю и затем по его приказу снова рассказал все, «не забегая вперед», а как следует «по порядку», то снова в кабинете долго гудел смех.

— А? Каков гусь? Рассуди, Василий Степанович. Да ты пойми. Раскуси!— смеялся князь.— И мой, да и Господень указ зараз исполнил Девлетка. Да как же? Плодитеся и множитесь, указал Господь. Вон он, гусь лапчатый, и восхотел, чтоб это у меня в главной квартире армии и в моих именно апартаментах происхождение имело... А? Хорошо? Ай да поверенный... А я-то у него вышел, что в картах: король, дама сам-третей, а то и сам-пять.

И князь начал острить еще более резко, выдумывал невесть какие последствия от диковинного казуса, так что наконец не только Попов, но и сам Девлет невольно начал хохотать.

— Да, стоял свет и будет стоять, а второго этакого похитителя не приключится,— серьезно выговорил наконец князь, уж утомясь острить и смеяться

— Это точно-с. Конечно,— отозвался Попов, улыбаясь.— Но виноваты вы, а не Девлет. Ведь, обыкновенно, изволите видеть, бывает на свете не так... Похищают люди чужих жен завсегда сами и для себя... Ну, они при ближайшем знакомстве и сугубом внимании оплошать и не могут... Да и вольны — как им быть. А ведь тут все было по поручению и указу начальства... Ну, вот он в точности все и исполнил. Не его дело было рассуждать и в рассмотрение обстоятельств входить... противоречивых и неподходящих... Указано свыше! И аминь! Ну, вот вместо любовного приключения и вышло, как вы изволите сказывать — король, дама сам-третей... Или в некоем роде переселение народов!.. Этакое косвенное намерение колонизации Молдавии русскими выходцами, да еще близнецами...

Князь хотел было рассмеяться, но уже не мог, а только поморгал глазами.

— Да. Авантюр! Ну, что же?.. Дай ему опять денег. Пускай опять путешествует... А ты собирайся тотчас же, Девлетушка...

— Куда прикажете?— робко вымолвил офицер.

— Куда? Еще спрашивает, гусь. Обратно, восвояси. Вези назад!

— В Тамбовское наместничество?— с дрожью в голосе произнес офицер.

— Понятно. Откуда взял, туда в целости обратно и доставь. А пред супругом извинись, скажи, виноват, обмахнулся... Однако шутки прочь... А ты, в самом деле, доставь ее до Тамбова, сам ее супругу на глаза не кажись, чтобы не убил, а в городе все-таки обожди, чтобы узнать, как все обошлось, а сам приезжай сюда... В другой раз я тебя, будь спокоен, жен красть посылать не буду, а то ты, пожалуй, обезлюдишь всю матушку-Россию и заселишь россиянами всю Турцию. Ну, марш... Доброго пути и удачи...

Девлет поклонился и вышел вон, а через несколько минут не шел, а бежал по улицам города. Лицо его сияло безмерным счастьем и восторгом.

А князь говорил между тем Попову:

— Ну, а не примет ее обратно пандур? Что тогда? А?

Попов развел руками вместо ответа.

— Что тогда делать с ней? Опозорена и погублена зря.

— Разведутся, а она выйдет опять замуж. Вы же

пожалуете ей пятьдесят душ крестьян за беспокойство и на счастие, чтобы мужа другого найти...

— Радехонек буду. Хоть и без вины виноват. Дам сто душ! В Новороссии земли дам.

— Но, однако, думается мне, что все обойдется. Старый пандур ее небось обожает, да и ради своего пандурчонка будущего смилуется. Да ничего с ней худого и не было. Только пропутешествовала капитанша. Может поклясться мужу, что была и осталась благоверной его.

— Так-то так... Если смилуется... Ну, а не примет, говорю. А?

Попов пожал плечами и молчал.

— А другой никто не захочет жениться на опозоренной, что у мужа увозили, да еще ему и назад доставили: нате, мол. Больше не требуется. Ведь тогда она на всю жизнь несчастная. Скажи-ка! А?.. Грех, так-то...

Попов все молчал, но вдруг рассмеялся по-прежнему звонко.

— Что ты?.. Что?

Попов выговорил сквозь смех:

— Женить на ней... Самого...

— Кого?

— Похитителя...

Князь фыркнул и рассмеялся, но уже усталым смехом.

— По делам вору и мука,— сказал Попов,— то бишь женитьба. Не воруй даму сам-пят.

А между тем князь Девлет, пробежав несколько улиц города, вихрем влетел в дом, где остановился со своей Аннушкой.

Она, заслышав его быстрые шаги, обмерла, хотела встать, идти навстречу и не могла.

— Все пропало... Требует к себе...— выговорила она вслух...

Девлет вбежал в комнату, где она сидела, подбежав, схватил ее в объятья и начал безумно целовать...

— Что? Что? Что?— повторяла она, чуя, что все сошло благополучно.

— Приказал назад везти!— закричал он.

— Куда?

— К Кузьме Васильевичу твоему...

— Не хочу! Не хочу! Лучше смерть!..— вскрикнула Аннушка.

— Глупая! Ничего не смыслишь. Моя ты теперь...

И Девлет рассказал и объяснил все...

— Стало быть, все слава Богу? — спросила она.

— Понятно. Надо только скорее уезжать, а оттуда я отпишусь, что Кузьма Васильевич тебя не хочет принять... А там чрез полгода опять напишу, буду просить позволения из жалости на тебе жениться, из-за якобы совести. Сглупил сам и каюсь, мол...

— Ты так и сказал — на пятом месяце.

— На пятом! Что смеху было... А я думал, беда будет. А только смех был.

— Ну, слушай, милый, что я скажу теперь, благо, все слава Богу... Оно — правда.

— Что?

— На пятом — выдумка ради себя спасения, а на первом... Ну, понял, что ли, глупый?

И Аннушка подпрыгнула, повисла на шее князя Девлета и начала целовать его в губы, в глаза и по всему лицу.

— Надо скорее с глаз долой, а там хлопотать разводиться и венчаться! — радостно воскликнула она. — Ведь вот, Господи, судьба-то... Воровал ты меня по службе, по указу начальства, а уворовал для себя...

— Боюсь я... Вдруг раздумает и потребует он тебя к себе... поглядеть...

— Ну, подушку и пристрою... И сойдет. Да нос себе свеклой вымажу. Да буду дурой петой сидеть и глаза таращить. А то чесноку наемся, так чтобы всю его горницу насквозь продушить.

— Все лучше — скорее отсюда подальше.

И офицер снова побежал в канцелярию главнокомандующего, где тотчас же получил пятьсот рублей на дорогу, но при этом выслушал и неожиданное, поразившее его предложение Попова.

— Будут коли еще нужны деньги, — заговорил он, — напишите... Князь приказал выдавать, сколько бы ни потребовалось. А главное вот что, голубчик... Если капитан краденую жену отринет и вновь назад принять не пожелает, то ей надо хлопотать о разводе, а затем искать себе жениха и второго мужа... А когда она такового найдет, то князь ей пятьдесят душ подарит в приданое. Так решено. Будь вы человек усердный и понятливый, то вы бы такой оказии князю услужить и себя оправдать никак стороною не обежали бы...

Девлет не понял и попросил разъяснения.

— Да вот, взяли бы да сами и женились на этой

пандурочке, приняв всю вину на себя... А то вот пронюхает пандур всю правду, бросится, пожалуй, в Петербург жаловаться, шуметь... Беременную жену увезли. Узнается тоже и «там», что князь посылал вас воровать пандурочку... Ему это все, да еще даром, без всякой пользы, неприятно... Все бы уладилось просто и сразу, если б вы сами повенчались с этой крохотулей. А что наследник будет у вас не собственный... что за важность! Подумай-ка. Одолжить нашего князя — великая польза бывает. Он зло плохо помнит, а на добро памятен.

Девлет вхдохнул, потупился и, опустив глаза, выговорил почтительно:

— Доложите князю, что все так точно и будет. Или капитан примет супругу обратно, да еще честно и кротко, либо она будет княгиней Девлет-Ильдишевой, а сам светлейший, подав помощь в деле развода, обещается быть посаженым отцом...

— И крестным отцом! — воскликнул Попов.

— Нет... Нет!...— будто испугался офицер.— Этой чести я не прошу... Разве что после, для второго ребенка, настоящего...

— Верно! Верно... Да, впрочем, Бог милостив, старый пандур простит молоденькую жену. Вот вы тогда и в барышах полных... Усердие свое показали теперь же, а жертвовать собой не придется... Ну, с Богом в путь. А я доложу.

Когда Девлет выходил из комнаты, Попов, усмехаясь, крикнул ему вдогонку:

— А все-таки скажу: как это было недоглядеть и чужую жену увозить... с потомством...

Офицер, странно смеясь, отозвался с порога:

— На всякого мудреца довольно простоты.

XI

Прошло полгода... Был май месяц. Петербург только что начинал одеваться зеленью, но в саду Таврического дворца уже была настоящая весна в расцвете, пахло травой и листвой.

В самом дворце, казалось со стороны, происходит что-то необычайное, редкое, торжественное. Пиршество или празднество по случаю праздника дня ангела...

В действительности не было ничего особенного, а заурядное и ежедневное явление, к которому весь Петербург уже давно привык.

У светлейшего князя Таврического был простой прием... Но дело в том, что весь Петербург, а за ним приезжая Москва, а за ними и приезжая провинция от Балтийского моря до Черного, от польских пределов до уральских, заливали волнами стены дворца всемогущего вельможи... Все залы были переполнены военными и гражданскими чинами, где все перемешалось в яркую радужную толпу, где толкались рядом и генерал, и капрал, и сенатор, и регистратор земского суда, и купец в длиннополом кафтане и в бороде... А среди них и посланники, и дипломатические агенты, и гонцы разных иноземных государств, которые «искали» у светлейшего больше, чем у самой царицы.

Если она обещает что-либо, то прежде, чем решить, посоветуется с ним: нужно ли? Если он что обещает, то прежде, чем решить, доложит ей, что так дело и след.

Прошел уже час, что Таврический все еще не открывал дверь своего кабинета...

Наконец из этой двери вышел Василий Степанович Попов и, смешавшись с толпой, здоровался кругом себя, кланялся или кивал головой. А вместе с тем он озирался пытливо, будто искал кого глазами.

Наконец он улыбнулся и двинулся к угольному окну, где стоял, стиснутый другими, молодой и красивый офицер...

— Князек!— позвал он.— Вас ищу, сударь мой. Еле узнал. У-у! Постарел, молодец! Да и давно, впрочем, не видались. Пожалуйте...

— К князю?— отозвался офицер, радостно удивленный.

— Вестимо... Дивитесь, что вас первого желает видеть Григорий Александрович. Что ж? По заслуге. Забыли, что я тогда сказывал, что он на добро, а не на зло сугубо памятен...

Оба двинулись к дверям кабинета, и Попов по дороге спросил:

— Как здоровье супруги?

— Слава Богу...

— А вашего... Ну, все-таки надо сказать: вашего... наследника? Или дочки, может быть...

— Только еще ожидаю таковых... Бог даст, чрез три месяца буду отцом...

— А тот-то... Ну, что прихватили тогда по недосмотру... Пандурчонок?

— Тот, видите ли... Тот, как бы сказать... Уж очень заспешил на свет прийти... Ну, и...

— Помер. За отцом последовал...

— И не жил!

— Да. Вот что! Однако, надо сказать, что если он и не жил и, стало быть, не мыслил, а все-таки умно поступил.

Оба рассмеялись и вошли в кабинет князя.

Чрез полчаса, пока сотни гостей, сановников и просителей, и сильных мира, и маленьких людей терпеливо ждали, князь Девлет стремительно вышел от вельможи, радостный и сияющий с бумагой в кармане.

Светлейший наградил по-царски. Сто душ крестьян в Белоруссии, чин капитан-поручика и двести червонцев на будущий зубок будущих князька или княжны.

Вместе с тем он нес нижайший поклон светлейшего почти незнаемой им, но немало потешившей его княгине Девлет-Ильдишевой.

XII

Прошла неделя. В одном из переулков около Казанского собора, в небольшой квартире сидели в своей спальне муж и жена — князь Девлет и крошечная княгиня...

С ними, вероятно, случилось какое-нибудь несчастие, у них было, очевидно, какое-то горе. Князь сидел, опершись локтями на стол и сжимая голову в руках, как бы в страшной заботе, а то и в отчаянии. Она сидела у окна в кресле и грустно, не опуская глаз, смотрела на мужа.

— Да! Грех и мерзость...— выговорил он.— Все есть, все налицо... И убийство, и мошенничество, и обман, и подлость... Все есть... После этого всего — счастия в жизни не жди. Господь таких наказывает. Того дела поправить нельзя, мертвого не воскресишь... Я утешаюсь тем, что тогда жестокосердно поступил с стариком, действуя не для себя. Тогда я еще тебя не любил и того всего предвидеть, что приключилось, не мог. Но теперь... Вот это поступление с благодетелем, с человеком и вельможей, от коего я, кроме чести и ласки, ничего не видал, мерзко, подло и даже грех... Не уступать тебя ему и взять хитростью?.. Не удовлетворить прихоти, чтобы спасти свое добро, свое счастье? Пожалуй, даже следовало. И совесть молчала... А теперь... Получить награду от человека за то, что обманул и насмеялся над ним?.. Не могу и не могу...

И Девлет глубоко вздохнул, встал и начал взволнованно шагать по маленькой комнате взад и вперед...

— В десятый раз сказываю тебе,— вымолвила княгиня.— Не ходи сам... Напиши, все расскажи и откажись от наград, от всего. А там убежим куда. На край света. Авось не разыщут... А если и разыщут по его приказу, то что же он сделает. Ты не его жену законную украл... Ну, в Сибирь сошлет... И там люди живут. А я так полагаю, что за чистосердечное признание и отказ от награды незаслуженной он отплатит молчком, а не мщением.

Наступило молчание. Князь походил еще с полчаса, волнуясь и вздыхая, и наконец воскликнул:

— Не могу... Решено! Укладывай пожитки, а я сяду писать...

— Слава Богу! По крайней мере, конец мучениям,— отозвалась она.

— И начало страхам!— прибавил он.— Да, он так не оставит. Он прикажет нас разыскать в Петербурге, а когда не найдут, укажет розыск по всем трактам почтовым. Да это что... Не сейчас, не теперь, так через месяц, ну, чрез полгода, ну, через год... а все-таки разыщет и угонит в Сибирь или засадит в Шлиссельбургскую крепость.

— Мне этого сердце не говорит... Да и беззаконие было бы это...

— Э-эх, бабы... Не знаешь ты ничего. А я сам на службе и знаю, что творится по воле сильных людей... Теперь вот один в Шлиссельбурге уже второй год сидит за то, что он только... Ну, да что зря болтать!.. Решено — и конец. Укладывайся, а я мигом все на бумаге изложу. Сами выедем на Ригу, а письмо оставлю, чтобы подали светлейшему чрез три дня.

В тот же вечер бричка с верхом тройкой почтовых лошадей выехала в Нарвскую заставу. В ней были беглецы от гнева всесильного вельможи.

XIII

Когда после быстрого пути без остановок муж и жена очутились в гостинице среди чужих людей и по норову, и по языку,— в Петербурге, в Таврическом дворце, среди кипы бумаг, полученных в этот день, была бумага, краткая, исписанная лишь на полутора страницах...

Вельможа, прочитав ее, перечел снова и, не обращая внимания на следующие за ней, встал и начал ходить по кабинету...

— Эй, кто там!— крикнул он наконец громко. На пороге появился молодой чиновник, недавно поступивший в канцелярию, сын родовитых дворян и крестник князя, которого он очень любил и отличал.

Князь взял со стола бумагу.

— Вот, Петруша... Снеси это Попову... Сам снеси и скажи, что я прошу прочесть, мне возвратить и прошу его совета, как мне поступить...

Когда молодой человек вышел, князь снова зашагал задумчивый, но нетерпеливо поглядывал изредка на дверь, из которой ожидал возвращения крестника и ответа.

Наконец этот снова явился с бумагой.

— Ну?

— Василий Степанович,— произнес он, улыбаясь,— прочитав, сказали: «ах, аспид!» А затем приказали доложить одно слово: «наплевать».

— Наплевать?!

— Точно так-с!

— Что он? Спятил!

Молодой человек молчал.

— Так слушай ты, Петруша. И будь третейским судьей... Ты умница у меня. Рассуди.

И князь внятно, медленно, вразумительно прочел письмо князя Девлета, который кратко, но горячо и сердечно объяснял свой обман, двойной обман. Относительно первого обмана, говорил он, его совесть была и осталась спокойна, но относительно второго обмана совесть его возмутилась, он не имеет ни дня, ни ночи покоя. Поэтому он решил не принимать награды, не являться за ней в канцелярию и вместе с тем бежать от гнева вельможи на край света. Кончив, князь спросил:

— Понял?

— Понял-с. Прав Василий Степанович, что аспид. Совесть взяла!

— Молокосос! Да разве аспидов совесть берет когда?— вскрикнул князь.

— Иуду, предателя Христова, позвольте доложить вашей светлости,— и того совесть взяла, коли удавился. А Иуда хуже всякого аспида...

— Верно! Умница... Ну, говори, ты бы что сделал?

— Словить да поучить примерно. Что же другое?

— Как поучить?
— Как вашей светлости будет угодно.
— Не хочу я этого. Вот что!
— Тогда уж, как сказывать изволит Василий Степанович: наплевать надо.
— Ни за что! — воскликнул князь. — Так не оставлю, а, напротив, примерно поучу всех других...
Молодой человек улыбался почтительно и наконец вымолвил нерешительно:
— Из-за ослушника одного да всем другим в ответ идти... Как можно! Ваша светлость всегда справедливы. А это было бы по пословице: Матрена стащила, а Алена за нее взвыла.
— Да вот погляди, как у меня все твои Алены если не завоют, то заорут...

XIV

Строжайший приказ светлейшего был исполнен нескоро, но в точности.
Всякий день при докладе князь спрашивал у Попова, разыскан ли Девлет-Ильдишев с женой, и каждый раз снова строго приказывал: весь свет насквозь перерыть и перешарить, но чтобы офицер с женой были найдены и доставлены.
И наконец однажды, чрез полтора месяца, Попов доложил, что беглецы арестованы около Риги и уже привезены в столицу...
— Что прикажете с ними?
— Завтра же ко мне пораньше притащи и его, и ее... Я с ними сам разделаюсь, собственноручно. Узнают они меня, да и вы все тоже...
Наутро, много ранее часа, когда обыкновенно начинался съезд и прием у вельможи, в Таврический дворец были доставлены в бричке, с солдатом на козлах около кучера, офицер и маленькая женщина.
Их привезли не в парадные апартаменты, а другим ходом, чрез частные комнаты князя, прямо в его спальню... Но князь уже давно поднялся, умылся и, покинув халат, вышел в кабинет.
Камердинер, любимец князя, явился и доложил:
— Девлет тут в опочивальне.
— Один?
— Нет-с... С женой.

— Со своей, стало быть, дражайшей половиной. Вернее сказать... с своей восьмушкой... И не дражайшей, а поди, теперь, дрожащей,— шутил князь.

— Это точно, ваша светлость. Даже смотреть жалко... Ей-Богу... Лица на них обоих нет... Белые, ошалелые. Просто я не знаю... Я бы вот... Вот пред Богом...

— Что?

— Уж не знаю... А я бы обратил гнев на милость.

— Потому, что ты дурак. А вот погляди, что я сделаю. Давай его сюда, а ей вели ждать.

Чрез несколько мгновений на пороге показался князь Девлет-Ильдишев, сильно изменившийся за малый промежуток времени со своего бегства и до поимки. Он похудел и к тому же был теперь бледен как полотно.

— Подойди, вор, лгун и обманщик,— выговорил князь тихо.

Офицер приблизился неверными шагами, потупившись, глаза были опущены, и он не видел князя, а шел на голос.

— Посмотри на меня.

Офицер поднял глаза, но глядел в сторону, на стену.

— На меня смотри! Прямо в глаза!

Чрез силу глянул несчастный в лицо вельможи и встрепенулся...

— Поцелуемся...

И, обняв офицера, князь трижды расцеловался с ним.

— Честного человека мне не всякий-то день облобызать приходится, Девлетка... Ну, слушай. Первое твое дело, кто из нас вспомянет — тому глаз вон. А за второе дело — отказ от награды я тебе даю теперь чин капитана, а к прежней данной сотне душ накидываю пустопорожнюю землю в Новороссии да беру опять к себе для важнейших поручений, в коих совестливые люди нужны... Ну, вот...

Девлет упал на колени, не имея сил вымолвить ни единого слова.

— Полно. Вставай. Это честно заслужено. Тысячу человек поступили бы не по-твоему. Ты, братец, один на тысячу. Пока я жив, ты будешь при мне и мой самый доверенный... Ну, ступай, обрадуй жену...

Офицер поднялся и от счастья и восторга глядел как безумный...

— Да. Вот что еще... Крохотули твоей я видеть не хочу... Сначала было хотел... А утром ныне куражу не хватило. Все-таки... все-таки все мы грешные, слабые

люди, человеки. Вот я и испугался, что меня вдруг завидки возьмут... Вдруг крохотуля опять меня сразу заворожит. Что тогда?.. Ну, стало быть, подальше от греха... И я тебе вот что скажу, ты обожди мне ее показывать... Вот когда она тебе парочку деток подарит, тогда смело кажи ее мне. Матерей семейств я глубочайше уважаю...

— Ваша светлость! — воскликнул наконец Девлет. — Такому золотому человеку, как вы, то есть великодушнейшему в мире, может иной и дорогую, любимую жену уступить. Ну, хоть один на тысячу человек, да пойдет на это.

Князь улыбнулся, а потом рассмеялся.

— Полно. Неправда. По нашим временам такому, как я, то есть Таврическому князю, один на тысячу не уступит. Вот поэтому-то ты рабу Божьему Григорию и люб, что не уступил тогда даже чужую, не только свою...

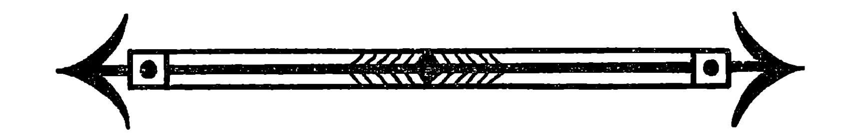
ШИРЬ И МАХ

(МИЛЛИОН)

Исторический роман в 2-х частях







ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Широко, гулко, размашисто, будто потоком — идет вельможная жизнь екатерининского царедворца.

Таврический дворец шумит, гудит, стучит.

У князя Потемкина прием.

Полдень... Под прямыми лучами майского солнца дворец ослепительно сверкает своей белизной. Весь двор заставлен десятками всяких экипажей и верховых коней. В чаще сада, на всех дорожках, мелькают яркоцветные платья и мундиры. Во всех залах и горницах огромных палат «великолепного князя Тавриды» плотная толпа кишит как обеспокоенный муравейник и снует, путается всякий люд, от сановника в регалиях до скорохода в позументах... А среди этой толпы кое-где мелькнет, отличаясь от других, статный кавалергард в серебристых латах, арап длинный и черномазый в пунцовом кафтане; киргизенок с кошачьей мордочкой, в пестром халате и с бубунчиками на ермолке; пленный нахлебник-турок в красной феске, шальварах и туфлях; карлы и карлицы в аршин ростом с зеленовато-злыми или страшно морщинистыми лицами. А между всеми один, сам себе хозяин, никому не раб и не льстец,— ходит, важно переваливаясь, генеральской походкой громадный белый сенбернар.

На парадной лестнице и в швейцарской стоят десятки камер-лакеев и фурьеров, гайдуки, берейторы, казачки-скороходы... Мимо них проходят, прибывая и уезжая, сановники и вельможи с ливрейными лакеями и гвардейские штаб-офицеры с денщиками, гонцы и курьеры из дворца.

И все это блестит, сияет, искрится точно алмазами.

Будто ярко-золотая волна морская бьется о стены Таврического дворца, то напирая с улиц под колоннаду подъезда, то вновь отливая обратно с двора...

Высокие щегольские кареты, новомодные берлины и коляски, старые громоздкие рыдваны, экипажи всех

видов и колеров, голубые, палевые, фиолетовые... снуют у главного подъезда... Лакеи и гайдуки швыряются, подсаживая и высаживая господ, и лихо хлопают дверцами, с треском расшвыривают длинные, раздвижные в шесть ступеней одножки, по которым господа чинно шагают, качаясь как на качелях...

— Подавай! Пошел! — то и дело зычно раздается по двору.

И движутся разномастные цуги сытых глянцевитых коней, то как уголь черные, то молочно-белые, или ярко-золотистые с пепельными гривами и хвостами, или диковинно-пестрые, пегие на подбор, так что от масти их в глазах рябит. Цуги коней, будто большие змеи, вьются по двору, ловко и лихо изворачиваясь в воротах, или у подъезда, или среди экипажей и людей. Искусник-форейтор из малорослых парней, а чаще шустрый двенадцатилетний мальчуган бойко ведет свою передовую выносную пару коней — подседельного и подручного.

— Поди! Гей! — озорно и визгливо вскрикивает он и все вертится в седле, оглядываясь на свои постромки и на весь цуг, на дышловых, на толстого кучера с расчесанной бородищей, что расселся важно на бархатном чехле с золотыми гербами.

Всадники-гонцы, офицеры и солдаты, тут же скачут взад и вперед. Двое, справив порученье, садятся на лошадей, а на их место трое влетели во двор и, бросив повода конюхам, входят на подъезд, сторонясь вежливо, чтобы пропустить вельможу, сенатора, адмирала, садящихся в поданную карету.

В саду, на лужайках, на площадках и в подстриженных по-модному аллеях, мелькают цветные кафтаны и дамские юбки, звенят веселые голоса, женский смех и французский говор... Здесь гуляют гости, приехавшие не по делу, не с докладом, не с просьбой, а «по обыкности» — одни, как хорошие знакомые, другие, чтобы faire leur cour [1] временщику и раздавателю милостей.

Близ легкого пестро выкрашенного мостика, среди площадки, между мраморными амурами на пьедесталах, собралась большая кучка пожилых сановников, зрелых дам и молодежи. Общество сгруппировалось вокруг красавицы баронессы Фон дер Тален, новой львицы при дворе и в городе... Маленькая и полная немочка, уроженка Митавы, двадцати лет, от которой пышет красо-

---

[1] Угождать *(фр.)*.

той, юностью и здоровьем, одна из всех без пудры, румян и сурьмы. Блестящий цвет лица и прелестные голубые глаза белокурой баронессы не нуждаются в притираньях. «La Venus de Matau» [1] — ее прозвище в Питере, данное государыней в минуту раздраженья. Муж ее, уже пожилой генерал, давно в отсутствии, в армии, а она ухаживает за князем, и в столице носятся слухи, что Венера Митавская — временный предмет светлейшего.

Недаром и племянницы князя с некоторых пор постоянно заискивают у нее. И теперь здесь сошлись около нее и подшучивают над ней любезно три из племянниц князя: Самойлова, Скавронская и Браницкая.

Пожилой генерал-аншеф, известный болтун, ходячая газета столицы и сплетник, но добродушный и подчас остроумный, рассказал что-то, что-то будто из истории Греции, случай из афинской жизни, с Алкивиадом, но с понятными всем, прозрачными намеками на князя и баронессу. Всем им известно, кого давно зовут «Невским Алкивиадом».

— Vous calomniez l'histoire! [2] — восклицает Самойлов, родной племянник князя Таврического.

— Pour plaire à la baronne [3],— отзывается генерал.

— Нет! Я бы на месте вашей афинянки поступила совсем не так...— звучит серебряный голосок красавицы баронессы.— Cette coquinerie d'Alcibiade [4] не прошла бы ему даром... Она имела мало caractère [5].

— В таких приключениях la coqinerie est la coquetterie des hommes...[6] — заявляет молодой премьер-майор, сердцеед и герой Кинбурна.

— Когда женщина должна себя отстоять,— горячо продолжает баронесса,— то она перерождается: добрая — делается злой, глупая — умной и трусливая, как овечка,— тигрицей...

Завязывается спор. Почти все дамы на стороне баронессы...

— Полноте... Все вы правы!— решает графиня Браницкая.— Только побывав в положении вашей афинянки, можешь знать: что и как сделала бы...

---

[1] «Венера Митавская» *(фр.)*.
[2] Вы клевещете на историю! *(фр.)*
[3] Чтобы понравиться баронессе *(фр.)*.
[4] Это плутовство Алкивиада *(фр.)*.
[5] характера *(фр.)*.
[6] плутовство — кокетство мужчин *(фр.)*

Беседа снова переходит незаметно на непостоянство князя.

— Domptez le lion...[1] — говорил кто-то, смеясь, баронессе.

— О, это не лев...— весело восклицает красавица.— Князь Григорий Александрович! Трудно найти в мире другого в pendant[2] для сравненья... Он и медведь, и ласточка вместе!.. Знаете, что он?! J'ai trouvé! Он — апокалипсический зверь... c'est la bête de Saint-Luc[3]. Это — крылатый вол! Он лежит лениво и покорно у ног женщины, как и подобает à la bête du bon Dieu...[4] И вдруг в мгновенье, quand on s'attend le moins[5], взмахнет крыльями и умчится ласточкой.

— В синие небеса или к молдаванкам?..

— Да... к ногам другой женщины...

— Где докажет тотчас неверность пословицы, что одна ласточка весны не делает!— сострил генерал.

— Берегитесь, баронесса,— вымолвила Браницкая,— я передам дяде ваше сравненье. Оно верно, но не лестно... Вол?..

— Крылатый, графиня... je tiens à ce detail[6].

— Ага! Боитесь... что дядя выйдет из слепого повиновенья,— несколько резко заметила Скавронская.

— Слепое повиновенье есть исполнение всякого слова, всякой прихоти,— заметила сухо баронесса.— Этого нет.

— А вы бы желали этого?

— Конечно. Сколько бы я сделала хорошего, если бы каждое мое слово исполнялось князем. Je suis franche[7]. Конечно, хотела бы!

— Ce que femme veut — Dieu le veut[8].

— Да... но это старо и не совсем верно,— вмешивается пожилая княгиня.

— Правда! Надо бы прибавлять,— смеется баронесса,— quand la Sainte Vierge ne s'oppose pas[9].

— О! О!— восклицают несколько голосов.

---

[1] Укротите льва *(фр.)*.
[2] пару *(фр.)*.
[3] Я нашла... это — зверь Сэнт-Люка *(фр.)*.
[4] божьей коровке *(фр.)*.
[5] когда ждешь меньше всего *(фр.)*.
[6] я держусь этой детали *(фр.)*.
[7] Я — чистосердечна *(фр.)*.
[8] Чего хочет женщина, хочет и Бог *(фр.)*.
[9] когда Святая Дева не воспротивится *(фр.)*.

— Voltairienne![1] — говорил генерал.

— Plutôt... Vaurienne...[2] — прибавляет княгиня, трогая молоденькую женщину веером за подбородок. — Ох, мужу все отпишу... Он там пашей в плен берет, а жена здесь сама пленяется...

— Да... И напишите, княгиня. На что похоже. Барон там «курирует» опасность в битвах, а жена здесь бласфемирует[3].

— Напишите! Напишите! Напишите!..— раздается хор дам.

— Ох уж вы, молодежь... Грешите...— вздыхает старик сенатор.— Сказывается... все под Богом ходим!

— Да-с, ваше сиятельство... Истинно! А вот при Анне Ивановне, помните, не так сказывали...

— Как же? Как?

— Говорилось пошепту: «Все под Бироном ходим!»

И снова гулкий, звонкий и беззаботно звенящий смех раздается далеко кругом, будто рассыпается дробью по дорожкам среди подстриженных аллей.

II

В большой зале дворца тихо. Глухой, задавленный ропот едва журчит, прерывая эту тишину, соблюдаемую из высокого почтенья к месту и лицу. Народу тут всякого много, от сильных мира до самых слабых.

Великая награда привела сюда одного — чтобы отблагодарить, и великая обида привела сюда другого — просить заступничества. Этот получил вчера тысячу душ во вновь присоединенной Белой России, этот — богатые угодья, луга и леса из новых пустопорожних земель в Новой России, этот — серебряный сервиз в несколько сот рублей... Этот — крест, чин, придворное звание... А эти еще не получили, но желают получить и приехали ходатайствовать... А этот потерял все имущество от неправедной ябеды, этого разорила тяжба с соседом, родственником Зубовых, этот просит винный или соляный откуп, этот — местечка ради куска хлеба.

Во все века, у всех народов было, есть и будет то, что в этой зале теперь... Там, за высокими дубовыми дверь-

---

[1] Вольтерьянка! *(фр.)*

[2] Скорее... бездельница *(фр.)*.

[3] От *фр.* blasphémer — богохульствовать, кощунствовать.

ми — кабинет человека, который сам когда-то — простым офицером, мелким дворянином — мечтал о лишнем галуне, о лишнем рубле, а теперь для него все на свете... этот дворец, даже вся столица, даже иные пределы и иные враги этой империи — трын-трава.

Мир и люди ему — муравьиная куча... Наступит он по прихоти пятой на эту кучу — и сколько несчастных сделает, сколько горя, сколько слез. А захочет миловать — сколько счастливцев заплачут от радости и восторга и заблагодарят Бога за князя Таврического.

Что же он? Посланник неба? Олицетворенная духовная мощь? Гений? Нет, он — чадо случая, сын фортуны. Его сила в слабости людской.

Он владыка мира сего, раб своих похотей.

Но где нужна тщетная сила желания и воли сотни людей, он мизинцем двинет — и все творится по его мановению. И не в одном доме или одном городе, а на пространстве трети земного шара.

— Князь может много! — шепчет тощий, но важный сановник молодому франту, а около них дворянин из-под города Карачева, разоренный ябедой, смущенно мнет шапку в руках и робко, тайком прислушивается к их речи и вздыхает...

— Почему же так, ваше сиятельство?

— Царица всегда сделает по просьбе князя. А князь на просьбу царицы, бывает, ответствует: «Уволь, матушка, не могу. Приказ твой исполню, а коли просишь, не пеняй, не могу... Противно совести, или слову данному, или родственным чувствам!» Вот тут и аминь, государь мой.

И дворянин из-под Карачева отчаяннее мнет шапку, озираясь на сверкающие кругом мундиры, и все вздыхает...

— Воевательство, любезный приятель, токмо ему принесло пользу. Ему нужен был говор и шум на всю Европу,— тихо говорит генерал-аншеф с Георгием на шее другому сановнику, адмиралу в белом мундире с зелеными отворотами.— А государской статской надобности — умирать буду, скажу — не было и ныне нету. Что нам Таврида? Подобало создать между нами и оттоманами рубеж, независимое ханство... оплот... ограду... Да. А не брать себе... А он, поди, уже возмечтал и Царьград, и Элладу привоевать. А там уже недалече... и Иерусалим прихватить.

— Да,— смеется адмирал.— И его бы туда наместником спровадить.

Собеседники осторожно и сдержанно смеются.

Время идет, час за часом, скоро вечерни...

Тихий говор толпы, ожидающей приема, все гудит глухо под сводами зала в два счета, будто рокот дальнего водопада, сдержанный горами и ущельями.

Курьеры проходят в кабинет без доклада и выходят вновь тотчас же...

Адъютанты вызывают ожидающих в очереди по фамилии или вежливо и смиренно, или важно и гордо, или с таким видом провожают в кабинет иного просителя, как если б он был блоха, попавшаяся им в руки...

Уже много всякого народу побывало за большими дубовыми дверьми и на мгновенье, и на целых четверть часа, и, появясь оттуда то с сияющим, то с мрачным лицом — прошли толпу ждущих очереди и разъехались по городу.

Много сановников еще ждут, а несколько сереньких фигур в дворянских мундирах и много простых офицериков были уже приняты светлейшим. Еще несколько генералов двигаются от одного окна к другому, ни с кем уже не разговаривая и сопя, пыхтя, видимо, злобствуют на публичный афронт. Жди и пропускай вперед всякую сволоку. Недаром сам из смоленских «потемок».

Снова вышел адъютант и позвал господина Саблукова.

Дворянин, давно смявший свою шапку совсем в лепешку от волненья, затрепетал, зашвырялся, оглядывается кругом и будто не понимает, чего от него требуют.

— Господин Саблуков! — снова раздается громче.

Все оглядываются и переглядываются, будто говоря незнакомым: «Не ты ли?»

— Господин Саблуков?! — в третий раз возглашает адъютант, озирая толпу.

— Я-с...— раздалось чуть слышно, будто не из груди дворянина, а будто откуда-то издалече.

Неровными шагами двинулся господин Саблуков к дубовым дверям и исчез в кабинете.

В день Страшного суда Господня, при трубном гласе архангелов, созывающих мертвых восстать из гробов и предстать пред лицом Божьим,— господин Саблуков менее оробеет... Его жизнь вся на ладони, чиста, ни соринки на ней. А праведный небесный суд такой совести не страшен! А здесь ведь иной, земной. А ведь

сейчас здесь вот, в кабинете царедворца, решится участь его личная, его жены, семерых детей, восьмидесятилетней матери, родственников, всех чад и домочадцев, даже его нахлебников. Всем на улицу без куска хлеба... Да это куда ни шло! А честь дворянская поругана будет, закон государский осмеян, правда людская попрана пятой ябедника.

И смутно в голове, бурно на сердце, темно в глазах и будто пьяно в ногах серенького дворянина, идущего вынимать свой жребий из рук фортуны, идущего класть свою голову не на плаху под топор, а хуже, обиднее... Класть голову и все головы семьи под случай, под прихоть...

— Саблуков! Преглупое прозвание! — заметил один сановник по фамилии Хантемиров.

— Стариннейшее дворянское! государь мой,— отзывается кто-то.

Проходит десять минут, пятнадцать, двадцать...

«Вона как...» — замечают многие мысленно.

Проходит полчаса...

— Скажи на милость?.. Важное какое дело! — иронически замечает шепотом генерал Хантемиров.

Выходит наконец из дверей и бежит господин Саблуков... бежит рысью по залу куда глаза глядят, а куда — ему неведомо. Лицо пунцовое, потное, мокрое... Слезы ручьем льют из глаз, челюсти судорога треплет, а зубы щелкают. А в руках блин-шапка, и он на бегу утирается ею, забыв про носовой платок... По счастью, попал он в двери и на подъезд, а авось до дома доберется.

Светлейший все расспросил, по ниточке дело его разобрал, пытал как в застенке и объявил весело:

— Небось, голубчик, все суды вывернем наизнанку. Твое дело правое! Правда при тебе и останется. Мое тебе слово.

А вслед за счастливым дворянином вышел важно курьер с письмом к английскому посланнику, где такая загвоздка Альбиону прописана, что через месяца два-три вся Европа всполошится, даже французские Мараты и Дантоны подождут людей резать и сойдутся на совет.

За курьером вышел адъютант и велел кликнуть к светлейшему капитана Немцевича... Прибежал через минуту капитан с животиком, на коротеньких ножках, кругленький, розовенький, кровь с молоком — просто булка. Пробежал он зал и скрылся...

Тотчас и назад выкатился он из кабинета и весело озирается, будто спросить что хочет. Подошел он к ближайшему, еще не виданному им в столице генералу и, стало быть, приезжему вероятно чрез Москву, и вежливо кланяется.

— Виноват, ваше превосходительство. Не изволите ли знать... Светлейшему окажите послугу!.. Где найти самый перворазборный рагат-лукум. Сласть такая малоазийская.

«Тьфу: глупость какая! — думает генерал, пыхтит и головой трясет. Он случайно знает, где найти, ибо едал и сам этот рагат-лукум, да неприлично совсем об этом тут речь вести. Не за этим он приехал и ждет.— Черт вас подери»,— думает он и прибавляет:

— Сожалею, не знаю.

— Перворазборный, удивительного качества, найдете у купца Грегорианова в Зарядье,— отзывается самодовольно молоденький сержант.

И видно по глазам масленым, что он его сосал еще недавно, сидя у матушки своей и воспитываясь на вареньях и медах.

— Село Зарядье? Какой губернии и уезда? — спрашивает обрадованный капитан.

— Никак нет-с. Зарядье в Москве, в городе.

— А-а? В самом городе Москве! — восклицает Немцевич.

— Да-с, в Москве, но собственно в городе.

Не сразу питерский капитан понял москвича-сержанта... И подивился наконец, что в городе Москве есть еще свой город, не в пример прочим городам российским.

— В городе близ Ильинки! — пояснил сержант.

Капитан юркнул опять в кабинет князя и, появившись тотчас обратно, немного менее веселый, стал расспрашивать сержанта: где, что и как... в мельчайших подробностях.

Его светлость отрядил его, капитана, тотчас, не медля нимало, гонцом в Москву привезти пуд сего лукума-рагата. Капитан бодрится, а видно, ему не очень сладко... Сейчас он к приятелю на именинный пирог собирался, а тут собирайся вдруг тысячу с лишком верст отмахать, чтобы доставить малоазийскую сласть.

Пока дело шло об рагат-лукуме, приехал чужеземец в странном наряде, но с орденом и оружием.

Это был грек Ламбро-Качони в своем национальном платье. Он прошел без доклада, стуча бесцеремонно по

паркету... Адъютанты князя вились около него, как мухи около меда... Это любимец их барина.

Ламбро-Качони был самый дорогой посетитель для князя, ибо у них было одно общее, дорогое им, трудное предприятие, которое, однако, шло на лад... Дело немаленькое!.. Поднять всех греков, и древнюю Элладу, и весь Архипелаг... весь христианский Восток. Князь был душою дела, а Ламбро — правой рукой.

Но совещались они недолго. Грек только передал последние вести из Эпира и из Крита.

Принял затем светлейший еще с десяток лиц после этого чужеземного вельможи. Но вдруг в зале храбро появился молоденький камер-юнкер, и о нем тотчас доложили... тотчас пропустили...

Адъютант князя появился тотчас в дверях и громко объявил всем ожидавшим еще очереди, что приема больше не будет. Светлейший вызван к государыне и пошел одеваться, чтобы ехать в Зимний дворец.

— Это со мной в седьмой раз! — раздражительно проговорил один статский советник незнакомому соседу.

III

Высокий, пожилой широкоплечий богатырь, в ярком мундире, сплошь залитом шитьем, с плотной грудью, покрытой рядами звезд и крестов русских и чужеземных, двинулся тихо и лениво из кабинета на парадную лестницу... Походка его, с перевалкой, простая, не сановитая и деланная, а естественная и даже отчасти по природе неуклюжая — производила особое впечатление... «Весь залитой золотом, да орденами и регалиями, в каменьях самоцветных и алмазах — и так шагает по-медвежьи?» Чудится, что добродушный и добросердечный вельможа. С важными и высокостоящими — он и бывает груб, высокомерен и жесток — за то, что они мнят себя ему равными. Но маленького человека он пальцем не тронет, ни с умыслом, ни нечаянно, а будет с ним «свой брат», русская душа нараспашку. Если когда и обругает кого самыми на подбор скверными и погаными словами, так это именно, чтобы милость свою и доброхотство высказать прямее, сердечнее и понятнее для истого россиянина. Обруганный так и засияет от счастия, когда светлейший и его, и всех родственников переберет.

«Великолепный князь Тавриды», лениво и тяжело переступая с ноги на ногу, медленно прошел через весь дворец свой, меж двух рядов своих придворных, живой, блестящей изгородью протянувшихся от зала до подъезда. Подсаженный, почти внесенный на руках в поданную коляску, он двинулся из ворот в поле, за которым вдали, после огородов и пустырей, виднелась рогатка городская.

Будто большое, плотное, яркое облако, сияющее и ослепляющее глаз переливами всех радужных цветов, выползло из ворот и поплыло из Таврического дворца в Петербург. Это свита князя... которая конвоирует его всегда по городу... Всадники в разноцветных мундирах; латники, гусары, казаки, черкесы, гайдуки — бьются кругом. А впереди экипажа и коней, саженях в пятидесяти, бежит рысью по пыльной дороге десяток скороходов, в красных кафтанах. Они несутся вереницей попарно за длинным и худым арапом, громадного роста и с двухсаженной золотой булавой в правой руке. Будто сам сказочный Черномор открывает шествие почти сказочного вельможи.

Но он сам уныло, тоскливо озирается кругом...

«Подступает,— думается ему.— Идет!»

Да, он прав, действительно «подступает» и впрямь. Вчера еще было на молебне во дворце и вечером на торжестве, которыми поминали его подвиги, прошлые победы и благодарили Господа Бога за... плоды его разума, его воли, его усилий душевных, его деятельности... И все и вся преклонялось, поздравляло, льстило, млея перед ним.

«Не правда ли это,— думал и думает он.— Нужно ли? Дело ли это или безделье? Велико это или мало? Муравей... козявка... Ишь ведь мишурой-то забавляемся! —оглядывает он конвой.— Австралийские попугаи-какаду тоже любят это! — усмехается он, тоскливо и презрительно оглядывая свою грудь, покрытую регалиями.— Им в клетке всегда лоскут притыкают, чтобы пели и говорили забористее».

Он вздохнул, встряхнул головой, будто отгоняя эти мысли.

— Эх, подступает...— полубормочет он под грохот экипажа.— И затем. Что тут разбирать по ниточке. Каждая ниточка — если и распутаешь всю сию паутину как философ, то каждая все-таки, сама по себе, будет тайна великая мироздания, загадка премудрости Всебла-

гого Творца... И чуешь на душе, что сказывается там так: не гадай, не время теперь, обожди. Теперь живи... Кончишь земной путь — тогда всё узнаешь как по писаному. А сия книга бытия твоего, и всего, и всех при жизни — катавасия и скоморошество, чего спешишь, вперед заглядываешь, обожди, все узнаешь! И узнаешь-то, с тем чтобы уж не пользоваться. И себе, и другим без пользы. Оттуда не придешь рассказывать: так и так, мол, братцы...

— Тьфу! Будет! Отвяжись! — выговорил князь уже громко, будто обращаясь к собеседнику невидимому, который пристал и всякую дрянь выкладывает ему, тянет грустную да безотрадную канитель.

— Подтяни вожжи!.. Прибавь ходу! Попадья! — крикнул он кучеру нетерпеливо.

Все рванулось и двинулось шибче; застучали колеса, заскакали всадники, зазвенела амуниция, и будто пуще засверкало все на солнце...

«Пожалуй, обидел ведь кучера-то своего Антона, и зря... Чем он попадья? Первый кучер в столице,— думается ему.— Надо поправить. Зачем обижать зря...»

— Эй ты, собачий сын! Что, наш Юпитер все хромает?

— Лучше, Григорий Лександрыч,— отвечает не оглядываясь бородатый кучер.— Я их обеих — и Рыжика, и Евпитера...

— Не Евпитер, чучело гороховое, Юпитер! Ишь ведь вы, скоты, хуже татар и турок. Ей-Богу, вы, псы этакие, иноземных слов совсем заучить и сказывать не можете.

— А на что они нам? У нас свои есть! — отзывается Антон.

Князь Таврический пристально уперся проницательным, умным взглядом своего глаза в широкую спину Антона и думает:

«Да. Вот. Рассудил. Истинно! Этак бы и нам все государские дела вершить. Памятовать сие изречение Антона. У нас все свое есть. А мы все чужое понахватали. Чужое на стол мечи, а свое ногами топчи! Нет такой пословицы — а должна бы таковая быть!»

— Антон?! — крикнул князь.

— Чего изволишь, батюшка?

— Ты умница, Антон!

— Рад стараться, Григорий Лександрыч.

— Ты умнее меня! Умнее всех сенаторов и советников. Мы все олухи и пустобрехи.

Трясет Антон головой и усмехается, оглядывая коней. Не в первый раз таковая беседа у него с барином, с первым вельможей российским, «ахтительным» князем Тавридским, которого он, однако, не смеет назвать «вашей светлостью». Раз навсегда крепко заказано это всей дворне и всем холопам князя:

«Я светлейший, да фельдмаршал, да князь, да тары, да бары, да трынцы-волынцы, да всякия такия турусы на колесах... для вельмож, для дворянства, пуще всего для пролазов сановитых. А для вас я барин, Потемкин, Григорий Александрыч. Смоленской губернии дворянин».

И холопы не дивятся, давно привыкли к доброму барину, сердечному и золотому, но чудодею Григорью Лександрычу.

IV

На Дунае, в декабре 1790 года, завершилась взятием Измаила блестящая кампания.

Это была целая серия подвигов русской армии, в рядах которой уже гремели имена героев: Суворова и Репнина. Молодые Кутузов и Платов заставляли уже о себе говорить. С новым годом наступило временное затишье в военных действиях. В феврале месяце князь Таврический приехал в Петербург на побывку. Он думал пробыть недолго, быстро повершить все дела и уехать, но оказалось, что времена наступили для него иные... При дворе был новый флигель-адъютант, двадцатичетырехлетний Платон Зубов, приобретавший все большее влияние на государыню и начинавший вмешиваться в дела. Он уже не скрывал своей неприязни к князю Таврическому, боролся с ним и подкапывался под него.

— Пора ему на покой, чтобы и России вздохнуть дать,— говорил он со слов других, более умных.— Надорвал отечество!

Потемкин приехал удалить нового любимца, как уже не раз делывал это прежде, но теперь все более убеждался в его возрастающем значении и силе при дворе. Вдобавок, вокруг Зубова группировались враги Потемкина — а их было немало. И какие враги! В числе их был вновь пожалованный граф Рымникский, герой Кинбурга и Измаила. Суворов не любил Потемкина. Князь должен был спешить обратно в армию, но все медлил и говорил, что не уедет, пока не выздоровеет и не вырвет у себя больной зуб.

Но «Зуб» смеялся на эту угрозу.

И в самом главном деле, которым жил теперь Потемкин,— Зубов боролся с ним. Князь жил мыслью о продолжении войны с Турцией и умолял императрицу не вступать в переговоры с вновь вступившим двадцативосьмилетним султаном Селимом. Он обещал в один год полный разгром Оттоманской империи... Зубов противодействовал ему и завел свои тайные сношения с английским и с прусским кабинетами и с Диваном. Он наконец добился своей цели.

Государыня, тайно от Потемкина, дала предписание Репнину, замещавшему в армии главнокомандующего, не отстраняться, а идти навстречу могущим воспоследовать мирным предложениям со стороны нового султана Селима. И дело уже шло на мир, а Потемкин этого не ведал. Зубов ли становился всемогущ теперь? Или государыня становилась менее предприимчива? Или, наконец, «глас народа» влиял на судьбы России...

Недолго пробыл князь Таврический у государыни, был скучен. Узнал он чрез чтение полученных депеш с курьером из Берлина о многих великих событиях европейских, узнал о новых «пакостях» австрийских относительно его душевного и громадного дела там, за Тавридой, на берегах древнего Босфора, близ Царьграда, родного искони России. Узнал он о бегстве короля Лудовика Французского из своей бунтующей столицы и его позорного в дороге захвата, возвращенья под стражей и заключенья.

«Вон оно что бывает! Потомок Генриха IV, Лудовика XIV — в тюрьме! Заключен на хлеб и на воду, по указу портных, коновалов и ветошников!»

И то, что подступало к Григорию Потемкину еще вчера, на молебне в соборе, при всем народе и на пальбе из орудий, которыми торжествовали деяния светлейшего князя Таврического... то уже подступило теперь еще неотвязнее... Хворость эта его... своя, особенная, непонятная...

На этот раз князь приехал к государыне уже заранее несколько расстроенный, и все раздражало его, всякий пустяк волновал, и он все более горячился.

Беседа зашла поневоле о важнейшем вопросе дня. Мир с Турцией. Государыня желала скорейшего окончания кампании, которая уже обошлась государству в шестьдесят миллионов. Вся Россия, все сословия были на стороне царицы, все тяготились этой войной. Успехи

беспримерные и блистательные русского оружия позволяли заключить почетный и выгодный мир. Турция была разорена, надломлена. Султан только и мечтал начать снова прерванные переговоры и готов был согласиться хотя бы и на тяжкие, но лишь бы мало-мальски возможные, не позорные условия. Европа вся, а прежде всех союзник России — Австрия и недавно вступивший на престол император Леопольд — почти требовали, чтобы русская императрица заключила мирный трактат с султаном, грозя в противном случае, что иноземная лига против нее и за султана пришлет корабли с десантом под самый Петербург. Весь мир желал мира, но война продолжалась. Кто же не хотел и слышать о мире? Князь Таврический.

Он мечтал изгнать совсем магометан из Европы; восстановить Византийскую империю с Царьградом. Или, по крайней мере, создать союз греческих республик, по примеру новорожденного государства, появившегося в Новом Свете, после восстания и отпадения своего от метрополии.

Современники князя Таврического упрекали его в чрезмерном, безумном честолюбии. Пропади все, разорися Россия, лишь бы имя его, как разрушителя Оттоманской империи и истребителя мусульман, прогремело по всему крещеному миру.

— Это не простая война,— восклицал князь,— а новый, российский крестовый поход, борьба Креста и Луны, Христа и Магомета. И чего не сделали, не довершили прежде крестоносцы, то должна совершить Россия с Великой Екатериной. Я вот здесь, в груди моей, ношу уверенность, что Россия должна совершить это великое и Богу угодное дело — взять и перешвырнуть Луну через Босфор, с одного берега на другой — в Азию!

На этот раз князь волновался, но ничего не отвечал на попытки царицы завести речь о Турции и войне. Он жаловался на нездоровье и отмолчался.

V

Таврический дворец молчит, притаился, не дышит, будто спит мертвым сном среди дня. Уж не выехал ли светлейший князь из столицы опять в Молдавию, на театр военных действий, продолжать крестовый поход.

Нет, князь Таврический в своем дворце, и дворец, как

и вчера, полон его придворных, дворовых и служащих. Но все притаилось и молчит.

Двор заперт и пуст. Подъезжающие в золоченых экипажах сановники возвращаются вспять от притворенных ворот.

— Его светлость не принимают.

В швейцарской с десяток гайдуков и лакеев сидят по лавкам и мирно беседуют.

В большой зале, где толпились всякий день просители и ухаживатели,— пусто и изредка звучат только, гулко отдаваясь вверху у карнизов, одинокие шаги какого-нибудь адъютанта или лакея, которым дозволено входить во внутренние апартаменты.

Но за дубовыми дверьми, в глубине залы, которые так знакомы всему Петрограду да памятны хорошо и тем многим провинциалам из дебрей и городов российских, которых приводила сюда своя забота, своя беда... за этими дверьми, в кабинете князя — тоже пусто. Вещи, книги, карты географические, дела, кучи бумаг для подписания — рядом лежат на письменном столе и на стульях. Тут же, на отдельном осьмиугольном круглом турецком столике-табурете с инкрустацией из золота и перламутра — лежат аккуратно накладенные кучками пакеты, нераспечатанные письма, депеши и мемории — первейшей важности и, пожалуй, даже мирового значения. Вот письмо с почерком князя Репнина. А он тоже в пределах вражеских на Дунае заменяет князя... Вот письмо посла английского... Ответ на «загвоздку» князя, где дело идет о таком вопросе, от которого пахнет войной России с Альбионом, со всей Европой соединенной.

Но пылкий нравом, твердый волей и машистый духом и поэтому легкий на подъем среди кипучей деятельности, разгорающейся все больше от помех и препятствий... русский богатырь, которому политическое море — всегда было по колено, а дипломатия — кукольная комедия,— богатырь этот и духом, и телом уже три дня не выходил в кабинет свой и никого из подчиненных с докладами не принял.

Князя Таврического нет в этом дворце его имени и имени его подвигов.

В горнице, обитой сероватым ситцем, с двумя окнами в пустынный сад, на большой софе лежит, протянувшись, плотный человек в атласном фиолетовом халате, надетом прямо поверх рубашки с расстегнутым на толстой шее воротом. Маленький золотой крестик с двумя

образками и ладанкой на шелковом шнуре выскочили и лежат поверх отворотов халата... Босые ноги протянулись по софе и свисли к полу вниз, одна туфля лежит рядом с ним, другая свалилась на пол.

Три дня уже лежит здесь Григорий Александрович Потемкин... неумытый, нечесаный и только вздыхает, ворчит что-то себе под нос... Спать он уходил два раза на свою кровать, а одну белую яркую ночь пролежал в раздумье на софе до шести часов утра, так и не двинулся, проспав до полудня.

Обед и завтрак ему приносят сюда. Сюда же наведывались и его племянницы. День целый просидела с ним графиня Браницкая. Здесь же он принял с десяток близких людей «благоприятелей», два раза сыграл в шахматы с любимцем и родным племянником Самойловым, но здесь же принял и прусского резидента, который с фридриховскою настойчивостью требовал свиданья с князем. Немного вышло толку для резидента от приема. Видел он и изучил наизусть образки и ладанки, висевшие на груди князя, но ответа прямого насчет сути последнего предписания, данного князем главнокомандующему Репнину, там на Дунае... ответа резидент не получил!

Князь только мычал пустые фразы, а с ним любезничала за дядю красивая его племянница Браницкая, как бы стараясь сгладить дурное впечатление.

— Mon souverain [1],— говорил и повторял резидент внушительно и по-французски,— тревожится и сомневается ввиду истинно загадочного образа действий князя Репнина, вашего заместителя в армии.

— Ну, и Христос с вами. И сомневайтесь. И ты, и твой суверен! — промычал наконец князь по-русски. А на переспрос резидента проговорил: — Кранк! Ферштейн зи! Кранк. Ну, чего же? Аллес мне теперь ганц хоть трава не расти [2].

И князь прибавил по-турецки ругательство.

Резидент, однако, хотя недоумевая, все-таки поднялся и уехал, внутренно возмущенный, обиженный и злобный.

— Варвары! — бормотал он по дороге.— Неодетый... А тут сидит молодая женщина, родственница... Племянница.

---

[1] Мой государь *(фр.)*.

[2] Болен! Понимаете! Болен... Все... совершенно... *(нем.)*

Болезнь князя изредка навещала его и была не болезнь, а состояние духа, не объяснимое ни ему самому, ни близким людям. Он сам не знал, что у него.

— Подступает! Идет! — говорил он угрюмо и боязливо, но еще на ногах.

— Пришло! Захватило! — говорил он тоскливо, лежа на диване.

И это подступавшее и хватавшее его за сердце и за голову была непреодолимая, глубокая, страстная полутоска, полузлоба.

Враги находили всегда причину простую и естественную — этого странного расположения духа и этих диких дней, проводимых в халате, наголо, в углу уборной. По их словам:

— Князь злится на Зубова.

— Его дурно приняла царица.

— Он завидует новому графу, то есть Суворову, которого наконец на днях произведут в фельдмаршалы.

— Он ломается. Ничего у него нет и не было. С жиру бесится.

Хворость эту сам князь не понимал, но это был очередной недуг, сильный, давнишний — с юношества... И недуг чисто душевный, а не телесный. Иногда, но редко, примешивалось к тяжкому состоянию души физическое недомогание или слабость. Хворость эта приходила как лихорадка, время от времени, и держала его иногда три-четыре дня, иногда более недели. Припадок бывал слабый и очень сильный... Как потрафится.

На этот раз князь чувствовал, что хворает сравнительно легче... Меньше томит его и меньше за душу тянет. Все окружающее меньше постыло, сам он себе менее противен и гадок, чем иной раз.

Тем не менее князь послал за своим духовником и приятелем, бедным священником в Коломне.

Отец Лаврентий был любимец князя, именно за то, что — при их давнишней дружбе — священник, имея возможность пойти в гору, отказывался ото всего, что князь ему предлагал. Даже свой приход на другой, более богатый, не хотел он переменить...

— Все тщета... Умрешь — все останется.

— А детям? — говорил князь.

— Да ведь и они не бессмертные! — отвечал священник.

Князь видел в душе отца Лаврентия то же чувство презрения ко всем благам земным, которое было и у не-

го... Но у него оно только являлось сильно во время его странной хворости, а священник был всегда таков и на деле доказывал это.

Отец Лаврентий отслужил в церкви дворца всенощную, при которой присутствовал один князь...

А затем они вдвоем ушли в спальню князя и долго, целый вечер пробеседовали... Начав «с самодельной» философии, как называл князь, окончили историей церкви.

И в том и в другом оба были доки. В философствовании священник уступал князю, говоря: «Служителю алтаря и не подобает в сии помыслы уходить!..»

Но в истории церкви он знал не менее князя. История схизмы была любимым коньком фельдмаршала, как если бы он был игуменом или архиереем.

Человек, «власть имеющий»,— он мечтал когда-нибудь, хотя вот после разгрома Порты Оттоманской, заняться специально... Чем?.. Ни более и ни менее как воссоединением церквей.

Беседа князя с священником хорошо подействовала на него. Он оживился, унылость сбежала с лица.

Вселенские соборы... привели к спору о пресловутом «filioque» символа веры западной церкви. Князь незаметно отступил от принятого направления в беседе...

— Нет, князь... Это опять философия у вас пошла... Домой пора... Десятый час. Мне до Коломны — не ближний свет.

— Мои кони скоро домчат тебя, отец Лаврентий. Посиди. Ах да, я забыл, что ты ездить... грехом почитаешь...

— Не грехом... А баловством, князь. За что зря скотинку гонять. На то ноги даны человеку, чтобы он пешком ходил.

Друзья простились, и князь напомнил духовнику про его обещанье прийти опять чрез несколько дней, захватив сочинение о Никейском соборе...

VI

На четвертый день, утром, выспавшись за ночь на постели, князь перешел опять в уборную, не умываясь и не одеваясь, и также в халате и туфлях на босу ногу... Ему было легче...

— Что ж. Света не переделаешь. Людей другими

существами не заменишь. Глупости и зла не одолеешь. Глупость — сила великая, и с ней даже сатана не справится. С злыми он совладал и от начала века командует ими, а с дураками давно дал себе свою дьяволову клятву — не связываться.

И смеется князь, стоя у окна и оглядывая свежую зелень густого сада.

В полдень явился молоденький чиновник в дверях с кипой бумаг в руках и стал у дверей. Лицо знакомое князю, но мало... Где-то видал.

— Что тебе? — добродушно вымолвил он.

— К вашей светлости,— робко, заикаясь, отозвался чиновник.

— Ты кто таков?

— При канцелярии вашей светлости состою.

— Как звать?

— Петушков.

— Что же тебе от меня?

— А вот... Вот... Простите... Вот...

И, оробев совсем, чиновник запнулся и замолчал. Взялся он за пагубное дело по природной дерзости, да не сообразил своих сил. Там-то, в канцелярии, казалось не страшно, а тут сразу душа в пятки ушла.

— Ну... Что? Бумаги? Для подписи?

— То... чно... та-ак-с! — заикается Петушков и, как назло, вспомнил вдруг рассказ, что одного такого коллежского регистратора, как он вот, князь на Дунае расстрелять велел за несвоевременное появление в палатке с бумагами.

— Тебя кто послал? Правитель канцелярии приказал идти ко мне?

— Никак нет-с. Простите. Виноват. Сам вызвался. Бумаги самонужнейшие, а третий день без движенья лежат.

— Важность! Для бумаги. Бывают люди добрые и вельможи — по годам без движенья лежат. И без ног, и без языка. Это много хуже! — рассмеялся князь.— Ну, давай чернильницу и перо... Да что уж... Так и быть. Пойдем к столу.

И князь перешел в кабинет, где не был уже несколько дней.

— Вишь, прыток, молокосос,— ворчит князь, ухмыляясь.— Дерзость какая... Лезет сам, ради похвальбы... Что ему дела! А похвастать! Либо на чай заработать от тех, кому эти дела любопытны да близки к сердцу.

Петушков положил дела на письменный стол и отошел к дубовым дверям, ведущим в залу. Потемкин сел, обмакнул перо и быстро, узорчатым почерком начал подписывать одну за другой четко и красиво написанные бумаги... Подписывая, он все-таки искоса проглядывал каждую. Были и приказы, и разрешения спешные и важные... Было дело об отпуске сумм на устройство порта в его любимом городе, новорожденном Николаеве; было дело об отдаче соляного откупа в Крыму графу Матюшкину, об уплате трехсот тысяч подрядчику и поставщику Дунайской армии... Дело об освобождении из-под ареста офицера, сидящего уже два месяца по его просьбе, за невежливость относительно князя при проезде его по Невскому.

— Ну, вот... Бери... Иди да похвалися. В смешливый час попал. А в другой раз не пробуй. Попадешь в лихой час, и от тебя только мокренько останется.

Молоденький чиновник, вне себя от восторга, собрал бумаги и выкатился из кабинета чуть не кубарем. И похвалиться есть чем во всем городе, да и на чай обещано было с трех сторон тому смельчаку, что решился пойти к князю с бумагами попробовать доложить.

По уходе чиновника князь рассмеялся и почувствовал себя совсем хорошо. Он посидел немного, потянулся, а там перешел к турецкому столику, придвинул его к себе и начал распечатывать и читать письма и донесения, давно ожидавшие его здесь.

В нижнем этаже дворца, где помещалась канцелярия светлейшего и где было, помимо чиновников, много и посторонних и важных лиц в гостях у директора, гудел неудержимый раскатистый хохот.

До кабинета князя было далеко и высоко, и поэтому здесь человек пятьдесят юных и старых хохотали во все горло до упаду. И всякий вновь пришедший или прибежавший на хохот подходил к делам, принесенным чиновником от князя, и тоже начинал хохотать.

На всех бумагах стояла одна и та же подпись рукою князя:

«Петушков. Петушков. Петушков».

Между тем была во дворце и новость... От князя отошло! Дворец зашевелился, ожил и загудел.

Князь пробрался, позавтракал плотно и, надев кафтан, сидел в кабинете. Кое-кого он уже принял и весело беседовал. Через часа два уже узнали, что «у князя прошло», что он оделся и принимает.

Во дворце была и другая новость, еще с утра. Вернулся из чужих краев посланный князем гонцом в город Карлсруэ офицер Брусков. Он исполнил поручение светлейшего и, велев о себе доложить, ждал внизу.

В сумерки князь позвал офицера.

— Ну, что скажешь? Ты ведь, сказывают, из Немеции?

— Точно так-с, ваша светлость. По вашему приказанию ездил и привез с собой...

— Что?

— А маркиза.

— Что такое? — удивился Потемкин.

— Вы изволили меня командировать тому назад месяца с полтора в Карлсруэ — за скрипачом маркизом Морельеном...

— Так! Верно! Забыл! Верно!.. Ну, что ж, привез его?

— Точно так-с! — тихо и с легкой запинкой выговорил офицер.— Привез. Он здесь, внизу, в отведенной горнице.

— Молодец! Где ж ты его нашел? В Карлсруэ?

— Да-с. В самом городе.

— Хорошо играет? Или врут газеты...

— По мне, очень хорошо. Лучше наших скрипачей во сто крат,— отозвался Брусков.— Так возит смычком, что даже в глазах рябит.

— Это что... А не рябит ли и в ушах,— рассмеялся князь.— Тогда плохо дело. А?

— Нет-с.

— То-то. Ну, спасибо. Награжу. Мне его захотелось послушать... В газетах много о нем похвал... Печатают, что божественно играет. Слезы исторгает у самых твердых. Ну, вот, через денек-два послушаем и увидим. Спасибо. Ступай.

Офицер хотел идти.

— Стой. Ведь он эмигрант. Бежал из Парижа? Был богач и придворный, а ныне в чужом краю пропитание снискивает музыкой. Так ведь, помнится.

— Точно так-с.

— И все это правдой оказалось? Ты узнал?

— Все истинно. Маркиз мне сам все сие рассказывал. Всего лишился от бунтовщиков.

— Ну, ладно. Приставить к нему двух лакеев и скорохода. Да обед со стола. Ступай.

VII

Еще в апреле месяце князь Таврический, после великолепного торжества, данного в честь царицы, которое изумило всю столицу, вдруг снова захворал своей неизъяснимой болезнью — хандрой. Тогда, пробегая переводы из немецких газет, которые ему постоянно делались в его канцелярии, он напал на восхваление одного виртуоза скрипача. Газеты превозносили до небес новоявленного гения. Эмигрант Alfred Moreillen, Marquis de la Tour d'Overst был, по словам газет, невиданное и неслыханное дотоле чудо. Его скрипка — живая душа, говорящая душам людским о чем-то... дивном и сверхъестественном. Это не музыка, а откровение божественное.

Князь тоскующий, то плачущий, то молящийся, то проклинающий весь мир... задумался над этим известием.

«Вот бы этакого достать и держать при себе, заставлять играть в такие минуты томительного, неизъяснимого отчаяния».

Гениальный виртуоз Альфред Морельен, маркиз де ла Тур д'Овер, по словам тех же газет, бежал из Франции от разгрома, где погибло все его достояние, даже родной брат был казнен, и разоренный аристократ, чтобы заработать кусок хлеба, ездил по Германии из города в город и давал концерты.

«Послать за ним? Что ж ему лучше: шататься по Немеции и гроши собирать или жить у меня на всем на готовом. Обращение обещаю ему по его роду и имени. Царица — покровительница ученых и художников. Коли полюбит, пенсию ему положит. Напишу письмо и отряжу кого посмышленее».

И князь написал письмо, короткое, но сильное, где звал маркиза Морельена в Россию и обещал от царицы и от себя горы золотые.

Малый подходящий, т. е. юркий и смышленый, был у князя налицо — его адъютант Брусков. В полчаса времени Брусков все понял, сообразил и поклялся светлейшему, что разыщет виртуоза маркиза и привезет в Россию самое позднее через два месяца.

Получил Брусков две тысячи червонцев на путевые и всякие издержки да еще тысячу для задатка эмигранту-французу... Но этого мало. Князь узнал, что Брусков пленен барышней Саблуковой, приезжей из провинции

с отцом, и мечтает жениться, но тщетно, ибо отец, крутой и гордый, не соглашается выдать дочь за простого офицера без состояния и положения.

— Привези мне маркиза, а я у тебя сватом буду и посаженым вызовусь быть на свадьбе. Посмотрим, как тогда не согласятся. Не привезешь скрипача — не смей и на глаза мне ворочаться.

Счастливый Брусков, ног под собой не чуя от счастья, с легким сердцем и тяжёлым карманом, туго набитым золотом, простился тайком с предметом своей страсти у общих знакомых и наказал девице-красавице не плакать, а радоваться и ждать его для свадьбы — и выехал.

Теперь ловкий Брусков возвратился и привез с собой кавалера Морельена, маркиза де ла Тур д'Овера. Следовательно, скоро можно посылать светлейшего сватом к Саблуковым.

Брусков, побывав у князя, нацеловавшись вдоволь со старухой матерью, рассказал ей подробно, как он разыскивал в чужих краях эмигранта маркиза.

Много городов объездил он, всюду разузнавая про место нахождения удивительного музыканта.

— И не боялся ты... Побожися... Не боялся? — спрашивала мать.

— Чего же, матушка, ведь немцы такие же люди, как и мы. Ведь они и здесь есть — я чай, не мало вы их видали.

— Так, соколик мой, верно. Люди они то ж. Да ведь здесь они промеж нас... А там-то они у себя... пойми... а ты промеж них.

— Так что же. Все едино.

— Ой нет. Вон иного зверя показывают в клетках иль вот Мишку какого на цепи медвежатник водит. Не страшно ничуть. А попади-ко ты ему в лапы у него в лесу, в его берлоге, что тогда. Так и немцы. Ведь они там у себя, а ты уж входишь чужой человек у них. Ну... Ну! Рассказывай...

Брусков смеялся и весело передал матери в мельчайших подробностях, как он разыскал наконец маркиза, уговорил ехать с ним в Россию и повез.

Разгорячился юный офицер и, окончив повествование, вскочил вдруг.

— Мне бы, матушка, только бы прислать скорее князя сватом да жениться на моей Оле, а там пропадай моя головушка...

— Зачем? Что ты! За что?

Брусков спохватился... смутился и, молча поцеловав старуху мать, вышел и поехал к Саблуковым.

Здесь ожидала его, к довершению счастия, дивная новость! Отец красавицы, упрямый и гордый, возившийся в столице с судом и подьячими, чтобы спасти от ябедника свое состояние, ни за что не хотел ехать и просить у князя Таврического помощи и заступничества!

— Я исконный дворянин русский, да поеду порог обивать, кланяться временщикам. Нет, дудки! За меня — закон.

Увидя наконец, что он разорен и на улице — исконный дворянин смирился в своей дворянской гордости и пошел к князю... но порог обивать ему не пришлось.

После смущения и робости в приемной светлейшего, он получил слово Потемкина, что все будет сделано по справедливости и по закону.

Стало быть, теперь барышня Саблукова будет даже богатой невестой!

Приезжий нежданно в Россию, прямо во дворец князя Таврического, кавалер Морельен и маркиз де ла Тур д'Овер сидел внизу, в горницах, отводимых для гостящих у князя родственников и благоприятелей из провинции. Маркиз был окружен по указу князя и всеми удобствами и почетом. Даже особая четверка цугом и карета была в его распоряжении. Маркиз уже три раза выезжал и видел всю столицу, был у обедни и в гостях у своего католического пастора. Сидя у себя в сумерки и вечером, он постоянно играл на скрипке, и все кругом — чиновники и люди, даже арапы и калмычки — заслушивались игры маркиза. Калмычат, прикурнувших в коридоре близ дверей его горницы, отогнать было нельзя.

Маркиз был человек лет двадцати пяти, высокий, красивый, с южным типом лица, чернобровый, с карими глазами и задумчивым взглядом. Было, однако, иногда в глазах его что-то странное... Глаза бегали, косились беспокойно... Но определить эту особенность лица трудно было бы. Точно он будто по пословице обеспокоен: «Знает кошка, что мясо съела!» Может быть, там у себя в отечестве совершил какое преступление да и дал тягу... А стал говорить, что эмигрант и от революции бежал; газеты и поверили и на весь мир оповестили. Может быть! Но вряд ли...

Кой-кто из чиновников князя, понимавших по-французски, уже познакомился с маркизом и бывал у него

и днем и вечером. Он охотно играл и с улыбкой самодовольства принимал похвалы себе и своему дарованию. Вдобавок оказалось, что он отлично говорит по-немецки, а так как язык этот был очень распространен в Петербурге, то и в канцелярии князя многие знали его... Нашлись живо у маркиза и собеседники... Он был веселый и болтун и рассказывал им многоречиво про свой дворец в Париже, про двор короля Лудовика и балы и торжества, про революцию, про свое разорение, бегство.

— Нас теперь много в Германии! Во всех городах есть эмигранты, и все бедствуют. Уроки дают, лавочки заводят и торгуют чем попало, больше нюхательным табаком. Мой кузен виконт де ла Бар живет особым талантом. Силуэты делает. Как? Да вырезает из черной бумаги портреты — и одно лицо и во весь рост, миниатюры делает. И я умею.

VIII

Князь всякий день собирался призвать маркиза — расспросить, заставить сыграть, но за недосугом все откладывал. За время его хворания накопилось столько дела, спешного письма и вообще занятий государственной важности, что он почти не выходил из кабинета, переходя от письменного стола на диван, где принимал обыкновенно всех имевших до него дело, нужду, просьбу... А таких было много. Брусков всякий день нетерпеливо ждал свидания маркиза с князем. Нетерпение его росло с часу на час. Он волновался и видимо истомился. На расспросы матери о причине его волнения он объяснил, что смущен мыслью, как маркиз Морельен понравится светлейшему.

— А тебе-то что же? — удивилась Брускова.— Ты привез по указу. А ты не ответчик за него, коли он не так, как следует, завозит смычком, завозит по скрипице.

— Ох, матушка. Играет он бесподобно. Я его уже казал здешним музыкантам. Они все от него ума решились. Райской птицей прозвали его скрипку.

— Ну и слава Богу!

— А вот то-то... Слава ли Богу-то... Еще неведомо...

Однажды вечером Брусков, по просьбе матери, привез к себе на квартиру маркиза со скрипкой. Все семья Саблуковых, отец, мать и возлюбленная офицера, Оля, были приглашены на вечеринку с музыкой. А помимо их до десятка сослуживцев с женами и дочерьми...

Маркиз был очень весел и говорлив с теми, кто понимал хоть малость два ему известных языка, но больше и охотнее он болтал с теми, кто говорил по-немецки. С дамами он был очень любезен, хотя несколько и неприличен. Одну молодую даму он, шутя конечно, взял за ушко. Она сконфузилась. Муж было обиделся, но Саблуков, и в особенности Брусков, убедили всех, что с иностранца нельзя требовать того же, что с своего брата русского.

— У них во Франции,— заметил хладнокровно Саблуков,— может быть, это почитается за сердечное изъяснение своих чувств.

— Вестимо! — горячился Брусков.— Я вам отвечаю, что он обидного чего в мыслях не имел.

Маркиз, напившись кофе, наевшись плотно яблоками, орехами и вареньями, сыграл несколько пьес, больше все наизусть и как бы просто из головы своего сочинения. Гости заслушались и млели весь вечер. Даже любимая собака хозяйки, Жучок, смирно сидела в углу, навострив уши на гостя.

— Не музыка, а колдовство,— решила Брускова,— с нечистым снюхался просто.

— Не играет, а поет. Заливается соловьем. Впрямь диво! — восклицал один гость.

— Ах, ракалия! Ах, ракалия! — восторгался тихо другой гость.

— Эта посылочка почище моего рагат-лукума,— говорил драгунский капитан, уже съездивший в Москву и доставивший князю пуд малоазиатской сласти.

Вечеринка вышла на славу. Один Брусков только тогда успокоивался, когда маркиз был со скрипкой в руках, но как только он освобождался и вступал в беседу с кем-либо,— Брусков настораживал уши и глаза.

Почему он это делал — мать его замечала, но не понимала. Французский дворянин был, по ее мнению, пречудесный, презанятный кавалер.

В конце вечера случился, однако, странный казус, и неприличный, и смешной.

Все сидели за ужином, весело болтали, смеялись... маркиз не отставал от других. Его угощали на отвал, подливали всяких вин, а заметя, что он на вино крепок, выпил больше всех, а «ни в одном глазу»,— стали потчевать еще пуще. И кавалер Альфред Морельен, маркиз де ла Тур д'Овер не устоял и напился. Все бы это ничего. Хозяин и гости сами же виноваты были — спаивали. Но подгулявший маркиз вдруг начал хвастаться своими

познаниями... Оказалось, что он маракует даже по-латыни, по-гишпански и по-турецки и знает немножко и по-российски.

— По-нашему?! — воскликнули гости.— По-русски?

— Да,— отвечал подпивший маркиз,— по-вашему,— и начал сыпать отдельными словами, польскими и русскими. Брусков сидел угрюмый и беспокойно глядел на своего гостя.

Однако у маркиза хмель прошел живо — крепок он, видно, был на питье — и он объяснил публике, что его родитель покойный, озабочиваясь его воспитанием, приставил к нему с детства десятка с три учителей разных наций. От них-то он и научился понемножку всем языкам.

Гости только изумлялись, какое воспитание дается в чужих краях.

Когда пришлось вставать из-за стола и все поднялись, шумя стульями, и весело подходили благодарить хозяйку, маркиз не двинулся со стула и озабоченно шарил под столом... Затем он взял свечу, нагнулся и ахнул...

— Lieber [1] Брусков,— завопил он отчаянно по-немецки.— Помогите... Неожиданное приключение. Господа, кто это из вас пошутил!

И он прибавил по-русски, обращаясь ко всем гостям:

— Государь, коханый. Отдавай. Не карош это. Отдавай!

Оказалось, что маркиз сидит в одном сапоге; другого не было ни на ноге, ни под столом.

Все мужчины, изумляясь и со смехом, начали искать сапог, но его не было нигде.

— Да он его сам снял? — спросила Брускова, прося перевести вопрос гостю, но маркиз понял и отвечал по-русски:

— Сам. Сам. Права сапога моя...

— Ну так его Жучок истрепал! — решила хозяйка.

Жучок, легавый щенок, любимец Брусковой, был известен даже в околотке, как истребитель кошек и обуви. Кошек он ненавидел, гонял, ловил и загрызал, а сапоги, башмаки и туфли обожал до страсти и всякий день приносил домой изгрызанные голенища, подошвы и каблуки, остатки его охоты по соседям.

---

[1] Дорогой *(нем.)*.

Догадка хозяйки тотчас и подтвердилась: в углу гостиной нашли Жучка, усердно и мастерски разрывающего сапог маркиза на мельчайшие куски...

Смех, разумеется, гудел в доме... Маркизу уже принесли другой сапог хозяина, который оказался узок, но виртуоз, морщась и охая, все-таки напялил его, ворча и посылая к черту глупую собаку.

Некоторые гости, однако, качали головами и перешептывались. Дворянин Саблуков находил, что снимать сапог под столом за ужином в гостях совсем неприлично.

— Невежество это, как хотите! — говорил он Брускову вполголоса.

И офицер смущался.

— Может, у них там это про обычай! — заметил капитан, гонец за рагат-лукумом, хохотавший больше всех от приключения.

— Не может сего быть! Это вольность с нами. Что же он нас не за дворян почитает. У себя бы в отечестве он этого сделать не отважился.

И умный Саблуков решил, что маркиз Морельен зазнался в России, благо помещен во дворце князя Таврического, и смотрит теперь на русских людей, как на дрянь, не стоящую вежливого обращения.

— Да зачем, спроси ты, он снял сапог? — приставала хозяйка к сыну, стараясь обвинить гостя, а не любимца Жучка.— Колдовал он, я боюсь, у меня под столом.

— Какое тут, черт, колдовство, матушка,— сердился Брусков.— Скотина он невоспитанная. Вот и все!..

Спрашивали маркиза, зачем он снял сапог. Он жался и объяснял на разные лады.

Гости разъехались, обещаясь Брускову не оглашать казуса, а себе обещаясь наутро разнести по городу повествование об изгрызанном сапоге маркиза.

— Зачем вы сняли сапог? — сказал Брусков, провожая гостя.— Если вы это сделаете где-нибудь, вас пускать к себе не будут.

— Отчего? — изумился маркиз.— Никто бы и не заметил ничего, если бы не скверная собака.

— Да зачем вы сняли? — загорячился Брусков.

— У меня мозоли. А сапоги новые. Странные вы люди, mein Gott! [1]— вдруг обиделся маркиз.

---

[1] Мой Бог! *(нем.)*

IX

Наконец князь однажды утром потребовал к себе маркиза Морельена. Музыкант смутился, съежился и, бросившись одеваться в свой самый лучший кафтан и камзол, торопился, рвал пуговицы и парик надел набок.

Маркиз, эмигрант и придворный короля Людовика XVI, был настолько сильно взволнован, что достал из шкатулки флакон с каким-то спиртуозным и крепким снадобьем и стал нюхать, чтобы освежить голову и привести свои мысли в порядок.

Дело в том, что маркиз Морельен, уже освоившийся со всем и со всеми во дворце, начинал уже давно смущаться при мысли предстать пред могущественным Потемкиным.

Разные важные сановники, приезжавшие к князю и которых он видел из окон своих комнат, выходящих на подъезд, как бы говорили ему:

— Мы важные люди, а он еще важнее и выше нас. И если эти так надменны и строги, горды и неприступны, то каков же он... к которому они приезжают скромными просителями. Что же он?.. Гигант! Колосс! Земной бог!

И душа маркиза ушла в пятки. Он оделся совсем; поправил на себе парик, переменил сапоги на чулки и башмаки для большего парада... и не шел... Боялся присылки второго гонца от князя, его недоумения и гнева... и все-таки не шел.

Он ждал прибытия Брускова, за которым погнал своего скорохода.

Брусков влетел наконец верхом во двор и почти прибежал в горницы маркиза.

— Позвал? Зовет?.. Ну?.. Когда?..— закидал он вопросами привезенного им аристократа-виртуоза.

Волнение Брускова было не менее смущения маркиза.

— Ну что ж, Бог милостив? — воскликнул он.— Помните только одно. Поменьше храбрости. Потише. Посмирнее...

Маркиз грустно развел руками, как бы говоря, что смирнее того, как он себя теперь ощущает,— быть никак нельзя. Брусков, внимательно оглядев его, подумал то же.

— Да... Ошибло его... Присмирел. Где тут храбрость! Ноги трясутся. Отлично!

И офицер вздохнул свободнее.

— Слава Богу! — подумал он.— В этом виде мой маркиз ничего. Боюсь только, как обласкает его через меру князь,— ну и зазнается и испортит все... Ну, Господи сохрани и помилуй! Пойдемте.

Бодро, но молча прошли весь дворец и маркиз, и офицер, но двери кабинета переступили оба ни живы ни мертвы...

— Помяни Господи царя Давида и всю кротость его...— шептал Брусков и перекрестился набожно.

Вся его судьба, вся жизнь, женитьба, счастье, будущность, розовые мечты и сокровеннейшие надежды — все это зависит от этого свидания, все сейчас может прахом рассыпаться.

Князь сидел за письменным столом и работал; он встал навстречу, улыбаясь, протянул музыканту руку и что-то заговорил на французском языке. Брусков все видел и слышал, но ничего не понимал и не чувствовал, у него в голове будто привесили соборный большой колокол и трезвонят во всю мочь.

Маркиз жался как-то, ежился, странно, не понимая, откуда только у него вдруг дишкант взялся со страху, и в ответ на любезности князя отвечал только:

— Oui, Altesse! Non, Altesse... Votre serviteur... Altesse...[1]

Altesse нравилось князю, и он, любезно усадив маркиза, продолжал свои занятия и стал рассеянно расспрашивать его о последних событиях во Франции, о положении эмигрантов в чужих краях. Но разговор шел худо, так как князь все более и более углублялся в письма и бумаги, которые переглядывал.

— Переведи! — услыхал вдруг Брусков приказание князя и точно проснулся вдруг и стал понимать окружающее. И он, отлично, до тонкостей зная французский язык, начал сначала робко, а там все бойчее помогать князю в беседе, в некоторых выражениях.

— Какой конфузливый твой француз,— заметил наконец князь.— Да еще пришепетывает...

— Он, ваша светлость, действительно... Да и вас оробел.

— Понимаю, братец. Да ведь он в Версале да Трианоне видал немало всякой всячины.

---

[1] Да, высочество! Нет, высочество... Ваш слуга... высочество... *(фр.)*

— Он таков от природы робкий. Сам мне признавался! Да, кроме того, он говорил, что с важными людьми, вельможами он приобвык, «свой брат» они ему. А с умными людьми робеет, боясь за глупца прослыть. Об вашей светлости он наслышался еще в Германии.

— Что ты плетешь! — добродушно рассмеялся князь.— Что ж вельможи-то французского двора все дураки, что ли?! А он, по-моему... должно быть, не у себя... На чужой стороне.

И князь встал, любезно, даже ласково-фамильярно отпустил маркиза и сказал, что вечером попросит его показать свой талант при двух-трех лицах из его приближенных.

— Пронесло! Слава тебе, Создателю! — восклицал Брусков чуть не на бегу и едва поспевая за весело летевшим по дворцу маркизом.

Живо вернулись они в горницы.

— Ganz einfach! — повторял сразу раскуражившийся маркиз, потирая руки в удовольствии.— А по-латыни Simplicitas! Sancta simplicitas! А по-турецки: Буюк терчхане! А по-французски: Courage, mon garçon! [1]

— Да, все слава Богу! Но помните,— уговаривал его Брусков,— держите себя как вот сейчас. А если вы расхрабритесь — тогда пропало. Вы все потеряете. А про меня и говорить нечего! Я тогда несчастный на всю жизнь!

Ввечеру князь не прислал за музыкантом.

Прошло еще два дня, а маркиз и Брусков напрасно ждали. Князь был занят и озабочен и все переписывался, гоняя скороходов и верховых, с английским резидентом, который сказывался больным. Он не ехал к князю и на предложение Потемкина посетить его отвечал, что не может решиться принять такого вельможу в постели.

— Ах, шельма эдакая! — досадливо восклицал князь.— Нечего делать. Я тебя пробомбардирую письмами и цидулями. Все равно не отвертишься у меня!

На третий день князь велел звать маркиза со скрипкой. Брусков снарядил приятеля и чуть не перекрестил, отпуская теперь одного в кабинет князя.

— Бога ради... Бога ради...— молил он маркиза.— Помните... Смирнее...

Маркиз клятвенно обещал быть тише воды, ниже

---

[1] Совсем просто *(нем.)*. Простота! Святая простота! *(лат.)* Смелей, мой мальчик! *(фр.)*

травы, обещал не говорить, а только отвечать на вопросы, не смеяться, ничего не спрашивать.

Сдав маркиза двум камер-лакеям, Брусков остался внизу и сидел как на угольях; раз с двадцать его то в пот ударяло, то мороз по коже пробирал.

Наконец маркиз явился сияющий и глянул на Брускова,— как большой водолаз может глянуть на новорожденного котенка.

«Что это, мол, за мразь такая тут».

Маркиз был важен, горд и взволнован.

Князь остался в восторге от его игры... Князь его обнял и расцеловал. Князь даже слезу раз утер... Ну, чего еще!..

Маркиз поднял скрипку над головой и воскликнул:

— Я этим мир к ногам моим приведу. Я всегда это знал и чувствовал. Но мне нужен был случай. А что в моей трущобе могло мне дать этот случай? Но вот теперь звезда моя поднимается, поднялась, сверкает и не затмится вовеки. Умру я — и все-таки здесь, в России, а может быть и во всей Европе, имя мое останется и будет греметь в потомстве; будет отец сыну и сын внуку передавать.

— Да будет вам болтать! Скажите... Графиня Браницкая как с вами обошлась? Самойлов как обращался?

— Их никого не было.

— Князь был один?!

— Один.

Брусков подпрыгнул от радости, а потом тотчас и пригорюнился.

— Да. Но ведь в другой раз может позвать и при гостях. Не говорил он вам, когда он вас наградит и отпустит обратно?

— Нет. Он меня оставляет при себе,— гордо отозвался маркиз.— С собой возьмет и в лагерь в Молдавию.

Брусков замолчал и задумался.

— Ах, только бы мне успеть жениться,— прошептал он наконец,— а там мне все равно. Ведь не снимет же голову.

X

Вскоре после этого, однажды вечером, вокруг Таврического дворца горели смоляные бочки и плошки, а улица была запружена народом. На фасаде дворца сияла

огромная звезда из шкаликов. Ярко освещенный двор переполнился громыхавшими экипажами, и ежеминутно прибывали и выходили на подъезд гости — мужчины и дамы.

Расставленные цепью по дороге, по всему полю от дворца и до рогатки города, скороходы перекликались весело... Наконец у рогатки громко крикнул чей-то голос два слова. И эти два слова будто побежали по полю, перебрасываясь от одного к другому, и быстро достигли дворца, народа толпившегося, швейцарской, наконец, приемных, и гостиных, и кабинета самого хозяина.

— Государыня выехала.

У князя был маленький званый вечер, на котором должна была присутствовать запросто сама монархиня, ради того, чтобы видеть необыкновенного новоявленного виртуоза скрипача, добытого князем из чужих краев. И много в Петрограде в этот день вельмож и сановников было обижено, или огорчено, или взбешено. Всякий считал своим правом ожидать приглашения в Таврический дворец, а этих претендентов оказывалось так много, что маленький вечер превратился бы в огромное, многолюдное собрание. А этого не мог допустить князь, ибо не желала государыня. Были приглашены только самые близкие люди, «благоприятели» и, конечно, родня князя, но и родня родни. И все-таки двор оказался переполнен экипажами, и большая гостиная едва вмещала разряженных гостей, чинов двора, генералов, дам и девиц. Явившихся было все-таки до сотни лиц. И все они сияли и одеждой, а еще более лицами, чувствуя себя «избранниками» из столичного общества.

Любимица князя, графиня Браницкая, принимала гостей в качестве хозяйки своего холостого дяди. В числе дам была, конечно, и красавица Альма Тален...

Только одну царицу принял сам светлейший, сойдя на подъезд к ней навстречу, когда карета ее была еще в улице и длинный цуг белых коней заворачивал в ворота, озаренный огнями плошек и сверкающий своей белизной и золотой сбруей.

Скоро все гости сидели молча в рядах стульев, среди малой залы, освещенной наполовину ради придания интимного характера вечеринке в Таврическом дворце. Государыня в переднем ряду была почти не видна гостям за узорчатой спинкой огромного готического кресла, купленного князем в Вартбурге. Князя уверил продаю-

щий ему это кресло, что на нем сидел главный судья, когда-то судивший Лютера.

Около государыни, рядом на стуле, сидел хозяин, а несколько отступя назад поместился постоянный спутник царицы, ее новый флигель-адъютант, Платон Зубов. На его нежное, женственное лицо, тонкий, красивый профиль и сверкающий бриллиантовый аксельбант — и было теперь наиболее обращено внимание гостей, в особенности девиц. «Почем знать»,— думалось каждой.

Впереди, пред креслом царицы, в приличном отдалении, стоял стул, столик с инструментом и пюпитр с нотами.

Публика ждала уже с пять минут... Государыня тихо разговаривала с подошедшим к ней, ее же секретарем,— хозяин начал уже оборачиваться и поглядывать на дверь, из которой ждали виновника собрания.

Наконец в зале появился маркиз и нетвердыми шагами приблизился к пюпитру. Князь хотел встать, подойти к виртуозу и заметить ему, что он должен был явиться заранее и быть на месте прежде государыни и гостей, но, взглянув на своего маркиза, Потемкин чуть не ахнул.

Маркиз был бледен как полотно, глаза его горели лихорадочным блеском, губы побелели, и какая-то гримаса, будто судорога, передергивала черты лица. А вместе с тем, благодаря этой мертвенной бледности и, может быть, еще и тому обстоятельству, что на нем был простой и изящный костюм, темно-фиолетовый кафтан, матово-желтый камзол, оттенявший его лицо, казавшееся еще белее, маркиз был очень в авантаже и казался еще красивее. Публика одобрительно встретила его появление. Все заметили:

— Какой красавец!

Государыня заметила бледность и смущение виртуоза-эмигранта и сказала что-то хозяину.

— Обойдется! — отвечал князь, улыбаясь.— А не обойдется — вы обласкаете. И от одного вашего чудодейственного слова все к нему вернется: и чувство, и разум, и гений.

Маркиз, взявший скрипку и смычок, прилаживался, но руки его заметно дрожали. Он наконец двинул смычком и начал играть... и сыграл, и кончил...

Молчание было ответом.

Ничего! Так себе! обыкновенный скрипач. Эдаких

в Питере десяток своих доморощенных! — думали и говорили теперь гости. Государыня покачала головой и вымолвила Зубову:

— Надо его ободрить. Il a perdu son latin [1]. Пойдите. Поговорите с ним. Обласкайте.

Зубов встал и, подойдя к маркизу, заговорил с ним по-французски. Виртуоз постепенно несколько ободрился, отвечал и стал смотреть храбрее. Он глянул в первый раз на государыню, присутствие которой до сих пор чувствовал только, но еще не видал, боясь поднять на нее глаза... Она ласково улыбалась, милостиво глядела на него.

Она совсем не то, что он воображал.

«Она добрая!» — думает маркиз.

И маркиз ободрился совсем и уже бойко отвечал Зубову и тоже подошедшему к нему хозяину.

Флигель-адъютант, исполнив приказание, вернулся на свое место.

— Видите, как оправился,— сказала государыня.— Теперь услышим иное...

Князь еще говорил с виртуозом и добродушно смеялся. Зубов, пользуясь минутой, наклонился к государыне и шепнул, насмешливо улыбаясь:

— Ce n'est pas un français [2].

— Как? Это эмигрант. Un marquis français. Morreillen de la Tour de...[3] Дальше не помню.

— Emigrant peut-etre... Marquis — plus ou moins... Français — jamais! [4]— проговорил Зубов.— Кажется, совсем не парижский выговор.

— От робости...

В эту минуту Потемкин вернулся на место и сказал:

— Я его совсем разогрел... Теперь сыграет!

XI

Виртуоз взмахнул смычком и взял несколько аккордов. Затем он медленно обвел глазами все общество. Быстро, искоса глянул на государыню, пристально по-

---

[1] Он выглядит потерянным *(фр.)*.

[2] Он — не француз *(фр.)*.

[3] Французский маркиз. Морельен де ля Тур... *(фр.)*

[4] Эмигрант — возможно... Маркиз — более или менее... Француз — никогда! *(фр.)*

глядел на князя, улыбнулся вдруг как-то странно, почти грустно, и, припав головой к скрипке, повел смычком.

Он начал маленькую вещь... Сонату... Простую свою...

Его мать любила ее слушать. Ей всегда играл он ее, когда ему было еще двадцать лет... Когда и она, и он бедствовали, почти голодали, а в холодном доме всегда бывало тихо, уныло... Рассвета не виднелось в жизни... Она так и скончалась однажды под звуки этой ее любимой сонаты и отошла в тот мир тихо, покорно, безропотно... «Как ему-то здесь будет без меня?» — шепнула она.

Смычок сам двигался по струнам, привычные пальцы шевелились сами... Артист был всем существом в иных пределах, а не в зале Таврического дворца.

Он провожал тело матери, в грошовом деревянном гробу, на даровое помещение городского кладбища, где хоронят самоубийц и безвестных мертвецов, найденных на дорогах, проходимцев и бродяг... Два крестьянина стащили гроб в яму, опустили — зарывают... Зарыли. Ушли. Он стоит один... Он пойдет теперь назад домой — один... И будет весь день, весь год, всю жизнь — один и один... Весь мир кругом него глядит и молчит бестрепетно и безучастно. Ни света, ни тепла, ни радости, ни улыбки для него нет... здесь все зарыто... И навеки! Все кончено...

В зале наступила тишина и длилась несколько мгновений. Звуки музыки замерли, а гости еще явственно слышали их на себе или внутренно вызывали их опять, ожидали вновь.

Наконец молчание перешло в шепот, а шепот в оживленный говор.

— Я не ожидала этого...— проговорила государыня тихо, и в голосе ее было чувство — была слеза.

Она что-то пережила вновь из прошлого, полузабытого и пронесшегося сейчас перед ней в этой зале бледным призраком. Но от этого грустного призрака повеяло тоже чем-то иным — дальним, ясным, светлым, молодым...

«А-а! Что? Присмирели! — думает артист, оглядывая публику.— Вы съехались и сели слушать потому, что обещал играть вам равный аристократ, маркиз... А если б явился в Петербург бедный шляхтич, голодный и босоногий, и заиграл так же... Вы бы его и со двора гнать велели. «Что может быть хорошего из Назарета...»

А из Назарета вещий голос и раздался, и все ему поклонилось...

И виртуоз снова поднял смычок и будто злобно рванул по струнам. Мысль его руководила смычком.

«Маркиз?! Аристократ?! Нет! Выше маркизов! Простой нищий-артист! Творец. Да. Творец, созидающий из ничего — из сочетания дерева и бычачьих жил — целый мир. Вызывающий из глупой деревяшки и веревочек целое море бурь, чувств, страстей, волшебный поток, захватывающий сердце людское и увлекающий его в те таинственные пределы, куда разум никогда не проникнет... И в этот миг я помыслом, сердцем, душой в моих небесах, а лишь пята моя на земле, и ею топчу я вас во прахе земном...»

Бурной страстью, всепожирающим огнем и неукротимой дикой силой дышало от новой блестящей импровизации виртуоза. Слушатели будто почуяли все то, что вдруг забушевало в душе артиста и порывом вылилось в звуках. Это был вопль злобы и отчаянья, проклятие могучего и горячего сердца, разбитого жизнью и людьми... Виртуоз кончил и недвижно стоял и молчал, не подымая глаз на гостей... Что они ему? Он забыл об них! Он еще не вернулся с своих небес к ним на землю...

Но вдруг зала огласилась громкими, дружными рукоплесканьями, артист вздрогнул и вздохнул — и сошел на землю...

Он стал кланяться и улыбаться деланной улыбкой. Хозяин встал и подошел к нему, в восторге протянул руки и благодарит.

«Ведь это он, могущественный вельможа, от которого зависит все...» — думает музыкант и окончательно приходит в себя и вмиг становится — тем, что он и есть. Обыкновенный смертный, жаждущий пристроиться и иметь кров, кусок хлеба обеспеченный и средства к пользованию всеми благами этой мелкой жизни, которую он сейчас клеймил сердцем и которую он тоже любил своим обыденным разумом бедного музыканта.

Государыня между тем поднялась с места, и все зашевелилось и зашумело, поднимаясь тоже. Хозяин бросился к монархине, но по ее слову снова вернулся к маркизу, взял его за руку и повел... Он представляет аристократа-эмигранта, придворного французского короля — русской монархине.

— Marquis de Moreillen de la Tour d'Overst...

Маркиз смущенно низко кланяется, красивое лицо

его покрывается наконец ярким румянцем, и глаза блестят довольством и счастьем.

Монархиня чистым французским выговором спрашивает его — спаслись ли все его родственники... Давно ли он посвятил себя искусству и развил в себе обворожительный талант.

Маркиз отвечает на вопросы сначала робко, односложно, потом все смелее.

У императрицы понемногу морщились брови.

— Вы ведь природный француз? — вдруг спрашивает она с царски упорным взглядом, строго устремленным в его лицо.

— Вы говорите по-немецки? — спросил Зубов.

— Точно так-с,— сразу смелее и самоувереннее отзывается маркиз.

Государыня, улыбаясь несколько загадочно, взглядывает на своего флигель-адъютанта.

Зубов откровенно рассмеялся и заговорил с маркизом... Речисто, свободно и даже бойко заболтал маркиз...

Милый язык ее любимых поэтов и философов, язык Гете и Шиллера, Лейбница и Канта... этот язык был в устах маркиза-виртуоза изуродован, обезображен. Он залопотал на нем, а не заговорил... Что же это значит?.. Кого? Какую речь? Чье произношенье напомнил он ей вдруг?..

И наконец государыня вспомнила, слегка рассмеялась... и двинулась из залы... Хозяин и Зубов пошли за ней, провожая до кареты. Часть гостей перешла в гостиную отдохнуть... Другие подошли к музыканту, расспрашивали его и, обступив его, стояли кучкой среди высокой залы впереди опустевших рядов стульев. Он был доволен, счастлив, но это был уже не тот человек, который играл здесь за минуту назад... Это был болтливый, дерзкий, самодовольный и самоуверенный чужеземец сомнительного происхожденья.

Государыня ласково простилась с князем, но выговорила:

— Ну, спасибо, Григорий Александрыч, за музыку... да и за машкерад...

Зубов усмехнулся едва заметно, но князь видел, слышал и слегка побледнел.

Чрез несколько мгновений князь, суровый, медленно явился в залу.

Гости собирались снова усаживаться на свои места...

Через час Таврический дворец был пуст и темен.

Гости разъехались. Маркиз-виртуоз сидел у себя внизу и хвастался пред Брусковым, лихорадочно его прождавшим целый час, и рассказывал о своем успехе, комплиментах императрицы, о восторгах публики...

— Отчего же князь, говорят, вернулся темнее ночи? — смущенно заметил Брусков.

— Это не мое дело!..— решил музыкант, вне себя от всего испытанного за вечер.

Князь между тем сидел у себя, один, угрюмый и задумчивый.

Он думал.

— Позвать его! Допытать!..— прошептал он и потряс головой.— Нет, завтра. Пусть спадет. Теперь нельзя...

XII

Поутру, проснувшись, князь молча оделся и, выйдя в кабинет, задал себе вопрос:

— Кто же из них виноват? Оба или один — и который... Вернее всего оба!

Приключенье это его сердило и волновало более обыкновенного. Случай простой и даже смешной. Надо бы смеяться — и ему первому... Но все так повернулось, что он, богатый врагами и завистниками, как никто, станет посмешищем столицы. Дураком нарядят.

И все переиначут, раздуют, разукрасят и разнесут по городу — невесть какую фантасмагорию. Никакая Шехеразада не смогла бы измыслить того, что сочинят теперь его враги и расскажут. А Зубову на руку. Да шутка ли! Старый, в шестьдесят лет, представил у себя во дворце русской царице... Кого же?.. Проходимца! Самозванца! Может быть, даже беглого!.. Царице русской!.. Он!

— Убью! Ей-Богу! — вздыхает князь, в волнении двигаясь по кабинету.

Раз десять собирался он позвать лакея и потребовать к себе Брускова, который был уже им вытребован с квартиры и ждал. Но каждый раз князь отлагал вызов, решая обождать.

— Пусть спадет...

Князь знал по опыту, что гнев его опасен... для его же репутации. А когда первый порыв пройдет, «спадет» — он может владеть собой.

Он сел и стал читать толстую книгу в переплете, на которой были вытиснены крупные золотые буквы: «Фукидид». Прошло около часу. Князь кликнул лакея.

— Позови Брускова.

Через четверть часа раздались шаги в зале, отворились двери и на пороге показался Брусков... Глаза его сверкали и тотчас впились в князя.

Но глаза князя тоже упорно и зловеще впились в лицо Брускова.

Офицер побледнел.

— Как зовут твоего музыканта? — выговорил князь глухо.

Брусков хотел отвечать, но не мог.

Наступило молчанье. Слышно было, как Брусков дышит.

— Ну, слышал? Как его зовут...

— Маркиз Морельен... де ла...

— Ах ты... мерзавец! — вдруг крикнул князь и, поднявшись, с книгой в руке, двинулся к офицеру.

— Простите...— пролепетал Брусков, дрожа и зеленея.

— Его имя! Ну...

— Шмитгоф...— шепнул офицер через силу.

— Шмитгоф! — шепнул и князь.— Славно!..

И, не сдержав порыва, он взмахнул толстой книгой. Книга плашмя ударилась об голову Брускова, выскочила из руки и запрыгала по ковру, шумя листьями.

Брусков, сшибленный с ног машистым ударом, ударился головой об дверцу шкапчика. Забренчал фарфор, и несколько севрских фигурок полетело на пол, разбиваясь вдребезги.

— Простите... Не губите... Виноват... Хотел лучше.. Простите! — зарыдал Брусков.

И на коленях подполз к князю, хватаясь за его ноги.

Наконец князь отошел, опустился на диван и, полулежа, крикнул глухо, сдавленным голосом:

— Рассказывай все!..

Брусков стоял по-прежнему на коленях и начал свое признанье... Он доехал до Рейна и изъездил вдоль и поперек Виртембергское, Баденское и Баварское королевства и много других герцогств и княжеств... И наконец нашел графа, а не маркиза де Морельена де ла Тур д'Овера. Граф жил на вилле около Карлсруэ... с женой и двумя детьми. На расспросы Брускова — играет ли он на скрипке и так замечательно, как говорят о нем газеты,

он смеясь отозвался, что все это газетное вранье, что он играет на этом инструменте так же, как и всякий другой обыкновенный музыкант из любого городского оркестра... Брускова он просил, объяснив цель своего посещения, удалиться.

Брусков заявил ему о предложении светлейшего князя Потемкина. Оказалось, что французский граф смутно даже припомнил себе фамилию князя. А относительно предложения князя ехать в Россию показать свой талант отвечал изумлением и гневом...

— Ну, продолжай... Да встань... Ты не за обедней,— сказал Потемкин.

Брусков поднялся на ноги и продолжал свой рассказ несколько смелее...

Он долго и много уговаривал графа ехать в Россию, обещая горы золотые. Граф наконец позвал двух дюжих лакеев и кротко сказал им, мотнув головой на офицера: Flanquez-moi ca la porte...[1] Его вежливо вывели из дома и проводили до подъезда.

— Что ж было делать, ваша светлость. Рассудите, будьте милостивы и справедливы. Вы приказали его доставить или на глаза вам не казаться. А прогоните вы меня — пошла прахом вся моя жизнь, потому что моей возлюбленной как ушей не видать... Что мне было делать?..

— Ты и разыскал мне немца?

— Нет. Разыскивать, чтобы обмануть, я не стал. Я как отчаянный поехал назад в Россию и порешил броситься вам в ноги и все пояснить по сущей правде.

— И лучше бы всего сделал.

— Да, но раздумье меня одолело! Ведь сватовство вами было обещано за привоз маркиза. Вы изволили обещать быть у меня посаженым за привоз музыканта. А тут я с пустыми руками. Вы бы меня простили и оставили, может, при себе, но сватать бы не стали меня... Не за что было бы...

— Верно.

— Вот и уехал я, и пустился в обратный путь в самом горестном состоянье. Миновал я кое-как Польское королевство, где претерпел всякие утеснения в качестве вашего гонца. Два раза меня заарестовывали и обыскивали в надежде найти на мне какие-либо любопытные депеши вашей светлости... Доехал я затем

[1] Выставьте за дверь... (*фр.*)

спокойно до города Вильны... Тут меня лукавый и попутал... Вот я и виноват теперь еще пуще и горше.

— Так маркиз-то твой — поляк? — спросил князь.

— Наполовину. Даже меньше того. Да он все... Он и поляк, и немец, и венгерец...

— Ну... Угостил ты меня! Отблагодарил! Угостил. Спасибо... Продолжай...

И голос князя зазвучал снова грозно.

Офицер продолжал.

Бродя по улицам Вильны, он случайно набрел на домик, из которого раздавались восхитительные звуки. Кто-то играл на скрипке.

Долго простоял Брусков около этого домика, точно пригвожденный к земле. Это дьявольское наваждение было. Враг человеческий захотел его погубить и толкал в дом музыканта, науськивал офицера звать и везти его в Россию вместо француза. Так он и сделал. Познакомившись с музыкантом, который оказался бедняком, по фамилии Шмитгоф, Брусков, без труда, в один день, уговорил его ехать и назваться маркизом Морельеном.

— Я полагал, ваша светлость,— закончил Брусков,— что вы, повидая музыканта, заставите его, любопытства ради, сыграть и, наградив, отпустите восвояси... И полагал я — всем оттого только хорошее будет. Вам послушать хорошего музыканта, мне быть женату, а бедняку Шмитгофу разжиться. Не думал я, что так выйдет, что и до матушки царицы дойдет и коснется мой предерзостный обман...

Брусков замолчал.

Молчанье длилось долго.

— Простите...— лепетал Брусков.— Жизнью своей готов искупить прощение...

— Жизнью? Все вы одно заладили... Что мне из твоей жизни? Что я из твоей жизни сделаю? — Князь перешел к письменному столу и собрался писать.

Он взял лист бумаги, написал несколько слов и, подписавшись с росчерком, бросил бумагу через стол на пол...

— Бери! Собирайся в дорогу.

Брусков поднял лист, глянул, и сердце екнуло в нем.

— Прочти!

Офицер прочел .бумагу...

Это было предписание коменданту Шлиссельбургской крепости арестовать подателя сего и немедленно

заключить в свободную камеру, отдельно от прочих, впредь до нового распоряжения.

Брусков затрясся всем телом и начал всхлипывать.

— Помилосердуйте!..— прохрипел он, захлебываясь от рыданий.— Помилосерд...

— Слушай!.. Ты с жидом вырядил меня в дураки. Если удастся мне ныне снять с себя сие одеяние, мало мне приличествующее, то я тебя выпущу, но на глаза к себе не пущу. Если не потрафится мне, не выгорит, то сиди в Шлюссе, кайся и чулки, что ль, вяжи. Но это еще не все. Ты должен отправляться тотчас, не видавшись ни с кем и никому не объясняя, за что ты наказуем. Если твой христопродавец узнает, что я его раскусил,— то тебе худо будет. Никому ни единого слова... Понял?

Брусков прохрипел что-то чуть слышно.

— Ну, ступай и моли Бога в своей келье ежедневно и еженощно за свой обман.

XIII

А в то же утро музыкант-виртуоз и не чуял, какая беда стряхивалась на его приятеля и какая гроза надвигалась и на него, самозванца, по ребяческой беззаботности и смелости. Музыкант не чувствовал себя виноватым ни пред кем, и совесть его была не только совершенно спокойна, но он даже восхищался своей предприимчивостью.

Молодой и красивый, талантливый и даровитый, но полуграмотный и невоспитанный артист-музыкант был, собственно, дитя малое, доброе и неразумное, но с искрой Божьей в душе.

Когда он держал скрипку и смычок в руках и, опустив глаза в землю, как бы умирал для всего окружающего мира и возрождался вновь в мире звуков, в мире иных, высших помыслов и чувств, а не обыденных людских похотей и вожделений — он перерождался... Он чуял, что в нем есть что-то, чего нет у них у всех... Когда же его скрипка и смычок лежали в своем футляре под ключом — и дивные звуки не хотели ни улечься в футляре около скрипки, ни умоститься на сердце или в голове виртуоза и прельщать оттуда людей. Они таинственной невидимкой скрывались и витали в мире Божием, в ожидании, что их вновь вызовут и исторгнут из струн, натянутых на какой-то деревянной коробке,— за это

время творец дивных ощущений был простой бедняк, который плотно ел, напивался, как губка, и спал сном праведников.

Самородок и самоучка — Юзеф Шмитгоф сказывался то немцем, то поляком, но в действительности был еврей. Отец его, портной и часовщик вместе, неизвестно когда перебрался в Вильно из своего родного города Франкфурта-на-Майне и тотчас перешел в католицизм и стал верноподданным королей польских вместе с женой и двумя детьми.

Авраам Шмитгоф был если не виртуоз на каком-либо инструменте, то был истинный виртуоз в создании своего благополучия, общественного положения, состояния...

Недолго он кроил и чинил кафтаны и камзолы или разбирал и чинил часы и орложи пановей и паней виленских... Через десять лет он был любимцем могущественного магната князя Радзивилла и, справив ему много тайных и важных поручений, получил в награду патент на капитана и стал, стало быть, шляхтич или дворянин. Именитый и щедрый крез своего времени «пане коханку» произвел в дворяне, пользуясь своим правом князя Священной Римской империи, такое многое множество, что капитан Шмитгоф был явление заурядное. Главный надзиратель над охотой и псарней князя был из прирожденных крымских татар, привезенный Радзивиллу еще татарчонком, стал затем шляхтичем и, наконец, за три тысячи гульденов — и бароном, по патенту владетельного князя Гольштейн-Штирумского.

При смуте и безурядице во всем королевстве, благодаря тому, что магнаты не хотели признать королем посаженного им насильно на престол дворянина Станислава Понятовского,— всякий пронырливый и ловкий авантюрист и проходимец мог быстро выйти в люди, разбогатеть и иметь даже известное значение.

Авраам Шмитгоф, капитан и шляхтич, по природе юркий, умный, хитрый и дерзкий, горячо служил делу Радзивилла и его единомышленников... Но в политике он понимал мало и не понял того, что совершалось в королевстве, и того, что должно внезапно совершиться.

Наступил первый раздел.

Вильна стала не Польшей, а Россией, и Шмитгоф очутился вдруг русским подданным...

Еще горячее стал он слушаться и служить верой

и правдой Радзивиллу и его соучастникам в огромном предприятии освобождения Литвы от москалей.

Но через два года Радзивилл почти бежал за границу в Италию, доходы с его громадных поместьев были секвестрованы русским правительством, да и самые поместья рисковали перейти к Понятовскому в награду.

Шмитгоф остался в Литве и служил делу Радзивилла честно, неутомимо и горячо, как бы не еврей из Франкфурта, а природный шляхтич, поляк.

И в один ненастный осенний вечер Шмитгоф был схвачен, закован в кандалы русскими солдатами и отправлен в путь... Путь продолжался 14 месяцев. Он очутился среди камчадалов!.. Еще бы два месяца пропутешествовать ему — и он очутился бы в самой свободной стране мира — в новых Соединенных Штатах Америки! Но солдаты, везшие его в ссылку, дальше крайнего берега Камчатки не поехали, вероятно предполагая, что тут и конец миру, а вернее потому, что начальство не приказало.

Что сталось с Авраамом — жена его и сын Юзеф не знали. Отец однажды вечером приказал им приготовить себе теплого питья из яблоков от простуды и вышел из дому, чтобы вернуться через полчаса... Тут-то он и поехал в кандалах к камчадалам... С этого дня о нем не было прямых известий. Его считали и утонувшим, и бежавшим, и убитым, до тех пор, пока такие же солдаты не выгнали женщину с сыном из ее дома, отобрав все в казну русского начальства. Тут узнали они, что муж и отец — шпион и изменник отечеству.

И двенадцатилетний Юзеф с больной, пораженной горем матерью очутился на улице, без куска хлеба.

Надо было подумать, как заработать себе пропитание. Мать поступила в богатый дом ключницей-экономкой, а сына отдала на хлеба к музыканту, так как он любил до страсти музыку. Юзеф стал наполовину учеником, наполовину прислугой. Он убирал горницу музыканта за его отсутствие, носил ему его контрабас, когда тот отправлялся играть на гуляньях или на вечерах — но вместе с тем он учился и сам играть. Бросив вскоре контрабас и взявшись за скрипку, молодой Шмитгоф за один год пылкой, неустанной работы сделался замечательным скрипачом и четырнадцати лет был уже приглашен на жалованье в городской оркестр. Жалованье было ничтожное, но мать могла теперь покинуть свое место

в чужом доме, где с ней обращались дурно, и поселиться вместе с сыном.

Недолго прожила больная женщина. Скоро Шмитгоф остался один-одинехонек на свете. Заработок был скудный, а он любил иногда кутнуть со сверстниками, любил вино, любил немного и картежную игру... был поклонник прекрасного пола, у которого имел успех.

Его месячного жалованья хватало ему иногда как раз на одну неделю, остальные три он голодал, сидел в сырой и холодной квартире — зимой, а летом жил из милости в беседке парка одного магната. Виленские обыватели любили звать его и слушать на вечеринках, но денег почти не платили, а угощали ужином и вином.

Результатом беспорядочной порывистой жизни артиста явились неоплатные долги. В квартире его не было ничего, кроме одной пары платья, кое-какой мебели и двух смен белья.

Шмитгоф чувствовал, что если б он мог выбраться из Вильны куда-либо за границу — в Варшаву, в Дрезден или Кенигсберг — то, наверное, обстоятельства его поправились бы сразу. Не одни деньги, но и слава явилась бы к нему. Но выехать было не с чем. Он мечтал и собирался... Так шли из месяца в месяц — года; а из них незаметно накопился и десяток лет... Юноша давно уже стал мужчиной... А счастье все не улыбалось...

В этом положении застала его фортуна, когда постучалась к нему в квартиру в лице русского офицера Брускова.

Шмитгоф едва с ума не сошел от радости при неожиданном объяснении и предложении Брускова: съездить на неделю в Петербург и заработать деньги, необходимые для того, чтобы предпринять потом музыкальное путешествие по Польше и Германии.

Но надо назваться маркизом французским.

Что за важность. Москали ведь варвары! Тысячу раз слышал он от отца и матери, что русская империя та же татария, где самый первый и богатый вельможа ниже польского хлопа и крестьянина.

Если б Шмитгоф знал только одну свою скрипку — он не поехал бы. Но он еще при жизни отца, когда был у них не только достаток, но и излишек,— много вертелся в лучшем виленском и окрестном помещичьем обществе и прилежно учился грамоте и наукам у иезуита местного монастыря. Способности у него были блестящие. Юзеф обучился от патера немного по-латыни

и довольно много по-французски. Немецкий язык он знал с детства, ибо это был язык отца с матерью. А польский язык дался сам собой. К тому же благодаря близости русской границы, а затем присоединению Вильны — русский язык начал проникать к ним. Всякий поляк имел про запас с сотню слов русских.

— Отчего не ехать попытать счастья! — решил Шмитгоф. А присвоить себе имя маркиза Морельена, выдать себя за француза и не ударить лицом в грязь среди петербургского общества при знании языков и при известной смелости в обращении — его не пугало.

— Ведь они, «москали»,— полудикие,— повторял он себе.— Тот же князь Таврический, к которому он поедет, знает чуть-чуть по-французски и с трудом говорит по-немецки.

И маркиз Шмитгоф-Морельен приехал.

XIV

Зубов не упустил случая посмеяться над врагом. На другой же день во дворце на приеме государыни он всем не бывшим на концерте рассказал, как князь Таврический угостил царицу. «Скрипач удивительный — слова нет, но это жид простой, а не французский маркиз»,— объяснял Зубов всякому.

Государыня сама слышала его немецкую речь, вспомнила, как настоящие жиды в Германии говорят по-немецки...

Узнав, что Зубов прямо рассказывает про смехотворный случай с князем, все гости его, бывшие на концерте, принялись тоже рассказывать, и только родня молчала, не желая срамить князя и не имея возможности опровергать диковинный с ним казус.

Через два-три дня вся столица знала про жида-маркиза Морельена и хохотала до упаду, не столько по своей смешливости или особой забавности случая, сколько из зависти к могущественному и надменному врагу.

Зубов и его ухаживатели торжествовали. В первый раз герой Тавриды давал случай посмеяться над собой. Многих он своей хитростью делал шутами, а теперь сам попал в довольно забавный просак.

Не будь он Потемкин — ничего бы не было особенного, что ошибкой вместо аристократа-маркиза — жида представил... Но ему и меньше этого не простили бы униженные им.

Князь между тем съездил к императрице, рассказал все подробно, что знал от Брускова, и просил прощенья, что необдуманно поступил. Он получил милостивый ответ.

Князь смеялся, шутил и острил на свой счет, но был задет за живое.

Он вернулся к себе и не велел никого принимать...

Он сердился и бесился как школьник, который, напроказив, сознается внутренно в своей вине, но не может примириться с заслуженным наказанием.

Когда доложили князю об его любимой племяннице Браницкой — он принял ее и излил перед ней свою горечь. Графиня напрасно успокаивала дядю, убеждая, что не стоит печалиться от такого пустяка.

— Обида... Обида...— твердил князь.— Что ж, кто будет учить меня приличиям и порядкам?.. Я теперь до тех пор не буду покою иметь, пока не отомщу, их всех в дураки не выряжу.

— Как же тут отомстить? И какая польза? У вас, слава Богу, довольно врагов! — возражала графиня.— Да и нельзя отомстить.

— Почему это...

— Я понимаю месть в этом случае лишь такого рода, чтобы вы, как сказывается, отплатили тою же монетой... А что ж будет хорошего, если вы просто начнете мстить... Все-таки случай смешной останется.

— Их самих на смех поднять! — раздражительно сказал князь.

— Ну да... Но это невозможно, говорю я.

— Трудно... Но невозможного ничего нет... Одурачить всякого можно.

— Полноте, дядюшка,— ласково заговорила Браницкая.— У вас и без этого есть о чем думать...

— Все своим чередом... Одно другому не помешает.

— А дело великое будет стоять из-за пустяков! — укоризненно выговорила Браницкая.

— Говорю тебе, что не будет отсрочки никому в моей отместке.

— Давай Бог!.. А все же таки вы, дядюшка... Простите... Вы что малый ребенок бываете.

— Не груби, Сашенька,— шутя произнес князь и нежно поцеловал в лоб любимицу.

— Да ничего нет...— шепнула Браницкая.

— Не переупрямишь... Есть. Есть...

Графиня уехала от дяди с надеждой, что он «осты-

нет», как многие выражались про князя, впечатлительного и непостоянного.

Между тем виновник этой досады и волнений был счастливее и веселее, чем когда-либо. Наконец-то фортуна посетила его и сразу возвысила и дала все... Шмитгоф процветал!..

Давно ли он сиживал одинок и впроголодь в маленькой холодной квартире в Вильно или играл на вечеринках разных панов, которые платили ему подачками пирогов и жаркого от своего ужина. А теперь... Он помещается в двух горницах дворца; у него свои лакеи и скороход... Наконец, у него деньги, которых некуда девать. После первого же раза, что он играл у князя в кабинете, домоправитель Спиридонов, или простой дворецкий, но важный человек в позументах, принес ему от князя сто червонцев...

Шмитгоф уже тотчас по приезде разузнал, есть ли в столице московского царства трактиры и герберги, и, к своему удовольствию, убедился, что есть такие, каких нет и в Вильно. Вскоре все вечера свои виленский маркиз проводил в герберге «Цур-Штат-Данциг» на Невском, где не замедлил и свести знакомство с разными офицерами. Здесь же бывал с ним до ареста и кутил на его счет его благодетель, Брусков.

Теперь, после игры в присутствии императрицы, Шмитгоф, однако, недоумевал. Уже несколько дней, как друг его исчез бесследно из столицы. И никто не знал, где Брусков. Даже адъютанты князя, даже главный швейцар дворца, хитрый невшателец и всезнайка, не знали, куда девался офицер.

XV

Прошло две недели после злополучного концерта. Князь никуда не выезжал, но принимал всякий народ и, глядя в лицо появлявшегося в его кабинете, иногда думал:

«И этот знает небось. И тоже радуется да меня в шутах поздравляет про себя».

Иногда мысль эта приходила ему в пылу серьезного и важного разговора. Однажды, споря с австрийским резидентом о смысле обещаний, данных еще недавно России покойным теперь императором Иосифом II, князь вдруг запнулся. Он вспомнил, что его маркиз —

тоже Иосифом называется... И он, перебив цитату резидента из конвенции Австрии с Россией, спросил:

— А вы слышали, какой у меня в доме эмигрант-маркиз оказался?..

Резидент слышал, конечно, но давно забыл и теперь сразу не понял... А когда понял, то подумал невольно:

«Пустой человек — считается гениальным. Говорит о деле политического интереса, и вдруг на глупости мысли перескачут...»

Резидент ошибался, глупости укладывались в этой русской голове рядом с великими помыслами, ширь которых изумляла царицу.

Наконец, однажды, в приемный день, один посетитель рассеял вполне его хандру и вывел почти совсем из угнетенного состояния духа. Это был грек Ламбро-Качиони, снова явившийся к князю с хорошими вестями.

Четыре из его крейсеров с волонтерами из критян и фессалийцев совершили ряд подвигов в Архипелаге.

Потемкин оживился, достал огромную карту и стал искать места, которые называл Ламбро-Качиони...

Разговор быстро перешел в жгучий для князя вопрос.

— Что нового? — спросил грек.

И князь понял, что дело идет о согласии царицы на продолжение войны с Турцией.

— Ничего... Я бьюсь... Надеюсь. Врагов у нас много. Куда ни обернись — всюду друзья султана Селима! — усмехнулся князь.— Из трущоб даже приходят жалобы россиян, жаждущих замирения; дворянские собрания присылают депутатов просить правительство заключить с Портой мир. Что им — будет ли сокрушен полумесяц православным крестом или нет? Им за свои имения в новом ломбарде побольше получить... да поменьше платить... А какой-то идол пустил слух, что правительство — от расстроенных войной финансов — велит повысить процент ломбарда.

— Я слышал вчера, ваша светлость,— заявил Ламбро,— что от Платона Александровича отправлен к Репнину на сих днях особый гонец с письмом... Его приближенный человек из родственников...

— Ну, что ж?

— Прежде он не посылал таковых. И письмо, сказали мне, пространное. И его все Зубов написал собственноручно, просидев за грамотой четыре вечера.

— Откуда ты это знаешь?

— От его камердинера. Мне эта весть двадцать червонцев обошлась.

Потемкин посмотрел на лицо грека, помолчал и наконец вздохнул и подумал:

«Да... Не то стало...»

Отпустив грека, князь снова долго сидел задумчивый, почти грустный.

Наконец адъютант доложил князю, что просителей очень много.

— Шведский гонец просил доложить! — сказал офицер.— Говорит, что ему очень ждать нельзя. Некогда!

— А-а? — протянул князь иронически.— Хорошо... Так и знать будем.

Офицер прибавил, что в числе прочих просителей находится дворянин Саблуков.

Потемкин вспомнил, что выхлопотал в Сенате для дворянина справедливое решение его дела.

«А ведь это будущий тесть моего поганца Брускова,— подумал он.— Вот уж добром за зло плачу... Что ж? по-христиански...»

И он прибавил адъютанту:

— Благодарить явился? Скажи, что не стоит благодарности. Пущай с Богом едет к себе в вотчину и спокойно землю пашет да хлеб сеет. А швед пусть позлится еще...

Адъютант вышел и тотчас снова вернулся, докладывая, что г. Саблуков слезно молит князя допустить его к себе... ради важнейшего челобития...

— Опять челобитие? Что ж у него другая тяжба, что ли? Зови!

Дворянин Саблуков вошел в кабинет и стал у дверей.

— Ну, поздравляю... Победили ябедников... Что же тебе еще от меня?

— Ваша светлость — Бог наградит вас за ваше добросердие... Да. Я получил извещение... Достояние мое спасено... Правда торжествует, закон... Но счастья и спокойствия нет в моей семье. Дочь моя старшая в безнадежном состоянии. Помогите... Троньтесь мольбою старика отца...

Саблуков опустился на колени...

— Я-то что же могу...

— За спасение достоянья своего не молил вас коленопреклонением... А теперь вот...

— Дочь больна у вас, говорите вы?

— Да-с... И не выживет! сказывают здешние медики... Помогите...

— Да я... Я в медицине — что же? — заметил Потемкин, смеясь.

— Тут не лекарствия нужны... Тут душевная болезнь. И вы одни можете ее поднять на ноги, возвратить ей сразу жизнь...

— Объяснитесь...

Саблуков объяснил коротко, что дочь его уложила в постель весть об участи, постигшей ее возлюбленного...

— Брускова... Заточение в крепость...

— Да. Помилосердуйте. Спасите... Умрет моя Олюшка — я не переживу.

Наступило молчанье. Саблуков плакал.

— Меня Брусков дерзостно обманул...

— Нет. Вы желали диковинного музыканта услышать, он вам таковото и доставил.

— Да зачем с чужим именем! Зачем за дворянина выдал...

— Это в счастье так рассуждают! — воскликнул Саблуков.— Я горд был тоже всю жизнь моим дворянским состоянием, а теперь вот вам Господь,— сейчас в жиды пойду, в крепостные запишусь — только бы мне дитя спасти единокровное... У вас не было детей, ваша светлость!

Князь встрепенулся, будто по больному месту его ударили. Лицо его слегка изменилось. Снова стало тихо в кабинете.

— Да...— проговорил князь.— Думаю, что... Думаю... что я...

Князь замолчал и спустя мгновенье прибавил, вставая и направляясь к столу:

— Ну, поедем лечить твою Олюшку. Своих детей нет — видно, надо чужих баловать...

Саблуков вскочил на ноги и бросился к князю, но не мог сначала ничего выговорить...

— Вы?! Ко мне?! Сейчас?!

— Вестимо к твоей больной. Повезу лекарство. Дай прописать.

Князь сел за письменный стол и написал несколько строк: приказ шлиссельбургскому коменданту освободить содержащегося у него Брускова.

— Ну, ступай. Жди меня в зале. А поеду я сам к тебе потому, что хочу видеть, как подействует мое лекарство. Если плохо, то, стало быть, оно не по хворости и не го-

дится. Тогда выдумывай другое, от другого дохтура.

Саблуков, восторженно-счастливый, вышел в залу.

Князь перешел от стола к софе, лег врастяжку, и, когда, по выходе Саблукова, появился в дверях адъютант, князь вымолвил:

— Шведа давай...

Адъютант вышел, и через минуту в кабинете появился офицер в иноземном мундире. Быстрыми, развязными шагами вошел он и остановился, озираясь на все стороны. Софа была в глубине комнаты и не сразу попала ему на глаза. При виде лежащего князя офицер гордо выпрямился.

Это был военный агент и гонец, только что присланный в Петербург королем шведским с весьма, как ходила молва, важным поручением к русскому двору. Князь уже слышал о приезде шведского гонца и знал, что он принадлежит к знатному роду, а дядя его по матери стоит даже во главе партии «шляп», сломившей автократизм и самовластье шведских королей. Переговоры с этим гонцом Швеции могли быть важнее по своим результатам, нежели сношенья с самим королем Густавом III, так как за коноводом, т. е. дядей гонца, стояла национальная партия, сильная, сплоченная и только что вышедшая победоносно из борьбы с монархом. Порученье, ему данное, князь подозревал... Дело шло о правах торговых для шведов и норвежцев в Белом море и Архангельске.

— Salut, general! — выговорил князь, не двигаясь с софы.

— Барон Ейгерштром,— рекомендовался военный холодно.

— Садитесь... Что вам угодно...— продолжал князь по-французски.

Офицер сел на кресло пред богатырем, лежащим врастяжку на диване, и в нем так забушевало негодование, что он несколько мгновений молчал.

«Что, ошибло! — думал князь, мысленно смеясь...— Благодетельствовать Россию приехал».

Королевско-шведский гонец начал несколько сухо свою речь о деле, с которым приехал... Князь дал ему только начать, и, как посланец упомянул об интересах Архангельска и Беломорья, в частности, и Российской империи вообще,— князь прервал его.

— Вы об наших выгодах мне ничего не говорите — это наше дело. А вы об своих выгодах говорите.

Швед начал еще более сухо и холодно говорить о взаимных выгодах и пользе — двух наций. Он уже увлекся было в разъяснении благотворных последствий от нового соглашения между двумя соседними державами, когда князь вдруг выговорил:

— Теперь у государыни столько важных вопросов, подлежащих решению, что нам этим некогда заниматься... Скажите — как здоровье принца Зюдерманландского?

Швед изумленным взором глянул на князя, а князь вдруг начал добродушно смеяться:

— Знаете... После подвигов Чичагова в ревельском сражении наши матросы и солдаты захотели узнать имя командира неприятельского флота. Узнав, они его прозвали по-своему. Принц Сидор Ермолаич!.. Мне ужасно жаль, что я не могу вас, не знающего русского языка, заставить оценить это прозвище... Принц Зюдерманландский — принц Сидор Ермолаич.

Барон Ейгерштром поднялся с кресла, выпрямился, поклонился одним движеньем головы и вымолвил:

— Очень рад, что имел случай лично видеть знаменитого князя Потемкина. Многое я слышал не раз о нем от соотечественников и от иностранцев, бывших в России, но собственного мнения иметь не мог. Теперь я рад, что могу иметь и высказывать другим суждение, вынесенное из настоящего свидания. Извините, что обеспокоил вас. Благодарю за вежливый и радушный прием. Обращение ваше меня очаровало, и я уношу впечатление, которое не изгладится из моей памяти. Я видел истинного русского вельможу!.. Завтра я сажусь обратно на корабль и отвезу ваш ответ моему государю.

— Да... И поблагодарите его величество за его неусыпные попечения о русских интересах...

Швед повернулся и, выйдя из кабинета, быстро прошел всю залу... Его лицо, бледное, с пятнами, сверкающий гневом взгляд немало удивили толпу, ожидавшую приема. Князь сел между тем за свой стол, веселый и улыбающийся, и продолжал прием.

Он принял еще около десятка человек и, отказав остальным, пошел одеваться. Через четверть часа, в своей всегда пышной одежде, залитой золотом, алмазами и орденами, он вышел к Саблукову.

— Ну вот! Давай баловаться. Как у господина Мольера в лицедействе: «Le medecin malgré lui».

И, посадив смущенного от счастия и радости старика

в свою коляску, князь двинулся в город, где не был уже несколько дней.

Воздух, тепло и яркое солнце подействовали на добровольного затворника. Он оживился и начал шутить с Саблуковым, а потом и с Антоном-кучером.

XVI

Через полчаса быстрой езды коляска и конвой князя въехали во двор небольшого барского дома, желтенького и полинялого, стоявшего в глубине зеленеющего двора. Переполох в доме сказался сразу. Первая же душа человечья, застигнутая на крыльце — баба, парившая горшки,— бросила обтираемый горшок обземь при «наваждении» на дворе и, заорав благим матом: «Наше место свято...» — шаркнула в сени как ошпаренная.

Но там дети и домочадцы уже все сами видели и тоже голосили и швырялись.

Госпожа Саблукова, как стояла середи горницы, так и присела на пол без ног.

— Полноте, дурни! Полноте, барыня! Чего оробели. Бог с вами,— выговорила маленькая и красивая девушка, но странно одетая, будто не в свое, а в чужое платье, которое болталось на ней как мешок.— Барин наш с вельможей приехал... Это на счастье, а не на горе. Господи помилуй! Да это он! Сам! Светлейший! Барыня, радуйтесь! Креститесь! Молитесь!

И живое, бойкое существо, будто наряженное, а не одетое, ухватило длинный подол платья и, перебросив его себе через плечо, начало прыгать и припевать:

— На счастье! На счастье! На Олюшкино счастье.

На ногах этого танцующего существа были татарские шальвары и туфли.

В дом вбежал первым сам хозяин и крикнул:

— Жена, Марья Егоровна... Его светлость...

Саблукова дрожала всем телом... но, приглядясь к лицу мужа, которого двадцать лет знала и любила,— она быстро от перепуга и отчаяния перешла в восторженное состояние...

— Зачем... Милость... Олюшке? — прошептала она со слезами на глазах.

Саблуков махнул рукой.

— Ну, живо... Приберитесь... Вы! Вон отсюда! Господь услышал мою молитву... видишь, жена. Живо!

Вон! Все!! Саркиз! Ты чего глазеешь... Вон! — крикнул Саблуков на бойкое существо.

Все бросились из приемных комнат в другой угол дома... Хозяйка, забыв свои сорок пять лет, пустилась рысью в спальню переодеваться в новое шелковое платье, Саблуков, оглядев горницу, чтобы убедиться, все ли в порядке, побежал принимать князя, стоявшего между тем перед своим цугом и беседовавшего с форейтором.

— Пора тебе, лешему, в кучера...— шутил князь ласково.— Ишь, рыло обрастать начало... Давно женат уж небось, собачий сын?

— Как же-с.

— И то... Помню... На Пелагейке, что из Смоленской?

— Никак нет-с,— вмешался Антон.— Она из нашей же, из степной вотчины.

— Вашей родительнице причитается крестницей,— прибавил форейтор.

— Так! Помню. Пелагейка косоглазая,— заговорил князь.— Дети есть...

— Двое было. Да вот учерась третьего Бог послал.

— Ну, меня зови в крестные...

Форейтор встряхнулся в седле от радости и, быстро взяв повода в одну руку, хотел снять шапку. Сытый и бойкий конь рванулся от взмаха руки седока... И весь цуг заколыхался...

— Нишкни! Смирно! — крикнул князь строго.— Смотри, чего натворил. Форейтор в седле что солдат на часах — не токмо шапку ломать, а почесаться не смей... Так ли я сказываю, Антон?

— Истинно, Григорий Лександрыч! — отозвался Антон.— Пуще солдата... Солдат на часах, бывает, пустое место караулит, а тут у фолетора спокой и самая жисть светлейшего князя Потемкина. Да это он с радости сплоховал, а то он у нас первый фолетор в Питере. С ним кучер хоть спать ложись на козлах.

Между тем Саблуков успел уже вернуться из дому и стоял за князем в ожидании. Потемкин приказал своей свите оставаться на дворе и вошел в подъезд.

Хозяйка встретила князя разодетая в гродетуровое платье, которое она надевала только к заутрени в Светлое Христово воскресенье да на рождение мужа. За Саблуковой стояла вновь собравшаяся толпа человек в двадцать пять, чад и домочадцев, и все робко и тре-

петно взирали на вельможу, готовые от единого слова его и обрадоваться до умарешения, и испугаться насмерть.

Князь ласково поздоровался с хозяйкой, оглянул всех и спросил: что дочка?

— Плохо, родной мой, сказывал сейчас знахарь, что она... кормилец ты мой...— начала было Саблукова, но муж вытаращил на нее глаза, задергал головой и показывал всем своим существом ужас и негодование. Жена поняла, что дело что-то неладно, и смолкла, конфузясь.

— Могу я ее видеть, сударыня?

— Как изволишь, кормилец...

Саблуков, стоя за князем, опять задергал головой и замахал руками.

— Простите, ваша светлость! — вмешался он.— Жена к светскости не приобыкла... Сказывает не в урон вашей чести, а по деревенской привычке...

— И, полно, голубчик! Родной да кормилец — не бранные слова. Идем-ка к дочке.

Пройдя гостиную и коридор в сопровождении хозяев и всей гурьбы домочадцев, князь очутился наконец в маленькой горнице, где у стены на постели лежала молоденькая девушка... Ее предупредили уже, и она, видимо слабая, но потрясенная появлением нежданного гостя, смотрела лихорадочно горящими глазами.

— Ну, касатушка,— подступил князь к кровати.— Ты чем хвораешь... Отвечай по совести и по всей сущей правде. Зазнобилась аль обкушалась?

Девушка молчала и робко озиралась на мать и отца, стоявших позади князя, и на всю толпу, которая влезла в горницу и глазела, притаив дыхание.

Князь сел на кресло около кровати.

— Отвечай мне. Я доктор. И могу тебя в час времени на ноги поставить... Возлюбленного у тебя в крепость посадили. Так?

Бледное лицо Оли вспыхнуло румянцем, глаза блеснули, и она еще испуганнее озиралась.

— Хочешь ты — он будет через двое суток здесь?.. Выпущен... И тогда, если родители согласны, можешь под венец одеваться...

Девушка затрепетала всем телом и так поглядела князю в лицо, что сомнения не было. Она может выздороветь в несколько мгновений.

— Ну, вот, бери, красавица...— подал князь больной бумагу, достав из-за обшлага мундира.— Это приказ выпустить из Шлюшина твоего жениха... Смотри же,

к его приезду будь на ногах. А будешь лежать да недужиться — я его опять заарестую.

— Нет... нет! — выговорила Оля и быстро села на постели. Глаза ее сияли.

— Я сейчас! Сейчас!.. Я здорова!

Князь рассмеялся.

Саблуковы со слезами счастья на глазах бросились целовать его руки. Потемкин отбился от них и, оглянувшись на толпу, глазевшую с порога и из-за растворенных настежь дверей, переглядел все лица. Тут были и крошечные дети, и уже большие девочки и мальчики, и взрослые, и старые няньки. Все они как-то дико уставились на князя и его великолепную одежду.

Князь высунул им язык. Толпа рассмеялась и стала глядеть смелее.

— Брысь!..— вскрикнул он.

Все расхохотались, попятились, но остались в дверях за дверями. Князь увидел на маленьком столике около постели большую кружку с водой. В один миг он приподнялся, взял ее и выплеснул веером в толпу домочадцев... Визг, хохот поднялся страшный, но князь встал и запер дверь.

Саблукова, смущаясь, предложила князю «отведать хлеба-соли» и пройти в гостиную, где уже хлопотали давно две женщины. Князь был сыт, но отказаться значило бы обидеть.

— Давайте, хозяюшка... Только уж лучше сюда. Я и есть буду, и на вашу Олюшку поглядывать. Оно и вкусней будет.

Люди внесли в двери уже накрытый стол, заставленный всем тем, что только у хозяев могло найтись в погребе и кладовых — от холодного поросенка в хрене и оладий на патоке до разнокалиберной смоквы и обсахаренной в пучках рябины.

— Не побрезгуйте, ваша светлость...— прошептала Саблукова.— Чем Бог послал...

Князь чувствовал себя настолько сытым, что не знал, как ему отбыть эту повинность гостя у российских хозяев. На его счастье, в числе прочих закусок оказалось его любимое кушанье — соленые рыжики с приправой из выжимок черной смородины.

— А!.. Вот этого я отведую с отменным удовольствием,— сказал князь, и, проглотив несколько грибов, он вымолвил, оживляясь:

— Диво. Ей-Богу, диво! Вот хоть зарежь ты ученого

повара, он такое блюдо не выдумает... Что ж вы? Садитесь.

Хозяева, почтительно радуясь, стояли около стола.

— Садитесь. Кушайте...— настаивал князь.— А то встану и уеду... Вот вам Христос — уеду!

Саблуковы, после долгого отнекивания, сели к столу, но есть, конечно, ничего не стали. Князь быстро и охотно очищал тарелочку с рыжиками и стал расспрашивать Саблуковых, каким образом могла начаться та ябеда и тяжба, которая привела всю семью в столицу и чуть было не лишила всего имущества.

В то же время на другом конце дома раздавались все сильнее веселые голоса, крики и залпы детского смеха... Саблуков тревожился, морщился, внутренно бесился на эту вольность своих домочадцев, но оставить князя и унять озорников он не мог. Наконец он дал понять мимикой жене — глазами, бровями, чтобы она сходила прекратить «срамоту».

Саблукова встала.

— Куда?.. Не пущу...— догадался князь.— Сидите, хозяюшка... Я смерть люблю это!.. Пускай голосят.

— Простите, ваша светлость.

— Нету мне пущего удовольствия, как слушать детскую возню и хохотню. Это ваши дети?

— И мои тут... И родственника женина... Сиротки...

— Много ль всех у вас детей?

— Одиннадцать со старшей, замужней,— самодовольно ответила Саблукова,— да внучат еще трое...

— И всегда так заливаются... То-то весело этак жить,— вздохнул вслух князь и слегка насупился, будто от тайного помысла, который скользнул нечаянно по душе.

Наступило мгновенное молчание.

— Са́ркиз все...— выговорил вдруг Саблуков.

Князь встрепенулся и, придя в себя, почти сумрачно глядел на хозяина.

— Маркиз... Что? Маркиз?..

— Саркиз, ваша светлость... Простите. Я пойду сейчас уйму...

Хозяин встал, смущаясь от взгляда гостя, но князь тоже встал и уже улыбался.

— Маркиз... Саркиз... Похоже... Это что ж такое: Саркиз?

— Имя. Прозвище, ваша светлость. Это у меня калмычонок так прозывается. Отчаянная голова. Это все

он мастерит в доме с детьми. Первый затейник на всякую штуку. Такая голова, что даже, верите, подчас удивительно мне. Все у него таланы. И пляшет, и поет, и рисует, и на гитаре бренчит. А ведь вот татарва, и еще некрещеный...

— Отчего? — рассеянно спросил князь.

— Не хочет...— пожал плечами Саблуков.

— Как не хочет? — оживился князь.— Калмык и не хочет креститься в нашу христианскую веру? Это что ж...

— Что делать... Я уже ломал, ломал и бросил...

— Негодно... Вы ответите пред Богом, что его душу не спасли. Будь он теперь у себя — иное дело. А коли уж у вас — то след крестить.

— Не могу уломать!

— Пустое. Где он?.. Пойдем... Я с ним потолкую и усовещу.

И князь двинулся вперед на голоса, которые еще пуще заливались за дверями, где была зала.

XVII

Среди простора горницы возилась гурьба детей мал мала меньше, от шести и до пятнадцатилетнего возраста, а с ними вместе несколько девчонок-горничных, два казачка, кормилица с грудным ребенком и старая седая няня.

Центром всей возни была та же красивая фигурка, по-видимому, наряженная ради потехи в голубое шелковое платье барыни. Она маршировала теперь по зале, размахивая длинным шлейфом, с огромным чепцом на голове, с веером в руках и, очевидно, что-то представляла на потеху детей.

Появление князя на пороге залы подействовало как удар грома. Все сразу притихло, оторопело и осталось недвижно в перепуге. Оглянув гурьбу детей, князь тотчас заметил красивую девушку в голубом платье и стал искать глазами калмыка, о котором шла речь.

— Какая хорошенькая! Шутихой, что ли, у вас? — спросил он.— Ну, где же строптивый-то?

— Саркизка, иди сюда! — строго приказал Саблуков.

Фигурка в голубом платье виновато выдвинулась из гурьбы детей, но светлые глаза смотрели бойко и умно.

— Какая прелесть девчонка!..— выговорил князь, забыв о калмыке.— Не русская, однако. Видать сразу — не русская. Татарва, а иному молодцу и голову вскружить может.

— Простите, ваша светлость,— заговорил Саблуков.— Это не...

— Невеста ведь,— перебил князь.— Небось уж лет шестнадцать, а то и семнадцать. Ну, отвечай, красотка, сколько тебе лет?

Князь взял ее рукой за подбородок и приподнял вверх хорошенькое личико. Все в ней было мило и оригинально. И этот вздернутый носик, и белые, как чистейший жемчуг, зубы, и смугло-розовый, с оранжевым оттенком, цвет лица, и вьющиеся мелкими кольцами золотистые волосы, а в особенности, страннее всего светлые, добрые, но лукавые глаза, какого-то оригинального синего цвета.

— У русских вот девушек таких глаз не бывает,— сказал князь.— Хочешь замуж, касатка?.. Небось только это и на уме? — ласково прибавил князь и продолжал гладить и водить рукой по смугло-румяной щеке маленькой красавицы.

— Простите, ваша светлость,— вмешался вновь Саблуков, смущаясь.— Это он и есть... А не девица... Он это...

— Кто он? — спросил князь, озираясь.

— Он самый. Саркиз мой... Ну, ты! — прикрикнул Саблуков.— Полно при князе скоморошествовать. Скидай скорее упряжку-то шутовую...

Князь стоял слегка раскрыв рот и, ничего еще не понимая, взглядывал то на хозяина, то на хорошенькую девочку.

Но вот она быстро расстегнула лиф чужого платья, одним ловким движением стряхнула с себя все на пол и сбросила уродливый чепец. Из круга тяжелых складок женского платья, как бы из заколдованного круга волшебника, вдруг выскочил на глазах у князя маленький калмык, в своем обычном наряде — куртке, шальварах и ермолке.

— Тьфу... Прости Господи! — выговорил князь.— Хоть глаза протирай. Обморочил...

— Да-с. Это точно...— загóворила хозяйка.— Завсегда все этак... Уж простите. Мы не знали...

— Так ты калмык... Калмычонок? — невольно выговорил князь, как бы все еще не веря своим глазам

и желая убедиться вполне, что красавица девушка исчезла как виденье, а ее место заступил калмычок.

— Я-с... Виноват... Детей веселил...— проговорил калмычок развязно, но простодушно.

— Удивительно. Я таких никогда не видывал. Удивительно,— повторял князь.— Все калмычата — уроды. А этот — прелесть какой... А глаза-то... глаза...

— Диковинный, ваша светлость... Я говорю, жаль, что он девушкой не уродился. Свое бы, поди, счастье нашел.

А князь молчал и все смотрел на калмычонка. Ему показалось, однако, необъяснимым — каким образом он мог так глубо ошибиться и начать ласкать как девочку простого калмыка. И вдруг ему пришло на ум простое подозрение: «Что, если старый Саблуков держит в доме татарку, одетую калмычком? Такие примеры бывали нередко».

— Так тебе имя Саркиз? Ты калмык Саркиз? — спросил наконец князь, усмехаясь своему подозрению.

— Я Саркиз, ваша светлость.

— Ты, щенок, креститься не хочешь?

— Нет, не хочу! — смело ответил тот.

— Вот как?.. Почему же это? А?

— У меня своя вера есть! — бойко отрезал Саркиз. И его оригинальные глаза смотрели на князя прямым, открытым взглядом, отчасти наивно-смелым.

Князь видел, что это не напускная дерзость избалованного нахлебника, а совершенно естественная самоуверенность, глубокое сознание собственной силы.

— Да твоя вера туркина, а не Христова,— сказал он, улыбаясь.— Это не вера...

— Магометов закон. Не хуже других...— отрезал Саркиз.

— Ах ты...

И князь чуть было не ругнулся.

— Ах ты... прыткий... Скажи на милость,— поправился он.

— Магомет был пророк великий, посланец Божий,— заговорил Саркиз серьезным голосом.— Но он не говорил, что Он Сын Божий, и миряне его за такого не стали считать...

И, помолчав мгновение, красивый калмычонок прибавил:

— Учение Магометово почти то же, что и Христово. В нашем Коране, почитай, половина учит тому же, что

и Христово учение. Коли изволите, я вам укажу и поясню.

Князь не знал, что ответить. Удивителен был чрез меру этот калмычонок, который сейчас тут в барынином платье паясничал на потеху детей, а теперь звучным, серьезным, хотя особенно мягким, точно женским голосом толкует о вероучении Корана.

— Вот он у вас какой? — нашелся только выговорить князь, обращаясь к хозяевам.

— Диковинный, ваша светлость...— отозвался Саблуков.— Умница.

— Сколько раз из беды выручал...— вставила робко хозяйка свое словечко.

— Как тоись выручал?

— Советом,— объяснил Саблуков.— Как у нас что мудреное — мы к нему... И никогда еще дурного или малоумного не заставил нас учинить. Завсегда развяжет всякое дело на удивление. Талан. Мы за то его и любим как родного и не трогаем. Не хочет креститься, ну и Бог с ним. А поступлениями он все одно что харистианин, только молится да постится на свой лад.

Светлейший покачал задумчиво головой, но не словам Саблукова, а на свои мысли...

«Чуден!.. Чудное бывает на свете! — думалось ему, глядя на стоящее пред ним оригинальное существо.— Кого иногда Господь-то взыщет. Если он и впрямь калмычонок, купленный, поди, на базаре каком-нибудь в Казани или Астрахани! И умен, и красив, и речист, и смел... А все это пропадает и пропадет... Для калмыка приживальщика и шута — такое лицо не нужно. Ум и таланы тоже почти не нужны. Природа одарила и подшутила — сделала человеком, как ему быть следует, а в люди выйти не дает... Что он? Татарчонок!»

— Ну, Саркиз, ты, голубчик мой... явление чудесное. Видимое объявление чудес природы на земле,— медленно выговаривал светлейший, как бы подыскивая слова для выражения своей мысли.— Тебе надо называться не Саркиз... а Каприз. Каприз Фортуны.

Саркиз глянул вельможе прямо в глаза, и князю почудилась вдруг в красивых глазах его и на хорошеньком личике дымкой скользнувшая печаль.

— Ты знаешь ли, что я сказываю? Что такое Фортуна?

— Знаю-с.

— Знаешь? А ну-ка, скажи... Скажи...

— Что же сказать?.. Фортуна наименование таких непредвидимых удач ли, напастей ли — кои с человеком сбываются... Фортуна, сказывают в шутку,— баба молодая да шалая. Порох девка. Творит не ведает что... Бегает по миру без пути, творит без разума. Что учинила учерась — не помнит; что учинит наутро — не знает. Да что... Так надо пояснить: она, стало быть, на удивление всему миру мудреные и неразгаданные литеры пишет... вилами по воде...

— Что? Что? Что?..— медленно проговорил князь, пораженный ответом.

Саблуковы начали смеяться добродушно, очевидно принимая слова любимца за болтовню. Гурьба детей тоже весело усмехалась тому, что их Саркизка князю докладывает так бойко и речисто.

— Как вилами по воде?..— повторил князь.

— От многих удивительных на свете делов Фортуны,— выговорил Саркиз серьезным и отчасти грустным голосом,— не остается ничего... Пшик один.

— Пшик?

— Знаете, кузнец хохлу за червонец пшик продавал... Сперва червонец получил, а там раскалил добела железо да в воду и сунул. Вот, мол, держи пшик! — А где же? — А был... Ты чего зевал — не ловил. И видел и слышал хохол этот пшик... А в руки взять не мог.

Саркиз замолчал и смотрел на князя по-прежнему просто, прямо, но все-таки будто задумчиво-уныло. А светлейший князь Таврический совсем понурился, задумался, совсем затих, сидя на стуле, и будто забыл, что сидит пред калмыком и гурьбой детей в доме Саблукова.

По больному ли месту его души, по слабой струне зацепил этот диковинный татарчонок?..

— Продайте мне его,— выговорил наконец князь, придя в себя и оборачиваясь к Саблуковым.

Хозяин как-то встрепенулся, хотел что-то сказать и кашлянул, хозяйка двинулась и охнула... Вся гурьба детей сразу перестала усмехаться, все лица насупились печально и испуганно стали глядеть на вельможу.

Наступило полное затишье и молчание.

— Что ж? А?

— Как прикажете...— пролепетал наконец Саблуков, совершенно смутясь.

— Приказывать в таком деле нельзя...— сказал Потемкин.— Жаль вам его! Вижу. А вы пожертвуйте.

Я вам все ваше достояние вернул. Отблагодарите меня вот Саркизкой...

— Вестимо. Извольте!.. Честь великая,— вдруг забормотал Саблуков.— И Саркизке счастье. Что ж он у нас в деревне. Запропадет. А у вас, поди, и в люди выйдет.

— Ну, спасибо. Не надо. Я пошутил. Вижу, как он вам дорог, и отымать не стану.

Саблуков развел руками, не зная, что отвечать.

XVIII

С трепетом и смущением на сердце переступило порог Таврического дворца юное существо, одаренное природой будто в шутку,— умный и красивый калмычок Саблукова.

Вечером того же дня, что князь побывал у дворянина, он послал за своим наперсником Бауром.

Лукавый, ловкий, но скромный и мастер на все руки, он всегда служил князю в особо важных делах.

— Важнеющее пустяковинное дельце! — говорил князь Бауру.— Смотри не опростоволоситься! Дело выеденного яйца не стоит, а мне важно!

Последнее «сакраментальное» выражение Потемкина было теперь мерилом всего.

Полковник Баур знал лучше всех, как рядом с этим ежечасным помышлением князя, этим его насущным вопросом явились на очередь большие и мелкие затеи и прихоти, в которые баловень судьбы влагал всю свою душу так же пылко и капризно, как и в важнейшее дело.

И Баур достал и сманил калмычка саблуковского.

Вступив во дворец маленьким ходом, а не чрез парадный подъезд и швейцарскую, Саркиз следом за Бауром прошел чрез вереницу маленьких горниц, минуя толпы обитателей, прямо к князю на половину. Здесь они оба прождали около двух часов, пока князь объяснялся в кабинете с посетителями.

Наконец князь вспомнил о Бауре и Саркизе, ожидающих его, и приказал позвать. Калмычок появился, пытливо озираясь.

— Ну, здравствуй, умница,— сказал князь,— вы познакомились...

— Точно так-с,— отозвался Баур, шутя.— Мы с ним совсем приятели. И у меня на дому, и здесь беседовали.

Светлейший, улегшись на огромной софе врастяжку, снова начал было беседу о религии, уговаривая стоящего пред ним Саркиза креститься и бросить «мухоедову веру». Калмык так же упорно и умно стал доказывать, что все веры хороши. Его ясная и простая речь сводилась к тому, что надо лишь Бога бояться и жить праведно и честно... И не изменять родной вере...

Познания Саркиза, ясность разума, красноречие, самоуверенность и вообще одаренность природная — снова подивили князя. Он слушал и молчал.

— Ну, Бог с тобой! — сказал он наконец.— Верь как знаешь! А со временем я тебя все-таки усовещу и в христианство обращу. А теперь забота иная у меня. Ты мне нужен справить одно важнеющее дело. Кроме тебя, некому справить. Обещаешься ли ты послужить мне верой и правдой, не жалеючи себя... Всем разумом своим.

— Вестимо, ваша светлость...— отвечал Саркиз.— Все, что прикажете. Лишь бы по силе и по разуму пришлось.

— Уговор такой. Ты мне сослужи службу одну, немудреную, а я тебе волю дам. Ну воля — не диво. Ты и у Саблуковых жил как родной... Ну, я тебе обещаю пять тысяч рублей деньгами, чин, зачисление на службу и невесту из моих крестниц с приданым... Довольно или еще набавить?..

Красивое лицо Саркиза вспыхнуло и пошло пятнами, а губы дрогнули.

Вельможа попался ему на пути и хочет, стало быть, его «человеком» сделать. То, о чем он все мечтал втайне. Ведь это — все... Это дверь ко всему... Остальное уж от него самого зависеть будет, от его воли, умения, настойчивости.

— Что прикажете? Какое поручение? — спросил калмык глухо, от внутреннего волнения и бури на душе.

— А это, братец ты мой, теперь расписывать долго, да и пояснить с оника мудрено... Скажи я тебе, в чем дело,— ты не сообразишь и заартачишься, а с тобой ведь не совладаешь. Вишь ведь ты какой кованый, из-под молота уродился. А силком тоже нельзя заставлять... Дело не такое. Мы вот с ним все обсудим,— показал князь глазами на Баура,— а он уж тебя сам научит всему и приготовит потихоньку. Ты мне только обещай душу в дело положить, помня уговор... Поручение мое тебе — для меня вот какое дело! Сердечное дело... А уж

что я тебе обещал — это все свято исполню... Ну... Обещаешься?..

— Могу ли? Сумею ли? — смутясь в первый раз, отозвался Саркиз, недоумевая и уже опасаясь, что князь надумал дело мудреное.

— Отсюда, из Питера,— вдруг сказал князь,— один до Вены или Парижа, не зная иноземных наречий,— доедешь?

— Доеду! — быстро и самоуверенно выговорил Саркиз, как если бы ему сразу стало легче.

— Посланцем моим ко двору монарха Римской империи возьмешься ехать?

— Что ж? — выговорил Саркиз, подумав.— Если мне переводчиков дадут... да поручение разъяснят, отчего не ехать?

— Да ведь надо не калмыком являться, надо уметь себя держать; не дворовым из-под Казани и не скоморохом, а моим наперсником. Надо быть важным да гордым, чтоб рукой не достали... Можешь ли ты на себя напустить этакую амбицию не по росту? — шутя произнес князь.

— Что ж рост? Рост ни при чем! — засмеялся Саркиз.— Иной богатырь меня вот за пазуху засунет и понесет, а я его умишко весь за щеку положить могу, как орех. Ведь новорожденные без амбиции этой на свет приходят, а уж потом ее на себя напускают тоже. Да вот я вам сейчас изображу, как я беседу поведу.

Саркиз отошел, прислонился к письменному столу князя, опираясь одной рукой и слегка выпятив грудь, закинув чуть-чуть голову назад, поднял другую руку и произнес с достоинством, мерно и холодно:

— Передайте господину министру, что я его прошу именем всероссийского вельможи, князя Таврического — отвечать мне прямо, без утайки и без проволочки. Согласен он? Да или нет?

Фигура Саркиза была в это мгновение так элегантно горда и надменна, а слова эти были так произнесены, что князь сразу вскочил с софы на ноги и уставился на калмыка.

— Фу-ты, проклятый!..— выговорил он.

Баур, таращивший глаза на актера, тоже ахнул.

— Каков? — обернулся князь к любимцу.

— Чудодей,— проговорил Баур.

— Оборотень как есть. Ну, Саркизка, я сам теперь за тебя порукой, что ты мне справишь порученье миру на

аханье! — весело воскликнул князь.— Помни, родимый, только одно: не робеть. Не робеть! Сробеешь — все пропало! А коли этак вот обернуться можешь, как сейчас,— диво!

— Уж коли я, после моей трущобы, первый раз будучи поставлен пред очи светлейшего князя Таврического, не сробел,— промолвил Саркиз,— так что ж мне другие. В этом будьте благонадежны... Робеть я не умею.

— Не умеешь? — рассмеялся князь.

— Нет. Никто меня этому не обучил, откуда же мне уметь...

Потемкин начал уже хохотать.

— Молодец. Ей-Богу. Эко судьба меня подарила. Фортуна-то меня балует, что мне тебя послала. Не поезжай я, умница, к Саблукову — так бы я тебя и не нашел. Вся сила была в этой поездке, а то бы ничего не было.

— Не привези меня в Петербург господин Саблуков — ничего бы не было. Вестимо,— отозвался Саркиз.

— Это верно.

— А не родись я на свете, и привезти бы он меня не мог.

— Еще того вернее! — вскликнул Потемкин.

— Стало быть, вся сила не в князе, а в Саркизе, что он есть на свете! — усмехаясь, вымолвил калмычонок, хитро щуря свои красивые глаза.

— Каков гусь? — обернулся князь к Бауру.— Ну, что скажешь? Не справит он наше дело на славу?

— Справит, Григорий Александрыч. Я его день один как знаю, а голову за него тоже прозакладую. Видать птицу по полету.

— Ну, ступайте... Ты его готовь: все поясни и начни хоть с завтрашнего же дня муштровать и обучать... Да и прочее все готовь без проволочки. Нам ведь здесь долго не сидеть. Чрез месяца два надо и выезжать на войну. Время дорого. Когда будет он обучен совсем, привози ко мне. Я его испытаю и, коли годен — хорошо, а негоден,— отправлю обратно к Саблукову, а ты найдешь другого. Питер не клином сошелся.

— Лучше не выищем, Григорий Александрыч. Уж верьте моему глазу. Я не ошибусь.

— Ну и славу Богу. Прощай, Саркизка. Учись серьезно,— выговорил князь.— Чем скорее обучишься к исправленью должности, тем я тебя лучше награжу.

Баур и Саркиз откланялись, пройдя опять особым

ходом, и скоро уехали, а князь остался один, задумался и потом шепнул:

— Ну, погоди же!.. Угощу я! Вишь, переодетые гонцы в Вену и в Константинополь ездят... Ну, вот и мы наряжаться начнем.

Через три дня после этой беседы с князем Саркиз простился в доме Саблуковых и выехал по Новгородской дороге. Калмычонок был задумчив и даже грустен...

Не по силам ли взял он на себя порученье... Или, как все истые умницы,— умалял свои силы...

XIX

И снова, вдруг, сразу, притих Таврический дворец!..

Князь снова хворал своей диковинной, всех удивляющей и самому непонятной, болезнью, капризно и внезапно являвшейся к нему и покидавшей его, по-видимому, без всякой причины, без предварения и без последствий.

Смутно чувствовал сам князь, когда болезнь должна прийти и когда уйдет; смутно понимал, почему она идет, но объяснять другим не любил.

Князь, как всегда, не выходил из уборной, изредка переходя в кабинет. Не занимался ничем, не принимал никого, не притронулся пальцем ни к одному письму, ни к одной бумаге или депеше, как бы она по печати и внешнему виду важна ни была.

Теперь не было вокруг него, здесь в кабинете, и во всем Петербурге, и в России, и в целой Европе, даже на всей земле этой подлунной, ничего важного — все прах и тлен! Важное есть только «там».

На этот раз недуг необыкновенного и странно-гениального человека сказался сильнее, чем когда-либо...

— Чем изгнать из себя этого беса! — восклицал князь один, громко разговаривая сам с собой.— Да, я верю, что бесы входили в человеков и входят; верю, что они повергали их наземь... И теперь могут... со мной нету того, кто мог словом своим изгонять их...

Князь снова послал за духовником.

Он захотел исповедаться и причаститься.

Отец Лаврентий явился и с участием отнесся к духовному сыну...

Если не ум, то душа священника поняла, с кем она имеет дело в лице этого «сильного мира» временщика, баловня Фортуны и друга великой монархини.

Отец Лаврентий три дня прожил в Таврическом дворце, служа в домовой церкви или сидя в спальне князя. Целый вечер с остановками, с беседой и разъяснением многих слов читал он князю правило...

И что же сказал духовный сын на исповеди?.. Почему оба плакали?..

Почему, повергнутый пред налоем, этот русский богатырь своими рыданьями заставил и священника слезы утирать...

— Бог простит...— повторял духовник, и голос его дрожал чувством.

— Кому много дано — с того много и взыщется! — шептал чрез силу исповедующийся, от избытка чувства как бы лишившись голосу.

На совести князя не было, конечно, ни одного преступленья, не было даже из ряду выходящего греха... Но этот неведомый «бес», который потряс его и поверг пред налоем, смутил, видно, добрую душу пастыря...

Зато наутро за обедней князь причастился, и лицо его просветлело на несколько часов... Тишь сошла на душу... Но ненадолго...

Он отпустил духовника домой, но, чувствуя себя ненадежным, заперся на ключ в своем кабинете, не велев принимать даже племянницу Браницкую.

И здесь, один-одинехонек, лежа на софе полуодетый, князь промучился еще трое суток, почти не принимая пищи... Из всего приносимого Дмитрием он дотронулся только до хлеба и молока.

Он маялся умом и сердцем, как приговоренный преступник пред казнью.

И куча разнородных помыслов, чувств и порывов — сменялись в душе его, прилетая и уносясь будто рой за роем...

Он томился в этой тоске, проклинал все и всех, плакал горько о себе и о любимых им. Смеялся едко и метко над собой, над всеми... Клеймил остроумно всех и вся... Молился Богу на коленях искренно и горячо... Боялся смерти, которая идет... придет! Может быть, и не скоро, но все-таки придет!.. А затем вдруг искренно желал умереть, скорее, сейчас...

— Все прах и тлен! Там только будет разумно все, там — добро, истина, свет. А здесь одно обидное для души бессмертной земное скоморошество. Это не жизнь, не бытие — это святки, маскарад, позорище и торжище, продажа и купля житейского хлама и рухляди. А какой

рухляди? Чести, славы, нравственности, долга христианского, обязанностей семейных и гражданских — всего... всего...

— И все идет и пройдет... Все пройдет! А останется ли Таврида?..

— Таврида. Клок грошовой земли. Миллионная частица земного шара, который сам миллионная частица Божьего здания, бесконечного и непроникновенного надменному разуму.

— Срам и грех кругом во всех, в тебе самом, паяц таврический, грешник любый. Раб утробы своей поскудной. Червь! Да, червь! Да не перед одним лишь Господом, а червь и перед одной вот этой звездочкой, что мигает... Господи, прости мне... Избави меня от лукаво- го... т. е. от зла, от не́правды, от суеты мирской, грешной и постыдной, да и постылой. Да, я уйду, спасуся в обитель какую на краю России, в Соловках, на Афоне. В узкой келье иноком, с просфорой и водой ключевой я буду счастлив. Я буду молиться, наложу на себя епитимью, вериги в два пуда надену... Истомлю проклятое тело, убью поганую утробу... Все ведь сгниет в гробу... Так я теперь умалю поживу червям... Я стану достоин предстать пред Судом твоим, явлюся чистым, унаследую жизнь вечную. Господи, смилуйся!.. Спаси и помилуй раба твоего Григория...

Так стенаньями молился богатырь духом и телом, иногда в темноте ночи, стоя на коленях около окна и глядя туда, где загадочными алмазами вспыхивали звезды и где, быть может, и есть все то, чего он здесь всю жизнь искал... Оно там!.. А слезы, крупные и горячие, лились по лицу... И будто легче становилось от них на душе. Будто очищаются, омываясь в них, голова и сердце от ига помыслов, жгучих до боли!.. Неземной боли!..

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Прошло две недели. Князь снова был здоров, весел и деятелен. Снова более чем прежде ухаживал он и просиживал вечера у Venus de Mitau.

Однажды в Зимнем дворце, когда князь, выйдя от государыни, стоял окруженный придворными и беседо-

вал с кем-то, он, чуткий на ухо, услышал за собой горячий спор вполголоса двух пожилых сенаторов.

— Не я один. Уже многие слышали и знают! — говорил один.

— Славны бубны за горами! — отозвался другой.

— Да не за горами, а здесь... Понимаете: здесь! С собой привезла весь миллион!

— Золотом? сколько же это весом будет? На это надо особый экипаж! Полноте. Питерские выдумки!

— Персидскими, говорят, бумагами! Вот как наши новые ассигнации. Но миллион, батюшка! Миллион — чистоганом! А сама чистокровная персидская княжна и писаная красавица.

— Верно, все враки!

— Ох, маловерный! Ведь вот неловко только... А то бы сейчас спросили, и сам князь вам бы сказал... Он лучше нас с вами знает и что за принцесса, и какой такой миллион.

— Почему?

— Потому что она уже посылала к нему своих адъютантов, прося аудиенции по делу, из-за коего приехала сюда. Спросите вон князя.

Князь сделал вид, что не слышит ничего, и быстро вышел и уехал.

Вернувшись к себе и выйдя в подъезд, князь был тотчас окружен адъютантами-нахлебниками и дворовыми, которые всегда встречали его, а равно провожали при выездах.

— Кто дежурный? — спросил князь.

Один из адъютантов выдвинулся вперед, руки по швам.

— Ты?

— Я-с.

— Присылали к нам справляться приезжие персиды?

— Приезжал утром толмач княжны персидской, секретарь ее, спрашивал насчет приема у вашей светлости...

— Чего ж ты мне не доложил?.. Я буду сам у вас дела выпытывать. А?..

И голос князя зазвенел гневно... Адъютант молчал и только слегка переменился в лице.

— Ну? Столбняк нашел!

— Я полагал, ваша светлость, что правитель канцелярии доложит,— дрожащим голосом проговорил офи-

цер.— Секретарь прямо в канцелярию отнесся, а не ко мне... Я был наверху, у вашей свет...

— То иное дело... Ну, прости, голубчик... Прав. Позвать дежурного по канцелярии.

Несколько человек зараз бросились по коридору и рассыпались по нижнему этажу... Двое побежали на квартиру чиновника. Князь не двигался и ждал в швейцарской.

«Загорелось!» — подумало несколько человек из офицеров.

«Приспичило! — подумали и дворовые.— А может, и важное дело».

— Кто там сегодня дежурный?..— спросил князь.

— Петушков,— отозвался кто-то.

— Петушков? — повторил князь и что-то будто вспомнил...— Петушков? Что такое. Мне что-то сдается? А что?..

Все знали, что именно князю вспомнилось. Бумаги, подписанные светлейшим Петушковым Таврическим, еще вчера поминали здесь в швейцарской и хохотали опять до слез...

Князь огляделся... все кругом улыбались и ухмылялись.

— Чему вы, черти?

— Да оный Петушков,— заговорил, выступая вперед, дворецкий Спиридонов.— Петушков тот самый, Григорий Лександрыч, что надысь распотешил.

— Петушков? Что за дьявол! Не могу вспомнить. А что-то такое помню. Глупость он какую-то сделал.

Князь вспомнил, но не спрашивал, и никто не осмеливался сказать сам.

— Ему у нас теперь,— продолжал дворецкий,— другого звания во дворце нет, как «ваша светлость».

— А-а! Помню! Помню...— вскрикнул Потемкин.— Князь Петушков Таврический.

Князь рассмеялся, все подражали, и гулкий смех огласил швейцарскую как раз в то мгновение, когда черненький и вертлявый чиновник появился на рысях из коридора.

— Ты, ваша светлость, дежурный сегодня? — спросил его князь.

Петушков смутился и сразу оробел при этом титуле в устах самого князя... И он понял вопрос посвоему...

— Я не виноват-с. Я сказывал сколько раз,— за-

лепетал он.— Вот все знают... Запрещал, бранился, грозил, а они знай свое... Я не виноват. Вот как пред Богом.

— Что? Что? Что?..— произнес Потемкин.— Чучело огородное. Что ты плетешь!

— Они все с того разу зовут... Я не вин...

— Светлостью-то тебя величают? Пущай, поделом! Так ты и оставайся светлейший Петушков до скончания своего века. А ты отвечай мне теперь, как, будучи дежурным, смел не доложить мне об персиянах. А?.. Был сегодня секретарь?

Был-с... Господин Баур взялся сам доложить вашей светлости, сказал, что это дело важное...

— И не доложил. Важное! А сам забыл. От чьего имени был секретарь?

— От имени персидской княжны, что прибыла в столицу по делу своему...

— Какое дело?

— Ходатайствовать насчет обиды и претерпенья от властей тамошних. Просить хочет сия княжна заступничества российского...

— Мне-то что ж! Нешто я могу персидским шахом командовать. Добро бы еще султан турецкий... Что ж я могу...

— Так секретарь сказывал! — извинился Петушков.

— Знаю, что не порешил... Прыток ты больно на ответ,— несколько серьезнее прибавил князь и сморщил брови.— Я еще, ваша светлость, у тебя в долгу.

Петушков уже со слезами на глазах упал на колени и выговорил:

— Простите!

— Ну, кто старое помянет, тому ведь глаз... как у меня вот — будет!.. Как звать эту княжну?

— Ея светлость, княжна Адидже-Халиль-Эмете-Изфагань,— скороговоркой протрещал бойко Петушков, стоя на коленях.

— Молодец... Как отзубрил. За это одно простить тебя следовало... А ну, повтори! Повтори!

Петушков шибко повторил длинное имя персидской княжны. Князь рассмеялся.

— Коли персиянка, то и мирзой тоже должна быть. Фамилия же эта по городу — Испагань. А правда, сказывают во дворце, что эта княжна писаная красотка?

— Не могу знать,— отозвался чиновник.

— Так точно, ваша светлость,— вступился капитан

Немцевич.— Я слышал в городе. Ей всего семнадцать лет...

— Красавица?.. А?

— Особенной красоты. Только ростом не взяла.

Князь двинулся по лестнице, а в швейцарской на этот раз долго оставались, толпились и беседовали сошедшиеся к нему навстречу. Предметом толков была персидская княжна, красавица, которой князь, очевидно, даже заглазно заинтересовался.

«Вот отчего ему «загорелось» узнать о секретаре...» — решили все. И долго об этом толковали.

II

В столице уже за два дня пред тем начинали поговаривать, что большой дом одного кавказца-богача на Итальянской улице, именовавшего себя грузинским князем, осветился огнями. Полудворец стоял темен и необитаем уже с год. Владелец его, как говорили, проигрался в карты, уехал из столицы и скрывался от долгов.

Многие из питерских любителей новостей заинтересовались — кто такой мог нанять дорогое помещение. Конечно, далеко не бедный человек!

Общее любопытство еще более усилилось, когда стало известно, что полудворец занят приезжей из Тифлиса княжной, не только грузинской, а даже персидской, фамилия которой происходит от древнего рода Изфагань или Испагань.

А когда вслед за тем стоустая молва разнесла весть, что княжна не старуха и не старая дева, а семнадцатилетняя красавица, к тому же богачка, да к тому же еще и круглая сирота, то многие, даже пожилые сановники в столице, встрепенулись... А когда эта же молва присочинила, что юная и красивая сирота княжна желает будто бы найти себе мужа в Питере и сделаться российской подданной, то и молодежь зашевелилась...

Все чаще стали по Итальянской скакать и прогуливаться взад и вперед красивые всадники-гусары, мушкетеры. Появлялись часто и экипажи шагом...

Всякий, проезжавший мимо «грузинского дома», умышленно или случайно поглядывал пристально в окна, стараясь увидеть кого-то. Но ни разу никто в окнах

не увидел никакой красавицы... Видали только черных, наподобие тараканов, бородатых мужчин... Из дому тоже выезжали и выходили настоящие персияне, в халатах, черные как смоль, с длинными бородами, зачесанными клином на грудь, в черых мерлушечьих остроконечных шапках, с красивым оружием, украшенным самоцветными камнями. Все это была свита княжны. Сама же она вовсе не показывалась из дому.

Шутники в гвардии скоро распустили слух, что княжне семьдесят семь лет и что она страшнее самой бабы-яги.

Спорить никто не мог: никто лично княжну не видал. Многие молодцы приуныли от разочарования.

— Быть не может! — решили некоторые, которым хотелось от скуки, чтобы княжна была красавицей.

Начались справки.

Кто первым пустил слух, что княжна столетняя баба-яга, что ей не семнадцать, а семьдесят семь лет, что она страшна как ведьма.

Кто был этот виновник — было неизвестно; равно было неведомо тоже, кто пустил слух и о красоте и юности.

Прошла неделя... Всадники и проезжие в колясках цугом мимо «грузинского дома» поуменьшились числом, так как кто-то наверное узнал и кому-то передал, что персидская княжна действительно женщина под пятьдесят лет, дурнорожа, беззубая и лысая.

Смеху было немало в кружках гвардейцев.

— Из-за кого скакали по Итальянской!

Но однажды утром, известный своим пронырством, громадным состоянием и отчаянной головой, офицер лейб-гусарского эскадрона граф Велемирский прискакал в трактир, где собирались офицеры разных полков, и объявил:

— Сам видел! Княжну видел! — заявил он.— Красавица божественная!.. Маленькая, белокурая, беленькая, с голубыми глазами...

Велемирский присутствовал при выезде княжны из дому. И опять всполошились все сразу...

Опять появились всадники на Итальянской и разъезжали, усердно заглядывая в окна.

— Авось покажется красавица за стеклом.

Молва Петрограда не ошиблась.

Действительно, «грузинский дом» был занят приезжей чрез Москву княжной. По сведениям полиции, это

была княжна Адидже-Халиль-Эмете-Изфагань, прибывшая со свитой из пределов Персии.

При княжне, семнадцатилетней девице, был опекун, ее дядя — Мирза-Ибрагим-Абд-Улла со многими другими мудреными именами; духовник княжны — Абдурахим-Талеб, тоже со многими именами, переводчик — Саид-Аль-Рашид, трое молодых адъютантов, из которых Амалат-Гассан, еще юноша, был родственник княжны, две старые персиянки, вроде статс-дам — Фатьма и Абаде, и затем с полдюжины разных персиян, в разных должностях... Остальные, человек с двадцать, были наемные: лакеи, кучера, повара, кондитеры и дворники, и были все из русских: одни из Москвы, другие наняты по приезде в Петербург.

Княжне было действительно не более семнадцати лет, а на вид и того менее, так как она была маленького роста и казалась девочкой лет четырнадцати.

Княжна с приезда никуда не показывалась и почти ни разу не выехала, хотя два экипажа и два цуга красивых лошадей были тотчас куплены для ее выездов.

Княжна Эмете, как говорили, сидела все с своим духовником и, вероятно, много по-своему Богу молилась или по целым вечерам училась по-русски с Саид-аль-Рашидом.

Дело, по которому княжна Эмете Изфаганова приехала в Петербург, было очень важное: она явилась ходатайствовать о защите своих прав на огромные поместья, которые ее отец имел в Грузии и которые у нее дальние родственники хотели оттягать, опираясь на шаха. Ябедники поехали в Тегеран, а княжна поехала в Петербург. Только один двоюродный брат ее, Гассан, принял ее сторону и последовал за ней в Россию. Он же, по слухам в городе, считался ее женихом и собирался жениться на ней в случае успеха, ибо, кроме огромных поместий, у нее будто бы миллион приданого.

Когда юность, сиротство и богатство княжны уже не подлежали никакому сомнению, когда лейб-гусар Велемирский протрубил о божественной красоте княжны Эмете, которую собственными глазами видел в двух шагах расстояния,— многие сановники и многие дамы стали пробовать из тщеславия познакомиться с персидской красавицей, обладательницей миллиона... Но попытки не увенчались успехом. Некоторые пролезли даже в дом и отважно заявили о желании «спознакомиться» с ее светлостью. Но назойливых гостей принял пере-

водчик княжны, вечно мрачный, с черно-сизой головой, Саид Дербент, и объявил, что Адидже-Эмете не примет никого, пока не побывает у князя Таврического и не справит дела, за которым пожаловала в Питер. Опекун и духовник княжны тоже появлялись, но, не говоря и не понимая ни слова по-русски, лопотали что-то по-своему, переговариваясь с переводчиком, и недружелюбно, цепными псами, поглядывали на гостей.

Однажды, благодаря назойливости питерцев, случилось и маленькое происшествие... В числе барынь, настойчиво и бесцеремонно желавших пролезть к княжне, была одна княгиня Рассадкина, вдова, у которой был единственный сын, малый лет тридцати, мушкетер, и которого княгиня все стремилась усердно, но неудачно, на ком-нибудь женить, разумеется, при условии хорошего приданого. Прослышав про новоявленную сироту княжну из Персидской страны, обладательницу миллиона, княгиня пищи и сна лишилась. Стала она мечтать женить сына Капитошу на княжне Эмете.

«Вот бы партия-то! Вот бы озлилась Анна Афанасьевна... Лопнул бы со злости Павел Кондратьич... Ахнул бы весь Петербург... Вот бы счастье Капитоше!»

Разумеется, она недолго мечтала и скоро начала действовать... Сто рублей истратила она на подкуп людей из русских и на выведывание у них подноготной о княжне. Но русская дворня княжны сама ничего не знала о своей новой барышне... Переводчик Дербент был не словоохотлив и ни с кем из нанятых людей не разговаривал, только разве когда надо было что приказать сделать... Абдурахим и Мирза-Ибрагим вовсе по-русски не знали. Старая Фатьма и пожилая Абаде совсем не показывались из верхних горниц и, как ходил между дворовыми слух, обе только ели, а затем спали беспробудно и день, и ночь...

Перепробовав все средства, княгиня Рассадкина решилась и поехала самолично добиваться знакомства.

«Будь что будет! А ради Капитоши я хоть на крепостную стену с пушкой полезу!» — решила княгиня.

Когда о княгине доложили, Саид-Дербент принял ее в гостиной и на выраженное ею на все лады желание познакомиться с княжной отвечал прямо, с восточным хладнокровием, то же самое, что и другим:

— Теперь нельзя. Позднее, пожалуй, можно...

Но княгиня, тщетно поспорив, заявила наконец господину Дербентову, «что она вот как села, так и будет, что кочан на гряде», сидеть до тех пор, пока княжна не допустит ее до себя, так как она, во-первых, сама русская княгиня и «не хуже персидской княжны», а во-вторых, исполнять прихоти «всякого служителя» не намерена.

— Эдо кдо злужидель? — мрачно и гробовым голосом спросил Саид-Аль-Рашид-Дербент, произносивший русские слова правильно, но заменявший одни согласные буквы другими.

— Вы служитель княжны... И должны доложить обо мне,— заявила княгиня.— Не захочет она сама меня принять, тогда иное дело... Я плюну и уеду.

Дербент крикнул лакея-персиянина и что-то приказал ему. Чрез минуту явились свирепо угрюмые опекун Ибрагим-Абд-Улла и духовник Абдурахим-Талеб, а с ними еще два персиянина... Все затараторили по-своему, быстро, часто и хрипливо.

И переводчик заявил княгине, что вот господин Мирза-Ибрагим-Абд-Улла приказал просить княгиню выходить и уезжать «с добротой и со здоровьем».

Дербент, верно, хотел сказать — подобру-поздорову. В противном случае Мирза-Ибрагим грозит вывести ее из дому.

Княгиня рассвирепела. Персиды! Дрянь! Мразь! Чучелы огородные! И смеют с ней, с русской княгиней!..

Произошло маленькое неприятное для всех приключение... Княгиня бранилась и не шла...

Персияне полопотали опять, как бы соображаясь, и наконец Мирза-Ибрагим-Абд-Улла приказал слугам княгиню взять под локотки и за талию.

И персидские невежи повели вон и вывели на подъезд, где она, бранясь и крича на всю Итальянскую, грозясь чуть не войной России с Персией, сама уже влезла в свой рыдван и плюнула.

А пока выпроваживали княгиню из гостиной, маленькая фигурка, с прелестным смугло-румяным личиком, одетая в алое бархатное платье, выглядывала в приотворенную из гостиной дверь и смеялась до слез всей этой сумятице. Это была, по всей вероятности, сама юная княжна Изфаганова.

III

Однажды, около полудня, в большой зале Таврического дворца, в приемный день, вся толпа посетителей и просителей вдруг особенно оживилась...

У подъезда князя появилась карета персидской княжны, а адъютант пробежал докладывать об ее прибытии.

У князя Потемкина был прием, но начался он недавно, и зала была полна сановников, генералов и, как всегда, всякий почти день — полна всяким народом, от чужеземцев, секретарей иностранных резидентов и банкиров — до простых дворян, провинциалов и мелких чинов военных, штатских, прапорщиков и регистраторов... На этот раз была кучка купцов из Новгорода, явившихся хлопотать о важном торговом деле.

Говор тихий и сдержанный все-таки гудел в зале, но когда появилась на дворе голубая карета цугом вороных коней, с лакеями на запятках, в высоких мерлушечьих колпаках, в халатах, расшитых позументами и с кинжалами за поясами, все догадались, бросили беседу и двинулись к окнам.

Раздались голоса:

— Это княжна Изфаганова!

— Персидская княжна!

— Персидка с Итальянской!

Адъютанты пробежали обратно чрез залу на лестницу... За ними вышел любимец князя, полковник Баур, и тоже пошел навстречу к прибывшей.

Все обернулись к дверям, и чрез несколько минут в зале, на глазах у всех, под руку с Бауром появилась молодая девушка, в алом бархатном платье, почти европейского покроя, с корсажем и рукавами, вышитыми золотом. Только на светло-белокурых волосах, которые вились кудрями, не было по обычаю пудры. На голове была серебристая круглая шапочка, а с нее на плечи и до пояса падал шелковый белый тонкий вуаль или покров, вышитый по краям цветами серебром. На шапочке горели огнем крупные бриллианты и рубины, на талии был пояс, сплошь унизанный огромными бирюзами. На ручках красавицы была тоже масса колец, и они тоже искрились драгоценными каменьями, а маленькие ножки были обуты в алые шелковые башмаки, на чересчур высоких каблуках, от которых княжна видимо шла с трудом и с особенной осторожностью...

Княжна Эмете окинула всю публику в зале холодным и гордым взглядом, но многие из сановников заметили, что это была напускная восточная важность... или «щит смущенья», чтобы не ударить лицом в грязь перед чужими людьми. Видно было, что к этому миловидному свеженькому личику, с прелестным носиком и с синими, почти зеленоватыми глазками, не шла важность и напыщенная холодность... Обладательнице этих розовых губок и зеленых глазок — век бы смеяться.

За княжной, почти вплотную, стали рядом, в великолепных цветных шелковых халатах, ее опекун и духовник, с клинообразными, черными как уголь бородами и с дорогим оружием. На кинжалах и шашках горели алмазы, а рукоятки были тоже сплошь залиты бирюзой.

Переводчик Саид-Дербент был сбоку — и не рядом с княжной, и не сзади ее. Его костюм был простой, так как он не был ни дворянин, ни богач, а попал в свиту княжны только ради знания языков — русского и персидского...

Сзади всех, около дверей, стала стенкой свита: адъютанты с Гассаном и две женщины, Абаде и Фатьма. Они несколько дико озирали залу и присутствующих. Мрачнее всех выглядывал духовник княжны — Абдурахим. Он будто злился, что его привезли сюда.

Баур тотчас же предложил княжне кресло, которое приставил камер-лакей. Девушка села, бесцеремонно вытянув ножки из-под своего алого платья, и смело оглядывала всех,— и генералов, и сенаторов, и офицеров, и купцов. И хотя она видела и понимала, что привлекает исключительное внимание, однако не смущалась и упорно глядела в глаза всякому, смотревшему прямо на нее.

В зале снова начался говор, но уж исключительно о княжне.

— Хорошенькая! Прелесть! Котенок! Глядите, совсем кошечка,— слышалось в одном углу.

— А ведь прелесть княжна-то! Этакую женушку иному и русскому молодцу не стыдно за себя взять.

— Хороша пташка... Ну и перышки тоже не плохи! Смотрите, на ермолке-то каменьев что у нее нацеплено. Собери их все, так за одну эту горсточку целую вотчину купишь,— говорили старики.

— Вот красавица-то! Глазки-то бирюзовые... А губки-то!

— Выкрашены сандалом.

— Полно врать... От природы. Прелесть! — говорили чиновники и офицеры, просители, адъютанты князя и другая молодежь.

— Бархат-то на ней, сдается, французский, а не свой. Знать, в Персии его не изловчились делать! — заметил один из новгородцев.

— А у нас умеют? Вестимо, и к ним туда француз да немец пролез и шибче всех, поди, торгует,— отвечал другой...

— В полчаса времени, братец ты мой, можно в нее врезаться и без ума без памяти,— решил в своем углу и заявил товарищу капитан Немцевич.

Княжна между тем обратилась к своему опекуну и тихо заговорила с ним по-своему. Странные и дикие звуки незнакомого языка долетали до слуха публики... И тотчас горячо заспорили о том — труден ли персидский язык для изучения... Одни уверяли, что «дело плевое», а другой уверял, что «вовеки не осилишь». Никто из спорящих, разумеется, не знал ни единого персидского слова.

Князь, который занят был в кабинете с резидентом императора Леопольда, поневоле заставлял княжну Эмете дожидаться в зале.

Немец-австриец был в этот день в Таврическом дворце по особо важному делу, почти с миссией от своего правительства «уломать» князя Потемкина. Венский кабинет знал отлично положение дел в России и даже новые веяния при дворе, недавнее значение все возвышавшегося в фаворе и могуществе молоденького двадцатичетырехлетнего флигель-адъютанта Зубова... Все мелкие интриги двора и приближенных царицы российской были в Вене хорошо известны благодаря Кобенцелю. Князь Потемкин не по слухам, а по их достовернейшим сведениям падал во мнении императрицы и лишался постепенно прежнего значения. Но насколько был он близок к полному падению и насколько был еще в данную минуту силен — было неизвестно. Это могло знать одно лицо — сама императрица Всероссийская, и никто больше. А между тем время было дорого. Надо было как можно скорее заставить Россию заключить мир с Портою и никак не допускать открытия вновь кампании и военных действий на Дунае.

А главный враг мира с султаном был князь. Пока Зубов поднимется и приобретет полное влияние на ум стареющей повелительницы северного колосса, Потем-

кин успеет уговорить царицу поставить на своем — вернуться в армию и начать снова погром издыхающей Турции...

Австриец поднялся наконец и пошел вон. Князь остался один, потянувшись как после сна, сладко и протяжно охнул.

— Экий леший,— выговорил он.— Умаял! Точно в телеге — растрясло... Ну, теперь надо приниматься за княжну Эмете... или как там ее... Надо в нее влюбиться, а других хоть на время побоку. Что делать? Персидская княжна интереснее во сто крат! Кого ни спроси, ахают — красавица писаная.

Князь постоял и подумал, соображая:

«Выходить?.. Или сюда просить? Нет, черт с ними. Да и лучше при всех. На глазах столичных мельниц куры персидке строить начну. Пусть смотрят и разносят по всему городу. Да и завидуют!»

Князь огляделся в зеркало, поправил кружево на груди и, обтянув на себе камзол, молодцевато вышел в залу, не медвежьей, как всегда, походкой, а легкой и элегантной.

Подумаешь, и впрямь, что ли, захотелось вдруг прихотливому баловню счастья понравиться персидской красавице.

При появлении на пороге светлейшего генерал-фельдмаршала все зашевелилось и двинулось, низко кланяясь всесильному временщику.

IV

После первого же приветствия Потемкин стал пристально вглядываться в личико княжны... Все заметили, по выражению его лица, что маленькая персиянка сразу произвела на князя особенно сильное впечатление. Известная всем слабость его к прекрасному полу наглядно сказалась здесь тотчас же... Князь улыбался, голос его понизился и стал вежливо-ласков; он, казалось, не знал, как любезнее обойтись с этой прелестной и элегантной гостьей, явившейся сюда как в сказке царевны из-за тридевяти земель. Стоя пред маленькой девушкой, он казался еще выше, огромнее, колоссальнее, и его любезничание было еще смешнее. А княжна, наоборот, казалась теперь около богатыря князя еще меньше ростом...

«Вот уж и впрямь черт с младенцем связался!» — подумал про себя пословицей один остряк генерал, враг князя.

Княжна раскланялась и присела, совсем как бы придворная дама европейского государства, а не Персии, но затем она приложила руку ко лбу, потом к сердцу и сказала несколько слов по-своему... Выступивший на шаг вперед Саид-Дербент объявил князю громким, но странным русским языком, благодаря употреблению одних согласных вместо других, что княжна Адидже-Халиль-Эмете-Изфагань — дочь именитого Мирзы — приветствует всем разумом и сердцем славного вельможу князя, правую руку российской царицы, душу и разум великой империи россиян, победителя оттоман, покорителя стран и народов Европы и Азии, устроителя городов и насадителя просвещения, добродетели и правосудия...

Князь отблагодарил и сказал, что рад видеть в Петербурге такую замечательную красавицу, как княжна Изфаганова.

Дербент передал девушке слова его... Она улыбнулась и заговорила более мягким голосом, как-то вкрадчиво и кокетливо щуря свои зеленоватые глазки на богатыря.

Переводчик выслушал и перевел по-русски:

— Гняжна Эмете Изфагань сказывал гнязью: в персидскэм царства замедил все луди, чдо деперь солнца не дакой светлый, как прежде был... Эдо слава герой гнязья Даврическай больше солнца сведлый деперь... Солнца другой места деперь на земла, а гнязья Даврическай первый места.

Князь добродушно рассмеялся восточному комплименту княжны.

Он отвечал:

— Моя слава не может затмить ослепительные лучи солнца, а вот прекрасные черты лица и небесные очи, которые я теперь имею счастие зреть, действительно ослепляют и очаровывают сердце. Я пленник и раб княжны Эмете. Пусть она приказывает. Ее желания будут мне повелениями.

Саид-Аль-Рашид-Дербент стал медленно передавать, и красавица, слушавшая с опущенными глазами переводчика, кокетливо, стыдливо вдруг вскинула их на Потемкина и глянула ему в лицо уже не с восточной сдержанностью.

— Шустрый бесенок! — шепнул один сановник соседу.

«Вишь, кошечка какая... Того и гляди, нашего князя цап-царапнет», — подумал остряк генерал.

— Фу-ты, ну-ты! Отдай все, да мало... Ангелок персидка! — чуть не сказал вслух один старик сановник, стоя невдалеке от княжны и давно уж любуясь ею во все глаза.

Потемкин между тем спросил, какое дело привело княжну в Россию и в столицу и чем он может служить ей. Дербент начал речь, приготовленную, очевидно, заранее... и начал издалека, чуть не с потопа... Смысл был такой:

«Когда, по воле Аллаха, началась на земле великая распря и мир был потрясен и поколеблен злодеяниями суннитов и подвигами шиитов... тогда некоторый святой муж, пустынник, избранник Божий и последователь Магомета...»

Но князь вдруг прервал речь Дербента и попросил его предложить княжне пройти в кабинет и там объяснить свое дело.

По слову переводчика, все персияне, даже две старухи, двинулись с места, но Потемкин приостановил их и заявил, что достаточно, если княжна с одним переводчиком пройдет к нему.

Княжна тотчас охотно и весело согласилась. Ибрагим что-то пробурчал, но Дербент зарычал на него — и опекун покорился. Потемкин попросил жестом княжну идти вперед и двинулся за ней вслед, а Дербент, важно и с высока своего величия, озираясь на всю публику, зашагал за князем.

Когда все трое скрылись за дверями кабинета, в зале поднялся сдержанный говор. У всех на языке была, конечно, княжна. В группе сановников слышалось восклицание:

— Кошечка! Просто котеночек!

— Какая прелестница — каналья.

— Вон, батюшка, в Персии-то какие девчурочки водятся, хоть в карман сажай! — нежно говорил сенатор.

— А ведь наш князь на нее шибко зарился, — заметил капитан Немцевич.

— Замечательного ума девица. По-русски учится и скоро говорить начнет! — объяснял Баур кучке собравшихся вокруг него лиц.

На этот раз всем чаявшим приема пришлось дожидаться. Княжна просидела в кабинете около часу. Когда, вскоре после ее ухода со светлейшим, сунулся было в кабинет с докладом один адъютант, то мгновенно появился обратно в зале несколько быстрее и с физиономией, как сказывается, «ошпаренного». После этого уж никто не шел в кабинет и всякому вновь прибывшему курьеру советовали обождать и не соваться.

— Надо так полагать, что дело княжны незауряд важное или любопытное для светлейшего! — пошутил генерал-остряк.

Многие ухмылялись, переглядываясь...

Наконец дверь отворилась, князь весело смеялся и, нагибаясь насколько мог, вел гостью под руку... Княжна, несмотря на свои чрезмерно высокие каблуки, все-таки, казалось, вытягивалась и становилась на цыпочки, чтобы подать руку богатырю. Саид-Дербент шагал за ними.

Княжна Эмете, двигаясь чрез залу, произнесла несколько слов с расстановкой по-русски, с трудом выговаривая, но правильно и почти без иноземного акцента.

— Еще надо учить. Много учить! — говорила она, кокетливо заглядывая в лицо нагибавшегося к ней князя.— Я скоро... скоро... Тогда я без Дербент с князь говорить будет сама.

Все слышали слова княжны, и многие удивлялись чистоте произношения.

Светлейший не ограничился тем, чтобы проводить княжну до дверей залы. Он прошел далее... Свита княжны и Баур последовали за ним гурьбой.

К изумлению всех, князь проводил красавицу по всей лестнице до швейцарской и дождался, пока она села в карету и послала ему ручкой поцелуй.

Тогда он двинулся обратно, медленно переступая и тяжело поднимаясь по ступеням лестницы. Он шел усмехаясь и опустив глаза в пол, будто вспоминая или соображая нечто забавное и приятное вместе... На пороге дверей залы он остановился.

— Какова, господа, княжна? — сказал он громко, обращаясь ко всем и не глядя ни на кого в отдельности.

Ближайшие отвечали комплиментами.

— Предрекаю, господа, заранее, что княжна многих у нас в Питере очарует и одурачит. Помяните мое слово...

«Не суди по себе!» — подумали многие в ответ.

Князь прошел в кабинет и продолжал прием просителей и докладчиков.

Разумеется, через часа два после разъезда из дворца всех присутствовавших на приеме,— вся столица уже знала, как князь принял, час целый беседовал через переводчика и, главное, как проводил до подъезда красавицу княжну.

Вечером многие уже решили, что княжне Эмете не миновать когтей влюбчивого и настойчивого невского Алкивиада.

У Зубова на вечере — гости и друзья его советовали ему взять под свою защиту, от распущенного нрава князя, сироту персиянку.

— Вы сами можете тоже хлопотать по ее делу до правительства,— говорили гости Зубова.— По крайней мере, честь при ней останется. А он ее загубит, ради праздности. Ведь этот срам на нас, на столицу ляжет.

Зубов отговаривался и не хотел вмешиваться, чтобы подливать масла в огонь, т. е. окончательно сломить свои отношения с князем.

— Я ему и не в силах помешать, коли захочет блажить,— говорил Зубов.— Не стеречь же мне эту приезжую княжну. У нее свои опекуны есть, с ней приехали. Им нечего Потемкина бояться.

— Срам будет... До персидского шаха срам на Россию и русских людей дойдет. Да и жаль девочку, сироту круглую! — уговаривали Зубова.

— Там увидим! — уступил наконец хозяин.

Наутро все уже знали подробности о княжне и о том, что князь в нее с приезда влюблен, и давно у нее тайно и скрытно на Итальянской сидит до полуночи. Как всегда сочинили... на этот раз выдумка вышла предсказанием.

В тот же вечер князь действительно поехал к княжне Эмете и просидел у нее до одиннадцати часов вечера. Впрочем, князь и не скрывал этого визита. Все могли видеть у подъезда «грузинского дома» экипаж и конвой светлейшего.

Прошла неделя.

По-видимому, князь был действительно быстро очарован и пленен маленькой Эмете. Весь город знал уже, что светлейший иногда далеко за полночь засиживается в «грузинском доме», который теперь стали звать в шутку: «Тавридо-персидский дворец».

Все, лично видевшие княжну Эмете, заявляли и сами сознавались, что, как мимолетная прихоть для влюбчивого человека — интереснее ничего выдумать или требовать было нельзя.

Богатство, знатное происхождение, красота, юность, ум, грация, кокетство и тонкая светская живость, природная, изящная, сдержанная в границах приличия,— все это было в княжне Изфагановой. И если всякий без различия юный молодец гвардеец или придворный не прочь бы был влюбиться и жениться на княжне, то почему пятидесятилетнему Потемкину не увлечься кокеткой, которая, вероятно, из личных выгод, а отчасти и из тщеславия, усердно кокетничает с ним... Да и почем знать расчеты персидской крошки княжны. Как она ни богата, а князь Потемкин богаче... Как она ни знатна там у себя за Каспием, а светлейший еще знатнее и славен на всю Европу и Азию... И он ведь не женат. А холостая жизнь ему, быть может, уже начинает прискучивать... Как раз может жениться, потому что уже давно пора. Холостяки, враги брака, всегда попадаются в сети не ранее сорока и не позже пятидесяти или пятидесяти пяти годов. А князю как раз эти самые года подошли. Почем знать, не сообразила ли и не взвесила ли все эти обстоятельства юная кокетка Эмете? А может ли он, мужчина за пятьдесят лет, понравиться ей, девушке семнадцати... Да ведь он — «знаменитый князь Тавриды», а не простой смертный. Да таким маленьким женщинам, говорят, всегда нравятся преимущественно богатыри, и наоборот — князь-колосс, с косой саженью в плечах, может по той же причине влюбиться в эту миниатюрную девушку.

Он же любит, вдобавок, все восточное — поклонник усердный глаз, бровей и кос цвета воронова крыла, шальвар, ятаганов, гашиша и кальяна... Чем Эмете не «предмет» для князя. И чем персиянка не невеста для старого холостяка.

Так за эту неделю судили ежедневно по гостиным и приемным, на вечерах и балах.

Чтобы не прерывать занятий делами и в то же время видаться с очаровательницей, князь Потемкин стал у нее принимать курьеров и даже назначил, к соблазну многих, вечерний доклад в том же «грузинском доме», где он совсем расположился как у себя. В одной из гостиных был поставлен письменный стол для бумаг и письма, а в другой ожидали докладчики.

Два раза княжна была вечером в гостях у князя, но других гостей не было. Она приезжала совершенно одна, без опекунов и даже без переводчика, так как начала будто бы сносно мараковать по-русски. Этому быстрому чересчур изучению русского языка, разумеется, никто не поверил, так как с приезда княжны в столицу едва прошло три недели.

Сплетники уверяли, что княжна пользовалась в беседах с Потемкиным по-прежнему переводчиком и у себя дома, и у князя в гостях, но что Саид-Аль-Рашида временно отстранили, заменив какой-то старухой армянкой, найденной в столице и поселенной в Таврическом дворце. А эта армянка закуплена князем, чтобы ничего не видеть, что увидит, и ничего не слыхать, что услышит, а главное — не болтать.

— Ну, вот, чрез армяшку сладкопевно и беседуют они,— говорили, подсмеиваясь, в столице.

После двух или трех визитов к княжне Потемкин свез к ней однажды и своего виртуоза, о котором вспомнил.

Самозваный маркиз, не вызываемый князем для игры, совсем пропадал по целым дням и ночам из дворца, болтаясь по разным гербергам. Перезнакомившись со многими офицерами, он бывал и в гостях, но играть не мог нигде.

Только однажды, под величайшим секретом, сыграл он в доме богача графа Велемирского — для него и его товарищей.

Князь, поместивший и обставивший музыканта у себя во дворце по-барски и щедро плативший ему жалованье, запретил Морельену играть в чужих людях.

— И вы мой, и музыка ваша моя! — сказал ему князь, тотчас после пресловутого концерта.

Князь, конечно, ни слова не сказал тогда музыканту, что его самозванство раскрылось, и виду ему не подал, что взбешен.

«Черт с ним! Пускай ничего не знает и себя маркизом величает. Все в свое время. И ему отплата должка моего будет... А пока пущай его!»

Впрочем, князь был когда-то особенно взбешен — не на самого Шмитгофа, а на Брускова, не оправдавшего его доверия. Так как главный виновник был уже прощен и вернулся в столицу, то на самого виртуоза-самозванца сердиться теперь и подавно не приходилось.

Музыкант был представлен княжне Эмете как француз маркиз Морельен де ла Тур д'Овер, а не как «странный» проходимец неизвестной народности.

После первого же дебюта у персидской княжны музыкант увидел, что он произвел на красавицу Эмете сильное впечатление своей музыкой.

На другой же день, еще в сумерки, княжна прислала своего двоюродного брата Гассана и переводчика Саида в Таврический дворец просить к себе Морельена. Музыкант не посмел отправиться самовольно, и пришлось доложить князю.

Тот же капитан Немцевич пошел с докладом в кабинет и затем разболтал во дворце то, что при этом ему случилось слышать.

Князь, по рассказу капитана, узнав, в чем дело, задумался и долго молчал. «Все причуды!» — вымолвил он будто про себя. «Бабий конь именуется: прихоть, каприз. На нем она с сотворения мира и едет... и валится с него наземь то и дело». Затем, помолчав еще немного, князь вымолвил, как бы обращаясь к капитану: «Влюбится, пожалуй. Ведь он играет божественно. Это надо ему честь отдать...» Князь замолчал, опять задумавшись, а капитан не посмел ничего сказать. «Как тут рассудить. А?» — вдруг спросил наконец князь уже прямо.

Однако, в конце концов, светлейший позволил Морельену ехать, обещаясь быть и сам — раньше обыкновенного.

Виртуоз был очень доволен разрешением. Княжна была так прелестна и так милостива с ним накануне, что ему даже во сне приснилась.

— Charmant enfant. Linda piccolina. Hübsches Kind... Dear little... Pulcra mujer!..[1] — болтал Морельен, надевая весело новое платье — оранжевый камзол и ярко-лиловый шелковый кафтан... Долго провозился артист с буклями своего парика, чтобы придать им живописный беспорядок, а затем долго теребил накрахмаленное кружево на груди, чтобы рюшь и складочки гармонировали с прической.

— Проклатые прачки московитские...— ворчал он по-немецки себе под нос.— То ли дело у нас в Вильне и Варшаве. Варвары! Ничего здесь нет порядочного. Страна снегов, рабов, и больше ничего!

Наконец, разодевшись, раздушившись, уложив свою

[1] Милая крошка *(фр., ит., нем., англ., исп.)*.

волшебную скрипку в ящик, Морельен вышел вместе с двумя персиянами, но сел не в их карету, а в свою.

Княжна приняла музыканта особенно милостиво и радостно. Она объяснила Морельену чрез Саида, что всю ночь не спала, потому что все чудились ей волшебные звуки.

Одета была Эмете очень просто, но очень элегантно. Светлое нежно-голубое бирюзовое платье без шитья, без золота или каких-либо украшений. Серый пепельный и легкий, как дымка, вуаль, пришпиленный к кудрявой белокурой головке,— составляли весь ее наряд. Ни единого кольца или какого-либо камушка не блестело на ней...

Но музыканту почему-то показалось, несмотря на простой наряд княжны, так сказать почудилось, что хозяйка занялась собой так же, как и он занимался собой пред выездом к ней.

Эмете была особенно красива.

Голубое бирюзовое платье шло к ней, к ее нежному, светленькому и свеженькому личику, к ее тоже бирюзовым глазам, к ее светлокудрой головке, а серый, цвета золы, вуаль, ниспадавший покровом, придавал что-то особенно чарующее всему лицу... Она казалась еще белее, нежнее, румянец на щеках пылал ярче, обнаженная шея и тело в маленьком вырезе на груди сквозили в этих пепельных волнах тонкого вуаля и казались еще белее за сероватой дымкой кисеи.

Началась музыка... На этот раз виртуоз остался случайно глаз на глаз с княжной. Саид, после первой же сыгранной пьесы, начал отчаянно зевать и попросился уйти. Гассана еще раньше вызвали. Опекун и духовник тоже выехали или уже спали.

Морельен играл и играл... Томный взгляд, милая улыбка, серьезная складочка прелестных алых губок красавицы — все воодушевляло виртуоза. Быть может, на этот раз — и он это чувствовал — он играл лучше, чем когда-либо. И наконец, окончив одну пьесу и взглянув на княжну, виртуоз увидел ее лицо в слезах...

Эмете заговорила тихо и с чувством, но по-своему и как бы себе самой, и Морельен не мог понять ее. Зато все, что говорили прекрасные глаза в слезах, смущенное оживленное лицо,— он хорошо понял. Он видел ясно и то, как Эмете донельзя сконфужена и устыдилась своих невольных слез, как если б они были совершенно неуместные. Яркий румянец стыда покрыл все лицо

княжны, когда виртуоз пристально стал смотреть на нее, польщенный этими слезами.

— Не надо это... Но не могу! — произнесла отчетливо Эмете, к изумлению Морельена.

— Вы? По-русски? — произнес он.

— Да. Немного. Много нельзя...

И оба, равно с трудом выражаясь, начали говорить по-русски медленно и односложно. Слов то и дело не хватало ни тому, ни другому. Артист произносил тогда поневоле немецкое слово, княжна какое-нибудь свое, дико звучавшее в ушах его. Они не могли понять друг друга, но затем, при помощи усиленной мимики и жестов, кончили тем, что понимали обоюдно то, что хотели сказать.

Морельен был очарован красотой, ласковостью и простым обхождением княжны. Она смотрела на него иногда так милостиво, что виртуоз начинал смущаться своими собственными помыслами.

Он не знал что подумать, как объяснить эту ласковость обхождения.

«Говорят, что действие музыки на диких,-- подумалось ему,— неотразимое, волшебное. Уверяют, что музыка их, как и змей, может непостижимо очаровывать. А ведь эта княжна полудикая по происхождению и воспитанию. Она никогда, может быть, не слыхала у себя на родине никакого инструмента... Тогда понятно, что она должна перечувствовать в первый раз в жизни при такой игре, какова его...»

Княжна просила сыграть что-нибудь веселое, объяснив жестами... Морельен сыграл тирольский танец и привел ее в иной восторг. Она оживилась...

Наконец появился снова Саид-Аль-Рашид, и при его помощи княжна объяснила Морельену то, что он думал сам, т. е. что она никогда такой музыки не слыхала, благодарит его и просит принять на память от нее подарок...

Она достала кольцо из шкатулки и подала ему: Морельен сначала отказывался, но по ее настоятельной просьбе взял кольцо, поцеловал его и надел на палец, говоря, что всю жизнь будет носить его.

Через несколько минут, хотя было довольно рано, персиянин-лакей доложил о приезде светлейшего.

Князь вошел в гостиную, поздоровался с княжной, кивнул головой виртуозу и глянул на обоих несколько странно, как показалось Морельену. Взгляд князя был и сумрачен, и насмешлив вместе.

Он тотчас отпустил музыканта домой, т. е. вежливо выгнал. Но взгляд Эмете, украдкой брошенный виртуозу вслед, был наградой... И Морельен вышел счастливый.

V

Столичный говор о княжне не умолкал. Особенно сильно заговорили о персиянке, когда какой-то банкир рассказал, что княжна громадные деньги положила у него на сохранение и что вообще она, кажется, свой миллион привезла с собою «чистоганом».

Кончилось тем, что петербургский полицмейстер Рылеев счел долгом доложить о приезде персиян и о миллионном чистогане самой государыне. Он подал бумагу, которая гласила, что присутствие персиян в столице «плодит толикие пустые разговоры, от коих подобает предостеречь многих легковерных людей, дабы они тем праздным словам веры не давали и родить пустые толки о миллионе посильно воздерживались, за что по законам, как за вредительное благочинию празднословие яко противники оному строжайше ответствовать могут».

Государыня за последнее время очень недолюбливала «государственных болтунов и пустословов», т. е. людей, сочинявших хотя бы и невинные, но высшего разбора сплетни, т. е. касавшиеся намерений правительства и «статских дел материй».

А то, что пустила теперь молва в Петербурге, была выдумка, касавшаяся «материи статских дел», т. е. имела и политический характер.

Слух о браке персидской княжны с князем Таврическим, ради создания нового государства из христианских и мусульманских племен, был отголоском политических деяний, фокусов и превращений того времени.

Государыня, к удивлению полицмейстера, на этот раз никакой меры к запрещению не указала, а только смеялась, что «Григорий Александрыч в зятья к шаху попал и кабардинским королем объявился».

Рылеев доложил, что он доподлинно узнал, что за княжна такая — эта приезжая. Он опасался, не шайка ли новая картежников и шулеров, подобно тем, что появлялись постоянно в столице с подложными видами, обделывали разных недорослей из дворян, а иногда и сановников, а затем исчезали... Оказалось, что персияне живут мирно и тихо, тратят действительно большие деньги, но документов никаких княжною и свитою не

предъявлено «за неимением оных и небытием таковых в ее отечестве».

Полицмейстер прибавлял, что сама княжна Эмете Изфаганова для себя только лично имеет документ, но приложила его к своему прошению на имя князя Григория Александровича и передала ему. А Баур сказывал, что это сущая правда.

— Так чего ж тебе еще! И оставь княжну в покое, коли Григорий Александрыч ее лично знает и видает. Ну, что в городе?..

Полицмейстер, как всегда, по обычаю за много лет, передал государыне все новости столицы — и крупные, и мелкие.

Откланиваясь, полицмейстер снова, однако, спросил насчет княжны. Следить ли за ней?

— Князь порукой за персидов!

VI

Скоро у персидской принцессы перебывали почти все. Само же праздное общество создало себе празднословием кумир.

Княжна принимала всех радушно и гостеприимно, кокетливо любезничала с молодежью, еще милее обходилась с пожилыми, очаровывая их тонким лестным смешением бойкого кокетства с почтительным отношением к их годам или отличиям.

— Перецарапала чуть не всех — персидский котеночек! — решил один остряк генерал, таявший больше других перед кокеткой.

Сама княжна не ездила в гости ни к кому, но, несмотря на это, у нее в доме явились и барыни: одни исключительно ради добычи невесты-богачки сынкам, другие, даже и с дочерьми, вследствие одного снедавшего их любопытства. Наконец, третьи явились в «грузинском доме» сами не зная как и зачем... Другие туда едут, как же не заехать...

Наконец однажды княжна заявила, что у нее будет бал, и просила всех сделать ей честь пожаловать...

Начались толки, и пересуды, и колебания... Нашлись барыни, которые в толках о бале заявляли, что поедут только в том случае, если домоседка княжна явится к ним с визитом.

Но княжна по-прежнему не ехала ни к кому и не собиралась ехать.

— Гордячка какая! Скажи на милость! Кто ж это поедет к ней? — говорили барыни.— Еще там о царстве-то Каспийском пока враки одни. Она вот, того и гляди, не в царицы, а в скрипицы попадет, влюбившись в музыканта.

И многие барыни твердо решили не ехать на бал к «гордячке персидке». Но вдруг пробежала молва, что не только князь Таврический будет на бале в числе приглашенных, но все для бала княжны, из любезности, будет дано от него... Лакеи, музыканты, повара, цветы из оранжерей дворца... все будет от князя — даже знаменитый нарышкинский оркестр, оригинальный, единственный не только в России, но и в Европе... Это был хор роговой музыки из рожков разного калибра, изобретенный Нарышкиным и купленный у него князем. Каждый музыкант мог взять на своем рожке только одну ноту, но из них составлялись и исполнялись искусно самые мудреные пьесы и танцы.

Искус великий, и устоять против соблазна кто же может!

— Но почему же она с приезда не была ни у кого? Ведь не из гордости же одной... Ведь она как любезна — у себя. Никакой тени амбиции даже нет. Зачем же она не ездит в гости и не едет приглашать?

Вот вопросы, смущавшие многих.

— Однако если все едут, то и я поеду! — решал всякий. И набралась толпа, из отдельных мнений набралось общественное мнение.

Два дня особое оживление было заметно во дворе и в горницах «грузинского дома». Дом убирался к балу, и подводы с людьми из Таврического дворца запружали двор, и лакеи в ливреях князя Потемкина сновали в горницах.

Княжна Эмете не входила сама ни во что и даже не показывалась из своей маленькой гостиной — все устраивалось в зале и в больших парадных гостиных явившимися дворецкими и лакеями князя под руководством Баура.

Сама княжна хлопотала только о своем туалете при помощи двух горничных — своей персиянки Фатьмы и русской, присланной от князя. Она проработала два дня, собственноручно унизывая свой корсаж многотысячной парюрой из бриллиантов и жемчугов. Эту работу опасно было поручить кому-либо чужому. Тут было целое состояние.

Абдурахим, Дербент, Ибрагим и Гассан ни во что не вмешивались и только дикими очами следили за приготовлениями к балу.

Наконец, на третий день дом ярко осветился. Все окна засияли, освещая улицу, а на подъезде появился в красной с золотом епанче, с громадной булавой известный Питеру швейцар-невшателец. И его дал князь на этот вечер.

Эмете еще одевалась, когда посланный от князя офицер Немцевич прибыл в «грузинский дом» и просил передать княжне от светлейшего на словах вопрос и попросил таковой же ответ.

«Не робеет ли княжна Изфаганова?»

Немцевич передал вопрос Бауру, этот передал его лакею, а лакей русской горничной, приставленной из дворца, которую вызвал из уборной. Горничная передала княжне словесный вопрос.

Княжна задумчиво улыбнулась при этом и велела передать князю:

— Робею шибко, но не за себя...

Скоро начался съезд, и «грузинский дом», роскошно убранный цветами, сиял в огнях. Хозяйка со свитой принимала гостей на пороге из большой гостиной в залу, где попеременно гремели уже два хора музыкантов,— то обыкновенный инструментальный, то роговой.

Княжна мило приветствовала всех. Персияне угрюмо и мрачно кланялись из-за нее гостям, как всегда немые и будто озлобленные.

Многие заметили, однако, что сама княжна как-то менее обыкновенного весела, будто немного озабочена чем-то и рассеянна.

В числе гостей явился и красавец граф Велемирский, так как ни один вечер или бал в городе — вообще какое бы то ни было празднество — не обходилось без него.

Теперь он явился без приглашения, и товарищи уговаривали его не ехать на бал.

Велемирский понимал, что дом, а потому и бал персиян такой особенный, что сюда можно ехать без зову. Явясь, он долго любезничал с княжной и заметил тоже озабоченность красавицы. Глаза ее бродили рассеянно и беспокойно по зале.

Когда гостиная и зала уже были полны народом, внизу у подъезда послышался стук колес и вместе с тем топот коней и бряцание оружия...

Это был князь с своим конвоем.

Светлейший вскоре появился на парадной лестнице, сопутствуемый свитой адъютантов и офицеров всех родов оружия.

Он медленной, тяжелой походкой поднялся по ступеням...

Лицо его было особенно оживленно, весело и довольно.

— Молодец... Спасибо...— сказал он, проходя, Бауру, который его встретил один из первых.— Вишь как! Лучше, чем у меня было. А что наша княжна?..

— Слава Богу.

— И слава нам! Так ли? — усмехнулся князь весело...

— Слава вашей светлости,— отозвался Баур.

— И тебе, разбойник!

Княжна Эмете двинулась навстречу князю такая же озабоченная, но вдруг просияла. В свите князя глаза ее сразу нашли и увидели виртуоза маркиза...

Его отсутствие на бале смущало ее целый час! Но вот он тут... и она будто ожила.

Княжна, улыбаясь как-то особенно лукаво, низко присела пред князем...

Он взял Эмете за руку и долго держал ее, не выпуская, и заговорил, любезно наклоняясь...

Князь невольно любовался ею. Эмете была чрезвычайно авантажна.

Весь туалет ее был дымчатый опаковый с серебром из матово-белого шелка. На голове было нечто вроде легонькой шапочки, вышитой белым шелком, унизанной крупным жемчугом с серебряным шнуром... Стан был перехвачен тоже белым серебряным поясом. Кроме того, на шапочке, на груди и на руках блестели и искрились бриллианты... Ни одного самоцветного камня не надела Эмете на этот раз. Вся ее фигурка была с головы до пят серовато-белая, серебристая и блестящая ярким алмазным блеском... Только румянец на щеках был розовый, только прелестные глаза заменяли бирюзу, только губки напоминали рубины...

— Один у вас порок,— сказал князь, и лицо его стало чуть-чуть суровее...— Ваше сердце холодно, как лед... Такая холодность чувств прилична бы уроженке северных стран, а не Персии.

Княжна опять промолчала и только опустила глаза и стояла недвижно, будто ожидая, чтобы князь ее отпустил, освободил.

— Однако я вас удерживаю. Пора начинать танцы,— вымолвил быстро Потемкин, будто догадавшись.

Княжна двинулась в залу, он последовал за ней.

Когда князь появился на пороге, грянула музыка и танцы начались.

VII

Едва князь очутился в толпе обступивших его льстецов и ухаживателей и удалился от дверей гостиной, как княжна ловким маневром очутила́сь в этих дверях и, найдя на пороге артиста, подала ему руку.

— Я очень пужалась, вы не приедет! — выговорила она быстро и взглянула на молодого человека такими глазами, что он невольно смутился...

Это не была только гостеприимная хозяйка, любезно бросающая фразу приветствия... В словах княжны была какая-то фамильярность и было даже чувство. Многие, стоявшие тут же, с любопытством прислушивались. Но княжна, казалось, не замечала никого или не обращала никакого внимания на толпу.

— Я наехал с князь,— отозвался артист на ее любезность, тоже ломаным русским языком.

— Да. Я увидел вас... И очень обрадовал. Послушай. Вы танцевать. Да. Конечно.

— Да-с... Но я не знай... Я боился, много ваш гость дам не хочет мне сделай честь...

— Маркиз Морельен делай честь для русский дам, а не дам для французский дворянин! — любезно отозвалась княжна.

Несколько человек фыркнули и отвернулись.

Молодой человек промолчал и потупился пред княжной.

— Я приглашай вас сама второй менуэт. Послушай... согласна, маркиз?

— Но я невем, княжна,— заговорил, смущаясь, артист...— Добже... Но я у князь Потемкин...

Артист не успел договорить. Около него появилась вдруг высокая фигура князя, и, оттеснив его, светлейший снова заговорил любезно с княжной... Все кругом видели, что княжна Эмете сразу будто разучилась по-русски, отвечала односложно, не то смущаясь, не то досадуя.

Раздалась ритурнель менуэта, и граф Велемирский подошел к княжне и поклонился.

Князь с изумлением взглянул на офицера. Он хорошо знал его и даже покровительствовал ему вследствие того, что тот был родственником мужа графини Браницкой.

Лицо князя омрачилось при виде этого офицера, известного в Петербурге волокиты. Он уже подавал руку княжне, чтобы вести ее на место...

Князь двинулся и тихо вымолвил голосом, в котором была строгость:

— Велемирский! На два слова...

Граф, заметивший выражение лица и голоса князя, несколько робко подошел к нему.

— Зачем ты здесь? Кто тебя пригласил?

— Никто,— совершенно смутившись, прошептал офицер, и лицо его пошло пятнами.— Я полагал...

И офицер смолк, не зная, что сказать...

— Ступай. Уезжай отсюда и нимало не медля...— строго выговорил князь.

— Но как же менуэт? Я пригласил...

— Пустое.

И князь прибавил громче, обращаясь к княжне, которая стояла в двух шагах и с совершенно изумленным лицом смотрела на князя:

— Княжна, вы извините графа. Ему надо домой ехать сию минуту... Ступай! — обернулся князь к офицеру.

Несмотря на то что эта сцена произошла быстро и князь говорил тихо и осторожно, но так как общее внимание было обращено на него, то иные все слышали, а другие видели и догадались...

Офицер почтительно, но с явным негодованием в лице вышел из залы и быстрой походкой взволнованного человека двинулся чрез ряд гостиных к лестнице.

Князь подошел к Эмете, все еще изумленной.

— Зачем вы прогнали графа? — вымолвила она беспокойно.

— Это нелюбопытно знать! — гневно сказал князь, подал ей руку и стал с ней среди пар, готовых начинать менуэт. В то же время взор его бродил в зале, отыскивая кого-то. Менуэт начался... Все глаза были обращены на танцующего князя. Все были изумлены... Нетанцующие осторожно перешептывались.

— Видели? Какова?

— Вот врезался-то.

— Каково! Прогнал...

— Это уж что-то по-турецки. Может, он этак на

балах в Измаиле или Очакове после штурмов с пленницами привык танцевать. Кавалера вон, а сам на его место.

— Ну, жди, судари мои, чего диковинного в скором времени. Этакое так просто не сойдет.

Шепот и злоязычие длилось всю первую фигуру.

Кончив фигуру, князь подозвал молодого кирасира, нетанцевавшего и которого он даже не знал по имени.

— Выручи, голубчик. Кончай за меня. Не за свое дело взялся. Стар... Простите, княжна... Вот вам кавалер.

Кирасир, довольный и польщенный, стал на место князя, а светлейший отошел в толпу глядевших на танцы.

Шепот прекратился, и ближайшие к князю обратились к нему с комплиментами.

— Где мне! Стар. Прежде умел не хуже нынешней молодежи.

Между тем на лестнице взбешенный граф Велемирский повстречал Баура, которого хорошо знал, и стал горячо жаловаться на поступок с ним князя.

— Здесь все незваные. Здесь ведь бывает всякий народ.

— Полно, граф. Не стоит горячиться. Уезжайте. Этак лучше. Право,— говорил Баур.

— Что ж он? В самом деле, что ли, разум от персидки потерял?

— Полно. Пустое.

— Да разве это не ревность?

— Ну вот еще... Поезжайте домой! — усмехнулся Баур.— Я и сам жалею, что вас не видал прежде князя, а то бы тоже не апробовал вашего приезда. Полно горячиться... Уезжайте. Ну, прогнал — эка важность. Завтра где отпляшете вволю.

И Баур, успокоив офицера, проводил его до лестницы и, вернувшись, пошел по гостиным поглядеть, все ли в порядке. Обойдя все гостиные, где прохаживались гости, он заглянул и в залу.

Князь стоял на пороге один, увидел любимца и подозвал его.

— А гляди-ка! Гляди! — мотнул он головой.— Говорили, мало будет народу. Не поедут... Небось!..

— Да-с. Много,—отозвался Баур.— Я даже, признаюсь, не ожидал такого многолюдства...

— Нет, а ты скажи, какова наша княжна! — вдруг

воскликнул Потемкин.— Ведь просто алмаз. Ты посмотри. как красива в этом сереньком покрывале. Какое лицо... Какие глаза... Как танцует! Как принимает и любезничает со всеми. Как русские слова говорит, которые только вчера выучила. А?

Князь весело расхохотался.

Бал все оживлялся. Всюду все нетанцующие тоже весело двигались и без умолку пересмеивались. Видно было, что помимо танцев было что-то оживлявшее толпу.

Было злорадство. Они приехали сюда, уступив любопытству и унизив немного свою гордость. Надо было отомстить злоязычьем и хозяйке, и ее патрону, этому гордецу.

А злорадствовать было отчего. Во время второго менуэта князь не спускал глаз с красавицы персиянки, и лицо его было угрюмо... И этого мало. Он не дождался не только конца бала, который сам устроил, но не дождался даже конца этого менуэта и уехал...

Какая была этому причина.

Толпа гостей поняла все. Князь был взбешен.

Этот второй менуэт княжна Эмете танцевала с проходимцем музыкантом, которого он же, по неразумию, привез с собой, вероятно, лишь в качестве зрителя. И вдруг музыкант оказался кавалером княжны. Но этого мало. Персиянка, по наивности и малому воспитанию, выдала себя с головой. Кто видел этот менуэт, видел ее танцующею с красивым артистом, тот ясно понял, что персидская принцесса ни больше, ни меньше, как без ума влюблена в музыканта.

И все гости видели это... И сам артист, казалось, был изумлен и смущен обхождением красавицы.

И светлейший Таврический, старый волокита, видно, хорошо все понял, потому что не выдержал и ускакал.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! — говорили, смеясь, повсюду.

— Вот тебе и персидочка!.. Кого предпочла вельможе-временщику.

— Ай да Изфаганова! Молодец котеночек!

Гости, однако, начали разъезжаться и разъехались очень рано. Любопытство было удовлетворено. Двойной скандал с Велемирским и с музыкантом все видели. Хозяйку и князя за гостеприимство растерзали... Больше же делать было нечего. А все остальное было нелюбопытно.

В час ночи «грузинский дом» уже опустел.

VIII

После бала у княжны и ее поведения с маркизом не оставалось сомнения, что Эмете неравнодушна к артисту. Не только сам Морельен-Шмитгоф должен был поневоле думать это, но даже в столице начались толки, что князю что-то не везет за последнее время. Проходимец нарядил его в шуты, сначала выдав себя за француза и заставив князя поверить, что он аристократ и эмигрант, а затем, теперь, отбив у него «предмет».

Все бывшие на бале видели, как «прелестный котеночек» недвусмысленно обращался с музыкантом и как угрюмый князь волновался, очевидно ревнуя.

Какая пропасть лежит между ним, могущественным вельможей, и безвестным скрипачом-проходимцем! Они оба стоят на двух крайних ступенях длинной и мудреной лестницы общественной иерархии... Один — превыше всех и всего, а другой — нищий, без роду и племени... А вот в деле получения пальмы первенства от женщины, в деле суда женского, искреннего и влюбчивого сердца — могущественный Потемкин проиграл и должен уступить красивому и талантливому артисту. Могуществу временщика есть предел — сердце красавицы, недоступное честолюбию.

Так толковали, ликуя, многочисленные враги князя и, всячески превознося княжну, заезжали к ней в гости, сидели до сумерок, объясняясь отчасти чрез Саида, отчасти прямо с ней самой, так как с каждым днем Эмете начала все легче и лучше объясняться по-русски.

В столице знали теперь, что делалось в «грузинском доме», знали, что самозванец маркиз стал бывать почти ежедневно у красавицы Эмете, но тайно от князя.

Виртуоз не ограничивался днем и не ограничивался только игрой у княжны. Он бывал и вечером, засиживался поздно, а скрипка его оставалась иногда дома. Он просто проводил время в беседах с красавицей и уже всегда без помощи Саида, так как оба, и она, и он, усердно учились по-русски. Маркиз делал успехи огромные и, достав себе настоящего учителя, начал даже учиться читать и писать, чтобы скорее осилить российскую грамоту. Знание польского языка значительно облегчало учение. Что касается княжны, то она делала успехи поистине невероятные и уже почти свободно объяснялась с своим любезным.

Все шло быстро... с неимоверной быстротой, точно в арабской сказке. Недаром героиня была Адидже-Халиль-Эмете...

Не прошло десяти недель с бала у княжны, как и она, и виртуоз беседовали свободно по-русски, изъясняя друг другу далеко не двусмысленно взаимные чувства.

Красавица персиянка, вероятно вследствие простоты полученного бесхитростного воспитания, вела себя прямее, откровеннее и решительнее невских красавиц... Она намекала, что свободна как ветер, независима как сирота, самостоятельна настолько, что одни лишь свои личные мечты для нее указ и закон, а богата настолько, что всякую мечту может привести в исполнение помимо всего и вопреки всем.

Маркиз, наоборот, будто переродился и из легкомысленного и веселого артиста стал осторожным, стал даже озабочен и задумчив.

Причина этой перемены была простая. Он был как бы испуган чрезмерным счастливым, невероятным поворотом колеса Фортуны. Давно ли он голодал и не имел полного приличного платья, чтобы идти играть где-либо на вечере за скудную плату. И вдруг он в Петербурге, в Таврическом дворце, сыт, обут, одет, с карманами, наполненными золотом, которого положительно девать некуда. А затем тотчас же колесо Фортуны поворачивается опять и опять... Он встречает красавицу девушку, знатную и богатую, сходится с ней... сначала принимает ее милостивое обращение за дань его таланту, но вдруг видит, что она его любит! Да, любит страстно! Но все это может внезапно и мгновенно рассеяться как дым, исчезнуть как сон в минуту пробуждения. А какая это ужасная минута, чтобы ее пережить! И что-то шептало артисту на ухо, не отдаваться поспешно и опрометчиво обманчивым сновидениям и мечтам...

— Она меня любит — нет сомнения,— думал и говорил артист, волнуясь, у себя в горнице.— Но кого она полюбила во мне?

И музыкант иногда с отчаянием на душе восклицал:

— Она любит все-таки маркиза Морельена де ла Тур д'Овер. И когда я упаду к ногам ее и признаюсь, исповедуюсь... Что будет?.. Что совершится?.. Да, я чувствую, что я этого не переживу; моя голова, мое сердце — не вынесут такого поворота колеса Фортуны. Иметь все и все потерять! Я с ума сойду. Я слишком глубоко и сильно чувствую. А все-таки надо, рано или поздно,

сказаться. А как ей признаться, что я бедный простой мещанин, без гроша, без роду, даже без родины, что я не знаю того, что знает последний холоп русский, не знаю, где я родился. Говорить ли это? Когда? Как...

И артист видел, что он никогда не решится на этот шаг, разве только, когда увидит ясно, что ей жить без него стало невозможно и немыслимо. А пока она только увлечена им. Сильно, искренно... Но все-таки это еще не пылкая, безумная страсть, которой нет преград.

IX

Легкомысленный, вечно веселый дотоле артист становился с каждым днем все сумрачнее, по мере того что прелестная княжна, очаровывая его, сердечно и наивно, хотя все-таки не прямо, а намеками, выказывала ему свое увлечение. Сначала в самозваном маркизе заговорила только алчность.

Его соблазнили средства княжны, ее обстановка, куча денег, которую она тратила на туалеты и на всякий вздор. Эта масса, наконец, бриллиантов и вещей, которая появлялась на ней... На бале все видели и ахали от ее жемчугов и бриллиантов, а между тем у нее было еще полдюжины всяких парюр из рубинов, изумрудов. Он даже видел целую коллекцию бирюзовых украшений с алмазами, от шпилек в голову и до пряжек на башмаки из такой пары бирюзы, которая одна стоила до тысячи рублей.

Этот блеск обстановки ослепил и привлек проходимца, как манит серенькую бабочку огонь, ярко сверкающий среди мрака темной ночи. Но около этого огня, помимо ослепительного блеска, есть и заманчивое тепло, которого, быть может, и ищет ночная бабочка, не ведающая лучей солнца. Этот проходимец, как одаренный от природы художник, у которого была все-таки чистая и чуткая к прекрасному душа, пылкое сердце, полное порою высоких стремлений и благородных порывов, скоро отнесся к любящему его существу совершенно иначе.

Он скоро перестал думать о самоцветных парюрах и бриллиантах знатной персиянки и видел в ней только девушку, прелестную лицом, чувствительную сердцем, остроумную в беседе.

Были минуты, и артист сознавался себе самому — и был горд этим сознанием — что если наутро он узнает,

что персидская принцесса самозванка, или если окажется, что она разорена, нищая, без приюта... то он предложит ей разделить с ним его холодную горницу в Вильно, его необеспеченный кусок хлеба, добываемый мало кому нужным трудом... Потому что он любит ее... Да любит страстно — не за бриллианты ее... а за эти проникающие в сердце бирюзовые глазки, эту простодушную улыбку пухленьких пунцовых губок и грациозно мягкие движения котенка.

Вскоре и совершенно неожиданно для артиста произошло объяснение.

Он сидел, по обыкновению, у княжны, и было уже поздно. Эмете была скучна на этот раз и малоразговорчива и наконец, когда артист напомнил, что уже скоро полночь, и, встав, начал собираться домой,— красавица насмешливо и раздражительно вымолвила:

— Да, пора... Вообще пора... и мне пора домой.

Музыкант изумленно поглядел на нее, его удивил оттенок досады в голосе ее, а равно и слова, которых он не понял.

— Домой? вам?— вымолвил Шмитгоф, стоя пред ней.

— Да. Не вечно же я буду здесь в Петербурге. Дело мое, говорил вчера князь, чрез три дня будет решено — и я могу ехать к себе на родину.

Артист стоял как громом пораженный...

Такое простое обстоятельство еще ни разу ему не приходило на ум.

— Что с вами?— спросила Эмете.

— Я не думал никогда об этом,— сознался он.— Мне не приходило на ум, что вы можете вдруг уехать и я никогда вас более не увижу.

— От вас зависит...— едва слышно произнесла Эмете и отвернулась от него как бы в досаде.

Наступило молчание...

— Но зачем вам ехать?..— вымолвил он наконец.— Отчего не жить здесь? Ну, хоть до зимы... Вы свободны...

— Гассан не хочет. Он хочет скорее венчаться.

— Но вы сто раз говорили мне,— воскликнул вдруг артист горячо,— что вы его не любите и не пойдете за него!

— Да... Если найдется другой, который меня полюбит и которого я полюблю.

— И такого нет?..— нерешительно произнес он.

— Которого я люблю? Есть. Но он... Я не знаю...

Наступило опять молчание... Княжна будто ждала и ожидала помощи, но артист, взволнованный, тяжело дышал и молчал, опустив глаза в пол.

— Я не знаю, любит ли меня тот, за которого я бы пошла? Он ни разу не сказал мне этого прямо. Почему? Бог его знает...

Артист упорно молчал. Эмете продолжала решительнее:

— Я могу думать, что он меня любит. Но он молчит. Вот... Вот и теперь молчит... Что же мне делать? Уезжать, конечно, и выходить замуж за Гассана...

— Он молчит, потому что он боится этого признания,— выговорил чрез силу Шмитгоф.— Он может признанием сразу все потерять...

— Я не понимаю...

— Скажите мне: кого вы любите?..— произнес вдруг артист, наступая на сидящую Эмите как бы с угрозой.

— Кого? Зачем эта странная игра в слова. Вы знаете...

— Скажите мне имя человека, которого вы полюбили... Скажите мне его титул, его положение в обществе...

— Имя его простое, как и происхождение... А положение его самое скромное и самое блестящее вместе: он замечательный музыкант...

— Его имя?.. Его имя?— почти закричал артист.— Его имя для вас маркиз Морельен де ла Тур... Понимаете ли вы меня! — кричал молодой человек с отчаянием в голосе.

— Вы ошибаетесь, я люблю другого, а не маркиза Морельена,— серьезно говорила княжна, вскидывая опущенные глаза и глядя артисту прямо в лицо.

Он стоял пред ней как истукан, глядел на нее, но почти не видел от тревоги на сердце.

— Я люблю музыканта-скрипача, неведомого происхождения, которого имя Шмитгоф,— тихо проговорила княжна.

Молодой человек вскрикнул, бросился пред ней на колени и схватил ее за руки.

— Что вы сказали? Что вы сказали?

Она молчала и не двигалась. Он прильнул губами к ее рукам и, не произнося ни слова, целовал их

Княжна снова заговорила первая и передала ему, что она на другой же день после бала узнала все. Ее гости

рассказали и предупредили ее, кто он. А князь из ревности подтвердил тоже, что музыкант не француз, а безвестной национальности и не только не маркиз, но даже и не дворянин.

— И вы все-таки любите меня, зная правду...— воскликнул он.— И согласны быть моею, стать простой мещанкой?

— Мы и дворянство, и титул купим!.. Но чего нельзя купить ни за какие деньги, то у вас есть...

— Что?.. У меня ничего нет...— вскрикнул артист, все еще боясь рокового недоразумения...

— Молодость, красота и искусство! — нежно произнесла княжна, наклоняясь над ним...

Молодой человек, в порыве увлечения, обнял миниатюрный стан красавицы, привлек к себе ее лицо и хотел поцеловать.

Княжна быстро отшатнулась.

— Нет! Нет... Этого никогда... Пока я не буду вашей женой, я не могу позволить целовать себя... Это не обычай... у нас.

Он выпустил ее из рук и восторженно воскликнул:

— Моей женой! Скажите слово, и вы будете ею завтра. Сегодня... Сейчас...

— Да... Но наша свадьба — мудреное дело.

— Отчего?

— Мы в чужом краю... Здесь, в этом городе, есть могущественный человек, который может, если захочет, погубить нас обоих, уничтожить. Он всевластен столько же, сколько жесток.

— Князь?

— Конечно. Кто же?.. Неужели вы не догадались? И неужели вы не знаете его? Он на все способен.

— Что же делать... Уезжать. Скорее... Или вместе, или врозь в разные стороны. И съехаться опять на границе, там, у Каспийского моря.

— Да. Но прежде всего мы должны все-таки здесь же обвенчаться по обряду вашей религии, так как ваших церквей нигде нет, кроме Петербурга, ни в России, ни в Персии. А по обряду моей веры меня мой духовник обвенчает беспрекословно всегда и везде.

И княжна объяснила Шмитгофу, что он не может ехать за ней, не будучи с ней обвенчан заранее.

— Ступайте к пастору и переговорите с ним. Но главное — тайна! Иначе мы наживем много хлопот с князем. Он упрямец и бессердечный человек...

Княжна долго и подробно объясняла, как надо поступить, чтобы брак совершился втайне и обошелся без несчастия.

Перетолковав обо всем, заговорившись далеко за полночь, они наконец расстались.

Шмитгоф вышел от княжны опьянелый от счастья... Ему не верилось.

Вернувшись домой, он всю остальную ночь просидел, не раздеваясь и сумасшествуя... Два раза доставал он свою скрипку и начинал страстно целовать ее. И глаза его были влажны: в них стояли слезы упоения.

X

Княжна Эмете была права, говоря, что ее брак — дело мудреное.

На другой день Шмитгоф отправился к своему пастору и объяснил ему все дело. Старик священник, расспросив все, объявил, что постановления церкви не дозволяют ему венчать магометанку с христианином и что княжна необходимо должна прежде креститься... Музыкант был поражен открытием, но понял, что священник прав. Когда он вернулся к княжне с ответом пастора, она призадумалась и была видимо поражена.

— Я не знаю, что делать! — произнесла она наконец.— Надо подумать...

— Надо креститься в мою веру,— сказал он робко и нерешительно.

— Никогда! — промолвила княжна.

— Другого исхода нет...

— Переходите в мою...— как вызов бросила она эти слова, упорно глядя в лицо его и будто говоря глазами: «Будешь ты способен на такую низость или нет?»

— Я вас люблю... Страстно... безумно...— начал молодой человек.

— Но веры для меня своей не покинете...

— Нет! — прошептал через силу артист, будто боясь этих слов.

— За такие чувства я вас и полюбила! Да... Каждый из нас останется в своей религии... Поезжайте к вашему пастору и скажите, что за наше венчание он получит десять тысяч! Не согласится — обещайте двадцать и более. Другого средства нет.

Шмитгоф через час уже был снова у пастора, но не застал его дома... Вечером он опять отправился и тоже не

застал, но заезжавший домой священник просил его через лакея приехать наутро.

Утром все уладилось... Деньги, т. е. целое состояние соблазнило, видно, старика. Он согласился венчать за двадцать пять тысяч, но с двумя условиями. Первое: уплата денег перед венчанием, и второе: обязательство соблюсти полную тайну со стороны венчающихся.

Последнее условие было не только выполнимое, но даже необходимое самим жениху с невестой из боязни мести князя.

Шмитгоф имел, однако, неосторожность рассказать тотчас пастору, насколько им самим нужна тайна из-за князя Потемкина, и старик, старожил Петербурга, призадумался...

— Может вместо вас достаться мне... когда вы будете далеко, вне его власти.

Шмитгоф понемногу уверил, однако, старика, что князь и не узнает, что он и Эмете были обвенчаны, так как они тотчас уедут в Персию.

Пастор смущался и колебался, но, однако, согласился окончательно.

И в то же утро Шмитгоф обрадовал невесту согласием священника... Она же объявила ему, что переговорила уже с Абдурахимом, который очень обрадовался ее сообщению, так как не любит Гассана.

На следующий день пастор неожиданно прислал за Шмитгофом, прося к себе по важному делу. Артист, чуя беду, поскакал и с первых же слов старика пришел в отчаяние.

Пастор объяснил, что посвятил предыдущий день на расспросы в городе, и, узнав много нового, отказывался наотрез. Ему рассказали все... Друзья из русских объяснили ему, что с князем шутить нельзя, хотя бы и иностранцу... А тем более и легче можно меня погубить,— прибавил пастор от себя,— что и деяние будет противное законам церкви. Если б княжна была христианкой, то он еще решился бы и в случае преследований со стороны Потемкина уехал бы на родину, где мог бы поселиться Но совершать незаконное деяние в таких обстоятельствах немыслимо.

— Меня отрешат, лишат сана и сошлют,— сказал он.— Если же она крестится, то я буду прав пред моим духовным начальством и могу жить на родине.

Шмитгоф вернулся к невесте и объявил ей новость... Княжна долго молчала, закрыв лицо руками.

Вечером, когда уезжавший Шмитгоф снова был у нее, она встретила его словами:

— Поезжайте завтра — скажите пастору, что я крещусь... Перехожу в вашу веру...

Шмитгоф вскрикнул...

— Да. Я люблю вас, другого исхода нет. Но пусть все это будет в один день, зараз. Это мое условие непременное. Я надеюся, что теперь он может согласиться.

На другое утро Шмитгоф снова поехал к пастору и сиял от счастия, но приехал к княжне вне себя от отчаяния. Пастор все-таки наотрез отказывался.

— Отчего?— воскликнула княжна.

— Боится. Он опять собирал по городу всякие слухи. Все уверяли его, что князь настолько влюблен в вас, что в его гневе и мщении не будет предела жестокости... Пастор согласится только в том случае, если будет разрешение императрицы.

— Он безумный! Разве я могу? Разве это условие?.. Через кого же мы будем просить царицу... Да наконец... Это невозможно...

И они просидели целый час в унынии.

— Вы согласились перейти в мою веру....— сказал наконец Шмитгоф.— Я делаю ту же уступку. Я перехожу в магометанство. Нам достаточно венчаться по обряду вашей веры у Абдурахима.

Княжна потрясла кудрявой головкой.

— Этим все препятствия устраняются,— сказал артист.

Княжна усмехнулась коварно и презрительно...

Шмитгофа кольнуло.

— Христианин не может и не должен переходить в нашу веру... У меня на родине таких презирают. Все это вздор! А вот что не вздор. Вы завтра же поедете просить заступничества у единственного в Петербурге человека, который не побоится князя. К Зубову! Если он прикажет пастору, тот согласится.

Шмитгоф подпрыгнул от радости.

— Да! Да! Да!

Через два дня Шмитгоф рано утром был у Зубова.

Заявив лакею, что у него есть дело до господина Зубова, о котором ему уже говорено было. он велел доложить о себе.

— Как ваша фамилия?— спросил лакей и озадачил прибывшего.

Под каким же именем явиться к Зубову? Как на-

зваться? Вот что озадачило артиста. Он является просить о деле, от которого зависит вся его жизнь. Уместно ли тут продолжать комедию самозванства? Тем более неуместно, если княжна знает давно правду... от самого князя, то, стало быть, весь Петербург знает правду. Потемкин, неизвестно зачем, продолжает играть роль обманутого и все зовет его — маркизом Морельеном. Но ведь Зубов и не слыхал его настоящей фамилии и может отказать неизвестному лицу.

Молодой человек запнулся на минуту и велел наконец доложить...

— Приезжий из-за границы скрипач, живущий у князя Таврического.

Зубов удивился его появлению и, догадавшись, что это — пресловутый французский эмигрант, заинтересовался.

«Что такое? — подумал он. — Князь его прогнал! Хочет ко мне наниматься. Что ж. Только уж с уговором возьму — не под титулом маркиза».

И Зубов велел ввести скрипача.

Шмитгоф, смущаясь от предстоящего объяснения и просьбы, нетвердыми шагами вошел в кабинет. Но ласковость Зубова и добродушно-веселый, хотя отчасти насмешливый тон, с которым он принял музыканта, несколько ободрили его.

Он стал передавать дело подробно... Зубов не перебивал и слушал его с видимым любопытством. О княжне, ее красоте и состоянии он слышал много раз от друзей и знакомых. О том, что князь влюблен в персиянку, говорилось повсюду. Интересуясь всем, что касалось до Потемкина, Зубов давно подсылал своих доверенных в «грузинский дом» разузнать всю подноготную. Но они, конечно, попались в сети еще более. И в результате Зубов узнал об Эмете только то именно, что она пожелала. Выслушав теперь подробное объяснение музыканта, Зубов, видимо, был доволен.

— Я рад вам помочь. Всячески. Но что же я могу? — спросил тот музыканта.

Тот передал подробно свои переговоры с пастором и его боязнь мести князя.

— Только-то...

— Только... Но все в этом... Все наше несчастье. Если ваше превосходительство за нас скажете пастору одно слово, обещаете заступничество ваше — он не побоится.

— В таком случае поздравляю вас с вашей свадьбой... Обождите здесь в приемной. Я сейчас пошлю курьера за вашим пастором.

Шмитгоф вышел в соседнюю горницу и вскоре увидел, как курьер тройкой в дрожках проскакал к Невскому проспекту.

Пока артист дожидался, флигель-адъютант послал за своим братом, полковником Николаем Зубовым, и, смеясь, объяснил ему казус с Потемкиным.

Артист между тем радовался придуманному княжной средству выйти из затруднения и нетерпеливо глядел в окно.

Наконец появилась тройка в дрожках, и около курьера сидел пастор. Старика провели к Зубову.

Не скоро, однако, вызвал Зубов артиста, а когда позвал, то объявил ему, смеясь и показывая на пастора:

— Ну-с, господин Шмитгоф, дело уладится, если княжна согласится иметь в качестве свидетеля при крещении одного офицера, присутствие которого требует господин пастор ради своей безопасности. Стало быть, все зависит от княжны, ее согласия принять якобы в крестные этого офицера.

— Кого же?

— Господина Платона Зубова.

— Помилуйте... Это такая честь! — воскликнул артист, сияя от восторга.

— Ну вот, поезжайте и скажите княжне. И если она согласна — вы пришлите меня уведомить, когда будут ее крестины и ваше венчание. Я готов изображать и крестного и посаженого.

XI

Любезность Зубова разрубила гордиев узел, т. е. устраняла все затруднения.

Однако не все были счастливы и довольны.

Старик пастор тревожно думал и обдумывал все последствия.

Друзья напугали пастора, что он случайно попал между двух огней. Были случаи такой борьбы не раз и свежи в их памяти...

Пастор многое сам понимал и передумывал теперь и чувствовал, что у него все-таки кошки на сердце скребут. Сначала он хотел тайно и скрытно обвенчать

влюбленную парочку и, получив крупную сумму, тотчас уехать подальше, а теперь, с этим сильным якобы покровителем, будет, пожалуй, беда и Зубову, и ему!..

Известие, привезенное княжне Шмитгофом, что, по настоянию робкого пастора, сам Зубов будет присутствовать при ее крещении и венчании, привело Эмете в восторг. Точно будто ей только этого и хотелось...

Она запрыгала как ребенок и захлопала в ладоши. Она не утерпела и тотчас выбежала к себе в спальню, где сидела и кроила платье ее горничная Параша.

— Зубов, Зубов будет! — воскликнула княжна.

Параша вскочила с места.

— Где? Здесь?

— Нет. В церкви свидетелем...

Эмете объяснилась, и Параша тоже просияла.

— Пастора так напугали в городе князем, что без присутствия Зубова на свадьбе не соглашается венчать меня.

И, оставив радостную Парашу одну, княжна выбежала назад к жениху.

Горничная отпросилась выйти со двора у Фатьмы и через полчаса была уже на пути к Таврическому дворцу, где, по приходе, долго таинственно совещалась с братом—лакеем Дмитрием.

Отпуская сестру обратно, Дмитрий сказал шутя:

— Ну, прощай, Паранька. Скоро, стало быть, твоей службы конец. Князь слово сдержит. Выходит, тебя можно хоть сейчас уж и с лихим женихом, и со здоровым приданым поздравить.

В тот же вечер у князя был Баур, и между ними шло совещание.

Князь сидел задумчив, но с более ясным лицом и более веселый, нежели был за весь день.

— Еще он сказывал, что приличнее и желательнее было бы, если бы не в самом храме шум был. Говорит, зачем князь не хочет раньше помешать, еще на дому, когда он с женихом соберется...

— Зазнался! — кратко промолвил князь и прибавил: — Не его это дело. Зубов-то поедет прямо в Храм, а не на дом. Ну, его пустобрешества мне слушать нечего. Ты лучше подумай-ка вот да скажи: кого же?

— Я не знаю, отчего вы Немцевича бракуете? Он усердный.

— Толстая он индюшка!— отозвался князь.— Его только за рагат-лукумом в Москву гонять можно. За

прошлый раз пробарабанил поясницей тысячу двести верст до Белокаменной и обратно, ну жиру с него и сняло малость. Бодрей стал. А где же его на этакое дело главным посылать?

Меня, сказываю, пошлите командиром.

Сказал — не хочу. Неподходящий ты. Да и зачем тебе Зубову идти в bête noir[1]

Баур помолчал и воскликнул:

— Брускова... Вот кого...

— И да, и нет...— отозвался князь.— А где он, шельма?

— Сидит у невесты. У Саблуковых. Да невесел, горюет, что ваше расположение потерял. И свадьба его не на радость.

— Не надувай. Спасибо еще, что из Шлюшина ради девочки выпустил. Ну, да вот что... Я его обещал совсем простить, коли мое дело выгорит... Возьми его опять и наряди тоже в поход. Но главнокомандующим и его нельзя... Робок и не сметлив. Тут нужен хват!

Наступило молчание.

— Стой! Готово!— вскрикнул князь.— Нашел: Велемирский!

— Да, это, пожалуй, лучше всего!— весело сказал Баур.— Хорошо надумали, Григорий Александрыч. И вам преданный человек, и голова отчаянная. Лишь бы не пересолил только. Поранит кого! — рассмеялся Баур.

— Свиту княжны все равно надо по домам распускать.

На другой день граф Велемирский, вызванный к Потемкину, сидел у него и слушал объяснение предприятия князя относительно княжны Эмете.

Наконец Потемкин кончил и сказал:

— Ну, могу я на тебя положиться?

— Я так виноват перед вами, ваша светлость,— ответил граф,— за прошлый случай на бале, что готов хоть на луну лезть для вас... Вы поступили со мной как родной...

— Вот то-то, вы, молодежь. А небось как злился на меня, что я тебя отогнал от дамы и прогнал с бала. Только, чур, исполнишь ли ты указ мой? Никому ни слова, что знаешь.

— Свято исполню.

---

[1] пугало (*фр.*).

— Ну, ладно. А теперь я одного опасаюсь. Баур говорит, коли ты распалишься, то начудишь... Не убей кого в сумятице...

— Будьте спокойны. Зачем,— рассмеялся граф.— Это от них будет зависеть... От их строптивости.

Наконец однажды к Зубову явился в полдень переводчик княжны, Саид-Аль-Рашид, и, принятый им, объяснил ему своим диким русским языком, что завтра ввечеру, в восемь часов, известные ему лица поедут в церковь венчаться.

Зубов приказал двум офицерам к вечеру приготовиться, чтобы сопровождать его в «некую забавную поездку» в качестве адъютантов.

Он не думал о церкви, крестинах и венчании княжны, хотя его интересовало видеть очень хорошенькую женщину, судя по единогласному отзыву всех, ее видавших. Зубова занимала и забавляла иная мысль. Он воображал себе князя, получающего известие о браке княжны, о том, что она уже даже не невеста, а молодая жена... И чья же? Того же цыгана, жида или венгерца, который его уже раз одурачил на весь город, а теперь одурачит еще больнее.

«Но хороша, однако, и княжна эта,— думал он,— выходящая замуж за безродного пройдоху скрипача. Сомнительная княжна... Может быть, тоже из цыган!»

Мысли о княжне, которую все признавали за красавицу и кокетку, привели молодого человека к мысли: «Не поехать ли к ней? Поглядеть, познакомиться».

«Ведь даже неловко ехать на свадьбу, ни разу не видав ее!» — решил он.

А в это самое время, час в час, у князя, среди комнаты, стояло в сборе несколько человек офицеров, из коих трое в первый раз переступили порог частных апартаментов князя.

Все его ожидали.

Тут был, между прочим, и Брусков, довольный, счастливый, прощенный князем и принятый вновь на службу с условием отличиться в этот день. В чем — он не знал еще.

После всех явился граф Велемирский, веселый, сияющий, и оглянул команду, которую ему поручал князь.

— Известно им?— спросил он Баура.

— Нет. Князь объяснит сам... А вы готовы?

— Готов... Вот что? Пистолеты брать с собой?

— Уж не знаю,— усмехнулся Баур.— Полагаю, что князь не позволит брать. Зачем?

Офицеры, услыхав беседу, стали переглядываться и коситься на графа и Баура. Больше всех смутились Немцевич и Брусков. Новички еще могли желать отличиться ради князя и сразу выйти в люди, т. е. поступить во дворец на службу.

Брусков боялся вообще таких положений, где пускается в ход оружие, и сумел даже в войну на Дунае очутиться делопроизводителем в канцелярии.

Наконец появился князь, оглянул всех и вымолвил:

— Ну, судари молодцы, услужите мне. Награжу всякого тем, что попросит. В чем дело — не ваше дело! Что прикажет вот граф. Он — ваш командир, и вы должны ему завтра повиноваться как бы на войне. Скажу только — вам придется отбить женщину у ее охраны, но не бить никого.

XII

Зубов свой визит в «грузинский дом» долго помнил потом... Когда княжне доложили о его приезде, она отвечала вопросом, т. е. велела спросить господина Зубова, зачем он пожаловал.

Зубов, ожидая, что княжна его примет с восторгом, был неприятно озадачен и даже изумлен.

— Доложи княжне,— сказал он,— что я желал с ней заранее познакомиться ввиду того дела, которое она знает...

Княжна приказала просить.

Когда Эмете вышла к гостю, он был приятно поражен и мысленно отдал ей дань восхищения.

«Действительно прелестный котенок!» — подумал он словами всей столицы.

— Благодарю вас за честь...— заговорила княжна, прося гостя садиться...— Но очень сожалею, что вы ко мне пожаловали.

— Я вас не понимаю, княжна,— сказал Зубов, изумляясь и поневоле смеясь этой наивной манере принимать.— Объяснитесь.

— Объясниться вполне ясно я не могу... Но скажите мне вы... Зачем вы приехали сюда?..

Зубов объяснил, удивляясь, что ввиду ее просьбы быть свидетелем при ее свадьбе и заступником против

преследований ее угнетателя он пожелал с ней познакомиться. Княжна отвечала, что она никогда не просила жениха ходатайствовать об этом, не желая навлекать на господина Зубова — срам и позор.

— Что вы хотите сказать?

— Я хочу сказать, что моя свадьба будет самый ужасный соблазн, скоморошество... по милости князя. И вы, будучи свидетелем, попадете в смешное положение.

— Почему же, княжна? Вы думаете, что князь что-либо предпримет, не допустит вас обвенчаться?

— Я боюсь... Почти уверена в этом заранее! — воскликнула Эмете.

— Но я за вас заступлюсь! За этим я и буду... Я был очень рад, что Шмитгоф меня пригласил, а пастор поставил даже условием мое присутствие...

— Я вас прошу, глаз на глаз, господин Зубов, не быть на этой свадьбе... Я не хочу, чтобы над вами смеялись потом.

Говоря это, княжна глядела пристально в лицо Зубова своими прелестными зелеными глазками, и какая-то странная тревога, помимо ее воли, сказывалась в чертах ее лица и во взгляде. Она будто боялась его ответа, его решения.

Зубов молчал и не знал, что ответить... Его умолял жених согласиться... Он был рад случаю досадить князю. А теперь невеста просит его бросить все... Конечно, надо опять согласиться, т. е. бросить затею.

— Извольте, княжна... Не могу же я насильно предлагать вам свою помощь.

— Ну, вот и отлично! — громко воскликнула Эмете с неестественной, будто сыгранной веселостью и тотчас прибавила: — Да и где же бороться с князем?..

— Ну это... Это позвольте, княжна... Позвольте не согласиться.

— Вы воображаете, например, что если вы явитесь чьим-либо свидетелем или покровителем, то князь не посмеет ничего сделать.

— Ему будет труднее... Он не решится... Я уверен, что если бы он что-либо затевал против вас, то после вашего венца, при котором я был бы в качестве посаженого, — он ничего не сделает.

— Ах, вы ничего не понимаете... Вы малый младенец! — воскликнула Эмете.

Зубов слегка обиделся, как всякий молодой человек, когда ему женщина бросает в лицо его молодость в виде упрека.

— Князь вас с лица земли стереть может! В шуты нарядить! И я не хочу, слышите ли вы, этого. Я не хочу, чтобы это было из-за меня... Вы меня потом возненавидите, а я этого не желаю...

Княжна говорила горячо и не смотрела почти на гостя, но все-таки хорошо видела действие ее слов.

— Позвольте же, княжна, мне доказать вам на деле, что вы ошибаетесь... Во всем ошибаетесь... Вы преувеличиваете могущество князя и уничижаете мое положение...

-- Как? Вы все-таки будете? — воскликнула Эмете.— Ну, так я вам говорю... что вы не посмеете быть... А если решитесь быть... то будете уничтожены князем...

Зубов досадливо рассмеялся.

— Буду и докажу вам, что вы ошибались...

— Я молчу... Я свое сказала. Все сказала... Мне вас жаль... Очень жаль... Вы себя губите...— И княжна покачала головой, усмехаясь, прибавила:— Вам с князем тягаться!! Вам...

Зубов встал и уже несколько раздражительно, смеясь, выговорил:

— Вот увидим. До свидания...

Зубов протянул руку.

— Еще одумаетесь...— шепнула лукаво и насмешливо княжна, тоже подавая руку.

Зубов нагнулся, очевидно, с целью поцеловать ее. Эмете быстро отдернула руку.

— Княжна... Поцеловать руку у нас не считается оскорблением для хорошенькой женщины.

— Нет. Я не хочу...

— Ну, я прошу, настаиваю...

— Никогда!

— Ну, хотя бы за все те неприятные, оскорбительные слова, которые вы мне наговорили сейчас.

— Ни за что!

— Я вас умоляю...

— Ни за что! Никогда! Хоть убейте...

— Я вас умоляю, княжна. Я не уйду без этого!— вдруг заупрямился Зубов, как баловень столицы.

Эмете была первая женщина, которая не оказалась счастливой от такого знака внимания с его стороны.

Наступило молчание. Зубов стоял, протянув руку, и видно было по его лицу, что он не уступит.

— Я не уйду... Не уйду! Хоть до вечера...— шепнул он, глядя в прелестное личико княжны.

— Но я не могу допустить этого... У нас это не в обычае... Поймите...

— Вы в России, а не в Персии...

— Что ж из этого?..

— Мы одни... Никто не увидит, не узнает.

Княжна молчала, стояла опустив глаза и сильно смущенная. Даже лицо ее зарумянилось сильнее.

— Оставьте это... Прощайте!— вымолвила она наконец.

— Повторяю десятый раз: ни за что! Вы упрямы. Я тоже.

Княжна двинулась в сторону. Зубов догадался и заступил ей дорогу. Она очутилась между ним и диванчиком, как в западне.

— Послушайте, если так...— заговорила она.

— То я буду кричать и звать моих к себе на помощь,— прибавил Зубов, смеясь.

— Нет... Если вы так упрямы, то я уступаю! Уступаю насилию... Но руку я вам все-таки не дам. Это не обычай у нас... Целуйте меня!

— Вас?!— воскликнул Зубов.

— Да, целуйте меня... Это возможнее... Тут ничего особенного не будет... А руку я не могу. Ну... Извольте-с!..

И княжна, став вполоборота, подставила свою щеку. Зубов смутился в свой черед от неожиданности, но был слишком светский человек и слишком шалун в юности, чтобы терять время и раздумывать...

Он нагнулся и крепко поцеловал румяную щечку княжны.

В ту же секунду она юркнула мимо него и убежала из гостиной.

Зубов постоял мгновение один среди горницы, как бы приходя в себя от неожиданной, странной сцены. Потом он рассмеялся и двинулся уезжать.

«Вот уж не ожидал! — думал он.— Не хотела принимать! Наговорила с три короба дерзостей! Не дала руки и подставила личико!.. Однако понятно, почему Питер от нее в восхищении. Замечательный зверек!.. Прелестный котенок!..»

XIII

Наступил день и время, назначенное для тайного венчания.

К вечеру тревога пастора усилилась и перешла в лихорадочное волнение, так как за час до назначенного времени старика поразило странное обстоятельство. Около храма появилось много всякого народу и плотная толпа зевак все росла.

Княжна Эмете, по словам Шмитгофа, никому не хотела говорить о своей свадьбе... Стало быть, Зубов неосторожно рассказал, что поедет на венчание и крестины персидской княжны.

Так или иначе, но старик пастор, выглядывая из окна своей квартиры, был изумлен и встревожен.

Толпа любопытных все увеличивалась и скоро дошла от десятков до сотен. Посланный причетник, потолкавшись в народе, вернулся и доложил пастору, что все эти люди знают, зачем собрались: всем известно, что будет бракосочетание персидской принцессы. Только многие простые люди путают и думают, что сам князь будет венчаться, так как их всех княжеские дворовые люди прогнали сюда глядеть... И сами пришли.

— Как, люди Потемкина?..

Причетник объяснил подробнее, что в числе прочих зевак в толпе оказывается много народу из Таврического дворца, люди князя и их приятели, люди других господ... И все они говорят, что их сейчас только негаданно прислали глядеть на свадебный поезд княжны... Поэтому некоторые из них полагают, что не сам ли князь венчаться будет.

«Что же это такое? — подумал смущенный пастор, — если даже людям Потемкина известна тайна княжны... Что же князь? Покорился участи? Отказался от княжны?»

Однако через полчаса пастор уже в облачении поджидал брачующихся среди освещенной церкви. Что ж было не освещаться и соблюдать тайну, когда ее разделяют сотни зевак, сошедших со всего города.

Но и этого мало. За десять минут до назначенного часа против церкви появились кареты, коляски, экипажи и всадники-гвардейцы... Все это съехалось глядеть свадебный поезд княжны Изфагановой, весть о замужестве и венчании которой молнией пролетела по гостиным не далее как за час перед тем. Некоторые барыни не

успели одеться как подобало случаю и поэтому решили ехать поглазеть хоть из кареты на один поезд.

Многие, однако, выходили из экипажей и вступали в церковь, за ними простой народ, кто посмелее, пробирались в «кирку», опросив наперед соседей:

— А как там, тоись, насчет шапки...

— Вестимо без шапок. Тоже храм. И образа, и всякое такое...

— Нет, вы, ребята,— заметил в толпе только один солдат-инвалид,— так подтвердительно не надейтесь... Я этак-то вот, в плену будучи, зашел в басурманов храм да как шапку-то снял — мне в шею и наклали да и вытурили вон. Говорят, нагрешил! Все сами-то в шапках стоят.

В той же толпе весело болтали и лукаво ухмылялись люди Потемкина и все поглядывали в два места, то на угол Итальянской, то на противоположную сторону, где был дом графа Велемирского, наискосок от церкви.

Глухой и темный слух ходил утром между ними, что графу, по случаю свадьбы княжны, поручено что-то диковинное. Чудодей князь что-то затеял!.. И теперь их офицеры тут у графа, гостями.

Наконец шум и говор прошел по толпе. Вдали показалась желтая берлина, а за ней двое конных — это был Зубов.

Зубов подъехал, вышел и, входя в церковь, был, видимо, удивлен, как и пастор. Не предполагал он быть на свадьбе при таком стечении народа. Он недоумевал. Музыкант умолял его о соблюдении тайны, и поэтому он никому, кроме братьев и двух близких друзей, ни слова не сказал... Ему даже хотелось свое участие в свадьбе сделать сюрпризом. Кто же разболтал? Даже в обществе известно... Кареты!

Зубов прошел в церковь в сопровождении двух офицеров и, встреченный пастором, тихо заговорил с ним. Пастор — это видели наполнявшие церковь — пожимал плечами и ежился как от холода... Расспросы Зубова еще более встревожили старика.

На улице в эту минуту оживились, прошел гул... Вдали показались голубая карета цугом, а за ней несколько открытых экипажей, из которых торчали и остроконечные мерлушечьи колпаки персиян.

— Свадебный поезд!

— Гляди-ко! По-басурмански! Не обвенчаны, а уж вместе.

— Вместе в храм едут. Жених с невестой. Вот, братцы, колено-то!

— Это по-персидски.

— Должно, из церкви зато врозь поедут, в разные стороны! — крикнул кто-то громко, и дружный хохот был ответом на шутку.

— Невеста-то какая... С наперсточек...

— Тише, что вы по ногам ходите! — с достоинством произнес чиновник соседу.

— Ах, родимые мои, — ахнула женщина в платке, — никак, ей всего годов девять...

— Жених-то, братцы, тоже персид аль иной какой?..

— Эй, любезный, ты чего это лезешь на меня! — провизжала здоровенная барыня на мастерового. — Что я тебе — лавка, что ль, аль забор?

— А ведь невеста, ваше превосходительство, действительно из себя прелестница.

— Да, субтильна!.. Да...

Карета с невестой и женихом подъехала к церкви; три лакея, соскочив с запяток, отворили дверцы.

Жених изумленными глазами, как бы потерявшись, оглядывал густую толпу.

Княжна, наоборот, казалось, совсем не была удивлена и, весело улыбаясь и оглядываясь по сторонам, выпорхнула из кареты.

Одежда ее ослепила ближайших.

— Батюшки-светы... Брилли-антов-то!.. А-я-яй... Я-яй! — завыл кто-то даже жалобно.

Толпа во все глаза, не сморгнув, глядела на голубую карету и на жениха с невестой, но вдруг сразу все обернулись назад к ним спиной.

— Дорогу! Расступись! — крикнул повелительный голос сзади. — Живо! Задавим!..

Пять человек офицеров и с десяток солдат верхами будто выросли из земли и, налезая, рвались чрез толпу к карете.

В один миг толпа расступилась на две стенки и всадники достигли панели, где еще стояла, оправляя платье, невеста.

Персияне, выйдя из экипажей, подходили гурьбой к ней с Гассаном впереди. Но командовавший офицер соскочил с коня и, бросив повода другому, быстро подошел к княжне.

— Позвольте просить вас обратно садиться в карету, — сказал он вежливо. — По приказанию светлейшего,

я вас должен немедленно доставить в Таврический дворец.

Говоривший был граф Велемирский.

Княжна стояла не двигаясь и глядела на графа и на свою свиту, ожидая чего-то...

— По какому праву! Что вы, господин офицер...— робко воскликнул Шмитгоф.— Это незаконно... Мы чужеземцы...

— Молчать!— уже крикнул Велемирский на артиста и тотчас обернулся снова к невесте.— Извольте садиться в карету, или я велю людям спешиться и арестую всех.

— Я не дам!..— крикнул Шмитгоф.— Здесь господин Зубов... Здесь, в церкви...

Граф, видя, что княжна стоит не двигаясь, обнажил саблю. Персияне сразу загалдели, но на их лицах было только изумление и тревога.

— Княжна, пожалуйте!

Он отстранил Шмитгофа, подал руку Эмете, и, при всеобщем молчании и изумлении плотной толпы, княжна так же легко и грациозно вспорхнула обратно в карету, как выпорхнула из нее за минуту назад.

Граф захлопнул дверцу.

— Вы на место!— приказал он лакеям, и трое ливрейных живо бросились на запятки.

Карета тронулась, а за ней вплотную поскакала конвоем команда графа. Только один Брусков остался у панели, держа под уздцы лошадь графа.

— Что это? Это насилие!— крикнул Шмитгоф своему бывшему другу Брускову, которого вдруг увидел.— Скажите, что это такое?

Брусков сидел на лошади, как истукан, и не ответил ни слова.

Персияне между тем снова галдели. Гассан горячился.

Граф Велемирский, обратясь к ним, толково и медленно разъяснил, что им следует покориться распоряжению начальства, которое знает, что делает.

— Поэтому, господа, садитесь спокойно в свои экипажи и отправляйтесь обратно домой!— закончил он речь.— А что значит арест княжны — вы узнаете после. Понятно?

Дербент плюнул и пошел садиться в свою коляску.

Граф, усмехаясь, собирался сесть на лошадь, когда незнакомый офицер приблизился к нему и вымолвил:

— Господин Зубов, флигель-адъютант ее величества,

приказа́л вас, господин офицер, просить войти в церковь для дачи объяснений всего происшедшего.

— А разве Платон Александрович в церкви?— спросил Велемирский, весело усмехаясь.

И на утвердительный ответ он быстро двинулся на паперть.

Зубов встретил офицера почти в дверях, за ним стояли: бледный как полотно Шмитгоф и не менее встревоженный пастор.

— Что все это означает?— гневно спросил Зубов.

Граф объяснился.

— Но какое основание может иметь князь арестовать персидскую княжну в минуту ее венчания? Это смахивает на простое похищение женщины!

— Не могу и не должен знать-с. Бумаги и дела княжны у князя. Я исполняю только приказание светлейшего,— отвечал Велемирский почтительно.

Зубов вышел на улицу.

Шмитгоф как потерянный, почти, казалось, без сознания всего окружающего, последовал за ним... И чуть-чуть, по рассеянности и убитости, не сел артист в коляску Зубова.

Персияне уже уехали, и он был один.

Народ глядел на уезжавших по очереди в глубоком молчании. Власти разыгрались — держи язык за зубами. А то не ровен час сболтнется — и живо причастным к делу окажешься.

Но когда Зубов отъехал, а граф Велемирский и Брусков тоже ускакали, толпа шелохнулась и, расходясь во все стороны, загудела, весело перемешивая речь смехом и прибаутками.

Два имени — Потемкин и Зубов были у всех на языке.

И народ сразу рассудил дело иначе, чем сами участники происшествия. Офицеры, бравшие княжну как бы под арест, верили, что увозят женщину. А народ решил по-своему.

— Нешто станет он для такого дела силком девку во дворец волочить — чего ему в персидке этой! Невидаль какая!

— А энтот, вишь, ее с немцем венчать хотел. А князю тот немец самый нагадил... Князь его и поучит...

— Вестимо. А то — для себя, вишь, будет!

— Ну вот из-под носу невесту теперь взял да за другого, гляди, и просватает.

— А что, ребята... Я что видел! — говорил глуповатый молодой парень

— Что?

— Персидка-то эта самая? Как ее сгребли да повезли... Чудно!..

— Да ну, что?

— Сидит да смеется. Ей-Богу! Ей бы плакать, а она смеется...

— Чего ж ей плакать-то?..

— Я ж почем знаю...

XIV

Экипаж княжны Изфагановой, в сопровождении конвоя из офицеров и солдат, немало дивил всех встречных...

Прохожие ожидали увидеть в карете мощную фигуру князя, а вместо него оттуда выглядывала миниатюрная женская фигурка, хорошенькая, богато одетая и весело улыбающаяся.

Наконец карета въехала во двор Таврического дворца... Княжна при помощи лакеев выпрыгнула на подъезд и быстро вошла в швейцарскую.

— Доложить прикажете? — несколько недоумевая, спросил швейцар-невшателец, узнавший княжну, но дивившийся конвою ее...

— Не знаю, — нерешительно отозвалась княжна. — Я думаю!..

Но прискакавший с нею капитан Немцевич уже бежал докладывать...

Другой офицер, Брусков, тоже слез с лошади и, спокойно войдя в швейцарскую вслед за княжной, вдруг, как бы волшебством, превратился в истукана. Он стоял невдалеке от княжны и глядел на нее разинув рот, широко таращa глаза, очевидно, находясь под мгновенным влиянием столбняка.

«Княжна Изфаганова?» — повторял он мысленно, и он вдруг подумал, искренно испугавшись:

«Батюшки, уж не я ли спятил?»

— Что, какова? И вас поразило? Дивная красавица, — шепнул ему на ухо чиновник Петушков, прибежавший из канцелярии поглазеть на княжну.

— Да-а... — промычал Брусков бессознательно.

— Вы в первый раз ее видите?..

— Я... Да-а... Я... Ой, не спятил ли я? — громко проговорил Брусков.

Княжна, озиравшаяся кругом, услыхала эти слова и увидела взгляд Брускова, прикованный к ней, и, усмехнувшись, повернулась к нему спиной.

— Князь просит пожаловать! — почти крикнул Немцевич, спускаясь рысью по лестнице

Княжна поднялась быстрой походкой, прошла весь дворец, все парадные комнаты и большую залу, уже окутанные мерцающими сумерками летней белой ночи.

Князь распахнул дверь из кабинета и ждал; завидя идущую, он, еще издали, протянул к ней руки.

— Ну...— вскрикнул он.— Иди, княжна моя неоцененная!

И, когда княжна была уже около него, он нагнулся, обхватил ее могучими руками и поднял на воздух как перышко...

— Целуй меня... Вот так!..— с чувством сказал он, целуясь.— Еще раз... Вот так... Чем поквитаюсь — не знаю...

И, поставив ее на пол, слегка смущенную и румяную от волнения, князь потянул ее за руку, ведя в кабинет.

— Садись. Рассказывай все... Ничего не забудь! Все... Раненых нет?

— Нет!

— Аминь и Богу слава! Ну, ну, рассказывай!..

Княжна начала быстро рассказывать.

Между тем у церкви происходило иное.

Чрез полчаса после происшествия, когда улица давно опустела и пастор, довольный отчасти, что все так разрешилось мимо него, выходил из темной церкви, причетник тушил свечи, на ступенях паперти ему попалась на глаза в полумраке сидящая фигура в блестящем костюме...

Пастор подошел ближе, пригляделся и ахнул. Это был злосчастный жених.

Шмитгоф сидел на ступени, очевидно уже давно, положив голову на руки и закрыв лицо ладонями.

Пастор позвал его... Он не двинулся и не ответил.

Старик заговорил с участием и наконец тронул молодого человека рукой за плечо. Артист наполовину очнулся и поднял голову.

— Что же это вы... Так! здесь?.. Идите! Уезжайте домой.

Артист смотрел в лицо пастора и молчал.

Лицо его, даже в сумраке вечера, сверкало белизной.

— Как вы бледны! — воскликнул участливо старик.— Идите. Войдите хоть ко мне пока...

Шмитгоф поднялся с трудом, как бы наполовину сознательно, и молча двинулся, пошатываясь, за пастором. Старик что-то говорил, но он не слушал.

Они вошли в квартиру.

— Утешьтесь. Авось все обойдется еще счастливо,— заговорил пастор.— Господин Зубов очень возмущен этим делом. Посмотрите. Он ответит, то есть князь. Есть же предел наконец, хотя бы и могущественным людям! Это соблазн! Ему прикажут возвратить вам вашу невесту.

— Возвратить! — воскликнул вдруг артист и зарыдал.— Возвратить!.. Опозоренную!

Старик вздохнул и, стоя против сидящего и рыдающего молодого человека, ни слова не ответил...

— Она погибла! Погибла! — восклицал молодой человек и взглядом как бы умолял пастора о противоречии.

Но старик, понурившись, молчал.

В тот же вечер рассказ о «неистовом деянии» князя облетел город.

Многие лица, ездившие смотреть свадьбу, были тоже очевидцами насилия над чужеземкой.

— Как? Нашлась девушка, которая не сдалась добровольно, уже постаревшему, бабьему угоднику, так он норовит силой взять! — восклицали одни.

— Да еще действует не сам, позорит военное звание, посылая на такое дело офицеров! — прибавляли другие.

— И находятся же такие низкие люди, которые согласны идти на всякое дело! — рассуждали третьи.

— Зубов должен не уступать... Помимо доброго дела, ему же пуще всех тут неприятность. Он должен спасти девочку от чудодея и ради ее самое, и ради своей амбиции.

Зубов, по дороге домой, после происшествия был несколько смущен той ролью, которую он разыграл. Ему хотелось подшутить, обвенчав княжну с другим! А вышло, что он сам попал в смешное положение! Но мог ли он думать, что князь решится на такой грубый поступок! Среди бела дня... На глазах всех.

Но когда он рассказал домашним происшествие, то отец его и братья отнеслись к делу совершенно иначе. Самый умный из них, Валерьян Зубов, решил, что дело — отличное. Лучше не надо...

— Это начало конца! — воскликнул он. — Шабаш! Дальше нельзя. Дальше его прихотничество и самовольничание идти не могут. Посмотри, что на персидской княжне — оборвется...

И Зубовы уверили брата, что непременно строго взглянут на этот поступок.

— Ты знаешь, — говорил Валерьян Зубов, — всё прощают милостиво. Одного не любят и не прощают — зловредные женщинам козни наших сердцеедов.

— Жениться на ней велят! Вот что!..

— Это только не наказанием ему будет. Он в нее как мальчишка врезался!

Братья посовещались и решили, не предпринимая ничего, ждать. Полицеймейстер должен был донести о таком крупном соблазне в столице.

Рылеев доложил наутро все подробности происшествия около кирки.

Тотчас приказано было просить князя.

Князь прислал Баура объяснить, что он очень болен, в постели, и, извиняясь, обещается через два дня явиться непременно.

Баур отвез затем письменный ответ князя.

Государыня прочла записку в несколько строк, пожала плечами и задумалась. Она думала:

«Ну как же не ошибиться простакам, да и умным на его счет? Кто же поверит, что в этой голове могут рядом зреть и умещаться: планы и предначертания самых громадных предприятий — и самые пустые и смехотворные прихоти и затеи... Высшая политика — и скоморошество, военные подвиги — и домашние шутки, дипломатические интриги — и похождения...»

XV

Князь, похитив «персидку», хворал для всех, т. е. никого не принимал.

Он был не только здоров и бодр, но веселее чем когда... Он играл и доигрывал партию в той игре, что сам затеял.

Баур, граф Велемирский, Немцевич, Брусков, лакей Дмитрий и его сестра, даже дворянин Саблуков, даже персиянин Амалат-Гассан и еще многие другие действующие лица — бывали у него, уезжали и исчезали, являлись вновь... Только княжны не было видно, и никто

о ней не говорил, по-видимому, и не думал. И где была она, никто, кроме разве Дмитрия с сестрой, не знали. Только раз, однажды утром, капитан Немцевич, из желания подольститься к князю, осведомился нежно о здоровье княжны.

— Как, ваша светлость, оне себя изволят чувствовать? Все ли в добром здоровьи?

— Кто? — спросил князь наивным голосом.

— Княжна тоись...

— Какая княжна?

— Княжна Изфаганова-с... — оробел Немцевич.

— Какая Изфаганова?

Немцевича душа машинально ушла в пятки, и он не отвечал.

— Отвечай, коли спрашивают! Чего рот разинул. Ну? Я у тебя спрашиваю, какая такая княжна Изфаганова? Откуда ты такую выудил?

— Не могу знать-с... — пролепетал Немцевич.

— Не можешь. То-то... Пошел...

И капитан не ушел, а выкатился шариком.

Наконец, на второй день вечером, когда князь сидел полулежа на софе, с книгой в руках, явился Брусков с докладом.

— Ну, что ж? прощать совсем придется тебя? — весело спросил князь, и не только губы, но и глаза его смеялись.

— Придется, ваша светлость.

— Справил, стало быть, как след?

— Справил отменно. Шесть часов бился с ним. Уговорил-таки просить, умолять, в ногах у Зубова валяться хоть сутки...

— Да отчего же он, шельма, не хотел? Простое дело. Самому надумать бы следовало.

— Сказывал: не стоит... Все погибло... Княжну вернешь самое, но уж... не совсем тоись...

— Как не совсем? Не пойму!

— Княжну, сказывал, может, князь и отдаст назад, но, стало быть, ее только самое вернешь, а чести ее уж не вернешь...

Князь вдруг залился громким хохотом и даже опрокинулся на подушку дивана.

— Ой, батюшки, уморил... О-ох... дай воды испить...

— Ну, ты уверил его, дурня, что невеста его для меня священна осталась? Хоть сейчас получай в полной неприкосновенности.

— Уверял. Вот он и был у Зубова. Тот все не хотел, но потом поддался и обещал вам написать.

— Ну. а когда?

— Записку с курьером, должно быть, завтра получите.

— Ну. ладно... Спасибо... Я у тебя на свадьбе посаженым.

— Не стою я ваших милостей

— И у меня. братец ты мой,— рассмеялся князь,— из-под носу невесту не увезут от жениха. Ступай и посылай ко мне Баура. Надо тоже и пустяками заняться. Просьбу датского резидента вели ему захватить с собой... Совсем забыл со всей этой кутерьмой.

На другой день действительно явился курьер от Зубова и привез князю записку

Зубов объяснил Потемкину, что он вмешивается в дело, до него не касающееся, только из жалости к артисту и из «чувства оскорбленной справедливости», а затем и «ради попирания законов гостеприимства», и наконец. «в защиту несчастной сироты. одинокой на чужбине»

— Вишь как расписался!— воскликнул князь.— Все тут есть. Только смекалки нет...

Князь велел сказать курьеру. чтобы он передал на словах господину Зубову. что князь получил записку, но отвечать ему на нее нечего

В то же время князь вызвал Немцевича и объяснил ему. чтобы он ехал тотчас к Велемирскому и сказал: «Пора».

— Понял ты!

— Понял-с.

Когда капитан был в дверях. князь вдруг остановил его. как бы вспомнив·

— Стой. Про какую это ты прошлый раз княжну говорил? Как сказывал-то... Изфагановская, кажись?

— Точно так-с!— робко шепнул Немцевич.

— А кто она такая... Откуда ты ее выискал?

— Не могу знать-с!..— прошипел капитан

Когда он вышел, князь весело расхохотался.

Вечером явился и сам граф Велемирский.

— Завтра в двенадцать часов Платон Александрович будет к вам,— произнес он, театрально кланяясь.

— Молодец! — крикнул князь.— Садись. Рассказывай. как обделал...

— Не сердитесь только. князь... Может. я пересо-

лил,— сказал граф.— Только ведь это из усердия! По необходимости, а не по глупости.

— Что такое?

— Я действовал через всех знакомых. И ото всех слышал в ответ только одно. Зубов говорит, что ему на такой шаг решиться при их отношениях неприлично, не позволяет амбиция. Да и толку от сего, кроме унижения, ничего не будет. Тем дело и кончилось... Прогорело все.

— Ну?

— Ну, я перекрестился да сам к нему и махнул.

— Как сам? Да ведь ты у него никогда не бывал. Ты из моих.

— А вот. Сам-то я все и устроил! — рассмеялся Велемирский.— Приехал и объяснил все дело. А дело вот какое... Простите, коли пересолил... Дело такое, что тетушке графине Александре Васильевне, да и всей родне нашей, очень неприятно все это происшествие с княжной Изфагановой и что все мы на князя Григория Александровича, поскольку посмели, напали с осуждением и просьбой освободить персидскую княжну. Князь, видимо, и сам был смущен необдуманным шагом... Да и княжна ревет, мечет и плачет и руки на себя наложить два раза хотела, так что ее чуть не на привязи держат и караулят... Дело, стало быть, плохо... Князь сам видит все, но уперся... Стыдно... Будто ищет только приличного предлога, чтобы разделаться с этой княжной... Предлог этот есть, и сам князь обмолвился...

— Ну, ну... Пока хорошо... А вот тут загвоздка. Что ты на меня-то выдумал?

— Князь обмолвился,— продолжал Велемирский,— что если бы сам Зубов, у него почти не бывающий, разве только по особенно важному государственному делу или поручению царицы,— если Зубов сам приедет и попросит князя возвратить невесту, но не жениху ее, а только отпустить и дать свободно уехать к себе, да поручится князю, что сего ненавистного брака с скрипачом не состоится, то князь тотчас ее отпустит.

— Ну...

— Ну, он помялся, помялся, да чтобы всех одолжить — и вас, и всю нашу родню, и княжну, да и себя самого... и согласился.

— Ну и одолжит! Воистину одолжит!

— Завтра, в двенадцать часов, он и будет лично к вам просить отдать ему эту прелестницу, обещаясь, что не допустит ее брака с музыкантом.

— А сам думает небось про себя: «и надую». Поедут вместе домой к ней — да и обвенчаются где по дороге, хоть в Москве или Киеве...

Отпуская Велемирского, он поцеловал его и затем приказал позвать Баура.

— Завтра прием... Я выздоровел.

Князь рано лег спать и наутро рано проснулся. Одеваясь, он почти по-товарищески весело болтал с Дмитрием о всяком вздоре, вспоминал кое-какие приключения из прошлого, случаи из жизни в Яссах.

— А что наша княжна,— спросил он,— готовится на объяснение?

— Чего тут готовиться...— фамильярно отвечал Дмитрий.— Нешто такая голова, чтобы загодя гадать, что говорить! Бесценная голова — умница, каких поискать, да и днем с огнем не найдешь! И как это вот бывает на свете, в этаком состоянии и такими свойствами Господь одарит...— важно зафилософствовал лакей, одевая барина и подавая уже камзол.

— Господу Богу все равны. Кого захочет, того и взыщет. Ну, а как мундир? Скоро поспеет?

— Какой мундир? вам?

— Дурень... Мундир княжне Изфагановой...

— А-а... Готов! Уж примеривали,— весело сказал Дмитрий.— Чуден вышел канцелярский служитель, Григорий Александрыч.

— Да мал еще очень! Совсем видать — не мужчина, как ему быть следовает... А ребенок либо девчонка.

— Сам с ноготок, да ум в потолок!

В эту минуту вошел в уборную капитан Немцевич и доложил, что просители уже набираются и происходит удивительное.

— Что ж такое? — спросил Потемкин.

— Да уж очень много,—сказал капитан.— И простых людей много.

Князь усмехнулся.

— Что ж мудреного,— сказал он, обращаясь к офицеру.— Столько вот дней приему не было, ну и понабралось, зараз и полезли...

XVI

В зале князя действительно, вследствие двухдневного отказа, набиралось много посетителей... Были и сановники, которым дали знать, что князь выздоровел

и будет принимать... Но были и офицеры. Было много и простых людей, купцов, мещан и разносортных горожан.

В некоторых группах офицеров шел разговор.

— Вы что, полковник, по какому делу? Жалоба аль благодарить за что?..

— И сам не знаю, зачем приехал...

— Вот как? Стало, нас этаких тут много...

— И вы тоже не знаете...

— Да мне граф Велемирский сказал, что князь хочет посоветоваться с офицерами о новых уборах головных и покажет модели. Говорит: случай лично беседовать с князем.

— А вы что... Почему...

— Да мне сродственник один посоветовал сегодня собраться просить князя насчет моего дела в Соляном правлении.

Такие все шли разговоры.

Наконец в полдень князю доложили о прибытии Зубова.

— На моей улице праздник! — произнес он.

Затем он быстро встал и двинулся в залу.

Все шевельнулось, зашумело, двинувшись, и поклонилось.

Князь ответил кивком головы на общий поклон и своей тяжелой походкой прошел мимо двух рядов плотной толпы прямо к противоположным дверям и остановился...

Зубов уже двигался к нему по анфиладе гостиных...

Князь ждал на пороге, и по лицу его пробежала недобрая усмешка...

Зубов ускорил шаг и подошел... Лицо его казалось несколько смущенным. Видно было, что он будто сам не рад, что явился.

— Чему обязан удовольствием вас видеть?..— с сухой любезностью проговорил князь, подавая руку.

— Дело, князь...

— Поручение от государыни?

— Нет, князь... Я по своему делу... то есть по особому делу...

И Зубов сделал незаметное движение вперед, как бы говоря, что пора двинуться и идти в кабинет...

Князь будто не заметил движения и не шевельнулся с места, а только повернулся боком к толпе, и оба очути-

лись почти на пороге, друг против друга, окруженные толпой почти вплотную.

— Я слушаю...— произнес князь.

Зубов слегка усмехнулся.

— Но здесь... Я не могу. Я могу только наедине объяснить... Вам будет неприятно. Вам! Если я здесь все скажу. Поймите... Мне все равно!..— несколько свысока промолвил флигель-адъютант, косясь на толпу.

— И мне тоже, Платон Александрович, все равно... Тайны у нас с вами нет.

— Извольте! — вспыхнув, вымолвил Зубов громко.— Я приехал просить вас освободить княжну Изфаганову.

Князь глядел на молодого человека и не отвечал.

Фамилия произвела магическое действие. Все встрепенулись, прислушиваясь, ждали.

Наступило молчание в зале, и, несмотря на многолюдство присутствующих, воцарилась полная тишина, не возмущаемая ни единым звуком.

— Вы приехали за княжной Изфагановой? Просить освободить как бы из заточения?..— повторил князь.

— Да-с...

Снова молчание. Князь вздохнул.

— И этого сделать не могу,— произнес он.— Но скажите, государь мой,— снова громче заговорил князь,— какое вам до этого дело? И как вы в такой переплет замешались?

Зубов выпрямился и произнес запальчиво:

— Похитить чужую невесту, чуть не из храма, и держать ее насильно...

— Кто же вам все это сказал?

— Я был приглашен на свадьбу княжны и видел... Княжна сама просила...

— Извините. Вы ошибаетесь. Я это строго запретил! Эта, именуемая вами княжной Изфагановой, вас усиленно просила не быть в церкви. Вы явились по приглашению...

— Все равно... Жених позвал меня как защитника, боясь насилия... И он не ошибся! И вот я поневоле являюсь теперь защитником сироты-чужеземки, почти ребенка.

— Позвольте же вам доложить: никакой княжны Изфагановой на свете нет и не было! — проговорил князь мерно.— Был машкерад, чтобы проучить здорово проходимца, который явился ко мне сюда под именем

маркиза-эмигранта... А что многие лица полезли, куда их не звали, приехали на бал, куда их не приглашали,— я сожалею, но в этом не виноват... А что вы, наконец, вмешались в этот машкерад по молодости лет — я еще более сожалею. Мой главный скоморох — сиречь юная персидская княжна — сама просила вас, по моему приказанию, в церковь не ездить...

Зубов несколько оторопел и глядел на Потемкина уже с тревогой в лице...

— Я ничего не понимаю, князь. Какой машкерад!..— выговорил он.— Стало быть, княжна Изфаганова...

— Не княжна! — отвечал князь вразумительно.— Так же как маркиз — не маркиз.

В зале наступила опять тишина и молчание...

Зубов стоял румяный и смущенный, но вдруг вымолвил:

— Я не верю. Извините... Пускай княжна, запертая у вас, сама придет сюда и сама все это скажет. Я поверю!

— Брусков! — крикнул князь.

— Чего изволите? — отозвался тот за его спиной.

— Позови, поди, сюда прелестницу персидскую, которая вместо одного многих обморочила и в шуты вырядила. Пускай сама явится.

Офицер кинулся в кабинет, и с этой минуты все взоры приковались к дубовым дверям.

— Да-с,— продолжал князь.— Я этого, конечно, всего предвидеть не мог... Я хотел пошутить только над самозванцем маркизом. А потрафилось не то. Один скоморох — правду сказать, шельма и бестия — весь город одурачил...

— Но кто же тогда эта... девушка... Ваша крепостная?..— вымолвил Зубов, уже окончательно смущенный.

— А вот извольте спросить сами! — любезно отозвался князь, указывая на отворяющиеся двери...

На пороге показалась маленькая фигурка в светло-голубом платье с вырезным лифом и матово-серым вуалем на голове.

— Княжна Эмете!.. Пожалуйте! — сказал Потемкин.

Красивая фигурка приблизилась.

— Это ли княжна, господин Зубов?

— Это. Да...— пробурчал молодой человек.

— Ну, винися... Шельма! — рассмеялся князь...— Буде скоморошествовать-то. Довольно у тебя ручки-то

лизали разные старые и молодые! Иди-ка на расправу... Говори... Княжна ты или нет... Персидская?..

— Нет, ваша светлость! — вымолвила фигурка, косясь на толпу с румяным от смущения лицом...

— Верите ли вы, господин Зубов...— обернулся князь.

Зубов стоял уже не смущенный и насмешливо улыбался.

— Если она, эта девушка, сама говорит, что она не княжна,— отозвался он умышленно развязно,— то, конечно, я должен верить... Но, извините, я не понимаю главного.

— Чего же?

— Остроты, князь. Остроты во всей вашей шутке. Разума и цели в машкераде.

— Как тоись?..

— В чем же ваша проучка самозванца маркиза или шутка над всеми... Выдать прелестную девочку за княжну персидскую и дать влюбиться музыканту, чтобы потом ее у него отнять. Ему больно. Да. Но извините...— надменно смеясь, выговорил Зубов, обращаясь как бы ко всем.— Peu de seul [1], как говорят французы.

— А я так боюсь, Платон Александрыч, что я пересолил...

— Мало потому, что если это не княжна, то, во всяком случае, прелестная девушка, умная!

— Да, но в этаких на святках не влюбляются, а тут многие врезались, руки целовали и, более того, обнимали да чмокали... Ну, буде... Конец машкераду! Княжна... Шельма! Раздевайся!..

Раздалось несколько восклицаний, так как на глазах у всех маленькая фигурка начала послушно и быстро расстегивать лиф платья.

— Что вы делаете, князь! — прошептал в изумлении и негодовании Зубов.

— Хочу вам в его настоящем виде калмычка показать...

— Калмычка?

— Кал-мы-чка!..— протянул князь.— Пока так...

Маленькое существо быстро побросало уже на пол всю свою одежду и вуаль, и, когда платье съехало на пол, вышел из круга складок в красной куртке и шальварах прелестный мальчик, но при этом, уже и сам невольно

---

[1] Мало соли *(фр.)*.

смеясь. застегнул ворот на голой груди, которая была открыта под вырезом женского платья.

В зале пошел гул сотни голосов.

— Честь имею представить! — сказал князь, обращаясь ко всем.— Калмык, по имени — Саркиз. Зацеловали беднягу. Да чуть было не обвенчали и храм христианский не опоганили. Спасибо моим молодцам, что вовремя Саркизку арестовали... А вам, Платон Александрович, спасибо за добровольное участие в машкераде. С вами веселее вышло. Честь имею кланяться...

XVII

— Слышали о потемкинской мороке?

— Слышал, да в толк не возьму.

— Чудеса в решете. Ну и афронт для всех тоже не последний!..

— Калмык. Простой, тоись, калмык, сказывают?

— Калмык — Саркизом звать. Настоящий. Из Астрахани! Привезен был нарочито для машкерада этого и мороки. Выбирали по всем базарам самого красивого, какой найдется. Ну и нашли! Сей чудодей захочет птичьего молока и сухой воды — ему достанут...

— Слышали? Персияне-то наемные были из Москвы и тоже обморочены были. Им сказали, что свита принцессы в дороге застряла, а их на время берут. Они сами почитали ее... Тьфу! Его почитали за княжну персидскую. Ну и служили верой и правдой. Только дивились, что княжна по-ихнему ни бельмеса не знает. Да жалованье хорошее мешало им очень-то дивиться да ахать и болтать. А две бабы-то, сказывают, и вовсе русские были. За то они обе и молчали завсегда...

— Послушайте. Что же это?! Калмык-то князев?!

— Что ж! С жиру бесится!

— Да ведь это невежество. И не дворянский совсем поступок, воля ваша! Что ж это за времяпрепровождение?!

— Да и не смешно. Озорничество одно. А остроты никакой тут...

— Ума нет простого, не токмо остроты. Благоприличия нет... Уважения к своему сословию...

— Одно слово: развращенность и повреждение нравов.

— А ведь князь Хованов попался. Руки целовал каждодневно.

— Ну, ему, старому, поделом!

— А Зубов-то? Зубов?

Зубов был взбешен, конечно, более всех и поклялся отомстить. Но не по-российски — смехом и морокой, а, как говорил князь,— по-английски, т. е. злом, а не шуткой. Зубов готовил князю удар в самое сердце.

В домовой церкви Таврического дворца на той же неделе были торжественные — свадьба и крестины.

Венчался офицер Брусков с барышней Саблуковой, а князь был сватом и посаженым отцом у невесты. И все смеялся, поздравляя после венца молодых.

— Смотри, Брусков... Не башкиренок ли?!

Крестины были еще торжественнее. Все, что жило во дворце Таврическом, присутствовало. Крестился калмык Саркиз, и князь был восприемником от купели.

И вышел из церкви уж не Саркиз, а Павел Григорьевич Саркизов, получив имя от благодетеля и бывшего своего барина, а отчество от крестного отца.

Наутро Павел Григорьевич получил чин сенатского секретаря, пять тысяч рублей денег; но от невесты-приданницы, что прочил ему князь, отказался.

— Что? Аль боишься? Подведу тоже и тебя! — шутил князь.

Павел Григорьевич объявил, что просит одной милости — быть век при князе по гражданским поручениям...

Через неделю управляющий канцелярией фельдмаршала Попов сделал Саркизова делопроизводителем и доложил князю:

— Видал я на своем веку двух-трех, как их именуют, самородков, ну, а этакого не видывал. Чрез пять лет на моем месте будет, а то и выше...

А сам Павел Григорьевич горячо теперь исповедовал и молился новому своему Богу — христианскому. Но часто думал:

«Пока князь жив! А без него беги из Питера на край света. Да и там найдут для отплаты»

XVIII

— Это неправда! Нет, это неправда! Могущественные и властные люди, «сильные мира сего», не все могут делать.. Могут ли безнаказанно всякие злодеяния тво-

рить... Я любил ее... И она меня любила и любит. Это неправда. Сердце мне говорит это... И где княжна? В каземате? Погублена. Где ты, бедная Эмете, жертва самовластия? Я слезы лью от зари до зари. Томлюсь в тысяче терзаний, изболел душой по тебе... А ты этого и не знаешь... Где ты, бедная крошка?.. Неужели я никогда не увижу тебя, не обойму, не прильну губами к твоему милому личику... Твой взгляд изумрудный, глубокий, полный слез наслаждения, когда я играл тебе. О! я вижу его! Вижу, как если бы ты была предо мной... Эмете, где ты?.. Боже мой, за что судьба так безжалостно поступает с людьми? Чем я заслужил эту кару? Что я сделал? Я жил всю жизнь безвинно. На моей совести нет ничего... За что же это наказание? За что эта насмешка судьбы? После нищеты, голода, холода — дать мне много, обещать еще большее... Дать мне любовь чистого и невинного создания, чудно красивого, доброго... С душой, способной на восторженный отклик тому, что составляет и наполняет мою жизнь,— способной рыдать от музыки... Дать мне все это... И отнять... Эмете, где ты? Неужели она уже мертвая. В гробу! Под землей... Или убитая зарыта тайком в Таврическом саду по приказанию сатрапа, пресыщенного всем, что свет может дать за его миллионы и его власть... Нет!! Нет, она жива! Я верю. Я чувствую... Она жива... А если жива, то любит меня. Эмете! Отдайте мне ее. Я люблю ее. Отдайте мне... Отдайте...

Так мучился артист-музыкант, приютившийся в квартире старика пастора.

Он томился, то плакал тихо, то рыдал судорожно и отчаянно, говорил сам с собой и стонал и ни разу не взял в руки свою скрипку.

Зубов в тот же день сказал ему правду. Он поверил... но, пролежав часа два в обмороке, так что его приняли уже за мертвого, он пришел в себя...

Пришел в себя и понял, что над ним зло посмеялись. Они погубили его возлюбленную и с наглостью уверяют его и убеждают... В чем же? Что ее никогда не было на свете!

Наконец однажды пастор понял, что бедный артист близок к помешательству.

«Лучше сердечная боль от оскорбления, лучше пусть пострадает его самолюбие, нежели эти муки сердца влюбленного в несуществующее».

Так рассудил старик и отправился к Зубову

объяснить все и просить устроить артисту свидание с той личностью, которая так зло насмеялась над ним.

Зубов наотрез отказался. Одно воспоминание обо всей истории его вывело из себя.

Пастор решился и отправился прямо к князю в приемный день, был принят и объяснился.

Князь подумал и головой покачал.

— Жаль молодца. Но ведь горю не пособишь. Я полагаю, что он и самой княжне в вицмундире не поверит...

Князь велел позвать делопроизводителя Саркизова и пояснил казус с музыкантом.

Павел Григорьевич выслушал и грустно потупился.

— Что же? — спросил князь.

— Увольте, ваша светлость,— глухо и тихо проговорил он.— Вы сами изволите сказывать... Кончен машкерад, и кончена эта канитель. Я свое слово сдержал, хоть и трудно было. Душа не лежала к этому. Я знал, что злодеяние совершаю. Кому смех, а кому и горе, отчаяние. Я слово дал и сдержал. Сдержите и вы свое... Мне видеть музыканта будет тяжко, так тяжко, что я и сказать не могу. Ведь я ему сердце растерзал... Мне его жаль... А видеть просто не в силу. Увольте хоть пока. А чрез месяц — обойдется, может. Тогда мы повидаемся... А затем ваша воля — как прикажете...

Наступило молчание.

Пастор, пораженный голосом Павла Григорьевича, ничего не сказал.

«Этот тоже страдает из-за причиненного им ближнему зла»,— подумал старик.

— Ну, вот ответ! — сказал князь пастору.— Я приказывать не стану. Чрез месяц, коли мы будем еще здесь, пускай свидятся.

Пастор вернулся домой... Объяснил нсчастному все, что видел и слышал сам, своими глазами и ушами.

Но артист засмеялся, а потом горько заплакал как ребенок.

— И вы тоже! Священник! Тоже ложь, даже в устах служителя алтаря...

ЭПИЛОГ

> Чей одр — земля, кров — воздух синь,
> Чертоги — вкруг пустынны виды...,
> То он — любимый славы сын,
> Великолепный князь Тавриды!
>
> *Державин*

Голая равнина на громадном протяжении вся изрезана водными потоками, из которых каждый — широкая быстрая река и бурно катит свои волны в недалекое море. Это — рукава и гирлы Дуная.

На одном из рукавов, вдоль пологого берега, раскинулись кое-где постройки... Это маленький городок Галац.

Здесь, среди домов и домишек, кое-где виднеются христианские храмы, а за рекой, на том берегу, уже высятся тонкие и легкие остроконечные минареты. Там начало мусульманского мира.

В маленьком городке заметно особенное оживление, но весь город кажет лагерем. На улицах и в домах только и видны, что мундиры, на площадях — кони и орудия.

Несмотря на августовские жары, горячий воздух и раскаленную землю, на улицах сильное движение.

Три дома в городе разделили между собой толпы военных и служат как бы центрами сборищ.

В одном из них, поменьше других, квартира военачальника князя Репнина.

Еще несколько дней назад он был главнокомандующим победоносной армии... Великий визирь после поражения при Мачине сносился с ним одним.

Но вот не так давно явился сюда могущественный вельможа и полководец, «великолепный князь Тавриды», и принял вновь начальство над русскими силами и над заменявшим его полгода Репниным...

И теперь он первое лицо здесь — и для своих, и для неприятеля.

В другом доме, неподалеку от первого, красивой архитектуры, но сравнительно меньшем, движение ограничено подъездом и двором. К дому идут и скачут офицеры со всех сторон, но, не входя, а только побывав в передней или на дворе, возвращаются обратно.. Они являются сюда за вестями..

В этом доме поместился генерал русской службы, принц Карл Вюртембергский и за последнее время опасно заболел южной гнилостной горячкой Так как это

родной брат жены наследника престола. то болезнь его многих озабочивала.

На другом краю города, в большом доме, где поместился приезжий со свитой князь Таврический, движение более чем когда-либо.

В одной из горниц этого дома, несколько в стороне от всех остальных, на большой софе лежит в одном белье и турецких туфлях на босу ногу огромный широкоплечий человек, лохматый, неумытый, небритый и задумчиво, почти бессмысленно смотрит в пустую стену и грызет ногти... Лицо его изжелта-бледное, худое, осунувшееся, не только угрюмо, а печально-тоскливо... Он или был опасно болен, или горе поразило его недавно. Черты лица настолько изменились за последнее время, в волосах так дружно сразу блеснула седина, а глаза так нежданно вдруг потускнели... что этого человека многие друзья и враги едва бы теперь узнали. Друзья бы ахнули, а враги возликовали.

Это сам князь Потемкин, еще недавно, месяца с полтора назад, выехавший из Петербурга добрым, веселым и могучим. Он скакал счастливый чрез всю Россию, сюда, на Дунай, снова громить векового врага, надеясь теперь окончательно стереть его с лица земли, именуемой Европою, и, «оттеснив луну от берегов этой реки, перебросить затем чрез Босфор, на тот берег, где уже другая часть света...». Это его мечта уже за двадцать лет, и она его несла и гнала как вихрь от берегов Невы на берега Дуная. Но здесь ожидал богатыря удар, сразу сразивший его... Только это, что он узнал здесь, могло сломить его железную мощь и духа, и тела...

Первого июля прискакал он в этот городок, окруженный целой золотой толпой военачальников и сановников... и стал лихорадочно поджидать появления своего заместителя с поздравлением по случаю прибытия в армию и с первым докладом...

Князь Репнин, видевший въезд генерал-фельдмаршала, главнокомандующего,— медлил и не являлся...

Прошел час.

Тень набежала на лицо князя... Оставшись один с любимой племянницей, всюду его сопровождавшей, он поглядел на нее тревожными глазами и вздохнул.

За час назад графиня Браницкая видела его счастливым и сияющим... На ее удивление и вопрос о причине внезапной перемены князь ответил с тревогой в голосе:

— Боюся... Сашенька... Боюся... Если Репнин не прибежал тотчас, не выбежал за сто верст навстречу! то... дело плохо! Мое дело плохо!

Несмотря на возражения, шутки и успокаивание дяди, графиня не добилась улыбки от него.

— Сразит меня. Если это так!

— Что?

— Команда передана ему... Тайно. Без моего ведома. Я здесь второй... Я этого не перенесу. Что ж хуже этого может быть... Ничего! Одно разве — мир с Турцией. Да. Уж если выбирать,— то пускай я буду его адъютантом, его ординарцем на побегушках, да буду видеть, как мы начнем громить турку.

Князь Репнин явился наконец, поздравил светлейшего с прибытием из дальнего пути и как бы передал ему права главнокомандующего, начав доклад подчиненного о последних событиях на берегах Дуная.

А одно событие мирового значения совершилось вчера...

Вчера, 31-го числа июня, он, князь Репнин, заместитель светлейшего, подписал здесь в Галаце перемирие с султаном и прелиминарии будущего трактата. Вчера! Молния ударила в сердце и в мозг богатыря и с этого мгновения — он до сих пор еще не пришел окончательно в себя.

— Как вы смели? — вскрикнул он тогда. И до сих пор еще в ушах его звучит ответ Репнина, много значащий, многое говорящий иносказательно и многое объясняющий, чему не хотел верить князь еще на берегах Невы.

— Я исполнил свой долг и отдам ответ в моих действиях государыне императрице,— сказал Репнин.

«Перед ней, монархиней, а не пред тобой. Тебя прежнего уже нет. Ты был! Теперь ты нечто иное... Могущественный Потемкин заживо умер, осталась внешняя твоя оболочка в мундире и орденах, а пустяки, мелочная подробность, т. е. власть и могущество, от тебя отошли».

«Отчего и когда!.. От одного слова, одной бумаги, которую привез сюда курьер из Петербурга, когда ты там чудодействовал... Теперь ты, как кукла, имеешь все права и полномочия действовать так, как тебе прикажет оттуда тот, кто власть имеет...»

Платон Александрович Зубов! Мальчишка!

Он вел все лето тайные переговоры с Диваном, и он

привел их к указу царицы о подписании первых основных условий мирного трактата между двумя империями.

Вот с этого дня и лежит на диване, полураздетый, будто обезумевший, человек, будто заживо погребенный... Да и впрямь, жизнь его держится только в теле, ухватившись за соломинку... Он писал и пишет в Петербург, умоляя в тысячный раз — продолжать войну, но и сам не верит в успех своих молений. Он верит только в русский авось!

«Авось что-нибудь случится, и он снова расстроит мир и снова ударит на врага». Если же этого ничего не случится — то... Что же? Надо умирать!.. Песенка его спета и кончилась, оборвалася тогда, когда он думал, что еще только на половине ее.

И о н а обманула его, как прежде, по его же совету, обманывала других... Григорий Орлов также был поражен здесь же одним нежданным известием. Он поскакал в Петербург, но не был допущен в город... Очутился узником в Гатчине. А когда был допущен, то встретил в ней уже только монархиню, милостивую и благодарную, но свергнувшую с себя всякое иное иго.

Что ж? И ему скакать теперь туда, чтобы очутиться узником в Москве или даже в Таврическом дворце, без права явиться в Зимний впредь до особого разрешения гофмаршала.

«Нет, уж лучше умирать!»

Мирный трактат будет праздноваться на его свежей могиле.

Борьба Креста с Луной была его душой. Нет борьбы — нет души. Она отлетела. А эта скорлупа, это бренное тело — ни на что никому не нужно. И ему не нужно. Он видел на своем небе Крест, а на нем надпись: «Сим победиши». Упал этот крест с русских небес и утонул в волнах Дуная...

И все кончено!..

День за днем проводил так, в каком-то полузабытии, томительном и болезненном, князь Таврический, еще недавно деятельный, самоуверенный, счастливый...

Давно ли он был способен с маху и на отважный политический шаг, весь успех которого именно в дерзости, в махе. И на ребяческую проказу, вся прелесть которой — в ее добродушии... Теперь и то, и другое было немыслимо. Полный упадок духа и надломленность тела

сказывались во всем. Он никого не принимал, изредка справляясь о курьере, которого ждал из Петербурга, и об здоровье принца Карла.

Однажды графиня Браницкая вошла к дяде и объявила ему печальную весть.

— Дядюшка, принц Вюртембергский скончался.

Князь онемел... Потом он сразу поднялся с дивана и вытянулся во весь рост. Лицо его побледнело.

— Что? — прошептал он и через мгновение робко прибавил: — Как же это?

И, постояв, князь сгорбился понемногу, осунулся весь и опустился бессильно на диван, почти упал.

— Ох, страшно...— простонал он.— Да и рано... Рано же!!

— Что вы, дядюшка? — изумилась графиня, знавшая, что между покойным принцем и дядей не существовало крепкой связи, а была лишь одна простая приязнь.

Князь молчал и тяжело дышал.

— Что вы, дядюшка? — повторила графиня.

— Сашенька! Цыганка в Яссах о прошлую осень предсказала по руке принцу, что ему году не прожить.

— Странно... Ну что ж... Бывают такие странные совпадения... Чего же вы смущаетесь?

— А мне — год...

— Что-о?

— А мне — год дала... Ровно год... Мы тогда смеялись... Вот...

Князь закрыл лицо руками.

— Полноте, дядюшка... Как не стыдно? Бог с вами. Это ребячество. Ну, тут потрафилось так. Но ведь это простая случайность.

Браницкая села около князя и долго говорила, успокоивая его...

— Это простая случайность! — повторяла она.

Наконец князь отнял руки от бледного лица в слезах и выговорил глухо:

— Не лги, Саша... Сама испугалась и веришь...

— С чего вы это взяли!

— По твоему лицу и голосу... Сама веришь, испугалась и лжешь...

И князь замолчал и просидел несколько часов, не двигаясь, в той же позе, понурившись и положив голову на руки.

На третий день после этого князь, слабый, унылый, задумчивый и рассеянный, будто совсем ушедший в са-

мого себя, оделся в свою полную парадную форму главнокомандующего и генерал-фельдмаршала и, сияя, весь горя, как алмаз, в лучах южного палящего солнца, отправился на похороны умершего принца...

Все, что было воинства от офицеров до генералов в Галаце и окрестностях, явилось присутствовать на погребении и отдать последний долг хотя чужестранному принцу в русской службе, но родному брату будущей царицы.

Всех поразила фигура генерал-фельдмаршала.

Он тихо двигался, странно глядел на всех, озирался часто по сторонам, будто усиленно искал что-то или кого-то, но на вопросы и предложения услуг ближайших бессознательно взглядывал и не отвечал.

И за все время отпевания он не произнес ни слова.

Наконец, оглянувшись вновь кругом и завидя движение около гроба, всеобщее молчание, отсутствие пастора, он услыхал смутно слова: «Вас ждут, князь». Он отозвался как в дремоте:

— А? Что?

— Вас ждут, князь,— говорил тихо Репнин.— Соизвольте... Или прикажете всем прежде вас подходить?

— Что?

— Прощаться с покойником!

— Да... Да... Я первый. Первый...— прошептал князь глухо.— Да, первый после него, из всех вас... Моя очередь. За ним — первый...

Репнин ничего не понял и, приняв слова за бред наяву, изумленно глянул в желтое и исхудалое лицо светлейшего.

Князь полусознательно приложился к руке покойника и, отойдя от гроба, двинулся к дверям между двух рядов военных.

Всюду толпа, мундиры, ордена, оружие... Все незнакомые лица, и все глаза так пристально-упорно смотрят на него... Точно будто он им привидение какое дался...

Князь двинулся скорее. Уйти скорее от них, от их пучеглазых лиц, их глупого любопытства!

Сойдя с крыльца снова под жгучие лучи солнца, палящего с безоблачного неба, он увидел лошадей... Экипаж при его появлении подали к самым ступеням подъезда. Дав ему время остановиться, князь сел...

Лошади не трогаются... Чего они?! Уж ехали бы скорее от этого глупого народа. Скучно! Ну, что ж они?.. Застряли!

— Ваша светлость! ваша светлость! — уж давно слышит князь голос около себя, и наконец кто-то дергает его за рукав мундира...

— Ваша светлость!

— А-а?..— вскрикивает он, как бы проснувшись.

Маленький, красивый чиновник, его новый любимец, Павел Саркизов, стоит перед ним, смело положив руку на обшлаг его кафтана.

— Извольте слезть! — говорит Саркизов тревожно.

— Чего?

— Извольте слезть!.. Вы по забывчивости... Слезайте...

И Саркизов смело потянул его за рукав...

Князь очнулся, огляделся и, вскочив как ужаленный, сразу шагнул прочь...

Он увидел себя сидящим среди погребальных дрог, поданных к подъезду для постановки гроба.

Жутко стало, защемило на сердце суеверного баловня счастья.

Князь быстро отошел, сел в свои дрожки и, отъезжая от толпы, отвернулся скорее...

Он чуял, какое у него в этот миг лицо, и не хотел казать его толпе.

— Видели? — говорила эта толпа шепотом.

— Да... По рассеянности!

— Ох, плохая примета...

— Совсем негодная примета. И верная.

— И без приметы вашей — приметно! По лицу его... Недолог!..

Так говорили, перешептываясь и толпясь вокруг погребальных дрог, собравшиеся офицеры...

«Ох, типун вам на язык! — грустно думал маленький и красивый чиновник-юноша, прислушиваясь к этому говору.— Злыдни! Вы бы рады! Да Бог милостив... Не допустит. Его смерть — моя погибель... Ох, Фортуна! Неужто она и со мной ныне — мудреные литеры вилами по воде пишет... Страшно... Помилуй Бог. Куда тогда бежать, где укрыться... Только разве за границу, в Польское королевство...»

Был он Саркизка — и весело жилося... Светел был весь мир Божий... Стал он чиновник канцелярии, Павел Григорьевич... на миг все блеснуло кругом еще ярче, но тотчас же темь началась, и вот все больше темнеет и темнеет... Надвигается отовсюду на душу оторопелую тяжелая мгла... и чудится ему голос:

«Я отшутила... Буде!..»
Это Фортуна кричит ему из мглы...

Ровная, голая, однообразная пустыня раскинулась без конца во все края... Ни камня, ни дерева, ни птицы, ни чего-либо, на чем взор остановить... Это степь молдавская.

Степь эта словно море разверзлось кругом, но черное, недвижимое, мертвое. Не то море, что лазурью и всеми радужными цветами отливает, встречая и провожая солнце, что журчит и поет, покрытое золотыми парусами, или порой, озлобясь, стонет и грозно ревет, будто борется с врагом, с невидимкой вихрем. Но, истратив весь порыв гнева, понемногу стихает, смотрится вновь в ясные небеса, а в нем сверкают, будто родясь в глубине, алмазные звезды.

Здесь, в этом черном и недвижном просторе, нет ни тиши, ни злобы — нет жизни.

В теплый октябрьский день, в этой степи, в окрестностях столицы Ясс, летели вскачь три экипажа, в шесть лошадей каждый. Вокруг передней открытой коляски неслось трое всадников конвойных.

В коляске, полулежа, бессильно опустив голову на широкую грудь и устремив тусклый взор в окрестную ширь и голь, бестрепетную и немую, сидел князь Таврический. Около него была его племянница... И ее взор тоже грустно блуждал по голой степи, будто искал чего-то...

Князь упрямо решился на отчаянный шаг, безрассудный, ребячески капризный и, быть может, гибельный...

Уехав из Галаца тотчас после похорон принца Карла, он весь сентябрь месяц прожил в Яссах. И все время был в том же состоянии апатии... Изредка он сбрасывал с себя невидимое тяжелое иго безотрадных помыслов, боязни телесной слабости... Он принимался за работу, переписывался с царицей и со всей Европой, надеялся вновь на все... Надеялся разрушить козни Зубова, прелиминарии мира с Портой, интриги Австрии и Англии... Все с маху вырвать с корнем и отбросить прочь!.. Все!! От Зубова и трактата — до боли в груди и пояснице...

Но этот подъем духа и тела — был обман... Так бывает подчас, вспыхивает ярко, порывом угасающее пламя и, блеснув могуче, сверкнув далеко кругом, упа-

дет вновь и бессильно, будто мучительно ложится и стелется по земле...

После порывов работать и надеяться, после попыток схватиться с невидимым подступающим врагом и побороть его князь детски, бессильно уступал, сраженный и умственно, и телесно.

— Нет... Рано еще мне... Я не все свершил! — восклицал в нем голос.— Подымись, богатырь!.. Схватись! Потягайся! Еще чья возьмет!..

Но скоро страдным тоном отзывалась в нем эта борьба.

— Нет, не совладаешь... Конец!

С первого же дня октября месяца князь почувствовал себя совсем плохо... и в первый раз сказал вслух:

— Я умираю... Да! Я чую ее... Смерть...

И 5 октября князь вдруг решил, как прихотливый ребенок, покинуть Яссы и ехать в отечество.

Напрасно уговаривала его Браницкая и все близкие остаться спокойно в постели и лечиться.

— Нет. Я умираю. Хочу умереть в моем Николаеве, а не здесь, в чужой земле.

И слабый, едва двигающий членами, едва держащий голову на плечах, сел в коляску...

И три экипажа понеслись в карьер по степи молдавской...

Прошло часа два... Князь изредка заговаривал, обращаясь к племяннице, и произносил отрывисто, но отчетливо и сильным голосом, то, что скользило будто чрез его темнеющий и воспаленный мозг. Это были отрывки воспоминаний и намерений, или порыв веры, или приступ боязни, или простые, но сердечные и последние заботы об остающихся на земле.

Вместе с тем князь вслух считал верстовые столбы... И вдруг однажды произнес резко:

— Тридцать восьмой...

— Нет, дядюшка, еще только тридцать верст отъехали...

— Далеко... Далеко до родной земли... А вот гляди — моя Таврида... Я вижу. Я лучше теперь вижу..

Графиня Браницкая тревожно поглядела на дядю... Если это бред, то как же скакать несколько верст до Николаева! Не лучше ли вернуться скорее назад в Яссы?

Через полчаса князь начал видимо волноваться, тосковать, шевелиться и встряхиваться своим грузным телом.

— Ну, вот... Вот...

Наконец он вдруг вскрикнул:

— Стой...

Все три экипажа остановились... Люди обступили коляску.

— Пустите... Здесь отдохну...

Он вышел, с трудом поддерживаемый рослым гусаром и своим лакеем Дмитрием. Маленький чиновник Павел Саркизов взял плащ из коляски.

Князь отошел немного в сторону от дороги, к верстовому столбу с цифрой 38. Плащ разостлали на земле, и он, с помощью людей, опустился и лег на спину.

Браницкая села около него.

— Вам хуже... Надо ехать назад... Отдохните, и вернемтесь...

Князь не отвечал... Глаза его упорно и пристально смотрели вперед, будто силились разглядеть что-то...

Люди столпились невдалеке, между князем и экипажами... Только молодой чиновник стоял близ лежащего.

Прошло с полчаса среди полной тишины.

— Скажи царице,— заговорил князь тихо.— Благодарю... за все... Любил... одну... Никого не любил... Все все равно... Тебя... Да...

«Убирается!» — грустно, со слезами на глазах подумал Саркизов.

— Скажи ей... Надо... Чрез сто лет — все равно... Лучше она — Великая. Босфор будет... Я хотел... Все можно... Все! Захоти и все... захоти и все...

Он двинулся резко, почти дернулся, и взор его еще пытливее стал будто приглядываться к подходящему... И он вдруг выговорил сильно:

— Да... Да... Иду...

Прошло полчаса... Все стояли недвижно. Никто не шевельнулся. Никто не хотел поверить.

Браницкая присмотрелась к лежащему, тронула его рукой и зарыдала...

Чрез час один из экипажей поскакал в Яссы...

Браницкая уже сидела в отпряженной среди дороги карете...

Люди, офицеры и солдаты стояли кучкой у пустой коляски и уныло, односложно, даже боязливо перешептывались.

Скоро опустилась на все темная и тихая мгла.

А на краю дороги, близ одинокого верстового столба,

на земле, среди разостланного плаща лежало тело «великолепного князя Тавриды».

Около него стоял недвижно солдат-запорожец, поставленный на часах... А у края плаща сидело в траве маленькое существо... понурившись, съежившись, и думало...

«Да... Вот... Велик был... А что осталось... Меньше меня...»

Среди ночи запорожца сменил высокий гусар... Он пригляделся к покойнику и вымолвил:

— Павел Григорьевич!

— Ну...— отозвался юноша-чиновник.

— Нехорошо... Глаза не закрыли... Что ж это они — никто... Надо закрыть...

— Да...

— Я закрою...

Гусар присел на корточки около тела и толстыми, неуклюжими пальцами старался опустить веки на глаза... Но застывшие веки вновь подымались.

— Пусти! — выговорила уныло маленькая фигурка.— Я закрою...

— Ничего не поделаете... Надо вот...

Он полез в карман и, достав два больших медяка, закрыл по очереди каждое веко — и накрыл монетами...

— Это завсегда надо кому... вовремя взяться...— сказал гусар.— Покуда теплый...

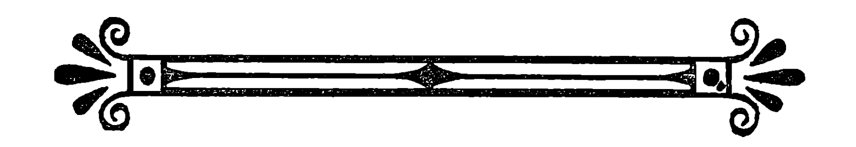
— А кому надо-то? Чья забота? — грустно отозвался маленький человечек.

— Кому? Вестимо... Ближним...

— Он на свете-то был... вот что я теперь... Выше всех, но один! А я-то вот... И ниже всех — и один...

КОММЕНТАРИИ





Крутоярская царевна

Историческая повесть

Впервые — отдельным изданием: Салиас Е. А. Крутоярская царевна. М., 1893.

Печ. по изд.: Салиас Е. А. Собр. соч., т. XIII. М., 1895.

Стр. 28. *...в одной из жестоких битв русских войск с фридриховскими.* — Речь идет о Семилетней войне (1756—1763 гг.), в которой участвовало десять европейских государств. Россия в союзе с Австрией и Саксонией нанесла в окончательном итоге поражение прусской армии короля Фридриха II (1712—1786).

...все состояние оказалось бы выморочным. — Собственность, никому не завещанная и не имеющая наследников, переходит в государственную.

Стр. 29. *Кирилл Григорьевич Разумовский* (1728—1803) — последний гетман Украины (1750—1764); после отмены гетманства получил чин фельдмаршала, но в Екатерининскую эпоху был постепенно отстранен от дел. Был младшим братом Алексея Григорьевича Разумовского (1709—1771), фаворита, а затем и тайного морганатического супруга императрицы Елизаветы Петровны.

Стр. 31. *Император Петр Федорович* (1728—1762) — российский император (с 1761 г.), немецкий принц Карл Петр Ульрих, внук Петра I. Был свергнут и убит в результате дворцового переворота, организованного его женой, будущей императрицей Екатериной II.

Стр. 37. *Караимка* — женщина караимской национальности, представляющей немногочисленную этническую группу тюркского происхождения и иудаистического вероисповедания.

Стр. 97. *Пугачев* Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — донской казак, предводитель крупнейшего крестьянского восстания в истории России (1773—1775 гг.), объявивший себя спасшимся царем Петром III.

Стр. 155. *Бибиков* Александр Ильич (1729—1774) — генерал-аншеф, сенатор, выдвинулся в Семилетней войне. Командовал правительственными войсками, направленными на подавление Пугачевского восстания.

Кар — русский генерал-майор, за неудачные действия против восставших отозванный и уволенный со службы.

Стр. 163. ...*Граф Чернышев* — один из виднейших вельмож Екатерининской эпохи Захар Григорьевич Чернышев (1722—1784), генерал-фельдмаршал, с 1773 г. президент Военной коллегии. В повести идет речь о самозваном графе Чернышеве — сподвижнике Пугачева — Иване Никифоровиче Зарубине (Чике) (1736—1775).

Философ

Историческая повесть

Впервые — отдельным изданием: М., 1891.

Печ. по изд.: Салиас Е. А. Собр. соч., т. XVI. М., 1896.

Стр. 185. ...*Салтыков* Петр Семенович (1696—1772/73) — русский полководец, граф (1733), дальний родственник императрицы Анны Иоанновны, генерал-фельдмаршал (1759), командующий русской армией во время Семилетней войны в кампании 1759—1760 гг.; одержал победы при Пальциге и Кунерсдорфе. В 1764—1771 гг.— московский генерал-губернатор.

Разумовский Алексей Григорьевич (1709—1771) — из семьи украинских казаков, оказался при дворе певчим, затем стал фаворитом цесаревны Елизаветы Петровны; после ее восшествия на престол вступил с ней в тайный брак; в 1756 г. получил звание фельдмаршала, а в 1744-м — титул графа.

Бутырки — старинный городской район на севере Москвы (Бутырская слобода), известный с XVII столетия.

Стр. 191. ...*Воздвиженский монастырь* (Крестовоздвиженский) — средневековый московский монастырь, располагавшийся близ нынешнего Арбата и сгоревший в пожаре 1812 г.

Стр. 193. ...*Куверт* — столовый прибор (обычно на парадном обеде).

Стр. 198. *Рыдван* — см. примеч. к с. 381.

Стр. 208. ....*Бирон* Эрнст Иоганн (1690—1772) — граф (1730), фаворит императрицы Анны Иоанновны, герцог Курляндский (1737), в 1740 г. становится регентом России при малолетнем императоре Иване VI, однако вскоре при содействии Миниха был подвергнут аресту и отправлен в ссылку в Тобольскую губернию. При восшествии на престол Елизаветы Бирон был переведен в Ярославль. И только при Екатерине II Бирон смог вернуться в Курляндию.

Рюрикович — представитель древних княжеских родов в России, ведущих свое происхождение от самого Рюрика, полулегендарного основателя Киевской Руси.

Преображенцы — офицеры и солдаты основанного Петром I в 1687 г. старейшего полка русской гвардии, получившего свое

название по месту формирования — подмосковному селу Преображенскому.

Стр. 209. *Анна Леопольдовна* (1718—1746) — правительница России в 1740—1741 гг. при своем малолетнем сыне — Иване VI, внучка Ивана V. Свергнута вместе с сыном в ноябре 1741 г.

Миних Христофор Антонович (1683—1767) — русский полководец и государственный деятель, граф, генерал-фельдмаршал (1732), выходец из мелкого северогерманского графства Ольденбург, на русской службе с 1721 г. Был ближайшим соратником фаворита императрицы Анны Иоанновны Бирона. Затем после кончины государыни Миних отправил Бирона в ссылку и стал на недолгое время первым министром. При Елизавете Петровне провел 20 лет в ссылке.

Малютка император Иван.— Речь идет об Иване VI Антоновиче (1740—1764), правнуке Петра I, провозглашенном в несколько месяцев от роду императором, за которого правили вначале Бирон, затем мать Анна Леопольдовна. Свергнут гвардией, возведшей на престол Елизавету Петровну. Уже при Екатерине II был убит при попытке офицера Мировича освободить его из постоянного тюремного заключения.

Цесаревна Елизавета — дочь Петра I Елизавета Петровна, российская императрица (1741—1762).

Стр. 214. ...*на Варварке.*— Варварская, или Варваринская, улица, получившая название от построенной в 1514 г. церкви Св. Варвары, считалась одной из главных улиц старинной Москвы.

Стр. 234. ...*Телемак* (Телемах) — в гомеровском эпосе сын Одиссея, царя Итаки, герой ряда романов классицистического направления.

Стр. 238. ...*Шалнер* — петли, навески, скрепы.

Стр. 252. ...*Александровская кавалерия на груди* — орденская лента через плечо.

Стр. 256. ...*Ной* — в библейской мифологии праведник, спасшийся со своей семьей на ковчеге во время всемирного потопа.

Авраам — легендарный родоначальник еврейского народа.

Сенатский секретарь

Исторический рассказ

Впервые — Салиас Е. А. Собр. соч., т. XVII. М., 1896.

Печ. по тексту этого издания.

Стр. 294. *Берг-коллегия* — центральное государственное учреждение в России, основанное при Петре I и ведавшее горнорудной промышленностью.

...*Трощинский* Дмитрий Прокофьич (1754—1829) — выпуск-

ник Киевской духовной академии, был чиновником при Безбородко, при Павле I — сенатор, в 1814—1817 гг был министром юстиции

Стр. 296. ...*граф Безбородко* Александр Андреевич (1747—1799) — государственный деятель, секретарь Екатерины II, светлейший князь, канцлер (с 1797 г.).

Стр. 319. ...*Рылеев* Никита Иванович (ум. 1808) — обер-полицмейстер (с 1784 г.) и губернатор Санкт-Петербурга (с 1793 г.), принадлежал к старинному дворянскому роду, восходившему к середине XVI в.

Стр. 321 ...*Король Магнус* – имя нескольких норвежских и шведских королей средневековья, а также правителя Ливонии при Иване IV.

Стр. 322 ..*Храповицкий* Александр Васильевич (1749–1801) — действительный тайный советник (1801 г.), сенатор, один из статс-секретарей Екатерины II, выступал как поэт.

Стр. 328. *Владимирский кавалер* — награжденный орденом Св. Владимира

Пандурочка

Исторический рассказ

Впервые — Исторический вестник, 1897, № 1

Печ. по изд.. Салиас Е А. Собр соч. т XXVI. М., 1901

Стр. 331 ...*пандурский полк.* – Так назывались воинские части, образованные при Елизавете Петровне, по подобию иррегулярного войска, созданного ранее в Венгрии и одетого и вооруженного на манер турок В России пандурские части были расформированы в 1764 г

Стр. 332. ..*Авель* — по Ветхому завету сын Адама и Евы, убитый из зависти старшим братом Каином

Архимандрит — в православии старший монашествующий сан 2-й степени а также титул настоятеля мужского монастыря или ректора духовной семинарии

Стр. 335 *Бирюлька* мелкий деревянный предмет для старинной русской игры

Получить «абшид» — выйти в отставку

Стр. 346 *Попов* Василий Степанович (1740/45—1822) — действительный тайный советник (1807 г) член Государственного Совета (1810 г) был до конца жизни Потемкина его доверенным лицом и секретарем в чине генерал майора

Стр 357 *Вавилон* (Бабилон) крупнейший город древней Месопотамии столица Вавилонского царства (XIX VI вв до н э) символ шумного беспорядочного многоязычного мегаполиса

Стр. 364. *Давид* — царь Израильско-Иудейского государства в конце XI в.— около 950 г до н. э. Провозглашенный царем Иудеи после гибели Саула, Давид присоединил территории израильских племен и создал государство со столицей в Иерусалиме. По библейской легенде, Давид, в юности, еще не будучи царем, победил на поединке филистимлянского великана Голиафа, выстрелив в него камнем из пращи.

Стр. 365. *Караковый* — темно гнедой.

Стр. 375. ...*Аспид* — род ядовитых змей, в переносном значении злобный, коварный человек.

Ширь и Мах (Миллион)

Исторический роман в двух частях

Впервые — в 1885 г в журнале «Нива» под названием «Миллион»

Печ. по изд.: Салиас Е. А. Собр. соч., т IX. М., 1895.

Стр. 381. *Сенбернар* — порода крупных собак, выведенная в Альпах для горноспасательных работ.

Фурьер — заготовщик продовольствия.

Берейтор — объезжающий верховых лошадей и обучающий верховой езде.

Берлин — род четырехместной крытой коляски.

Рыдван — старинная большая карета для дальних поездок, куда впрягалось несколько лошадей.

Стр. 382. *Форейтор* — при запряжке цугом кучер, сидящий верхом на одной из передних лошадей.

Митава — старинный прибалтийский город (ныне — Елгава), основанный в середине XIII в. и бывший ряд лет столицей Курляндского герцогства.

Стр. 383. *Самойлова* — одна из четырех сестер Энгельгардт, супруга графа А. Н. Самойлова (см. примеч. к с. 397).

Скавронская Екатерина Васильевна — урожденная Энгельгардт, племянница Потемкина, в 1781 г. вышедшая замуж за П. Г Скавронского, внучатого племянника Екатерины I, действительного камергера и российского посланника в Неаполе.

Браницкая Александра Васильевна (1754—1838) — урожденная Энгельгардт, любимая племянница Потемкина, находившаяся, по слухам, в интимной связи с ним; графиня, жена Ксаверия Браницкого, великого коронного гетмана Польши.

Генерал-аншеф третье генеральское звание в русской армии XVIII в.

Алкивиад (ок. 450 404 вв. до н. э.) — афинский стратег с 421 г. в период Пелопоннесской войны, племянник Перикла, ученик

Сократа. Бурная жизнь Алкивиада отражена во многих литературных произведениях.

Премьер-майор — чин в русской армии, равный подполковнику.

Герой Кинбурна — участник победного для русской армии сражения с турецкими войсками в октябре 1787 г. на Кинбурнской косе, близ устья Днепра.

Стр. 393. ...*Зубов* Платон Александрович (1767—1822) — последний фаворит Екатерины II, светлейший князь, генерал-губернатор Новороссии.

Стр. 394. ...*Султан Селим.*— Имеется в виду Селим III (1761—1808) — султан Турецкой империи с 1789 г.; он закончил начатую еще до его восшествия на престол русско-турецкую войну невыгодным для Турции Ясским миром 1792 г. Борьба Селима III за преобразование Турции на европейский манер кончилась восстанием янычар, в результате которого в 1807 г. он был свергнут с престола, а затем и умерщвлен.

Диван — государственный совет в бывшей султанской Турции, состоявший из министров и придворных советников.

Репнин Николай Васильевич (1734—1801) — князь, генерал-фельдмаршал, последний представитель по мужской линии старинного рода, происходившего от св. Михаила, князя Черниговского. Принимал активное участие во второй русско-турецкой войне. После отъезда Потемкина в Петербург в 1791 г. Репнин остался за главнокомандующего русскими армиями и вскоре, одержав убедительную победу над турками, заставил их подписать в июле 1791 г предварительные условия мира в Галаце. В 1794 г он занимался усмирением Литвы.

...*о бегстве Лудовика Французского.*— Речь идет о Людовике XVI (1754—1793) и событиях Великой Французской революции.

Генрих IV (1553—1610) — король Франции (с 1589 г.), основоположник правящей династии Бурбонов.

Стр. 395. ...*Леопольд.*— Речь идет о Леопольде II (1747—1792) — австрийском государе, императоре Священной Римской империи (1790—1792). При нем был заключен в 1791 г. Систовский мирный договор, позволивший Австрии начать вмешательство в дела революционной Франции, чья свергнутая королева Мария-Антуанетта была родной сестрой Леопольда.

...*перешвырнуть Луну через Босфор.*— Имеется в виду «луна» («полумесяц»), символ и эмблема мусульманского мира и религии.

Стр. 396. ...*Альбион* — древнекельтское название Англии.

Стр. 397. ...*Самойлов* Александр Николаевич (1744—1814) — граф, племянник Потемкина, генерал-прокурор и государственный казначей, кавалер ордена Александра Невского.

Стр. 399. ...*Схизма* — раскол в христианской церкви.

Filioque — теологический термин, обозначающий спорное в хри-

стианстве определение Святого Духа как производного и от Бога-Отца, и от Бога-Сына.

Игумен — настоятель мужского православного монастыря.

Архиерей — в православной церкви общее название для высшего духовенства (епископа, архиепископа, митрополита).

...*Никейский собор* — один из вселенских церковных соборов, происходивших в городе Никее в 325 и 787 гг.

Стр. 400. *Коллежский регистратор* — самый низший гражданский чин 14-го класса по введенной Петром I табели о рангах.

Стр. 401. ...*Николаев* — город на юге России, основанный в виде укрепления в 1784 г. Потемкиным.

Граф Матюшкин.— Очевидно, речь идет о Дмитрии Михайловиче Матюшкине (1725—1800), получившем графское достоинство в 1762 г.

Стр. 402. *Карлсруэ* — немецкий город на берегу Рейна.

Стр. 407. *Ракалия* (у с т.) — негодяй, дрянной человек.

Стр. 411. *Давид*.— См. примеч. к с. 364.

Стр. 414. *Шкалик* — плошка с салом и светильней, употреблялась при иллюминациях.

Стр. 415. *Лютер* Мартин (1483—1546) — доктор богословия Виттенбергского университета, ставший крупнейшим реформатором христианской религии, основоположником лютеранской церкви, построенной на отрицании догматов и иерархичности католицизма.

...*в авантаже* — от ф р. avantage — преимущество, выгода.

Стр. 419. *Лейбниц* Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ и общественный деятель, основатель и первый президент Берлинской Академии наук.

Кант Иммануил (1724—1804) — родоначальник немецкой классической философии, профессор университета в Кенигсберге, иностранный почетный член Петербургской АН.

Стр. 421. ...*Фукидид* (460—396 гг. до н. э.) — афинский историк, владелец золотых приисков во Фракии. Принимал участие как стратег в Пелопоннесской войне; двадцать лет провел в изгнании; автор восьмитомной «Истории Пелопоннесской войны» (закончена Ксенофонтом). Этот труд считается одной из вершин античной историографии.

Сервские фигурки — фарфоровые изделия прославленного завода во французском Серве, основанного в середине XVIII в.

Стр.. 425. ...*Орложи* — настенные часы.

Радзивилл.— Речь идет об одном из представителей виднейшего польско-литовского княжеского рода, игравшего заметную роль в политической жизни польского королевства — Карле Станиславе (1734—1790), содержащем 10 тысяч регулярного войска и выступавшем против России, а позднее прощенном Екатериной II.

Стр. 426. ...*Станислав Понятовский* (1732—1798) — последний польский король (1764—1795 гг.) прорусской ориентации. После третьего раздела Польши отрекся от престола и переехал на местожительство в Россию.

Первый раздел — частичный раздел территории Польши, произведенный в 1772 г. Пруссией, Австрией и Россией, при котором Пруссия получила часть польского Приморья, Австрия отторгла в свою пользу часть Краковского воеводства и город Львов. Россия получила западнобелорусские земли и Инфляндское воеводство. В целом Польша лишилась до 1/3 своей территории и населения.

Стр. 430. ...*Герберг* — пивная.

Невшателец — житель швейцарского города.

Иосиф II (1741—1790) — австрийский эрцгерцог (император) с 1780 г., император Священной Римской империи с 1765 г.

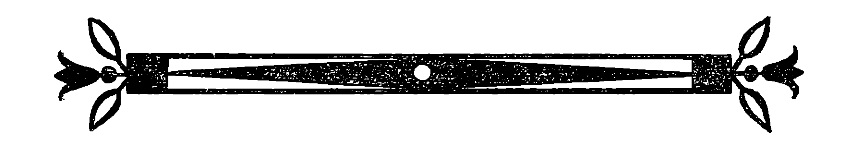
Стр. 431. ...*Ламбро-Качиони* — грек, поступивший на службу к Екатерине II. Во время 2-й русско-турецкой войны отправился в Грецию и на свои средства вооружил небольшой корабль, составивший вместе с двумя другими судами отряд, нападавший на турецкий флот.

Стр. 434. ...*партия «шляп»* — в середине XVIII в. политическое движение крупных феодалов и торговцев, боровшихся за власть в Швеции против партии демократических низов.

Гюстав III (1746—1792) — король Швеции (с 1771 г.), правивший в духе просвещенного абсолютизма.

Стр. 435. *Чичагов* Павел Васильевич (1767—1849) — русский адмирал (1807 г.), участвовал в русско-шведской войне командиром линейного корабля. В 1802—1811 гг. был министром морских сил. В 1812 г., командуя 3-й армией, Чичагов преследовал Наполеона.

Ревельское сражение — морская битва, в которой русский флот нанес поражение шведскому флоту в период русско-шведской войны 1789—1790 гг.



СОДЕРЖАНИЕ

Салиас Е.

С16 Сочинения в 2 т. Т. 1. Историческая проза / Вступ. ст., сост. и коммент. Ю. Беляева; Худож. Г. Клодт.— М.: Худож. лит., 1992. 543 с.

ISBN 5-280-02672-7 (Т.1)
ISBN 5-280-02673-5

В первый том Сочинений Евгения Салиаса (1840—1908) — популярнейшего писателя конца прошлого века — вошли различные по жанру исторические произведения. Ярко и увлекательно написанные, они воспроизводят прошлое России, ее быт, нравы и характеры.

С $\frac{4702010101\text{-}181}{028(01)\text{-}92}$ без объявл. ББК 84Р1

ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ САЛИАС

Сочинения в двух томах

Том первый

Зав. редакцией
С. Князева

Редактор Н. Гришкина

Художественный редактор
Е. Енешко

Технический редактор
В. Нефедова

Корректор
О. Наренкова

ИБ № 7374

Подписано к печати с готовых диапозитивов 04.03.92. Формат 84×108 1/32. Бумага офс. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 28,98. Уч.-изд. л. 30,61. Тираж 100 000 экз. Изд. № I-4445. Заказ № 200. «С» 009.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882. ГСП. Москва. Б-78. Ново-Басманная. 19.

Диапозитивы изготовлены в типографии «Печатный Двор». 197110, Санкт-Петербург. П-110. Чкаловский пр., 15. Отпечатано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Министерства печати и информации Российской Федерации. 113054 Москва. Валовая. 28

